

Серия основана в 1998 г.

В подготовке серии принимали участие  
ведущие специалисты  
Центра гуманитарных  
научно-информационных исследований  
Института научной информации  
по общественным наукам,  
Института философии  
Российской академии наук

Российская академия наук  
Институт философии  
Институт научной информации по общественным наукам

# Наталья АВТОНОМОВА

**Открытая структура:**  
Якобсон–Бахтин–Лотман–Гаспаров



Москва  
РОССПЭН  
2009

Главный редактор и автор проекта  
«Российские Пропилеи» С. Я. Левит

Редакционная коллегия серии «Российские Пропилеи»:

Л. В. Скворцов (председатель), В. В. Бычков, Г. Э. Великовская,  
И. Л. Галинская, В. Д. Губин, А. Л. Доброхотов, В. К. Кантор,  
А. М. Кузнецов, И. А. Осинская, Ю. С. Пивоваров, Г. С. Померанц,  
Л. В. Порохницкая, М. М. Скибицкий, А. К. Сорокин, Т. Г. Щедрина

Редактор И. И. Ремезова  
Художник: П. П. Ефремов

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
проект № 08-03-16063д

**Автономова Н. С.**

A18 Открытая структура: Якобсон—Бахтин—Лотман—Гаспаров /  
Н. С. Автономова. — М. : Российская политическая энциклопедия  
(РОССПЭН), 2009. — 503 с. — (Российские Пропилеи).

ISBN 978-5-8243-1254-6

«Открытая структура» — это парадокс, многозначная метафора, которая обнаруживает и свои познавательные возможности: она становится условием междисциплинарных переходов, местом выработки культурных и эпистемологических соизмеримостей. По образованию автор — философ и филолог; а потому эти две дисциплины (наука о понятии и наука о слове) для него всегда, так или иначе, взаимосвязаны. Но в истории культуры бывало иначе: иногда философия и филология игнорировали друг друга, а сейчас они нередко делят территории и меряются силой. Цель книги — реактуализировать забытое или искаженное прошлое и привлечь внимание к великому наследию русской филологии XX века (Якобсон, Бахтин, Лотман, Гаспаров). Это ценный материал, который подводит к ряду новых философских проблем и позволяет по-новому представить вечные вопросы рациональности и объективности познания. На материале русской культуры XX века автор продолжает исследование тем своей предыдущей работы: «Познание и перевод. Опыты философии языка» (РОССПЭН, 2008).

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей познания, современными проблемами философии, языка и культуры.

УДК 1(470)(091)(082.1)  
ББК 87.3

ISBN 978-5-8243-1254-6

© Левит С. Я., составление серии, 2009  
© Автономова Н. С., 2009  
© Российская политическая энциклопедия, 2009

# Предисловие

---

Лет тридцать назад могло показаться (да и сейчас еще многим кажется, и на Западе и в России), что структурно-семиотические исследования со славой (или бесславно) завершились, и взоры обращались к тому, что шло им на смену, — «постструктурализму» и «постмодернизму». Но теперь, когда наступает закат постмодерна, возникает новая потребность, нацеленная не на любование хаосом, но на реактуализацию структуры со всеми теми трансформациями, которым она подвергается в современную эпоху. И потому нам, философам, так важно сейчас проанализировать содержательный состав нашей культурной памяти и выбрать в ней те ресурсы, которые могут подкрепить ориентацию на науку в гуманитаристике и эпистемологическую работу в философии (среди других ее предметов и направлений). Представляется, что обсуждение судеб мысли о структуре на фоне других направлений поисков в области гуманитарного познания может стать важным шагом в формировании идеи продуктивной рациональности (от лат. *producere* — выводить вперед, производить) как универсальной способности разума мыслить последовательно и вместе с тем — порождать новое знание в меняющихся контекстах социальной и познавательной практики.

Что такое гуманитарная наука? Здесь, казалось бы, напрашивается привычная дихотомия естественного и гуманитарного познания. Однако, когда я говорю о гуманитарных науках, я не противопоставляю их естественным: сама дихотомия естественного и гуманитарного онтологизировалась, окостенела. Вопрос стоило бы поставить в иной проекции: любая наука есть то, что предполагает наличие мира вне меня и нацелено на получение знания об этом мире, — самоценного знания, не зависящего от непосредственной пользы или удовольствия (хотя, конечно, получение такого знания — тоже удовольствие). Для естественных наук тезис о предмете вне меня более или менее понятен. Но, по сути, так же обстоит дело и в гуманитарных науках, имеющих дело со «второй природой»: в мире существуют объективации (в том числе текстовые) человеческих усилий, их число хаотически возрастает, и нам



предстоит выяснить порядок их связей, существующие здесь закономерности. Главной дисциплиной, интересующейся познанием в разных его формах, является эпистемология.

В наши дни существует много разновидностей эпистемологии: в зависимости от предметов, подходов и средств анализа это эпистемология историческая, социальная, натуралистическая, генетическая, эволюционная, сравнительная и другие. В процессе их смены и сосуществования уже не раз выдвигалось мнение, что эпистемология вообще не нужна, или же что она не является философским предметом. Напротив, ту эпистемологию, с которой мне хочется иметь дело, в построении которой мне хочется участвовать, я назвала бы именно «философской эпистемологией». И это — не тавтология. Учитывая многообразный опыт погружений знания во всевозможные социальные, культурные, политические, идеологические контексты, его функциональность, зависимость от тех или иных обстоятельств, философская эпистемология вновь утверждает и подчеркивает фундаментальную нацеленность знания на предмет, на вещи, на мир. И эта познавательная ориентация в принципе объединяет философа и филолога — в той мере, в какой филология хочет быть наукой, а философия (философская эпистемология) интересуется тем, как осуществляется это стремление в разных областях человеческой жизни.

По образованию я философ и филолог. Филологи отвечают за слово, философы — за понятие. Эти ипостаси тесно связаны, они обеспечивают стереоскопическое зрение: один глаз не видит объема и глубины. Я пишу для тех и для других, даже если филологам этот материал знаком. Без обращения к науке философия не может жить, она чахнет и догматизируется. Без философии наука не способна справиться с теми общими проблемами, с которыми она неизбежно сталкивается (в самом деле, кто станет с ними разбираться? уж во всяком случае не политологи и не социологи). Будучи филологом, я обращаю повышенное внимание на языковую фактуру мысли; будучи философом, я сомневаюсь в общепринятом. Вот говорят: Бахтин — наше все. Так ли это? Или говорят: Гаспаров — жесткий и архаичный. Так ли это? Мне кажется, и я надеюсь это подтвердить, что некоторые важные проблемы подчас не видят ни философы, ни филологи.

Напротив, современная философия в России (в некоторых своих проявлениях) склонна сейчас скорее подчеркивать то, что уводит прочь от научного, закономерного, структурного, что акцентирует непостижимость человеческих явлений. Заигрывая или экспериментируя с хаосом, аффектами, эмоциями и энергиями, философия, однако, рискует выйти не просто в область новых

впечатлений, но фактически — за пределы европейской цивилизации. Той цивилизации, в которой познавательное отношение и представляющая его наука, единожды родившись, стали фундаментальной опорой, оплотом всех других достижений и ценностей культуры. Существует и другой подход: все беды современного гуманитарного знания он видит в том, что целостного человека некогда расчленили на отношения, потом на структуры отношений, и все это вовлекло нас в лингвистический водоворот: если вернуться к целостному человеку, все остальное само собой выправится. Оснований для критики цивилизации у нас предостаточно, однако отвергать с порога лингвистический поворот или структуру — не получится, потому что речь тут идет о некотором объективном ходе познавательных событий.

Таким образом, сотрудничество философии и филологии важно сразу во многих смыслах. Как уже отмечалось, в самой философии сильны подходы, которые обращают главное внимание на то, что как можно дальше отстоит от науки и как можно теснее сближается с воображением, фантазиями, снами, бессознательным в его архаических формах, и это создает крены и подтачивает фундамент общей культурной постройки. Те же, кто, казалось бы, интересуется процессами в гуманитарном познании, нередко смотрит на него слишком уж со стороны, не вникая в собственную фактуру гуманитарных предметов и опираясь лишь на отдельные цитаты, извлеченные из общего корпуса текстов. Характерной особенностью наших дней является возникновение ряда течений философской антропологии, которые противопоставляют себя любым филологическим подходам и выдвигают на первый план некий «анти-язык» как программный тезис. Эта позиция в различных ее вариантах явно находится под впечатлением французских постструктуралистских и постмодернистских построений, склонных демонизировать принудительную силу языка, его авторитаризм, и противопоставлять этому особые эстетические стратегии, нередуцируемость желаний в их телесных воплощениях, — все внеязыковое и непонятное. Все это значимо, но я иначе прокладываю свой путь.

При этом мое внимание к структуре — не ретро-интерес: это попытка увидеть нестыковки внутри уже написанной истории познания, написать альтернативную историю. При этом я не призываю никого возвращаться в прошлое: мне важно наметить продуктивные силовые линии в современном интеллектуальном поле, где разные течения мысли ведут борьбу за признание своей актуальности. Опорные слова меняются, как моды, но их смысловой потенциал не уходит в никуда. Выводя на первый план проблемы структуры, познания, перевода, я хочу участвовать в обсуждении

вопроса о русской культурной идентичности, о наследии и наследстве: на чем стоим? что должны? что можем? Многое зависит от того, что мы хотим, что сами считаем важным.

Среди других гуманитарных наук филология — это в известном смысле образец, парадигма. Самое время обратиться к Лотману, который нам напоминает: «Русская филологическая наука традиционно находилась на исключительно высоком уровне. Положение это было блестяще подтверждено советской филологией. Не впадая в преувеличение, можно сказать, что значительная часть идей, которые сыграли авангардную роль в истории мировой филологии XX века, впервые высказаны на русском языке»<sup>1</sup>. Лотман сказал это еще в советскую эпоху, но и в постсоветское время эта мысль не требует отстраняющих кавычек или изъятий. В любом случае вклад русской филологии в мировую культуру несоизмерим со вкладами других областей гуманитарного знания (скажем, философии или истории). А потому наследие русской филологии XX века важно и для философов: оно поможет сохранить в культуре формообразующие, структурирующие, продуктивные элементы понимания мира, присутствующие в европейской культуре на всем протяжении ее существования.

В этой книге я продолжаю мое предыдущее исследование, книгу «Познание и перевод»<sup>2</sup>: она была программной, в ней речь шла об общих принципах исследования и о построении категориального аппарата, в частности, о разработке понятия перевода во всех его видах, перевода как рефлексивного ресурса понимания. В этой новой книге рассуждение строится на русском материале с использованием конкретных филологических концепций. Несколько фрагментов «Открытой структуры» уже публиковались, но были переработаны и поставлены здесь в новый контекст.

Итак, что же такое «открытая структура»? И о ком (чем) собственно идет речь, если перечисленные персонажи общего смыслового ряда явно не образуют? В любом случае «открытая структура» — это скорее образ, интуиция, нежели понятие. Это словосочетание полемично. Когда-то Умберто Эко написал книгу под заглавием «Открытое произведение» (*Opera aperta*, 1962), а затем, несколько лет спустя, другую — «Отсутствующая структура» (*Struttura assente*, 1968)<sup>3</sup>. Между той и другой волей-неволей прорисовалась альтернатива: если вести речь об открытости творческого акта, порождающего произведение, то приходится отка-

<sup>1</sup> Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 106. (Впервые — 1979.)

<sup>2</sup> Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008.

<sup>3</sup> См.: Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004; Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.

заться от мысли о структуре, признать, что она не существует<sup>4</sup>. В течение последнего полувека этот ход мысли сильно влиял на умы исследователей: если «открытая», то не структура, а если «структура», то какая уж тут открытость? А потому — долой структуру! Напротив, мое рассуждение исходит из совершенно иных посылок: структура не только не исключает творческого акта, «открытого произведения», но даже в известном смысле является его условием. Все «неструктурное» существует потому, что существует «структура», оно возможно потому, что структура открыта. Тем самым я утверждаю жизнеспособность открытой структуры: это парадоксальное понятие принадлежит моему языку (метаязыку); это некий гиперконцепт, обобщенное и интенсифицированное качество, не содержащееся в полном своем виде в той или иной конкретной концепции, но раскрывающее их потенциал и направленность. Это понятие будет явно или неявно сопровождать нас на страницах этой книги и само покажет свои эвристические возможности. У него будет своей обыденный двойник: назовем его «структура сегодня», он будет ближе к тому, что в мысли о структуре живет в наших нынешних мыслительных ходах и интенциях.

Обратимся теперь к именному ряду. Помню, как я показала известному исследователю том статей и документов, посвященный 100-летию юбилею Jakobson<sup>5</sup>, а он недоуменно поднял брови: зачем это философу? Гаспарова среди философов почти никто не знает. Лотман вызывает чуть больше внимания, но когда пришла пора собрать тексты для тома о Лотмане, оказалось, что всех желающих поучаствовать в коллективной монографии можно пересчитать по пальцам на одной руке. В этом смысле Бахтин, конечно, из этого ряда выпадает: он наше все. Он и в других смыслах выпадает: он не стоит в ряду тех, кто, как Jakobson, Лотман и Гаспаров, бились за научность гуманитарного познания. Однако Бахтин — это не просто исключение среди тех, кто стремился к науке или строил научное знание в гуманитаристике. Бахтин мыслил иначе, чем усложнял и проблематизировал ситуацию; тем са-

<sup>4</sup> В «Отсутствующей структуре» Эко, прежде всего, ставит вопрос: объект или модель? онтологическая реальность или операциональная схематика? А дальше, следуя логике развития того, что стало называться французским структурализмом, Эко выдвигает тезис о разрушении структуры (точнее, ее саморазрушении) при столкновении с исследовательской практикой. В конечном итоге он призывает читателя «действовать так, как если бы Структуры (с заглавной буквы) не было»: если понимать этот тезис как протест против онтологизации и субстанциализации структуры, то с этим вполне можно согласиться, однако подчеркну: для меня важнее всего — не разрушение, а новое понимание структуры.

<sup>5</sup> Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования / Отв. ред. Х. Баран, С. И. Гиндин. М., 1999.

мым, подчас по логике от противного, он помогал другим нашим героям укрепиться в своих позициях или же скорректировать их. К тому же ни Якобсон, ни Лотман никогда не противопоставляли себя Бахтину и кое в чем к нему присоединялись. Бахтин для меня во многом — фигура фоновая, но не из принципа, а исходя из тех задач, которые передо мною стоят. Интеллектуальная интрига здесь построена на явных и неявных переключках, вопросах и ответах, втягивающих в разговор других персонажей, в заглавии книги не обозначенных. С каждым собеседником — свой неоконченный разговор. Структура книги тоже открытая: в ней речь идет о встречах — состоявшихся и несостоявшихся — и в жизни и в мысли. Прослеживая все эти линии, нам важно не упустить главное — величие задач, связывающих эти отдельные фигуры в квартет, своеобразно представленный на обложке французским художником Николя де Сталем. Отсюда и двоеточие в заглавии книги: посмотрим, как «открытая структура» реализуется в творчестве этого квартета мыслителей XX века<sup>6</sup>.

«Открытая структура» многопланова, можно понимать ее по-разному. Она указывает на то, что обычные доводы против структуры — те, что видят в структуре (и в мысли о структуре) нечто замкнутое, догматичное, архаичное, автоматическое, давно преодоленное, не имеющее никакого отношения к какой-либо позитивной эвристике — устарели. Иначе говоря, устарела не структура, но подобные взгляды на структуру. Мысль о структуре претерпела в гуманитарной науке XX века различные превращения: структура подчас воспринималась как догматическая сущность, вопреки обновляющему содержанию и потенциалу идеи, понятия и методов анализа структур, которые в разных формах разрабатывались во всем мире. Когда-то давно я начинала исследование структур с французских концепций 1950—1970-х годов. В данной работе рассматриваются иные срезы, этапы и места мысли о структуре в российском культурном наследии.

Итак, в этой книге речь пойдет о четырех великих русских ученых-филологах, творчество которых охватило весь XX век и проросло в XXI век. Якобсон, хотя и прожил большую часть жизни за границей, попросил написать на своей надгробной плите два слова — «русский филолог»: так он себя видел и хотел, чтобы это знали другие. Бахтин в беседах с Дувакиным говорил о себе как о философе, но это не отменяет того, что для нескольких по-

<sup>6</sup> Оговорка: крупный шрифт имени автора на обложке — не желание самоутвердиться, но жесткое требование оформления серии: подлинные пропорции соотношения величин, как я их понимаю, читатель увидит в аллегорической форме в изображении персонажей.

колений читателей — и в России и за рубежом — он был (и во многом остается) прежде всего литературоведом, исследователем культуры. Сомнений насчет того, что Лотман и Гаспаров — и «русские», и «филологи», у нас нет. Итак, это плеяда замечательных мыслителей, слава и гордость русской науки. Никто, наверное, не будет спорить с тем, что именно русские филологи (а, скажем, не философы и не историки) в XX веке оказали наибольшее воздействие на мировую культуру: прежде всего, это относится к Якобсону и Бахтину. Разумеется, «филология» не есть нечто само собой понятное (на Западе филологией называются исследования античности и восточных языков и культур, но в России принято более широкое понимание филологии, однако и тут однозначности нет: например, возникает вопрос — нужно ли включать в нее лингвистику или, скорее, рассматривать ее как нечто отдельное?). В любом случае все эти исследователи были не только филологами. Они были также философами, они взаимодействовали с философией — в эксплицитной, явной (как Бахтин) или свернутой (как Гаспаров) форме<sup>7</sup>.

Эта книга адресована и философам и филологам, но прежде всего — философам, так как филологам этот материал, так или иначе, знаком<sup>8</sup>. Я надеюсь, что и тем и другим она поможет почувствовать направления продуктивного сближения. Про себя я уже давно называла ее «русский том» или «пророки в своем отечестве». Книга складывалась постепенно, по мере изучения различных вопросов эпистемологии и истории науки, которые вставали передо мной на протяжении последнего десятилетия. Для меня очень важно было поместить всех моих персонажей в общий ряд (хотя, наверное, многие с такой выстроенностью не согласятся). Встречаются мои герои в «заколдованном месте» — в открытой структуре. Дело в том, что такое соседство проблематизирует и по-новому освещает каждого из них. Философам близок Бахтин, привычны им и другие имена: Лосев, Аверинцев. Нефилософы назовут Бодуэна де Куртенэ, Проппа, Мелетинского — все они в высшей степени заслуживают внимания, но из-за ограниченности объема в книгу не включены. Героями этой книги стали те, кто был наибо-

<sup>7</sup> Вопрос о философии и филологии ставится здесь в общей форме: меня интересует не роль идей такого-то философа в построениях такого-то филолога (например, Якобсон и феноменология, Бахтин и неокантианство и др.), но более общий, не персональный план взаимодействий между этими предметными областями.

<sup>8</sup> Проблема наличия этих двух сообществ (философов и филологов) — в том, что одни знают наизусть то, что другим неинтересно или непонятно. Понятие структуры и тем более открытой структуры — один из мостков, по которым можно переходить из филологии в философию и обратно, реализуя перспективы всевозможных взаимодействий.

лее важен для моих собственных исследований<sup>9</sup>, а у каждого я беру только то, что связано с общей линией моего поиска — структура, познание, перевод<sup>10</sup>. А отсюда некоторый схематизм в охвате материала. В свое оправдание могу сказать лишь одно: даже эта ограниченная точка зрения уже дает Монблан проблем, однако я не буду даже пытаться вскарабкаться на эту гору и ограничусь наброском некоторых возможных путей — как прямых, так и обходных.

Хотя выражение «открытая структура» неопределенно и многозначно, однако оно устраивает меня тем, что порождаемые им ассоциации ведут нас в ту сторону, куда я и хочу двигаться. Открытая — значит незамкнутая, не предопределенная, разомкнутая ко всему, что не структурно (а ипостасей неструктурного может быть бесчисленное множество). Слово «открытая» имеет и еще один ценный смысл: оно предполагает, что структура не есть чистое изобретение, не имеющее отношения к реальности: скорее она «открывается» нам в предмете или, по крайней мере, соотносится — сколь угодно сложным образом — с тем, что имеет отношение к предмету, а не является лишь порождением фантазии. Что же касается структуры, то это фактически — главное понятие нацеленного на научность гуманитарного познания XX века, это способ организации любого гуманитарного материала, наконец, это реальный предмет (предметы), на котором (которых) я изучаю вопрос о гуманитарном познании. Филологическая структура — это коррелят философской объективности и рациональности, область соизмеримости того, что в иных смыслах может быть различно. И вместе с тем эта структура не исключает неструктурное — ни в объекте, ни в способе исследования.

<sup>9</sup> То, о чем здесь говорится, представляет собой малую, даже крошечную часть того, что было сделано этими персонажами в науке и в культуре. Мне не известны работы, которые бы охватили все, что сделал в науке Якобсон, настолько различными были сферы его профессиональных интересов (помимо главной его специальности — славистики и первооткрывательства в структурной фонологии, это развитие языка у ребенка, психопатология в ее вербальных проявлениях, литературоведение и многое другое). То же касается и Гаспарова: вряд ли кто-нибудь возьмется представить одновременно и его исследования по классической филологии, и его стиховедческую программу вместе с ее реализациями. Лотман и Бахтин могут показаться более доступными охвату, но это не так. Чтобы охватить, например, Бахтина, необходима, помимо прямого чтения опубликованных текстов, дополнительная работа с архивными материалами, которые стали нам доступны благодаря самоотверженному труду издательского коллектива, выпускающего его Собрание сочинений, и др.

<sup>10</sup> Отмечу и другой неизбежный момент изложения: многократные повторы. Те или иные доводы и даже факты повторяются неоднократно, в связи с разными обстоятельствами. Например, вопрос о бахтинском диалоге возникает в главе о Бахтине, в главе о Лотмане, в главе о Гаспарове, при разборе конкретных вопросов, где этот тезис служит доказательством или доводом. Это — не забывчивость и не дефект редактирования, но следствие предметной и смысловой необходимости, а также избранной мною открытой структуры книги.

Как уже отмечалось, открытая структура есть то, что сочетает строгий образец исследования с наличием контекста, в который вписывается эта работа. Это некое особое понятие — архи-понятие (гиперконцепт), который не соответствует конкретным употреблением слов и понятий у моих героев, но дает возможность выявить и подчеркнуть некоторые важные тенденции их подходов. Структура путешествует и претерпевает метаморфозы: Якобсон выступает здесь как один из первооткрывателей структурных методов в лингвистике, Лотман как ученый, использовавший структурно-семиотический метод в его развернутой форме, Гаспаров — как тот, кто, признавая любое научное исследование исследованием структуры, ставил акцент на позитивное изучение фактов и их сравнительно-статистическую обработку — на материале стиховедения. Тем самым в творчестве этих мыслителей, наряду с конкретной работой над тем или иным материалом, прорабатываются проблемы объективности гуманитарного познания, нацеленного на постижение человеческого мира, доступное проверке, проблемы динамических оснований знания, соизмеримости/несоизмеримости опыта при обращении к различному языковому, культурному, концептуальному материалу.

Все мои герои, так или иначе, причастны данной тематике: это второе (если считать первым концепцию Соссюра) рождение структурализма у Якобсона и Трубецкого в Пражском лингвистическом кружке и его критика у Бахтина/Волошинова — еще до того, как структурализм развернул свою программу. Все мои герои соотнесены и с русским формализмом: Якобсон был теоретиком литературоведческого формализма и другом самых смелых поэтов-экспериментаторов: можно даже сказать, что он непосредственно участвовал в этом направлении художественной и научной мысли (как в Московском лингвистическом кружке, так и в петербургском Обществе по изучению поэтического языка); Бахтин (вместе с коллегами по кружку) критиковал формализм, Лотман изучал и пытался пропагандировать работы формалистов, Гаспаров считал себя учеником Ярхо, которого считали формалистом (и Ярхо не опровергал этого именованья), и всегда боялся «опозорить оригинал», которому стремился соответствовать.

Гуманитарная наука — и в Европе и в России — прошла этап мысли о структуре слишком быстро (мы видим это на примере феномена французского структурализма). В этом потом признавались и те исследователи, кто самолично участвовал в движении этой мысли. История структуралистских движений в лингвистике и других гуманитарных науках тоже, кажется, пришла к своему завершению. Однако так ли это? Если так, то почему этот этап был пройден столь поспешно, а сейчас напоминает о себе кучей нере-



шенных вопросов, не позволяющих забыть о несделанном? Именно теперь, когда, как уже отмечалось, многих интересует прежде всего неструктурное и нерациональное, когда философия ищет себя, прислоняясь к тому в гуманитарной науке, что наименее научно и наименее структурировано (к эмоциональному, энергичному, невербальному, недискурсивному), мысль о структуре неожиданно заявляет о себе, и это напоминание звучит все громче. И это неудивительно: ведь (вспомним Эко) и само открытое произведение возможно лишь потому, что у него есть порождающая структура, которая не чуждается неструктурного, хаотичного, иррационального; при этом оказывается, что неструктурное не только не упраздняет структуру, но, напротив, подчеркивает и утверждает ее.

Поиск структур выступает как характерный признак знания о человеке, которое стремится быть научным. Структура выступает здесь как общий предмет и как организующий принцип, связующий различные подходы. Одновременно с этим встает вопрос об их соизмеримости и, соответственно, о возможности внутриязыкового, междязыкового и междисциплинарного перевода. При этом переводиться может в известном смысле только то, что имеет структуру, иначе говоря, перевод выступает как механизм междисциплинарных переносов, без которых бессмысленно и ставить вопрос о какой бы то ни было познавательной соизмеримости. Иначе говоря, возможность перевода — это следствие динамики открытой структуры. А потому те, кто настаивал на том, что в любом произведении уже заложен его перевод, точнее, его бесчисленные переводы (Беньямин и отчасти Деррида), по сути были правы. А мы добавим к сказанному ими и другое: произведением является то, что уже предполагает ту или иную форму организации, структуры. Структурность, произведенность и переводимость выступают как аспекты единой познавательной динамики.

А потому для нас важно, что речь здесь идет о той части исторического наследия, которая выпукло показывает (или, как у Бахтина, — оттеняет) познавательный подход к гуманитарным феноменам. Якобсону (1896—1982), Лотману (1922—1993) и Гаспарову (1935—2005) было свойственно представление о том, что применительно к естественным и гуманитарным явлениям наука имеет общие черты, которые позволяют при изучении любого самого сложного объекта отличать научное от ненаучного если и не по результатам, то, по крайней мере, по интенциям обращения с материалом. Все эти исследователи так или иначе ставили вопросы, далеко выходявшие за рамки узкопрофессиональных интересов. Их общая познавательная ориентация выражает себя в вопросах о роли формальных и структурных методов в науке XX века, в современном познании (для меня

это вопрос о «структуре сегодня»), о поиске средств понимания и среди них — механизмов перевода как универсального явления культуры и познания. Каждый из моих героев несет нам свою благую весть, которой он может и хочет поделиться с философами.

Якобсон предстает, прежде всего, как персональное воплощение этимологического значения слова «филология»: филолог — тот, кто любит слово, любое и всякое, большое и малое, яркое и незаметное, будь то мордовские говоры, славянский праязык, фонологические языковые союзы или поэтика Хлебникова и Пастернака. Именно Якобсон открыл в языке ту систему дифференциальных признаков, которая позволяет различать смыслы, именно он сформулировал схему коммуникации и типологию видов перевода, без ссылок на которые не обходится теперь ни одно исследование этих тем в мире, именно Якобсон определил многообразие мест науки о языке в культуре XX века и ее взаимоотношения с другими дисциплинами. Его творчество — неисчерпаемая энциклопедия подходов к тому, что такое человеческая жизнь в языке («Моя жизнь в языке» — так называется общее французское издание заключительных разделов ко всем опубликованным томам Собрания его сочинений — *Selected Writings*).

Лотман важен для нас самой траекторией своего движения из истории к структуре и из структуры к открытой структуре, мыслью о том, что окно культуры всегда открыто. Он сумел помыслить не только культуру и взрыв, но и структуру как взрыв (так, он считал взрывом само появление в советской культуре 1960—70-х годов поросли структуралистов-семиотиков). При этом ему было свойственно удивительное чутье на уместность сопоставления в человеке высшего сознания и природных уровней организации — вместе с языками животных, жизнью насекомых, соотношениями мозговых полушарий, иначе говоря, переживание единства человека и мира, человека в мире.

В связи с Гаспаровым хочется спросить философов: известно ли им, что мы действительно кое в чем из области научной гуманитаристики находимся впереди планеты всей? Здесь напрашивается сюжет о трех богатырях. Борис Исаакович Ярхо (1889—1942), Кирилл Федорович Тарановский (1911—1993) и Михаил Леонович Гаспаров (1935—2005) на протяжении всего XX века — в одиночку, при прямом противодействии окружения, делали свое дело: они сумели создать такие способы и приемы изучения формальных и структурных аспектов стиха, которыми сейчас, в начале XXI, пользуются практически все стиховеды в мире. Напомню, что еще в начале XX века стиховедение было обычной гуманитарной областью импрессий и экспрессий, в которой одиноко прозвучала догадка Андрея Белого о

том, что стиховедение может стать наукой, если будет опираться на строгое наблюдение и статистику: современники ее освистали. Только подумать: трех человек достаточно для того, чтобы сберечь, развить, построить фундамент научной дисциплины без скидок. Для полноты картины следует напомнить, что Ярхо писал свой фундаментальный труд о методологии точного литературоведения в ссылке (после лагеря), где и умер, что Гаспаров разыскал рукопись Ярхо в архивах и пытался ее пропагандировать и фрагментами публиковать<sup>11</sup> и что в полном своем виде она вышла совсем недавно благодаря усилиям группы подвижников другого поколения<sup>12</sup>. А когда Тарановский сделал огромные подсчеты по стихам XIX века, а Гаспаров — по стихам XX века, были упрочены основы новой дисциплины, на которые теперь опираются все, кто занимается стиховедением. Еще раз: в отличие от тех направлений современной философии, которые ищут в филологии, прежде всего, поддержку своему интересу к наименее организованным слоям и уровням знания, мой интерес в данном случае иной: он направлен на те разделы филологии, которые можно считать научными в достаточно строгом смысле слова. Само наличие таких островков научности без скидок в сфере гуманитарных предметов должно побудить философов иначе посмотреть на проблему обоснования знания, на идею дихотомичности форм знания (естественно-научного и гуманитарного), увидеть в тех формах филологии, которые нацелены на объективность, своих союзников.

Жизнь моих героев, да и моя собственная, включают в себя «опыты философии языка», а также опыты практической работы с языком — расчленения и упорядочения словесной и концептуальной ткани, перевода, интерпретации. Программы формализма и структурализма в разных вариантах звучали на протяжении всего XX века, хотя в России, эти идеи породившей, они использовались с опозданием, с осторожностью и опаской. В университете мы были, кажется, первым поколением студентов, которому с первого года обучения преподавали спецкурсы по разным школам лингвистического структурализма<sup>13</sup>. Моя курсовая и отчасти диплом были разверткой некоторых идей русского формализма с применением статистических ме-

<sup>11</sup> Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения (Набросок плана): Отрывки / Подгот. текста и публ. М. Л. Гаспарова // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1969. Вып. 236. С. 515—526; Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения (Набросок плана) / Вступит. ст. и подгот. текста М. Л. Гаспарова // Контекст—1983: Лит.-теорет. исслед. М., 1984. С. 197—236 и др.

<sup>12</sup> Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы / Общ. ред. М. И. Шапира. М., 2006.

<sup>13</sup> Причем наши педагоги были прекрасными знатоками этой проблематики, переводившими на русский язык новейшие труды западных мыслителей: они начали появляться в периодическом сборнике «Новое в лингвистике» (Это были В. П. Мурат, Л. Н. Натан, А. И. Полторацкий и др.).

тодов (Ярхо через Гаспарова) и закончились тем, что мне пришлось из филологии уходить, к счастью, не куда-нибудь, а в философию. Потом для меня наступила эпоха французского структурализма и постструктурализма, который мне довелось вводить в русскую культуру с самого начала 1970-х годов — то есть, примерно на 20 лет раньше того момента, когда он стал в России предметом всеобщего внимания.

Драматургия событий во Франции разыграла структуралистскую проблематику как пьесу: экзистенциалисты взяли себе историю, этнологи — синхронию (холодные общества, у них де нет истории), возникла задача переопределения проблемы человека в жестких терминах «теоретического антигуманизма» и экзистенциалистских противодействий нарочито огрубленным трактовкам этого феномена. Такое политико-идеологическое разыгрывание мысли о структуре и в страшном сне не снилось протагонистам структурализма — Якобсону и Леви-Стросу, которые поначалу, в 1940-е годы, тщательно продумывали вопрос о том, где и как могут применяться понятия, связанные со структурой, и помыслить не могли бесконтрольного распространения методов, их размышления и полной метафоризации, которая произошла на французской интеллектуальной сцене в конце 1960-х годов.

При этом речь идет не только о научных идеях, но и о вещах экзистенциальных. Трех из моих героев я знала лично: двоих (Якобсона и Лотмана) совсем чуть-чуть, а с Гаспаровым меня связывала научная дружба длинной в жизнь<sup>14</sup>. Лотмана я читала и слышала на нескольких конференциях. Уже после его смерти, слушая его рассказы о русской культуре по телевидению, я поняла, что несколько важных для меня вопросов я могла бы задать только ему, и это было горькое чувство невосполнимой утраты<sup>15</sup>. О Якобсоне говорили, что он, живя и работая в Америке, хорошо знал литературу, выходившую в Советской России, и я могла в этом убедиться на собственном опыте. Когда меня, тогда еще молодую участницу Тбилисского симпозиума по проблеме бессознательного<sup>16</sup>, представляли Якобсону, он решительно заявил: а я

<sup>14</sup> Гаспаров был неофициальным руководителем моих курсовых и диплома в университете, после моего ухода из филологии в философию он не прекращал интересоваться всем, что я делаю, а в последние годы в Институте высших гуманитарных исследований мы вместе работали над темой «философия и филология». Подробнее об этом см.: Ваш М. Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2008, а также в Приложениях к книге.

<sup>15</sup> Свидетельством его хорошего отношения к людям, а также дифференцированного отношения к разным формам структурализма является письмо ко мне, публикуемое в Приложении.

<sup>16</sup> В октябре 1979 года состоялся долго готовившийся Международный симпозиум по проблеме бессознательного. См.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Т. 1—3. Тбилиси: Мецниереба, 1979; Т. 4. Тбилиси: Мецниереба, 1985.

знаю, «Вопросы философии» читаю регулярно<sup>17</sup>, и стал говорить со мной так, будто мы давно знакомы. А вечером в театре, где давали «Гамлета» с Высоцким в главной роли (в дни симпозиума в Тбилиси гастролировал театр на Таганке), я сидела в партере, на близких к сцене местах, между Якобсоном и Вяч. Вс. Ивановым, а в антрактах неутомимый Якобсон рассказывал мне о началах структуралистской эпохи и о своих близких друзьях — П. Богатыреве и К. Леви-Стросе<sup>18</sup>. Бахтина я никогда не видела, однако во Франции мне довелось пользоваться — как драгоценной реликвией — экземпляром «Проблем поэтики Достоевского», который Бахтин подарил с автографом любознательной французской студентке Анни Эпельбуэн (она стажировалась в России, занималась Платоновым и вместе с русскими коллегами ездила на подмосковской электричке на встречу с Бахтиным<sup>19</sup>). В любом случае Бахтин — это фигура, которую нельзя обойти, независимо от того, насколько мы принимаем (или не принимаем) его позиции: он провоцировал, изумлял, возмущал, восхищал всех остальных героев этой книги.

<sup>17</sup> Речь шла о моих первых статьях, вышедших в журнале «Вопросы философии»: Автономова Н. С. Концепция «археологического знания» М. Фуко // Вопросы философии. 1972. № 10; Она же. Психоаналитическая концепция Жака Лакана // Вопросы философии. 1973. № 11.

<sup>18</sup> На этом симпозиуме я делала пленарный доклад, что было почетно и не вполне безопасно — по крайней мере, несколько важных персон в советской психологии от этой чести отказались (из-за явно отрицательного отношения начальства к проблеме бессознательного вообще и к психоанализу, в частности). В моем докладе речь шла, прежде всего, о подходе к бессознательному через язык, предложенном Лаканом; это было близко Якобсону, который хорошо знал Лакана, дружил с ним и, приезжая в Париж, регулярно у него бывал. По количеству ссылок на Якобсона в работах Лакана можно судить о том, что значил «русский филолог» для самого известного французского психоаналитика. Якобсону меня представлял Аполлон Елифанович Шерозия, который вместе с Филиппом Вениаминовичем Бассиным, Александром Северьяновичем Прангишвили, а также Леоном Шертоком организовали симпозиум, что потребовало тогда многолетней и, временами казалось, совершенно безнадежной, борьбы с начальством и огромной преданности делу. В наши дни все эти замечательные люди, некогда обеспечившие прорыв в познании бессознательного, подъем интереса к психоанализу в России (тогда Советском Союзе), незаслуженно забыты.

Через несколько месяцев после симпозиума, в середине 1980 года Якобсон прислал мне свою только что вышедшую работу — брошюру «Brain and Language»; больше я его не видела: Тбилисский симпозиум был его последним приездом в Россию.

<sup>19</sup> Ср. об этом: Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 515. Как отмечает С. Бочаров, этот разговор 25 января 1971 года шел о делах важных: отвечает ли мыслитель за использование его идей (речь шла о Ницше и Киркегоре)? Бахтин сказал: Киркегор не отвечает, а Ницше все же отвечает — по свойству своей мысли. В разговоре участвовала, как указывает С. Бочаров, и славистка из Франции — Анни Эпельбуэн. Подаренный Бахтиным Анни экземпляр, которым она разрешала мне пользоваться, — 3-е издание 1972 года.

Различными были траектории жизни представленных здесь фигур. Якобсон — великий космополит, который участвовал в создании едва ли не всех самых крупных школ структурного анализа в мире, он уехал из России в 1920 году, и постепенно возвращается, уже после своей смерти, с середины 1980-х годов, переводами с чешского, английского, немецкого, французского. Гаспаров начал ездить за рубеж лишь в последний период жизни, однако переводы его фундаментальной монографии об истории европейского стиха на английский и итальянский стали настольными книгами исследователей всего мира. Лотмана, как и всех обычных советских людей, в пору его силы и славы за границу не пускали, а когда пустили, время социального интереса к структурализму уже прошло; его переводили довольно много (правда, в Америке его читали в основном слависты, так что новые семиотические идеи, касавшиеся семиосферы вообще и кино, в частности, проникали туда с запозданием и нешироким потоком). Но никто и близко не сравнится по популярности с Бахтиным — великим отшельником, которого, однако, читают по всему свету и на множестве языков.

Всем им было свойственно горение, познавательная эмоция, эпистемологическое влечение. Трудовой экстаз посещал Якобсона и во время Революции (сколько всего нужно успеть!) и перед самой войной (никогда так не работал!). Само это умение подпитываться от любых обстоятельств, даже негативных, удивительно. У Лотмана тоже это было: умение не спать ночами, растя троих сыновей, читать курсы по всем дисциплинам и к тому же еще писать. Они оба, Лотман и Якобсон, умели заряжать других и заряжаться другими, присоединяться, а не отталкиваться, сосредоточиваться на общем, а не на том, что разъединяет. Это были яркие темпераменты. Гаспаров был другим, однако, когда он приходил в ИВГИ<sup>20</sup>, его всегда ждала очередь желающих что-то у него спросить. Помню удивительные заседания Института, когда в 157-й аудитории за одним столом со всеми нами сидели Гаспаров, Мелетинский, Топоров (в редчайших случаях и А. Гуревич, который был тяжело болен), и не надо было никаких энциклопедий: по любому неясному вопросу находилось к кому обратиться, причем живые классики отвечали умнее и уместнее, чем любая книга.

Творчество героев этой книги (в трех поколениях) охватывает обширный период — от околореволюционных лет, когда почти одновременно начали публиковаться Якобсон и Бахтин, до последних статей Гаспарова, написанных в начале XXI века. Весь XX век прошел под

<sup>20</sup> Институт высших гуманитарных исследований при РГГУ, организован в 1992 году. Его научным директором был Елеазар Моисеевич Мелетинский; после его смерти (с 2006 года) Институт носит его имя.

знаком формальных и структурных методов как вектора научности в гуманитарном познании. Программы формализма, структурализма и постструктурализма (слова, заканчивающиеся на «изм», всегда создают впечатление псевдоустойчивой завершенности, которой здесь хотелось бы насколько возможно избежать) охватывают, отчасти сменяясь, отчасти сохраняясь, весь XX век. Одновременно с этим весь XX век был периодом сосуществования двух главных познавательных тенденций, которые можно обозначить как формально-структурную и историко-гуманистическую. Первая подразумевала более строгий вектор научности, вторая делала акцент на том, что к строгому познанию не сводимо, а отсюда — их взаимодополнительность в рамках более широкого целого, даже если эти подходы и не объединяются в рамках какой-либо общей теории. В эту общую перспективу вписывается и отношение между философией и филологией.

Как уже отмечалось, за последние десятилетия соотношение философии и филологии в культуре изменилось. Когда-то могло казаться, что это отношение давно определилось и только воспроизводит себя. Однако в современную эпоху это отношение характеризуется не только всплеском взаимного интереса, но также проблематизацией функций, задач, предметов, ожиданий, направляемых философией и филологией друг на друга. Философия двинулась в литературу, стали происходить переделы собственности; по-новому расчерчиваются теперь пределы дисциплинарно поделенного мира. «Постмодернизм» в целом и, например, «новый историзм» как одно из ярких его порождений предъявляют права на новые территории. При этом фактически встает, хотя и редко тематизируется, вопрос о статусе и возможностях междисциплинарного исследования и междисциплинарных переходов. В самом деле, некогда специальные области знания отделились от философии и сформулировали собственные правила метода и понятийную независимость. А сейчас нередко философы (не обязательно те, кто считает себя, вслед за Ницше и Валери, философами-художниками), пишут работы на материале Достоевского, Гоголя или Шекспира, используя их для своих философских размышлений. Тем самым они вторгаются в былую область филологических привилегий и в какой-то мере вступают в состязание с филологией. В филологии тоже имеются тенденции к саморасширению на область философии, хотя и не столь заметные.

Как бы то ни было, возникает вопрос: как философ узнает о том, что происходит в гуманитарных науках? Он же не может просто войти в текст филолога, взять оттуда какое-то высказывание и вплести его в ткань собственного рассуждения<sup>21</sup>. Точнее, он ча-

<sup>21</sup> Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2007. № 6.

сто именно так и делает, однако, это сомнительный способ концептуального общения. Общность языков между философией и филологией нередко лишь кажущаяся, а потому прежде, чем что-либо заимствовать, требуется освоить строение и концептуальный аппарат гуманитарных наук. В частности, рефлексивный пласт филологии неявно подразумевает многое из того, что совершенно неизвестно философам, а кроме того, филологические «теории» далеко не всегда соответствуют тому, что реально происходит в их областях и дисциплинах. Нередко бывают странные смещения и несоответствия: теория может существовать в динамике, а практика — благополучно дорабатывать прежние программы или наоборот (например, у Лотмана, кажется, рефлексия эволюционирует больше и сильнее, чем реальная практика). Если же не проводить реконструкций, а просто заимствовать у тех или иных исследователей отдельные высказывания, прямо вводя их в ткань рассуждения на правах доводов философского плана, то ничего хорошего не получится<sup>22</sup>. А потому для философии важно внимательнее присмотреться к материи, эмпирии и концептуальной ткани гуманитарного познания<sup>23</sup>.

В книге пять глав: четыре из них посвящены главным персонажам — Якобсону, Бахтину, Лотману, Гаспарову, а последняя включает автора в разговор этих персонажей — на правах пятого голоса. В первых четырех главах живая философичность работ моих героев выражена, но специально не подчеркнута, оставляя простор читательским восприятиям и интерпретациям. В пятой главе философская тематика будет представлена более отчетливо, некоторые рефлексивные повороты, связанные с анализом, переводом, поиском соизмеримостей, процессами структурирования в философии и филологии, будут показаны более выпукло.

<sup>22</sup> В последнее время этот дефект работы философов с концепциями другого эпистемологического уровня стал осознаваться: «К сожалению, сегодня в области методологии социально-гуманитарных наук работа с оригинальными историческими текстами этих наук является чрезвычайной редкостью. Часто используют отдельные цитаты и примеры, которые в лучшем случае могут пояснить ту или иную методологическую идею, но не достаточны для ее обоснования». См.: Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2007. № 6. Выступление В. С. Степина. С. 60.

<sup>23</sup> «Это же смешно, когда человек, ничего не понимающий в физике, судит о том, как должны меняться ее методологические требования. То же самое — в лингвистике, литературоведении, вообще в гуманитаристике. Там все эти наши заготовки ни к чему не пригодны во многих случаях. И не сказать, что там нужно меньше научной подготовки, чем в физике или биологии». См.: Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2007. № 6. Выступление Л. А. Михешиной. С. 69.



Разговор начинается с Романа Якобсона, одной из главных фигур русского и европейского структурализма. Якобсон — это связующее звено во всемирном путешествии идеи структуры: Москва — Прага — Копенгаген — Париж — Гарвард — Москва. На примере Якобсона будут рассмотрены ранние малоизученные стадии становления идей структурного анализа в различных идейных и социальных конъюнктурах. Отдельно будет рассмотрена идея структурализма как «русской науки», выдвинутая Якобсоном в его пражский период, и ее трансформация в якобсоновской славистике гарвардского периода (1950-е годы). Сразу уточню мою позицию: «русская наука» не тождественна западной, но она не является особой наукой<sup>24</sup>. Кроме этого, будет рассмотрен также генезис структуралистских идей в формах «евразийской лингвистики». «Нелинейность» развития идей порождает эпизоды множественного генезиса, угасания и всплески структуральной проблематики. Не затухает очный или заочный спор между идеей структуры как объекта, построенного исследователем (Соссюр), и структуры как целостности, реально предшествующей познанию (западные исследователи нередко видят такую позицию у Якобсона и Трубецкого). Можно ли считать, что «целостность» наделена здесь специфически «русским» мыслительным обертон — со всеми его плюсами и минусами? Дальнейшая динамика мысли о структуре будет рассмотрена на примере распространения лингвистических методов в смежные и в более далекие дисциплины, а отсюда — все социальные, проблемные и идеологические коллизии, которые возникли уже во французском структурализме.

Если Якобсон удивителен своей динамикой и умением в любой ситуации развивать новые идеи, работать с подручным материалом в контакте с коллегами, то Бахтин проявил другие формы человеческой стойкости и умения творчески выживать в любых условиях. А потому во второй главе, посвященной Бахтину, моя цель — реконструировать его идеи на фоне их рецепций, при учете разрыва между временем создания главных произведений и временем (и местом) их переоткрытия. Соответственно нам важно будет учесть те изменения (искажения), которые привносят в идеи Бахтина ожидания читателей других эпох, культур, традиций, представляющих эти модификации как развитие идей самого Бахтина, и тем самым поставить более общий вопрос о соизмеримости культур, об их переводимости, о принципах их усвоения

<sup>24</sup> Этой позиции придерживается западный исследователь истории раннего восточно-европейского структурализма Патрик Серно: *Серно П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в центральной и восточной Европе 1920—30-е гг.* / Авториз. перевод с франц. Н. Автономовой. М., 2001.

и изучения. В частности, вопреки распространенному взгляду на Бахтина и его идеи как на методологический образец для гуманитарной науки, я вижу в Бахтине скорее яркого и глубокого мыслителя-философа, использовавшего в своем творчестве ряд литературных сюжетов. Сказанное позволяет отделить «индустрию» Бахтина и разнообразные мифы о Бахтине (а также элементы мифологичности внутри концепции самого Бахтина) от тех реально новых поворотов, которые мы находим в его творчестве в связи с разысканиями текстологов, психологов, лингвистов.

Между Бахтиным и другими героями книги прослеживаются концептуально важные соотношения. Якобсон, ровесник Бахтина, уже эмигрировавший в США, приезжая в Россию в 1956 и 1958 годах, искал встречи с Бахтиным (Цветан Тодоров написал об этом две статьи<sup>25</sup>), но безуспешно (Бахтин по тем или иным соображениям уклонялся от встречи); что же касается основных ориентаций их творчества, то они остаются во многом противоположными, хотя Якобсон до конца своих дней высоко ценил работы Бахтина и неустанно рекомендовал их советским и западным коллегам. Лотман, который был человеком уже следующего исследовательского поколения, делал все от него зависящее, чтобы добиться публикации работ Бахтина и облегчить условия его жизни в 1960—1970-е годы. В области теоретической Лотман, который понимал диалог совершенно иначе, чем Бахтин (речь шла скорее о культурных «кодах», нежели о «голосах»), использовал бахтинские идеи скорее как стимул к переосмыслению и конкретизации ряда пунктов структурно-семиотической программы, нежели как прямое руководство к применению. Гаспаров — автор двух крошечных статей о Бахтине, написанных с разрывом в четверть века — о диалоге (1979) и о «Рабле» (2004), которые нередко воспринимаются как достаточно четкое выражение позиции, отождествляемой с «антикультом Бахтина»: речь идет о весьма конкретных вещах и о важных методологических разногласиях. В этой моей книге Бахтин показан не в жанре апологии и не в жанре филиппики, но в рабочем ключе: внимание обращается, в частности, на сложности перевода бахтинских терминов, связанных с языком, речью, высказыванием. И в этом я вижу знак «нормализации» изучения бахтинского наследия, наступившей после периода вездесущей «бахтинской индустрии».

Свои взгляды на литературу и способы ее изучения развивает Лотман — признанный глава тартуской структурно-семиотической

<sup>25</sup> *Todorov Tz.* Monologue et dialogue: Jakobson et Bakhtine // *Acta Linguistica Hafniensia*. Vol. 29. Copenhagen, 1998. P. 49—74. Spec. Issue: R. Jakobson Centennial Symposium. October 10—12, 1996 ; *Idem.* Pourquoi Jakobson et Bakhtine ne se sont jamais rencontrés // *Esprit*. 1997. Janvier. P. 5—30.

школы, яркого познавательного и культурного явления 1960—1970-х годов, которое в 1980-е годы пошло на спад, а в 1990-е фактически прекратило свое существование. Поэтому теперь нам важно осмыслить перспективы дальнейшего использования наследия Лотмана и его Школы. А для этого мне приходится формулировать мою позицию весьма отлично от того, что считается чуть ли не общепринятым. Так, принято считать, что семиотический структурализм отжил свой век, а Лотман выступает как переродившийся мыслитель, который якобы отказался от своих структуралистских идей, вступив на путь изучения таких сложных объектов, как «взрыв», «семиосфера» и др. В противоположность обоим этим мнениям я считаю, что интерес к динамике присутствует и в ранних работах Лотмана, начинавшего свой творческий путь как историк, и что научная, познавательная доминанта была характерна и для позднего Лотмана. Вспомним, что Лотман, прежде всего, — историк литературы, и что структурно-семиотический подход был для него одним из способов осмысления сложных объектов. Важно, что во всех своих работах Лотман сохраняет познавательно-упорядочивающую, а, скажем, не перцептивно-гедонистическую, как, например, в постмодернизме, доминанту. Как сказал один из его ровесников, хорошо его знавший: стать постмодернистом ему не позволяла внутренняя этика.

В четвертой главе речь пойдет о М. Гаспарове как «рыцаре строгой науки»<sup>26</sup>. Лотман считал Гаспарова (наряду с В. Н. Топоровым) одним из самых выдающихся филологов современности; Якобсон внимательно читал его труды и посылал ему свои. Когда наступили постсоветские времена и Гаспарова попросили представить книги Лотмана 1960-х годов для переиздания тридцать лет спустя, он счел необходимым помянуть добрым словом «марксистский метод» (в отличие от марксистской идеологии) с характерными для него историзмом и диалектикой, чем поверг в смятение многих поклонников Лотмана и вызвал удовольствие у тех его противников, которые считали его отжившим порождением советского времени. К этой коллизии восприятий мы приглядимся повнимательнее.

Творчество Гаспарова охватывает всю вторую половину XX века. Главные его научные специальности — античность и стиховедение. В первой он предпочел быть просветителем и представил российскому читателю десятки произведений латинской и греческой Античности и Средневековья — в своих переводах, с комментариями. Во вступительных статьях к этим текстам он считал нужным не столько объяснять детали, сколько реконструировать

<sup>26</sup> Гаспаров употреблял эпитет «точный» (точная наука) или говорил просто «наука».

эпоху<sup>27</sup>: сочиняя вступительные статьи к переводам античных авторов (Вергилия или Овидия), Гаспаров перерабатывал огромный материал, а то, что он писал в итоге, было, по его собственным словам, «связным пересказом чужих идей»; на самом же деле это было высокое научное творчество, говорившее «своими словами» и не обременявшее читателя учеными ссылками и развернутым аппаратом (который, по его словам, он был бы готов предъявить по первому требованию). Гаспаров-стиховед изучал (с помощью сравнительно-статистических методов) ритмику, метрику, строфику, а потом и рифмы русского и европейского стиха; он построил широкую картину эволюции его форм на протяжении трех последних столетий и пришел, в конечном счете, к грандиозной задаче: выяснить исторически сложившиеся способы связи формы и содержания в стихе — не в терминах личных впечатлений, но в терминах доказуемых и показуемых закономерностей.

После этого последовательного погружения в проблематику моих героев, проследивая эстафету вопросов и ответов, в разговор вступает автор (пятая глава). Речь идет о современном значении этой переклички идей, череды притяжений и отталкиваний длиною в век, которые были очерчены выше. Какова она — структура сегодня? Каково ее реальное или виртуальное место в современных исследованиях? Вместе с тем, филологические проблемы Jakobsona, Бахтина, Лотмана и Гаспарова переводятся в план философского обсуждения: в том числе, вопроса о статусе гуманитарного познания, о современных формах культурно-исторической эпистемологии, позволяющей соизмерять материал и проблемы, поставленные в разных терминах и в разных культурных ситуациях. При этом перенос понятий и проблем открытой структуры, перевода и непереводаемости в план соотношений философии и филологии сам по себе уже дает определенное проблемное продвижение. В Заключении разговор о философии и филологии перерастает в обсуждение возможных перспектив исследования, а в Приложении вводится эпистолярный материал, который оттеняет тонкие повороты мысли моих героев в контекстах жизненных обстоятельств. Я уверена, что в научно-гуманитарной области дальнейшее развертывание сотрудничества между философией

---

<sup>27</sup> Применительно к античному материалу Гаспаров четко различал просветительские задачи разных эпох: если в дореволюционные времена школьная программа давала знание древних языков и общее представление об античной культуре, так что читателю нужно было лишь напомнить какие-то детали, то во второй половине XX века для советского, а теперь и российского читателя (не знающего ни языков, ни античной культуры в целом) главное — получить общее представление об эпохе, к которой относится данный текст, и о специфике художественных средств, используемых автором.

и филологией — в теории и на практике — может содействовать «защите и прославлению» идеала продуктивной рациональности в научно-гуманитарной сфере. Хочу надеяться, что опыт философского разговора с филологами в свете идеи открытой структуры станет одной из вех на этом пути.

\* \* \*

Прежде всего, я хочу обратиться со словами благодарности ко всем тем, которые размышлял о проблемах структуры и структурализма, философии и филологии, о роли моих персонажей в истории познания: перечислить их всех поименно мне не позволяет формат книги. Независимо от того, соглашаюсь ли я с ними или же возражаю им, я хорошо понимаю, что без них мне не на кого было бы опереться и не от кого оттолкнуться, так что мы вместе создаем поле научно-гуманитарной рефлексии.

Эта книга не могла бы состояться без научной и моральной поддержки Владислава Александровича Лекторского, академика РАН, бессменного заведующего сектором теории познания Института философии РАН, и дружеского отношения ко мне коллег по сектору.

Елена Петровна Шумилова, заместитель директора Института высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского при РГГУ, с энтузиазмом поддержала мой замысел на стадии, когда он казался совершенно неосуществимым.

Мои дорогие друзья и коллеги Борис Исаевич Пружинин, Татьяна Геннадьевна Щедрина, Ирина Игоревна Мюрберг вдохновляли и поддерживали меня на всех этапах работы.

Виталий Львович Махлин щедро делился со мной богатствами своей прекрасной библиотеки, посвященной Бахтину.

Хенрик Бăран, ученик Якобсона и профессор университета Олбани (США), давал мне ценные советы и помогал в добывании нужных для работы книг.

Радужное семейство моего брата, Владимира Сергеевича Автономова, в любой момент было готово выслушать и душевно ободрить меня.

Участие моей дорогой дочери, Ольги Муравьевой, которая умеет огорчаться и радоваться вместе со мной, неизменно придавало мне силы.

Светлана Яковлевна Левит проявляла практическую мудрость в разрешении всех трудностей издательского процесса.

Российский государственный научный фонд оказал мне финансовую поддержку во время работы над рукописью и помощь в ее издании.

Всем им моя глубокая, сердечная признательность.

## Глава первая

# Якобсон: «linguista sum...»<sup>1</sup>

---

**П**еред нами — огромный материал; то, что будет здесь представлено, — эпизоды, относящиеся к раннему творчеству Якобсона, к различным контекстам складывания понятия структуры. Так что проблема множественного генезиса структуры возникает здесь с самого начала. Напомню: 1920—1930-е годы — это ранний период творческой жизни Якобсона, московского молодого ученого, который работал сначала в Праге, а потом (в связи с войной) в Скандинавии и в США, который всегда хотел вернуться на родину, но по тем или иным причинам не мог этого сделать (например, вернуться из Праги ему помешала резкая статья на смерть Маяковского, а дальше — были другие причины). Уже в своих ранних статьях Якобсон говорит столько разумного и полезного о культурной ситуации в славянских странах и о необходимости определенной и целенаправленной политики Наркоминдела в отношении этих стран, а также в отношении русской диаспоры, что приходится только сожалеть, что люди, от которых зависела культурная политика, этих статей не читали. Якобсон — собиратель: но не через идеологию, а через науку. Как сблизить тех, кто живет в Советской России, и тех, кто живет за ее пределами? Что сделать, чтобы они могли работать вместе? Чтобы они сотрудничали — хотя бы в пределах журнала под названием «Славянское обозрение», где Якобсон вел отдел языка и литературы? Как провести в сложной духовной и политической атмосфере свои научные замыслы — укрепить основы структурной лингвистики?

---

<sup>1</sup> Роману Якобсону принадлежит известное изречение, свидетельствующее о его универсальных филологических интересах: «Linguista sum; linguistici nihil a me alienum puto» («я — лингвист, и ничто лингвистическое мне не чуждо» или, чтобы подчеркнуть, что речь в данном случае идет не столько о лингвистике как науке, сколько о языке в разных его формах и аспектах, «я — языковед, и ничто языковое мне не чуждо»). Этими словами Якобсон завершил свой доклад в Индианском университете в 1953 году. См.: Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». Сб. статей. М., 1975. С. 228. Сама эта фраза — калька с известного латинского выражения: «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» (один из вариантов: homo sum et nihil humanum (или humani nihil) a me alienum puto).

Сейчас, кажется, трудно быть актуальнее, чем ранний Якобсон, а современная ситуация в Европе по масштабу и следствиям переживаемых потрясений напоминает 1920—1930-е годы. Якобсон не был экономическим эмигрантом, он спланировал мировое научное сообщество в виду интересов новой дисциплины, которую защищал и пропагандировал, готовил съезды лингвистов — были тогда такие энтузиасты, которые взахлеб читали друг друга, спорили. Может быть, именно поэтому новая наука сумела утвердить свои позиции.

## § 1. Язык: пестрота феноменов и общность структур

Истоком страсти Якобсона к языку была поэзия — сначала символистская, потом футуристская: обычно, говоря о литературе, он обращался к поэзии. Причина этого, однако, не совсем обычна: поэзия для него — это единственный универсальный жанр искусства. Проза существует не везде, а поэзия везде; проза — это смягченная поэзия, а поэзия прямо повернута к языку. В самом деле, обыденный разговор произволен, а поэзия подчиняется наиболее четким и строгим формальным принуждениям (ритм, звуковой строй, семантическая организация, пространственная форма — повторы, симметрии, градации, оппозиции), так что роман, например, находится как бы на полпути между полюсами — поэзией и прозой (с этой особенностью романа мы еще встретимся).

Я не буду здесь разбирать вопрос о философских пристрастиях (или хотя бы наклонностях) Якобсона — это отдельная тема. Элмар Холенштайн объединяет Якобсона и Гуссерля через понятие интенциональности, Вяч. Вс. Иванов с этим так или иначе соглашается. Кажется, когда Холенштайн писал о влиянии Гуссерля на Якобсона, он еще не знал о переписке Якобсона со Шпетом и о всей той линии, которая одновременно и подтверждает феноменологические основания некоторых якобсоновских построений, и вносит в этот вопрос иные смысловые обертоны<sup>2</sup>. Что привлекало Якобсона в Гуссерле: негативно — призыв отойти от психологизма, изучать язык как вещь среди вещей; позитивно — призыв к изучению логических структур, отношений части и целого, к построению общей грамматики, и вместе с тем — элементы телеологического подхода к языку. В этой перспективе язык во всех своих фрагментах и элементах оказывается своего рода интенциональной вещью, тем, что всегда имеет цель и значение. При этом Якоб-

<sup>2</sup> Письма Якобсона Шпету опубликованы в кн.: Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Шедрина. М., 2005.

сон видит лингвистику через призму интереса к науке вообще и к естественным наукам, в частности: можно даже сказать, что вопрос о специфичности гуманитарного познания его не интересовал.

### Зачем философу Яacobсон?

Затем, что без Яacobсона просто смешно обсуждать такие мощные современные явления, как лингвистический поворот, в котором современная философия вынуждена разбираться, выясняя его реальные истоки и познавательный смысл.

Изречение Яacobсона, которое уже приводилось, — «я языковед, и ничто языковое мне не чуждо» — это фактически определение филолога как человека, любящего язык во всех его проявлениях: будь то фольклорные речения, находящиеся на грани между языком и поэзией, типы душевных расстройств, соответствующие определенным нарушениям в функционировании языка, детский лепет или же развитые формы индивидуальной поэтической речи. Для лингвиста важно все. Во всем этом есть закономерности, которые могут и должны быть обнаружены. Яacobсон задал образцы эвристического схватывания и концептуальной артикуляции вопросов (от механизма производства звуков до самых тонких вопросов интерпретации текстов), которые потом становились важными для всех. Он формулировал проблемы так, что они потом долго звучали — его формулировки повторяли, критиковали, исправляли, но исходная отсылка к его мысли сохранялась; например, на свете нет человека, который бы писал об акте коммуникации, о структуре языка или о переводе, не обратившись мысленно к Яacobсону, который некогда сформулировал свои позиции по этим вопросам. Это делают и Умберто Эко, и Жак Деррида, и любой начинающий исследователь.

Сейчас лозунг мирового научного сообщества, конечно, междисциплинарность; он у всех на устах, но остается крайне расплывчатым: возникают области пересечений, где никто ни за что не отвечает, где интересы одной дисциплины лишь поверхностно связаны с интересами других дисциплин. А потому нам важно увидеть, как реально налаживались междисциплинарные связи, когда они еще не были лозунгом момента. Кажется, никто лучше Яacobсона не умел налаживать международные связи лингвистики с гуманитарными науками, с естественными науками, с искусством<sup>3</sup>. Так, с Нильсом Бором он проводил совместные семина-

<sup>3</sup> Яacobсон был удивительным посредником между советской Россией и русской диаспорой, между филологическим прошлым русской науки и актуальной современностью (именно он ввел в научный обиход надолго забытых Выготского



ры в Массачусетском технологическом институте, где изучались, например, принципы интерпретации в физике и в лингвистике, с Франсуа Жакобом — обсуждал возможные параллели языкового кода и генетического кода, с Клодом Леви-Стросом прорабатывал возможности распространения методов исследования языка на этнологические объекты, с Велимиром Хлебниковым<sup>4</sup>, еще юношей, говорил о современной поэзии, предлагая ему свои фольклорные находки (заговоры), которые тот прямо вставлял в свои стихи, да и сам под именем Алягрова писал футуристические стихи. Однако это не разбросанный художник: у всех его поисков есть внутренний ориентир, который позволяет им не распасться, оставаясь продвижением в определенном направлении — в выяснении того, как звук соединяется со смыслом. Тогда это вовсе не было общепринятой проблематикой: многим казалось, что лингвистика должна и может обойтись изучением форм вне смыслов, но Якобсон никогда не был сторонником такой позиции. Ориентиром для него была идея структуры и ее функционирования, в котором обеспечивается сопряженность языковых форм с реальностью, «смыкание» форм и смыслов. Этот ориентир позволил Якобсону организовать себя и охватить вполне все то, чем он в жизни интересовался.

Что такое структура и структурализм? Существуют различные способы прорастания этой идеи применительно к языку и ее различные воплощения. Но в них есть общее. Понять структуру языка — значит расчленив внешнее и внутреннее в его функционировании и очиститься от внешнего, чтобы увидеть взаимодействие опорных элементов, через которые осуществляется сам принцип смысловоразличения. В начале XX века к структурному взгляду на

---

и Бахтина). Он любил рассказывать людям о работах их коллег и тем самым — знакомил людей, никогда друг друга не видевших. Как уже упоминалось выше, Якобсон рассказывал мне о Богатыреве и о Леви-Стросе: последнего мне довелось один раз увидеть в его кабинете в Коллеж де Франс, Богатырева не видела никогда, но он останется для меня ярким персонажем — благодаря рассказам Якобсона. (Богатырев Петр Григорьевич (1893—1971) — один из основателей Московского лингвистического кружка и один из участников Пражского лингвистического кружка. В августе 1914 вместе с Якобсоном собирал фольклорные и диалектологические данные; уже в начале 1930-х годов Богатырев настаивал на применении «функционального структурализма» к этнографическим исследованиям).

<sup>4</sup> «Нас одинаково звали вперед дороги к новому экспериментальному искусству и к новой науке — звали именно потому, что в основе и того и другого лежали общие инварианты». См.: Якобсон Р. Мои любимые темы // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999. С. 80. К этому фундаментальному 900-страничному изданию, в котором, помимо материалов Международного конгресса «К 100-летию Р. О. Якобсона» в Москве (1996), опубликовано восемь текстов Якобсона (в том числе малоизвестных), мы будем здесь постоянно обращаться.

язык, несмотря на господство сравнительно-исторических исследований, приходят многие ученые. Кульминация этой линии — «Курс общей лингвистики» Соссюра: посмертно изданный учениками курс его лекций. Большая часть понятий, изложенных у Соссюра, были ранее предложены Бодуэном де Куртенэ и Крушевским (среди них — взаимосвязь системы и ее составляющих, относительный оппозитивный характер языковых единиц и др.). Позиции Соссюра, которые потом многократно оспаривались и уточнялись, предполагали ряд опорных тезисов, таких как антиномия языка и речи, синхронии и диахронии с акцентом на первые члены — на язык (речь индивидуальна) и на синхронию (только в ней можно видеть функционирование смысловых различительных единиц, организованных в систему). Затем делались архивные находки, которые каждый раз все дальше отодвигали от нас догматический образ Соссюра. Однако и поныне критика идея структуры и понятия структурализма обычно основывается на малом и упрощенном наборе жестких антиномий. За последнее время о Соссюре вышло на Западе немало интересных работ. Однако как бы ни расценивать сделанное Соссюром, конкретный, фактический анализ языков как систем оставался задачей на будущее. Эту задачу во всей ее громадности и осуществлял Якобсон. На острие его критики были в дальнейшем идеи разрыва языка и речи, синхронии и диахронии, понятие произвольности знака и ряд других. В мои цели сейчас не входит сколько-нибудь подробный анализ перипетий переосмысления научной теории. Мне важно здесь наметить лишь некоторые этапы и эпизоды в динамике мысли о структуре как фундаментальной форме поиска объективности в гуманитарном познании.

Всю жизнь Якобсон мысленно разговаривал с Соссюром, уточнял и радикально переинтерпретировал его подходы. Так, с самого начала (и потом, все тверже) Якобсон формулирует ряд тезисов, принципиально повернутых против соссюровских антиномий. Акцент на синхронии некогда был заслугой Соссюра: это позволило вынести на первый план изучение системы языка в целом и ее модификации. Однако Соссюр, разделяя синхронию и диахронию, распространял структурный подход только на синхронию и полагал, что диахрония и дальше может изучаться привычными эволюционистскими способами. Для него синхрония фактически отождествлялась со статикой, а диахрония — с динамикой, не подлежащей научному изучению. Якобсон выступает против этого отождествления синхронии со статикой и тем самым отрицает «доксу» (или «догму») структурализма. Он приводит простой пример: на экране мы видим, как лошадь бежит, клоун кувыркается. Иначе

говоря, синхрония, одновременный срез объекта, всегда полна диахронических элементов, которые синхронический подход должен учитывать. А потому, подчеркивает Якобсон, понятия систем и их изменений в социальных науках «не только совместимы, но и связаны друг с другом неразрывно. Попытки свести изменения к области диахронии глубоко противоречат лингвистическому опыту»<sup>5</sup>. Здесь Якобсон опирается на собственный опыт и на разыскания Пражского лингвистического кружка, в котором он был одним из организаторов и самых активных членов<sup>6</sup>. Все это приводит Якобсона к весьма парадоксальному (с точки зрения условного, догматичного, статичного структурализма) выводу: «...ни одно языковое *изменение* не может быть понято или проинтерпретировано безотносительно к *системе языка*, которая претерпевает это изменение, и к его последствиям в рамках этой системы; и наоборот, нельзя полно и адекватно описать язык *без учета тех изменений*, которые уже начались, но еще не завершились. Декларируемое Соссюром “запрещение одновременного исследования отношений во времени и отношений в системе” теряет свою силу. Выясняется, что языковые изменения относятся к *динамической синхронии* (курсив мой. — Н. А.)<sup>7</sup>». Эта неброская цитата имеет поистине революционный смысл, хотя и в пределах мысли о структуре. Множество критиков структурализма, и раннего и позднего, обрушивались на (соссюровскую) идею разрыва синхронии и диахронии и на трактовку синхронии как чистой статики, на концепцию языка как чистой абстракции. У Якобсона картина иная: язык, по Якобсону, вообще не является сущностью, абстрагированной от времени и пространства. Кроме этого, Якобсон подвергает критике и другие положения Соссюра: это тезис о «произвольности языкового знака» (точнее, произвольной связи означающего и означаемого в знаке: Якобсон считал, что для языковой формы важна и ее субстанция), это принцип линейности означающего (концепция фонем как пучков смысловоразличительных признаков нарушает этот принцип) и др.

Якобсон весомо задает принцип структуры, уже в 1920-е годы отказываясь от тех положений классической соссюровской позиции, которую потом слишком долго приписывали всем структуралистским концепциям в целом; он строит иную концепцию

<sup>5</sup> Якобсон Р. Из Бесед с Поморской // Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996. С. 224.

<sup>6</sup> «Выявление и интерпретацию языковой структуры в целом, или, иначе говоря, “стремление к объяснительной адекватности”» Якобсон считает основной задачей того направления «структурной лингвистики», которое сложилось в период между мировыми войнами и получило права гражданства в Праге в 1928—1929 годах. См.: Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 405.

<sup>7</sup> Там же. С. 413.

структуры, как это можно видеть уже в его работах конца 1930-х годов и в нью-йоркских лекциях начала 1940-х. Сама идея языка как структуры, как связанной системы приемов на уровне всех единиц — от мельчайших до крупнейших — направлена против царивших до того в лингвистике попыток собирать разрозненные частности, не задаваясь вопросом об их смысле. И у младограмматиков и в более поздних экспериментальных подходах к языку с его артикуляционными и акустическими свойствами вопрос об их роли и значении в более общем целом, как правило, не ставился.

Отныне главная задача исследователей — иная. Эту новую устремленность, это тяготение к структуре Якобсон видит везде, он ищет общее в пестроте различий. А потому утверждает: та буря разногласий в лингвистике, о которой пишут критики, — это лишь внешняя видимость, под которой, несмотря на все различия стилей и терминологических систем, существует глубинная общность. Вот одно из свидетельств такого восприятия познавательной ситуации: «Исследование языковой структуры является основной задачей всех направлений современной лингвистики, а кардинальный принцип такого структурного (или, по другой терминологии, номотетического) подхода к языку, разделяемый всеми направлениями лингвистики, можно определить как сочетание инвариантности и относительности»<sup>4</sup>. Обращим внимание на важное контекстуальное отождествление: Якобсон трактует структурное как «номотетическое», то есть закономерное, упорядоченное, проверяемое, имеющее свойство всеобщности. В концептуальной сетке, задаваемой неокантианским расчленением всеобщего и индивидуального, номотетического и идиографического (в разных вариантах неокантианской теории эта мысль выражалась в разных терминах), он уверенно выбирает для своего гуманитарного предмета аспект объективности и всеобщности. А также — аспект относительности: только слово «релятивный», «относительный», которое было тогда у всех на устах, трактовалось в то время без тех релятивистских призывов и коннотаций, к которым мы теперь привыкли. Релятивность или относительность — это готовность учитывать неабсолютность, несамодостаточность, несамотождественность признаков, качеств и ценностей, их соотносительность с другими признаками и качествами в условиях изменяющихся координат — пространственных, временных, культурных, мировоззренческих.

Это рассуждение Якобсон выводит на уровень практической эпистемологии. Первый этап исследования структуры, так или иначе, заключается в «проникновении во внутренние связи и в сугубо относительный и иерархический характер всех составляющих этой

---

<sup>4</sup> Якобсон Р. Избранные работы. С. 405.

структуры»<sup>9</sup>. Но это не конец задач, стоящих перед исследователем: ему предстоит также описать общие законы, управляющие разными языковыми системами и, в конце концов, — обнаружить взаимосвязи между этими законами. При этом для нас особенно важно, что яacobсоновские представления о структуре никогда не ограничивались механистической и формальной фиксацией некоторых, пусть весьма существенных, связей. Редкое сочетание свойств ученого и художника позволяли ему смотреть на языковую структуру одновременно как на самую совершенную структуру в человеческом мире, доступную научному постижению (главными заботами здесь были строгость описания и корректность обобщений), и как на чудо, рождающее другие чудеса — фольклор, поэзию. Открытая в первой половине XX века в лингвистике структурность ее объекта и нахождение адекватных процедур для ее описания отныне давали и другим областям гуманитарного знания и культуры новые перспективы и прежде всего — шанс стремиться в исследовании к тому уровню объективности, которого лингвистике удалось достичь первой.

### Жизнь и достижения

Траектория жизни и направленность интересов сделала Яcobсона одним из основоположников сразу нескольких национальных школ структурной лингвистики — Московской, Пражской, Копенгагенской (иностраный член), Гарвардской. Определяющую роль в становлении его как ученого сыграл ранний русский период его творческой биографии, когда он стал одновременно организатором и участником двух важнейших институциональных образований — председателем Московского лингвистического кружка (с 1915 по 1920) и активным членом Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ) в Петербурге (с 1916). В Чехии, куда Яcobсон переехал в 1920 году, он вместе с Н. Трубецким, С. Карцевским, В. Матезиусом формулирует «тезисы Пражского лингвистического кружка». Этот текст стал общей программой пересмотра идей соссюровской лингвистики и разработки функциональной концепции, или «целевой модели» языка<sup>10</sup>. Оккупация Чехословакии фашистскими войсками заставляет Яcobсона переселиться в северную Европу (он работает, в частности, читает лекции,

<sup>9</sup> Яcobсон Р. Избранные работы. С. 405.

<sup>10</sup> Организатором ПЛК был В. Матезиус, а участниками — Б. Трнка, Б. Гавранек, В. Скаличка, Я. Мукаржовский и др. До оккупации Чехословакии вышло восемь томов Трудов Кружка, ставивших общелингвистические, фонологические, славянские вопросы и приобщавшие к идеям Кружка мировую лингвистическую общественность.

в Копенгагене, Осло и Упсале<sup>11</sup>), а после войны пересечь — в США, где он преподает сначала в Колумбийском, а позднее в Гарвардском университете, организует обучение и исследования в области общего языкознания и славянской филологии. Параллельно Jakobson преподавал в Массачусетском технологическом институте, где изучал общее в анализе языка и физических объектов. С 1956 года Jakobson начинает вновь бывать в Советской России, куда всегда стремился: он участвовал в работе Международного комитета славистов, готовившего международные конгрессы, привозил новые идеи и книги, интересовался всем, что делалось в России — и в обществе, и в научной жизни. В 1979 году он в последний раз приехал в Россию — в связи с международным симпозиумом по проблеме бессознательного в Тбилиси.

В чем заключаются главные достижения Jakobsona? Их много, некоторые формулируются в достаточно специализированном языке, я перечислю здесь лишь некоторые. Среди его достижений — учение о фонеме как совокупности смысловоразличительных признаков; построение исторической фонологии, запечатлевшей такую парадоксальную вещь, как «динамическая синхрония»; учение о грамматических значениях, сочетающих общее и контекстуальное, инвариантное и вариативное; осмысление коммуникативного акта в содружестве ряда инстанций и ряда функций, учение о грамматике поэзии и др.

При этом фокус внимания Jakobsona (в отличие от крайних формалистов и от американских дескриптивистов) — звуки с точки зрения функций, определяющих значение. Весь пражский период жизни Jakobsona был посвящен изучению системы фонем. В середине 1930-х годов Jakobson открыл бинарные оппозиции (двоичные противопоставления) знаковых признаков как лежащие в основе каждой фонологической системы. В марте 1938 года он доложил в ПЛК идею разложения согласных на более мелкие оппозиции и идею фонемы как сочетания нескольких различных признаков; это открытие, закрепленное в 1939 году на III Международном фонетическом съезде, положило начало современной фонологии. Предметом исследования и основной идеей становятся отныне не звуки и даже не фонемы в целом, но их мельчайшие составляющие, элементарные единицы, организо-

---

<sup>11</sup> В Дании Jakobson устанавливает дружеские отношения с Луи Ельмслевом и членами Копенгагенского лингвистического кружка, созданного по образцу Пражского. В Норвегии он сотрудничает с известным специалистом по общему языкознанию и кельтологии Альфом Соммерфельдом, вынашивая идею создания фонологического атласа Европы (осуществлению этой идеи помешала война). В Швеции совместная работа с врачами-афазиологами позволила Jakobsonу в течение года закончить книгу о детском языке, афазии и общих звуковых законах.

ванные в бинарные оппозиции и осуществляющие работу смысла-различения. Количество звуковых элементов, способных к различению смыслов, в разных языках мира ограничено, а потому, считает Якобсон, можно составить фонологический атлас языков Европы и мира. В целом, не все ученые соглашались переходить в языковом описании с уровня фонем на уровень различительных (дифференциальных) признаков (подчас, особенно в случае с гласными, двоичные разбиения не всегда оказывались удобным средством описания)<sup>12</sup>. Однако при всех возражениях и позднейших уточнениях это не умаляет той огромной роли, которую сыграла в развитии структурной фонологии якобсоновская концепция универсальных акустических признаков<sup>13</sup>.

Важным шагом был перенос структурных принципов в область морфологии. Так, Якобсону удается описать общие значения падежей на основе принципа бинарных оппозиций. Возражения против поиска общего значения падежа обычно делаются при таком понимании идеи синхронии, когда кажется, будто словоформы существительных целиком сводятся к их синтаксическим ро-

<sup>12</sup> См. об этом подробнее: *Кодясов С. В.* Судьба теории универсальных различительных признаков // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 424—431. В наши дни, отмечает этот исследователь, фонемы трактуются уже не только как совокупности дифференциальных признаков, но фактически как еще более сложная многокомпонентная структура. Дело в том, что в различных языках удельный вес того или иного отдельного параметра может меняться в зависимости от общей совокупности учитываемых параметров (так, например, при анализе артикуляции взрывных согласных по глухости/звонкости могут учитываться также напряжение голосовых связок, определенная позиция гортани, напряженность и длительность ротовой артикуляции и др.). Это и есть принцип многокомпонентности в действии.

<sup>13</sup> Уже в Скандинавии Якобсон смог связать открытую им иерархию фонологических признаков с материалами по развитию детского языка и по афазии (поражение речевых зон коры головного мозга, вызывающее утрату языковых функций): оказалось, что механизмы приобретения языка и его утраты во многом сходны и к тому же связаны с законами универсального развития языка. Выше уже отмечалось, что в 1939—1941 годах Якобсон вел наблюдения, с одной стороны, над становлением детского языка, с другой — над явлениями языковых нарушений; результатом этих наблюдений стала книга «Детский язык, афазия и общие звуковые законы». В итоге основные механизмы бинарных противопоставлений (такие, как кодирование — декодирование, синтагматика — парадигматика, смежность — подобие), которыми пользуется лингвистика, помогают понять механизмы речевых нарушений и наиболее эффективно лечить их. При этом Якобсону удалось свести шесть типов афазии, описанных Лурией, к трем дихотомиям и построить их лингвосемиотическую интерпретацию. Ученые следили за работами друг друга, а с 1956 года, когда Якобсон стал регулярно бывать в СССР, встречались. Ср.: *Ахутина Т. В.* Роман Якобсон и развитие русской нейролингвистики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 382—404. Как отмечает Т. В. Ахутина, общий принцип соотношения лингвосемиотических и нейропсихологических параметров, остается в силе, несмотря на сделанное впоследствии более четкое разграничение типов афазии по их источнику и проявлениям.

для и никакой собственной семантики не имеют. Однако история языка рельефно показывает наличие семантических значений, воспроизводящихся при всех изменениях. Этот тезис очень важен при анализе языковой семантики и, особенно, — при интерпретации вербальных произведений искусства. Важным методическим моментом было при этом введение корреляции маркированность/немаркированность (или, иначе, признаковость/беспризнаковость) при описании грамматического смысла падежей и других грамматических категорий. Сделанное Якобсоном в 1957 году описание глагольных категорий (на материале русского глагола) дало принципиальную возможность аксиоматически задавать набор элементарных значений, из которых в принципе могут быть получены категории всех языков мира. Для описания и объяснения функционирования языка Якобсон взял у Есперсена понятие шифтера<sup>14</sup>: это глагольный или местоименный элемент (обычно первого или второго лица), который обозначает связь сообщения с актом речи<sup>15</sup>.

1950-е годы — это новый этап сближения лингвистики с точными науками посредством теории информации и понятия кода (или такого способа представления информации, который позволяет передавать ее по каналам связи в виде сообщений — последовательностей сигналов). При этом Якобсон идет во главе лингвистов, устремляющихся на встречу другим гуманитариям (прежде всего — представителям этнологии или культурной антропологии), которые изучают различные типы обменов в обществе. В результате ряда встреч лингвистам и этнологам удалось выработать общую терминологию, а также очертить контуры общей науки о коммуникации, которая бы использовала теорию информации, опираясь на конкретный материал. При этом якобсоновский интерес к био-

<sup>14</sup> Е. В. Падучева, например (см.: *Падучева Е. В.* Лексика поэзии и поэзия лексики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 552—568), считает, что учение о шифтерах выводит нас за пределы структурализма. Однако согласиться с этим можно лишь при редукционистской трактовке структурализма: ведь сама ситуация речевого акта, предполагающая обращение к шифтерам, может осмыслиться только в связи с языковой структурой и на фоне ее закономерностей. С этим согласны и некоторые другие исследователи (см.: *Зайцева В. А.* Шифтеры Якобсона и речевые акты // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 508—518); шифтеры вводят в описание языков и их структур указания на речевую ситуацию, подчеркивая тем самым связь между внутренними аспектами языка и экзистенциальным, внелингвистическим характером речевой ситуации. Некоторые исследователи считают роль шифтеров аналогичной введению позиции наблюдателя в познание физического мира.

<sup>15</sup> Проблемы, пограничные между лингвистикой и психиатрией, Якобсон рассматривает на примере душевно больного Гёльдерлина: его стихи периода боля или полностью лишены шифтеров, показателей первого и второго лица, что свидетельствует об утрате способности к диалогической речи. См.: *Якобсон Р.* Взгляд на «Вид» Гёльдерлина // *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987. С. 364—386.



логическим истокам языка, со временем усиливавшийся, не отрицает в его мысли внимания к социальным предпосылкам языков. Так, Якобсон говорил о грядущей эре семиотики задолго до ее наступления; он считал семиотику средством, способным показать специфику языка на фоне других знаковых систем и вместе с тем обнаружить связи языка с другими знаковыми системами.

Большую известность приобрела якобсоновская формула коммуникации, представленная им в докладе «Лингвистика и поэтика»<sup>16</sup>. Она соединяет шесть функций языка с шестью инстанциями речевого акта: это установка на отправителя (эмотивная, нацеленная на самовыражение), на адресата (конативная, вызывающая у адресата определенное состояние), на само сообщение (поэтическая), на систему языка (метаязыковая), на действительность (референтивная, денотативная или когнитивная), на сам контакт между отправителем и получателем (фатическая). Поэтическая функция занимает в этой развернутой схеме особое место. В целом поэтика занимается изучением речевых структур и составляет часть лингвистики как общего учения о речевых структурах. Поэтому поэтику нельзя отрывать от лингвистики, утверждает Якобсон, и это утверждение имеет большое значение для нашего понимания задач изучения литературы, в том числе самой современной. Те, кто отрывает язык от литературы, как правило, трактуют его как набор грамматических структур вне связи с семантикой, либо как набор средств означивания без учета их контекстуального варьирования. Особенностью поэтического произведения, уточняет Якобсон, является то, что отношения элементов на оси селекции (различие, подобие, эквивалентность) просцируются на ось комбинации и тем самым различные элементы в последовательности (например, стиховые элементы в строке) приобретают свойство взаимозаменимости. Это и обеспечивает новое понимание языка поэзии.

В последние годы жизни Якобсона интересовали проблемы языка и мозга (в этой связи он изучал работы Х. Джексона о функциях двух полушарий), проблема языка и бессознательного и др. Якобсоновский доклад о бессознательном на Тбилисском симпозиуме в 1979 году (где огромная аудитория Тбилисского дворца шахмат устроила ему стоячую овацию) продолжал его ранние размышления о роли бессознательного в функционировании языка: Якобсон ссылаясь здесь на своих предшественников — Бодуэна де Куртенэ и Крушевского, но также Сепира и Боаса, учитывавших действие бессознательных сил (привычка, забвение,

<sup>16</sup> Она пересматривала существующие модели коммуникации: соскьюровскую, двучленную, и бклеровскую, трехчленную. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193—230.

непонимание), их положительную роль в функционировании языка. Представлениям о полностью бессознательном функционировании языкового механизма противостоит у Якобсона действие так называемой «метаязыковой» функции, которая предполагает частичное осознание языковых механизмов и тем самым сужает область привычного и автоматического. В своем тбилисском докладе Якобсон формулирует «принцип связи» сознательного и бессознательного: он утверждает, что воздвигаемая на его основе «теория целостной системы отношений между сознанием и бессознательными психическими переживаниями сулит в плане языка новые перспективы и неожиданные находки»<sup>17</sup>. Между Жаком Лаканом, стремившимся переосмыслить бессознательное на лингвистической основе, и Романом Якобсоном, вволившим в мысль о языке параметры функционирования бессознательного, явно существовали моменты проблемной взаимообращенности.

Якобсон был убежден, что наука о языке занимает совершенно особое место среди всех других наук: все они предполагают те или иные формы языкового представления опыта и требуют контроля за мерой соответствия между описываемыми объектами и средствами их языкового представления. Тем самым складываются условия для продуктивной взаимозависимости: любая наука требует обращения к науке о языке, а наука о языке заботится о том, чтобы квалифицированно расширять сферу действия своих аналитических операций<sup>18</sup>.

Важнейшую роль в творчестве Якобсона, как представляется, играла идея целого, не тождественная идее структуры, но нередко сопутствующая ей. Представляется, что Целое не всегда значит у Якобсона «целостное»<sup>19</sup>. Удивительно, насколько четко он держал в сознании (это ярко видно хотя бы по последней его крупной работе — совместной с Линдой Во<sup>20</sup>) все аспекты своей широко раскинувшейся лингвистической концепции, насколько ему удавалось увязывать все в единство, даже если он не всегда мог указать конкретные реальные пути связи явлений. Всюду мы видим эту общую тенденцию: все держать в поле сознания, в общем

<sup>17</sup> Якобсон продолжает свою мысль так: «разумеется, при условии подлинного и последовательного сотрудничества между психологами и лингвистами, направленного к изжитию двух горючящих помех — терминологической неувязки и упрощенного схематизма». См.: Якобсон Р. К языковедческой проблематике сознания и бессознательного // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Т. III. Тбилиси, 1978. С. 166. (Некоторые изменения в переводе цитаты сделаны мною. — Н. А.)

<sup>18</sup> Якобсон Р. Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Якобсон Р. Избранные труды. С. 404.

<sup>19</sup> На идею целого и части, а также на принцип построения логической грамматики Якобсон обратил внимание прежде всего в работах Гуссерля.

<sup>20</sup> Jakobson R., Waugh L. R. The Sound Shape of Language. Brighton, 1979.

горизонте, можно сказать, в горизонте целостности<sup>21</sup>. В трактовке проблемы целостности у Якобсона я отчасти расхожусь с теми западными исследователями, которые относятся к ней с подозрением как к метафизическому пережитку, априорно предвосхищающему научный поиск. Думаю, дело тут не столько в навязчивом поиске симметрий<sup>22</sup>, сколько в интуиции единства мира, которая вовсе не подменяет собой структуру как научное понятие: структура и целостность существуют на разных уровнях<sup>23</sup>. Интуиция целостности у Якобсона позволяла мобилизовывать другие части его собственного опыта для решения той или иной конкретной задачи, она обеспечивала эффект опережения наличного уровня гуманитарного познания и прорывы к новому взгляду на вещи. Целое здесь, как мне представляется, не есть романтический предрассудок или небрежность языка, не способного стать более точным, но постоянно присутствующий индикатор организующей работы интуиции. По-видимому, эта окрыленность целым позволяла Якобсону, всегда следующему собственным интересам, вовлекать в общее дело других людей. Этому способствовала и его собственная страстная увлеченность работой, экзистенциальный смысл всего того, что он делал. Удивительным свойством Якобсона была установка на строгость и точность и одновременно — эмоциональный темперамент увлекающейся художественной натуры<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> При этом Якобсон неоднократно ссылался на Гегеля: «истина — целое».

<sup>22</sup> Ср.: *Milner J.-C. A Roman Jakobson, ou le bonheur par la symétrie // Idem. Le périphe structural. Figures et paradigms. Paris, 2002. P. 131—140.*

<sup>23</sup> В этом моменте нельзя не согласиться с В. Н. Топоровым: «Чуткий к идеям своего времени, эрудит удивительной широты, улавливающий с точностью сейсмографа минимальные сдвиги в концептуальном пространстве науки, Роман Осипович не занимался обобщением достигнутого наукой. Но шел всегда на ее опережение, шел смело вперед сквозь уже достигнутое, преодолевая его, открывая новое и соединяя доселе разрозненное. Среди многих и разнообразных дарований Якобсона особо стоит выделить два — дар открывателя врат и дар соединителя. Собственно говоря, это — двуединый дар, ибо на смысловой глубине открытие — нахождение — порождение всегда сопричастно соединению, более того, оно само — соединение через индивидуацию, соединение не в статике, но в упреждающей динамической перспективе, в которой все ориентирует на целое в его самовозрастающем и самоуглубляющемся движении. А гениальная интуиция такого целого была несомненно свойственна Якобсону» *Топоров В. Н. Вступительное слово на открытии Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону» // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. XXI.*

<sup>24</sup> Якобсон являл собою «чрезвычайно редкое сочетание: стремление к максимальной точности и методологической верности гармонично сосуществовало с несколько не скрываемой эмоциональностью, увлеченностью»; «Научные проблемы — и большие, имеющие принципиальное значение, и малые — всегда представляли для него глубоко личный интерес, <...> имели для него экзистенциальный смысл». *Гловински М. Р. Якобсон в Польше // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 260.*

Для подведения итогов этого обзора предоставим слово В. Н. Топорову:

«Якобсону в большей степени, чем кому-либо иному, удалось связать разные науки гуманитарного цикла в общегуманитарно-научное целое, породив в нем усиленное движение идей.

Якобсон более других сделал для органического и плодотворного сближения гуманитарных наук с точными науками и науками естественно-природного цикла.

Якобсон не только посвятил много сил исследованию сферы художественного творчества, будь то изящная словесность, живопись или музыка, но и поставил вопрос о связи сфер научного и художественного, наметив основания для их корректного соотношения <...>».

Это слова из вступительного доклада В. Н. Топорова, произнесенного им на открытии Московского конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения Якобсона<sup>25</sup>. Что это — приличествующий случаю панегирик, риторическое преувеличение? Нет, Топоров очень точен, он взвешивает каждое слово. Каковы итоги освоения якобсоновского наследия, можно ли сказать, что все освоено? Да нет, конечно: сейчас лишь завершается первый этап его освоения, когда все ухватывали отдельные фрагменты его обширного наследия, не соотнося частное с целым; в новом тысячелетии, осваивающем проблемы языка и бессознательного, аналогий лингвистического и генетического кода, Якобсон, хочется надеяться, будет востребован шире и воспринят полнее<sup>26</sup>.

Его идеи настолько вплетены в контекст нашей нынешней интеллектуальной жизни, что нам трудно даже «выделить в этом „общеизвестном“ ту долю, которую внес в него Роман Осипович и которая так органически стала нашей, что мы можем и не помнить о том, кому мы обязаны этой теперь уже неотъемлемой от нас интеллектуальной собственностью»<sup>27</sup>. Среди блестящих ученых-гуманитариев XX столетия именно Якобсон — «человека века», связывающий в целое его разнородные проявления. В наши дни, в обстановке размыwania всех

<sup>25</sup> Топоров В. Н. Вступительное слово на открытии Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону». С. XXII.

<sup>26</sup> При этом он и сам может стать объектом изучения жизненного творчества: в самом деле, как можно было успеть так много? Способ работы Якобсона предполагает периодическое возвращение циклов тем. Он умел экономить время: предпочитал малые жанры, обеспечивающие динамику и оперативность, остроту постановки проблем, искал оптимальной организации научных прорывов, чтобы разом можно было прояснить сразу несколько проблемных узлов. При этом он каждый раз стремился не терять из виду (или как можно быстрее восстанавливать) контуры целого.

<sup>27</sup> Топоров В. Н. Вступительное слово на открытии Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону». С. XXI.

познавательных критериев в идее междисциплинарности важно показать, как складывались научные дисциплины, и поставить вопрос о том, каков их потенциал, наследие и ресурсы. XX век был веком если и не количественного преобладания, то, по крайней мере, повышенного идейного веса того, что называлось системно-структурными методами. И одновременно — периодами угасающего и вновь возгорающегося интереса к научности гуманитарного познания, его объективности и рациональности. Сейчас это может показаться лишь областью воспоминаний, а потому требуется тщательное изучение того, что ушло, что осталось, что перешло из XX века в новое тысячелетие.

В данном случае я выбираю для анализа те аспекты творчества Якобсона, которые меньше изучены, но представляют большой интерес — как для понимания его собственной эволюции, так и для осмысления механизмов гуманитарного познания в различных идеологических и социально-культурных контекстах. Все это относится в основном к начальному этапу структурализма — к моменту рождения и укрепления идеи структуры. Обращение к наследию Якобсона не только свидетельствует о том, сколько в его творчестве неиспользованных, но принципиально важных (в том числе, и для философа) тем, мотивов и подходов, которые выходят за пределы одной науки и требуют дальнейшего рассмотрения. Оно дает редкий материал для истории и философии науки, демонстрируя разнообразные и весьма интересные случаи взаимодействия науки и идеологии по линиям скользящих границ и разломов, способы кристаллизации главных идей, выживание идейных ядер в разных контекстуальных преломлениях — словом, все то, без чего философия, изучающая человеческое познание, останется оторванной от реального познавательного опыта.

Отдельные параграфы этой главы о Якобсоне будут посвящены ранним формулировкам структуралистской программы в парадоксальных контекстах: анализу двух разных программ обоснования славистики, выдвинутых в Праге (1929) и в Гарварде (1953), изучению контекста формирующейся науки на примере журнала «Славянское обозрение» — колыбели научных идей и дипломатических надежд в период между войнами<sup>28</sup>; «евразийской лингвистике» как одному из вариантов мысли о структуре языка и культуры. Мы увидим ту развилку пути, на которой идея структуры в гуманитарных науках XX века имела разные возможности

<sup>28</sup> Среди редких работ отмечу: *Olinheiser I. Die Mittlerrolle der Slavischen Rundschau (Prag 1929–1940) — eine Anregung für heutige Slawisten // Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 1995. № 3. März; Zeit W. Slawistik an der deutschen Universität Prag (1882–1945). München, 1995; Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart. Innsbruck, 1996.*

дальнейшего использования, и тот выбор, который привел к концепции Леви-Строса, применявшего якобсоновские принципы структурного анализа языка в области антропологии, к дальнейшим перипетиям французского структурализма. В наши дни, когда формируется новый импульс интереса к структурным и структурирующим закономерностям в гуманитарных науках и социальных практиках, это прошлое вновь становится актуальным.

## § 2. Структурализм и славистика в двух идейных конъюнктурах

### Программная статья

Речь здесь пойдет о давней и на долгое время забытой статье Якобсона «О современных перспективах русской славистики»<sup>29</sup>. Она была напечатана в одном из программных номеров немецкоязычного журнала «*Slavische Rundschau*» («Славянское обозрение»), издававшегося в период с 1929 по 1940 гг. в Берлине, а затем в Праге. Целью журнала был экспорт славянских культурных ценностей в «романо-германский» мир<sup>30</sup> (этот журнал до

<sup>29</sup> *Jakobson R. Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik // Slavische Rundschau*. 1929. Jg. 1. № 8. P. 629—646. [далее для краткости — “Voraussetzungen”]. Первоначально статья была заказана Трубецкому, однако он ненавидел публицистику и порекомендовал работу Якобсону. См.: Письмо Н. Трубецкого Р. Якобсону от 16 апреля 1929 года // *Trubetzkij N. S. Letters and Notes / R. Jakobson, ed.* Amsterdam, 1985 (1 ed. The Hague, 1975). P. 122. Якобсон не включил эту статью в свое англоязычное Собрание сочинений; ее републиковал на немецком языке Э. Холенштайн (*Jakobson R. Semiotik. Ausgewählte Texte 1919—1982 / Hrsg. von E. Holenstein.* F. u. M., 1988). Русский перевод статьи был сделан Д. П. Баком и опубликован в кн.: Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 38—44.

<sup>30</sup> «Славянское обозрение» (*Slavische Rundschau*), Берлин — Прага, 1929—1940. Роман Якобсон был одним из инициаторов его создания и руководил в нем отделом лингвистики. Журнал был информатором о научной и культурной жизни славянских стран для Запада и одновременно — трибуной обсуждения западной славистики. Поначалу журнал выходил в издательстве «Вильгер де Гройтер» в Берлине и Лейпциге, затем к этому добавляется гриф «Немецкого общества славянских исследований» в Праге, далее журнал предстает уже *только* как орган Немецкого общества славянских исследований, вслед за этим (в ситуации, непосредственно предшествующей фашистской оккупации Чехословакии) — как орган Славянского института в Праге, а в 1940 году он становится журналом о «совместной жизни славян». Тем самым германо-славянское научно-издательское мероприятие становится в итоге чисто славянским. Уже по одной только смене и дающего «Славянское обозрение» органа видно, как радикально менялась в этот период политическая конъюнктура в центре Европы. Подробнее о содержании и установках журнала речь пойдет в следующем параграфе данной главы.

сих пор остается очень мало изученным элементом контекста; подробнее о содержании и идеологических принципах журнала — в следующем параграфе). В этой статье Якобсона очерчивается фундамент структуралистских идей и вместе с тем предлагается концепция «русской науки» как среды возникновения этих идей. И эти аспекты не вполне соотносятся друг с другом. Статья была написана к Первому международному славистическому конгрессу 1929 года в Праге. Она вышла на немецком языке и была посвящена пропаганде рождающихся структуралистских идей перед лицом международного сообщества<sup>11</sup>. Проследив логику якобсоновского обоснования структурализма на рубеже 1920—1930-х годов, я сопоставляю ее с логикой другой программы — обоснования славистики, построенной Якобсоном в США и опубликованной уже в начале 1950-х годов; она появилась в первом номере нового журнала американской славистики — «Harvard Slavic Studies»<sup>12</sup> (1953). Проблемой для эпистемологии и философии науки является в данном случае устойчивость научной программы — развития славистики на путях структурализма — обосновываемой в разных геополитических условиях различными и даже диаметрально противоположными идеологическими доводами.

Как отмечает известный швейцарский исследователь Якобсона Элмар Холенштайн, впервые републиковавший эту статью, под ее неприметным заглавием скрывается важный в историко-научном и культурно-историческом отношении документ времени. Статья претендует на обоснование структурализма (первое употребление термина у Якобсона), структуральной науки и одновременно — на обоснование того, что Якобсон называет «русской идеологической традицией». Вопросы теоретические и вопросы практико-политические в ней перекрещиваются. «Славянская солидарность» не может обосновываться генетически, но она может существовать как лозунг в процессе национального самоопреде-

<sup>11</sup> Вариантами обсуждения этой тематики — генезиса структуралистских идей в Европе в период между двумя войнами, а также разных типов обоснования славистики — были мои выступления на двух посвященных 100-летию Якобсона конгрессах осенью 1996 г. См.: *Автопотома Н. Роман Jakobson: deux programmes de fondation de la slavistique // Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL). 1997. № 9. P. 5—18. (Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939 / Ed. par F. Gadet et P. Sériot); Автопотома Н. С., Гаспаров М. Д. Якобсон, славистика и евразийство: две конъюнктуры, 1929—1953 // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 334—340.*

<sup>12</sup> *Jakobson R. The Kernel of Comparative Slavic Literature // Harvard Slavic Studies. 1953. Vol. 1. Cambridge, Mass. P. 1—71; см. также: Jakobson R. Selected Writings. Vol. VI. 1985. P. 1—64. (Рус. пер.: Якобсон Р. Основа сравнительного славянского литературоведения // Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 23—79.)*

ления<sup>33</sup>. Таким образом, позиции Якобсона, ратующего за структурализм, — это не чисто научные установки: они вплетены в толщу культурных и идеологических взаимодействий.

В этот период Якобсон верил, что культурные и одновременно экономические интересы «настоятельно требуют» сплочения славянских стран вокруг России. Как мы знаем, после Второй мировой войны программа Якобсона реализовалась, но совсем не так, как он, по-видимому, это себе представлял. Это разочарование могло быть поводом для того, чтобы не перепечатывать статью во время его жизни. Однако он предполагал опубликовать отдельные фрагменты этой статьи — в частности, те, которые относились к культуре России и Евразии, к методологической проблеме «структурного целого» как системы взаимосоотнесенных рядов, связанных не каузально-генетически, а функционально, в духе закономерной имманентной эволюции. Такая телеологическая позиция представлялась Якобсону ярким выражением русской идеологии в ее своеобразной структуралистской ориентации<sup>34</sup>.

Этот тезис может показаться абсурдным. Структурализм как собственная специфика русской мысли? Достоевский и Николай Федоров как предтечи структурализма?

В статье Якобсона пересекаются три рода проблем. Во-первых — лингвистические и культурологические, связанные с обоснованием славистики, с достижением ею научного уровня. Именно отношение к славистике стало отличительным признаком позиции Якобсона в 1929 году — решающем для судьбы евразийства, когда Трубецкой официально порвал с евразийским движением<sup>35</sup>. Во-вторых, это проблемы рождения структурализма и необходимость пропаганды структуралистских идей на Западе. В-третьих, это проблемы русистики в контексте «русской духовной традиции».

<sup>33</sup> Ср.: «...славянские вопросы — межславянская солидарность и сближение славян, а также отношения между двумя конкретными славянскими народами — могут быть полностью отвлечены от генетических разысканий, рассмотрены как произвольные прагматические понятия [Zweckbegriffe], аналогичные, скажем, понятию национального самоопределения». Якобсон Р. Современные перспективы русской славистики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 28.

<sup>34</sup> Ср.: «Русскому духовному воззрению свойственно преобладание вопроса «для чего?» над «почему?» <...> Красной нитью проходит через историю русской натурфилософии антидарвинистская тенденция; помимо неразрывно связанного с российской наукой немца Бэра, достаточно сослаться на аргументацию Данилевского, Страхова, Вавилова, Берга, которая сегодня оформилась в гармоническое, в совершенстве развившее идею целесообразности универсальное учение о номогенезе». Там же. С. 24.

<sup>35</sup> Письмо Трубецкого, в котором он официально объявлял о своем выходе из евразийской организации, было написано в декабре 1928 и опубликовано в начале 1929 года. Причины выхода из организации для него связаны с невозможностью преодоления различия мнений, с заменой аутентичного евразийства другими его версиями — а именно, марксизмом, федоровским проектом «философии общего дела» и др.



В обсуждении всех этих проблем у Якобсона научные события, как уже отмечалось, переплетаются с идеологическими и политическими. Якобсон как главный автор-лингвист «Славянского обозрения» стремится использовать эту трибуну для достижения нескольких целей. Он подчас пишет так, словно верит, что к его доводам прислушаются одновременно в Москве, в Берлине, в Париже. Именно Берлин, где находились поначалу главные издатели «Славянского обозрения», и Париж, где находились главные авторитеты и оппоненты русских и пражских лингвистов (прежде всего в лице великого индоевропеиста Антуана Мейе), — это места, в которых живут главные читатели и судьи текстов, публикуемых авторами «Обозрения». Этим людям нужно убедить в том, что пропагандируемый структурализм — это не чудовище, повелевающее сбросить с «корабля современности» все прошлое<sup>16</sup> — такой тезис мог бы лишь отпугнуть исследователей от новой теоретической позиции, впервые защищаемой в журнале в качестве «структурализма». Сторонники новой науки не отвергают, а, напротив, включают в свои теоретические построения все культурные ценности — в ней найдется место и Достоевскому, и Данилевскому.

Судя по заглавию статьи, ее тема — это именно «русская славистика». Однако если учесть, что статья писалась в Праге в расчете на участников Международного конгресса славистов в 1929 году, становится ясно, что она должна была осветить то положение дел в международных научных кругах, которое было характерно для данного периода. По сути, имена славистов, которых упоминает Якобсон, — это его соратники, ученые его поколения. Те факты, о которых идет речь в статье, относятся либо к его воспоминаниям о годах учения, либо к современной ему западной ситуации, но никак не к Советской России. Например, Якобсон жестко критикует изучение «славянских древностей» за архаичность методов и скудость результатов, тогда как в Москве этого периода никакого центра изучения «славянских древностей» не существовало<sup>17</sup>. «Славянская филология и славянские древности» — так реально назывался предмет и соответственно профессорский пост Трубецкого в Вене. Можно предположить, что Якобсон имеет в виду книгу Зденека Неедлы «Славянские древности», которая стала энциклопедией археологии древних славянских народов. В годы учения Якобсона эта книга еще была новинкой, од-

<sup>16</sup> В футуристском манифесте Велимира Хлебникова «Пощетина общественному вкусу» (1912) был призыв «сбросить Пушкина и Толстого с корабля современности».

<sup>17</sup> Ср.: «...вряд ли будет преувеличением сказать, что изучение славянских древностей — лингвистических, литературных, социально-культурных — вплоть до настоящего времени в большинстве случаев занимает более важное место, чем исследование современных славянских народов, их языков, культурной и общественной жизни». Якобсон Р. Современные перспективы русской славистики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 30.

нако в период между войнами Неедлы уже стал маститой фигурой в чешской славистике. Можно думать, что Якобсон чешского периода видит в подобных ретроспективно заостренных подходах тормоз для новой структуралистской ориентации. Главной научной задачей момента становится для него искоренение господства «генеалогизма»<sup>38</sup> в пользу структурального метода, ориентированного, прежде всего, на изучение синхронного среза языковых процессов, и соответственно иной истории — истории как динамической синхронии.

Для Якобсона славистика — это слабое звено русской науки. В ней нет общих и общепризнанных методов, она бессистемна, эклектична, лишена концептуального свособразия, не имеет согласованно работающих исследовательских коллективов; что же касается славистов, работающих за рубежом, то они оказываются отрезанными от насущных потребностей своего времени. Образцом для неразвитой славистики Якобсон считает русистику, а также — русскую византистику и ориенталистику<sup>39</sup>. Славистика, по Якобсону, должна научиться соединять различные подходы (географические, этнографические, исторические, лингвистические, литературоведческие), представляя свой объект — вслед за уже существующей и продвинувшейся по этому пути русистикой — как структурную целостность<sup>40</sup>.

Какие области, наряду с византистикой, Якобсон считает наиболее методологически продвинутыми? Прежде всего, это гео-

<sup>38</sup> Ср.: «Именно в русской науке с ее структурными и телеологическими устремлениями присутствуют методологические предпосылки для рассмотрения славянства (и, соответственно, конкретных межславянских отношений) не только как проблемы генеалогической, но и в качестве некоего целенаправленного процесса [Zielstrebigkeit], с одной стороны, а с другой — в качестве факта, требующего структурального анализа — как в современном срезе, так и в историческом». Там же. С. 30.

<sup>39</sup> Наверное, это все же преувеличение; единственным примером этой тенденции может послужить Н. Кондаков, византист-энциклопедической эрудиции, который иммигрировал в Прагу вместе со своими учениками и тем самым превратил этот город во всемирный центр византистики; см. об этом в работах Е. П. Аксеновой (Аксенова Е. П. Институт им. Н. П. Кондакова: попытки реанимации (по материалам архива А. В. Флоровского) // Славяноведение. 1993. № 4. С. 63–74) и Л. Рейнлендера (Rheinlander L. Exiled Russian scholars in Prague: the Kondakov seminar and Institute // Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes. 1971. Vol. XVI. № 3. P. 331–352.).

<sup>40</sup> Ср.: «Бросается в глаза и другая характерная черта русистики, также имеющая давнюю историю, но особенно отчетливо проявляющаяся в современных исследованиях: Россия рассматривается как некое *структурированное целое*. Конечно, любая из провинций стремилась замкнуться в пределах собственной территории, однако в российской научной мысли преобладало стремление охватить *единым взглядом* весь русский мир, а его отдельные временные и пространственные проявления рассматривать только *с точки зрения целого*. Ныне все яснее осознаются единство и неделимость, своеобразие и оригинальность этого мира...» (курсив мой. — Н. А.). Якобсон Р. Современные перспективы русской славистики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 23.

графия и почвоведение у В. В. Докучаева (1846—1903), создателя общей теории ландшафта. Якобсон ценит в Докучаеве его подход, предполагающий учет множества точек зрения и различных предметных аспектов (ландшафт, почва, климат, флора, фауна, население и др.). Русская формальная школа в литературоведении тоже входит, с точки зрения Якобсона, в ряд образцов для славистики<sup>41</sup>. В ней наиболее примечательным оказывается построение научного предмета как «ряда рядов»: этому девизу Ю. Тынянова, апробированному на формальном подходе к литературе, Якобсон придаст большое научное значение. Его можно расшифровать так: форма не выводится прямо из содержания, литература не выводится прямо из социальной системы, различные ряды соотношены друг с другом, но не сводятся ни к какому причинному принципу или основанию. Несколько особняком стоят в этом ряду величин, образцовых для славистики, генетика Н. И. Вавилова (1887—1943) и теория «помогене за» Л. С. Берга (1876—1950), главного русского антидарвиниста, идеи которого сейчас нередко считают выражением редкой научной прозорливости (Вяч. Вс. Иванов).

Но может быть самое существенное для Якобсона то, что русистика черпает свои идеи из источника русской духовной традиции, представленной целым рядом имен. Это, прежде всего, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, Ф. Достоевский, К. Леонтьев, В. Соловьев, Н. Федоров. Общими концептуальными чертами этой традиции являются антипозитивизм, антикаузализм, телеология, структурализм<sup>42</sup>. Отстающая славистика тоже должна обратиться к этому источнику. Представителями этой собственно русской традиции выступают для Якобсона также марксизм и формализм: в русском марксизме Якобсон подчеркивает его антипозитивизм, а в формализме — его антикаузализм. Интересно и даже парадоксально, что, с точки зрения Якобсона, структуралистские идеи ор-

<sup>41</sup> Интересно, что различия между формальной школой в литературоведении и структурализмом в контексте якобсоновского рассуждения несущественны. «Одно из проявлений набирающего силу структурализма в сегодняшней русской науке — формальная школа в литературоведении. Она усматривает в истории художественных форм закономерную имманентную эволюцию и отказывает в какой бы то ни было ценности генетической проблематике за пределами художественных систем, т. е. ставит под сомнение тенденцию устанавливать причинные отношения между гетерогенными фактами. В последние годы принципы исследования поэтического языка форм распространены на языковую систему как таковую, хотя она функционирует совершенно иначе: так планомерно, шаг за шагом строится здание структуральной лингвистики». Якобсон Р. *Современные перспективы русской славистики*. С. 25.

<sup>42</sup> Ср.: «Более или менее несовместимые принципы традиционной телеологии и структурализма в русской науке всегда были тесно переплетены друг с другом. В настоящее время указанные методологические тенденции явно усиливаются и освобождаются от эклектических примесей». Якобсон Р. *Современные перспективы русской славистики*. С. 24.

ганически присущи русской духовной традиции. Он считает структуралистские идеи в целом международными (а не локальными), но подчеркивает, что их эволюция зависит от определенной среды, от конкретных обстоятельств — благоприятных или неблагоприятных. В России общий социальный подъем способствовал их распространению, что, однако стало возможным лишь на почве уже существующей русской духовной традиции.

В этой статье сосуществуют блестящие доводы и явные натяжки, невысказанные предпосылки и концептуальные склейки, которые соединяют (подчас довольно поверхностно) разнородные элементы политического и идеологического контекста. Все они, так или иначе, сводятся к одной упорно повторяющейся подстановке, которая встраивает логику в телеологию, а телеологию как мессианскую устремленность к предопределенной цели смешивает с общей функциональностью. Учитывая эту особенность, нам легче понять странное смешение Докучаева с Федоровым, а также упорный поиск корней структурализма в русской традиции, восходящей к Достоевскому, Данилевскому и Леонтьеву. Наверное, показ широкой культурной респектабельности структурализма, вмещающего различные ценности, был нужен Якобсону для того, чтобы привлечь на свою сторону не только специалистов по фонетике и фонологии, в среде которых структуралистская методология первоначально возникла, но и более широкие круги исследователей — в Советской России или на Западе<sup>43</sup>.

### Наука, политика, идеология

Позиция, с которой Якобсон исследует состояние славистики и славянскую идею в конце 1920-х годов, тесно связана с некоей подразумеваемой программой культурной экспансии России. Во всяком случае, его доводы в защиту «славянской культурной солидарности» иногда звучат как попытка убедить компетентные органы вмешаться в построение международных отношений СССР со славянскими странами Европы, не пускать их на самотек, укрепить

<sup>43</sup> Якобсон с удивительным постоянством подчеркивает единство русской культуры в разных местах и на разных, так сказать, идеологических платформах: «Мы коснулись некоторых характерных черт сегодняшней русской науки. Или советской? Или, может быть, эмигрантской? Будущий историк и зумится наистинчивости, с которой летописцы нашего времени отделяют друг от друга культурную продукцию Советского Союза и русской эмиграции. Даже если реальную картину их взаимодействия максимально схематизировать, противопоставить с точки зрения политической — и тогда окажется, что о двух отдельных культурных регионах не может быть и речи». Якобсон Р. Современные перспективы русской славистики. С. 32.

позиции в таких не антагонистичных по отношению к Советской России странах, как Чехословакия. Якобсон формулирует эту программу как нечто само собой разумеющееся, не требующее обсуждений. Он уверенно провозглашает общий тезис — строить и развивать культурную экспансию, как это делали некогда «романо-германцы» (отзвук евразийской терминологии). При этом он требует не только осознанного отношения к этому процессу в целом, но и внимания к мельчайшим его деталям (одно из требований: составить реестр рыночных цен тех или иных памятников русской культуры).

Призывая лучше знать польскую и особенно чешскую культуру, Якобсон предлагает шире и разумнее использовать то, что кажется ему естественной заинтересованностью этих стран в Советской России — с тем, чтобы изменить сложившиеся сферы влияния. Нельзя не напомнить, однако, что в 1920-е годы как Чехословакия, так и Польша настороженно относились к своему восточному соседу (как выяснилось, небезосновательно) и стремились как можно теснее сблизиться с Западной Европой. Именно вследствие этого и возникла так называемая «буферная» зона «Малой Антанты». Конечно, Чехия была ближе России, чем католическая Польша: в ней преобладала гуситская религия, направленная против официального папского католицизма. Однако, освободившись от Австро-Венгерской монархии, Чехословакия перестала видеть в России союзника в борьбе с имперским угнетателем и начала довольно быстро превращаться в экономически и политически крепкое и достаточно самостоятельное буржуазное государство.

Но Якобсон как бы не видит всего этого. А то, что видит и оценивает положительно, — преувеличивает. Так, он преувеличивает научное влияние России на Чехословакию (наиболее очевидный факт такого влияния — Пражский лингвистический кружок, роль которого, однако, не была столь значительной, как того хотелось бы Якобсону). Влияние художественного авангарда было несомненным, но в рассматриваемой статье (быть может, опять-таки из-за боязни эпатировать читателя) об этом даже не упоминается. Преувеличивается общее геополитическое тяготение Польши и Чехословакии к России, и напротив, преуменьшаются немецкие влияния на чешскую культуру<sup>44</sup>. К тому же,

<sup>44</sup> Это видно и по другой работе Якобсона — его книге о чешском стихе в сопоставлении с русским. Призывая читателей оценить славянский элемент там, где покамест усматривается (прежде всего или исключительно) германский (например, в трактовке древней чешской живописи), Якобсон долго медлит, прежде чем, наконец, признать, что специфика чешского стиха обусловлена влиянием соседнего, немецкого, хотя это влияние, по отзывам специалистов, является совершенно очевидным (это наблюдение принадлежит М. Гаспарову).

называя в подтверждение тезиса об исключительном внимании Польши и Чехословакии к СССР цифры переведенных русских книг, опубликованных в этих странах, Якобсон умалчивает о том, что в тот же самый период в Веймарской Германии таких переводов делалось гораздо больше. И в этой программе был свой перспективный смысл, стягивающийся к тезису о славянском единстве и солидарности.

Якобсон уверен: тот, кто отрывает восточнославянские народы от западнославянских (такова была позиция евразийцев), ошибается. В любом случае культурный разрыв между восточнославянскими и западнославянскими народами можно было бы устранить или хотя бы уменьшить, если привлечь к анализу сложных (в качестве научного объекта) северо-западных областей славянства не традиционные западные («романо-германские») методы, а методы русской науки. Однако при этом в статье постоянно речь идет не только о русской науке (с акцентом на ее «русскости»), но о целом комплексе смежных духовных явлений: о русской теоретической мысли, о «жизненных проявлениях русской мысли» (*Lebensäußerungen des russischen Gedanken*), о «русском духовном созерцании» (*die russische geistige Anschauung*). В методологическом плане критикуемый Якобсоном западный позитивизм как бы подменяет для него западную науку в целом; ей положительно противопоставляется русская наука, тоже в целом: именно русская наука (и никакая другая!) может по-настоящему понять специфику славянских культур.

Таким образом, в этой своей программной статье Якобсон фактически прибегает к своеобразному истолкованию главной евразийской антитезы: если у Трубецкого романо-германство противопоставлялось евразийству в целом (или, конкретнее, — туранскому культурному элементу), то у Якобсона концептуальным контрастом романо-германству (точнее — романо-германской науке), выступает русская наука, русская жизненная и духовная традиция в целом. Наверное, именно из этого «целостничества» вытекает затем и парадоксальная рядоположность Докучаева и Достоевского, русских формалистов и Н. Федорова.

Напомню, что для Трубецкого славянство — это общность исключительно языковая: ни этнографические, ни культурные, ни политические критерии единства к славянству неприменимы, они лишь порождают мифы<sup>45</sup>. У Якобсона подобной апологии туранства мы не

<sup>45</sup> Дело, однако, не в том, что Трубецкой вообще отказывается от обращения к распыленным идеям и психологическим факторам. Скажем, туранская психика, противопоставляемая романо-германской, — это для него вполне весомая реальность. Заметим, что у самого Трубецкого немало мифологических элементов: это

встретим. Отношение Якобсона к программным тезисам Трубецкого, во всяком случае, в рассматриваемой статье, не формулируется явно. Однако полемика здесь очевидна. Фактически Якобсон отвергает тезис Трубецкого о том, что общность славянства лишь языковая: во всяком случае, он призывает изучать и строить эту общность также на уровне культуры и хозяйства в современном контексте, на синхронном срезе, что не исключает, разумеется, и обращения к истории — при условии первичности именно синхронного рассмотрения, устанавливающего структуру основных взаимосвязей.

Наиболее сильная, хотя и поныне проблематичная, евразийская лингвистическая идея — «евразийский языковой союз» — была выдвинута Трубецким в статье «Вавилонская башня и смешение языков» (1923)<sup>46</sup>. Однако здесь она предстала в общетеоретическом аспекте, а конкретную систематическую разработку получила не у Трубецкого, а именно у Якобсона. Вовсе не туранский элемент, будто бы ответственный за создание структурной фонологии (как считал Трубецкой — вследствие любви к простоте и симметрии), но целый ряд фонетических признаков, участвующих в процедурах смысловоразличения пространственно соседствующих языков, играют важнейшую роль в образовании языковых союзов (об этом — ниже). Тем самым Якобсон, по-видимому, разделяя некоторые тезисы евразийской программы, парадоксальным образом показывает (скорее невольно, чем вольно), что евразийство — это не научный подход и не новый взгляд на научный предмет, но скорее идеологическая конструкция, построенная на определенной стадии российской колониальной экспансии и заостренная в эпоху войн и революций.

### Взгляд в будущее: славистика и структурализм в Гарварде

Создание славистики всегда было для Якобсона скорее программой работы, нежели достигнутым результатом. Следующей вехой на этом пути (перепрыгнем через этапы и события) стала, как уже отмечалось, статья 1953 года «Сушность (Kernel) сравнительного

---

идеализация чингисханства, доблести и чести в восточном смысле; идеализация агглютинативных языков; идеализация туранской ментальности — в частности, как основы научных открытий (фонология как продукт туранского духа). Для Трубецкого характерна нигилистическая оценка культуры Индии, забвение Китая. Идеологична и утопична также выдвинутая Трубецким программа «перевоспитания сознания народов Евразии и особенно нероманогерманской интеллигенции».

<sup>46</sup> Трубецкой Н. Вавилонская башня и смешение языков // Н. С. Трубецкой. История. Культура. Язык. М., 1996. С. 327—338.

славянского литературоведения»<sup>47</sup>, опубликованная в другом журнале в другую эпоху. Эта статья, опубликованная в первом программном томе «Harvard Slavic Studies», стала манифестом американской структуралистской славистики с центром в Гарвардском университете. Тематически к ней примыкает яacobсоновская статья, вышедшая годом позже, — «Slavism as a Topic of Comparative Literature» (1954)<sup>48</sup>.

К этому периоду относится разработка двух подтем, намеченных еще в «Voraussetzungen», а именно — сравнительного изучения литературы и фольклора, а также анализа славянства как идеологии. Так, в «Kernel» анализируются фольклор и национальные литературы, а в «Slavism as a topic» — идеологические программы и прежде всего — общеславянский лозунг, «славянская идея». Однако эти работы 50-х годов — не только реализация прежних замыслов, но и совершенно новое их обоснование. Так, если в статье 1929 года Яacobсон утверждал, что «Сущность (das Kern) не в patrimonium commune, не в общем фонде праславянского наследия, а в степени конвергентного развития», то программную статью 1953 года он называет именно «Сущность (Kernel) сравнительного славянского литературоведения», причем в этой статье речь идет как раз о том, что подвергалось отрицанию в «Voraussetzungen», а именно — об общем праславянском наследии и о дивергенции путей использования этого наследия в различных культурах.

В самом деле, если в «Voraussetzungen» политический и идеологический акцент на единстве российского и западного славянства фактически был поправкой к программе евразийства, а идеологический и геополитический акцент был поддержкой российской культурной экспансии на Запад, — то в начале 1950-х возникает иная картина, вероятно, обусловленная весьма противоречивыми итогами реализации первой экспансионистской программы. Иначе говоря, сначала была осуществлена, если можно так выразиться, евразийская программа славяно-туранского единства, выдвинутая Трубецким (в виде колонизации республик Закавказья и Средней Азии). А затем — яacobсоновская программа экспансии России на западно-славянский мир (в виде создания стран «народной демократии»). Быть может, именно поэтому в период, когда Трубецкого уже не было в живых, Яacobсону хотелось стереть

<sup>47</sup> В опубликованном рус. пер.: «Основа сравнительного славянского литературоведения».

<sup>48</sup> Jakobson R. Slavism as a Topic of Comparative Studies // Review of Politics. 1954. Vol. XVI. P. 67—90; см. также: Jakobson R. Selected Writings. The Hague. Vol. VI. P. 65—85.



из памяти свои прежние геополитические идеи и практические рекомендации<sup>49</sup>.

Славяне, подчеркивает Якобсон в статье «Славизм как тема сравнительных исследований», ощущали языковое единство всегда. Поэтому для них всегда было характерно стремление подкрепить это языковое единство культурным, а по возможности также и политическим единством. Та из славянских наций, которая оказывалась сильнее в тот или иной исторический момент, наиболее энергично бралась за эту объединительную работу: так, в XIII—XV веках это была Чехия, в XVI веке — Польша, а затем через Украину идеология славяинства проникла и в Россию, где она, по сути, стала в XIX веке государственной идеологией.

Если в своей программной статье из «Славянского обозрения» (1929) Якобсон ставил историю на второй план, защищая структурализм с его акцентом на синхронии, то в программной статье из «Гарвардских исследований по славистике» (1953) он всячески подчеркивает генетический, исторический аспект. Возможно, что это объясняется изменением ситуации, тем, что окрепший структурализм уже не нуждается в защите, возможно — тем, что теперь у Якобсона был иной приоритет: ему важно было показать цельность и, так сказать, традиционную весомость своего объекта — славистики, ее перспектив и ее возможностей — в исторической перспективе; причем это осуществлялось и на материале литературы (в «Kernel...»), и на материале идеологии, через лозунг «славянской общности» (в «Slavism as a Topic of Comparative Studies»). Во всяком случае, славистика меняла свои акценты, а антитеза «синхронный — генетический» уходила в тень.

<sup>49</sup> Нередко полагают, будто вся проблематика евразийства к Якобсону вообще никакого отношения не имеет, однако это не вполне так: из-за весомого влияния Трубецкого евразийство для Якобсона существовало и как полемический момент, и как часть контекста формирования собственных идей. На первый взгляд, кажется, что отсутствие адресата полемики — Трубецкого — начисто изымает проблематику евразийства из якобсоновских рассуждений 1950-х годов. И действительно, никаких внешних следов полемики вокруг евразийства мы в них не находим. Однако по сути своей в работах 1950-х годов содержится еще более сильная версия критики евразийства, нежели в статье 1929 года. Дело отныне уже не только в том, что тезис о славянстве как исключительно языковой общности был для Якобсона фактически неприемлемым с самого начала. В данном случае эта некорректность обосновывается в более широкой перспективе. А именно: общность вообще не может быть «исключительно языковой», поскольку язык есть феномен культуры, и, значит, общность языка в любом случае неизбежно приведет к обращению сходных культурных механизмов. Иначе говоря, языковое сходство побуждает к выработке других аспектов культурного сходства: ибо из-за сходства языкового материала сходными оказываются также поэтика, фольклор, семантика, словарный запас и проч. Довод здесь по сути такой: даже если между славянами нет другого единства, кроме языкового — это уже достаточное основание для выработки в дальнейшем общекультурного единства.

Соответственно полностью меняется исторический набор опорных персонажей: российский набор имен с общеславянофильскими святыми полностью исчезает. Аргументами в споре становятся не Достоевский или Данилевский, а папа римский Адриан II — будто бы бывший инициатором самой идеи славянского единства и благословивший моравскую миссию Кирилла и Мефодия, Ян Гус и польские короли. Итак, в новом обосновании славистики синхронический подход уступает место генетическому, прослеживание конвергентных тенденций — анализу дивергенций на основе исходного состояния. Таковы были главные методологические перемены.

Прагматически вполне понятно, что первой заботой Яacobсона в Гарварде было выполнение иного социального заказа. Требовалось организовать или реорганизовать кафедры славистики в Гарварде и в других университетах США, а для этого нужно было выделить предмет и значимость славистики среди массы других зарубежных языков и литератур. Важно было, как минимум, показать, что славистика не тождественна нынешней коммунистической русистике, что она не только не представляет идеологической опасности, но и может быть хорошим плацдармом для привлечения на сторону Запада западнославянских сателлитов Советской России.

Схематически-упрощенно итоги этих перемен можно представить так. Сначала, в 1920-е годы, западное славянство было повернуто к Западу; Польша и Чехословакия претендовали на полноценное партнерство с западноевропейскими государствами; Россия стремилась повернуть их на Восток. В своей области исследований Яacobсон выражал эту позицию, используя доводы от синхронии и функциональной прагматики. Российская культура выступает как монолитная «целостность». Славистика, ориентируясь на подлинные структуралистские ценности, должна, по мысли Яacobсона, строиться по модели более развитой русистики.

Затем в 1950-е годы западнославянские страны в результате победоносной для России войны были повернуты на Восток. Западные страны опускают железный занавес между собой и СССР, но стремятся вывести западнославянские страны из сферы влияния СССР. В своей области исследований Яacobсон использует преимущественно историческую, сравнительную аргументацию: он подчеркивает роль Запада как творца идеи панславизма и роль западного славянства как первоначального проводника этой идеи в жизнь. Славистика, сохраняя свою структуралистскую ориентацию, должна была отныне опираться на западнославянский материал, тогда как русистика уходит из ее поля зрения.

Наверное, еще через тридцать лет, в конце 80-х годов, Яacobсон — которого тогда уже не было в живых — построил бы третью про-

грамму обоснования славистики. Но какую? Пала берлинская стена. Западославянские страны ушли на Запад реально, а некоторые восточнославянские (Украина) всячески стремятся к такому переходу; здесь больше не говорят по-русски и гордятся этим как симптомом государственной самостоятельности. Как известно, Трубецкой относился к тезису о независимом статусе украинского языка и культуры резко отрицательно («украинская культура должна стать индивидуацией культуры общерусской») <sup>50</sup>. Можно предположить, что более склонный к революционным настроениям Якобсон приветствовал бы эту самостоятельность, но вряд ли радовался бы нынешнему общению между братьями-славянами по-английски...

\*\*\*

Два представленных здесь обоснования славистики, опубликованные в «Славянском обозрении» (1929) и в «Гарвардских исследованиях по славистике» (1953), едины по конечной научной интенции — пропаганде структуралистского подхода к языку и культуре — и диаметрально противоположны по интенциям геополитическим и идеологическим. Симметрия противоположностей в этой смене декораций настораживает: нет ли здесь натяжек в интерпретации? Однако такое прочтение подкрепляется несколькими внешними свидетельствами. В первом случае некоторые «странности» и идеологические передержки первой программной статьи Якобсона, судя по отзывам ряда коллег, с которыми Якобсон общался в послевоенные годы в Советской России, могут отчасти объясняться тем, что в 1920-е годы он собирался вернуться на родину, так что поддерживать «хорошие отношения» с Россией было для него жизненно необходимо. Во втором случае, в гарвардский период, перемена курса могла объясняться конкретными условиями жизни и работы. Так, по свидетельству С. Руди <sup>51</sup>, существование Якобсона в США периода маккартизма сильно осложнялось официальными подозрениями его в «прокоммунистической» деятельности. Стало быть, смена программ обоснования славистики опосредованно согласуется с биографическими и политическими обстоятельствами.

Важно, что для самого Якобсона объединяющим лозунгом при всех переменах программ и обоснований всегда оставалась наука, которая никогда не была для него узкой формальной абстракцией. И понимание структуры тоже никогда не было у него ни абстрактно формальным, ни «догматическим»: оно не замыкалось в узкотео-

<sup>50</sup> Трубецкой Н. С. К украинской проблеме // Н. С. Трубецкой. История. Культура. Язык. С. 362—379.

<sup>51</sup> Руди С. Якобсон при маккартизме // Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. С. 192—200.

ретических положениях, но, по сути, включало в себя целый слой социально-прагматических условий своего функционирования. Однако подобное включение не приводило Якобсона к релятивистским тезисам насчет своего предмета. Точнее, релятивистские тезисы (или, иначе, тезисы об относительности или отнесенности тех или иных показателей к той или иной системе оценки) всегда были у него на вооружении. Возможно, не без влияния Нильса Бора, с которым он проводил в Массачусетском технологическом институте совместные семинары по методологии физики и лингвистики и роли лингвистики в контактах гуманитарных наук с другими областями человеческого познания. И в этом явное отличие Якобсона от тех англо-американских историков и философов науки, для которых в 1960—1980-е годы тезис о социальной нагруженности научного знания становился отказом от рациональности, от науки как общезначимого дела. Значит ли это, что Якобсон просто не «вникал» в эпистемологические следствия некоторых тезисов своих научных сочинений или, иначе говоря, не углублялся в область «эпистемологической рефлексии»? Для ответа на этот вопрос необходимо более глубокое изучение траектории его движения на стыке между историко-научной и эпистемологической проблематикой.

В этом вопросе есть и другая сторона дела. Это уже не вопрос о науке «чистой» или «социально нагруженной», но вопрос о науке разделяющей или соединяющей, аналитичной или синтезирующей. В понимании Якобсона, «наука — это явление, не замыкающееся в рамках одной страны или одного языка, явление, по своей природе не знающее границ, она всегда интернациональна. И при серьезном отношении к науке она никогда не будет разделять, а наоборот, будет объединять. <...> Задачу ученого, прежде всего свою собственную, Якобсон видел в том, чтобы наводить мосты между культурами и между народами, невзирая на разницу в политических и общественных системах. Если бы слово “космополит” не дискредитировало себя в языке коммунистической пропаганды, не стало ругательством, можно было бы сказать, что Роман Якобсон был ...гениальным космополитом»<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> См.: Гловински М. Р. Якобсон в Польше // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 255—261. В любом случае известно, что некий «научный космополитизм» Якобсона сильно укрепился в последние годы при создании «грамматики поэзии и поэзии грамматики». Исследуя художественное использование лингвистических явлений в эстетической структуре стихотворений, Якобсон брал материал из всех языков (подстраховываясь соавторами — носителями соответствующего языка), однако сам тезис о единстве грамматики и поэтики считал явлением абсолютно универсальным. В любом случае вопрос о соотношении Якобсона-лингвиста (слависта) и Якобсона-поэтолога (универсалиста-космополита) заслуживал бы отдельного рассмотрения.

Если под «космополитическим» подходом подразумевать некий «целостный» взгляд одновременно с практикой «наведения мостов», то с такой его характеристикой, наверное, можно согласиться. Но что это дает нам в наших попытках понять, как же все-таки при всех этих социально обусловленных трансформациях и переодолеваниях может выживать научная мысль, а также самое стремление к объективности, к относительной свободе от конкретных идеологических задач? По-видимому, «наука» и «идеология» не существуют как монолиты. Они не разделяются жестко и четко как различные слои или уровни знания, но выступают скорее как скользящие акценты, тенденции, тяготеющие к полюсу идеологичности или к полюсу научности.

При исследовании вопроса о «научном» и «идеологическом» велико влияние «внешних» — философских, мировоззренческих факторов, хотя понять их воздействие на динамику научного познания гораздо сложнее, чем кажется. Много интересного относительно скользящих границ между сущностями, относительно всеприсутствия в науке межвосного периода таких идей, как целостность, функциональность, органицизм, так или иначе созвучных неменкому романтизму и гегелевской диалектике, было обнаружено Э. Холенштайном, Й. Томаном<sup>53</sup>, П. Серию<sup>54</sup>. Однако такие влияния поддаются лишь огрубленному отображению, так как непосредственно сопоставлять философские тексты с нефилософскими (при всей подчас наблюдаемой зыбкости границ) — затруднительно. Для того, чтобы обсуждать даже самый элементарный вопрос о влияниях философии на специальную науку, нужно поначалу разобраться со статусом того или иного философского мотива, взятого, скажем, у Гуссерля или Гегеля, в фактуре самой лингвистической аргументации, если речь идет о лингвистике. Очевидно лишь, что для современной гуманитаристики принципиально важной становится работа на стыках времен и пространств, а также различных научных дисциплин (славистики, истории, географии, геополитики, исследований культуры): она дает новый взгляд на, казалось бы, привычные явления.

<sup>53</sup> Например, Й. Томан показывает различия в облике структуралистских идей в разные периоды творчества Jakobson. Так, в 1930-е годы у него происходит переход на позиции динамического структурализма, в котором примат синхронизма уже невозможен и нелеп. См. *Tomán J. Remarques idéologiques de Jakobson // Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL). 1994. № 5. P. 59—67.* Впрочем, динамические моменты мы видели у Jakobson и раньше, в 1920-е годы. При этом отмечу, что, как правило, философские отсылки в работах Jakobson остаются весьма абстрактными и мало что проясняют в его конкретно-научной работе.

<sup>54</sup> *Серий П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе 1920—30-е гг. М., 2001.*

Данный конкретный случай заставляет еще раз задуматься о судьбе структуралистских программ в европейской и трансатлантической науке. Так, восприятие идей, родившихся у Соссюра, развивавшихся в Москве и в Праге, продолженных уже после войны в Париже, их дальнейшее движение в западноевропейском и восточноевропейском культурном пространстве показывает весьма причудливые взаимодействия интернационального и локального, концептуального и исторического. Вглядываясь более пристально в исторические контуры лингвистической науки, мы можем лучше понять то, что долго, но обманчиво казалось нам очевидным.

### **§ 3. «Славянское обозрение»: научные споры и культурная дипломатия**

В предыдущем параграфе центром нашего интереса так или иначе была программная статья Романа Jakobson 1929 года, опубликованная в журнала «Славянское обозрение». В этой статье Jakobson утверждал, что русская духовная традиция особым образом предрасположена к структурализму и телеологизму и записывал в предтечи структурализма, в частности, Достоевского и Николая Федорова. Возникает вопрос: нельзя ли путем изучения институционального и организационного контекста создания статьи хотя бы в какой-то мере прояснить эту парадоксальную позицию? Существует ли связь между тезисом о «русской науке», как он представлен в творчестве Jakobson конца 1920-х—начала 1930-х годов, и «Славянским обозрением» как конкретным контекстом и фоном формулировки этих идей?

#### **Есть такая наука! («русская наука» в споре о славистике)**

Для начала — несколько пояснений общего характера. Важный сюжет на пути наших разысканий связан с проблемой формирования славистики.

Несмотря на давность появления этой лингвистической дисциплины, в 1920—1930-е годы славистика находилась в поиске, причем задача ее обоснования, выработки новых методов исследования ложилась на представителей различных научных школ. В первых рядах исследователей, вырабатывавших новые методы лингвистического анализа, были структуралисты, представители

Пражского лингвистического кружка. Так как Якобсону в 1920—1930 годы очень хотелось сделать «Славянское обозрение», этот общеславянский, но нацеленный на западную публику, журнал носителем новой методологии структурализма, это побуждало его искать связь между структуралистскими идеями и тем, в чем ему хотелось видеть славянские мыслительные тенденции.

Каким был непосредственный контекст обсуждения этих проблем? Об этом можно в какой-то мере судить по позициям тех коллег Якобсона, которые выступили на конгрессе, а потом опубликовали свои доклады в том же «Славянском обозрении»: речь идет о подборке докладов Г. Геземана (общий взгляд на проблему формирования славистики как научной дисциплины), Т. Лер-Сплавиньского (о польской славистике) и В. Матезиуса (о чешской славистике). Эти выступления оттеняют позицию Якобсона<sup>55</sup>.

Так, Г. Геземан сетует на недостатки преподавания славистики в университетах. А задачи славистики велики — не только научные, но и пропагандистские: требуется донести в Европу великие достижения славянских культур, а для этого нужно учить студентов и готовить себе научную смену. Затрудняет дело двойное требование: с одной стороны, разграничения областей (лингвист не может быть литературоведом и наоборот), а с другой, их синтеза. Но едва ли не главными врагами новой славистики оказываются раздробленные национальные филологии (русистика, полонистика, богемистика, сербистика и проч.): их агрессивная междуусобица ограничивает кругозор исследователей и мешает выработке научной позиции. В этой ситуации уповать приходится на молодых ученых, более чутко улавливающих современный кризис своей науки, и на четко сформулированную идею дружеского научного сотрудничества.

В. Матезиус согласен с Геземаном в главном: ускоренному развитию славистики в Чехии — а оно нужно не только профессиональным ученым, но и молодому славянскому государству — мешает позитивистская методологическая самоуверенность отдельных филологических дисциплин. Традиционные силы (среди них такие мэтры, как автор исторической грамматики чешского языка Гебауэр, Иржи Поливка и др.) неразрывно связаны с уже завершившимся этапом в науке; чешской славистике нужны новые теоретические основы. Что это за основы, мы знаем: это структуралистские методы анализа языка, выработанные чешскими и русскими исследователями.

Т. Лер-Сплавиньский подчеркнул другую сторону дела: новизна польской славистики сосредоточена не в методах, а в самой тематике. К счастью, она привлекает и молодое поколение, и ма-

---

<sup>55</sup> Они опубликованы в «*Slavische Rundschau*». 1929. Jg. 1. № 8.

териальные ресурсы: после войны возникло много новых кафедр, происходит плодотворная дифференциация дисциплин (лингвистика, история литературы и др.).

Во всем этом для наших разысканий интересно вот что: коллеги-славяне считают, что их родные филологические дисциплины (полонистика, богемистика и т. д.) мешают созданию настоящей славистики, а других стимулов и образцов для ее развития не видят. А Яковсон же, напротив, уверен, что его родная русистика (дисциплина, напомним, вовсе не сводившаяся к филологии) — это именно образец для подражания, заданный отсталой славистике. Представим себе, как на конгрессе европейские языковеды взвешивали наличные возможности и силы — научные, кадровые, материальные, сомневались в приоритетах, методологических образцах, разводили руками... И вдруг на фоне этой сумятицы раздался уверенный голос Яковсона — «есть такая наука», способная повести славистику по новому пути! Это русистика, русская наука! Триумфатор въезжал в структурализм через славистическое сообщество, апеллируя к русской науке. Но это не был голос солиста в хоре согласных или предводителя войска единомышленников. Предстояла борьба, необходимость убеждать противников, организовывать сторонников; жизнь международного структурализма только начиналась, ей суждено было яркое будущее. И в этом случае, и в дальнейшем Яковсону блестяще удавалось стимулировать различные научно-организационные инициативы, сопряженные с разработкой проблем структурно ориентированной лингвистики.

### Проблемный профиль «Славянского обозрения»

В журнале «Славянское обозрение» это находит свое выражение. Но кроме того, в нем запечатлены европейские межкультурные взаимодействия в 1920—1930-е годы. В целом, журнал — это детище Яковсона со товарищи. Хотя он отвечал в журнале за языкознание, он брался практически за любую тематику, писал сам, отовсюду (и прежде всего — из России) приглашал авторов<sup>56</sup>. Среди достоинств Яковсона неоднократно отмечалась его

<sup>56</sup> Особого внимания заслуживают, например, письма Яковсона Г. Г. Шпету, содержание которых выходит за рамки вежливого приглашения к сотрудничеству и призывает к обмену по содержательным вопросам. Так, Яковсон писал Шпету о впечатлении, произведенном на него «Введением в этническую психологию». Теоретические взаимоотношения Яковсона и Шпета — отдельная тема. Публикацию писем Р. Яковсона Г. Шпету см.: Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред. — составитель Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 502—506.



способность знакомить и заинтересовывать людей из разных стран, связывать научные дисциплины; все эти замечательные свойства наглядно проявились в его работе в «Славянском обозрении».

Как уже говорилось, этот журнал как научный, политический, идеологический документ эпохи до сих пор не изучен (выше были упомянуты отдельные публикации общего характера в зарубежной печати), а потому его подробное описание представляет собой самостоятельную ценность. Все это побуждает нас временно отвлечься от индивидуальной концептуальной траектории Якобсона и рассмотреть проблемный профиль журнала. Журнал «Славянское обозрение», как уже отмечалось, выходил на немецком языке в Праге между 1929 и 1940 годами. Русская и советская (шире — славянская) культура представлена в нем в своего рода экспортном варианте. Главная задача журнала — самоутверждение русской, славянской культур перед лицом Запада. Чтобы понять, как она осуществлялась, нужно ответить на ряд более конкретных вопросов. Как смотрит берлинско-пражское сообщество, преимущественно эмигрантское, на проблему преемства России и СССР? В чем оно видит наиболее ценные достижения, заслуживающие информирования западной общественности (об этом можно судить по тематике обзоров, по освещению событий научной и культурной жизни в СССР, в Центральной Европе)? Как смотрят славянские страны, совсем недавно обретшие независимость, на свое прошлое и настоящее, на свои сходства или различия?

Наряду с главными редакторами журнала, филологами Францем Спиной и Герхардом Геземаном, преподававшими в Немецком Университете в Праге, Якобсоном, а также чехами, поляками, представителями других славянских стран, в журнале сотрудничали русские эмигранты из Берлина и особенно Праги (П. Савицкий, географ и почвовед, а также С. Гессен, Д. Чижевский, П. Эттингер, которые анализировали литературную и философскую жизнь, искусство, культурные контакты между странами), причем к работе в журнале иногда привлекались и ученые из СССР.

«Славянское обозрение» ставило своей целью исследование места и роли современного культурного творчества славян в мировой культуре. Сам его подзаголовок — «Информационно-критический журнал о духовной жизни славянских народов» — оставался неизменным вплоть до конца 1930-х годов, охватывая историю, философию, литературу, этнографию, лингвистику и др. В самом конце 1930-х годов — в связи с изменением международной обстановки и переходом журнала в ведомство Пражского

славянского института — интересы «Славянского обозрения» распространились и на хозяйственную жизнь славянских стран<sup>57</sup>.

Содержание журнала легче представить по рубрикам. Еще раз: журнал был важным опытом, весьма актуальным и в нынешний момент. Речь шла об умении рассказать о себе, об анализе других с учетом того, как другие воспримут то, что будет о них написано (это не будет лишь рассказ в своем узком кругу), о способности иметь свое узнаваемое лицо в международной науке и политико-культурной жизни.

В разделе «Научная жизнь» давались обзоры основных конгрессов и конференций. Среди главных юбилейных фигур в СССР — Пушкин, Чернышевский, Гёте. Больше всего материалов посвящено юбилею Достоевского. Это статья о праздновании юбилея Достоевского в Москве (1931, № 4); «Достоевский на Западе» (1931, № 9—10); «Масарик и Достоевский» (И. Хорак, 1931, № 9—10); «Достоевский, гениальный читатель» (А. Бём, 1931, № 7); «Некоторые мотивы Достоевского у молодых немецких художников» (Г. Геземан, 1931, № 7); «Новые пути в исследовании Достоевского» (Н. Осипов, 1930, № 4); «Портрет Ставрогина» (С. Гессен, 1931, № 4) и др.

Кроме того, в журнале последовательно освещались события науки и культуры, важные для отдельных славянских стран и для международной интеллектуальной жизни<sup>58</sup>. К примеру, в 1934 году журнал отметил такие важные культурные и научные события, как съезд Союза писателей в Москве (1934, № 6); съезд географов в Варшаве; конгрессы по психотехнике, по византистике; VIII Философский конгресс в Праге (2—7 сентября 1934 года). В обзоре Д. Чижевского об этом философском конгрессе речь шла о задачах философии в современном мире, в обстановке кризиса демократии (в частности, ставился вопрос о реакции философского сообщества на ситуацию приближающейся мировой войны). Рисуя расстановку философских сил в мире, Чижевский очерчивает позиции Венского кружка (в частности, Ф. Франка и Р. Карнапа), рассказывает о сильных сторонах польской философии (Р. Ингарден), о Н. Гартмане и его уче-

<sup>57</sup> В конце 1930-х годов усиливаются тенденции славянского единения, и в журнале появляется рубрика, посвященная хозяйственной жизни славянских народов, обеспечению их безопасности. Выходят двойные специальные номера с общеславянской проблематикой как идейным центром («Романтическое в славянских литературах» (1939, № 3—4); «Германославика в области духовной культуры и народного хозяйства» (1939, № 5—6). Появляются статьи, подчеркивающие общие культурные события и даты, например «Юбилей книгопечатания у славянских народов» (1440—1940) (1940). В 1940 году в связи с радикально изменившейся международной обстановкой журнал прекратил свое существование.

<sup>58</sup> Лишь в качестве достаточно редкого исключения появляется хроника научной жизни западных стран — ср.: «В Берлинском славистическом научном обществе» (1932, № 5).

нии о ценностях, о работах Пражского лингвистического кружка, смыкавшихся с философской проблематикой (особенно в творчестве В. Матеизуса, Р. Поса, Я. Мукаржовского). Чижевский жалеет о том, что русская религиозная философия (по его мнению, интереснейшее явление в современной славянской философии) была слабо представлена на конгрессе (впрочем, на нем были Н. Лосский, преподававший в это время в Русском университете в Праге по приглашению Масарика, и С. Франк). С уважением отзываясь о «школе Хайдеггера» в целом, Чижевский замечает, что «она далеко не столь едина, как нам кажется». В качестве учения, обладающего наибольшим весом в современном мире, Чижевский называет гуссерлевскую феноменологию; в обзоре идет речь и о приветственном письме в оргкомитет конгресса Гуссерля, на конгресс не приехавшего.

Философским вопросам посвящены в «Славянском обозрении» статьи и обзоры Д. Чижевского («Современная русская философия», 1930, № 10, «Из новой русской литературы по истории философии», 1930, № 7) и Б. Яковенко («Герцен и немецкая философия», 1939 № 5). Среди других философских тем обсуждались влияние философии Гегеля в славянских странах (1934, № 5), натурфилософия В. И. Вернадского (Ф. Эрленбуш, 1935, № 4). Несколько публикаций Д. Чижевского посвящены развитию философии в Чехословакии (ср., например, «Сущность и задачи чехословацкой истории философии» (1936, № 1—2). Постоянно подчеркиваются сильные позиции философской мысли в Польше (так, в журнале опубликованы рецензия Р. Ингарлена на только что вышедшее в Польше исследование о Гуссерле (1929, № 10), информация о Первом Польском философском конгрессе (1929, № 10), о философской жизни в Польше (1937, № 4)). Тем самым западный читатель получал некоторое знакомство с философской жизнью в славянских странах.

В результате такого многофокусного подхода читатель мог держать в поле внимания разноплановые явления научной и культурной жизни в очень сложной международной обстановке.

Для того, чтобы это обеспечить, нужно было работать с авторами, привлекать их к сотрудничеству<sup>59</sup>. Благодаря опубликованному

<sup>59</sup> Посмотрим, что Яковсон пишет Г. Шпету: «Многоуважаемый Густав Густавович! Надеюсь на Ваше любезное согласие принять участие в журнале "Славянские Рундшау". Прошу Вас сообщить, в каком отделе журнала и по каким преимущественно вопросам Вы имеете в виду давать статьи, обзоры и заметки». А в конце письма, на всякий случай, добивает: «Со стороны советского Полпредства отношение к журналу благожелательное, и никаких недоразумений участие в журнале повлечь за собой не может». См.: Густав Шпет: Жизнь в письмах. С. 502. Интересны в этом плане и письма Яковсона Г. И. Винокуру: Яковсон рассказывает другу о том, что центром тяжести в публикациях по восточнославянскому отделу выступают «исключительно советские ученые», заказывает ему статьи по истории русского театра и современным театральным постановкам (Там же. С. 504). Что касается Шпета,

эпистолярному наследию и, прежде всего, письмам самого Якобсона, у нас есть теперь ценные свидетельства того, как все это осуществлялось на практике. Вследствие продуманной издательской стратегии и конкретной работы с авторами исследовательский уровень публикаций в журнале был достаточно высок.

Так, обзоры по науке и культуре в СССР нередко писали выдающиеся ученые. Это «Главные направления развития фольклористики в СССР» Д. Зеленина (1934, № 2), «Проблемы славянского языкознания в Советском Союзе» Р. Якобсона (1934, № 5), «Изменение имен в СССР» А. Селищева (1934, № 1), проблемный обзор о «Большом русско-советском атласе мира» П. Савицкого (1938, № 4) — одного из главных идеологов евразийства, «пионера структуральной географии» (по отзыву Р. Якобсона). П. Н. Савицкий написал для «Славянского обозрения» обзоры современного состояния русской географии (1929, № 3; № 6), а также многосторонние обзоры на пересечении различных дисциплин — истории, географии, страноведения, почвоведения: «Современная русская география почв и растений» (1929, № 9); «Научное страноведение в СССР» (1931, № 7); «О русской литературе по истории географии» (1931, № 3); «География Украины» (1939, № 1—2). Выход во Франции двухтомной «Истории России» вызвал отклик под ярко проблемным заглавием «Возможна ли еще западная переработка русской истории?» (1933, № 5).

Якобсон и Савицкий были наиболее активными участниками и авторами «Славянского обозрения» среди «русских пражан» (русских эмигрантов в Праге, участников Пражского лингвистического кружка). Многие их теоретические работы, не говоря уже об обзорах и рецензиях, были впервые опубликованы именно в «Славянском обозрении». Так, Якобсон впервые опубликовал в «Славянском обозрении» свой знаменитый текст «О поколении, растратившем своих поэтов» — на смерть Маяковского (1930, № 7, С. 481—495). По-видимому, это был поворотный момент в его биографии<sup>60</sup>. С одной стороны, гибель друга, надо думать, окончательно убедила Якобсона в утопичности строившихся им вплоть до конца 1920-х годов

---

то Якобсон стремился привлечь его не только для работы над философскими сюжетами; так, он просит Шнета написать «статью на жгучую тему — “Проблема культурной ориентации Украины”» или на любые другие темы современной культуры. В своих письмах Шнету Якобсон не ограничивался задачами редактора и организатора: он посылает Шнету том работ Пражского лингвистического кружка, а также свою книгу об эволюции русской фонологической системы в надежде на критический разбор уважаемого старшего коллеги.

<sup>60</sup> Отмечу, что в *Selected Writings* Якобсона об этой публикации даже не упоминается, речь идет лишь о публикации 1931 года, хотя именно сокращенный немецкий вариант из «Славянского обозрения» был, по-видимому, был самым первым опубликованным вариантом знаменитой статьи.

планов возвращения на родину. С другой — статья «О поколении...» немедленно должна была сделать его врагом в глазах отечественных властных инстанций и всех ревнителей официальной идеологии<sup>61</sup>.

Однако не только «русские пражане», но и «местные» пражане тоже были активными авторами «Славянского обозрения». Например, немало публикаций принадлежат членам Пражского лингвистического кружка, созданного в 1926 году. Это работы Б. Гавранка («Десять лет Пражского лингвистического кружка», 1936, № 5); В. Матезиуса («Проблема чешской языковой (речевой) культуры», 1933, № 2); Я. Мукаржовского («Эстетическая функция, норма и слово», 1937, № 3); И. Хорака («Масарик и Достоевский», 1931, № 9—10 и «М. Горький», 1936, № 5), Б. Трнки («О чешской германистике и англистике», 1933, № 2 и 1932, № 4).

По разделу некрологов можно судить о том, какие фигуры славянского мира считались наиболее значимыми в международном плане. Так, некрологов в «Славянском обозрении» удостоились Лу Андреас Саломе, Т. Масарик, А. Луначарский, Н. Крупская, С. Гессен, Е. Замятин, И. Павлов, Н. Марр, М. Ипполитов-Иванов, И. Мичурин, Э. Багрицкий, А. Грин, М. Волошин, Л. Выготский, К. Малевич и другие выдающиеся деятели культуры. Видно, что некрология не проводит разницы между «советскими» и «русскими». Между тем западных деятелей культуры, удостоившихся некролога в «Славянском обозрении», крайне мало — Эдмунд Гуссерль и Антуан Мейе, занимавшие привилегированное положение в пражском или центрально-европейском научном сообществе. Оба они сотрудничали с пражскими коллегами и оказали на них большое влияние. А потому, в частности, в некрологе Гуссерлю подчеркнуто его плодотворное влияние на славянские страны, а среди его выдающихся учеников-славян упоминаются русский Густав Шпет, украинец Чижевский, поляк Ингарден, чех Паточка. В целом же Россия трактуется в этом некрологе как первая страна, в которой учение Гуссерля, его искусство философии вошло в различные области науки — право, математику, лингвистику.

О беспристрастности помещенных в журнале некрологий можно судить, например, по некрологу Луначарского. Он характеризуется как русский публицист, литературовед и драматург, кото-

<sup>61</sup> С. Гиндин с полным на то основанием считает, что именно публикация статьи «О поколении, растратившем своих поэтов» сыграла важную роль в его дальнейших отношениях с Советской Россией, «отрезала Якобсону путь на родину, окончательно превратив его из временно живущего за рубежом советского ученого в злостного «невозвращенца» и эмигранта. Гиндин С. К истории создания и восприятия статьи «О поколении, растратившем своих поэтов». Письмо Р. О. Якобсона Х. Маклейну. Прелисание и публикация С. И. Гиндина // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 161—166.

рый участвовал в революционном движении, учился в Цюрихе у Авенариуса, был членом большевистской организации в России и за границей, неоднократно бывал в ссылках, в течение 12 лет занимал пост наркома образования, был директором Института литературы и искусства, академиком, ответственным редактором Литературной энциклопедии, а в своих научных работах стремился связать диалектический материализм с эмпириокритицизмом, построить марксистскую теорию и историю искусства, утвердить активное творчество пролетарского искусства, которое было бы связано с классическими традициями. Далее идет перечисление главных научных книг и главных художественных произведений. Это ли не образец внятности и объективности высокого полета?

### Информация на «экспорт»

Спрашивается, как претворялись в жизнь основные позиции журнала, какими были его главные *тактики и стратегии*? Что и как в журнале хвалят, критикуют, показывают, скрывают? Об этом можно судить по тематике обзоров, по освещению событий культурной жизни в СССР, в Центральной и Восточной Европе. В журнальных публикациях выстраивается исключительно плотная сеть отношений и пересекающихся контекстов — Россия и другие славянские страны, Россия и СССР, Россия и Европа, Россия и Запад.

Наряду с проблемными или обзорными статьями в нем давалась информация о текущих событиях в культурной и научной жизни славянских стран: приводилась роспись статей в важнейших славистических и общепублицистических журналах, публиковались краткие рецензии на новые книги по языкознанию, литературоведению, «краеведению», этнографии, фольклористике, философии и проч. Где еще, кроме как в разделе культурной хроники СССР «Славянского обозрения» мы найдем сейчас полные списки кафедр и постов по славянским филологиям в Московском, Ленинградском, Иркутском, Пермском, Ростовском (на-Дону), Саратовском, Смоленском, Воронежском и других университетах, а также полные перечни лекций по русскому языку, литературе, искусству, этнографии, истории, которые читались в этих университетах?

Прежде всего — журнал пропагандировал *«вечные ценности»*. В их число входят русский XIX век, южнославянский эпос, польский романтизм, чешское Средневековье. В этой пропаганде, конечно, есть натяжки: старочешскую литературу и сами «братья-славяне», и ученые на Западе знали несравненно меньше, чем,

скажем, сербский эпос, но важнее было отметить, что ценности есть у всех.

Журнал подчеркивал весомые культурные традиции, существующие в славянском мире (тут важно было показать само наличие солидного культурного наследия, равно как и право наследовать), освещал динамику научной жизни, события науки и культуры, важные для отдельных стран и для международной интеллектуальной жизни в целом.

Далее, журнал рецензировал новые книги. С редкой пропигандистельностью «Славянское обозрение» откликалось на интересные книги, вышедшие в СССР. Уже в самых первых номерах в число отрецензированных книг попали «Поэтика Достоевского» М. Бахтина (1929), мало замеченная в СССР, «Морфология сказки» В. Проппа (1929), «Писатель и книга, очерк текстологии» Б. Томашевского (1928) (автор рецензии отмечает, что критика текста наконец-то становится в России отдельной дисциплиной со своей методологией, так что теперь дискуссии о литературе можно будет вести с доводами от текстов, а не только от идеологии) и др.

Журнал уделял внимание переводу — правда, меньшее, чем стоило бы. Отдельные рубрики журнала были посвящены переводам западной литературы в СССР и в славянских странах (ср.: «Шекспир в Сербии» (1929, № 4), «Гёте в Болгарии» (1931, № 4), «Русские переводы классики» (1934, № 1)) и соответственно переводам славянских литератур на Западе (ср.: «Русская литература во Франции» (1932, № 2), «Английская антология советской литературы» (1934, № 1)) и др.

Журнал пристально следил за примечательными культурными событиями в СССР и освещал эти события нейтрально или даже заинтересованно. Ср.: статьи «О звуковом кино» (1929, № 10), «Научные исследования в Сибири» (1929, № 3), «15 лет культурного строительства в СССР» (1932, № 6) «Об Институте славяноведения в АН СССР» (1932, № 1; 1933 № 5), «Переворот в политике высшей школы в СССР» (1933, № 2), «О сегодняшнем советском театре» (1933, № 2), «О Советской Энциклопедии» (1934, № 4).

Отдельным предметом интереса была для журнала советская пресса. Вот только один пример: за 1929 год в «Славянском обозрении» дана краткая информация о таких журналах, как «Большевик», «Искусство», «Историк-марксист» (рецензент выделяет статью А. Тюменева «Индивидуализирующий и обобщающий методы в исторической науке: дискуссия о марксистском взгляде на социологию»), «Известия АН СССР», «Язык и литература» (с дискуссиями вокруг концепции Н. Марра), «Кино и культура» (с дискуссиями вокруг творчества Дзиги Вертова), «Красная

новья», «Красный архив», «На литературном посту», «Научный работник» (со статьями о специфике интеллектуального труда, о «коллективизации» научного труда», о реформировании педагогических институтов), «Наши достижения», «Педагогическое мастерство» (с информацией о подготовке учителей в Германии), «Под знаменем марксизма» (где были опубликованы статьи В. Райха «Диалектический материализм и психоанализ», И. Санира «Фрейдизм. Социология. Психология»), «Революция и культура», «Ученые записки Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского», «Вестник иностранной литературы» (со статьями о современных течениях в музыке и литературе, с обзором о литературе на военную тему в Германии, Франции, Болгарии, Венгрии, Чехословакии); реферировались и художественные журналы — «Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни», «Звезда» и др.<sup>62</sup>.

### Критика западных критиков

До сих пор речь шла лишь об одной стороне медали — о том, что и как славянство считает нужным представить Западу. Посмотрим теперь, что Запад читает, изучает в славянском мире, что ему интересно и что безразлично. Об этом можно судить по рецензиям на западные исследования славянской культуры. Это «Работы по славистике в немецкой науке» (1929, № 1—2), «История русского искусства в зарубежных публикациях» (1930, № 10), «Русское искусство за рубежом» (1931, № 4), «Три фундаментальные работы по истории русского искусства» (1932, № 6), «Россия в духовной жизни Франции» (1937, № 6) и др. Нам важно также посмотреть, с чем соглашаются и что отвергают русские и славянские критики в западных работах о России и славянстве. Вот несколько примеров.

Рецензия на один из известных немецких справочников по истории философии (*Überweg-Heinze. Handbuch der Geschichte der Philosophie. Bd. V*) снабжена хлестким заглавием «Славистическая безграмотность немецкой науки» (*Slavistische Unbildung in*

<sup>62</sup> При этом в журнале «через запятую» описывались новые книги на русском языке, вышедшие в Берлине и Праге, и книги, вышедшие в СССР. Так в № 9 за 1929 год речь идет о выходе в Праге сборника статей о Достоевском под редакцией А. Бёма, о публикации собрания писем декабристов Бестужевых в Иркутске, о выходе отдельной книжкой доклада А. М. Деборина «Современные проблемы философии марксизма» и прений по докладу (М., Комакадемия), о книге А. Ф. Лосева «Критика платонизма у Аристотеля» (издание автора), о работе С. Е. Щукина «Белинский и социализм» (М., Комакадемия) и др.



der deutschen Wissenschaft)<sup>63</sup>. Освещение философии в славянских странах, подчеркивает рецензент, — новая задача, и решается она весьма неровно. Лютославский блестяще пишет о польской философии, Пеликан сжато и внятно представляет чешскую философию, а вот другие славянские страны представлены плохо. Например, украинские философы вообще отсутствуют, а на все южнославянские философии найдено лишь одно имя. Но хуже всего — русский раздел. Издатели ссылаются на то, что Россия далеко, к большевикам ехать практически некому («Россия перестала быть культурным государством»), так что книги, этот материал для рецензирования, остаются недоступными.

Но разве нельзя было достать нужные русские книги в Праге или в Берлине? — возмущается рецензент. А что, спрашивается, может извинить прямые ошибки (например, датой смерти Толстого назван 1911 год) или пропуски (обрыв изложения на конце XIX века, повествования без имен, заглавий работ, дат, без обозначения философских направлений)? Конечно, сжато осветить 30 лет русского философского развития нелегко. Но разве это оправдывает неполноту сведений даже о тех книгах Бердяева, Булгакова, Шестова, которые можно прочитать на иностранных языках? Главные работы Ильина и Лапшина не названы. Списки русских философов в эмиграции устарели на три года (многих названных уже нет в живых). Но и о «коммунистической философской литературе» тоже говорится с ошибками: так, Деборин назван Дебриусом, а среди девяти книг, упомянутых в этом разделе, названы книги Мечникова и Николая Морозова, которые никакого отношения к коммунистической литературе не имеют. Вывод критика звучит как приговор — «книга недостойна немецкой науки». Между тем этот многотомный труд известен как вполне добротный справочник по истории философии; не значит ли это, что к восточнославянской тематике авторы просто отнеслись спустя рукава?

А вот другая книга по философии, написанная специально для немецкого читателя (в немецком переводе это «Russische Philosophie» Э. Радлова, изданная в Бреславле в 1925 г.). Представить русскую философию немецкому читателю — работа трудная; к ней можно было бы подойти по-разному: подчеркнуть особенности русского духа, прорисовать судьбу западных идей на русской почве и др. Увы, — сетует рецензент, — вместо необходимой для немецкого читателя, уже немного подготовленного, систематизации и проблематизации русской философии идет бессвязный поток

<sup>63</sup> Рецензия была написана Д. Чижевским (Slavische Rundschau. 1929, № 1); он же рецензирует и упомянутую ниже работу Э. Радлова.

имен. Если прибавить к этому плохой перевод и небрежную корректуру, становится совсем не по себе.

В справочнике «Религия в истории и современности» (*Religion in der Geschichte und Gegenwart*), начальные тома которого выходят уже вторым изданием, не внесены необходимые биографические изменения, касающиеся умерших теологов и историков церкви. Некоторые положительные изменения, правда, есть: например, существенно расширена статья, посвященная русской философии, введены новые имена. Однако по-прежнему отсутствует Николай Федоров, а ряд важных статей (Бердяев, Булгаков, Хомяковы, Достоевский) поверхностны и изобилуют «мелкими» ошибками (неверно, что в 1922 году все философы-идеалисты уехали из России, — там остался, например, Флоренский, которому посвящено всего восемь строк, и др.).

С филологическими трудами дело обстоит не лучше, — констатирует другой рецензент<sup>64</sup>. Так, в одной из работ (*Engel E. Was bleibt?* Leipzig: Köler und Amelang, 1928), призванной осветить новейшие представления о мировой литературе, только две страницы из 675 посвящены русской литературе, к тому же представленной лишь как подражание западным образцам. А в другой (исправленное и дополненное издание немецкой истории мировой литературы под редакцией И. Шерра, Штутгарт, 1926) славянский раздел, сетует рецензент, строится по совершенно непонятной логике — сначала идут южнославянские литературы, далее чешская, польская, русская; при этом хорваты записываются в словенцов, чешская литература ограничивается Коларом; в польском разделе главная фигура — Мицкевич — дана подробно, однако даже и в этом случае для важных сочинений (например, для третьего тома «Дзядов») места не нашлось. Русская литература представлена непоследовательно и с ошибками: так, в русскую литературу попадает Шевченко, новые и новейшие авторы (Куприн, Арцыбашев, Бунин, Гиппиус, Ахматова) отсутствуют, а упоминание о Есенине, по-видимому, связано со скандалом вокруг его кончины.

Эти и другие подобные рецензии свидетельствуют о многом. Там, где речь идет о неполноте, неточностях или даже пренебрежении русской и славянской проблематикой, критики критиков, по-видимому, совершенно правы. Однако по ряду рецензий можно судить и о другом — фактически о «двойном стандарте» (одно дело — критика славян славянами, а другое — критика славян Западом). Как мы помним, сами славяне (или, допустим, чешский немец Геземан) могли иногда говорить об отсталости славянства

<sup>64</sup> Речь идет о статье: *Zulberpfeil H. Slavica* в немецкой истории мировой литературы // *Slavische Rundschau*. 1929. № 10.

на фоне европейства. Но если подобные суждения позволял себе настоящий европеец (например, англичанин Э. Симмонс в своей книге о роли английской литературы и культуры в России), то славянский рецензент такого не потерпит, даже если рецензируемая работа имеет очевидные научные достижения<sup>65</sup>.

Наверное, в целом эта критика западных работ о России мало чем отличается от других русских критик Запада. Правда, в данном случае эта критика дается в более сложной ситуации: ее формулируют люди, которые находятся не у себя дома, а в центральной Европе (почти на Западе), причем в ситуации открытости к Западу. В целом очевидно одно: *это не столько критика Запада, сколько критика западного отношения к славянам, к России*. Не случайно, что каждый, сколь угодно малый факт доброго отношения Европы к славянским культурам преподносится бережно и описывается подробно: среди них открытие памятника Мицкевичу в Париже, гастроли русских оперных театров, привезших Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Дворжака в Германию и Францию, но подобных фактов набирается немного.

Едва ли не единственный факт прямого и точечного научного воздействия «передовой» славянской лингвистики на европейскую — это визит чешского специалиста по английской филологии Видема Матезиуса в Зальцбург с лекцией о целях и задачах сравнительной фонологии. Как говорится в неподписанной заметке из раздела «Культурная хроника: Австрия», это стало чуть ли не первым случаем, когда неслависты и неславяне ознакомились с методами, выработанными в русской лингвистике и в Пражском лингвистическом кружке, и успех этой встречи позволяет надеяться на продолжение сотрудничества.

\* \* \*

Итак, «Славянское обозрение» было формой, в рамках которой представители славянских культур искали себя, не отрицая других. Это проявилось:

— во-первых, в установке на единство славянских культур, при которой различия выявляются приглушенно, а сходства подчеркиваются;

— во-вторых, в установке на сглаживание различий между позицией пражско-берлинской эмиграции и позициями Советской России. Число полемик по этому направлению противостояний в журнале минимально (главным образом — с непоследовательным марксизмом или с излишне традиционной наукой);

<sup>65</sup> Рецензию на работы Симмонса (*Simmons E. English literature and culture in Russia, 1553—1840*) см.: *Slavische Rundschau*. 1936. № 1.

— наконец, в-третьих, в установке неозападнического типа: то есть, в настроенности скорее на поиск сходств, нежели на выпячивание различий с Западом. Когда «Славянское обозрение» ругает западную науку, то речь идет не столько о ее собственных произведениях, сколько о том, что она недостаточно внимательно изучает славян.

Тем самым складывается довольно редкая форма самоутверждения — скорее по смежности или сходству, чем по контрасту, — созданная в той историко-культурной ситуации, когда славянство стремилось видеть себя единым. Славянские культуры мыслятся как индивидуально разные или даже разнovidные, но не разнородные; они сближаются с Западом, но это не означает ни самоуничтожения в Западе, ни отторжения или противопоставления.

За теориями идут практики. Это в первую очередь информирование Запада о современных славянских достижениях, а затем — разоблачения некачественных книг о России и славянах. Правда, о том, что и сами славяне плохо знают Запад, кажется, ни разу не упоминается.

В демонстрации славянских достижений всячески подчеркивается единство или по крайней мере неразнородность — внутри славянского мира и между славянским и западным миром. Чтобы достичь такого единства, требуется стереть особенности, очистить образ русской философии от тех специфических признаков, которые в более цивилизованном философском сообществе выглядят как анахронизм. А именно: приходится сглаживать противоречия между славянофильством и западничеством (в качестве мыслителя, на это способного, выступает, например, С Франк), между религиозной и атеистической, между эмигрантской и советской (марксистской) философией.

В качестве результата такой «концептуально-дипломатической» работы предстает, например, неожиданная троица — религиозный философ-эмигрант С. Булгаков, «молодой московский философ» А. Лосев, и «коммунистический мыслитель» В. Волошинов<sup>66</sup>. Их новые работы вышли по разные стороны границ, но всех их интересует проблема языка, увлекающая их в сторону «языкового реализма» и «онтологизма». Нас интересует сейчас даже не вопрос о применимости такой характеристики к упомянутым персонажам, но скорее само объединение весьма разнородных мыслителей как симптом поиска единства — даже вопреки очевидностям. Разумеется, натяжки плохи везде — и у Якобсона, который считал предвестниками структурализма Достоевского, Данилевского

<sup>66</sup> Об этом см.: *Czyżewskij D. Die russische Philosophie des Gegenwarts // Slavische Rundschau. 1930. № 10. S. 730–738.*

и Николая Федорова, и у того рецензента «Обозрения», который ставил под общие знамена Булгакова, Лосева и Волошинова. Дипломатическая позиция журнала — «мир со всеми» — оказывается всеядной, но она помогает выживать, не унижая и не уничтожая других. Поиск самих себя происходит здесь без стремления к натушной самобытности, а журнал оказывается не размежевателем, но скорее полезным «собирателем сил» и мыслей.

Тем самым мы подошли и к ответу на поставленный выше вопрос о Якобсоне и поиске возможного фона идеи «русской науки». «Славянское обозрение» ни в коей мере не было формой самоутверждения русской (шире — славянской) науки, которая, так или иначе, противопоставила бы себя всем другим; скорее это была практическая этика формирования своеобразного, исторически полезного «всеединства» — преувеличенного и не имеющего ничего общего с соответствующим понятием русской философии.

Как известно, Якобсон очень любил выражение «и это не случайно». Так вот, чтобы не уподобиться Якобсону, я скажу в заключение, что связь между русской наукой и структурализмом была в известном смысле окказиональной, обстоятельственной. Ее не обосновывали — достаточно полно и исчерпывающе — ни внешний культурно-исторический контекст, ни программа журнала, в котором вышла интересовавшая нас здесь статья. И в этом смысле она была *случайной*. Но это как раз тот *случай*, который стал *событием*, а потому он заслуживает самого серьезного к себе отношения.

## § 4. Принципы построения «евразийской лингвистики»

Речь здесь пойдет о еще одном контексте формирования структуралистских идей в творчестве раннего Якобсона. Это проблемный пласт евразийства, соотносясь с которым он разрабатывал концепцию «евразийского языкового союза»<sup>67</sup>. Это второй пример парадоксального контекста по отношению к формирующемуся структурализму в лингвистике (разумеется, он вычленяется аналитически, потому что и «русская наука» и «евразийство» — это разные стороны общего проблемного клубка идей).

<sup>67</sup> Якобсон Р. О. К характеристике евразийского языкового союза. Париж: Издательство евразийцев. 1931 (Jakobson R. Selected Writings. T. I. The Hague, 1971. P. 144—201); Якобсон Р. О теории фонологических союзов между языками // Якобсон Р. Избранные работы. С. 92—104.

Русская наука в эмиграции — Прага, Вена в период между двумя войнами — это время и место рождения идей лингвистического структурализма, триумфально прокатившихся затем по всему миру и из лингвистики перекинувшихся на другие области гуманитарного познания. То, с чем мы здесь имеем дело — это трудный и противоречивый процесс рождения этих идей. Русские ученые, как всемирно известные (Н. С. Трубецкой и Р. О. Jakobson), так и менее известные (П. Н. Савицкий: географ и специалист по лингвистической географии) в послереволюционной эмиграции создавали структурализм как «новую науку» и вместе с тем — как особую «русскую науку». В этом, как мы видим на любом повороте мысли, — источник многих сложностей и парадоксов. В их творчестве научные идеи, связанные с созданием методологии структурного исследования (прежде всего — структурной фонологии), весьма неоднозначно взаимодействовали с идеологическими мотивами и конструкциями (в первую очередь — евразийством).

Евразийцы — это наиболее яркая и организованная часть послереволюционной русской эмиграции, культурной и научной. Как известно, евразийство имело несколько ответвлений. Наиболее политизированная его часть группировалась во Франции, в Кламаре; более умеренной, ориентированной на научный поиск частью евразийцев была Пражская группа. Рубеж 1920—1930-х годов стал решающим для самоопределения различных групп внутри евразийского движения. Часть евразийцев признали, что СССР — это законный наследник и преемник России, и пошли на сотрудничество с Советской Россией (среди них был, например, Д. Святополк-Мирский); другая часть категорически отрекалась от такого преемства, опираясь, вслед за лидером движения, Н. С. Трубецким, на православные ценности. Р. О. Jakobson, один из наиболее деятельных «русских пражан» 1920—1930-х годов и один из наиболее активных участников «Славянского обозрения», никогда не был правоверным евразийцем. Однако именно он написал самую яркую работу в области «евразийской лингвистики».

Евразийское мировоззрение несет на себе мету растерянности и неуверенности в себе русской эмигрантской интеллигенции, оно свидетельствует о смене ценностей. Это совокупность идей, позволявших им держаться стойко и не терять надежды на изменение хода событий на своей исторической родине, в России, куда некоторые из них надеялись вернуться. Революция и две разрушительные войны (мировая и гражданская), казалось, воочию продемонстрировали, что Россия предана Западом, а потому возрождения

следовало ожидать не с Запада, а с Востока. Как определить себя на фоне Европы? Как защититься от растворения в чужой культуре? На решение этих задач и были направлены евразийские идеи. Адепты евразийства, — настаивает П. Серно, много внимания уделивший анализу евразийского пласта в творчестве Трубецкого и Якобсона,<sup>68</sup> — не шарлатаны и не догматики, они не держатся за старое и смотрят в будущее. Вместо прежнего места жизни, им отныне недоступного, они измышляют некое утопическое место, новый материк — срединный мир, или Евразию, обладающую своеобразными природными и духовными свойствами и к тому же географически совпадающую с бывшей Российской империей или современным им Советским Союзом. Все науки и искусства были призваны служить обогащению и развитию этой идеи, внося свою лепту в построение знания об этом удивительном объекте. Бурная научная активность евразийцев была призвана укрепить географические (Савицкий), культурные (Трубецкой), лингвистические (Якобсон) основы Евразии. В рамках этого замысла создавались изобретательные интеллектуальные построения.

Сама идея евразийства, по мысли его главного теоретика Н. Трубецкого, не только русская: она предполагает единство восточных славян (в противоположность славянофилам, евразийцы решительно отмежевывались от западных славян, католиков) с финно-угорскими и тюркскими племенами. Возврат к православным идеям, моральное преодоление большевизма — все это должно было позволить Евразии — естественной, живой целостности, «многонародной нации» — сохранить свое территориальное, государственное и своеобразно национальное единство. Общий пафос евразийства — антиуниверсалистский: отдельные культуры выступают как органические целостности. Чтобы утвердить этот

<sup>68</sup> Серно П. Структура или целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920—30-е гг. М., 1999. Изначально его исследование адресовалось франкоязычному читателю, для которого «структурализм» — это, прежде всего, французский структурализм 1960—1970-х годов, а евразийство и вовсе неизведанная земля. Автор стремится «реабилитировать» богатство русского идейного мира перед французским лингвистами и историками науки, которые склонны либо вовсе его не замечать, либо воспринимать его в фольклорном духе. Что же касается русскоязычного читателя, то для него эта работа интересна, прежде всего, широким междисциплинарным взглядом на историю науки и новыми проблемными акцентами в ее рассмотрении. Так, в отличие от обычного для современных российских подходов к евразийству интереса к геополитике или историсофии, автор исследует главным образом проблемное пересечение евразийства и рождающегося структурализма в лингвистике и других гуманитарных науках. Этот угол зрения дает много полезного не только лингвисту и историку науки, но также культурологу, эпистемологу — каждому, кто интересуется социальными и интеллектуальными контекстами научного познания, «временем» и «местом» его возникновения и функционирования.

мир, по мысли евразийцев, требовалось решительно оторвать Россию от западного («романо-германского») мира<sup>69</sup>. Видя в эгоцентричных романогерманцах злейших врагов евразийцев и всех угнетенных народов, настаивая на абсолютной несовместимости евразийского и европейского миров, евразийцы выдвигают свою педагогическую стратегию: евразийские народы должны развить и укрепить собственное самосознание, выработать «сознательное мировоззрение». Евразийский тезис о своеобразии культур возникает под влиянием (или же — параллельно) мыслям Данилевского, Шпенглера, Тойнби.

В истории и структуре евразийских идей могут быть обнаружены неувязки и парадоксы.

Во-первых, евразийская критика «романо-германства» использует «романо-германские» концептуальные средства, так или иначе воспроизводит западные идеи и ходы мысли. Это были элементы немецкой идеалистической философии первой половины XIX века, весьма популярной в России в славянофильских и неославянофильских кругах (правда, при этом евразийская история замкнутых целостностей исключает гегелевскую идею прогресса). Это были также неоплатонические и романтические воззрения, предполагавшие первенство космического целого над единичным и частным, первенство откровения и особого видения над познанием (хотя евразийцы отказывались от нерушимого натурфилософского единства в пользу множественности взаимонепроницаемых культур). Это было также первенство синтеза — над анализом, национальной специфики — над универсальным и общезначимым.

Во-вторых, эта критика предполагает двойной стандарт в евразийских представлениях о Евразии и о Европе: если внутри Евразии, согласно представлениям евразийцев, царит идиллия многонародной нации с открытыми взаимопереходами между ее составными частями, то на внешних ее рубежах граница всегда на замке — это и есть граница Евразии с Западным миром. Двойной стандарт проявлялся и в психологии евразийцев: так, критикуя западные подходы и методы, евразийцы внимательно следили за тем, любят ли их на Западе, и обижались на то, что их не понимают и не принимают. Да и в жизненных своих привычках евразийцы были скорее европейцами: во всяком случае, жить они предпочли не в Азии, а в центре Европы. В идейном плане «туранский», степной культурный элемент оставался для них чистой абстракцией:

<sup>69</sup> Соответственно русская культура послепетровского периода трактуется как подавленная прозападным режимом, а русская революция — как болезненный, но позитивный сдвиг (в этом отличие евразийцев от других эмигрантских течений): бессознательное устранение народом чуждой, непонятной ему культуры.



движение включало в свой состав почти исключительно русских, обосновалось в Европе и совершенно не интересовалось «азиатской» мыслью и культурой. Можно предположить, что за заботой о Евразии скрывается совсем другая забота — о границе между Россией и ее «главным Другим» — западной Европой как объектом одновременного притяжения и отталкивания.

От участия в «Славянском обозрении» Трубецкой решительно устранился, хотя его влияние в журнале чувствовалось. Журнал отказался от крайних евразийских тезисов Трубецкого, предполагавших разделение славянства по конфессиональному признаку: славяне-католики (Польша, Западная Украина, Хорватия) выступают в нем как полноправные объекты изучения. Однако работы такого последовательного евразийца, как Петр Савицкий, в нем печатались регулярно (правда, Якобсон, высоко ценивший Савицкого, видел в нем скорее «вдохновенного провидца структуралистских идей в географии», нежели того прямолинейного евразийца, которым он являлся). Отношение к евразийству — важный компонент в идеологической и научной позиции журнала. И подход этот — взвешенный, умеренный. Хорошую иллюстрацию такого «мягкого» евразийства дает нам концепция Герхарда Геземана, представленная в одной из его публичных лекций в Немецком университете в Праге<sup>70</sup>.

Понятие евразийского пространства для Геземана само собой разумеется, но, в отличие от истовых евразийцев, это не абсолютное, а относительное понятие. Границы между Востоком и Западом — «скользящие» (*fließende Grenzen*): они зависят от точки зрения. Так, для француза восток — это Рейн, для немца из Штутгарта — Ульм, для пражанина — Брно. На западе Германия имеет четкие границы, а на востоке и юге располагаются смешанные зоны. Например, между восточной границей Германии и западной границей России находится так называемая *Zwischeneuropa* (промежуточная Европа), которая включает Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию. Еще дальше на восток находится Россия, Евразия, «евразийское пространство», или иначе — Советский Союз. Существование этого «пространственного единства», отличного как от азиатского, так и от европейского пространства, для Геземана несомненно со всех точек зрения — географической, климатической, исторической, культурной, антропологической, социальной. Однако при этом Геземану вовсе не были близки идеологические и мировоззренческие акценты ради-

<sup>70</sup> *Geseman G. Wesen des Westens und Wesen des Ostens // Slavische Rundschau. 1933. № 6. S. 371–388.*

кального евразийства. Он спокойно передвигается от области к области, — вот атлантическая Западная Европа, вот Германия, вот *Zwischeneuropa*, вот Евразия! Само понятие Евразии здесь оказывается структурно аналогичным понятию *Zwischeneuropa*.

Вслед за Гердером Геземан любителю свежести восточнославянских народов. Однако мысль Гердера о том, что усталая западная цивилизация должна обновить свои силы, окунувшись в новые экзотические культуры, он вряд ли разделяет. Конечно, славянские народы имеют удивительные культурные достижения: это, например, специфика русской религиозности (культ страдания за грехи, диалектика добра и зла, чистоты и греха, фанатическое стремление к очищению души), толстовский крестьянский протест против цивилизации и прогресса, религиозное искусство, музыка, национальный мессианизм поляков, древнее народное искусство чехов и др. Но Геземан не погружается в любование экзотикой, он пытается сопоставить культурные ценности на другой основе. Он склонен видеть за различием культурных ценностей не абсолютную специфику духа, но скорее различные ступени исторического развития. Те качества, которые мы ныне ценим в восточных культурах, ранее присутствовали, считает Геземан, и на Западе, особенно в Германии, однако ныне Центральная и Западная Европа их уже исчерпали и потеряли под натиском цивилизации и прогресса. А потеряв эти ценности, она вытеснила их в сферу «художественного» воображения (например, у того же Гердера понятие «народ» остается пустым: оно либо заселяется демонами, либо идиллизируется).

Можно предположить и, кажется, небезосновательно, что такое отношение к евразийству (и другим способам преувеличения геонациональной специфики) характерно не только для Геземана как главного редактора «Славянского обозрения», но и для журнала в целом: в нем преобладают «умеренные», неагрессивные представления о евразийстве и евразийском пространстве. В журнале на равных и без снисходительности к «младшим братьям» были представлены, наряду с Россией, страны, получившие независимость после Первой мировой войны — это Польша, Чехословакия, Югославия. В списке языков, с которыми работал журнал, — восточнославянские языки (*Ostslavisch*), польский, чешский и словацкий, сербохорватский и словенский, болгарский, немецкий. Прав на актуальность тоже никто не узурпировал: тот или иной номер мог открываться статьями о «положении женщины в Польше», о «сербском эпосе», о «портрете Ставрогина» и т. д. И потому совокупный облик журнала оказывался панславистским в этимологическом смысле слова, то есть «всеславянским».

Обычно панславизм бывает ближе к славянофильству, чем к западнической позиции, но здесь дело обстояло иначе. Ведь «Славянское обозрение» — это не просто славянский журнал о славянах. Это — немецкоязычный славянский журнал. Более того: его издательским партнером, отвечавшим за подписку и распространение журнала в Западной Европе, было солидное берлинское издательство общего профиля — «Вальтер де Гройтер». Издание немецкоязычного славянского журнала в центре Европы, безусловно, предполагало открытость к Западу и рассчитывало на взаимную открытость. Вряд ли когда-либо и где-либо еще можно было бы увидеть подобное сочетание панславянства с неозападничеством.

### Языковой союз: идея и/или реальность?

Понятие языкового союза придумал Трубецкой в 1923 году в противоположность понятию языковой семьи. В статье «Вавилонская башня и смешение языков» он писал о том, что множественность языков — вовсе не проклятие Божие, а условие культурного расцвета. Он говорил о языковом союзе применительно к болгарскому языку, который принадлежит к языковой семье славянских языков (вместе с сербохорватским, польским, русским) и одновременно к балканскому языковому союзу (вместе с современным греческим, албанским и румынским). К разработке идеи евразийского языкового союза Якобсона подтолкнули две мысли Трубецкого — о наличии тесной связи между русским духовным миром и туранским духовным миром и о наличии тесной связи между туранским духовным миром и туранскими языками. Можно сказать, что Якобсон продолжает это рассуждение так: если два первых тезиса верны, значит и между туранскими языками и русским языком тоже должна существовать тесная связь, однако искать ее следует не в генетической общности (ее заведомо нет), а на уровне конвергентных связей развития. Так и родился проект исследования «структурной общности евразийских языков», или изучения сродства без родства.

Это произошло после Версальских соглашений о разделе Европы. Размах спектра мнений был широк и доводил до мысли о невозможности проведения границ языков и диалектов с достаточной степенью надежности. Споры о границах языков и диалектов подчас прямо вторгались в территориальные споры в строящейся и перестраивающейся Европе. Пражский лингвистический кружок учитывал доводы этого спора о замкнутости и разомкнутости языков и диалектов. В частности, позиция Якобсона была такова: он отказывался от тезиса о непрерывности переходов между диалекта-

ми и считал, что между ними существуют четкие границы, однако увидеть их можно лишь на уровне общего системного целого, увязав между собою различные признаки и выявив не просто отдельные ряды явлений, но (вслед за Ю. Тыняновым) «ряды рядов».

В тот период в лингвистике были другие тенденции, направленные на анализ образований, чем-то напоминающих «языковые союзы», были широко распространены идеи гибридизации, субстратов, контактов, языковых влияний. Однако, по Jakobson, евразийский языковой союз не предполагает ни гибридизации, ни субстратного влияния одного языка на другие. На первый план выходит нечто совсем иное: пространственный фактор существования языков. Изучать этот фактор можно, продвигаясь от фонетики (изучения звуков с акустической или артикуляторной точки зрения: оно показывает что между различными звуками нет четких границ) к фонологии (выявлению фонем как мельчайших единиц языка, способных различать смыслы). Этим путем Jakobson и движется, очерчивая свою концепцию евразийского языкового союза.

Так, евразийские языки характеризуются географическим признаком (охват единой территории) и двумя фонологическими признаками. Это мягкостная корреляция, или, иначе, смысловоразличительное противопоставление твердых и смягченных согласных («лук»—«люк», «быт»—«быть», «вес»—«весь», «волна»—«вольна»), способных различать смыслы, и отсутствие политонии или, иначе, смысловоразличающей интонации. Jakobson описывает эти признаки применительно к конкретной географической зоне — Евразии. Если по описаниям Jakobsona построить конкретную географическую карту<sup>71</sup>, то возникает красивая и гармоничная картина, симметричностью которой так восхищались евразийцы. В самом центре находятся языки Евразии: все они обладают мягкостной корреляцией и не имеют политонии. Симметрично с двух сторон эта область охватывается зонами распространения политонических языков без мягкостной корреляции (с одной стороны — балтийские языки, с другой, на юго-востоке — китайско-тибетские). Еще дальше от центра лежит периферийная область, в которой нет ни мягкостной корреляции, ни политонии (это и есть языки Западной Европы). За ними, дальше от центра, вновь располагаются политонические языки (например, банту в центральной Африке)<sup>72</sup>. Современ-

<sup>71</sup> П. Серно в содружестве с коллегой-географом сделал графическое изображение евразийского языкового союза в виде географической карты.

<sup>72</sup> Однако имелись и опровержения схемы (так, ирландский язык, например, имеет все фонологические признаки евразийских языков, но исключается из союза из-за отсутствия соседства, а, например, польский, имеющий все нужные признаки, а также территориально смежный с евразийскими языками, — из-за конфессиональной чуждости).

менный взгляд на эту проблему показывает, что один из признаков по-прежнему остается бесспорным для указанной географической сферы, тогда как другой отчасти подвергся пересмотру<sup>73</sup>.

Здесь важно, что Якобсон видит эту картину не только как симметричную, но как имеющую некий абсолютный центр — на этом месте в его воображаемой схеме находятся евразийские языки — и абсолютную периферию (языки Западной Европы). При этом его не тревожит тот факт, что балтийская зона слишком мала в сравнении с тихоокеанской, а вопроса об оси симметрии он вообще не обсуждает<sup>74</sup>. Такое геометрическое видение мира призвано служить и онтологическим доказательством существования объекта (в данном случае — Евразии) и одновременно критерием истины. Столь же уверен в заведомой симметрии рассматриваемых им фонологических явлений был Трубецкой: если гласные не складываются в симметричную систему, значит, что-то тут не так, но виноват все равно исследователь — ведь несимметричную систему просто нельзя помыслить<sup>75</sup>.

Каково эвристическое значение концепции евразийского языкового союза — по сути, главного построения евразийской лингвистики? Она способна объяснить некоторые изменения языков при их миграции. Так, например, языки, вошедшие в зону евразийского союза или же непосредственно соседствующие с ним, приобретали мягкость, изначально ее не имея (это восточные диалекты эстонского, румынского и болгарского), и, напротив, языки, вышедшие из союза, ее утрачивали (по Якобсону, — турецкий, по Савицкому, — венгерский). Однако в конструкции евразийского языкового союза немало неясного, приблизительного. Можно ли ставить на одну доску наличные и отсутствующие признаки? Правоммерно ли соотносить географическое пространственное расположение с абстрактными фонологическими признаками? Однако само открытие влияния географического фактора на распространение фонологиче-

<sup>73</sup> Так, за последнее время выявилось наличие музыкальных тонов, способных различать смысл слов в таких языках, относимых Якобсоном к евразийскому языковому союзу, как кетский и югский (оба эти языка достаточно существуют в бассейне реки Енисей). В целом же оказывается, что зона распространения палатализации согласных как разграничительного признака шире, чем зона отсутствия смысловозначительной интонации. См.: *Иванов Вяч. Вс.* Звук и значение в концепции Романа Якобсона // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 411.

<sup>74</sup> Тем самым, отмечает П. Серию, его концепция оказывается в некоторых своих чертах ближе к идеям романтического географа Карла Риттера, чем к современной лингвистической географии.

<sup>75</sup> Д. Чижевский и И. Томап четко связывают фонологию Трубецкого с евразийскими идеями, с его одержимостью поиском симметрий, примером которых является для него тюркская культура с характерными для нее параллельными повторами во всем — в музыке, в эпосе, в религии, в языке.

ских признаков в соседних языках, независимо от их исторического родства, продолжает оставаться важным достижением.

Очевидно, что евразийская лингвистика не могла бы существовать без достаточно артикулированного аппарата понятий. Помимо понятий «языкового союза» и «конвергенции» большую роль в ней играло понятие сродства (*affinité*) как схождения и как притяжения<sup>76</sup>. Другая важная для Якобсона идея — это идея соответствий, посредством которой Трубецкой и Якобсон вместе с географом Савицким искали совпадений между изоглоссами, изотермами и другими культурными и природными изолиниями. Поиск этих изолиний должен был подтвердить само существование Евразии богатством открывающихся взору корреляций. Однако мало было накопить соответствия, черты сродства, конвергентные тенденции. Нужно было соединить все это в общую картину. Для этого Якобсон предлагает понятие «увязки», взятое из современного ему русского языка: примеры таких увязок, или соответствий, имеются повсюду, нужно только уметь их видеть. Савицкий выдвинул понятие «месторазвития» как благоприятного к конвергентной эволюции явлений места сонаходимости культур и языков. Он был уверен, что ему удалось выявить полное совпадение диалектных изоглосс русского языка с изотермами российского климата, и эта его работа — «Проблемы лингвистической географии с точки зрения географа» — оказала большое влияние на Якобсона, зачаровала его мыслью о совпадениях и симметриях, абсолютном центре и перифериях, воплощенной, как мы уже видели, в концепции евразийского языкового союза. В этих поисках метафора организма выступает одновременно как препятствие к исследованию структуры и как источник плодотворных познавательных аналогий, ведущих к открытию и изучению структур. Тем самым мы сталкиваемся с некоей парадоксальной действительностью этого слоя метафорических предпосылок, которые одновременно и стимулировали развитие идеи структуры и препятствовали ему.

Спрашивается: что же это за знание — евразийская наука, каковы принципы его построения? Прежде всего, для евразийской науки характерна не установка на очищение научного предмета, а скорее наоборот — установка на максимальное нагружение его всевозможными соответствиями и параллелями. Таким образом, в противоположность обычному представлению о выделенности и

<sup>76</sup> Реконструируя «идеальную библиотеку» Якобсона, П. Серио ставит в центр внимания таких персонажей, как Гёте, М. К. Бэр, Л. С. Берг. Все эти мыслители многое дали Якобсону для понимания «сродства» в языке или органической целостности языковых явлений. Анализ странствий понятия «сродство» показывает, что оно путешествовало из юридического языка в алхимический, затем в химический и натурфилософский язык Гёте, прежде чем попасть в лингвистику.

самостоятельности научных предметов структурного анализа у Трубецкого и Якобсона, наука о языке у них тесно связана с психологией народов, географией, историей, исследованиями культуры (а Савицкий добавлял к этому экономику, изучение климата и почв).

Вследствие этого теории евразийцев — культурологические, и отчасти лингвистические — предстают в свете некоего романтического натурализма или, может быть, «онтологического структурализма». Просветленный ум прозревает симметрии, объемлет целостные предметы, обладающие более высоким онтологическим статусом, нежели обычные предметы эмпирического изучения. Трактовка «построенного» объекта как «реального» сочетается у евразийцев с его идеализацией — но не как «идеального объекта», а как своего рода воплощенного идеала<sup>77</sup>.

Устремленные к новой структурной науке, евразийцы нередко называли структурой то, что, по сути, было синонимом синтеза<sup>78</sup>. Так, Трубецкий считал одной из целей евразийского подхода координацию работы отдельных специалистов, «известный научный и философский синтез». Этим призывам к синтезу вторит и Якобсон: если раньше русисты занимались только славянскими языками, то теперь, в свете идей конвергентного развития, языкознание войдет «в круг синтетических руссиеведческих дисциплин». Единое знание возможно только в рамках единой идеологии. Эта установка на единство и синтез для евразийцев первична: метафизика идет впереди, а наука следует за нею.

Как уже отмечалось, моя трактовка целого и целостности у Якобсона отлична от того, что мы видим у известных западных славистов и эпистемологов (П. Серио, Ж.-К. Мильнер). Это не просто пережиток романтической идеологии, контрастный по отношению к подсушенной аналитике Соссюра. Целостность у Якобсона вообще не есть какой-то вненаучный синоним структуры: откуда бы она ни появилась у Якобсона (из Гегеля или же из романтиков), это не просто покров общего над конкретно познаваемым, но актуально и неизменно сопровождающая любой познавательный акт интуиция взаимосвязи мира и предметов познания. Иногда при чтении Якобсона его от-

<sup>77</sup> Например, евразийцы считают идеальными размеры Евразии: они и позволяют ей существовать как самодостаточная органическая целостность в отличие от других сущностей — слишком больших или слишком маленьких для того, чтобы быть жизнеспособными. Евразию следует беречь и сохранять как идеальную органическую целостность, над судьбою которой властвуют Божьи законы; а человеку грех разрушать целостности там, где они сумели возникнуть.

<sup>78</sup> Или, заметим, синкретизма — как у Трубецкого, который идеализировал Византию как идеальный синтез того, что можно было бы стереть скорее еще не раскрывшимися и не расчленившимися областями знания — прежде всего это относится к науке и философии.

сылки к целому кажутся излишними (например, говоря о фонеме, он тут же вспоминает и детскую речь, и распад речи при психической патологии, и многое другое). После того, как различные фрагменты познания сложились у него в общую картину, он держит их в сознании и окидывает мысленным взором, независимо от того, о чем конкретно идет речь. Эта интуиция целого не просто витает в вышине, но конструктивно присутствует при познании любого предмета. И вот еще что важно: для Jakobsona целое — не обязательно цельное и не обязательно тотальное. Целое в отличие от цельного может вмещать в себя любые шероховатости, пробелы — там, где знание не заполнило пустых клеток: можно сказать, что целое тогда присутствует как некая мобилизующая и динамизирующая познание установка.

Каков же эпистемологический итог исследования этого напора идей, этой динамики поисков? По-видимому, можно согласиться с П. Серио в том, что «структура» у русских пражан лишена прочности сложившегося понятия. Скорее она представляет собой определенный набор вариаций смыслов вокруг синтеза, системы, сущности, природы с неясными соотношениями частей и целого и неопределенными границами. Серио трактует этот путь как путь от целостности к структуре, не пройденный до конца. Мое видение этого вопроса, как отмечалось выше, — иное. Однако очевидно, что евразийская наука — это не особая парадигма и не отдельная эпистема. Скорее, это концептуальная диспозиция, в которой мысль о структуре строится в контексте различных концептуальных влияний и, в частности, германских романтических органицистских идей. Русский культурный мир никогда не терял с ними связей — в отличие от французского культурного мира, мощно развившего позитивизм и освободившегося от натуралистической метафизики. Однако парадокс здесь заключается в том, что не соссюрровский, последовательно аналитичный, но именно пражский подход к языку оказался наиболее плодотворным для последующего развития лингвистики: ведь именно его Jakobson вывез в Америку, Мартине ввел в описания конкретных языков, а Леви-Строс перенес на антропологию, сделав ее структурной наукой. Как можно объяснить этот парадокс?

### **«Вопреки» или «благодаря»?**

Можно ли вообще определить, возникает ли пражский структурализм «благодаря» или «вопреки» евразийской идеологии? Наверное, скорее «вопреки», нежели «благодаря». В некотором смысле евразийский идейный контекст был одновременно и «эпистемологическим препятствием» (в башляровском смысле), и средой рождения



структуралистских идей. Вряд ли можно считать евразийство как многослойный феномен также и научной практикой, как того хотелось его adeptам. Ведь в нем явно преобладает идеологический, а не научный интерес, оценка, эмоция, социально-политическая программа. Недаром, по сути, евразийцы предвосхищали или освещали создание СССР (по Трубецкому), а затем (уже после Второй мировой войны) и создание социалистического лагеря (по Якобсону)<sup>79</sup>. Можно предположить, что евразийство помогало не сломаться в эмиграции, было психологической, энергетической поддержкой в выживании замечательным ученым. По-видимому, идеи евразийства стали для них не только средством психологической компенсации, но и способом мобилизации энергии на общую цель (в частности, — построение структурной фонологии и распространение ее идей в мире). Смелость, полемичность, убедительность, сила утверждения нового у «русских пражан» привели к тому, что все европейские лингвистические конгрессы 1920—30-х годов прошли под их влиянием: их выслушали и их идеи во многом приняли.

Спрашивается: что именно в евразийстве «как идеологии» было связано с теми или иными положениями пражского структурализма «как науки»? Наверное, что-то в главном наборе евразийских положений помогало рождению структурализма, что-то ему мешало, а что-то было для него безразлично. Можно предположить, что евразийский поиск соответствий поддержал некоторые моменты структуралистской программы исследования отношений, но идея Евразии как предсуществующей реальности, якобы не нуждающейся в обосновании, мешала выработке критико-рефлексивного отчета в своих предпосылках, характерного для развитой науки. Эпистемологическая рефлексия не была сильным пунктом Пражского лингвистического кружка — в отличие от Венского кружка, заседавшего, казалось бы, совсем неподалеку и озабоченного критериями научности естествознания, выработкой языка методологического описания науки.

Необходимо учесть и то, что роль тех или иных «внешних» обстоятельств развития истории науки различна в ситуации возникновения идей и в ситуации их воспроизводства, ибо не все то, что было важным для рождения научной идеи, включается в процесс ее дальнейшего развития. В этом смысле, например, «выветрива-

<sup>79</sup> См., в частности: Автономова Н. С., Гаспаров М. Л. Якобсон, славистика и евразийство: две конъюнктуры, 1929—1953 // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 334—341; Евразийство: за и против, вчера и сегодня (круглый стол) // Вопросы философии. 1995. № 6; Cahiers de l'ILSL. 1997. № 6 (Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939); Letters and other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912—1945. Ann Arbor. 1994.

ние» евразийского генезиса идей из последующего функционирования структурной фонологии было бы вполне объяснимо. Во всяком случае, это вещь обычная в истории науки: что собственно из написанного Ньютоном в обоснование своих физических идей осталось в памяти тех, кто продолжал его работу? К тому же немало важно, что у гуманитарных наук пока еще мало опыта в строгом изучении взаимозависимостей разного рода, силы, степени — за рамками прежних мощно редуccionистских схем. Евразийский концептуальный эпизод остается все же во многом непонятным вне более глубокого фона предшествовавших ему славянофильских идей, с одной стороны, и следующих за ним четко сформулированных структуралистских идей, с другой. «Время синтеза еще не наступило», — в конце концов признал Трубецкой, несмотря на свою устремленность к синтетической науке. Наверное, нам следует прислушаться к этому признанию великого систематика, осознавшего ребяческую незрелость своих и чужих прошлых грандиозных обобщений и сумевшего реалистически и с достоинством отнестись к своему месту в мировой науке. Во всяком случае, Трубецкой писал классическую работу «Основы фонологии» в 1930-е годы, когда он разочаровался в идеях евразийства, так что, думаю, в «Основах фонологии» Трубецкой — уже не евразиец. А ведь именно этот слой мысли прежде всего вошел в дальнейшее развитие, связанное уже с французским структурализмом.

Так что же у нас получается с нашими структурализмами — пражским и женеvским (соссюровским)? Один, формально рожденный, оказался не вполне жизнеспособным, а другой, только рождающийся, — уже весьма деятельным? В том ли тут дело, что Соссюр был больным одиночкой, а евразийцы — группой молодых сильных и активных людей? Правда, тут важно и другое. Когда евразийцы выезжали на «романо-германские» научные конгрессы, готовые сражаться за свою новую науку — структурную фонологию, они с удивлением обнаруживали, что имеют гораздо больше единомышленников, чем думали. Не значит ли это, в частности, что различия между своими, новыми, и старыми подходами преувеличивало их молодое самоутверждающееся воображение, — то самое, что списывало со счетов Соссюра как «старый хлам»?

Один из источников распространения идей пражского структурализма связан, по-видимому, с тем, что именно «русские пражане» сделали то, что требовалось лингвистике XX века, получившей в наследство огромную массу неупорядоченных или недостаточно упорядоченных языковых фактов. Структурный метод, связанный с выделением оппозиций и корреляций, стал наиболее простым, красивым и удобным способом описания языков мира. Сама по-

требность в описании конкретных языков, наверное, делала невозможным, да и ненужным полное отвлечение от языковой субстанции. Метафора организма тоже оказывалась не самым большим грехом, так как речь шла именно о конкретных языках, имеющих свою историю, свою эволюцию, как бы мы ее ни понимали — дивергентно или конвергентно. К тому же, по-видимому, языковой материал, языковые факты не слишком сильно зависят в лингвистике от применяемых для их описания общих идей. Во всяком случае, «русские пражане» описывали реальные языки (*languages*). Напротив, Соссюр, в своем «Курсе общей лингвистики», имел дело не с конкретными языками, а с общей языковой способностью (*langage*) и прежде всего — с языком как таковым (*langue*).

Евразийский эпизод в творчестве наших великих соотечественников — Трубецкого и Якобсона — заставляет задуматься над общими путями и механизмами развития знания. То, что задним числом приобретает вид закономерности, подчас выступает как случайность. Можно ли сказать: русские пражане искали Евразию, а открыли фонологию? Искали целостность, а открыли структуру? Или все же придется уточнить и тем или иным образом подтвердить, что они искали именно структурную фонологию, а потому и смогли, в конце концов, оставить Евразию на обочине? А если предположить, что они искали одновременно и то, и другое, тогда что же, в конце концов, заставило их отказаться от того, что мешало главному, и выйти туда, где легче было кристаллизироваться структурным идеям? В любом случае «евразийский эпизод» отменяет линейность привычных историко-лингвистических описаний, но не стирает главного: определенной поступательности в развитии знания, которая проявляет себя в том, что одна и та же тема при разных обстоятельствах вновь и вновь всплывает на поверхность. А это значит также, что, несмотря на всю видимость глубокого погружения в конкретные ситуативные «заказы», социальная обусловленность знания не в состоянии полностью отменить саму установку на объективность, которая прокладывает себе путь через социальные обстоятельства, сквозь них, вопреки им, хотя в чем-то, парадоксальным образом, и благодаря им.

Мы видим, таким образом, что история структурализма в языкознании, да и в других гуманитарных науках, многоязыкая и международная. Мы теперь не спешим объединять выделяемые в ней эпизоды в непрерывные линии, неумолимо ведущие от начал к завершениям. Скорее современные подходы к истории структуры подчеркивают множественность генезиса и функционирования этой идеи. В наши дни все больше ощущается потребность понять, так что же такое «структура сегодня», каковы смены предпочтений

в общем методологическом поле социальных и гуманитарных наук. Вопрос о «структуре сегодня» заведомо значит, что мы ставим также и вопрос о том, что этому «сегодня» предшествовало. Понимание истории многое определяет в том, как ставится вопрос о структуре сегодня. Линейные, детерминистские, каузальные подходы к истории нынче не в моде, но это не значит, что они всегда были лишь насилием над материалом: прочерчивание объемлющих линий преемственности имело свою эвристическую силу. При этом прорастают в различных формах и тенденции к новому связыванию, которые в дальнейшем могут вновь выступить на первый план.

Структура, целостность, организм, самоопределение новой науки в противоречивом идейном контексте. При этом возникают вопросы, актуальность которых не угасает. В наши дни, почти столетие спустя, вопрос о том, можно ли и как «понять умом» Россию, тревожит наших современников. Как все же быть с «русской наукой» или «евразийской лингвистикой»? В ответ на это могу только повторить: русская наука не тождественна западной, но она не является особой наукой. И этот тезис безусловно верен, только его защита требует обновленных эпистемологических перспектив. Здесь нужна, по сути, особая форма эпистемологии — не только «историческая» (как у Кангилема на материале математики или у Башляра на материале физики), и не только «социальная» (тем более не та современная социальная эпистемология, которая чревата в своих реализациях сильными релятивизирующими следствиями). Но и не только «сравнительная» (сравнительную эпистемологию с многими на то основаниями предлагал Серио: но ведь чтобы что-то сравнивать, нужно сначала разработать критерии сопоставимости, и это — главная трудность). Следуя современным тенденциям эпистемологического поиска, эту новую эпистемологию можно назвать «культурно-исторической». Это название резонирует с уже существующими традициями русской культурно-философской, филологической и психологической мысли. Но она вносит в них опыт современности. Никакая общая схема не может жить, если она не оплодотворяется конкретными применениями, опытами использования, согласия и отвержения, принятия и сомнения. Культурно-историческая эпистемология учитывает проблемные ситуации на стыках дисциплин, на перекрестках интеллектуальных влияний, а потому она глубоко проникается проблемой межкультурного и межконцептуального перевода. Речь здесь идет о переводе как способе выработки соизмеримого опыта, способного обнаружить за внешне тождественными понятиями разных культур и разных языков (например, такими, как структура, язык, наука, нация) разные смыслы и

одновременно выявить за «непереводимыми» блоками смыслов — те пути и переходы, которые делают общение между людьми и их мыслями возможным и достижимым.

## § 5. Дальнейшие превращения структуры

К настоящему моменту структурализм успел стать многослойным явлением культурной памяти и забвения; на нем лежат слои перепрочтений, переводов на другие языки и в иные категориальные системы, многое из его наследия было развеяно по ветру или перенесено в чертоги постмодерна. Оказалось, что даже сравнительно недавнее прошлое требует настоящих археологических раскопок, так как слой культурных отложений нарастает слишком быстро, и подчас счистить его бывает технически даже сложнее, чем с явлений более далеких во времени. Поэтому важно бывает вернуться к каким-то прошлым моментам.

Даже беглый взгляд на историю гуманитарного познания показывает, что мысль о структуре — путешественница: она не идет по прямой линии, но проходит ряд эпизодов, претерпевает ряд метаморфоз, пропитывается разными влияниями, вписывается в различные социокультурные конъюнктуры, шествуя — в течение всего XX века — по Европе и по миру<sup>80</sup>. В трех предыдущих параграфах речь шла о Якобсоне 1920—30-х годов. Следующим историческим витком обстоятельств, в которых продолжала складываться структуралистская проблематика, был период первой половины 1940-х годов в Нью-Йорке, где спасающиеся от фашизма европейские ученые в Свободной школе высших исследований читали лекции, слушали друг друга, вели научные споры и дискуссии, которые стали для некоторых поворотными для всей их дальнейшей научной жизни. Интенсивно участвовали в научном общении французский математик Адамар, немецкий философ Кассирер. Особенно важное значение в судьбе мысли о структуре имела дружба и научное сотрудничество между Якобсоном и Леви-Стросом.

<sup>80</sup> Эти вопросы рассматриваются в книге П. Серно «Структура и целостность» (М., 2001). См. также: *Chiss J.-L., Puech C.* Fondations de la linguistique: Etudes d'histoire et d'épistémologie. Louvain-la-Neuve, 1997; *Le structuralisme a-t-il une histoire?* // *Débat*. 1993, janvier-février; *Milner J.-C.* Le périple structural: figures et paradigme. Paris, 2002; *Parodi M.* La modernité manquée du structuralisme. Paris, 2004; *Cusset F.* French Theory: Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis. Paris, 2003. Именно на эту тему — «Структура в прошлом и структура сегодня» — в мае 2006 года было проведено специальное заседание научного семинара для докторантов Университета Париж-3 «Новая Сорбонна», на котором мне довелось выступить с докладом.

Встречу Jakobsona с Levi-Straussом в 1943 году в Свободной школе в Нью-Йорке можно условно считать начальным моментом французского структурализма. Дискуссии с Jakobsonом вдохновили Levi-Straussа на перенос методов структурной лингвистики в область антропологии. Позже, публикуя в Париже нью-йоркский курс лекций Jakobsona под названием «Шесть лекций о звуке и значении»<sup>81</sup>, Levi-Strauss, снабдивший эту книгу своим предисловием, называет Jakobsona «своим учителем»<sup>82</sup> (иначе говоря, и через 35 лет после того, как лекции были прочитаны и прослушаны. Levi-Strauss отдает дань уважения Jakobsonу). Именно Jakobsonу Levi-Strauss посвящает одну из лучших своих книг, в России, к сожалению, не опубликованных, — «Взгляд издалека»<sup>83</sup> (иногда ее называют третьей «Структурной антропологией»)<sup>84</sup>. Методологической основой структурной антропологии Levi-Straussа стала jakobsonовская фонология, построенная на идее смысло-различительных признаков, организованных в пучки бинарных оппозиций и не осознаваемых носителями языка. Levi-Strauss, который тогда, в Нью-Йорке работал над диссертацией, начинает под влиянием Jakobsona рассматривать свой объект — системы родства и браков в первобытных обществах — как аналоги языковым структурам. Диссертация «Элементарные структуры родства» была опубликована в 1949 году<sup>85</sup>. Позже эта аналогия разрастается в творчестве Levi-Straussа и принимает вид поиска бессознательных структур в разных областях человеческой культуры: не только в системах браков и родства, но также в других социальных и культурных явлениях — тотемизме, масках и прежде всего — мифах. Единица стросния мифов — мифема — была построена в качестве аналога jakobsonовской фонемы. Разбор концепции Levi-Straussа выходит сейчас за рамки нашей темы, хотя настоящий момент вновь побуждает нас обратиться к его идеям: в 2008 году исполнилось 100 лет со дня рождения Levi-Straussа и 50 лет с момента опубликования его самой знаменитой книги, сборника статей «Структурная антропология» (1958). Можно подумать, что не будь этого случая, столкнувшего Jakobsona с Levi-Straussом

<sup>81</sup> Рус. пер. см.: Jakobson P. Звук и значение // *Он же*. Избранные работы. С. 30—91.

<sup>82</sup> *Levi-Strauss Cl. Préface // Six leçons sur le son et le sens. Paris, 1976. P. 7.* См. об этом, в частности: *McLean H. Jakobson's Metaphor/Metonymy Polarity. A Retrospective Glance // Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования. С. 725—733.* О нью-йоркском периоде научной дружбы Jakobsona и Levi-Straussа см.: *Rudy S. Jakobson et Levi-Strauss à New York (1941—1945) and then those infamous cats // L'Horne. Paris, 2004. P. 120—124 (Levi-Strauss).*

<sup>83</sup> *Levi-Strauss Cl. Le regard éloigné. Paris, 1983.*

<sup>84</sup> Третья «Структурная антропология» идет после двух первых: *Levi-Strauss Cl. Anthropologie structurale. Paris, 1958; idem. Anthropologie structurale deux. Paris, 1973.*

<sup>85</sup> *Levi-Strauss Cl. Structures élémentaires de la parenté. Paris, 1949.*

в Нью-Йорке, не состоялся бы и французский структурализм — по крайней мере, в том виде, как он нам теперь известен. Наверное, это свято место все равно не осталось бы пустым; во всяком случае, для Якобсона 1940-х французский структурализм 1960-х было тем будущим, которое он вряд ли мог предугадать, а для нас сейчас это — ретроспективное погружение в то, что уже было.

Многочисленные обсуждения самой возможности переноса методов, поиска области методологической соизмеримости лингвистики и антропологии запечатлены на страницах «Структурной антропологии». Сейчас, в период междисциплинарных переносов, когда мало кто задумывается об основаниях самой их возможности, все это очень важно вспомнить. Прежде чем рассуждать о возможности переноса методов из лингвистики в антропологию, исследователи ставят вопрос о том, можно ли применять структурный анализ ко всем уровням языка (то есть, можно ли распространять методологию, которая хорошо зарекомендовала себя в фонологии, на уровнях морфологии, синтаксиса и семантики). Леви-Строс спорит со скептиками и считает уже сделанные попытки применения убедительными: так, Якобсон, напоминает он, использует структурные методы не только в фонологии, в грамматике, синтаксисе и даже в изучении лексики, но также при изучении тропов<sup>86</sup>. Следующий вопрос, который возникает уже в контексте франко-французских споров: как соотносится структурный метод с философскими подходами? Здесь Леви-Стросу (а не только советским аспирантам-философам 1970-х годов) важно было убедить критиков, что структурный метод не свидетельствует об отказе от диалектики, напротив, он дает новые инструменты, которыми может пользоваться историческая диалектика<sup>87</sup>. Структурализм опирается на реальность научного поиска, в котором синхронные взаимосвязи не ограничиваются одним вре-

<sup>86</sup> *Levi-Strauss Cl. Anthropologie structurale. Paris, 1958. P. 361*

<sup>87</sup> *Levi-Strauss Cl. Structure et dialectique // For Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his Sixtieth Birthday. The Hague, 1956. P. 289—294.* Леви-Строс решительно поддерживает мысль Якобсона о том, что структурный анализ не только не противоречит исторической диалектике, но дает ей новые средства исследования (*Levi-Strauss Cl. Anthropologie structurale. P. 266*). Леви-Строс напоминает: в «Принципах исторической фонологии» Якобсон говорил, что статика и динамика — это одна из фундаментальных диалектических антиномий, которые определяют саму идею языка и его структуру, и вообще — он всегда был чувствителен к вопросу о структуре и диалектике (*Ibidem. P. 258*). При этом к статье Якобсона «Принципы исторической фонологии», которая предваряет французскую публикацию книги Трубецкого «Основы фонологии» (*Principes de phonologie. Paris, 1949. P. 315—336*). Леви-Строс обращается неоднократно (рус. пер. см.: *Якобсон Р. Принципы исторической фонологии // Он же. Избранные работы. С. 116—132.*

менным срезом, но распространяются на историю: тем самым она становится у Якобсона «динамической синхронией».

Трудность переноса фонологических методов в анализ первобытных обществ, считает Леви-Строс, не в том, что аналогия между фонологическими системами и системами родства слишком слаба, но, напротив, в том, что она велика, и приходится удерживать себя от слишком далеко идущих сопоставлений. Во всяком случае, уподобляя термины родства фонемам языка, мы выявляем в этнологическом материале дифференциальные элементы, организуем их в одну или несколько пар оппозиций (их элементы: поколение, пол, сравнительный возраст, степень родства и др.), причем продолжая исследование на своем «микросоциологическом» уровне, мы можем надеяться получить в итоге общие законы функционирования того или иного общества. Есть между ними и несходства (сейчас я не буду их показывать, замечу лишь, что в системах родства, в отличие от системы фонем, используется двойная система единиц: в них одновременно функционируют система именований и система поведенческих установок).

Тем не менее, Леви-Строс заимствует у Якобсона фактически все основные методологические постулаты. И даже те элементы телеологии, о которых мы говорили в связи с его ранней программой Якобсона, доложенной в Праге. Еще интереснее то, что именно через эту телеологическую линию (западные исследователи, естественно, не обращают на нее внимания) Леви-Строс в конечном счете выходит к своей главной идее — поиску внутренней логики в развитии человеческого духа. Таким образом, этот момент «русской специфики» привлекает и французского исследователя: Леви-Строс цитирует «Принципы исторической фонологии» Якобсона, который утверждает, что эволюция фонологической системы направляется к определенной цели<sup>88</sup> и что именно из этого и вытекает, что эта эволюция имеет смысл, внутреннюю логику. Ее и должна выявить историческая фонология, вопреки всем индивидуалистическим атомистическим интерпретациям, акцентирующим в ее создании те или иные исторические случайности. Эти мысли позволяют Леви-Стросу (в его часто приводимом фрагменте из «Структурной антропологии») увязать воедино вопрос о бессознательной умственной деятельности людей, о ее формах, о символической функции, выражаемой в языке, и о единстве бессознательных структур, лежащих в основе всех культурных поряд-

<sup>88</sup> «Эволюция фонологической системы направляется в каждый данный момент тенденцией к цели... Эта эволюция имеет направление, внутреннюю логику, которую призвана выявить историческая фонология» (Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 36).



ков любого общества. Все они опираются на единую «телеологическую интуицию», изысканную в условном наклонении: «Если, как мы полагаем, бессознательная умственная деятельность состоит в наделении содержания формой и если эти формы в основном одинаковы для всех типов мышления, древнего и современного, первобытного и цивилизованного, как это блестяще раскрывается при исследовании символической функции в том виде, как она выражается в языке, — то необходимо и достаточно прийти к бессознательной структуре, лежащей в основе каждого социального установления или обычая, чтобы обрести принцип истолкования, действительный и для других установлений и обычаев, разумеется, при условии достаточно глубокого анализа»<sup>89</sup>.

Этот поиск бессознательной логики — как она проявляет себя в других областях культуры и человеческого духа — и стал магистральным путем того направления исследований, которое, с большими или меньшими на то основаниями, называли французским структурализмом. Параллельно тому, как Леви-Строс продолжал свой путь, выявляя бессознательные структуры в системах родства, масках, тотемизме, мифах, структуралистский поиск расширился на другие области — литературу, массовую культуру у Барта, психоанализ у Лакана, историю идей у Фуко. Не образуя ни школы, ни группы, они сложились в сознании современников в единый образ. При этом не только карикатуристы, но и такие серьезные и различные по своим установкам мыслители, как Франсуа Валь<sup>90</sup> или Жиль Делёз<sup>91</sup>, вполне серьезно воспринимали структурализм как определенное единство. Все то, что мы можем назвать структурализмом, так или иначе связано с переводом явлений человеческого мира, явлений сознания и бессознательного — в план языка, языковой методологии, языковой метафорики и других ипостасей языкового бытия.

Жак Лакан называл Якобсона «восходом и кульминацией современной лингвистики», человеком, сумевшим сформулировать основные формы психических заболеваний, характеризующиеся нарушением речевых функций, на основе чисто лингвистического анализа. Лакан широко применял идеи Якобсона путем переноса по аналогии — особенно в области сновидений. Он сформулировал принципиальное различие между значениями метонимических смещений (обнаруживание) и метафорических сгущений (упрятывание). Это привнесение языковых механизмов в пси-

<sup>89</sup> *Леви-Строс К.* Структурная антропология. С. 28.

<sup>90</sup> *Wahl F.* La philosophie entre l'avant et l'après du structuralisme // Qu'est-ce que le structuralisme? Paris, 1968.

<sup>91</sup> *Deleuze J. A* quoi reconnaît-on le structuralisme? // Le XX-ème siècle. Paris, 1973. P. 299—335.

хоанализ в свою очередь подтолкнуло Лакана к построению теории, связывающей процесс желания и процесс означения<sup>92</sup>. Одна из главных лакановских трактовок бессознательного гласит: бессознательное — это цепь означающих (по Лакану, это идеально согласуется как с текстами Фрейда, так и с самим психоаналитическим опытом), при том, что означающее, воплощенная материальность знака, оторвавшаяся от своего значения, выступает основанием всей постройки. Лакан утверждает:

«Это термин античной риторики, которому современная лингвистика дала новую жизнь в учении, чьи этапы мы рассмотрим здесь не можем, но чье зарождение и расцвет связаны с именами Фердинанда де Соссюра и Романа Jakobsona, напоминающими нам, что корни ведущей в западном структурализме науки лежат в России, где произошел в свое время расцвет формализма. Даты 1910 (Женева) и 1920 (Петроград) достаточно красноречиво объясняют, почему инструментом этой науки Фрейд не мог воспользоваться. Но этот совершенный историей промах делает еще более поучительным тот факт, что механизмы, описанные Фрейдом как механизмы «первичного процесса», т. е. механизмы, определяющие режим деятельности бессознательного, в точности соответствуют функциям, которые эта научная школа считает определяющими для двух наиболее ярких аспектов деятельности языка — метафоры и метонимии, т. е. эффектам замещения и комбинации означающих, возникающим, соответственно, в синхроническом и диахроническом измерениях дискурса»<sup>93</sup>.

В этой тяжеловесной цитате сосредоточено многое: цепочка исторических прецедентов (античная риторика, русский формализм, современная структурная лингвистика), сожаление о том, что Фрейд не успел воспользоваться плодами структуралистского взгляда на вещи, наконец, провозглашение собственной программы: это тезис о «точном соответствии» между главными механизмами работы бессознательного (это и есть «так называемые

<sup>92</sup> См.: McLean H. Jakobson's Metaphor/Metonymy Polarity: a Retrospective Glance // Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования. С. 731—732. Ранний Барт тоже многим обязан Jakobsonу: именно лингвистика дает литературоведческим исследованиям (или, иначе, литературной критике) шанс подняться на уровень науки.

<sup>93</sup> Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда (1960) // Лакан Ж. Инстанция буквы, или Судьба разума после Фрейда / Пер. с фр. А. К. Черноглазова. М., 1997. В оригинале: *Lacan J. Ecrits*. Paris, 1966. P. 799. Механизмы первичных процессов в бессознательном, говорит Лакан, точно соответствуют (*recouvrent exactement*) основным аспектам языкового функционирования. Лакановский текст поначалу был докладом на международном конгрессе в Руайомоне, состоявшемся в сентябре 1960 года под руководством Жана Валья.

первичные процессы») и главными сторонами деятельности языка — они заключаются в метонимических смещениях и метафорических сгущениях означающих, которые так или иначе затрагивают все сферы человеческого духа. Я не буду сейчас перечислять все пассажи, где Якобсон ведет за собою Лакана, а Лакан ссылается на якобсоновские труды: рассмотреть все эти примеры — отдельная увлекательная задача.

Не наша забота сейчас освещать вопрос о том, в какой мере французский структурализм был (или не был) идейным целым и как он эволюционировал. Для нас важно, что центральным персонажем всех важнейших споров и главной мишенью критики был именно Леви-Строс и его структурная антропология. Он сумел увлечь за собой представителей других областей: в изучении массовой культуры и мифов западного обыденного сознания, истории науки, смены систем письма ему в той или иной степени следовали Р. Барт и Л. Альтюссер, М. Фуко и даже отчасти Ж. Деррида. Леви-Строс подходил к вопросу о принадлежности структурализму достаточно строго: он включал в число структуралистов лингвиста Э. Бенвениста, специалиста по индоевропейским мифам Ж. Дюмезиля и самого себя — никого больше.

В своей философской сути структурализм был попыткой провести некий рациональный импульс в особых условиях времени и культуры: он предполагал отталкивание как от классического рационализма, так и от современных им концепций субъективистской и персоналистской ориентации. 1960-е годы были периодом бурного развития структуралистской проблематики и огромного внимания к этим, казалось бы, внутренним научным делам со стороны самой широкой общественности. При этом научная проблематика возгонялась на уровень философских споров и идеологических заклинаний, а потом и политических обвинений. То, что было разными аспектами языка, стало отдельными сущностями.

Хронологически последовательность развития структуралистской проблематики можно представить следующим образом. Начальный этап французского структурализма — 1950-е годы, когда он еще не имел общественного резонанса: так, в 1949 году вышли «Элементарные структуры родства», в 1953 году — «Структурная антропология» Леви-Строса, лакановский манифест структурного психоанализа «Функция и поле речи и языка в психоанализе», а также, например, «Нулевая ступень письма» Барта (в недавнем рус. пер. «Нулевая степень письма»). Кульминация этого идейного движения — 1966 год, когда вышли в свет программные труды Лакана, Фуко, Барта. Когда в середине 1960-х годов структурализм пользовался огромным вниманием, ему посвящали специ-

альные номера журналов и других изданий<sup>94</sup>, у его защитников и противников брали интервью; страсти кипели в яростной полемике Леви-Строса с Сартром и Рикёром, Фуко с Сартром; отдельные фразы из этих полемик вокруг структуры и истории, структуры и человека, вошли в философский фольклор. В 1970-е годы общественный интерес к структурализму пошел на спад, хотя научное развитие в каждой из названных областей продолжалось своим чередом. Наибольшей исследовательской и программной устойчивостью отличался Леви-Строс. Моментом исчерпания структуралистской программы принято считать конец 1960-х — начало 1970-х годов<sup>95</sup>, период, окрашенный майскими событиями: можно сказать, что научные программы структурализма продолжили свою работу, но общественное внимание отхлынуло от структурализма — точнее, от того, что было скорее социально-идеологическим полюсом структуралистской проблематики.

Логическая последовательность этапов структуралистской проблематики иная<sup>96</sup>. Вспомним, что структурализм в гуманитарных науках — явление не только междисциплинарное, но и международное.

*Первый его этап (1930—1940-е годы)* — создание методов исследования языка в различных школах американского и европейского лингвистического структурализма.

<sup>94</sup> Не было, кажется, ни одного солидного журнала, который бы не опубликовал развернутые обсуждения или просто не посвятил бы целые номера полемике вокруг структурализма. Это были «Le nouvel observateur», «Esprit», «Temps modernes», «Revue philosophique», «Pensée», «La nouvelle critique», «Critique», «Le monde» и другие органы интеллектуальной жизни и публичных дискуссий.

<sup>95</sup> А точнее — майские события 1968 года и облетевший весь мир тезис «структуры не выходят на улицы»: некоторые увидели в нем констатацию фиаско структурализма на всех фронтах — научном, политическом, идеологическом. Правда, Лакан не упустил повода громко возразить: именно структуры как раз и выходят на улицы, но так как любую его фразу можно было трактовать многозначно, необходимого отпора критикам она не дала. Это произошло на обсуждении доклада Фуко в «Философском обществе» в 1968 году. Лакан встал на защиту Фуко, атакованного представителем так называемого генетического структурализма Люсьеном Гольдманом. В опубликованной стенограмме обсуждения это высказывание так и осталось несколько загадочным. См.: Лакан Ж. Выступление в дискуссии по докладу М. Фуко «Что такое автор?» // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 46. Так что вопрос о том, были бы эти майские события опровержением структурализма или, напротив, его подтверждением, — остался открытым при всей его абсурдности. См. об этом, например: Gritti J., Toinet P. Le structuralisme: science et idéologie. P., 1968.

<sup>96</sup> Лишь первый этап предшествовал другим и логически, и хронологически, временной разрыв между прочими — минимален или вовсе отсутствует. Я воспроизвожу эту схему, которую публиковала и раньше, в частности, в книге «Познание и перевод», потому что она позволяет наглядно представить неоднородность и достаточно сложную эволюцию французского структурализма и его отношения к языковой проблематике.

*Второй этап* (1950—1960-е годы) — перемещение структурализма на французскую почву. Его главная фигура — К. Леви-Строс. Его смысловая доминанта — поиск новых методов и попытка применить на этнографическом материале некоторые приемы структурной лингвистики, а также представить различные социальные механизмы как взаимодействующие знаковые системы.

*Третий этап* (в особенности 1960-е годы) — более широкое распространение и «размывание» лингвистической методологии. Наследуя некоторые установки предшествующего этапа (перенос методов исследования языка на другие области культуры), он все больше отдаляется от этих методологических образцов (каким была для Леви-Строса, например, структурная фонология Трубешко и Якобсона).

*Четвертый этап* (конец 1960-х — 1970-е годы) — это критика и самокритика структурализма (поздний Фуко, Деррида), выход его в широкие общественные движения. Тем самым прочерчивается последовательность этапов: лингвистической замкнутости (язык-объект), экспансии методов (язык-метод), размывания методов (язык-метафора), превращения языка в «символическую собственность» или «социальную силу».

Общие тенденции развития науки во второй половине XX века выводят на первый план информатику, семиотику, изучение коммуникаций и обменов, постигаемых на основе структуры естественного языка. Структурная антропология как научная дисциплина извлекает из этого все следствия для изучения своего предмета — социальной жизни и культуры традиционных обществ — рассматривая их как особого рода языки, системы обменов. Однако общий социальный и культурный контекст формирования новой науки определялся во Франции жестким идейным столкновением с философиями субъективности (экзистенциализм, персонализм), которые отстаивали свои привилегии на анализ субъекта, сознания, истории. Структуралисты противопоставляли этому философскому пафосу установку на объективное познание, на выявление систем отношений, на поиск неосознаваемых закономерностей, лежащих в основе любого индивидуального поступка или культурного продукта. В этой полемике на стыке науки и философии были сформулированы философские проблемы, вовлекающие в сферу анализа полярные сущности: структура и/или субъект, структура и/или история, сознание и/или «анонимная мысль». К их обсуждению были привлечены, казалось, не только знатоки, но и широкая публика, охваченная общим энтузиазмом.

Обратим внимание на то, насколько различным по духу и по смыслу было это существование структуралистской мысли в раз-

ных контекстах: Якобсон и Леви-Строс бережно продумывали вопрос о том, как возможен перенос методов. Якобсон упорно трактовал историю, диахронию как то, что не является противоположным синхронной структуре. Вопрос о соотношении статики и динамики, с одной стороны, синхронии и диахронии, с другой, прорабатывался им последовательно и уже в 1920-е годы<sup>97</sup>. Внимательно относился к этому вопросу и Леви-Строс, по крайней мере, проблему возможной связи структурализма и диалектики он трактует очень осторожно, правомерно ссылаясь при этом на Якобсона. На французской интеллектуальной почве от этой рефлексивной бережности не осталось и следа. Энтузиазм широкого применения, а потом и размывания методов сочетался с высокой степенью идеологизации терминов и понятий. То, что у Якобсона было взаимодействием между структурой и историей в формах «динамической синхронии», стало во французской идейной конъюнктуре резким разрывом между «структурой» и «историей», «структурой» и «субъектом», между «аборигеном», живущим в холодном, неисторическом обществе, и французским интеллектуалом, властителем дум, участником исторических событий. В образах Сартра и Леви-Строса взаимосвязь научных понятий разорвалась на идеологически непримиримые полюса. Дальнейшая возгонка политической суеты истолковала фукольдланскую критику гуманизма и «теоретический антигуманизм» Альгюссера как воплощение «антигуманизма», а сам структурализм — как принцип, исключающий возможность политической борьбы (затравленный упреками после оглушительного успеха своих «Слов и вещей» Фуко на несколько лет скрылся в Тунисе, а потом принялся

<sup>97</sup> Это отчетливо видно уже в совместных тезисах Якобсона и Тынянова о языке и литературе, написанных в Праге в 1928 году. Эти тезисы Тынянова и Якобсона под заглавием «Проблемы изучения литературы и языка» включены в текст воспоминаний Якобсона «Юрий Тынянов в Праге» // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 61–63. Впервые эти 9 тезисов были опубликованы в журнале «Новый Леф» в начале 1929 года, а затем в «Избранных сочинениях» Якобсона (*Jakobson R. Selected Writings, Vol. V.*). Эти знаменитые тезисы гласят: эволюцию литературы нельзя понять, если заслонять ее вопросами внесистемного генезиса различных явлений — как литературных, так и внелитературных; период акцента на синхронии в отрыве от диахронии, подчеркивающий контуры синхронной системы, уже исчерпал свою продуктивность; отныне мы исходим из того, что диахронические подходы тоже должны рассматриваться в свете закономерностей синхронного функционирования. Иначе говоря, «история системы есть в свою очередь система. Чистый синхронизм теперь оказывается иллюзией: каждая синхроническая система имеет свое прошлое и будущее как неотделимые структурные элементы системы»; «каждая система дана обязательно как эволюция, а с другой стороны, эволюция носит неизбежно системный характер» (*Якобсон Р. Юрий Тынянов в Праге* // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. С. 62). Эти тезисы сохранили свою актуальность и 40, и 60 и 80 лет спустя!

вымарывать слова «структура», «структурный» из своих ранних работ).

Прямолинейные идеологические обвинения в антигуманизме не менее абсурдны, нежели, при буквальном прочтении и понимании, сам этот тезис. Защитники структурализма поясняли, что речь могла идти об освобождении от привычных предрассудков прекраснотушного гуманизма, косвенно — о критике данного социального порядка и даже о радикальном разрушении традиций. Наперебой ставились вопросы: что важнее в «Словах и вещах» Фуко: «отчаяние» человека, помещенного в «эпистему», или напротив, «гарантии» стабильности, даваемые эпистемой<sup>98</sup>. Возведение этой полемики на идеологическую высоту (уровень публичных дебатов между представителями разных философских позиций) приводило к абсурдным выводам и безумным следствиям.

Дальнейшие процессы сосуществования структуралистской и постструктуралистской проблематики все больше облекали ее в постмодернистские одежды, хотя ни у кого из этих крупнейших французских мыслителей ни термина, ни строя мысли обобщенного постмодернизма не было и в помине. Современный мир постмодерна — не мир предметов, а мир знаков, моды, рекламы, соблазнов, внушений, химер — в чем-то вполне средневековый. Сейчас те Фуко, Деррида, Лакан, которые за последние десятилетия стали в переводном виде массово доступны и в России, во многом зависят от их американской рецепции. Американский опыт прочтения сделал из мыслей и опытов французских мыслителей «французскую теорию», транслируемую затем во все уголки земного шара. Американский акцент на всяческих идентификациях, приложение французских идей к опыту жизни меньшинств (культурных, расовых, этнических, сексуальных и др.) привел к серьезным переделкам смысла и направления современной французской мысли. Так что мысль о структуре не отработала в культуре своего потенциала. Во Франции этому помешал не только языково-эстетический соблазн, интенсивно проникавший в структуралистские тексты, но и социально-политический диктат.

Сейчас в Россию французский структурализм вернулся в многократно опосредованном и превращенном виде. Основная масса переводов, сделанных в 1990-е годы, отсекала этап бурных дискуссий и ввела уже тот перелом, который в известном смысле сделал структурализм постструктурализмом и далее подтолкнул его к постмодернизму. Этому содействовали и параллельные переводы американских работ, которые интерпретировали «французскую

---

<sup>98</sup> Colombeau J. Les mots de Foucault et les choses // Nouvelle critique. 1967. № 4. P. 8.

теорию» именно как постмодернистский поворот, оттененный собственной американской проблематикой, связанной, как уже говорилось, с проблемами меньшинств и множественных идентификаций, начисто отсутствовавшими у французских мыслителей.

В 1980-е годы ушли из жизни Барт, Фуко, Лакан, не оставив прямых наследников. Сейчас из всей плеяды «властителей дум» живет и работает (по крайней мере, до последнего времени пытался работать) Леви-Строс, которому 28 ноября 2008 года исполнилось 100 лет. При этом видно, что многие тезисы из тех, что разрабатывались им так давно, сейчас приобретают все большую актуальность — это связано с попыткой понять морфологию культуры путем анализа ее структур и языков, с исследованием того, что можно было бы назвать глобальной экологией человеческого существования, а главное — с самой установкой на поиск возможностей объективного познания человека. Структурная антропология Леви-Строса стала девизом нового гуманизма, не ограниченного пространством «старой» Европы.

Сейчас — полвека спустя после выхода первой «Структурной антропологии» — ситуация со структурной антропологией как дисциплиной потеряла для нас ту определенность очертаний, которую задавал ей идейный контекст 1950—1970-х годов. Дело в том, что изменилась вся концептуальная сетка, в которую, так или иначе, вписывается концепция Леви-Строса. И прежде всего — изменилось отношение к науке и объективному познанию как цели и устремлению. Когда-то структурализм возник на гребне социального интереса к науке, на гребне надежд на то, что наука сможет решить человеческие проблемы, но сейчас, по крайней мере, в области гуманитаристики, об этом все практически забыли. Однако, по сути, все то, в чем ныне подчеркивается вненаучное содержание, сохраняется у Леви-Строса научное, познавательное значение. Выше говорилось о взгляде на Леви-Строса как на эколога, как на представителя экуменического мышления. Это подразумевает одновременно и этические, и эпистемические коннотации. С одной стороны, экуменизм — это представление о жизни как высшей ценности, перед которой все живые виды равны. С другой, применительно к гуманитарным наукам, экуменизм считает себя позицией, при которой ни одна наука не должна считать себя главной, исключительной в общем поле гуманитарного знания, а если это происходит, значит, в данной области науки еще не сформировались<sup>90</sup>. В целом, реабилитация

<sup>90</sup> В самом деле, ведь в сфере точных наук специалисты по анатомии, физиологии или молекулярной биологии не оспаривают друг у друга предметы исследований: каждый расчленяет реальность по-своему и рассматривает только некоторую ее часть. В принципе так же должно обстоять дело и в области гуманитарного знания.



литация науки и познавательной установки особенно важна для нас сейчас — в ситуации, когда современные концепции вписывают знание в стратегии власти, ограничивают его функционирование выполнением социальных заказов, что приводит к давлению идеологических форм псевдонауки<sup>100</sup>, а также — к релятивизации картины познания, лишаемого своей специфической ценности в человеческой жизни и в культуре.

Таким образом, структурализм — это не шелуха омертвевшего прошлого; он был взрывом, событием, энергия которого не взялась невесть откуда, но была вынесена на поверхность глубокими тектоническими процессами в познании и культуре. То, в чем некогда бился «пульс культуры», заставляет нас теперь заново приоткрыться ко всей череде метаморфоз структуралистской проблематики в Европе и в мире, удерживая в памяти свидетельства участников великих познавательных событий.

Напомним себе еще раз: оказалось, что связанный со структурализмом период французской интеллектуальной и социальной жизни был пройден «слишком быстро», на лету, так что многое из того, что содержалось в концепциях и дискуссиях этого периода, было попросту потеряно. Нам теперь предстоит заново прочитать некоторые страницы этой истории и, возможно, обнаружить актуальное в том, что, казалось бы, давно ушло в тень. Одна из сторон нового интереса касается той объективности в языке и в гуманитарных объектах, которую можно уловить с помощью структурно-семиотических приемов. Сейчас в университете Париж-8 идет подготовка к большой международной конференции, посвященной переосмыслению ряда структурно-семиотических принципов — с осознанным обращением к восточноевропейскому и русскому идейному наследию. В современных поисках «интеллигибельности диахронии смысла» осознанно или неосознанно звучит взаимный обмен мыслями с Романом Якобсоном, с его «динамической синхронией», а это значит, что познавательный опыт в истории, к счастью, не теряется.

---

<sup>100</sup> Леви-Строс неустанно говорит о деградации знания в угоду идеологическим фальсификациям, о деконструкции этнологии, которая в результате отказывается как от полевых исследований, так и от теоретической рефлексии, и дает волю безответственному изобретательству (таким, например, разделы гендерных исследований, которые потакают примитивным представлениям о матриархате).

Бахтин: апология незавершенности<sup>1</sup>

Издатели первого номера журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп» написали в статье от редакции: Бахтин — это «целый мир, огромный, загадочный и еще мало изученный»<sup>2</sup>. С тех пор прошло столько лет, а ситуация, похоже, не изменилась. Он никому не дается: его пытаются присвоить, но он выскальзывает из объятий, его критикуют, но он возрождается, несмотря на всю обоснованность критики. И еще одно важно: феномен Бахтина по-прежнему являет «противоречие в размахе признания и неостребованности по существу»<sup>3</sup>. Не будем поспешно судить о «существо», но огромный «размах признания» виден невооруженным глазом. Откуда же идет бахтинское излучение, откуда берется энергия, которую признают даже те, кто с ним не согласен? Быть может, его мысли настолько живучи именно потому, что они ненаучны (точнее — анаучны), не имеют понятийной определенности и завершенности? В этой главе представлена лишь малая часть моих материалов о Бахтине, причем контекст рассмотрения заведомо ограниченный и, кроме того, — полемичный. Это может расстроить таких преданных своему предмету и глубоко уважаемых мною исследователей, как В. Л. Махлин, И. Л. Попова, Л. А. Гогтишвили. Скажу лишь, что полемика для меня не цель в себе: разбирая позиции моих героев, я пытаюсь выявить сложные и спорные вопросы, которые возникли не по чьему-либо злему умыслу: они указывают на реальные познавательные провалы, которые мы подчас умудряемся не замечать.

<sup>1</sup> «Единство становящейся (развивающейся) идеи. Отсюда и известная *внутренняя незавершенность* многих моих мыслей. Но я не хочу превращать недостаток в добродетель: в работах много внешней незавершенности, не завершенности не самой мысли, а ее выражения и изложения. Иногда бывает трудно отделить одну незавершенность от другой. Нельзя отнести к определенному направлению (структурализму). Моя любовь к вариациям и к многообразию терминов к одному явлению. Множественность ракурсов. Сближение с далеким без указания посредствующих звеньев». *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2005. С. 431.

<sup>2</sup> От редакции // *Диалог. Карнавал. Хронотоп*. 1992. № 1. С. 7.

<sup>3</sup> *Бочаров С. Г.* Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия // *Бочаров С. Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 515.

## § 1. Сдвиги контекстов

Бахтин выступает в ряду других великих русских филологов особым образом: он входит в общее тематическое единство гуманитарной мысли в России, которое складывалось в 1920—1930-е годы, но представляет собой противовес и антитезу всем разновидностям нормальных и структурных подходов. Для всех персонажей данной книги Бахтин — это значимый другой, предмет неравнодушного внимания. Бахтин — тот, кто обостряет обстановку. Писать о Бахтине трудно: слишком тяжел груз традиций истолкования, слишком велик опыт применения тех или иных его понятий — по всему свету, слишком много неясностей в ряде вопросов его творческой биографии. В данном случае я пытаюсь рассмотреть некоторые фрагменты его мысли в связи с ее языковой и концептуальной выстроенностью, приглядеться к тому, как она путешествовала, пересекая границы, и при этом выявлять, а не прятать и не ретушировать важные концептуальные разногласия между различными позициями: понять их основания и смыслы для меня важнее, чем заявить чью-то правоту. Сам Бахтин меня к этому побуждает, ведь он считает: истина разделена между многими, а правды никто один не знает. Сознание современного человека — вероятностная вселенная, а потому нам предстоит учитывать множественность систем отсчета, момент неопределенности, момент незавершенности в знании о человеке. Однако знание о человеке не станет научным от того, что мы объявим его «эйнштейновским миром», или, возводя беду в добродетель, будем добавлять к незавершенности нашей мысли о главных вопросах собственное желание ускользнуть, не быть ясным и не быть точным — этого последнего я как раз и постараюсь избежать. Я буду стремиться ставить мои вопросы так, чтобы на них можно было, по крайней мере, искать определенный ответ.

М. Бахтин ныне один из наиболее цитируемых мыслителей не только в российской гуманитарной литературе, но и на Западе. Литература о нем в мире насчитывает тысячи текстов<sup>4</sup>. В сво-

<sup>4</sup> См.: Библиографический указатель, выпущенный к юбилею Бахтина Институтом научной информации по общественным наукам: Бахтин в зеркале критики. ИНИОН, 1995; библиографию в антологии: Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Антология. Т. II. СПб., 2002; существующие бахтинские библиографии, их сравнительные достоинства и недостатки обсуждаются в рецензии на английскую аннотированную библиографию (*The Annotated Bibliography* / Ed. by C. Adlam, D. Shepherd. London, 2000) в обзоре: Юрченко Т. Г. Зарубежная библиография по бахтинистике // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004. С. 510—513. Отмечу сразу, что в латинской транслитерации слово «Бахтин» передается по-разному: Bakhtine, Bakhtin, Bachtin, Baxtin и др.).

ей знаменитой работе Ц. Тодоров некогда назвал Бахтина самым ярким советским мыслителем и «самым крупным теоретиком литературы XX века»<sup>5</sup>. Его понятия распространяли на всевозможные предметы, но сам он при этом оставался неуловимым Протеем, который не имеет предметной определенности. Когда-то Юлия Кристева<sup>6</sup> открывая Бахтина французам, считала Бахтина одновременно писателем, моралистом, ученым — историком литературы, философом, очевидно, будучи уверена, что выполнение всех ролей сразу это, с одной стороны — хорошо, а с другой — вполне возможно. В другом полушарии канадский исследователь Клайв Томсон строил еще более впечатляющие перечни бахтинских предметов и направлений мысли: Бахтин — формалист, постформалист, семиотик, специалист по поэтике, теоретик литературы, марксист, материалист, феноменолог, неокантианец, эстетик, гуманист, структуралист. В России очень расширенной трактовки Бахтина придерживался, к примеру, Библер<sup>7</sup>, который подчеркивал в Бахтине протеические и диалектические переходы: он и философ, и культуролог, и этик, и филолог, и семиолог. А сейчас к этому нередко добавляют: а также религиозный мыслитель.

Его литературоведческие достижения применяют к столь различным авторам, как Джойс, Фолкнер, Беккет, Г. Джеймс, Йейтс, Кафка, А. Жид, Эзра Паунд, Т. С. Эллиот, Кундера, Валери, Гертруда Стайн, Фрейд, Толстой, Лопе де Вега, Гёте, Диккенс, Т. Манн, Унамуно, Шекспир, Гриммельстаузен и многие другие. Его теоретические достижения относят к столь различным предметным или общетеоретическим областям, как герменевтика, прагматика, семантика, семиотика культуры, социокритика, философия языка, теория литературной критики, теория и критика идеологии, теория коммуникативной компетенции, литература как коммуникация и познание, этика оценок и многие другие. Список философов, с которыми его сопоставляют, не менее впечатляющ: это Гуссерль и Гераклит, Киркегор и Шопенгауэр,

<sup>5</sup> *Todorov Tz. Mikhail Bakhtine. Le principe dialogique. Suivi de: Ecrits du Cercle de Bakhtine. Paris, 1981. P. 7.* Для Тодорова главное достижение Бахтина — универсализация диалогического принципа в гуманитарном познании.

<sup>6</sup> *Kristeva J. Une poétique ruinée. Présentation // M. Bakhtine. La poétique de Dostoïevski. Paris, 1970. P. 5—27 (рус. пер.: Кристева Ю. Разрушение поэтики // Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М., 2004. С. 7—30); Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique. 1967. T. XXIII. № 239. P. 438—465 (рус. пер.: Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 4. С. 5—24); Kristeva J. Le mot, le dialogue et le roman // Idem. Sémiotikè, recherches pour une sémanalyse. Paris, 1969 (рус. пер.: Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю. Избранные труды. М., 2004. С. 165—193).*

<sup>7</sup> *Библер В. М. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.*

Грамши и Лукач, Лиотар и Левинас, Рорти и Гадамер, Лакан и Деррида<sup>8</sup>.

А если попытаться определить главное: кто же такой Бахтин? На этот вопрос давались различные ответы. Как свидетельствует С. Бочаров<sup>9</sup>, ученик Бахтина, ныне главный редактор его Собрания сочинений, Бахтин не считал себя ни религиозным мыслителем, ни философом в профессиональном смысле слова (он говорил: меня увлекла Марбургская школа, вот и все). Для Бахтина философия — это строгая наука, тогда как в России философия выступает скорее как «свободное мыслительство»: Бахтин считал это бедой русской философии: вслед за немецкой, ей тоже следовало бы стать «строгой». Иное говорит нам В. Д. Дувакин: когда в 1973 году он спросил Бахтина о том, можно ли считать его скорее философом (и в 1973, и в 1920-е годы), Бахтин ответил: да, таким был, таким и остался, я философ, мыслитель. Но если это так, тогда чем же была для него литература: вынужденным прибежищем, материалом для апробирования своих идей? Но как же быть с весьма распространенной в наши дни (или, по крайней мере, крайне широко распространенной в 1990-е годы) мыслью о том, что концепция Бахтина — это образец, пример для гуманитарных наук? Во всяком случае, от своих книг о Достоевском и о Рабле Бахтин никогда не отказывался (хотя и сказал некогда С. Бочарову, что его книга о Достоевском — это просто литературная критика, литературоведение, а нужно было бы найти выход к другим словам).

Мой взгляд на Бахтина не претендует на широту. Мне довелось специально изучать рецепцию Бахтина на Западе (главным образом, во Франции), читать об этом спецкурсы французским и швейцарским студентам и докторантам<sup>10</sup>. При этом я пыталась показать многообразные трансформации феномена Бахтина, творившего главным образом в 1920—1930-е годы, заново открыто-

<sup>8</sup> Вот лишь несколько примеров наугад: *Handley W. R.* The Ethics of Subject Creation in Bakhtin and Lacan // *Critical Studies*. 1993. Vol. 3. № 2/3; Vol. 4. № 1/2. (Shepherd D., ed. Bakhtin. Carnival and Other Subjects); *Haardt A.* Répondre de quelque chose, c'est répondre à quelqu'un: un dialogue imaginaire entre Bakhtine et Levinas // *Slavica Occidentalia*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe); *Burkitt I.* The Death and Rebirth of the Author: the Bakhtin Circle and Bourdieu on Individuality, Language, and Revolution // *Bakhtin and the Human Sciences*. No last Words / *Bell M., Gardiner M.*, eds. London etc., 1998; *Morrow R.* Bakhtin and Mannheim: an Introductory Dialogue // *Ibidem*; *Холкеуст М.* Услышанная неслышимость: Бахтин и Деррида // *Бахтинский сборник*. Вып. 5. М., 2005, и мн. др.

<sup>9</sup> *Бочаров С. Г.* События бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия // *Он же*. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 503—520; см. также: *Бочаров С. Г.* Об одном разговоре и вокруг него // *Там же*. С. 472—502.

<sup>10</sup> Это было в университете Париж-8, Париж-3, в Международном философском колледже, в Лозаннском университете.

го в 1960—70-е годы и ставшего кумиром публики (но также, все больше, объектом критики) в последние десятилетия XX века. Редко кто был столь различно проинтерпретирован: критик авторитаризма (М. С. Каган, Д. Куюнджич) или зеркало своей эпохи (М. Рыклин); противник теории соцреализма или же, напротив, ее сторонник (Б. Гройс), последователь западной философии или же мыслитель, укорененный в русской философской традиции (Б. Гройс<sup>11</sup>, Н. Бонеецкая<sup>12</sup>, К. Г. Исупов<sup>13</sup>, К. Эмерсон<sup>14</sup>). Каждое новое поколение, каждый новый культурный контекст воспринимал его в соответствии с потребностями своего времени.

Быть может, нам будет легче разобраться в этих сложностях, если поставить вопрос несколько иначе: в какой собственно области он творил? Долгое время считали: это — литературоведение. Мораль и философия — добавили в эпоху оттепели. Политическая мысль, история — добавили в 1980—1990 годы и в России, и на Западе. При этом общие обозначения получали дополнительную расцветку: в США он скорее либеральный мыслитель, в Англии скорее левый марксист, во Франции — образец прогрессивного исторического мыслителя, вбирающего в себя все лучшее в гуманитарных науках. Американцам казалось важным уточнить, что Бахтин — это скорее моральный философ и культуролог, хотя насчет его мультикультурализма они заблуждались: культурные различия его совершенно не трогали. Во всяком случае, уточняет Кэрил Эмерсон, одна из лучших американских исследователей Бахтина и переводчик «Проблем поэтики Достоевского» на английский, в США (и не только в США)<sup>15</sup>, Бахтин

<sup>11</sup> Гройс Б. Проблема авторства у Бахтина и русская философская традиция // Russian literature. 1989. Vol. XXVI. № 2.

<sup>12</sup> Бонеецкая Н. К. М. Бахтин в двадцатые годы // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 4. С. 16—62.

<sup>13</sup> Исупов К. Г. Бахтинский кризис гуманизма (материалы к проблеме) // Бахтинский сборник. Вып. 2. М., 1991.

<sup>14</sup> Ср., например: Эмерсон К. Русское православие и ранний Бахтин // Бахтинский сборник. Вып. 2.; Морсон Г. С. Бахтин и наше настоящее // Там же; Гройс Б. Ницшеанские темы и мотивы в русской культуре 30-х годов // Там же, и др.

<sup>15</sup> Вот лишь некоторые ее работы: Emerson C. The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton, 1997; Critical Essays on Mikhail Bakhtin / Emerson C., ed. N. Y. 1999; Emerson C. Bakhtin after 1990: How Having the Early Writings in English Has Reconfigured the Whole // Indiana Slavic Studies. 2000. Vol. 11. (In Other Words... In Celebration of Vadim Liapunov); *idem*. Coming to Terms with Bakhtin's Carnival: Ancient, Modern, sub Specie Aeternitatis // Bakhtin and the Classics / R. B. Branham, ed. Evanston, 2002; Эмерсон К. «Новый Бахтин» у нас в России и у нас в Америке // Философские науки. 1995. № 1; Эмерсон К. Прозаика и проблема формы // Новое литературное обозрение (далее — НЛО). 1996. № 21; Эмерсон К. «Переводимость» // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004; Эмерсон К. Бахтин на знамени западного марксизма // там же; Эмерсон К. По ту сторону актуальности // Там же, и др. Более подробный перечень трудов Кэрил Эмерсон см.: Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Антология. Том II. СПб., 2002.

оказывается одинаково «политически некорректным» хоть в ранний свой период, хоть в поздний: например, он всегда был против каких-либо коллективных действий. Вот и хорошо, говорит Эмерсон, что он не смешал политическое с этическим (иначе у политического не было бы судьи и внешнего контроля); а в жизни, вопреки некоторым поспешным мнениям, он не был ни жертвой, ни прислужником: он просто достойно выживал<sup>16</sup> в любых обстоятельствах, и это было важнейшее человеческое дело. Однако есть в Бахтине и нечто иное, продолжает Эмерсон. От русских корней в нем живет определенный анархизм — он жаждет обойтись без институтов, без неличностных норм. Наверное, от этой вражды к официальности и иерархиям — и его любовь к карнавалу, и умение выживать, когда тебя не печатают и не знают, но бахтинский анархизм не агрессивный (как у тех, кто бросал бомбы), а мягкий (как у Кропоткина, уповавшего на взаимную помощь). Кроме того, Бахтин — идеалист (или же «неоидеалист»?), наряду с такими русскими мыслителями, как Петр Струве, Семен Франк, Сергей Булгаков, Николай Бердяев. Такой идеализм связан со словом и с понятием идеала. В свою очередь идеал здесь не есть нечто абстрактное и деперсонализирующее: вслед за Кантом, во главу угла полагается человеческое существо — как цель, а не как средство.

Отметим, прежде всего — применительно к Бахтину, различие трех основных периодов, трех исторических контекстов. Первый — это основной контекст созревания концепции: преимущественно 1920—1930-е годы, когда создавались и были опубликованы «Проблемы творчества Достоевского» (1929) и написана диссертация о Франсуа Рабле (завершена в 1940 году; защищена в 1946 году), по материалам которой потом писалась книга. Второй — это контекст переоткрытия идей Бахтина после большого перерыва: это преимущественно 1960—1970-е годы, когда в СССР была издана переработанная книга о Достоевском — «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1965), когда концепция Бахтина стала распространяться также на Западе. Наконец, третий — 1980—

<sup>16</sup> «He was a *survivor*». См.: *Emerson C. The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin*. P. 8. Чтобы выжить — морально и физически, нужно было развить в себе приемы и техники этого выживания (самозащиты и уклонения). Эмерсон справедливо подчеркивает, что мы вряд ли когда-нибудь узнаем, насколько и в чем именно эти защитные тактики исказили или изменили его основные идеи и тексты. В любом случае ясно, объясняет Кэрил Эмерсон англо-американской аудитории, что Бахтин вовсе не стремился подорвать основы своего ремесла. В этом смысле он скорее придерживался консервативного подхода к высокой культуре — подхода, характерного для советской литературы и противоположного постмодернистским новациям. Советские интеллектуалы, привычные к вторжениям извне, держались за эстетическое литературное пространство, в котором проводили часть реальной жизни, как за высокую ценность.

1990-е годы, когда сбылось предсказание Романа Jakobsona: интерес к Бахтину породил целую дисциплину — «бахтинологию» (у Кэрил Эмерсон дается более дробный перечень дисциплин — «бахтиноведение», «бахтинистика», «бахтинология», между которыми не всегда удастся провести сколько-нибудь четкую границу)<sup>17</sup>; возникают культ и индустрия Бахтина, впрочем, одновременно нарастают и тенденции критического прочтения. XXI век позволяет надеяться, что культ вместе с индустрией идут на спад, и это наконец-то даст возможность серьезной и спокойной работы.

Рассмотрим эти этапы более подробно. В 1920—1930-е годы работы Бахтина были мало замечены. Однако существовала в общем положительная рецензия Луначарского: маленькая, но информативная рецензия была опубликована, как уже отмечалось, в 1929 году в журнале «Славише Рундшау», издававшемся Jakobsonом и его коллегами, были и другие публикации. Последующие годы жизни Бахтина были полны тяжелых душевных испытаний и физических лишений. Во всяком случае, к началу 1960-х годов он был в России и в мире одним из самых неизвестных знаменитостей, родившихся в 1890-е годы (время рождения многих выдающихся людей).

Как уже говорилось, немало сделал для переоткрытия Бахтина в США и в Советской России Роман Jakobson. С 1956 года, когда Jakobson вновь начал, после 35 лет эмиграции, бывать в России, он рассказывал о Бахтине, о его работах, вышедших в 1920-е годы, молодым коллегам. Именно в этот период группа молодых литературоведов — В. Турбин, С. Бочаров, Г. Гачев, В. Кожинов — открыли для себя книгу Бахтина о Достоевском, загорелись идеей сделать переиздание, и с удивлением обнаружили, что автор жив, хотя и никому не известен. Но, кажется, и сам Бахтин был поражен тем, что от его ранних работ что-то осталось, и с энтузиазмом принялся перерабатывать первое издание Достоевского («Проблемы творчества Достоевского», 1929) с учетом своей работы над Рабле в 1930—1940-е годы. Переизданный в 1963 году «Достоевский» и заново изданный в 1965 «Рабле» были восприняты читающей публикой в атмосфере надежд на новые возможности свободы и гуманизма, на различие мнений и открытое их выражение.

На Западе в этот период в изучении Бахтина лидировала Америка. Так, в 1968 году вышел перевод «Рабле» с предисловием Кристины Поморской<sup>18</sup>, которая связывала Бахтина с поздними формалистами, в 1973 — «Поэтика Достоевского», в издании,

<sup>17</sup> Emerson C. The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton, 1997: «Бахтиноведение, бахтинистика, бахтинология» — заглавие первой части книги.

<sup>18</sup> Pomorska K. Preface // Bakhtin M. Rabelais and his world. Cambridge MA, 1968. P. 1—X.



подготовленном Кэрил Эмерсон. Первая в мире подробная биография Бахтина, сделанная Майклом Холквистом и Катериной Кларк, появилась в 1984 году<sup>19</sup>. А в 1986, в издании, подготовленном В. Ляпуновым, появились ранние рукописи Бахтина и в том числе его «Философия поступка»<sup>20</sup>. В США вышла прекрасная книга Кэрил Эмерсон «Первые сто лет Бахтина»<sup>21</sup>, весьма содержательный итог века жизни бахтинской мысли в России и за рубежом.

На французскую интеллектуальную сцену Бахтин был продвинут русскоязычными болгарами Кристевой и Тодоровым. Во франкоязычном мире в 1970 году появилось сразу два перевода «Проблем поэтики Достоевского»<sup>22</sup>. После выхода в свет статей Кристевой, в том числе — предваряющих первый перевод Бахтина во Франции<sup>23</sup> и несколько позже — работ Тодорова<sup>24</sup>, связавших Бахтина с современными процессами постструктурализма и постмодернизма, именно французские прочтения Бахтина стали задавать тон и в европейской бахтинистике. В 1970 году вышел и «Рабле»<sup>25</sup>, а несколькими годами позже, с предисловием Р. Якобсона, — «Марксизм и философия языка»<sup>26</sup>. В 1978 и 1984 появились переводы сборников работ Бахтина<sup>27</sup>, а «Философия поступка» вышла в свет сравнительно недавно<sup>28</sup>. Солидных индивидуальных монографий о Бахтине во Франции нет, но есть хо-

<sup>19</sup> Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge MA, 1984.

<sup>20</sup> Bakhtin M. Toward a Philosophy of the Act / Liapunov V. ed., transl. Austin, 1993; Bakhtin M. Art and Answerability. Early Philosophical Essays / Holquist M., Liapunov V., eds. Austin, 1990. Ср. также посвященный В. Ляпунову юбилейный том журнала (Indiana Slavic Studies. 2000. Vol. 11), озаглавленный «In Other Words... In Celebration of Vadim Liapunov».

<sup>21</sup> Emerson C. The first hundred years of Mikhail Bakhtin. Princeton, 1997.

<sup>22</sup> Bakhtine M. La Poétique de Dostoïevsky. Paris, 1970; Bakhtine M. Problèmes de la poétique de Dostoïevsky. Lausanne, 1970. Сопоставление этих переводов остается интересной задачей, за которую пока никто не отважился взяться.

<sup>23</sup> Kristeva J. Une poétique ruinée. Présentation // Bakhtine M. La poétique de Dostoïevski. Paris, 1970. P. 5—27; Idem. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique. 1967. T. XXIII. № 239. P. 438—465; Kristeva J. Le mot, le dialogue et le roman // Idem. Sémiotikè, recherches pour une sémanalyse. Paris, 1969.

<sup>24</sup> Todorov Tz. Préface // Bakhtine M. Esthétique de la création verbale. Paris, 1984. Todorov Tz. Mikhail Bakhtine. Le principe dialogique. Suivi de: Ecrits du Cercle de Bakhtine. Paris, 1981.

<sup>25</sup> Bakhtine M. L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance. Paris, 1970.

<sup>26</sup> Bakhtine M. (Volochinov V. N.) Le marxisme et la philosophie du langage. Paris, 1977.

<sup>27</sup> Bakhtine M. Esthétique et théorie du roman. Paris, 1978; Bakhtine M. Esthétique de la création verbale. Paris, 1984.

<sup>28</sup> Bakhtine M. Pour une philosophie de l'acte. Lausanne, 2003.

рошая популярная книжка, написанная Жаном Петаром<sup>29</sup>, много сделавшим для распространения бахтинской концепции. Среди отрядных событий можно отметить сборник материалов юбилейной конференции под редакцией Катрин Депрето<sup>30</sup>, сборник материалов семинара в Серизи-ля-Саль о лингвистических подходах к диалогу и полифонии<sup>31</sup>, а также вышедший в прошлом году солидный и тщательно подготовленный сборник тулузского славистического журнала «Славика Окситания», целиком посвященный Бахтину, с широким привлечением российских авторов, под общей редакцией Бенедикты Вотье<sup>32</sup>. Некоторые моменты французской рецепции и переводов Бахтина будут далее рассмотрены отдельно, именно потому, что они — особенно в ранний период — существенно повлияли на международную судьбу бахтинского наследия<sup>33</sup>.

В 1980—1990-е годы казалось, что идеи Бахтина применимы не только ко всем произведениям всех времен и народов, но и к осмыслению многих явлений современной культуры и общества: это проблемы бездомных, последствий колониального гнета, сексуальных меньшинств и др. Как заметил С. Бочаров, из-за этого нам приходится теперь пытаться рассмотреть Бахтина «сквозь туман современной бахтинологии»<sup>34</sup>. Индустрия, построенная вокруг магического имени, разбирала бахтинскую терминологию на лозунги, звучавшие на всех широтах — от проблем африканской племенной жизни до городов-трущоб в Бразилии<sup>35</sup>. При этом Бахтин казался совершенно неопровержимым; точнее, любые применения его понятий представлялись заведомо подтвержденными. И как всегда в подобных случаях, причины такого рода единодушия должны интересовать нас не меньше, чем сам предмет, по поводу которого оно возникает.

<sup>29</sup> *Peytard J. Mikhaïl Bakhtine. Dialogisme et analyse du discours.* Paris, 1995.

<sup>30</sup> *L'héritage de Bakhtine / Ed. par C. Depretto.* Bordeaux, 1997.

<sup>31</sup> *Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques. Actes du colloque de Cerisy / Sous la dir. de J. Bres e. a.* Bruxelles, 2005.

<sup>32</sup> *Slavica Occitania.* 2007. N° 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe / B. Vauthier, éd.)

<sup>33</sup> Кроме того, во Франции существует несколько групп по изучению Бахтина, одной из них руководит в университете Париж 8 Ноэль Батт: здесь студенты (неслависты и нерусисты) читают Бахтина в переводах, подробно обсуждают его идеи и стремятся их применять для анализа широкого спектра текстов; с удовольствием вспоминаю занятия со студентами этой группы: они проявляли интерес к творчеству российского мыслителя и задавали толковые вопросы.

<sup>34</sup> *Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия // Он же. Сюжеты русской литературы.* С. 519.

<sup>35</sup> Это не вымышленный пример, ср.: *Amorim M. Dialogisme et alterité dans les sciences humaines.* Paris, 1996.

Наряду с литературоведами к нему стали обращаться представители других дисциплин, например, психологи<sup>36</sup>. В России 1990-х годов в этой роли выступили философы, разочарованные состоянием своей дисциплины и ищущие новые пути. В философии постсоветского периода бахтинская концепция диалога и диалогизма, вместе с рядом других понятий (таких, как не-алиби в бытии<sup>37</sup>, ответственного поступка и другие) были в отрыве от всего остального выдвинуты на первый план как средство борьбы с т. н. «теоретизмом» и стали концептуальным знаменем т. н. «антитеоретизма». Коммуникативность, диалогичность, субъект-субъектность — все это рассматривалось как средства выхода из тупиков науки, которая за конструкциями забыла о человеке. В этой критике теоретизма Бахтин воспринимался как идущий рука об руку с запоздало явившимся на российской интеллектуальной сцене Хайдеггером.

На Западе 1990-е годы стали продолжением уже прорисовавшихся тенденций. В России же — это была новая эпоха, прорывы, контакты, наверстывание в мировом процессе освоения мысли Бахтина; упал железный занавес, российские исследователи стали выездными. В 1991 году состоялся Бахтинский конгресс в Манчестере — первый, в котором участвовало много российских исследователей; на первых порах между западными и российскими участниками возник «кризис доверия»: мешал языковой барьер; не совпадали академические культуры поведения. Западные делегаты (особенно те, что из «левых») удивлялись, что их российские коллеги не поддерживают применения идей Бахтина в таких областях, как мультикультурализм, феминизм, постколониализм. Рос-

<sup>36</sup> Американские ученые Кеннет Герген (уточняю: правильное написание: Герген), Джон Шоттер и др. стали привлекать понятия Бахтина для анализа своих предметов — особенно в области интерактивной психологии, учитывающей как «наблюдателя» так и «наблюдаемого». И с Гергеном, и с Шоттером мне довелось встречаться по линии Международного общества Теоретической Психологии (ISTP), на конференциях этого общества в Париже, Берлине, Калгари и Стамбуле. В Берлине я выступила с докладом о Бахтине (Bakhtin and «Anti-Bakhtin»: some contemporary Approaches / Challenges to Theoretical Psychology / Maier et al., eds. North York, Ontario, 1999. P. 426—433), который вызвал заинтересованное обсуждение. Использование бахтинских идей в американской (и не только) психологии заслуживает отдельного исследования. Так, о диалогической природе интерактивных взаимодействий см.: Shatter J., Billig M. A Bakhtinian Psychology: from out of the Heads of Individuals and into the Dialogues Between Them // Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998; о диалогической психологии с позиций внутренней речи см.: Dufva H. From Psycholinguistics to Dialogical Psychology of Language: Aspects of the Inner Discours(s) // Lähteenmäki M., Dufva H., eds. Dialogues on Bakhtin: Interdisciplinary Readings. Jyväskylä, 1998, и др.

<sup>37</sup> В переводе на обычный язык экзистенциальную метафору «не-алиби в бытии» можно передать так: перед нами поставлена задача, от которой нельзя уклониться.

сийские участники чувствовали себя ущемленными, отставшими, отдавшими свое наследие в чужие руки. Однако этот сильный в то время разрыв довольно быстро сглаживался — по мере того, как русские исследователи утверждались в своем праве на собственное мнение. Высокую оценку этих усилий дает, в частности, наш путеводитель по западным просторам освоения Бахтина Кэрил Эмерсон: возникает ощущение, что за пять лет российские исследователи проделали работу, рассчитанную на тридцатилетие.

Переломным моментом стало празднование в Москве 100-летней годовщины со дня рождения Бахтина — Бахтинский конгресс в Москве в 1995 году (МПГУ). За эти годы бахтиноведческая ситуация в России успела измениться: выходят книги, альманахи<sup>38</sup>, проходят тематические конференции. В рецепции Бахтина намечаются удивительные крайности: с одной стороны, он «посткоммунистический постмодернист», с другой — воплощение русской духовности. В. Л. Махлин, организовавший юбилейный конгресс, отмечает: отныне главные противоречия в изучении Бахтина разворачиваются уже не между Западом и Востоком, но между поколениями тех, кто лично знал Бахтина, и тех, кто его не знал, а также — между философами и филологами. Несколькими годами раньше, в 1992 году, вышел из печати серьезный коллективный труд «Бахтин как философ»<sup>39</sup>. Одним из акцентов в исследованиях Бахтина становится защита его наследия от постмодернистских притязаний: постмодернизм сосредоточивается на несовпадениях, несоизмеримостях, расщепленности Я, однако это не дает оснований сближать социальные перформансы или познавательный релятивизм с бахтинским «карнавалом». Две модные темы французской философии — смерти автора и смерти субъекта — пришли в Россию в переводах с большим запозданием — лишь в 1990-е годы, однако если на Западе деконструктивистских прочтений Бахтина было в избытке, то российские исследователи чаще были осторожны в подобных сопоставлениях.

<sup>38</sup> Среди Бахтинских сборников (к настоящему моменту их вышло пять) очень удачен последний, под редакцией В. Л. Махлина (Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2005). Много хорошего сделал основанный в 1992 году ежеквартальный журнал «Диалог. Карнавал. Хронотоп», издающийся в Витебске и в Москве, на разные средства. Его цель — координация усилий в области исследований Бахтина, публикация архивных документов, переводы, рецензирование, обзоры. Журнал широко использовал проблемное анкетирование — о теории карнавала, об отношении к книге о Достоевском (с содержательной разверткой вопросов: роль в истории русской мысли и в теоретическом наследии Бахтина, моменты несогласия, уязвимое и недостаточно обоснованное и др.). Были выпущены сборники «М. М. Бахтин и философская культура XX века». Вып. 1. Ч. 1—2. СПб., 1991; М. М. Бахтин и проблемы научного наследия. Саранск, 1992; М. М. Бахтин. Эстетическое наследие и современность. Саранск, 1992. Ч. 1—2 и др.

<sup>39</sup> Бахтин как философ. М., 1992.

Фокус внимания перемещается при этом в Россию, где идет архивная работа, где тщательно готовится к изданию Собрание сочинений Бахтина в шести (сначала полагалось, что в семи) томах<sup>40</sup>. В ходе этой подготовки новых больших текстов найдено не было, но был реконструирован генезис известных нам работ, исследованы их источники, что имеет очень большое значение в процессе интерпретации. Думаю, судьба бахтинских идей в мире решается сейчас не там, где они находят или могут найти новое неожиданное применение, но там, где ведется эта кропотливая и серьезная работа, без которой многое в текстах Бахтина и в эволюции его взглядов остается непонятым. Можно ли отныне работать с идеями Бахтина, не владея русским языком? — фактически это ставится под вопрос. В результате этой архивной и издательской работы публикуются важные документальные свидетельства, на месте безграничных притязаний вводятся ограничения, некоторые из идей, ранее приписывавшихся Бахтину, отдаются их настоящим владельцам. Так восстанавливается «диалогизирующий фон» мысли Бахтина.

В 1990-е годы Бахтин становится классиком и на международной интеллектуальной сцене. Этому сопутствовали все необходимые атрибуты: издание антологий, проведение семинаров, организация центров бахтинской мысли (прежде всего, это Международный центр в Шеффилде), регулярное проведение международных конференций и конгрессов. На повестку дня — всюду, где Бахтиным занимаются серьезно, — встает проблема стандартизации переводов, в которых со временем и в процессе работы с архивными источниками было обнаружено немало ошибок. Процессы санктификации и беатификации одновременно порождают и интенсифицируют критику. Все очевиднее становится, что корни бахтинских идей следует искать в 1910—1920-х годах, когда российская наука видела себя как часть европейской, когда у нее было чувство (пусть недолгое) — того, что идет освоение общего пространства.

Среди многочисленных загадок, связанных с Бахтиным, нерешенной и, по-видимому, неразрешимой остается загадка авторства ранних работ — так называемых «спорных» или «девтороканонических» сочинений. Это «Марксизм и философия языка.

<sup>40</sup> Так, в первом томе опубликована Философская эстетика 1920-х годов; во втором — «Проблемы творчества Достоевского» (1929), статьи о Толстом (1929), Записи курса лекций по истории русской литературы Р. М. Миркиной; в пятом — Работы 1940—начала 1960-х годов; в шестом — «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и Работы 1960—1970-х годов. В 2008 году вышел из печати долгожданный четвертый том (первый полутом), содержащий варианты текстов о Рабле, ожидается выход второго полутома: мы обогатились прекрасной работой, тщательно сделанной И. Л. Поповой.

Основные проблемы социологического метода в науке о языке» (Л., 1929); «Фрейдизм. Критический очерк» (Л., 1927); «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» (Л., 1929). Две первые книги вышли под именем В. Н. Волошинова, третья — под именем П. Н. Медведева. Литература о проблеме спорных книг очень обширна, и я не буду здесь в нее углубляться. Среди видных исследователей есть те, кто приписывает авторство всех трех работ Бахтину (В. Махлин), те кто считает авторство коллегиальным и, наконец, те, кто целиком отдает авторство коллегам Бахтина (так, П. Серио считает В. Н. Волошинова единственным автором «Марксизма и философии языка»). Среди различных свидетельств имеются и собственные высказывания Бахтина, и свидетельства собеседников, как подтверждающие его авторство, так и отрицающие его.

Применительно к «спорным работам», например, к тому же «Марксизму и философии языка», идут в ход идеологические доводы. Разве мог Бахтин пользоваться марксистским языком? А почему собственно не мог? Он был человеком достаточно толерантным, а в марксистской мысли были моменты, которые его, как и многих других, привлекали, например, социальный критицизм. Так кто же все-таки написал «Марксизм и философию языка» (далее — МФЯ) — аспирант Волошинов? Волошинов вместе с Бахтиным? А если авторы писали свои части порознь, то кто из них что написал? Обычно считается, что Волошинов с наибольшей вероятностью является автором третьей части книги, посвященной конкретным проблемам синтаксиса<sup>41</sup>. В свою очередь, от решения вопроса об авторстве зависит и вопрос об эволюции творчества: была ли она или нет? Полагаю, что ядро идей у Бахтина, безусловно, есть, но были и значимые изменения в способе представления этих идей, которые нельзя не учитывать. От серьезного разбора вопроса об авторстве «спорных текстов» я здесь отвлекаюсь, полагая, во всяком случае, что МФЯ имеет коллективного автора — это Бахтин/Волошинов (сокращенно: Б/В). Вопрос о причинах непоследовательного поведения Бахтина в вопросе об авторстве далеко выходит за рамки данного исследования, а вполне удовлетворительного ответа на этот вопрос, по-видимому, не будет дано никогда. Возможно, что в те времена,

<sup>41</sup> Я пыталась выяснить у специалистов, насколько применение современных методов может нам помочь идентифицировать спорные тексты. Ответ был такой: мы надеемся с высокой степенью вероятности вычленить фрагменты, написанные Бахтиным, так как от него осталось больше текстов, где его авторство неоспоримо; что же касается других авторов спорных произведений, то определять их авторство не представляется возможным, так как бесспорных текстов от них осталось недостаточно для более или менее строгих выводов.

когда Бахтин определялся в своей духовной жизни, существовало особое отношение к интеллектуальной собственности: во всяком случае, Бахтин охотно давал свои идеи другим. Но и сам он много брал у других, не указывая этого: как выясняется в результате архивных разысканий, это были, прежде всего, немецкие авторы, которых Бахтин хорошо знал и любил (Макс Вебер, Макс Шелер, Георг Зиммель, Эрнст Кассирер).

Процессы освоения Бахтина — и в России и в мире — подчинялись общей логике, обусловленной публикацией его наследия. Сначала в центре внимания были главные работы («Достоевский», «Рабле»), затем — ранние работы (об этике и нравственности, которые смягчили в международном бахтинистском сообществе споры о его политической ориентации), и наконец — архивные разработки, от которых зависит многое в том, что мы можем достоверно знать о Бахтине и источниках его мысли. При этом вырисовываются две основные тенденции: первая — это освоение наследия, вписывание его в идейный, историко-философский, историко-литературный контекст; вторая — широкий размах применения идей как средство преодоления современного культурного и мировоззренческого кризиса. В целом сейчас российские (и русскоязычные) исследователи все больше сосредоточиваются на его текстах и подтекстах, а западные по-прежнему работают в сфере применения идей и логической реконструкции его творчества. Однако и для западных ученых стало ясно, что они должны держать руку на пульсе архивных публикаций, пересматривая в их свете свои некогда принятые интерпретации и переводческие решения.

## § 2. Бахтин: критика и реконструкция

Моя цель здесь — наметить возможности реконструкции, которая учитывала бы критические тенденции восприятия Бахтина (в России и за рубежом). Под критической реконструкцией я понимаю, прежде всего, подступ к определению границ и условий применения его основных понятий. Одновременно будет сделана попытка хотя бы пунктирно наметить некоторые возможности их продуктивного использования. С целью систематизации материала рассмотрим отдельно главные идейные блоки бахтинской концепции — условно сгруппировав их вокруг понятий (или, точнее, архипонятий) диалога (полифонии), карнавала (народной смеховой культуры) и романа (мениппея) как особого полифонического

го жанра. Фактически концепция романного жанра представляет собой связку между первым и вторым блоками проблем: она опирается на идею диалога и одновременно — во второй редакции «Достоевского» — через область «мениппеи» затрагивает проблематику народной смеховой культуры. Между этими подразделами есть тематические и смысловые пересечения, они не замкнуты жестко в каком-то одном отсеке бахтинской проблематики.

### Диалог и диалогизм (Кристева и другие)

Прежде всего, если не считать, как это все же принято ныне делать, что Бахтин писал для нас и для вечности, то мы должны будем признать, что писал Бахтин, прежде всего, для своего времени, в расчете на своих современников. А потому очевидно, что если не различать контексты творчества и последующего восприятия, мы окажемся во власти многих недоразумений. Сейчас различие контекстов творчества и рецепции — это для нас общее место, но так было далеко не всегда. Первым, кто в советской литературе обратил внимание на различие контекстов творчества и распространения бахтинской мысли и сделал из этого далеко идущие выводы, был М. Л. Гаспаров в небольшой статье конца 1970-х годов<sup>42</sup>. Как построить наше восприятие Бахтина так, чтобы оно не деформировалось нашими собственными запросами и потребностями? Обратимся еще раз к исторической эпохе, определившей все дальнейшее творчество Бахтина. 1920-е годы были периодом, когда царил революционный хаос и попытки полной переделки мира, выкорчевывания всех устойчивых форм жизни и бытия — как социального, так и индивидуального. Эта новая эпоха провозгласила активную реапроприацию «чужой» культуры, «чужого» слова, унаследованного от предшествующих поколений. Обо всем этом подробнее пойдет речь в подпараграфе о романе и о трактовке Бахтина Гаспаровым.

Начнем с диалога. В отличие от тех, для кого диалог — это очевидность человеческого бытия и человеческого познания, для меня, признаюсь, это не так. Диалог в принципе — это понятие, опирающееся на «парность» человеческого речевого поведения в процедурах поочередного говорения и слушания. Но бахтинский «диалог» у Достоевского, насколько я его понимаю, — это своего

<sup>42</sup> Гаспаров М. Л. Бахтин в русской культуре XX века // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 494—496 (первое издание: Труды по знаковым системам. Тарту. 1979. С. 111—114.). Английский перевод, сделанный Энн Шукман, см. в: *Studies in Twentieth Century Literature*. 1984. № 9 (1) Fall.



рода идеализирующая абстракция, лишь косвенно соотнесенная с той эмпирией, в которой она должна была бы укореняться. Вряд ли можно считать Достоевского «диалогическим» писателем (и человеком), способным слушать чужую точку зрения. Но не был «диалогистом» и сам Бахтин: во всяком случае, свидетели рассказывают нам, что свои лекции он читал вполне «монологично», а в кружке друзей зачитывание рефератов, кажется, преобладало над собственно диалогизированием<sup>41</sup>. Вместе со студентами мы неоднократно пытались сопоставлять некоторые характеристики диалога с теми конкретными примерами из романов Достоевского, где диалогические отношения реализуются. Диалог может быть трудным и даже жестоким для человека, но он должен предполагать равноправие человеческих позиций. Не правда ли, трудно достичь воплощением диалога отношения между Раскольниковым и Порфирием Петровичем: они более похожие на жесткую игру в кошки-мышки, на попытку загнать человека в западню, чем на собеседование истины.

Диалог у Достоевского и диалог вообще, по Бахтину, — это цель в себе. Диалог — это жизнь (быть — значит общаться диалогически). Минимум бытия — два голоса. Их общение — незавершенное и бесконечное. Диалог помогает жизни развертываться. Диалог отличается и от позиции внешней нейтральности, и от позиции внутреннего вчувствования, то есть, от позиций объективизма и субъективизма. Фактически, уточняет Бахтин, диалог развертывается даже не между персонажами, но между их голосами. В каждом персонаже Достоевского есть как минимум два голоса — внешний и внутренний, и они могут общаться друг с другом этими разными голосами. Братья Карамазовы (но не все) могут общаться с внутренними голосами друг друга. В «Бесах» все персонажи воспринимают (причем по-разному) только внешний голос Ставрогина; один Тихон способен воспринимать и его внутренний голос. Воспринимать внутренний голос — обычная привилегия болезни и святости.

Концепция диалога, краеугольный камень всей постройки Бахтина, представлена, прежде всего, в «Проблемах творчества До-

<sup>41</sup> Иногда говорят: главной сферой человеческого диалога для Бахтина могли быть его отношения с женой Еленой Александровной, замечательным заботливым человеком. Но ведь диалог как явление и диалогизм как принцип обоснования через диалог других явлений — это в любом случае не только и не столько способ отношений с близкими людьми в семье, но принцип отношений людей в мире, где они опосредованы словом — со всем, что из этого вытекает. В любом случае палитра понимания того, что такое диалог, исключительно разнообразна — от вполне обычной трактовки диалога как обмена репликами до выявления скрытых намеков на полемику в письменных текстах. Сформировать свое мнение нам тем более нелегко, что Бахтин термин «диалог», строго говоря, не определяет и трактует очень по-разному.

стовского», единственной книге, которую Бахтин опубликовал в 1920-е годы под своим собственным именем. Вокруг диалога существуют две основные группы идей — диалога как особой языковой формы общения Я и Другого (реплики и пр.) и диалогизма, или диалогичности, как принципа и как общегуманитарной идеи, предполагающей определенного рода отношения между Я и Другим. Конечно, диалогизм как общая идея окрашивает и трактовку диалога, однако эти вещи необходимо различать. Опора на диалог и диалогичность предполагает резкое различие между высказыванием о вещи и высказыванием о сознании, между овеществляющим высказыванием и персонализующим высказыванием (заметьте, что поздний Бахтин допускает сосуществование обоих этих полюсов). Диалог и диалогичность предполагают также, что отношения между многими говорящими (например, отношение между персонажами романов Достоевского) — это соотношение многих полноправных сознаний (а роман соответственно — их анализ), а не изображение всех сознаний с одной-единственной, привилегированной и монологичной точки зрения. Любое высказывание о человеке, сделанное другим человеком, по меньшей мере, недостаточно. Единственно допустим и правомерен свободный акт самосознания, выраженный в слове и осуществленный как ответственный акт. Даже правда о человеке, высказанная другим, — ложь, поскольку она омертвляет того человека, о котором она высказана. Стало быть, правомерна лишь внутренняя точка зрения, однако ее не следует понимать в духе имманентного подхода: смотря в глаза другому человеку, мы одновременно смотрим на себя глазами другого<sup>41</sup>.

На Западе сменились этапы — восторженного принятия идеи диалога и сомнений в его возможностях. Инициатором безоговорочного принятия концепции диалога и диалогизма была Ю. Кристева, хотя ее взгляд на Бахтина — это не столько рецепция, сколько избирательная интерпретация, со-творчество (в хорошем или не совсем хорошем смысле слова)<sup>42</sup>. Это, в любом случае, пример того, как яркий критик читает Бахтина в рамках интеллектуальных при-

<sup>41</sup> Здесь я не буду останавливаться на возможных предтечах бахтинской идеи диалога и диалогизма. К данному моменту написаны статьи и очерки об истоках этой идеи. Это и Бубер (при этом в Бахтине иногда усматривают лингвистическое обеспечение религиозных идей Бубера), и Шелер, и Зиммель, и Риккерт — все они публиковались в сборнике «Логос», и ряд немецких диалогистов (Ф. Розеншвейг, Е. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнер), а также Г. Шпет и С. Булгаков.

<sup>42</sup> Рецепция Бахтина у Кристевой рассматривается в статье И. Агеевой (Лозанна): *Agueeva I. Le M. Bakhtine «français»: la réception de son œuvre dans les années 1970* ([http://cid.ens-lsh.fr/russe/lj\\_agueeva.htm](http://cid.ens-lsh.fr/russe/lj_agueeva.htm)); иные см.: *Тимсон К.* Бахтин во Франции и в Клебеке // Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Антология. Том II. СПб., 2002. С. 383—399.

вычек ее времени и круга, не соотнося их с временем возникновения авторских идей<sup>46</sup>. Обстановка, в которой были написаны статьи Кристевой о Бахтине, это апогей структурализма и смерти субъекта, попытка выйти за рамки структурализма, интерес к психоанализу, к анализу дискурса, приведение лингвистических открытий в поле литературоведческого анализа, попытка найти структуры, общие и для творчества (производства литературных текстов), и для их исследования. Для Кристевой Бахтин — один из первых, кто вышел из статического догматического структурализма и вместо вопроса о структуре поставил вопрос о том, как вырабатывается, как производится структура. Вместе с тем точками отсылки в трактовке диалогизма и полифонии Достоевского — Бахтина у Юлии Кристевой выступают психоаналитическая концепция Жака Лакана, альтюссеровский марксизм (опирающийся на зрелого Маркса), мысли Башляра о построении нового, динамического объекта науки и, наконец, — идея авангардной литературы, предтечей которой становится Бахтин с его принципом диалогизма и полифонии. В соответствии с французскими интеллектуальными клише 1970-х годов, связанными с критикой классической философии как философии представления, диалог трактуется у Кристевой как способ разрушения этой системы, а монологическая речь — как ее опора. Кристева пишет от своего лица и почти не делает ссылок на упомянутые выше имена, но мы угадываем их без труда, особенно если читаем ее тексты по-французски, где терминологические переклички особенно бросаются в глаза.

Так, характеризуя бахтинский подход к Достоевскому и его концепцию сознания, языка и диалога, Кристева употребляет такие типично лакановские выражения, как «расчленение» или «расщепление» субъекта (*division, scission du sujet*), *morcellement du je*, *Spaltung du sujet*, топология субъекта, «сокровищница означающих» (*trésor des signifiants*) и даже «полная речь» (правда, не «parole», как у Лакана в выражении «parole pleine», а «mot»)<sup>47</sup>. «Слово о слове, обращенное к слову» — так Кристева интерпретирует введенное ею понятие «интертекстуальности», заменившей бахтинское понятие диалога применительно к ситуации внеличного общения.

<sup>46</sup> При этом Кристевой безоговорочно доверяли все те, кто читал Бахтина только в переводе. Ж. Петар выражается так: «Бахтин, которого нам открыла Кристева» («Bakhtine qu'elle nous a fait découvrir»); она не только представляет понятия Бахтина, но также разрабатывает их (ср.: *Kristeva J. Sémiotikè: recherches pour une sémanalyse*; а также сб. *Théorie d'ensemble*, 1968, в котором наряду с Кристевой участвовали Фуко, Деррида, Барт).

<sup>47</sup> Ср. по этой теме: *Handley W. R. The Ethics of Subject Creation in Bakhtin and Lacan // Critical Studies*. 1993. Vol. 3. № 2/3; Vol. 4. № 1/2. P. 114—161. (Bakhtin. *Carnival and Other Subjects* / Shepherd D., ed.)

Кристева утверждает: Бахтин прислушивается к тому, что в слове свидетельствует «о расчлененности субъекта, построенного его другим» (*division du sujet constitué par son autre*) и становящегося полифонической множественностью. Сфера романа, особенно языка романа — это и есть то место, где разыгрывается парадоксальное существование расщепленного Я. Тем самым Кристева видит в Бахтине все то, что было актуально во французской философии 1960—1970-х годов. А именно, что слово у Бахтина не имеет истины ни в референте (вещи), ни в самотождественном (картезианском) субъекте, что оно распылено между различными дискурсными инстанциями. Если мы говорим, что слово диалогично и полифонично, значит, оно соотносится с многими дискурсными инстанциями. В словах не может быть никаких устойчивых смыслов: многоголосие и многоакцентность расщепляют все синтаксические и семантические единства. У слова также нет и единого адресата: оно расщеплено во множестве контекстов, где идет игра говорящего и слушающего.

Человек у Бахтина, с точки зрения Кристевой, — это субъект обращения (*sujet d'une adresse*<sup>48</sup>). Согласно кристевской интерпретации Бахтина, в романе Достоевского нет инстанции «я говорящий» (*je qui parle*), нет субъекта как оси репрезентации, но есть дискурсные взаимодействия<sup>49</sup>. Соответственно автор у Бахтина — это не инстанция истины, но «дискурс другого» (*discours de l'autre*): здесь очевидна переключка с показом бессознательного в лакановском психоанализе. Понятие субъекта получает у Кристевой психоаналитическое оформление в контексте понятия «желания». А отсюда такие формулировки: «Субъект, расчлененный своим слушанием — своим желанием — другого, лишь разбивает семантическое единство слова, фразы, высказывания». Впрочем, Кристева признает: у Бахтина речь чаще идет о «сознании», нежели о том, что может быть представлено как «дискурс», а что касается «бессознательного», то оно не является ни словом языка Бахтина, ни элементом его мысли. В конечном счете, Кристева все же признает, что у Бахтина не хватает теории субъекта, развитого лингвистического анализа, зато есть элементы психологизма и слышны христианские влияния, сформулированные в языке гуманизма<sup>50</sup>. При таком раскладе концы с концами не сходятся, так как, с одной стороны, отмечается гуманистический язык, а с другой — расщепленный субъект, однако на этом противоречии критик внимания не фиксирует.

<sup>48</sup> Kristeva J. Une poétique ruinée. Présentation // Bakhtine M. La poétique de Dostoïevski. Paris, 1970. P. 13.

<sup>49</sup> Ibid. P. 15.

<sup>50</sup> Ibid. P. 10.

Главный комплимент, который Кристева делает Бахтину, это похвала «силе его методологии», соединяющей историзм с «анализом дискурсных инстанций». Эта новая методология, согласно Кристевой, построена «на руинах формалистической поэтики» (отсюда и заглавие ее основного посвященного Бахтину текста (предисловия к «Поэтике Достоевского» — «Поэтика в руинах»). Воплощение научности, связанной с историчностью и дискурсивностью, Кристева усматривает в бахтинской концепции романного жанра, позволившей Бахтину предвосхитить авангардное искусство (для Кристевой это, прежде всего, Джойс, Кафка, а также Арто и Малларме). Любопытно, что, клянясь новой наукой, Кристева принимает бахтинскую теорию романного жанра за нечто самоочевидное, утверждая, что Бахтин фактически является создателем новой методологии для познания этого особого объекта — авангардной литературы.

При этом Кристева трактует диалогизм как интертекстуальность (всякий текст есть мозаика цитат, всякий текст впитывает и преобразует другие тексты и т.д.); более того, она фактически переводит сферу диалогизма в сферу интертекстуальности. Однако, заметим, уровень диалогизма отличен от уровня текста, лишенного всех концептуальных ассоциаций с понятием голоса, которое чаще всего сопутствует бахтинскому диалогу. Диалогизм как интертекстуальность, как теория производства текстов — это один из интеллектуальных лозунгов, распространенных во Франции 1970—1980-х годов. Позднее интертекстуальность в виде своих многочисленных дериватов (таких как паратекст, гипертекст и др.) имела долгую жизнь в исследовательском аппарате анализа современной литературы.

В дальнейшем, по сути, делались попытки выяснить, на самом ли деле современный роман развивает тенденции диалогического и полифонического романа Достоевского? Можно ли считать диалог и полифонию приемами изучения современной литературы? Существуют исследования, в которых содержатся данные о проверке диагнозов Кристевой, универсализирующей находки Бахтина. Так, на материале полутора десятков известных современных романов XX века (среди них были такие авторы, как Джойс, Дос Пассос, Музиль, Кортасар, Гойтисоло, Беккет, Саррот и другие) канадские исследователи пытались отыскать в современном романе приемы диалога и полифонии и сравнить степень интенсивности их использования с их применением у Достоевского в трактовке Бахтина<sup>51</sup>. И

<sup>51</sup> Об этом эксперименте см.: *Krysinski W. Bakhtin and the Evolution of the Post-Dostoevskian Novel // Discours social=Social Discourse: Cahiers internationaux de recherche en littérature comparée. 1990. Vol. 3. № 1—2. P. 109—134. (Bakhtin and Otherness / R. F. Barsky, M. Holquist, eds.)*

эти исследования не подтверждают тезисов Кристевой: оказывается, что в современном романе очень мало диалога и полифонии в бахтинском смысле слова. Зато в нем много совсем иного — монологов, умолчаний, игр власти, манипулирования, насилия (причем не только словесного), иронии, различного рода неравенств во взаимодействиях между людьми, а также псевдиалогических ситуаций, в которых внешняя форма диалога (обмен репликами) вовсе не подтверждает сколько-нибудь содержательной диалогичности. Все эти формы общения с другим больше похожи на борьбу с врагом, на преодоление препятствий к самореализации, чем на общение со своим собственным alter ego. Помимо этого, в современном романе обнаруживается также немало элементов тех жанров, которые Бахтин решительно противопоставлял роману, а именно — поэзии и эпосу. И эти наблюдения наталкивают на дальнейшие размышления: кто же тут прав — Кристева или те, кто пытался проверить ее утверждения?

В числе первых основные доводы против бахтинской концепции диалога, против ее идеалистичности и утопичности, были высказаны на Западе Фогелем и Бернштейном в статьях из сборника «Переосмыслить Бахтина» (раздел «Опасности диалога»)<sup>52</sup>. Общий тезис, высказанный Фогелем, заключается в том, что природа человеческого общения более принудительна и менее гармонична, чем мы думаем, «сентиментализируя» такие термины, как «диалог» и «коммуникация». Подобно тому, как мы обычно не хотим замечать отрицательные черты человеческой природы, мы не хотим видеть физического или морального принуждения к «диалогу» или «общению» — особенность, ярко проявившуюся в XX веке, но им не ограниченную, когда не идиллия достигаемого понимания, а принуждение становится нормой. Ведь даже «внутренний диалог» или разговор с самим собой чреват деструктивными последствиями (ср. «Записки из подполья» Достоевского: постоянный диалог с самим собой разрушает героя, приносит ему чувство собственного бессилия, его сознание становится открытой раной, в которой живут постоянно травмирующие воспоминания). Еще более травматичной оказывается ситуация внешнего принуждения другого к речи, к признанию, выдаче какой-то информации и др. Как мы помним, Бахтин пользуется словом «анакризис», обозначая им совокупность приемов, заставляющих другого говорить. Однако словарное значение этого термина предполагает не только побуждение, провокацию одного слова другим, но и физи-

<sup>52</sup> Fogel A. Coerced Speech and the (Edipus Dialogue Complex // Morson G. S., Emerson C., eds. *Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges*. Evanston (IL), 1989. P. 173—196; Bernstein M. A. Poetics of «ressentiment» // *Ibidem*. P. 197—223.

ческие попытки. В итоге напрашивается предположение, что диалог для Бахтина — это скорее религиозная утопия взаимосогласующихся голосов, нежели эмпирически подтвержденное и теоретически непротиворечивое понятие<sup>53</sup>. Однако, как уже говорилось, раньше них, еще в конце 1970-х об этом писал Гаспаров — но об этом далее<sup>54</sup>.

## Карнавал и карнавализация (Аверинцев и другие)

Карнавал — центр кристаллизации второй группы понятий (в нее входят также «гротескный реализм», «народная смеховая культура» и др.). Интересным сюжетом размышлений может быть здесь — параллельно с текстами Кристевой и особенно ее предисловием к «Поэтике Достоевского» — вступительная статья Кристины Поморской к английскому переводу Рабле, появившемуся в 1968 году. По другую сторону океана прочтение проблематики Бахтина Кристиной Поморской тоже оказывается в известной степени тенденциозным, только по другим основаниям. Например, вопреки многим очевидностям, в частности, битвам Бахтина с формалистами, Поморская причисляет его как раз к формалистам (правда, второго призыва); очевидно, она подразумевает Jakobson и Тынянова, провозгласивших в своих тезисах «Проблемы изучения литературы и языка» (1928) манифест возрождения формализма, фактически ставший манифестом рождения структурализма. Поморская также считает Бахтина одним из пер-

<sup>53</sup> Если же истолковать идею диалога в свете работы «Марксизм и философия языка» (в известной мере этот прием допустим), то окажется, что в человеке все, что относится к сознанию, выразимо в языке, а потому может быть прочитано и, следовательно, доступно социальному контролю. А. Эткинд, автор книги «Эрос невозможного. История психоанализа в России» (М., 1993) видит в этом предвосхищение некоторых идей Сталина о языке. Однако понятие выразимости, по-видимому, недостаточный признак для проследивания подобных влияний. Идею выразимости (и выраженности) мысли в языке последовательно проводит, в частности, Г. Шпет.

<sup>54</sup> В наши дни критика идей диалога и полифонии перестала быть индивидуальным вызовом и стала более распространенной позицией, с которой бахтинское сообщество, разумеется, не соглашается, но вынуждено допускать ее в качестве ереси «на обочине культурного процесса». Так, в своей статье «Перечитывая Достоевского и Бахтина» (Вопросы литературы. 2001. № 2) С. Ломинадзе утверждает, что реальный акцент романов Достоевского не столько на взаимодействии людей, сколько на несоизмеримости миров, причем последнее слово Достоевский всегда оставляет за собой. Например, «Братья Карамазовы», это — великая книга, но как раз не из-за диалогов, а из-за великих монологов, производимых более или менее статичным и неразвивающимися героями (Зосима). Полифония развертывается в голове читателя, но это — эффект любого хорошего романа, а полифонического романа как особой романной формы в истории литературы не существует.

вых семиотиков — особенно в «Рабле», где речь идет не только о словесных, но и о жестовых и других телесных кодах.

Итак, что же такое карнавал? Прежде всего, необходимо уточнить, что карнавал — явление, совокупность культурных ритуалов, символизирующих особое человеческое поведение, а карнавализация — это рассмотрение других, не связанных с этим явлений сквозь призму сходств с карнавалом. Карнавал — это зрелище без рампы и без разделения на исполнителей и зрителей: в нем все — активные участники, все причащаются к карнавальному действу. Карнавал не созерцают и даже не разыгрывают, а живут по его законам, пока эти законы действуют, то есть живут своей карнавальной жизнью. Карнавальная жизнь — это жизнь, выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере «жизнь наизнанку», «мир наоборот».

Главный организующий момент в структуре книги Бахтина о Рабле — жесткое противопоставление «официальной» и «неофициальной» культуры. Неофициальная культура представлена через «народную смеховую культуру», то есть, ритуальные зрелища, пародийные литературные жанры, проклятия, заклинания, ругательства и др. Наиболее яркое проявление «народной смеховой культуры» — карнавал — выступает как праздник становления, позволяющий хотя бы временно освободиться от предустановленного режима. Он как бы подвешивает иерархический порядок, нормы и привилегии, противостоит всему, что претендует на вечность и завершенность. Карнавальный смех — это не индивидуальный смех над индивидуальным событием: смеется весь народ — в том числе и над самим собой, и этот смех амбивалентен — он предполагает одновременно и утверждение, и отрицание, и развенчание, и возрождение. По Бахтину, именно Рабле ввел «народный смех» в мировую литературу. Завершая свою книгу, Бахтин философически замечает: все драмы мира происходили перед хором смеющихся людей (ср. «Борис Годунов» Пушкина), именно народ имеет последнее слово. Иначе говоря, народный хор существовал всегда, но не всегда он находил такого корифея (предводителя хора), каким был Рабле. Хотя Рабле вел народный хор только в один ограниченный период (Ренессанс), он, по мнению Бахтина, сумел выявить язык смеющегося народа и для всех других эпох. Как считают многие историки, это — явная экстраполяция.

За последнее время выросла и экспансия идеи карнавала — как метафоры и даже понятия — в социальные науки и одновременно число публикаций, возражающих против использования ее как методологического приема. Основоположной была в этом смысле статья С. Аверинцева «Бахтин, смех, христианская культура»,



впервые опубликованная за границей в конце 1980-х годов и перепечатанная в сборнике «Бахтин как философ»<sup>55</sup>. Исходный тезис, который Аверинцев подвергает критике, — бахтинское утверждение о том, что будто бы «за смехом никогда не таится насилие». Многие читали эту статью Аверинцева, однако в ее содержании есть несколько слоев смысла, а ее доводы настолько органично сочетают позицию старательного защитника и трезвого критика, что к ним стоит прислушаться заново.

Как быть с категорией «смеха» — этим спутником карнавала с его увенчаниями-развенчиваниями, прославлениями-осмеяниями? Аверинцев утверждал, что смех — это особое переходное состояние, а затянувшийся смех есть нечто противоестественное. Смех вовсе не гарантирует свободы, хотя Бахтину очень хотелось бы утверждать обратное. На Западе вокруг бахтинского смеха и карнавала возникло много наивно-политизированных концепций, строящихся вокруг образа Бахтина как бунтаря, вольнодумца, плюралиста, стоящего на стороне всех угнетенных (например, женщин — в феминистских идеологиях). Однако Аверинцев напоминает: в греческом языке смех относился к состояниям претерпевания, а не активного осуществления. Кроме того, христианские аналогии подрывают бахтинскую трактовку смеха как свободы: Христос никогда не смеялся, для него смех излишен. Кроме того, смех бывает не только вольнолюбивый, но и хамский, циничный; в смехе возможна незаметная подмена предметов: сначала мы смеемся потому, что смешно, а потом нам смешно, потому что мы смеемся. У Бахтина никаких дифференциаций и уточнений в смехе нет. Критерий — нерасчлененная «правда смеха». А такая правда — предмет философской веры. Но ведь смех может выступать как форма репрессии и даже сотрудничать с террором. Так, Аверинцев предлагает нам вспомнить классическую Грецию, аристофановских «Лягушек». Там смех над пыткой раба — обычное дело. Получается, что насилие не таится за смехом именно потому, что оно заявляет о себе открыто<sup>56</sup>. Такова и тема глумления над Христом (увенчание-развенчивание). Немало примеров этому можно найти в русской истории: это Иван Грозный, опричники с их скоморошеской стилистикой поведения (об этом примере говорит и сам Бахтин, не видя тут противоречия с собственным тезисом о ненасильственном характере смеха), известно, что Сталин подчас строил свое поведение, подражая Ивану Грозному: во всяком случае, ему, по-видимому, нравилось вращать колесо

<sup>55</sup> Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура // Бахтин как философ. М., 1992. С. 7–19.

<sup>56</sup> Там же. С. 13.

фортуны (ср. его печально знаменитые звонки писателям). Есть и другие исторические примеры подобного рода, например, наказание несогласных касторкой при режиме Муссолини: оно насильственно обращало людей в детство, приводило к полной потере контроля над собой. Конечно, уточняет Аверинцев, все сказанное ни в коей мере не подвергает сомнению чистоту «философских интенций» Бахтина, однако наша обязанность — выявлять все возможности мысли как мысли, а ее законы не совместимы с пие-тетом, который мы испытываем к Бахтину.

В самом деле, та апология незавершенности, которую предлагает Бахтин в своей интерпретации Рабле, может показаться формой борьбы, способом ускользания от власти предержавных. На самом деле нельзя отвернуться от того, что для тоталитарных эпох незавершенность выступает как желанная возможность манипулирования: ведь незавершенное, пластичное, не обладающее полной мерой человеческой ответственности легче переделывать, перекроить. Незавершенные люди — те, что растут, они «должны расти» (в сталинский период это был идеологический лозунг), у них еще все впереди, им можно бодро смотреть в будущее — пластичное, меняющееся. Эта метафора роста смыкается с органицистскими метафорами и темами сталинских времен (ср. выведение новых видов растений и животных, якобы сверхуспешно наследуемые признаки и др.). Впрочем, биологическая метафорика по-разному выступает в разные времена и эпохи: иногда как тема высокого романтизма, иногда (как в данном случае) — в контексте размышлений о так называемом «гротескном теле» — обо всем том, что живет, растет, чураясь «формы, строя, логоса». Возвращаясь к «веселой брани», хочется спросить, а как же быть со сквернословием французских королей, которое считалось такой же лихой обязанностью, как и брать себе «метресс»? А как же быть с плебейской серьезностью Жанны д'Арк? Не наслушался ли Бахтин матерной брани от кустанайских мужиков, впечатлившись силой народной стихии?

По поводу душевного опыта Бахтина и его творчества Аверинцев мудро замечает, сначала в виде абстрактной сентенции, а затем вполне конкретно: «С концепциями можно спорить, с опытом души спорить нельзя»... и далее: «Мужество, с которым Бахтин отнесся к собственной судьбе, не только лежит в основе его построений; оно куда несомненней, чем они (курсив мой. — Н. А.)»<sup>57</sup>. Спрашивается, как определить, с чем мы имеем здесь дело: с «несомненным опытом души» или же с «концепциями», в принципе

<sup>57</sup> Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура // Бахтин как философ. С. 19.

спорными, с элементом романтической идеологии, традиционно возвеличивающей народ?

Мысль Аверинцева подхватывают и некоторые другие авторы<sup>58</sup>: бахтинская апелляция к народу — это именно элемент романтической идеологии, придающей народу метафизическую виталистическую ценность. Но тогда это не столько исследовательская, сколько критико-публицистическая позиция. «Народ» здесь — это «социологическая категория в эстетическом употреблении». Понятие народа у Бахтина символическое, мифотворческое: оно одновременно и не логическое, и не эмпирическое. Кстати, нелишне вспомнить и о том, что дисциплинарный, принудительный момент «официальной культуры» не во всем был плох, так как именно дисциплина в школе аскетики позволила европейскому человеку выйти из средневековья, накопив, а не растратив силы (Бердяев). К тому же и само погружение в народ не есть безусловный ценностный акт: в этом можно видеть и преодоление гносеологического солипсизма, и зловещее затоптывание индивида массой. Еще один довод против опоры на смеховую культуру заключается в том, что она вообще не может выступать как нечто самостоятельное — скорее это вторичный отклик на уже сложившиеся структуры, она строится на основе уже существующих авторитетов и норм. Далее: смех — это отдача себя во власть стихии; такое желание нередко бывает свойственно цивилизованному человеку, однако оно небезопасно, как знает всякий, кто действительно имел дело со стихиями.

Об этих сторонах стихийности пишет Лотман в своих разбросанных по многим его работам комментариях к концепции карнавала и народной смеховой культуры у Бахтина. Внимательный взгляд историка показывает, в частности, что западноевропейские и восточноевропейские традиции весьма различны, что не позволяет универсализировать это понятие:

«С внутренней точки зрения мир карнавального веселья мог представляться внеоценочным, амбивалентным. В западной культуре он мог успешно навязывать свою внутреннюю позицию культуре в целом, допускаясь в определенные календарные сроки как вид обязательного социального поведения, смеховой катарсис серьез-

<sup>58</sup> См.: Панков А. Разгадка Бахтина. М., Информатика, 1995.; рец. на эту книгу: Здольников В. В. Книга новых вопросов // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 1. С. 157—163. «Книга "Разгадка Бахтина" — одна из первых в бахтинистике, где предпринято серьезное диалектическое переосмысление многих бахтинских нововведений и понятий, ставших почему-то в последнее десятилетие чем-то непререкаемым. И все-таки это не книга ответов, а скорее — новых вопросов» // Там же. С. 162.

ного средневекового мира. В православной культуре средневековой Восточной Европы происходило противоположное: официальная оценка карнавала как бесовского действия проникала в его внутреннюю самооценку. Разрешение в определенные сроки на карнавальное поведение связывалось с верой в то, что в это время Бог позволяет дьяволу руководить миром. Таким образом, то, что участники карнавала реализуют узаконенное поведение, не оттеняет того, что само это поведение остается греховным. Если в изученной М. М. Бахтиным традиции смех *отменяет страх*, то в нашем случае *смех подразумевает страх*. Вывороченный наизнанку мир масок и ряженных смешон и ужасен одновременно (курсив мой. — Н. А.)»<sup>59</sup>.

Историки культуры (например, А. Гуревич) полагают, что сама трактовка Бахтиным «народа», «общества» в «Рабле» фактически экстраполирует некоторые черты конкретной эпохи на все Средневековье и Возрождение, в результате чего получается не столько знание, сколько миф — «миф о двух культурах» (народной и официальной). Таким образом, подобно «народу», «официальная» и «неофициальная» культура — это тоже не столько понятия, сколько образы, они социологически не прояснены и часто бывают некоторым насилием над материалом. В самом деле, что значит — официальная культура: Церковная? Сословная? Феодальная? Представленная католической церковью? Спрашивается, куда мы тогда поместим рыцарство? Еретические движения? Ведь для Бахтина официальная культура есть нечто статичное, строгое, серьезное, императивное, одномерное, монологичное, лицемерное, авторитарное, внушающее страх. Согласно историческим источникам, приводимым у Ле Гоффа, например, точнее было бы говорить здесь не о бинарной противоположности официальной и неофициальной культуры, а о более дифференцированном взаимодействии социальных страт. Так, с начала второго тысячелетия складывается взаимодействие различных типов со-

<sup>59</sup> Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 211. СПб, 2002. См. также: «Смех в концепции средневековой культуры, построенной М. Бахтиным, — начало, лежащее вне религиозных и этических суровых ограничений, наложенных на поведение человека той поры. <...> Смех переносит средневекового человека в мир *народной карнавальной утопии*, вырывая его из-под власти современных ему общественных институтов». (Курсив мой. — Н. А.) // Там же. С. 689. «Определенные «образы смеха», активные в системе русской средневековой культуры, не несут в себе никакой амбивалентности и не находятся вне мира официальной средневековой («серьезной») культуры. Русская средневековая православная культура организуется противопоставлением святости и сатанинства» // Там же. С. 690. Последнее замечание относится к взглядам Лихачева и Панченко, но затрагивает также и бахтинскую концепцию «народной смеховой культуры».

циальных функций (религиозных, экономических, военных и иных), которое позднее ляжет в основу таких образований внутри «официальной» культуры, как духовенство, дворянство, третье сословие. И это лишь немногие доводы подобного рода: литература о карнавале — и за и против концепта и его бахтинского употребления — огромна<sup>60</sup>. Все это заставляет предположить, что в построениях Бахтина мы имеем дело не с собственно научным знанием, а с чем-то иным: пусть это не наука, зато «плодотворный научный миф» (А. В. Михайлов), пусть не наука, зато апеллирующая к непрерываемому личному опыту (Аверинцев), или же, скажем, результат творческого писательского труда...

### Роман и мениппея (Гаспаров и другие)

Многие вопросы историко-литературного и теоретического порядка концентрируются вокруг момента вторжения стихии карнавала в стихию диалога. Иначе говоря, это вопрос о четвертой главе книги о Достоевском, радикально переработанной Бахтиным для ее переиздания под заглавием «Проблемы поэтики Достоевского» (1963). В этой главе речь шла об особом «серьезно-смеховом» жанре, который Бахтин возводил к реальным образцам (к так называемой менипповой сатире), но в итоге считал вербальным выражением карнавальной стихии, сосредоточивающим в себе новые черты письма и новые способы понимания мира, развернуто представленные в романе<sup>61</sup>.

Жан Петар, один из французских бахтиноведов, некогда заявил, что вторжение Бахтина с карнавализацией, полифонической речью, диалогизмом и металингвистикой в пространство языка и

<sup>60</sup> Вот лишь несколько названий: *Clark K.* «Carnival» and the Culture of the Stalinist Thirties // *Indiana Slavic Studies*. 2000. Vol. 11. (In Other Words... In Celebration of Vadim Liapunov); *Lala M.-L.* Mikhail Bakhtine: Rabelais, le dialogue et la dialogique // *Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry*. 1998. Vol. 18. № 1—2; *Bernard-Donals M.* Knowing the Subaltern: Bakhtin, Carnival, and the Other Voice of the Human Sciences // *Bakhtin and the Human Sciences. No last Words* / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998; *Humphrey Ch.* Bakhtin and the Study of Popular Culture: Re-thinking Carnival as a Historical and Analytical Concept // *Materializing Bakhtin. The Bakhtin Circle of Social theory* / Brandist C., Tihanov G., eds. N. Y., 2000; *Brandist C.* The Official and the Popular in Gramsci and Bakhtin // *Theory. Culture. Society*. 1996. Vol. 13. № 2. May; *Emerson C.* Coming to Terms with Bakhtin's Carnival: Ancient, Modern, sub Specie Aeternitatis // *Bakhtin and the Classics* / R. B. Branham, ed. Evanston, 2002; *Tihanov G.* Bakhtin, Joyce, and Carnival: Towards the Synthesis of Epic and Novel in Rabelais // *Paraglyph*. 2001. Vol. 24. № 1.

<sup>61</sup> *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. Глава четвертая. Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений Достоевского // *Он же. Собрание сочинений*. В 6 т. Т. 6. М., 2002. С. 115—202.

изучения языка во Франции создало новую эпистемическую вселенную, подтолкнуло к новому видению романа, литературы, лингвистики, подрывавшему пределы языковой системы и вводящему в действие на первые роли слово как высказывание, анализ дискурсных игр и взаимодействий. Однако роман — это не только приобретение, но также средоточие концептуальных трудностей и противоречий в творчестве Бахтина. Если, например, считать, что цель полифонии как формы многоголосия, в известном смысле, — внутренняя гибкость и свобода, а цель карнавальности — внешняя гибкость и свобода, то цель мениппейности романного жанра в его бахтинском понимании — это свобода романного письма, сочетание признаков разных жанров, отсутствие обязательного канона, его непредсказуемая гибкость. Здесь и вступает в силу парадоксальность его теории литературных жанров, которая строится вокруг идеи романа как кипучей формотворческой лавы. Что же это за роман, который воплощается (пусть в своих истоках) в диалогах Сократа (даже не Платона), но исключает Толстого и Тургенева? Разрешить этот парадокс можно будет лишь в том случае, если мы сочтем романом некую карнавальную сущность, некую жанровую аномалию. Не сговариваясь между собой, М. Гаспаров и М. Окутюрье<sup>62</sup>, каждый со своей стороны, отметили нечто сходное: бахтинское понимание романа будет обоснованным, если под романом подразумевать своего рода «анти-роман»: иначе говоря, если считать романом не отдельный жанр, но скорее этап в становлении любого жанра — состояние динамики, текучести, за которым неизбежно наступает, только этим никогда не ограничивается, иной этап — успокоения, стабилизации, канонизации.

Сама идея мениппеи, по Бахтину, это идея парадоксального «серьезно-смехового» жанра; архивные материалы свидетельствуют о том, что Бахтин так или иначе связывал ее с идеями «лексического карнавала», заимствованными у немецких и французских специалистов по Рабле в первые десятилетия XX века<sup>63</sup>. То, что произошло позднее, уже после выхода переработанного (с вклю-

<sup>62</sup> См.: Гаспаров М. Л. Бахтин в русской культуре XX века // *Он же*. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 495; ср. также предисловие М. Окутюрье к французскому переводу работ Бахтина по теории романа: *Aucouturier M. Mikhail Bakhtine: philosophe et théoricien du roman* // *Bakhtine M. Esthétique et théorie du roman*. Paris, 1978. P. 18.

<sup>63</sup> Об этом см. в работах: Попона И. Л. «Лексический карнавал» Франсуа Рабле: книга М. М. Бахтина и франко-немецкие методологические споры 1910–1920-х годов // *НЛО*. 2006. № 3 (79); *Она же*. «Рабле» в 1940-е годы: несостоявшиеся издания в СССР и во Франции // *Бахтинский сборник*. Вып. 5. С. 581–588; *Она же*. Почти «юбилейное»: замечание к десятилетию выхода 5-го тома Собрания сочинений М. М. Бахтина // *НЛО*. 2006. № 3 (79); *Она же*. «Мениппова сатира» как термин Бахтина // *Вопросы литературы*. 2007. № 6.

чением мениппей) «Достоевского», а также «Рабле», превратилось в неопознанное кочевание тем: так, Кристева восприняла бахтинский текст (лишенный сносок на соответствующие источники) как целиком и полностью авторский текст и развернула эти идеи, вместе с диалогом, как чисто бахтинские, на всю современную литературу, что, как уже отмечалось, было в дальнейшем подвергнуто критике. Своей маленькой заметкой Гаспаров попал в действительно уязвимое место: бахтинский жанр «мениппей», положенный им в основу понимания европейского романа, далек от литературной реальности и одновременно оказывается настолько широк, что в его рамки может войти все что угодно.

К двум статьям Гаспарова о Бахтине мы теперь и переходим. Их проблематика условно может быть отнесена именно к разделу о романе и мениппее, так как затрагивает широкий спектр проблем творчества Бахтина. Итак, речь идет о двух крошечных текстах о Бахтине, написанных с интервалом в четверть века — в 1979 и в 2004 годах<sup>64</sup>. Среди филологов они широко известны; есть те, кто считает их злобным наветом, и есть те, кто считает, что они, написанные заостренно и полемично, в целом соответствуют сути дела<sup>65</sup>.

Первый текст (фактически — это заметка) был опубликован в «Трудах по знаковым системам». В. Живов, который переправлял материалы для семиотических сборников из Москвы в Тарту, вспоминает момент, когда Гаспаров принес ему этот текст — с его обычными извинениями и оговорками: (если Юрий Михайлович [Лотман] сочтет, что это не подходит, тогда, конечно, и не нужно это печатать, и проч.)<sup>66</sup> Этот крошечный текст имел гулкий резонанс и потом неоднократно перепечатывался. В нем сопоставлялись и противопоставлялись два контекста — время, когда

<sup>64</sup> Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // *Он же* Избранные труды. В 3 т. Т. 2. С. 494—496; *Он же*. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Материалы Международной научной конференции 10—11 ноября 2004 года. Русская литература XX—XXI веков. Проблемы теории и методологии изучения. М., 2004. С. 8—10.

<sup>65</sup> Как отметила Н. В. Брагинская, некоторая апологетичность в отношении Бахтина и других его современников, проживших очень трудную жизнь, в течение какого-то времени была и до сих пор остается своего рода моральным законом. В своей первой статье Гаспаров не нарушает эту презумпцию, так как говорит не столько о Бахтине, сколько о нас самих и о нашей способности воспринять творческий вызов 1920-х годов. В своей второй заметке Гаспаров говорил о самом Бахтине и считал этой своей обязанностью, хотя полемизировать он очень не любил: ведь речь, как он считает, идет о науке и ненауке.

<sup>66</sup> Живов В. Совершенный словоиспытатель. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова // ИЛЮ. 2006. № 1 (77). Автор, работавший почтальоном между Москвой и Тарту, вспоминает, что Лотман напечатал текст с плохо скрываемой радостью, хотя и снабдил редакторской вставкой, уравнивающей позиции и защищающей Бахтина.

складывалась система взглядов Бахтина (1920-е годы) и время перераскрытия его сочинений (1960-е годы).

Заметка написана ясным и простым языком. Суть ее в следующем (об этом отчасти уже говорилось выше). Пафос экспроприации чужого слова — это лозунг 1920-х годов; вокруг человека, ранее отторгнутого от культуры и от ее орудий (слов), — чужая культура, и этот неожиданный наследник пытается ими овладеть. Реакцией Бахтина на этот период революционной неразберихи было воссоздание средствами литературного эссе трагического хаоса Достоевского и комического хаоса Рабле. Он предпочел назвать романом эти текущие формы литературы, которые были более открыты его творческой преобразующей силе, нежели уже упорядоченные и устойчивые формы лирики и эпоса, которые он считал монологическими и авторитарными.

Эти установки по отношению к чужому слову, считает Гаспаров, как или иначе разделяют и Бахтин, и те, кого он критикует (например, формалисты): разница между ними не в «цветах», но в «оттенках». Главным для нового участника культуры становится, стало быть, активное отношение к слову, пафос преодоления и подчинения слова (которое, замечает Гаспаров, иногда выдается за диалог). Отсюда — то, что Гаспаров называет «нигилистическим отбором ценностей»: ни Пушкин, ни Шекспир, ни Толстой Бахтину не близки. Ближе всего ему эти два хаоса: трагический и комический, хаос Достоевского и хаос Рабле. При этом вражда Бахтина к поэзии, по-видимому, объясняется тем, что (в отличие от хаоса, который можно переломить и переподчинить), поэзия — это властный язык, который не сдает своих прав: он сложно построен и потому парализует вторжение читательского активизма. Приемлемы для Бахтина не структуры, а процессы, и это не временный фокус внимания: речь идет о процессах, в принципе незавершенных и незавершимых. При такой установке на процесс и оказывается, как уже говорилось, что сократические диалоги, например, — это роман, а Тургенев — не роман.

Теоретический вывод из первой заметки Гаспарова о Бахтине сталкивает нас с проблемой жанров и формулируется объемно по смыслу, но лаконично по форме. «“Роман” и “эпос” для него Бахтина] — не жанры, а *стадии развития жанров*: он мог бы сказать, что всякий жанр начинается романом, а кончается эпосом. Если в работы Бахтина подставить вместо слова “роман” слово “антироман” (при нем еще не изобретенное), то смысл его высказываний будет гораздо яснее и связнее» (курсив мой. — Н. А)<sup>67</sup>. И далее: если теперь изменить фокус исторического внимания и пе-

---

Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века. С. 495.



ренестись в 1960-е годы, когда Бахтин был переоткрыт в России, мы увидим странное превращение: «Пророк пролетарского ренессанса оказался канонизирован веком советского классицизма. Ниспровергатель всяческого пиетета оказался сам предметом пиетета. Несвоевременные последователи сделали из его *программы творчества теорию исследования* (курсив мой. — Н. А.)<sup>68</sup>, а это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы оберечь его от искажений»<sup>69</sup>. Итоговая формула финала такова: «Пользуясь вызывающе-неточным языком Бахтина, можно сказать: *творчество Бахтина — это роман*, не нужно превращать его в эпос» (курсив мой. — Н. А.)<sup>70</sup>.

Я не буду сейчас обсуждать отклики на эту публикацию<sup>71</sup>. В ней задается жесткая, отчасти спорная, но, по сути, полезная, можно сказать, «отрезвляющая», антитеза — творчества и исследования, «романа» и «эпоса», динамики и стабилизирующей остановки процесса, для того, чтобы в нем можно было бы хоть как-то разобраться. Эта заметка задала критическую тональность дискуссий, от которых трудно было остаться в стороне. Конечно, тезис о соотношении контекстов (с опорой на контекст создания) явно противоречил бахтинскому тезису о «большом времени», способном воскресить любые смыслы и освободить автора из плена своей эпохи. Разумеется, бывают случаи, когда произведение, вошедшее в литературу какой-то одной своей гранью, потом воспринимается шире и, кажется, глубже. Однако вряд ли можно считать продуктивным сам принцип — тезис о том, что твоя эпоха неправа, мала и узка, но зато потом-то уж тебя наверняка поймут: мы знаем, да и сам Бахтин, кажется, убедился в том, что во многих случаях тебя потом понимают так, что лучше бы вообще никак не понимали, однако ведь и случаи обогащающего восприятия тоже бывают — пусть не как закон, но как счастливая возможность.

При этом не все тезисы Гаспарова точно сформулированы: например, лапидарный тезис о Бахтине как «пророке пролетарского ренессанса, канонизированном веком советского классицизма». Думаю, Бахтин не отображал пролетарских ценностей ни сознательно, ни бессознательно, а слово «пророк» чрезмерно сгущает смыслы различных позиций и отношений, которые в принципе нужно было бы дифференцировать. Что же касается «канониза-

<sup>68</sup> Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века. С. 496.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> Там же.

<sup>71</sup> Сам Гаспаров неоднократно говорил, что из всех реакций на его текст ему больше всего запомнилась одна фраза «Если бы вы лично знали Бахтина, вы бы так не писали!» См.: Там же. С. 496.

дии» Бахтина, то она, полагаю, произошла не столько в советскую, сколько в постсоветскую эпоху, когда Бахтин стал необходимым параграфом во всех учебниках и обязательной ссылкой во всех философских трактатах по гуманитарной проблематике. В 1960-е годы, однако, вкусы «советского классицизма» (того самого, который, согласно Гаспарову, ранее подсказывал Маршаку, как переводить сонеты Шекспира) уже идут на спад, перебиваются бурлившим в душах ожиданием перемен, связанных с еще живой оттепелью; так что в 1960-е годы Бахтин еще был только что разрешенным глотком долго не существовавшего (запретного) и воспринимался с энтузиазмом, далеким от стабилизирующей канонизации. А потому «Достоевский» 1929 года и «Достоевский» 1963 года (а также «Рабле» 1965 года) воспринимались скорее в духе динамики и антиканона (для этого в принципе годились и внутреннее неповиновение подпольного человека, и народный карнавальная бунт против регламента повседневной жизни). Иными словами, некоторые детали воплощения этой актуальной мысли Гаспарова (о необходимости различать время создания и время восприятия произведения) должны быть скорректированы.

Вторая заметка Гаспарова о Бахтине, фактически посвященная «Рабле», была впервые обнародована на конференции в МГУ и опубликована в сборнике материалов конференции<sup>72</sup>. Если первый текст строился на сопоставлении социальных и мировоззренческих ситуаций творчества и рецепции, то в данном случае о подобных смещениях речь не идет<sup>73</sup>; все сосредоточено вокруг других рядов явлений — научных и человечески-личных. Снача-

<sup>72</sup> Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Материалы Международной научной конференции 10—11 ноября 2004 года. Русская литература XX—XXI веков. Проблемы теории и методологии изучения. М., 2004. С. 8—10.

<sup>73</sup> Применительно к Рабле сопоставлять фоны было бы гораздо сложнее: Бахтин работал над темой в 1930-е и в начале 1940-х годов, в 1946 защитил кандидатскую (ее было предложено провести как докторскую, но это оказалось невозможно по различным соображениям, в которые мы не будем здесь углубляться, несмотря на то, что ряд членов Ученого совета, например, А. Дживелегов, поддерживали эту идею). Сейчас, благодаря публикации материалов 4 (1) тома Собрания сочинений Бахтина, мы узнаем об этом немало нового и интересного, однако, многое, наверное, осталось в архивах и ждет Полного собрания сочинений. Прежде всего, Ученый совет по защите диссертаций состоял из высокопрофессиональных людей, которые в основном отзывались о работе доброжелательно. Переделка текста шла в 1940—1950-е годы, а первая публикация книги о Рабле состоялась в 1965 году. Параллельно этому в переделку книги о Достоевском Бахтин, как уже упоминалось, ввел расширенную, фактически новую, четвертую главу, посвященную проблеме мениппеи как особого серьезно-смехового жанра, ставшего в европейской литературе прообразом будущего романа, в том числе романа Достоевского.

ла о научных. Уже в первой статье говорилось: «Любопытно, с каким равнодушием к фактам преувеличивает он [Бахтин] с чужих слов количество и качество средневековых пародий и как легко отмахивается от целых линий в истории романа»<sup>74</sup>. Во второй заметке та же мысль звучит острее и аргументируется конкретнее: «Новая, небывалая литература, программу которой сочинил Бахтин, называлась мениппеей. Это название вводит в заблуждение своей конкретностью: оно отсылает к греческим сатирам Мениппа и римским Варрона, от которых сохранились только невразумительные фрагменты, легко поддающиеся фантастическим разнотолкованиям. Бахтин в четвертой главе «Проблем творчества Достоевского»<sup>75</sup> подводит под это название еще десяток произведений античной литературы, как не сохранившихся (Антисфен, Гераклит, Бион), так и сохранившихся (Петроний, Апулей, Лукриан) вплоть до «Гиппократовых писем» и Бозэция. Потом он расширяет это обозначение на всю мировую литературу, причисляя к традиции мениппеи Эразма, Рабле, Сервантеса, Гриммельсгаузе, Вольтера, Гофмана, Бальзака и, наконец, (хотя бы частично) Достоевского; а вокруг этих великих имен клубится множество второстепенных — едва ли не любое произведение, упоминаемое Бахтиным, оказывается чем-нибудь причастно мениппее. Этим гиперболически возвеличивается важность именно этого литературного ряда в ущерб всем остальным»<sup>76</sup>. Здесь внимание Гаспарова сосредоточено уже не на восприятии читателя, а на том, что содержится в самих текстах. Некоторые критики, прежде всего К. Эмерсон, отмечали, что вторая статья звучит жестче, чем первая. Почему так изменилась тональность высказывания?

Дело, возможно, в том, что за истекшую (между двумя текстами) четверть века изменился статус Бахтина в культуре: произошла та самая канонизация или, точнее сказать, сакрализация его позиции, которая в 1960-годы только намечалась. Речь шла уже не просто о локальном феномене смещенного прочтения, но об объемном культурном явлении. Возник пресловутый бахтинский бум, породивший всевозможные отвращения бахтинистики и бахтинологии со всеми их внешними атрибутами — спорами о власти, ревностью и соперничеством в мировом масштабе. Все это — к глубокому сожалению и душевной боли тех исследователей, кто серьезно и глубоко

<sup>74</sup> Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века. С. 495.

<sup>75</sup> Это — неточность: второе издание книги о Достоевском с переработанной четвертой главой называлось «Проблемы поэтики Достоевского» (1963); «Проблемы творчества Достоевского» — первоначальное название книги (1929).

<sup>76</sup> Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина. С. 8—10.

искажает его творчество<sup>77</sup>. Свободное обращение читателя с текстами, размытое понимание бахтинской концепции диалога, а также карнавала фактически укрепляли позиции агрессивного читателя, возмечивали идею творческого диалога в ущерб дисциплинированному исследованию. Гаспаров считал себя обязанным написать эту заметку, потому что чувствовал себя уязвленным в том самом главном, что составляло суть его ремесла и его жизни. На фоне агрессивного творчества и читательства, спровоцированного некоторыми бахтинскими позициями, исследованию в точном гаспаровском смысле не находится места: оно становится делом второстепенным, несущественным. Против этого Гаспаров и считает нужным выступить, защищая принципы методологически дисциплинированной филологии и ее культурную роль. Далее я воспроизвожу линию его рассуждения с некоторыми комментариями по ходу.

«Как мог Бахтин позволить себе так осознанно — ведь классическую филологию он знал не понаслышке! — вводить в заблуждение своих неподготовленных читателей?» Ответ найти не легко; ответ Гаспарова для кого-то не самый убедительный, но он сформулирован четко и последовательно развивает его взгляд на соотношение творческого (как преобразующего предмет) и исследовательского (как сберегающего предмет) начал. Все это произошло потому, что Бахтин смотрел на свой материал *не как филолог, а как философ*. Область Бахтина-философа, ведет свое рассуждение Гаспаров, — не сущее как оно есть, а должное как оно должно быть: это, прежде всего, — этика, наука о должном, а не филология — наука о сущем<sup>78</sup>. Дальше — больше: свои представления о

<sup>77</sup> Среди этих исследователей я в первую очередь назову Виталия Львовича Махлина, лидера российской бахтинистики в международном контексте, организовавшего бахтинский юбилейный конгресс 1995 года в Москве (МПУ); и коллектив ученых, занимающихся изданием Собрания сочинений Бахтина в шести томах; прежде всего — это С. Г. Бочаров, а также Л. А. Гогтишвили и И. Л. Попова.

<sup>78</sup> Иногда в этом видели чуть ли не ироническое отношение Гаспарова к русской философии как таковой, но это не так: чего-чего, а этого у него не было; русскую философию, насколько я могу судить, он никогда не читал сколько-нибудь внимательно и не высказывал о ней развернутых суждений. Он мог бы сказать «писатель», строитель литературного сюжета, однако слово «философ» — более емкое в концептуальной системе Гаспарова. У него философ — значит творец, подобно тому, как творцами являются писатели и читатели литературных произведений. Это не значит, что все они равны, но между ними есть общее: они берутся перекраивать предмет, с которым имеют дело, а исследователь (ученый) стремится познавать предмет таким, каков он есть, не искажая его природу. А вот и еще одна аналогия: исследователь работает со ставшим бытием, с «эргоном», а перед ним и за ним клубится «энергия» — с одной стороны, писателей, которые сочиняют произведение, с другой стороны, читателей, которые его читают. Когда хотят, чтобы читатели прониклись авторской энергией, не учитывают того, что это разные энергии и что их разделяет эргон письменного текста.

должном Бахтин переносит на литературу и на этой основе строит свою собственную историю литературы. Венцом этих превращений и становится мениппея: «Эта мениппея — его умственный конструкт, но он пишет о ней как об исторической реальности, ссылаясь на произведения, которые не сохранились».

Вдумаемся еще раз в смысл этого упрека, в общем совершенно справедливого: Бахтин пользуется источниками, от которых не осталось почти ничего, кроме невнятных фрагментов, или даже персонажами, *от которых не осталось вообще ничего, кроме имени*. В списке таких авторов, известных нам только своим именем, например, — Бион. На архивы Бахтина Гаспаров не ссыался. В опубликованных архивных материалах мы находим несколько крошечных выписок о Бионе из немецких книг и сразу понимаем, что из этого ничего надежного и основательного не выведешь. Но Бахтин берется за дело: он воздвигает мощную и всеобъемлющую конструкцию, может быть даже — антиконструкцию, потому что ставит целью протянуть своего рода высоковольтную линию передачи энергии народного творчества через века — от античности до Достоевского, только вот (об этом Гаспаров не говорит, а мог бы) зачислять в «народное творчество» также и авторское творчество (пусть малое и анонимное), как это делает Бахтин, называя его «полународным», не вполне корректно.

В похожем стиле, продолжает Гаспаров, писал Райх (Reich H. Der Mimus, 1903), сочинивший для античности «вторую драматургию со своим Шекспиром — Филистионом»<sup>79</sup>, но ведь сочинение Райха утало без последствий. Почему? Да потому что «любой античник» знает или хотя бы интуитивно чувствует, до какого уровня можно продолжать гипотетические построения на основе малых фрагментов сохранившихся текстов, а где пора остановиться. Но Бахтин не остановился, а продолжал строить все дальше и дальше, пока вся мировая литература не оказалась во власти его концепции. Бахтин столь упорно повторял эти имена без произведений, а также имена авторов малых фрагментов, оставляя в стороне действительно крупных авторов (вроде Аристофана, который, казалось бы, должен был первым ему пригодиться для концепции серьезно-смехового<sup>80</sup>), что поверил сам себе, а ему поверили другие. Поверили потому, что он говорил уверенно, осо-

<sup>79</sup> Филистион — римский драматург, писавший растянутые трагикомические представления.

<sup>80</sup> В самом деле, почему у Бахтина нет Аристофана? Эри Сол Морсон считает, что Бахтин не упоминает Аристофана потому, что в сталинские 1930-е годы Бахтин сам играл роль Аристофана, и этот факт надо было скрывать. См. об этом: Emerson C. Coming to Terms with Bakhtin's Carnival: Ancient, Modern, sub Specie Aeternitatis // Bakhtin and the Classics / R. B. Branham, ed. Evanston, 2002. P. 11.

бенно — «...там, где он говорит о памятниках, от которых почти ничего не сохранилось,— о Мениппе, Варроне или средневековой пародии. Как подробно разбирает Бахтин психологическую коллизию в сатире Варрона "Vimarcus", может оценить только тот, кто читал несколько невнятных фраз, оставшихся от этой сатиры, и несколько невнятных страниц, писанных о ней комментаторами разных поколений: А. Э. Хаусмен писал когда-то в рецензии на Ф. Маркса, издателя Луцилия: "... в толкованиях сохранившихся строчек господин издатель не всегда удачлив, зато в толковании несохранившихся он царь и бог". Я решился бы сказать, что Бахтин старался расширить ту самую историко-литературную пустоту, заглянув в которую всегда можно что-нибудь увидеть»<sup>81</sup>.

По Гаспарову, Бахтин, философ в роли филолога, остается творческой натурой<sup>82</sup> и «сочиняет новую литературу». Как мы знаем, фактически такая позиция (только взятая не у Гаспарова) имела огромный успех, и не только у простых читателей, но и у «властителей-мыслителей» — Ю. Кристевой, Ц. Тодорова и других, несмотря на то, что сама идея непрерывной линии романного становления резко противоречила господствующей во Франции в те времена идее эпистемологических разрывов (Башляр, Альгюссер, Фуко и др.) Теперь, обратившись к опубликованным архивным материалам, Гаспаров смог бы воочию увидеть, откуда Бахтин брал свои материалы, не ссылаясь на их источники (почему — это отдельный вопрос, который я не буду здесь обсуждать): так, основой бахтинских сведений о мениппее, по-видимому, были книга Т. Бирта и заметка Р. Хельма из немецкого энциклопедического словаря Паули<sup>83</sup>, что было явно недостаточным для

<sup>81</sup> Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина. С. 8—10.

<sup>82</sup> Парадоксально близок в этом к гаспаровской оценке оказывается С. Бочаров, который во всем прочем с ним не соглашается: концепция Бахтина — это философско-поэтическое творчество: на рубеже 1910—1920-х годов, согласно Бочарову, возник единый «поэтико-философский порыв», который по-разному воплотился у Пастернака (в его «философии поэзии»), и у Бахтина (в его «поэзии философии»). Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. С. 514. При этом Бочаров подчеркивает сугубо личный язык Бахтина, «неупотребимость» его понятий за рамками его собственной мысли, отказ от терминов, употребление своего рода метафор душевных состояний, его «экзистенциальность» (Там же. С. 516).

<sup>83</sup> Все это мы знаем теперь благодаря архивным исследованиям И. Л. Поповой, см., в частности, ее статью «"Мениппова сатира" как термин Бахтина» // Вопросы литературы. 2007. № 6. Так, бахтинский текст «Мениппова сатира и ее значение в истории романа» печатается в Собрании сочинений (т. 4 (1). С. 733—750) по материалам архива Бахтина; как указано в издании, черновик не датирован, он мог бы быть частью большего целого, однако других частей текста, о существовании которого говорит Бахтин, обнаружено не было. Конспекты книг Райха

полной перестройки теории жанров в европейской литературе, если бы, конечно, такая перестройка основывалась на эмпирическом материале.

Кое-что в этой магии воздействий бахтинской мысли — заволаживающей, но эмпирически не обоснованной. — высветляет для нас знакомство с материалами защиты диссертации. Конечно, свидетельства, к которым я далее обращаюсь, ничего не доказывают и никаких тайн не раскрывают, однако они поясняют и личностные, и тематические аспекты этого непрерываемого воздействия.

Всмотримся хотя бы в то, как построено вступительное слово Бахтина. Магия его мысли передается риторической убедительностью слов. Конечно, у вступительных слов на защитах всегда есть своя общепринятая риторика, но бахтинское слово — не такое, как у других диссертантов. Он говорит с мощной аподиктичностью, с ярким риторическим пафосом. Он «бичует» все мировое литературоведение — и историков и теоретиков: «...большинство литературоведческих понятий и теоретически и исторически совершенно не адекватно роману. Роман никак не укладывается к прокрустово ложе не только теоретического, но и исторического литературоведения»<sup>84</sup>. Иначе говоря: я пошел своим путем, я раскрыл тайну, которую никто не смог разгадать. Они не знали, что такое роман (не построили теорию); они не знали, где и как он зарождается (не раскрыли историю), а я нашел этот исток и разрешил загадку. Для автора кандидатской диссертации, пусть и 50-летнего, опытного, это — огромная претензия. Насколько можно судить по предварительным отзывам и по выступлениям оппонентов, диссертация и речь Бахтина на защите убедили членов Ученого Совета, которые щедро отметили заслуги диссертанта, рекомендовали его работу к публикации и, как уже говорилось, выдвинули се автора на степень доктора филологических наук, хотя провести эту процедуру не удалось. Интересно было бы подробно проанализировать материалы защиты, и это уже делается<sup>85</sup>.

---

«Мим» (т. 1—2, Берлин, 1903), Э. Кассирера «Философия символических форм» (Ч. 2. Мифическая мысль. Лейпциг, 1925) также использовались Бахтиным без упоминания источников и без ссылок. Источниками материала по мениппе являются для Бахтина диссертация Т. Бирта (*Birt Th. Zwei politische Satiren des alten Rom. Marburg, 1888*), ранее включенная Бахтиным в библиографию к статье «Сатира» для «Литературной энциклопедии», где история римской сатиры рассматривается через призму «серьезно-смехового», а фигуре Мениппа уделяется особое внимание, но прежде всего словарная статья из немецкой энциклопедии Паули: Helm R. Menippos // Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1931.

<sup>84</sup> Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4 (1). С. 1018—1019.

<sup>85</sup> Ср., например: Алпатов В. М. Заметки на полях стенограммы защиты диссертации М. М. Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 1. С. 70—97.

Остановлюсь подробнее лишь на одном, но очень важном, выступлении — А. Дживелегова, официального оппонента, замечательного специалиста по искусству и литературе эпохи Возрождения.

Прежде всего, Дживелегов обращает внимание на особый тон, энергию, эмоциональный накал труда Бахтина и его вступительной речи:

«В работе М. М. Бахтина для меня самым ценным представляется своеобразное сочетание эрудиции и *одержимости*, настоящей *одержимости* ученого. Это огромная эрудиция, — эрудиция *сокрушающая, беспощадная*. Это то, что дало М. М. Бахтину возможность получить такие великолепные выводы, которые в значительной степени переставляют все известные акценты, которые предшествующая наука поставила на изучение Рабле. <...> Это, конечно, огромное приобретение, и я думаю, что эта *одержимость его основной идеей*, которую он так великолепно изложил во вступительной речи, помогла ему это сделать. И, с другой стороны, все то, за что его упрекали два моих товарища, которые говорили до меня, и за что я его упрекал, тоже *объясняется одержимостью. Одержимые люди не обращают внимания на вещи*, которые человек, *скрупулезно следящий с карандашом в руках, тщательно отмечает*». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>86</sup>

Даже беглый анализ лексики этого пассажа показывает нагнетание суперлативов, превосходных степеней: «огромная эрудиция», «сокрушающая, беспощадная эрудиция» (кстати, интересное выражение: видимо, «беспощадная эрудиция» — это орудие диссертанта, поражающего своих врагов), «великолепные выводы», перестановка «всех известных акцентов», «огромное приобретение», «великолепно изложил» и др. Не знаю, слышал ли кто-либо из нас такие речи на защитах? Значит ли это, что раньше диссертационная риторика была другой? Или действительно это было для официального оппонента потрясением, которое иначе как такой захлебывающейся речью не выразишь? Важно, конечно, и то, что и предмет изучения, тема диссертации была, так сказать, идеологически безупречна («Ф. Рабле в истории реализма»): диссертации доказывалась творческая роль народной стихии («подспудная низовая жизнь <...> текла, бурлила и накаплива-

<sup>86</sup> Заседание Ученого совета Института мировой литературы имени Горького. 15 ноября 1946 года. Стенограмма // *Бахтин М. М. Собрание сочинений*. В 6 т. Т. 4 (1). С. 1024. Другие оппоненты также высказывались в пользу диссертации, хотя были и иные мнения (так, историк академик Тарле усмотрел в диссертации порочный (формальный) метод).



ла творческий материал»<sup>87</sup>), которая (согласно рассказу Дживелегова о диссертационной сути дела) именно в творчестве Рабле оплодотворила ренессансную идеологию. А в сторону заметим: тематика диссертанта ближе не к «советскому классицизму», но к «советскому романтизму» с его идеализацией народного начала.

Однако в потоке речи оппонента есть одно упорно повторяющееся слово, которое иногда держится в восторженном смысловом ряду, а иногда — выпадает из него. Это слово — «одержимый», «одержимость», хорошее и не очень. Одержимость двусмысленна: она позитивно окрашена в таких выражениях, как «сочетание эрудиции и одержимости», «настоящая одержимость ученого», «одержимость его основной идеей», но легко переходит в противоположный ряд качеств и становится оборотной стороной упоминавшихся заслуг. То, в чем Дживелегов усматривает недостатки, так же обусловлено одержимостью, как и достоинства. На одной стороне медали одержимый — тот, кто сворачивает горы, на другой — тот, кто не обращает внимания на то, что происходит вокруг — на вещи, на факты. В противоположность одержимому Дживелегов успевает эскизно набросать портрет его антипода: это «человек с карандашом в руках», который внимательно следит за тем, что происходит, берет все это себе на заметку и сохраняет для дальнейших размышлений: это человек, главными качествами которого являются «скрупулезность» и «тщательность».

Одержимый видит то, что диктует ему идея, и в своем полете пропускает важные вещи. Он уверен в себе и убеждает нас в своей правоте. В речи Бахтина суперлативы характеризуют народную стихию и народную литературу, возродителем которой он так или иначе себя чувствует (это «неофициальная, малоизвестная, анонимная, народная, полународная литература»<sup>88</sup>; и далее: это «громкая грандиозная средневековая анонимная полународная и народная традиция»<sup>89</sup>); слова «громкость» и «грандиозность» нужны, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть ее особую непрерывную линию развития, фактически — как самую важную, определяющую линию развития европейской литературы. Он чувствует себя триумфатором: он нашел множество подтверждений своего тезиса о раннем возникновении серьезно-смехового жанра в европейской культуре; эта линия приводит к рождению романа; роман есть не что иное как форма, направленная на схватывание незавер-

<sup>87</sup> Заседание Ученого совета Института мировой литературы имени Горького. 15 ноября 1946 года. Стенограмма // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4 (1). С. 1025.

<sup>88</sup> Там же. С. 1019. Относительно включения «полународности» в «народность» говорилось выше.

<sup>89</sup> Там же.

шенности бытия и его динамики; все остальное в литературе — не роман. Слепоту всего предшествующего литературоведения Бахтин приписывает его ложным установкам: «Литературоведение, и историческое, и теоретическое, в основном ориентировалось на то, что я называю *классической формой в литературе*, то есть формой готового, завершенного бытия, между тем как в литературе, в особенности в неофициальной, малоизвестной, анонимной, народной, полународной литературе господствуют совершенно иные формы <...>, главная цель которых заключается в том, чтобы как-то уловить *бытие в его становлении, неготовности, незавершенности и незавершимости*»<sup>90</sup>. Именно эту «единую традицию особой формы неготового незавершенного бытия» Бахтин позднее (при подготовке новой редакции «Достоевского» и книги о Рабле) назовет мениппеей, тогда как в момент защиты диссертации он еще называл ее «празднично-гротескной традицией», «гротескными образами», «народно-праздничной традицией»<sup>91</sup>. Бахтин сообщил Ученому Совету, что работал над темой 10 лет. Он представил Ученому Совету не что иное как схему творения литературного бытия из хаоса, навсегда сохраняющего свой креативный потенциал, а это — больше, чем акт демиурга, который порождает бытие, определяющееся и успокаивающееся в своих формах.

Замечание в сторону. У Бахтина есть другая — глубокая и многослойная мысль, связанная с идеей «одержимости»; кажется, ее можно толковать бесконечно, получая при этом разные оттенки и разную направленность смысла. У человека нет точки для того, чтобы смотреть на себя извне, нет другого подхода, кроме как смотреть на себя глазами другого: «Не я смотрю изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я *одержим* другим»<sup>92</sup>. Все это разные виды одержимости — другим, идеей другого, любой другой идеей и т. д. Отмечу, что одержимость идеей другого не есть одержимость взаимодействием с другим, раскрытием другого и другому<sup>93</sup>.

Во всяком случае, не будучи филологом-классиком, я вынужден решать, кому я больше доверяю в вопросе об античных и средневековых источниках — Гаспарову или Бахтину. Я больше доверяю Гаспарову. Бахтин критиковал существующую историю литературы и тут же заменял отсутствующие факты сконструированными фак-

<sup>90</sup> Там же. С. 1019.

<sup>91</sup> Там же. С. 1020.

<sup>92</sup> Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 71.

<sup>93</sup> Одержимый значит «всецело охваченный (каким-то) чувством, переживанием, мыслью». Можно быть одержимым страхом, страстью (например, страстью к науке) и др.; одержимый как супл.: безумный, бесноватый. См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 358.

тами, нужными для поддержки его основной идеи. Гаспаров тоже считал, что истории литературы (научной) не существует, правда, по другим основаниям: откуда мы не научимся описывать литературные факты, не сводя их к привычным нам рядам (психологии, социологии и т. д.), новую историю литературы лучше не писать, все равно ничего хорошего не получится. Но это — отдельная тема. А пока трудно сказать, какая мораль вытекает из этой увлекательной истории. Ведь и вправду оказывается, что неясное слово-понятие имеет больше шансов заинтриговать, привлечь к себе, широко распространиться, нежели надежное и выверенное понятие, которое, так или иначе, стабилизирует бытие. Те, кто пользуется этими неясными словами и понятиями, убеждены, что уже одно только их употребление заведомо обеспечивает приращение смысла<sup>94</sup>. Так и возникают пока еще очень мало изученные ситуации, при которых заряд неясных слов и понятий определенным образом взаимодействует с направленными на них ожиданиями извне и образует причудливые стуски интеллектуально-эмоциональной энергии, которые подчас способны менять траекторию находящихся поблизости более четких научных представлений. Пока еще мы не умеем анализировать мыслительные формы, нагруженные эмоцией и вызывающие энтузиазм: они стимулируют, зажигают, возбуждают ответные умственные или эмоциональные состояния, но как с ними работать, что с ними делать, мы не знаем.

Итак, что же это все-таки значит? Гаспаров отказывает Бахтину в праве быть филологом<sup>95</sup>. Но ведь Бахтин, как утверждает С. Бочаров и почти все с ним в этом согласятся, безусловно, осуществился как филолог, хотя к слову «литературоведение» относился с пренебрежением, а себя считал философом. Правда, тут приходится заметить и другое: Бахтин на протяжении своей жизни высказывал разным собеседникам разные мнения, что тоже приходится принимать во внимание. В любом случае, слова и понятия «философ» и «филолог» трудно применять (как это фактически делает Гаспаров в своем предельном заострении позиций) как целостные и неделимые обозначения личных установок и про-

<sup>94</sup> Ряд исследователей греческого романа поддерживали или оспаривали некоторые из выводов Бахтина, не анализируя при этом в должной мере те доводы, на которых они строятся, полагая их либо очевидными, либо не имеющими отношения к делу. См. об этом: *Branham R. B. A Truer Story of the Novel? // Bakhtin and the Classics // R. B. Branham ed. Evanston, 2002. P. 161—186.* Ср. также: *Pechey G. Not the novel: Bakhtin, Poetry, Truth, God // Bakhtin and Cultural Theory / Hirshkop K., Shepherd D., eds. Rev. 2 ed. Manchester, 2001. См.: Wall A. La contagion de la fiction // Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE). 1992. № 10. (Epistémocritique et cognition 1).*

<sup>95</sup> Бочаров С. Бахтин-филолог: книга о Достоевском // Вопросы литературы. Март—апрель, 2005. С. 48—67.

фессиональных принадлежностей: сколько их — и философий и филологий, особенно сейчас, в период культивирования многообразия идей и вещей. Феномен Бахтина в любом случае никак не удастся сделать однозначным по модели или-или: даже если мы говорим, что он «философ в роли филолога» или «филолог в роли философа», все равно обе позиции, так или иначе, предполагают взаимодействие, а не взаимоисключение.

В тесном взаимодействии с карнавалом и романом (с карнализацией и романизацией) продолжает звучать и тема диалога. Более того, в фактически заново написанной четвертой главе «Проблем поэтики Достоевского» эти пересечения смыслов образуют горячую смесь. Но правильно ли мы понимаем диалог? Тем более имеем ли мы основания применять это понятие к любым индивидуальным и культурным явлениям? В одном из писем Гаспаров развернуто размышляет на эту тему:

«...мне всегда казалось, что послебахтинские рассуждения о диалогичности всего на свете — это непростительный оптимизм. Нет диалога, есть два нашинкованных и перетасованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника; с таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. (С камнями сейчас мало кто разговаривает — по крайней мере, публично, — но с Бодлером или Расином всякий неленивый публично разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые ему хочется услышать.) Максимум достижимого — это учиться языку собеседника; а он такой же чужой и трудный, как горацевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает — но ровно столь же, сколько обогащает изучение горацевского или китайского языка (можно ли говорить о диалоге с учеником китайского языка?). Я очень стараюсь в разговорах учить язык собеседников (и поэтому разговоры мне так тяжелы) — но и это, по-видимому, не каждый делает, потому что этому моему старанию люди удивляются и даже считают за это меня хорошим человеком. Но навязывать им свой язык я не имею права (именно потому, что знаю, как трудно его учить)»<sup>96</sup>.

Конечно, это свидетельство из письма, а не из трактата, однако оно достаточно содержательно. Диалог: если между индивидуумами, то это нашинкованные монологи, а если между читателем и

<sup>96</sup> См.: Приложения. Фрагмент письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой, 4 мая 1993 года. Ср. также: Ваш М. Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. С. 337—338.

книгой, то это мистика — книга не разговаривает с читателем: просто читатель меняется, читая книгу в разные периоды своей жизни, а новизну собственных впечатлений от книги мы выдаем за то, что это книга изменилась в общении с нами. Быть может, это кому-то и нравится, но филологу такой подход вряд ли полезен: ведь диалог в этом случае — абсолютизация метафоры, иллюзия взаимного общения с текстом. У филолога диалог — это, прежде всего, изучение чужих языков, у философа — какой-то другой. Какой?

Дело ведь не в том, как именно человек Гаспаров относится к человеку Бахтину: он представляет себя и Бахтина в общей жизненной тюрьме, хотя и не в одной камере. Дело в том, что Гаспаров своими вопросами, своим изумлением (где факты? как можно строить теорию без фактов?) указывает не на одного Бахтина: скорее он указывает нам на то культурное зияние, которое мы обычно имеем склонность не замечать, проходить мимо, считать несущественным. Подчеркну это особо: речь идет о разрывах между разными формами знания, которые опосредуются не там и не так, как мы привыкли считать, поспешно ссылаясь в этом вопросе на традиции науки о духе — *Geisteswissenschaft* (т. е. фактически философии, потому что конкретные специальные науки изучают не «дух», а всегда что-то другое, более конкретное). А потому нам важно услышать Гаспарова, при всех тех несогласиях по частным или общим поводам, которые у нас при этом возникают.

Мои соображения о том, почему у Бахтина такие непрочные отношения между фактами и концептуальными постройками, лежат в несколько иной плоскости: то, что Гаспаров принимал за неточное (или просто ложное) описание литературной реальности, у Бахтина вообще не было описанием реальности. Гаспаров и сам это отмечает, но лишь отчасти. Тут важны две стороны дела: первая — что речь идет не о реальности, но о конструкции, построенной «на идейном пределе»; вторая — что понятие «маниппея» употребляется как некое «условное» имя.

Сначала о первом. Рискую потом повториться (об этом подробнее речь впереди), укажу на то, что, внимательно прорабатывая текст «Слова в романе» для преподавательских целей, я впервые наткнулась на это замечательное понятие «идейного предела» (единожды и в сноске). Мне не довелось видеть, чтобы кто-нибудь когда-нибудь ссылаясь на это место как особенно значимое. Речь шла о бахтинском отношении к поэзии, и эта сноска могла бы дать важное разъяснение тому, кто изучал поэзию и был поражен бахтинскими трактовками поэзии как догматизма и статичности, а «Евгения Онегина», где есть реальное многоголосие и многоплановость, — как прозаического произведения. А именно:

Бахтин внятно заявляет, что в такой своей трактовке поэзии он берет ее не как-нибудь иначе, но «на идейном пределе» — статичности и догматизма, хотя в действительности она может быть разной и всякой<sup>97</sup>. Рискуя предположить, что в случае с мениппеей Бахтин делает то же самое: он берет отовсюду черты хаоса, перебивов, перетекания одного в другое и создает интеллектуальный конструкт зачаточной формы романного жанра, который дальше, по органицистской романтической логике, начинает у него жить своей жизнью и сохранять в веках традиции народного мироощущения.

Что же касается второго момента — условности самого термина «мениппея», то теперь у нас есть прямые свидетельства на этот счет. В «Дополнениях и изменениях к Рабле» (1944) читаем: «Термин “мениппова сатира” так же условен и случаен, так же несет на себе случайную печать одного из второстепенных моментов своей истории, как и термин “роман” для романа»<sup>98</sup>. Я слышала об этом от В. Махлина и читала у И. Поповой. Но самое замечательное даже не сама эта формулировка, которая просто отодвигает в сторону Гаспарова — ученого, которому дорога предметная эмпирия и само различие между тем, что мы знаем, и чего не знаем. Еще важнее фраза, которая этому предшествует: «Мениппова сатира <...> оказывается ведущей к первофеномену романа»<sup>99</sup>. Вот оно — объяснение: это явная германо-романтическая апелляция к первофеноменам, из которых произрастают и жизнь, и искусство. Бахтину она дороже любых фактов, фактов может вообще не быть, и никакого криминала он в этом, думаю, не увидит и не признает, даже если ему на это прямо укажут. Порой критики гаспаровской позиции в отношении Бахтина сетовали: если бы Бахтин был жив, он сумел бы за себя постоять! Скажу иначе: если бы Бахтин был жив, он не стал бы даже разбираться со всем этим, с «фактами», счел бы это ниже своего достоинства: ведь ему удалось, как он, по-видимому, считал, проникнуть на уровень первофеноменов, на котором простая эмпирия действительно не имеет никакого значения.

Итак, именно сочетание «условности» и «предельности» создает в анализе ситуацию, которая недопустима для Гаспарова как эмпирического ученого и поборника истории литературы, основанной на обобщении фактов. Вот пример такого смещения в теоретическом сознании Бахтина: «Характерная для менипповой сатиры (и всех ее порождений) тяга к предельности, к космизму, к последнему целому, ее

<sup>97</sup> Как показывает Гаспаров в своих исследованиях раннего греческого романа, этот жанр предполагал, напротив, перенос некоторых прежних приемов поэзии на прозу.

<sup>98</sup> Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 82.

<sup>99</sup> Там же.

топографизм, ее вражда к среднему, среднетипическому, натурально-реалистическому (ординарно-среднее, не исключительное не имеет права появляться за рампой)<sup>100</sup>. Присмотримся внимательнее: «условная» мениппея становится здесь воплощением «предельного», безмерного, космического (и ярым врагом всего «среднего»). Правда, слово «предельный» стоит тут в общем ряду с «безмерным и космическим», а потому теряет ту концептуальную определенность, которая проявляется в нем при обсуждении поэзии как антагониста романного жанра в «Слове в романе». В самом деле, «тяга к предельности», о которой тут идет речь, — это душевное состояние, а работа на «идейном пределе» — сложная и напряженная интеллектуальная операция. А потому их следовало бы четко различать.

И все же: если Бахтин осознавал «условность» и «предельность» мениппеи (а не ее эмпирическую реальность, хотя бы и проблематичную), почему он оставил эти соображения в черновиках и представил читателю «мениппею» так, как если бы это были слово и жанр из реальной истории литературы? Ведь он в своей речи на защите сровнял с землей всю мировую науку о литературе именно потому, что ни теоретически, ни исторически (!) она не смогла найти того, что ему удалось найти. Видимо, тут он чувствует себя философом-поэтом, философом романтического типа, который имеет дело со стихиями и безмерностью. Выяснять отношения гипотезы или, как ему казалось, открытия, к реальности — было ему просто неинтересно. А потому убийственные, по сути, доводы Гаспарова (Бахтин пользуется источниками, от которых ничего не осталось, кроме имени авторов) его бы не переубедили и даже самую малость бы не поколебали. Ему было важно то, что он нашел, а он нашел, как ему казалось, носителя, клетку, ядро преформистски развивающегося процесса — эта роль и была отдана пресловутой мениппее.

Но нам нужно увидеть в заочном споре мыслителей больше того, что они нам прямо говорят. Гаспаров своими не всегда философски выдержанными доводами обнажает перед нами культурную бездну, эпистемологическое зияние. А нам предстоит вновь и вновь возвращаться к вопросу о различиях познавательных традиций европейской культуры — все это не только дело прошлого, но и дело настоящего и будущего. Мне бы хотелось, чтобы эти мои предварительные наброски и сопоставления были шагом на этом пути.

Другие исследователи тоже пытались разобраться в этом противоречии и в этом споре. Так, Н. В. Брагинская строит концепцию, которая призвана учесть как доводы Гаспарова, так и возможные контрдоводы Бахтина, а также некоторые внешние обстоятель-

<sup>100)</sup> Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 83.

ства, которые могут прояснить для нас эту проблему. На этом пути Брагинская выдвинула два довода: один историко-культурный, а другой — историко-литературный. Первый заключается в предположении о том, что Бахтин вполне мог следовать общей установке на славянское возрождение Античности, которое было своего рода духовным знаменем в некоторых кругах интеллигенции 1920-х годов в России<sup>101</sup>; отсюда и слишком широкое употребление античных терминов. Она напоминает нам о том, что люди с классическим образованием в те времена вдохновлялись скорее идеями широкими, обобщающими, «историософскими», нежели собственно историко-литературными. Второй довод Брагинской таков: реальный пример мениппеи, воплощающий идею серьезно-смехового по всем 14 пунктам, все-таки в истории обнаруживается: это Жизнеописание Эзопа<sup>102</sup> — баснописца, которого сам Гаспаров своими переводами и комментариями раскрыл российскому читателю. Если считать, что с Эзопом Брагинская права, то возникает и следующий вопрос: почему Гаспаров, работавший с этим материалом, не захотел увидеть его под знаком мениппейности? Думаю, потому, что для Гаспарова один-единственный случай все равно ничего бы не изменил: один-единственный случай даже нельзя считать первым шагом (всегда) неполной индукции. Так что этот пример, если, повторяю, считать его верным, был бы на руку не столько Гаспарову, сколько Бахтину: вот она во всей своей красе — та преформистская клетка, которая была ему нужна: сама нашлась без всяких натяжек и преувеличений.

В своих работах И. Попова подхватывает этот призыв Брагинской, призывающей нас учитывать конкретно-исторические способы существования научной традиции. Так, И. Попова настаивает на необходимости изучать историю введения термина «мениппея» в опубликованные и неопубликованные тексты Бахтина на фоне традиций классической филологии 1930—1940-х годов (а это — область неизученная) и разбирает историю «четвертой главы» книги о Достоевском в экзистенциальном контексте жизни мыслителя, который пережил «тридцать лет непризнания» и испытал «утраченное чувство времени и места». Важнейший вопрос, который ставит Попова в связи с проблемой «мениппеи», затрагивает также бахтинскую концепцию терминов, их статуса, их роли и перспектив в гуманитарном познании. К сожалению, его размышления об этом не были опубликованы (а записи сосредоточены в рабочих тетрадях первой половины 1940-х годов, когда Бахтин вводил само понятие «менипповой

<sup>101</sup> Брагинская Н. В. Славянское возрождение античности // Русская теория. 1920—30-е годы. Материалы 10-х Лотмановских чтений. Москва, декабрь 2002. М., 2004. С. 49—80.

<sup>102</sup> Там же. С. 70.



сатиры», и первой половины 1960-х годов, когда Бахтин переработывал книгу о Достоевском — прежде всего, включая мениппею в четвертую главу). Можно полагать, что Бахтин сознательно использовал то, что можно назвать «многообещающей недоговоренностью», а в черновиках отмечал все то, что, как ему казалось, поддерживало эту линию мысли. В любом случае все сводилось для него к главному: термины и терминологизация плохи тем, что стабилизируют значения, ослабляют их метафорическую силу. Видимо, он полагал, что для прочерчивания осевых линий развития европейской литературы лучше пользоваться метафорами, нежели понятиями или терминами.

Однако, в любом случае, читатели Бахтина поверили в реальный статус мениппеи, и эта концепция стала раскручиваться как стержень новой теории жанров. Однако эти игры виртуального и реального — не только прошлое. Об этом свидетельствует, в частности, та параллель, которую приводит в своей содержательной статье, посвященной Гаспарову (она писалась за здоровье, а оказалась «за упокой»)<sup>103</sup>, К. Эмерсон. Речь идет о Стивене Гринблате, столпе американского «нового историзма», который расцвел в обстановке социальных ожиданий, когда уставшие от традиционалистских мыслительных ходов читатели и критики ждали какой-то новой методологии, способной избавить их от скучной каузальности. И дождались: эрудиция и харизма Гринבלата сделали его воплощением этих надежд и их реализаций. Гринблат же, в свою очередь, утверждает, что является последователем Бахтина. Только вот не очень понятно: комплимент ли это Бахтину (в устах Гринבלата, наверняка, комплимент) или упрек.

К. Эмерсон признает, что критика Гаспаровым Бахтина напоминает ей критику американскими историками-традиционалистами Стивена Гринבלата. По Гринблату, прошлое — не источник информации, а то, что резонирует в ответ на наш вопрос: источник чуда и удивления. Бахтин ведь тоже постоянно попадал в ситуации, когда он оказывался таким энергетическим наполнителем уставших форм, оказывался (или воспринимался) как их обновитель. А Гаспарова она при этом называет «профессионалом и профессором» (первое так или иначе подразумевает узкую сосредоточенность, второе — каноничность). Конечно, Эмерсон знает, что Гаспаров совсем не профессор, не вешатель с кафедры, не властно-риторическая фигура, что его стезя — иная. Профессионал и профессор — это как бы одновременно и комплимент, и завуалированная ирония. А еще Эмерсон случалось и устно, и пись-

<sup>103</sup> Эмерсон К. По поводу двадцатипятилетней годовщины выхода в свет первой статьи Михаила Гаспаров о Бахтине // Вопросы литературы. Март—апрель 2006. С. 12—47.

менно называть Гаспарова «сторожевой собакой позитивистской науки»<sup>104</sup>, а он носил это обозначение на груди с гордостью, как орден. Некоторые моменты в собственной позиции Эмерсон мне ясны, они мне нравятся, и я готова всячески их поддерживать; а некоторые другие совершенно неясны: быть может, прояснить их мешает ей публичная роль человека, который постоянно общается с бахтинистами всех мастей, а все они единодушно не позволяют себе задуматься над вопросами Гаспарова, считая их злобной клеветой<sup>105</sup>.

Но не в этом сейчас дело. А дело в том, что все же именно к Гаспарову Эмерсон обратилась<sup>106</sup>, чтобы задать сакраментальный вопрос (Гаспаров писал об этом мне в письме вскоре после их разговора):

«Спрашивает: "ну вот, бахтинский бум, слава богу, спадает, по крайней мере, на Западе; как по-вашему, что от Бахтина останется через двадцать лет?" <...> Я говорю: "ответится филологическая шелуха, останется философское ядро". "А в чем оно?". "Вот по этим книжкам, оказывается, что и диалог-то у Бахтина был не такой, как между нами, а такой, как у Нила Сорского<sup>107</sup> с Господом Богом, то есть для которого никакого языка и не требуется" (Нил Сорский говорил с богом,

<sup>104</sup> См.: Приложения. Фрагмент письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой, 14 октября 2001. Ср. также // Вайс М. Г. С. 396.

<sup>105</sup> Иногда возникает странное искажение перспективы: кажется, будто Гаспаров большой и важный, а Бахтин — маленький, угнетаемый. На самом деле (странным так говорить здесь) Гаспаров почти одинок, по крайней мере, в этой своей полемике с Бахтиным, а сторонников Бахтина, если взять по всему свету, — десятки тысяч наберутся. Трактую обоих персонажей как «равновеликие величины», усаживая обоих героев рядом, уравнивая их как книжных, немодных, сильно отличающихся от тех, кто шумит и суетится вокруг, Эмерсон в итоге обращает Гаспарову странный упрек: если Гаспаров «стал активным создателем своего публичного образа, а тем самым — участником собственной мифологизации, то у Бахтина для этого было куда меньше возможностей и еще меньше — желания и сил» (Эмерсон К. Двадцать пять лет спустя: Гаспаров о Бахтине // Вопросы литературы. 2006. Март-апрель. С. 47). Получается, что Гаспаров вступил в публичную игру (хотя бы своими «Записями и выписками»), тогда как Бахтин навсегда оставался предельно скромным и не склонным ни к каким публичным играм. Однако здесь, замечу, у автора есть передержка: у Бахтина была явная склонность к мистификациям (а отсюда — к некоторым формам игрового поведения), его нежелание прояснить некоторые вопросы, в частности, касавшиеся других людей, их творческого имени, свидетельствует об очень сложных отношениях между интимно личными и публичными сторонами его жизни, не сводящимися к обычной скромности. С. Г. Бочаров вынужден признать, что Бахтин «во многом себя от нас утаил» (Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия. С. 517). Представляется, что относится это не только к «последним вопросам», но и к более обычным земным делам. И эта сложность экзистенциальной конфигурации бахтинского творчества требует внимательного разбора всех без исключения свидетельств.

<sup>106</sup> Впрочем, вполне возможно, что этот вопрос Эмерсон как профессиональный бахтиновед задавала всем своим знакомым, чье мнение было ей интересно.

<sup>107</sup> Нил Сорский (Николай Майков, 1433—1508), церковный деятель, писатель.

как собака Каштанка с хозяином — столяром — без слов): "О если б без слова сказаться душой было можно", как писал Фет; такие романтические потребности очень живучи, поэтому люди, которым нужен Бахтин, не переведутся. А язык он не любит, и чувствует себя в нем, как узник в темнице. Я тоже чувствую себя в жизни, как в темнице, и (мне кажется) понимаю Бахтина, как узник узника, но дальше начинается несходство характеров: я простукиваю стенки темницы и нащупываю код для общения с соседними камерами, а он стоит у оконной решетки и рвется душой на простор»<sup>108</sup>.

Я не знаю, как Эмерсон отреагировала на такой ответ, Гаспаров мне об этом не написал. Но согласитесь, этот образ тюрьмы, в которой заключены оба наших героя, — неожиданный: больше того. Гаспаров говорит, что, кажется, понимает Бахтина — как узник узника, понимает — до той поры, пока им слова не нужны. Но на уровне жизненных поступков они опять расходятся: один рвется душой на простор, а другой — простукивает стенки камеры в надежде найти общий код, хотя бы условный, с другими заключенными. Этот гаспаровский образ, столь для него редкий, — мысли, для которой и внешнего языка не нужно, — находит применительно к Бахтину свое подтверждение: он так или иначе указывает на то «неовнешнее художественное ядро души»<sup>109</sup>, которому в процессе самопостижения внешний диалог вообще не нужен.

И все-таки кто же он — Бахтин? Эмерсон поддерживает позицию И. Л. Поповой: Бахтин не философ в обычном смысле слова и не традиционный филолог, а мыслитель особого пограничного толка. Эта мысль представляется удачной. Это взгляд изнутри, из огромного материала — это спокойная констатация, не допускающая восторгов по поводу обладания всеми атрибутами сразу (которые мы видим и у Крестовой, у Библера и у многих других). Смешений всего нам больше не надо, их было слишком много в прошлом. Но ведь и жесткое разведение по принципу или/или мало что дает. Так что же перед нами? Пример свободной мысли вне границ? Или жизненный опыт несвободы, компенсированный опытом свободной мысли? Конечно, мысль — тоже поступок, и мы ответственны не только перед живыми людьми, но и перед теми, кого изучаем.

Многие, прочитавши Гаспарова, скажут: ну и что? Подумаешь, факты. Еще надо выяснить, что нам важнее: формы творчества, претендующие на объективность, или формы творчества, способные

<sup>108</sup> См.: Приложения. Фрагмент письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой, 14 октября 2001. Ср. также: Ваиш М. Г. С. 396—397.

<sup>109</sup> Попова И. Л. О границах литературоведения и философии в работах М. М. Бахтина // Русская теория. 1920—1930-е годы. М., 1999. С. 112.

заражать, расковывать нашу креативность. Однако, в любом случае, то, что приносит нам Бахтин, — не метод, который может распространяться на другие предметы, но скорее собственный общий взгляд на предмет. Если считать, что его работа на литературном материале была в известной мере иллюстрацией его философских (или, быть может, общеэстетических) идей, тогда мы легче воспримем те эмпирические несообразности, с которыми мы сталкиваемся, узнавая о том, что Толстой был насквозь монологичным, а Достоевский, напротив, настолько диалогичным, что даже забывал про развертывание сюжета как чего-то второстепенного<sup>110</sup>. По-видимому, все это — упрощения, высказанные совершенно монологическим образом, — как бывает всегда, когда Бахтин говорит увлеченно...

В этих попытках проанализировать сомнения исследователей моя цель — не «похоронить» Бахтина, а воздать ему должное. Мне представляются «антибахтинскими» те истолкования его концепции, которые, безмерно раздвигая пределы применимости его понятий, лишают их своего познавательного смысла. Но это теперь упрек нам самим, а не Бахтину. Он обогатил нас яркими творческими взглядами на целый ряд важных предметов. Правда, эти взгляды, как и любые другие, не являются общеобязательными, и нам нелишне послушать по этим поводам и другие голоса<sup>111</sup>. Можно предположить, что он был не теоретиком литературы (разве что в размытом постмодернистском смысле слова) и не историком литературы. Используя архаичную теперь терминологию, можно сказать, что Бахтин работал скорее художественными, нежели научно-методологическими средствами. В итоге я склоняюсь к мысли, что Бахтин дает нам замеча-

<sup>110</sup> Интересно посмотреть на бахтинские исследования литературы до того, как они были наделены особым философским смыслом. Об этом отчасти можно судить по записям лекций Бахтина, сделанным Р. М. Миркиной в 1920-е годы. По манере чтения это были, кажется, авторитетно (и даже авторитарно) произносимые, звучным голосом читаемые лекции, а по содержанию преподаваемого Толстой, например, был в них настоящим Толстым, а не анти-Достоевским; ему уделялось больше времени, чем Достоевскому, и он был явно интереснее и живее в анализе, чем Достоевский. В любом случае, Бахтин тут выступал как обычный преподаватель литературы, говоривший «нормально», не выволивший на первый план диалог за счет характеров, сюжета, повествования и др. Впрочем, нечто новое тут уже началось. Так, Бахтин утверждал, что Достоевский использует идеи сходно с тем, как другие писатели используют эмоции. С эмоциями проще: они имеют определенные пути развития, которые можно наблюдать извне по поступкам. С идеями сложнее: никто заранее не знает, куда и как они будут развиваться. Вместе с тем идея не есть нечто чисто аналитическое: это что-то живое, жизненное, слитое с личностью. В этих простых и повседневных лекциях до-диалогического периода, не отягощенных философской идеей, Бахтин рассматривает разные аспекты творчества Достоевского, а не только полифонию как единственную формообразующую силу.

<sup>111</sup> Например, применительно к Достоевскому это Н. Трубецкой и его книга «Достоевский как художник» (*Dostoevski als Künstler*), написанная в эмиграции и опубликованная по-немецки.

**тотальный** пример писательского и философского творчества, но вовсе не методологию науки — если только само слово «наука» остается для нас чем-то большим, нежели простая метафора.

Бахтинский бум, мешавший заниматься серьезными предметами, проходит, и теперь становится возможным более строгое отношение к материалу, к предметам, к формам мысли, так что можно быть уверенным: настоящий Бахтин у нас еще впереди. Он не вмещается ни в какие объемлющие схемы и продолжает звучать, провоцировать и стимулировать. Однако, оставляя за Бахтиным право быть таким, каким он хотел быть, не определяться там, где он не хотел точности, мы обязаны поставить себя в более осмысленное и адекватное отношение к наследию крупнейшего исторического персонажа и мыслителя. Работа с текстами, опубликованными архивными материалами, отказ от аргументации патристического типа (цитирование клише без проблематизации фона того или иного высказывания), проработка текстовых массивов самыми разными методами, которые пока еще ни у философов, ни у литературоведов не в ходу, — все это поможет этому трудному письму не потеряться, не расплыться, остаться мыслью, в которой мы вполне можем обнаруживать новые пласты, подтексты и содержания. Предоставив ему оставаться незавершенным там, где он считает это принципиально важным, мы должны попытаться устранить те незавершенности, которые возникли в бахтинских текстах как недостаток изложения; это не только прояснит нам размытые моменты, но и бросит осмысленный отблеск на первые, принципиально незавершенные тексты.

Сказать, что Бахтин — философ или удивительный писатель, мешает нам подчас как раз мнение философов: они чаще считают Бахтина филологом, но таким, кто много дает философии, — прежде всего в области методологии познания гуманитарных феноменов, где собственно и начинаются разные недоразумения и опасности. Яркая, эвристичная концепция, которая явно предпочитает идею фактам, вряд ли может быть источником метода для эмпирической гуманитарной науки. В целом же удивительно, насколько конкретная эмпирия знания (наличие или же отсутствие фактов) может быть несущественна для философии, насколько ее оценка знания может отвлекаться от того, на чем собственно держится наука в любых своих формах. Ясно, что без энтузиазма ничто в человеческой жизни толком не делается. Но и без «человека с карандашом» (это, отмечу, вовсе не образ Гаспарова: у него одержимости предостаточно, только жизнь «с карандашом в руках» обязывает к дисциплине, не позволяет вольничать) то здание науки, без которого немыслима современная европейская культура, не было бы построено.

Стоит хотя бы помнить, что это злание не так уж сложно разрушить и что последствия этого будут для нас трагически непредсказуемыми. Гаспаров не решает для нас вопрос о том, кто такой Бахтин, однако без его, так сказать, «вызывающе упрощенного» (это моя аллюзия на гаспаровское высказывание о «вызывающе неточном» языке Бахтина) размежевания философии и филологии даже приблизиться к этому вопросу — со стороны филологических сюжетов — было бы невозможно. Более того, такой подход, который стремится вскрыть неувязки и противоречия, в любом случае, честнее, чем нанизывание отдельных цитат без попытки разобраться в сути дела. От такого бездумного цитатничества нас предостерегает В. Л. Махлин<sup>112</sup>: нужно «раскавычить» бахтинское наследие, перестать рассматривать его как нечто превращенное в слишком знакомую и потому не требующую понимания цитату: Бахтина нам еще предстоит понять<sup>113</sup>. И с этой мыслью нельзя не согласиться.

### Взгляды на язык: что изменилось?

Здесь речь пойдет о том, что в России, за редкими исключениями, не вызывает интереса (а во Франции, например, вызывает), — о взглядах Бахтина на проблему языка (если сказать о «лингвистических взглядах» Бахтина, получится не очень удачно, потому что самым словом «лингвистика» Бахтин чаще пользовался в полемических, нежели позитивных контекстах). Тем не менее, отношение Бахтина к проблемам лингвистики, филологии и поэтики опосредованно воздействует на другие, более известные нам стороны концепции, связанные с диалогом, карнавалом и особенно — с романом как особым жанром. В России Бахтин вообще не воспринимается как лингвист или языковед: даже как о человеке, высказавшем ценные лингвистические идеи, о нем говорят редко<sup>114</sup>.

<sup>112</sup> Махлин В. Л. Без кавычек // Вопросы литературы. 2005. № 1. (<http://magazines.russ.ru/voplit/2005/1/ma3.html>)

<sup>113</sup> Там же. Редакционная врезка перед статьей.

<sup>114</sup> Исключение из этого правила представляет собой, например, книга В. Алпатова «Волошинов, Бахтин и лингвистика», в которой прослеживается путь лингвистических представлений Бахтина. Книгу отличает доброжелательный тон автора в повествовании о своих героях на фоне широкой панорамы лингвистических учений в России и за рубежом: комплименты здесь свободны от обычных идеализаций, а критика — от недоброжелательства. Так, Алпатов, в частности, указывает на различного рода эмпирические неточности в «Марксизме и философии языка», но отдает должное исключительной интуиции Бахтина, неоднократно позволявшей ему загодя улавливать тенденции развития мысли, причем не только в России. Ср. также: Алпатов В. М. Лингвистическая теория М. М. Бахтина — В. Н. Волошинова // Русская теория. 1920—1930-е годы. М., 1999. С. 115—123.

Вот уже 10 лет как нам доступны архивные материалы к творчеству Бахтина, которые опубликованы в вышедших в свет томах Собрания его сочинений. Однако ими мало кто пользуется. С одной стороны, существуют специалисты, которые читают тексты, прослеживают становление идей, так или иначе, заботятся об адекватном понимании концепции Бахтина в целом. С другой стороны — те, кто заимствует отдельные идеи и положения, вынося их далеко за пределы контекста и применяя в других дисциплинах или в философии. Иначе говоря, идет борьба за «правильное понимание» Бахтина и одновременно, по другой линии — за применение некоторых найденных тезисов в местах, удаленных от контекста их возникновения. Кажется, стоило бы обогатить «прикладные практики» новыми знаниями, добываемыми в фундаментально значимой архивной работе и, разумеется, максимально учитывать в попытках понять Бахтина «ради него самого» все то, что удалось выяснить в практических контекстах. Беда в том, что специалисты по Бахтину, как правило, не пишут для широкой публики: они пишут для ближайших коллег, для сообщества — отечественного или международного (наиболее яркие статьи российских авторов охотно переводятся за рубежом и наоборот). Мне кажется, что между уровнями постижения Бахтина образовался разрыв. Продуктивной подпиткой, опосредующей уровни, как раз и может стать для нас лингвистическая проблематика: она соотносится и с историей собственных идей Бахтина, и с вопросом о возможности их применения.

Некоторые исследователи Бахтина (прежде всего, Л. А. Гоготишвили) отмечают, что Бахтин был диалогичен там, где мы не видим и не ищем диалогичности. Всякий пишет, мысленно полемизируя с кем-то. Однако, тезис Гоготишвили еще более сильный: опираясь на разбор ряда текстов, она считает, что у Бахтина фактически отсутствует прямая речь, что его письмо «девтороканонично», нагружено и перегружено чужой речью не только в спорных работах, но и практически повсюду. Наверное, исследовательница все же преувеличивает специфику бахтинского письма, хотя ее соображения объяснимы ее материалом — в частности, массой заметок и фрагментов, изобилующих назывными предложениями с неясным авторским статусом: в них «чужие» словоупотребления и полемические акценты невольно выходят на первый план. Гоготишвили трактует все эти особенности письма Бахтина как следы диалога. А кто собеседник в таких воображаемых диалогах? Благодаря архивным материалам это нередко удается выяснить досконально. Так, обнаруживается, что в лингвистических разработках Бахтина его скрытый собеседник и теоретический противник — известный лингвист В. В. Виноградов;

Имеются и другие диалогические отсылки (это Соссюр, но также и Сталин — они не везде названы, но могут быть реконструированы).

Кажется все же, что быть полновесным и неметафорическим диалог способен лишь при полноценном присутствии другого: а здесь другой лишь подразумевается, и у него нет возможности что-то сказать в ответ. Такой диалог оказывается чем-то похож на постоянный внутренний диалог Человека из подполья с самим собой. Степень ассимиляции чужого слова может быть разной — полной, частичной, никакой (когда чужая речь остается внешним фрагментом, отмеченным кавычками)<sup>115</sup>. Явления, которые подразумевает Гоготышвили, когда излагает свой тезис, разнообразны: вот мы замечаем, что Бахтин почти перестает пользоваться словами «диалог и монолог», а «монолог» и вовсе исключается из употребления. Это что — новая языковая привычка? Да, но возникает она в результате внутренней полемики с В. В. Виноградовым, одним из крупнейших представителей языковой стилистики: Виноградов пользуется обоими понятиями, только диалог считает вторичным по отношению к монологу. Или еще пример: в языке Бахтина вдруг появляется и начинает активно использоваться слово «завершенный», казалось бы, совсем не подходящее к лексико-семантическому складу его письма. Оказывается, эта «завершенность» относится не к ранним работам Бахтина, где могла идти речь о завершнном произведении искусства, но и о завершенности и незавершенности предложения как единицы языка и высказывания как единицы речи; иначе говоря, «завершенный» в подобных контекстах означает «цельный», что опять-таки перекликается с полемическими для Бахтина контекстами виноградовских употреблений. Мне кажется, что сталкиваясь с появлением у Бахтина «чужих» слов, мы видим не столько диалог, сколько некую первоначальную стадию перевода с одной концепции на другую. Так, в ряде своих лингвистических тезисов Бахтин фактически переводит отдельные моменты концепции Виноградова на свой язык; то же самое он делает, до известной степени, и с некоторыми элементами концепции Сталина о языке. Жаль, что философы не интересуются этой стороной творчества Бахтина, которая стала нам доступна в результате работы над архивами. По работе с текстами мы яснее видим некоторые моменты переконфигурирования его мысли. Однако сама возможность нашей проясняющей работы с этими фрагментами, кажется, свидетельствует не об универсальности диалога, но об универсальности операций перевода, неизбежного при любой попытке понимания.

<sup>115</sup> При этом в русском языке исследовать формы ассимиляции чужого слова и соответственно формы косвенной речи труднее, чем в ряде европейских, где, в частности, правило согласования времен делает синтаксическую палитру средств представления несобственно-прямой речи в тексте более богатой.



Здесь будет намечена — пунктиром — линия изменений в бахтинской трактовке языка — от «Марксизма и философии языка» (МФЯ)<sup>116</sup> к «Слову в романе» (СР)<sup>117</sup> и далее к лингвистическим работам 1950-х годов<sup>118</sup>, самому малоизученному периоду в творчестве Бахтина.

В том, что касается первой, методологической части работы, главные уточнения затрагивают концепции идеологии и знака. Вследствие временного, исторического и культурного разрыва между временем создания МФЯ и временем переоткрытия этой работы в России и других странах понятие идеологии оказывается одним из тех, что прежде всего требуют корректировки при понимании. Причем это важно как для французской рецепции Бахтина 1970-х годов, так и для российской (советской) рецепции Бахтина 1960—1980-х годов. Языковая проблематика МФЯ строится на концепции идеологического знака: иначе говоря, вся идеологическая сфера является знаком, она замещает, представляет, изображает что-то, вне ее находящееся. Слово «идеологический» в известном смысле фиксирует знаковый феномен *par excellence*, так как нигде больше этот знаковый характер не выражен так ярко, как в «словесно-идеологических» образованиях. Это важно учитывать, разбирая специфику слова как главного объекта науки об идеологиях<sup>119</sup>. Концепция МФЯ создавалась в послереволюционный период; знак и идеология в ней функционально совпадают: они выступают как то, что преломляет социальную реальность.

В этой связи кажется странным, что в первой части МФЯ, где речь идет о знаке, нет упоминаний о Соссюре, а далее, где речь идет о Соссюре, ни слова не говорится о знаке. Историки лингвистики задумались: не связано ли это с какими-то другими неявными влияниями, запечатленными, но не раскрытыми в этой концепции? При этом высказывалось соображение, косвенно подтверждаемое недавними архивными расшифровками и публикациями. Речь идет о влиянии на Бахтина 1920-х годов и бо-

<sup>116</sup> Бахтин М. М. (под маской). Маска третья. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М., 1998.

<sup>117</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // *Он же*. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

<sup>118</sup> Здесь нашими путеводителями будут, прежде всего, В. М. Алпатов и Л. А. Гогтишвили.

<sup>119</sup> История слова «идеология» может указывать на науку, которая изучает идеи (факты сознания), законы их связи со знаками, или же на систему идей какой-либо политической группы в определенную эпоху. Само понятие идеологии возникло в конце XVIII века у авторов, воодушевленных идеями французской революции и стремившихся развеять мифы и предрассудки феодальной системы; их и стали называть идеологами. Итак, в самом слове «идеология» есть и политическое, и эпистемическое содержание.

дее позднего времени немецкой философской и научной мысли и прежде всего — о концепции Кассирера: можно предположить, что одним из источников семиотических идей МФЯ была «Философия символических форм» Кассирера, в которой рассматривается специфика символической функции, как она проявляет себя в религии, мифологии, культуре, науке, причем язык вычленяется в особую символическую форму.

Позволю себе напомнить некоторые общеизвестные вещи. В МФЯ, где целью является критика существующих подходов к языку и определение подходов современной социологии языка, позиция авторов, Бахтина и Волошинова (Б/В), задается на контрастном фоне двух подходов, именуемых соответственно абстрактный объективизм (АО) и индивидуалистический субъективизм (ИС). Построение МФЯ и других «спорных работ» подчиняется общей схеме: сначала прописываются предельно заостренные и упрощенные версии взаимоисключающих подходов, образующих как бы тезис и антитезис, а потом предлагается разрешение антиномии, так или иначе снимающее ее, но, как правило, тяготеющее к одному из полюсов. Индивидуалистический субъективизм есть то, что видит в языке не вещь, не сложившееся бытие, но деятельность, непрерывный творческий процесс (энергейя), который материализуется в форме индивидуальных речевых актов. Абстрактный объективизм строится на прямо противоположных основаниях: язык для него — это, прежде всего, стабильная система лингвистических форм, подчиненных норме; законы языка определяются связями между знаками в языковой системе. С точки зрения АО индивидуальная речь представляет собой случайные вариации норм, причем система языка и его история остаются чуждыми друг другу. Б/В отличались резким протестом против АО, а это образ структурализма: Соссюр и Бодуэн де Куртенэ, а также представители швейцарской школы (А. Сеше, Ш. Балли) — его главные представители.

Главный объект критики Б/В в МФЯ — концепция языка в АО: язык нельзя считать конечным продуктом (эргон), стабильной системой со своей лексикой, грамматикой, фонетикой, это лишь охлажденная лава творческих процессов. Такой язык — фикция. Ведь представление о языке как системе не свойственно ни говорящему, ни слушающему, больше того — оно им чуждо, так как они постоянно участвуют в становлении языка, они захвачены этим становлением. Взгляд на язык как на систему норм — результат абстрагирования, творение лингвистов, причем в педагогических целях: естественному носителю языка система не нужна, она нужна лишь тому, кто смотрит на язык со стороны и пытается

им овладеть<sup>120</sup>. Отрицание языка как абстрактной системы — это отказ от главного соссюрковского понятия и от теоретической опоры всей структурной лингвистики. Вместе с языком упраздняется тем самым и соссюровская дихотомия языка и речи, а на первый план выводится речь как высказывание, находящееся вне языка как системы.

Исследователи отмечают, что ряд моментов в критике АО в МФЯ сформулированы неточно. Так, Б/В упрекают АО в «филологизме» и «педагогизме»<sup>121</sup>, которые ставят во главу угла «мертвый», «чужой» язык. При этом в МФЯ неправомерно уравнивается мертвый язык и чужой язык<sup>122</sup>. Однако если всякий мертвый язык — чужой, из этого не следует, что всякий чужой язык — мертвый<sup>123</sup>. В самом деле, культурные традиции редко вырабатывались в истории на основе мертвых языков: те языки, обучение которым лежало в основе формирования традиций, вовсе не рассматривались их носителями как чужие<sup>124</sup>.

В данном случае, в критическом разборе АО и ИС, Б/В, конечно же, тяготеют к ИС, хотя и не во всем. Так, несмотря на высокие оценки Гумбольдта («могучая мысль», достижение философского синтеза, ценность проблемного использования самих понятий

<sup>120</sup> Авторы МФЯ не хотят замечать те положительные стороны, которые принесла в изучение языка мысль о языковой структуре. На самом же деле в эпоху, когда исследования языка тонули в бездне эмпирических частностей и внешних обусловливающих, было важно построить «внутренний» объект лингвистики, отстранив ее от всех внешних аспектов становления языка, и сосредоточиться на языке как системе знаков, способных различать смыслы. В истории лингвистики это было настоящим прорывом, позволившим построить собственный предмет лингвистического исследования. Все это, однако, вовсе не означало, что ничем иным, кроме лингвистики языка, структурная лингвистика и не должна заниматься; так, Соссюр планировал изучать и лингвистику речи. Таким образом, тезис о том, будто Соссюр отверг речевой акт, — некорректное преувеличение.

<sup>121</sup> Педагогика никоим образом не входила в число осознанных целей Б/В, однако в дальнейшем диалогические подходы стали широко применяться в педагогике и психологии, например, такими американскими исследователями, как К. Герген и Дж. Шоттер.

<sup>122</sup> «Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно — чужой для него язык» (Бахтин М. М. (под маской). М., 1998. С. 80).

<sup>123</sup> По этому поводу уместно сослаться на взгляды Гаспарова: все языки — чужие (даже языки наших близких мы должны учить, если мы хотим их понимать), однако не все мертвые языки — чужие: для исследователя, который всю жизнь занимается каким-нибудь либо древним либо вымершим языком, эти языки — вполне «живые». Правда, для Б/В филолог не имеет права голоса в этом вопросе о живом и мертвом языке, который он все равно не способен разрешить.

<sup>124</sup> Так, в древней Греции единственным достойным изучения объектом считался свой язык койне, основанный на аттическом диалекте, а развитые грамматические описания появились в эпоху эллинизма, когда в Египте эпохи Птолемея возникла необходимость учить греческому языку, чужому для большинства населения. См. об этом: Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005. С. 22–23.

«эргон» и «энергейя»), прямого влияния его мысли в трактовке ИС не заметно, и прежде всего потому, что в ИС законы языка характеризуются как индивидуально-психологические, тогда как для Гумбольдта индивидуальная психика второстепенна, а язык выступает, прежде всего, как выражение коллективного духа народа. Программные тезисы ИС ближе, скорее, школе Фосслера. Это еще раз подтверждает, что начертанные в МФЯ подходы к языку — это не столько вехи истории, сколько типологическое построение<sup>125</sup>.

Следующим важным этапом в разработке лингвистических идей у Бахтина стала работа «Слово в романе» — большой по объему и относительно законченный текст, написанный в Кустанае в 1934—1935 годах (о некоторых моментах его французского перевода речь пойдет далее). В СР сохраняется ряд ключевых терминов МФЯ (это, например, специфически понимаемая «идеология», «слово» как синоним высказывания и др.), звучит проблема несобственно-прямой речи, фактически продолжается полемика с АО. Так, язык для живущего в нем сознания — это не абстрактная система форм, а конкретное разноречивое мнение о мире<sup>126</sup>. По-видимому, в отрыве от друзей и коллег Бахтин продолжает развивать концепцию, ранее разработанную вместе с ними<sup>127</sup>.

Проблематика АО (или, точнее, комплекс представлений, который в МФЯ характеризовал АО) выглядит здесь иначе. Язык выступает как нечто вполне реальное, а не фиктивно измышленное. Так, АО в СР характеризуется здесь как установка на единство слова, как внимание к наиболее устойчивым, малоизменчивым и односмысленным его моментам — ко всему тому, что дальше всего отстоит от «изменчивых социально-смысловых сфер слова». Для нас важно, что тем самым здесь признается само существование этих «малоизменчивых» сфер слова: а это уже явный отход от бывшего максималистского отрицания реальности языка. Единый язык «реален как сила, преодолевающая разноречие, ставящая ему определенные границы и обеспечивающая минимум взаимопонимания». Единый язык, таким образом, — это не прихоть спекулятивного умозрения, но вполне правомерный результат действия реальных факторов и прежде все-

<sup>125</sup> При этом в изложении фактической базы концепции есть моменты, на которые нужно обратить внимание: так, Бодуэн де Куртенэ предстает как последователь Соссюра, между тем как Соссюр был на 12 лет моложе Бодуэна, а «Курс общей лингвистики» Соссюра был издан посмертно, когда Бодуэн уже он давно высказал все свои идеи. Там же. С. 43.

<sup>126</sup> «Язык это не нейтральная среда, которая легко и свободно переходит в интенциональную собственность говорящего, — он населен и перенаселен чужими интенциями». Бахтин М. М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. С. 106.

<sup>127</sup> Споры о месте МФЯ в творчестве Бахтина, как правило, эту преемственность не учитывают.

го — центростремительных сил языка; иначе говоря, наряду с центробежными силами, они тоже оказываются значимыми и принимаются во внимание. Более того, утверждается, что в культурном плане все общие концепции поэтического слова (или, иначе, «поэтики»<sup>128</sup>) в большей или меньшей степени связаны с процессами социальной централизации и языкового объединения. Аристотель, Августин, Декарт, Лейбниц — все они, каждый на свой лад, рассматривали поэтику как тенденцию к грамматическому универсализму (это особенно отчетливо видно у Гумбольдта, для которого концепция единого языка стала теоретическим основанием объединения Германии в единое государство). Эти процессы централизации предполагали победу господствующего языка и диалекта и вытеснение других, а также становление филологии как способа обучения мертвым языкам<sup>129</sup>.

«Слово в романе»<sup>130</sup> трактует язык прежде всего как социальный феномен, исторически становящийся, социально расслоенный, раздираемый в этом процессе своего становления. Иначе говоря, на первом плане здесь, как и в МФЯ, — социальность слова. Тем самым индивидуально-психологический подход фоссерианцев, которому уделялось много внимания в МФЯ, все четче предстает как недостаточный. Новым объектом полемики, хотя и скрытой, отныне становятся для Бахтина те концепции стилистики, которые не признают многоплановость слова, ставят во главу угла монологические формы, считая диалогические формы от них производными. Важнейшим представителем такого подхода был В. В. Виноградов, который признавал, наряду с национальным литературным языком, существование различных нелитературных элементов (просторечие, территориальные и социальные диалекты и др.). В противоположность Виноградову, Бахтин подчеркивает неоднородность *самого литературного языка*. Подчас в пылу этой скрытой полемики Бахтин явно перегибает палку: так, он дробит язык не только на социальные диалекты, групповые манеры, жанровые языки, профессиональные жаргоны, но и на языки поколений и возрастов, кружков и мимолетных мод, на языки дней и даже часов: «Все слова пахнут профессией, жанром, направлением, определенным произведением, определенным человеком, поколением, возрастом, днем и часом. Каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило своей социально напряженной жизнью»<sup>131</sup>. При этом, не называя здесь Ви-

<sup>128</sup> Само слово «поэтика» было для Бахтина нагружено отрицательными коннотациями, хотя, как известно, при переработке книги о Достоевском он ввел слово «поэтика» в заглавие второго издания.

<sup>129</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // *Он же. Вопросы литературы и эстетики*. С. 84.

<sup>130</sup> Далее — СР.

<sup>131</sup> Там же. С. 106.

ноградова открыто. Бахтин по любому поводу критикует систему «философии языка, лингвистики и стилистики», основанную на представлении о едином языке и говорящем на нем индивиде.

Одним из воплощений антитезы монологизм—диалогизм и их заменой становится для Бахтина концептуальная пара «поэзия—проза» (это не отдельная самостоятельная дихотомия, но одна среди других, в принципе взаимозаменяемых понятийных пар); она сыграла свою роль в трактовке важнейшего вопроса о жанрах речи и жанрах литературы. В СР вопрос о жанрах видится сквозь призму сопоставления слова в поэзии и слова в романе. Пожалуй, противопоставление поэта и прозаика здесь — лейтмотив, хотя приводимые доводы не развиваются, но лишь повторяются с вариациями в разных контекстах: как заклинание, как исповедь веры того, кто искренне убежден в своей правоте. А говорится при этом следующее. Поэт чужд разноречию, он выступает как лицо, которое берет на себя ответственность за каждое слово как за свое собственное. Поэзия сверхорганизована: наличие ритма втягивает каждый элемент стиха в единую акцентную систему, и эта повышенная организованность изначально «умерщвляет» в поэтическом слове все потенциально заложенные в нем социальные речевые миры, не даст им развернуться и материализоваться. Напротив, прозаик, по Бахтину, действует иначе: он бережет чужие слова<sup>132</sup> и чужие интенции. Прозаик видит в слове область борьбы слова с чужими словами, иначе говоря, сферу внутренней диалогичности, которая находит свое выражение в ряде особенностей семантики, синтаксиса и композиции. Диалогичность, по Бахтину, может проявляться и в установке на предмет, но ярче всего она проявляется в установке на ответ другого. Мы не можем избежать воздействия «предвосхищаемого ответного слова»<sup>133</sup>. Эта предвосхищаемая ответная реакция определенным образом участвует в формировании *слова*, она ощущается «как сопротивление или поддержка, обогащающее *слово*»<sup>134</sup>. Все

<sup>132</sup> Это могло бы быть контрдоводом в полемике с Гаспаровым: в самом деле, кто из них двоих бережнее относится к чужим словам? Правда, тут же возникнет вопрос: а что значит «беречь»?

<sup>133</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // *Он же*. Вопросы литературы и эстетики. С. 93. Обратим внимание на замены понятия «слово» понятием «дискурс» во французском переводе (подробнее об этом говорится в следующем параграфе): «Tout discours est dirigé sur une réponse, et ne peut échapper à l'influence profonde du discours-replique prévu» (Bakhtine M. Discours Romanesque // *Idem*. Esthétique et théorie du roman. Paris, 1978. P. 103).

<sup>134</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // *Он же*. Вопросы литературы и эстетики. С. 94. В переводе перед нами опять слово «дискурс»: La compréhension réciproque est une forcée capitale qui participe à la formation du discours: elle est active, perçue par le discours comme une résistance ou un soutien, comme un enrichissement (Bakhtine M. Discours Romanesque // *Idem*. Esthétique et théorie du roman. P. 103).

слова и высказывания населены человеческими интенциями, и при взаимодействии с другими словами и высказываниями они могут вести себя непредсказуемым образом: при этом «не все слова <...> легко поддаются этому присвоению, этому захвату в собственность (курсив мой. — Н.А.): многие упорно сопротивляются, другие так и остаются чужими <...>; они как бы сами, помимо воли говорящего, заключают себя в кавычки» (и это не что иное, как выпадение из контекста)<sup>135</sup>. Поэзия, по Бахтину, есть нечто принципиально иное. Она не подходит для полифонии, разноречие в поэзии если и возможно, то лишь в весьма ограниченном виде. Поэтому Бахтин называет поэтический мир «птолемеевским» — замкнутым в себе и не имеющим потребности в другом. Мечта о создании искусственного языка (как у Хлебникова), с точки зрения Бахтина, не размыкает этот мир, но лишь подтверждает его границы<sup>136</sup>. Идея разноречивого множества миров не доступна поэтическим жанрам. Напротив, проза, утверждает Бахтин, передает чужие языки средствами собственного языка. Если в стихе элементы разноречия могут появиться лишь как предметы изображения, но не как собственно чужие точки зрения, то прозаик, считает Бахтин, воистину умеет измерять свой собственный мир «чужими языковыми масштабами»<sup>137</sup>.

Вчитываясь в текст, мы все яснее видим тот сопоставительный механизм, о котором уже говорилось выше. А именно: Бахтин трактует «прозу» и «поэзию» (а если взять не только жанры, но и сферы владения этих жанров, то «прозаику»<sup>138</sup> и «поэтику») неравновесно и неравноправно. А именно: роман он рассматривает на пределе неустойчивости, можно даже сказать, взвинченности, а поэзию, напротив, — на пределе устойчивости, успокоенности; ее образ дается нам на уровне итогов, когда «муки творчества» остаются позади, а язык из проводника материальной и смысловой энергии превращается в «послушный орган». Однако возни-

<sup>135</sup> Бахтин М. М. Слово в романе. С. 106—107. А в переводе опять-таки подмена «слова» «дискурсом» *Tous les discours ne se prêtent pas avec la même facilité à cette usurpation, cette appropriation*. См.: *Bakhtine M. Discours Romanesque*. P. 115.

<sup>136</sup> Таким образом, если для Якобсона Хлебников был примером открытия новых миров, то для Бахтина он оказывается примером существования в замкнутом мире, даже если этот мир разомкнут к утопии универсального языка. Как уже говорилось, Хлебников реально включал в свои стихи примеры заговоров, предоставленные ему Якобсоном, который в свою очередь раздобыл их в ходе совместной с Богатыревым фольклорной экспедиции, и это был, конечно же, яркий пример включения чужого слова, особым образом организованного, в собственный «поэтический мир».

<sup>137</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // *Он же*. Вопросы литературы и эстетики. С. 100.

<sup>138</sup> Термин «прозаика» ввели и активно использовали в изучении Бахтина Г. Морсон и К. Эмерсон: *Morson G., Emerson C. Mikhail Bakhtin: Creation of Prosaics*. Stanford, 1990.

кает вопрос: разве в других видах духовной работы процесс и результат не предстают перед нами сходным образом? Разве в других формах творчества (причем как в прозе, так и в поэзии) процесс и результат не живут по разным законам? А если с этим согласиться, то окажется, что между «романом» и «поэмой» нет той несоизмеримости, которую им приписывает Бахтин, рассматривая их в диаметрально различной оптике<sup>139</sup>.

Подтверждение этой гипотезы в СР есть. В предыдущем параграфе, забегаая вперед, я уже упомянула об этом. Так, по словам самого Бахтина, рассуждая о поэзии, он характеризует ее не просто в статике или на уровне результата: он берет и рассматривает ее на некоем «идейном пределе»<sup>140</sup>.

«Мы все время характеризуем, конечно, *идейный предел* поэтических жанров; в действительных произведениях возможны существенные прозаизмы, существуют многочисленные гибридные разновидности жанров, особенно распространенные в эпохи смен литературных поэтических языков». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>141</sup>

Однако напомним: это глубокое замечание звучит, кажется, всего лишь раз, да и то в постраничном примечании. А оно заслуживает более почетного места, так как проливает дополнительный свет на другие проблемы бахтинской концепции, не говоря уже о проблеме романного жанра как стержня его теории литературы.

Итак, речь идет не о реальности, а об «идейном», или, можно было бы сказать, об «идеальном пределе» поэтических жанров. Это означает, что поэзия, постоянно выступающая как антагонист прозы вообще и романа в частности, рассматривается не как таковая, но в особом своем состоянии — как *успокоившаяся крайность*. Другое дело, что Бахтин, видимо, считает это особое состояние ее сущностной характеристикой. Однако односторонность такого рассмотрения — факт. Если бы мы располагали единой шкалой, тогда на другом, динамическом ее полюсе как раз и оказалась бы романная проза. Именно на своем статичном пределе поэтический язык и становится таким, каким его видит и критикует Бахтин: «авторитар-

<sup>139</sup> Наверное, творческие процессы все же в том и ином случае по-разному опираются на культурный опыт; кажется, что роман может написать любой человек или что каждый проживает свою жизнь как роман, тогда как написать стихотворение без подготовки способен далеко не каждый. И это может подтолкнуть к тому, чтобы считать роман, как это делал Бахтин, жизненно реальным жанром, а поэзию — не только монологическим, но и, по сути, элитарным занятием.

<sup>140</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // *Он же*. Вопросы литературы и эстетики. С. 100.

<sup>141</sup> Там же.



ным, догматичным и консервативным, замыкающимся от влияния внелитературных социальных диалектов»<sup>142</sup>. В других своих состояниях — в процессе создания, в кипении мысли, в хаосе перечеркиваемых черновиков, в борьбе с чужим словом — поэзия совершенно иная, и в этом на романную стихию очень даже похожая<sup>143</sup>.

Еще раз: поэзия — это идеальный предел застывшего совершенства обязывающей формы, а роман — это место погружения в реальность, слитый с нею способ ее проживания. Наверное, более осмысленным могло бы быть представление (с которым Бахтин вряд ли согласился бы), что и поэзия и проза, поэма и роман — могут иметь два идейных (или идеальных) предела — статический и динамический. Становящийся жанр (любой!) — динамичен, установившийся жанр (любой!) застывает и подвергается канонизации. Или можно сказать иначе: творчество в любом жанре — динамично, а результат его статичен (фактически именно об этом идет речь в уже упоминавшихся трактовках бахтинского романа у Окутюрье и Гаспарова).

По той или иной причине Бахтин, по-видимому, боялся поэтического языка — «языка богов»<sup>144</sup>; ему хотелось обезвредить его, подчинить своей воле. Вместе с тем, быть может, предельная динамизация романной прозы была для него воплощением, реальным (на самом деле — идеальным) эквивалентом той социальной динамики, которую ему очень хотелось обнаружить, и одновременно — ее исторической «материализацией». Однако такое противопоставление поэзии (как «идейного предела», заорганизованной формы) и прозы (как «самой жизни») встречает препятствие и в самом бахтинском рассуждении. По сути, не только поэт, но и прозаик вовсе не растворяются во взаимодействиях чужих слов и высказываний, но блюдут свои командные позиции, позволяю-

<sup>142</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // Он же. Вопросы литературы и эстетики. С. 100.

<sup>143</sup> Мысль об идейных пределах встречается далее у Бахтина в других методологически существенных смысловых контекстах: Ср.: Бахтин М. М. Разрозненные листы // Он же. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. С. 432: два предела (мысли и практики): Вещь и личность. Там же: «Наша мысль и наша практика, не техническая, а моральная (т.е. наши ответственные поступки) совершаются между двумя пределами: отношениями к вещи и отношениями к личности. Овеществление и персонификация». При этом, заметим (см. с. 433) овеществление не есть отчуждение: «Два предела мышления; применение принципа дополнительности». И в этом можно видеть отголосок признания «равноправности» существования языка и речи, влияние изменений во взглядах на язык, на некоторые моменты общего склада идей.

<sup>144</sup> Напомню то, о чем мы уже говорили: «поэзия не менее (если не более) умело играет «чужим словом», чем роман: Бахтин был против поэзии не поэтому, а потому, что поэзия — «язык богов», раздражающий человека новой культуры, и потому, что она — язык «авторитарный», парализующий собственное читательское творчество». Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века. С. 495.

шие управлять игрой судеб и игрой высказываний. Когда Бахтин говорит нам, например, о том, что прозаик, романист располагает слова и формы на разных расстояниях от «последнего смыслового ядра своего произведения, от своего собственного интенционального центра»<sup>145</sup> (курсив мой. — Н. А.), то, конечно же, он говорит вовсе не о «реальной жизни», но об определенной конструкции. Она соотнесена с «интенциональным центром» творца и «смысловым ядром» произведения и в чем-то сходна с выверенными феноменологическими построениями. Выходит, что не только поэзия подчинена воле творца, но и романная проза подразумевает центр и организуется вокруг «последнего смыслового ядра». Эта фраза звучит так, будто Бахтин только что прочитал знаменитую статью Деррида «Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук»<sup>146</sup>, низлагающую позиции любой центральной инстанции, и принялся ее опровергать, утверждая, что центр, напротив, навсегда сохраняет свои позиции<sup>147</sup>. И такой роман, конечно, мало похож на многоголосый, бурно текущий роман-жизнь, которым виделся Бахтину роман о Рабле. Но до «Рабле» в его книжном воплощении пока еще далеко.

Итак, в бахтинской трактовке поэзии речь идет, по сути, о теоретическом конструкте, доводящем до предела некоторые свойства предмета, но никак не об эмпирической истории литературы. Фактически, в своих рассуждениях Бахтин преувеличил свои интуиции до теоретической гиперболы, которая не подтверждалась (и, заметим, не могла подтверждаться) никакими эмпирическими примерами, но зато опровергалась многими. Так что дело тут не только в поэзии. Таким же теоретическим конструктом, я полагаю, было и понятие мениппеи как особого серьезно-смехового жанра, который должен был иллюстрировать, в противоположность поэзии, специфический статус романских дискурсов и их разноречивое функционирование.

Интересно, что в 1950—1960-е годы в лингвистических взглядах Бахтина происходят дальнейшие сдвиги<sup>148</sup>. Большинство работ, над которыми Бахтин трудился между 1951 и 1961 годами,

<sup>145</sup> Бахтин М. М. Слово в романе. С. 111. Сравним с французским переводом: «il dispose tous ces discours (по-русски, разумеется, «слова»), toutes ces formes à différentes distances du noyau sémantique ultime de son œuvre, du centre de ses intentions personnelles». Bakhtine M. Discours Romanesque. P. 119.

<sup>146</sup> Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Он же. Письмо и различие. СПб., 2000. С. 352—368.

<sup>147</sup> Но все это уже делает подкоп под некоторые излюбленные сопоставления западных критиков. Ср.: Холквист М. Услышанная неслышимость: Бахтин и Деррида // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2005. С. 88—108.

<sup>148</sup> Для тех, кто полностью отрицает участие Бахтина в МФЯ, это звено рассуждений отпадает.

всецело посвящены лингвистическим (а не литературоведческим и не философским) проблемам. Почти все они остались черновыми, незаконченными набросками. Однако их рассмотрение и смысловая реконструкция дают новый взгляд на старые сюжеты. С этим не все согласятся. Так, Гоготишвили, Брандист, Эмерсон и другие считают, что взгляды Бахтина, единожды выработанные, не претерпели никакой существенной эволюции. Однако вопрос все равно остается: почему, после испепеляющей критики языка как абстракции в 1920-е годы, в 1950-е годы Бахтин переводит свои взгляды на язык понятий, более близких Соссюру — по крайней мере, в вопросе о языке и о соотношении языка и речи? Этот вопрос весомо ставит В. Алпатов, и он в известном смысле так и остается открытым. Как уже отмечалось, позиция МФЯ отличалась непримиримостью как к самой идее языка, так и к дихотомии язык—речь. Однако публикация архивных материалов показывает, что его трактовка этой дихотомии со временем смягчилась. Трудно даже сказать, куда привел бы этот процесс, если бы пристальные занятия Бахтина лингвистическими проблемами в 1950-е годы не были прерваны в начале 1960-х годов в связи с возобновлением его интенсивной работы над вторым изданием «Достоевского» и изданием «Рабле».

В частности, по архивным документам известно о решении, принятом 26 июня 1951 года Ученым Советом Мордовского педагогического института, относительно того, что Бахтину как заведующему кафедрой предписано сделать теоретический доклад (фактически по своей тематике, но в свете работы Сталина) под названием: «Проблемы диалогической речи на основе учения И. В. Сталина о языке как средстве общения»<sup>149</sup>. У нас нет сведений о том, был ли сделан этот доклад, однако в архивах имеется текст «Диалог»<sup>150</sup>, который и Алпатов и Гоготишвили считают планом-конспектом при подготовке к этому докладу; по-

<sup>149</sup> Все эти обстоятельства излагаются и в книге Алпатова и в комментариях Гоготишвили к изданию работ Бахтина 1940–1960 годов в пятом томе Собрания сочинений. Отметим, что и сталинская работа «Марксизм и вопросы языкознания» включала в себя целый ряд вполне здравых соображений: сталинская концепция языка исходила из языка как нормативной системы, которая не совпадает с речевым общением людей, но связана с этим общением. Брошюра готовилась в консультациях вождя с известными лингвистами того времени. В любом случае эта работа была вполне осмысленной, так что речь идет не об интеллектуальном авторитете отца народов, но об определенном концептуальном смещении, сдвиге. Позиция, выраженная в брошюре Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1950), была в известном смысле «полезной» (по крайней мере, она успокаивала яростные споры вокруг учения Марра) и здоровой, а по своей смысловой структуре она была в ряде аспектов близка к АО.

<sup>150</sup> Диалог // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 207–209.

видимому, это был вполне разумный компромисс между собственными интересами и заданием сверху. Этот текст — попытка связать важную для автора концепцию высказывания с восходящим к Соссюру противопоставлением языка и речи. Эти подтексты «диалога» нужно постоянно иметь в виду при чтении бахтинских текстов этого времени. Так, если он говорит, например, «борьба и общение», то в этом нужно видеть аллюзию на сталинскую брошюру, где речь идет о языке как орудии общения и орудии борьбы. Значит, для Бахтина это свои-чужие слова. Конечно, в любом случае мы должны учитывать весь спектр возможных источников и расшифровок и соответственно — всю палитру возможных пониманий.

Здесь же возникает новая для Бахтина пара понятий — «язык и речь», между которыми устанавливаются отношения, очень похожие на соссюровские. (Так, в тексте под заглавием «Диалог» дается набросок соотношения языка и речи, где уже нет былого исключения или принижения языка: «Язык и речь. Речь — реализация языка в конкретном высказывании»<sup>151</sup>; «Речь подчиняется всем законам языка, в ней мы находим все его формы (словарный состав, грамматический строй, фонетику)»<sup>152</sup>; «Застывание монологических жанров, их так сказать, отрыв от народа»<sup>153</sup>; «Формы речи нельзя отрывать от форм языка»<sup>154</sup>). Завершающая мысль такова: изучение диалога позволяет лучше и глубже осветить многие явления языка, раскрыть природу языка «как средства общения и орудия борьбы»<sup>155</sup>. Те же тенденции видны и в тексте «Проблема речевых жанров»<sup>156</sup>. При изучении высказываний трудно отвлечься от их компонентов — слов и предложений, уже описанных с той или иной степенью четкости. Вывод таков: при рассмотрении конкретного материала без учета языка как системы обойтись невозможно. Это лишний раз убеждает в том, что позиции былого максимализма МФЯ оказались непродуктивно утопичными: во всяком случае, это подтверждает, что науку о языке и речи нужно было не строить заново, но развивать и дополнять ее, устраняя пробелы в аргументации. Здесь Бахтин трактует речь иногда как высказывание,

<sup>151</sup> Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 207.

<sup>152</sup> Там же. С. 207.

<sup>153</sup> Там же. С. 208.

<sup>154</sup> Там же. С. 209.

<sup>155</sup> Л. А. Гоготшвили напоминает нам, что это — отсылка к сталинской формулировке «...язык, будучи орудием общения, является вместе с тем и орудием борьбы и развития общества». (Курсив мой. — Н.А.) См.: Гоготшвили Л. А. Комментарии // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 561.

<sup>156</sup> См. об этом: Sériot P. Généraliser l'unique: genres, types et sphères chez Bakhtine // LINX. 2006. № 5. (La linguistique des genres.)

иногда как часть речевого общения<sup>157</sup>; в любом случае (в отличие от Соссюра) он подчеркивает не индивидуальный, но социальный характер речи. Тем самым меняется смысл понятия высказывания, которое в МФЯ подчас было расплывчатым синонимом «слова», а в «Проблеме речевых жанров» приобретает более четкий смысл.

Среди важнейших работ бахтинского лингвистического цикла находится и текст «Язык и речь»<sup>158</sup>, где вновь подчеркнута значимость проблемы языка и речи в их взаимосвязи; больше того, говорится даже, что проблема соотношения языка и речи определяет суть любой лингвистической концепции. При этом язык понимается в духе Соссюра, а речь рассматривается детальнее, чем у Соссюра: она трактуется в аспекте речевого общения, как создание речевых произведений<sup>159</sup>. Рассматривается также вопрос о появлении контекстуальных значений в результате перехода потенциального (языкового) значения в актуальные: как отмечает Алпатов, этот вопрос ранее ставил Шарль Балли, представитель отвергнутого АО<sup>160</sup>. В сфере языка единицы бесконечно воспроизводимы, а в сфере речи — индивидуальны и неповторимы, однако есть повторяемые элементы и в речи: они принадлежат жанровой форме высказывания, которая рассматривалась в «Проблеме речевых жанров» (1953—54). Можно ли считать это уходом в чужой язык, где нет прямого бахтинского слова? Думаю, что этот вопрос не решается столь однозначно, как это получается у Гоготшвили, и уж в любом случае трудно согласиться с тем, что концептуальная пара «базис и надстройка» и концептуальная пара «язык и речь» для Бахтина равноценны и равно чужды автору как внешние рамки рассуждения.

Этот своеобразный «лингвистический поворот» в концепции Бахтина, завершившийся в начале 1960-х годов его возвращением к литературоведческим и философским сюжетам, многое дает нам для понимания его мысли. Выступая против структурализма в тот момент, когда структурализм был на подъеме и имел впереди

<sup>157</sup> Не исключено, что сам термин «речевое общение» был заимствован из работы Л. Якубинского. Об этом см.: *Ivanova I. Spécificités de l'étude du dialogue dans la linguistique russe // Histoire. Epistémologie. Langage. 2000. Vol. XII. Fasc. 1. P. 117—130; Bertau M.-C. Le vécu de la langue dans la forme et la voix. Une approche avec Jakoubinski et Volochinov // Slavica Occitania. 2007. № 25. P. 417—436. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe.)*

<sup>158</sup> По каким-то причинам не вошел в 5 том. Датирован декабрем 1957 года — началом 1958. Издан в «Диалог. Карнавал. Хронотоп» (при участии Алпатова): 2001. № 1. С. 23, 25—27.

<sup>159</sup> См. *Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. С. 334.*

<sup>160</sup> У Бахтина этот вопрос рассматривается несколько иначе: совсем неактуализированных значений не бывает, но бывают разные степени актуализированности в контекстах разной степени обобщенности. При этом степень актуализации соответствует степени диалогизации.

все шансы для долгой и продуктивной эволюции, Бахтин (точнее Б/В) шел, так сказать, не в ногу с прогрессом. Когда определенный этап эволюции завершился и точки зрения на научные предметы изменились, бахтинская критика ряда структуралистских абстракций парадоксальным образом оказалась «впереди планеты всей». Тем самым Бахтин оказался «на одной волне» с некоторыми тезисами постструктуралистских (и даже постмодернистских) программ, хотя его собственные трактовки этих вопросов были иными. Кроме того, Бахтин оказался предтечей того поворота, который вывел на первый план вопросы высказывания, коммуникации и тем самым отдал дань, хотя бы косвенно, лингвистической проблематике, которая разрабатывалась его противниками — структуралистами.

В качестве итога этого краткого рассмотрения языковой проблематики рискую высказать гипотезу, которую смогут проверить только специалисты. Мне кажется, что динамика разных линий бахтинского творчества была различна, хотя это проявляется подчас в нюансах, а не в тектонических сдвигах. По рассмотренной здесь вкратце линии «взглядов на язык» мы можем судить о моментах динамики, которая подкрепилась в его дальнейших философских размышлениях и набросках 1960—1970-х годов. В них полюс спокойствия, стабильности, каноничности уравновешен (и фактически приобретает равные права) с полюсом динамики и хаоса. Например, когда Бахтин сопоставляет персонификацию и овеществление в подходе к человеческим явлениям, он явно предпочитает «персонификацию», однако уточняет: овеществление не значит отчуждение: овеществление следует понимать, учитывая принцип дополнительности между ним и персонификацией.

Что же касается литературоведческих аспектов этой эволюции, то в ней, напротив, произошло нечто иное: не концептуальное успокоение, но динамизация — это произошло в тот кульминационный момент, когда хаос комический вторгся в хаос трагический, когда идея карнавала и мениппеи вторглась в область диалога и заняла в ней свое место. Постараемся учесть эту разновременность динамики на разных уровнях концепции, это может пригодиться нам в дальнейшем. А пока очевидно одно: нам как воздух не хватает таких собеседников-специалистов, как Алпатов, Гогтишвили, по раблезианской проблематике — Попова. Читать их комментарии параллельно с текстами, в том числе архивными, — одно удовольствие. Вот если бы удалось объединить силы одновременно работающих литературоведов, философов, лингвистов, историков, вдохновить их общим замыслом, совместно составить каталоги «чужих языков», проследить за тем, как они вводятся в

текст, как к ним относится автор, то мы давно бы уже продвинулись в понимании архитектоники бахтинской концепции.

Как известно, Бахтин считал чужое слово «специфическим предметом исследований в гуманитарных науках». Чужое слово для нас — «первично данное»: оно вездесуще и всепроникающе. В отличие от однозначных объектных слов, направленных на предмет, чужое слово — двуголосое: в литературе оно запечатлевается в виде стилизаций и пародий. Чужое слово может быть действительным или же тем, что нами предвосхищается, когда мы думаем о том, что говорят о нас другие люди. В любом случае, согласно Бахтину, только диалогическое (соучастное) мышление умеет видеть в чужом слове другую точку зрения. Место чужого слова неоднозначно: это могут быть и слова автора о герое, и слова героя за пределами авторского кругозора. В записях 1960—1970-х годов Бахтин утверждает, что виды, формы и степени чужести чужого слова призвана изучать пока еще несуществующая дисциплина — металингвистика.

Мы видим: это — новая научная проблематика. Если считать диалогом не утопически равноправное и взаимоуважительное общение реальных людей или романских персонажей (это предмет философской этики, но сейчас я говорю не о ней), но разнообразные попытки ввести в наше высказывание чужую речь, чужое слово, то мы вынуждены будем признать, что эта проблематика до сих пор еще очень мало разработана, несмотря на многие усилия и немалые достижения. Это требует проработки соотношений между языковыми формами и их реализациями в высказываниях на уровне, опережающем нынешнее время, там, где пока зияет пробел — между философией и нашим знанием о языке.

### **§ 3. О переводе: расщепление «слова» и кристаллизация «дискурса»**

Проблема перевода важна применительно к творчеству Бахтина сразу во многих смыслах. Переводами в широком смысле слова фактически оказывались различные сдвинутые (относительно времени создания) рецепции его творчества. Прежде всего, напомним очевидное: идеального перевода какого бы то ни было текста для всех времен и всех читателей быть не может. Перевод — это область непрестанного, никогда не завершающегося труда, который всех нас приучает к смирению и осознанию конечности любого усилия. Поэтому желание разобраться с теми сложностями, кото-

рые возникли при восприятии переводов, сделанных во Франции в 1970-е годы, не имеет целью опорочить чужую работу: оно вызвано необходимостью заново проанализировать тексты, по которым французские читатели и поныне постигают мысль Бахтина.

«Обратными переводами» были попытки соотнести контексты, преодолеть разрывы между ними — как в России, так и за рубежом. Интересным случаем рецепции, напрямую зависящей от перевода в собственном смысле слова — перевода с языка на язык — стала французская рецепция Бахтина. Здесь я сосредоточусь на том фрагменте наследия, который так или иначе связан с проблемой языка и его существования в социуме; это, прежде всего, «Слово в романе»<sup>161</sup> (сокращенно, напомним, — СР) и отчасти «Марксизм и философия языка» (сокращенно, напомним, — МФЯ); между этими работами, при всем различии подходов, немало тематических перекличек и пересечений. В МФЯ делается попытка осветить проблемы «социологического метода в науке о языке»; в СР — попытка приложить эти идеи к материалу того, что традиционно считалось литературоведческим исследованием, в частности, к вопросу о жанре вообще и о романе, в частности. Так как любой перевод отклоняется от оригинала в связи с различием языков подлинника и перевода (на уровне морфологии, синтаксиса, семантики), меня здесь будут интересовать не эти обязательные различия и не окказиональные разночтения, но прежде всего — те случаи, которые так или иначе обусловлены идейным контекстом восприятия произведения в чужой культуре<sup>162</sup>.

Напомним, что между русским и французским языками есть большие различия в использовании терминов, относящихся к языку. Прежде всего, огромные сложности при переводе возникают из-за того, что в русском языке эта область имеет два главных термина (язык и речь), а во французском три (*langue, langage*

<sup>161</sup> *Bakhtine M. Discours Romanesque // Idem. Esthétique et théorie du roman. Paris, 1978.*

<sup>162</sup> Я буду опираться здесь на мой собственный сопоставительный анализ оригинала «Слова в романе» с переводом («Discours romanesque»); он делался при подготовке к занятиям с моими французскими студентами. В том, что касается МФЯ, я буду опираться также на исследование одной из моих швейцарских студенток — Дельфин Юлер. Мы с нею индивидуально занимались проблемами перевода и рецепции Бахтина, и эти занятия, думаю, были полезны для нас обеих как носительниц разных языковых и культурных традиций. Она защитила в Лозаннском университете под руководством Патрика Серно диплом под заглавием «Рецепция во Франции творчества Бахтина/Волошинова» («Réception en France de l'œuvre de Bakhtine/Volochinov «Marxisme et la théorie du langage», 2001). Отмечу также, что Учебно-исследовательский центр по истории лингвистики и сравнительной эпистемологии Лозаннского университета под руководством Патрика Серно (CRECLECO) подготовил к изданию новый перевод МФЯ на французский язык. В данном тексте материалом для работы были французские переводы, сделанные Дарьей Оливье (СР) и Мариной Ягелло (МФЯ).



и parole). Термин *langage*, который обозначает наиболее общие параметры языковой деятельности, обычно передается в русских словарях, как «речь, язык». Однако опора на «речь» как первичную единицу перевода нередко искажает смысл передаваемого, в частности, потому, что приводит к психологизации и, так сказать, «индивидуализации» понятия. Все эти сложности многократно усиливаются в случае перевода терминологии Соссюра, где и *langue*, и *langage* несут особую смысловую нагрузку: первый обозначает не реальные языки, а язык как абстрактную систему отношений, а второе — связку и переход между абстрактной системой и ее индивидуальными реализациями в речи. Не случайно перевод Соссюра был и остается неким камнем преткновения для русских переводчиков. В МФЯ соссюровская концепция была для Б/В предметом яростной критики, а собственные представления о языке строились во многом на концептуальном исключении одних терминов (*langue* в соссюровском смысле) и переосмыслении других (*parole*, *langage*); в дальнейшем, как отмечалось в предыдущей главе, это критическое отношение к попяттию «язык» и к соссюровской дихотомии «язык—речь» у Бахтина смягчается. В МФЯ (книга, напомним, вышла в 1929 году, когда русского перевода «Курса общей лингвистики» еще не существовало) соссюровская терминология (*langage* — *langue* — *parole*) переводилась соответственно как речь (иногда язык-речь) — язык — высказывание. Система терминов, предложенная авторами МФЯ, не получила в русском концептуальном языке распространения. В дальнейшем Бахтин в основном сохранял ее, хотя и небезоговорочно. В частности, соссюровское понятие *parole* он иногда передавал как «индивидуальная речь» (но не высказывание), а в работах 1950-х годов иногда вводил термин «речевое общение»<sup>163</sup>.

В целом о переводах Бахтина на европейские языки иногда говорилось, что систематичность понятий оригинала в них теряется, а основные значимые единицы раздробляются<sup>164</sup>. Примеров этого немало: хотя бы та же самая лексическая единица «слово». Так, «слово» может передаваться по-французски несколькими различными способами: наряду с *mot*, это *discours*, *verbe*, *parole*.

<sup>163</sup> В 1933 году вышел перевод Сухотина под редакцией Р. Шор, где предлагалась следующая терминология: речевая деятельность — язык — речь. В последующих изданиях Соссюра эти термины сохранялись, только в переводе под редакцией Н. А. Слюсаревой «речевая деятельность» заменена «языковой деятельностью» (см.: *Слюсарева Н. А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики*. М., 1975).

<sup>164</sup> Zhinden K. Translating Bakhtin and Missing Heteroglossia // *Dialogism*. Issue 2. Sheffield, 1999. Исследовательница отмечает размытость перевода тех или иных слов и терминов русского языка как в английском, так и во французском вариантах, причем одним из таких каверзных терминов оказывается именно «слово».

Вот один из примеров перевода «слова» как *discours*:

— «Форма и содержание едины в *слове*, понятом как социальное явление, социальное во всех сферах его жизни и во всех его моментах — от звукового образа до отвлеченнейших смысловых пластов». (Курсив здесь и везде далее в цитатах мой. — Н. А.)<sup>165</sup>.

— «Le forme et le contenu ne font qu'un dans le *discours* compris comme phénomène social: il est social dans toutes les sphères de son existence et dans tous ses éléments, depuis l'image auditive, jusqu'aux stratifications sémantiques les plus abstraits»<sup>166</sup>.

Но возможны и другие эквиваленты «слова» (*verbe, parole*), даже с чередованием эквивалентов внутри одной фразы:

— «Стилистика имеет дело не с живым *словом*, а с его гистологическим препаратом, с абстрактным *словом*, лингвистическим *словом*<sup>167</sup> на службе у индивидуального художника»<sup>168</sup>.

— «La stylistique a affaire non à la *parole* vivante, mais à sa coupe histologique, à un *verbe* linguistique abstrait au service de la maîtrise d'un artiste»<sup>169</sup>.

В этом примере фраза Бахтина в оригинале держится внутренним противопоставлением между «живым» и «абстрактным» словом — словом социального общения и словом из лаборатории, «умерщвленным», разъятым, «абстрактным». В переводе происходит расщепление «слова» на *verbe* (с акцентом на более возвышенном, поэтическом значении «слова») и *parole* (с акцентом на говорении, «живой речи»). По-французски *verbe linguistique* звучит довольно странно, тогда как в оригинале ситуация вполне ясная: «лингвистическое слово» — это слово как оно понимается в

<sup>165</sup> Бахтин М. М. Слово в романе // Он же. Вопросы литературы и эстетики. С. 72.

<sup>166</sup> Bakhtine M. Discours Romanesque. P. 85.

<sup>167</sup> В принципе лексические повторы во французском языке считаются стилистически нежелательными или даже недопустимыми. Но иногда такие повторы прекрасно передаются. Так, фраза «роман как целое — это *многостильное, разноречивое, разнотолосое явление*» (Бахтин М. М. Слово в романе. С. 75) во французском переводе даже усилена тройным повтором начального элемента: «Le roman pris comme un tout, c'est un phénomène *pluristylistique, plurilingual, plurivocal*» (курсив мой. — Н. А.); Bakhtine M. Discours Romanesque. P. 87). Проблема понятий разноречия и разнотолосности рассматривается, в частности, в статье: Zhinden K. Mikhaïl Bakhtine et le formalisme russe: une reconsidération de la théorie du discours romanescque // Cahiers de l'ILSL. № 14. 2003. P. 339—353. (Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne: épistémologie, philosophie, idéologie.)

<sup>168</sup> Бахтин М. М. Слово в романе. С. 73.

<sup>169</sup> Bakhtine M. Discours Romanesque. P. 86.

критикуемой Бахтиным лингвистике. В переводе лучше было бы использовать слово «mot».

Этот и многие другие случаи подтверждают мысль о распадении цельных и опорных смысловых единиц оригинала в переводах. Однако одновременно с этим идет параллельный процесс кристаллизации новых смысловых единиц, причем самой важной среди них оказывается понятие *discours*, которое укрепляется как раз в этом семантическом поле перевода. Вокруг него строится иной, нежели в оригинале, концептуальный мир, возникает система иных предпочтений.

Во Франции *discours* фактически полностью вытеснил слово «теория» в ряде важных контекстов (так что выражение «французская теория» совсем не французское и во Франции появиться никак не могло: оно и появилось в США, и уже оттуда распространилось по миру). В целом парадокс в том, что нынешний современный *discours* есть то, что нелогично, недискурсивно (т. е. не является логико-лингвистической разверткой мысли). Однако этот поворот, закончившийся понятийным переворотом, не получает того внимания, которого он безусловно требует<sup>170</sup>. В конечном счете, особенно значимые последствия для оригинала возникают вследствие злоупотребления французскими переводчиками словом *discours*, которое в начале 1970-х годов только-только начинало входить во Франции в новую интеллектуальную моду, заменяя «теорию» «язык», «стиль» и многие другие привычные понятия. Той областью, где понятие реально работало, а не просто звучало новыми обертонами, было пространство пересечений между лингвистикой, психоанализом и марксистской теорией идеологий в ее алтьюссеровском варианте<sup>171</sup>. Однако, несмотря на все эти концептуальные возгонки, французское слово *discours* менее «понятийно», чем русское «дискурс»: оно всегда сохраняет ассоциативную смысловую связь с такими общеупотребительными случаями, как *tenir un discours* («держать речь») и др.

В целом ряде случаев приходится сожалеть о том, что переводчик не передает «слово» как «mot»: ср. «концептирование *словом* своего предмета»<sup>172</sup>. На французском: «la conceptualisation de l'objet au moyen du discours...»<sup>173</sup>. Здесь явно дело идет не о речи и не о

<sup>170</sup> Процесс перехода Фуко от дискурсии к дискурсу в период между «Словами и вещами» и «Порядком дискурса» рассмотрен в книге: Автономова Н. С. *Познание и перевод*. С. 377–385.

<sup>171</sup> См.: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Общ. ред. П. Серио. М., 1999.

<sup>172</sup> Бахтин М. М. Слово в романе. С. 90.

<sup>173</sup> Bakhtine M. *Discours Romanesque*. P. 100.

дискурсе, но о единичном слово-понятии, то есть, о схватывании словом предмета.

В другом ряде случаев неуместным представляется употребление слова *discours* в тех случаях, когда «слово» у Бахтина предполагает нечто цельное, единое и почти персонифицированное:

— «Слово живет вне себя, в своей живой направленности на предмет; если мы до конца отвлечемся от этой направленности, то у нас в руках останется *обнаженный труп слова*, по которому мы ничего не сможем узнать ни о социальном положении, ни о жизненной судьбе данного слова»<sup>174</sup>.

— «*Le discours vit toujours en dehors de lui-même, dans une fixation vivante sur son objet. Si nous nous écartions complètement de cette fixation, nous n'aurions plus sur les bras que le cadavre nu du discours, qui ne nous apprendrait rien sur sa position sociale, ni sur ses destins*»<sup>175</sup>. («Труп дискурса» — это, конечно, неадекватный перевод для словосочетания «труп слова»: слово тут присутствует в почти «персонифицированном» виде.)

В целом задача Бахтина в СР — выявить область чужого слова и попытаться обнаружить такие средства, которые могли бы справиться с этим «художественно организованным социальным разноречием». Традиционная стилистика, считает Бахтин, с этим не справляется: она не умеет работать с множеством языков и стилей (она «транспонирует оркестровую тему на рояль»), так как способна учесть лишь один единственный язык. Однако не только традиционная стилистика, но и традиционная философия языка, и лингвистика знают только один, «свой» собственный язык и соответственно те формы его реализации, которые Бахтин называет монологическими высказываниями. Иначе говоря, все эти дисциплины имеют два полюса — систему единого языка, с одной стороны, и говорящего на этом языке индивида, с другой<sup>176</sup>: им не доступна «языковая диалогичность, обусловленная борьбой социально-языковых точек зрения»<sup>177</sup>. Бахтин считает, что традиционные линг-

<sup>174</sup> Бахтин М. М. Слово в романе. С. 105.

<sup>175</sup> Bakhtine M. Discours Romanesque. P. 113.

<sup>176</sup> Бахтин М. М. Слово в романе. С. 83.

<sup>177</sup> На первый взгляд, кажется, что французский перевод точен: “points de vue socio-linguistiques”. См.: Bakhtine M. Discours Romanesque. P. 97. Однако французское прилагательное socio-linguistique имеет несколько модернизирующий оттенок, так как подразумевает уже существующую дисциплину — социолингвистику, а бахтинское выражение «социально-языковые точки зрения» относится к идеологически конфликтному существованию языка в обществе, независимо от существования научной дисциплины: ее еще нужно создать.

вистика и стилистика глухи к диалогу именно из-за этой своей установки на единство, которая заведомо исключает из рассмотрения особую работу «языка и слова» (по-французски *langage et parole*), отразившуюся в стилизациях, пародиях, непрямом говорении, в разных формах разноречия. То, что фактически фигурирует в традиционной стилистике и против чего выступает Бахтин, называется (в СР) «ничье слово»<sup>178</sup>. В жизненной среде, которую и призвана учесть новая дисциплина, «ничьих слов» не существует: слово включается «в диалогически взволнованную среду чужих слов» с их оценочностью, с их акцентами, с их интенциями. Эту новую дисциплину, которую он стремится построить, Бахтин позднее, при переработке своей книги о Достоевском, назовет металингвистикой. На французский язык это понятие было переведено как «транслингвистика»: им пользовались и Тодоров, и Кристева. Этот термин не был удачным, так как он означает «за», «по ту сторону» лингвистики<sup>179</sup>, а в бахтинском исследовании жизнь высказывания в социальной среде не имеет этого оттенка потусторонности; другое дело, откуда сам Бахтин взял термин «металингвистика», для него нехарактерный? Тодоров приветствовал термин и понятие транслингвистики как новой лингвистики, предметом которой становится высказывание в процессе его производства. Тем самым в результате различных интерпретационных сдвигов Бахтин, как мы далее увидим, оказывался единомышленником Бенвениста.

Теоретический вывод Бахтина таков: чтобы удержать весь груз диалогичности, нужна другая концепция слова, другая философия слова. На русском языке эта программа звучит связно и собранно, а во французском, конечно же, расплывается на те окказиональные инстанции (*discours, parole, langage*), которые представляют «слово» в разных контекстах. Когда Бахтин говорит, например, о необходимости пересмотреть концепцию художественного слова, построить (новую) стилистику и философию слова<sup>180</sup>, французский перевод предлагает нам (как же быть без дискурса?) — «la

<sup>178</sup> В переводе это передается разъясняющим образом: «нейтральная речь, ничья речь» («...une parole neutre qui n'est à personne...») *Bakhtine M. Discours Romanesque*. Р. 99.

<sup>179</sup> Проводя в университете Париж-3 Новая Сорбонна семинары, в которых участвовали не только студенты и докторанты, но и специалисты по теории дискурса, я была свидетелем шоковой реакции людей, сжившихся с термином «translinguistique» во французском переводе и вдруг узнавших о том, что на этом месте у Бахтина стоит более привычное (хотя от этого не более понятное) слово «металингвистика». Смысловые коннотации этих двух понятий, в любом случае, совершенно различные. По-видимому, таким переводом мы опять-таки обязаны Кристевой: транслингвистика в «Разрушении поэтики» — особая наука о языке, предметом которой должны стать диалогизм, полифония.

<sup>180</sup> *Бахтин М. М. Слово в романе*. С. 80.

уристическая и философия *du discours*<sup>181</sup>. И здесь, как во всех аналогичных случаях, «стилистика и философия дискурса» вводят читательские ассоциации в совершенно иные области смысла, нежели те, которые, по-видимому, подразумевает автор<sup>182</sup>.

Те же самые сложности со «словом», переводимым как *discours*, многократно возникают и в МФЯ. Реакции на появление МФЯ в 1977 году (а позднее, СР и других работ о языке) были во Франции восторженными. Книга читалась в контексте идей Маркса, Фрейда, Фуко, Бенвениста. В марксистских кругах (многие лингвисты и вообще многие французские интеллектуалы того времени были марксистами) в этой книге видели подлинное свидетельство нового подхода. Бахтин воспринимался во Франции как предшественник (или катализатор) анализа дискурса. Кроме того, он пришел во Францию одновременно с открытием творчества русских формалистов, но воспринимался не в противопоставлении, а в смысловом единстве с ними: временная дистанция между этими явлениями сжалась, и потому они усиливали друг друга, звучали, казалось, в унисон<sup>183</sup>.

Для французской интеллектуальной ситуации 1970—1980-х годов было важно то, что Бахтин/Волошинов осуществляют эпистемологический разрыв с прежним знанием, показывают пути фундаментальной критики Соссюра. Как представлялось первому поколению французских читателей МФЯ, эта книга возвещала о приходе подлинно марксистской социолингвистики, порывающей с любыми формами идеализма (Ф. Гаде, М. Пешё). Ближайшим соседом по месту во французской идейной конъюнктуре

<sup>181</sup> Bakhtine M. *Discours Romanesque*. P. 92.

<sup>182</sup> Понятие «слово» в оригинале есть нечто субстанционально единое и вместе с тем — метафорическое (иногда его можно встретить в устойчивых сочетаниях, таких как «чужое слово», «авторское слово», однако еще чаще оно употребляется в независимой позиции и без пояснений). Из-за того, что во французском переводе русскоязычное «слово» не сохраняется ни как понятие, ни как лексическая единица, слабеют и даже гибнут некоторые другие важные смысловые соотношения в бахтинской концептуальной системе. Так, практически непереводаемыми на французский язык остаются неоднократно встречающиеся сложносоставные образования, типа «словесно-идеологический мир». Так, фраза «Эти силы — силы объединения и централизации *словесно-идеологического мира*» (Бахтин М. М. Слово в романе. С. 83) переводится на французский как «Ces forces sont celles de l'unification et de la centralisation des *idéologies verbales*» (Bakhtine M. *Discours Romanesque*. P. 95). «Словесно-идеологический мир» у Бахтина — это, по-видимому, идеология, выраженная в слове и представляющая собой определенное мировоззрение; французский перевод (*idéologies verbales*) совершенно непонятен.

О том, что Бахтин и формалисты, как уже говорилось, различались не «цветами», но «оттенками», писал Гаспаров. См.: Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 494—496.

стал для Бахтина Фуко с его понятием дискурса — стыковым для разных областей и для пересекающихся проблемных рядов. Иначе говоря, они оба предстали как отцы-основатели французской дискурсивной аналитики. Книга вошла во французскую культуру в период, когда (после 1968 года) под вопрос ставились все системы, все господствующие идеологии, буржуазные или коммунистические, анархические или утопические. Альтюссеровская теория идеологии, популярная и распространенная в этот период, вдохновлялась марксизмом, но строилась с учетом структуралистских представлений, по модели социума как некоего сложно организованного целого. Что же касается «оригинала» МФЯ (1929), то в этой работе идеология не воспринималась ни как ложное сознание, ни как следствие отчуждения, ни как механизм подчинения индивида власти: она трактовалась как явление, имеющее знаковый и, следовательно, социальный характер.

Во французском переводе МФЯ слово «discours» становится центром кристаллизации (или иначе — переплавки?) целого ряда русскоязычных слов, таких как «речь», «высказывание», «слово», «диалог», а также нескольких словосочетаний («речевое общение», «речевое выступление» и даже «речевая стихия»). В МФЯ русскими прототипами французского «discours» являлись «речь», реже — «высказывание», но также «слово» и «диалог». «Речь» чаще всего переводится на французский как discours, хотя иногда это слово переводится также как «parole» или «langage». В частности, «высказывание» («чужое высказывание») иногда превращается в discours в тех контекстах, когда дело идет о «прямой речи» и «косвенной речи» («discours directe» и «discours rapporté»; реже «*énonciation directe*» et «*énonciation rapportée*»).

В энтузиазме французского читателя при восприятии МФЯ скрывалась еще одна конкретная проблема, на первый взгляд незаметная. В частности, французский перевод МФЯ, где «слово» охотно превращалось в «дискурс», оказался втянут в область притяжения идей крупнейшего французского лингвиста Эмиля Бенвениста<sup>184</sup>. По сути, это усложняло рецепцию, а по факту — давало

<sup>184</sup> Соотношение рецепции Бахтина с трактовкой идей Бенвениста рассматривается в ряде статей П. Серно, из последних укажу на уже упоминавшуюся: *Sérin P. Généraliser l'unique: genres, types et sphères chez Bakhtine // LINX. 2006. № 5. (La linguistique des genres)*. Напомню, что когда в России еще не было нынешнего повального увлечения термином «дискурс», Ю. С. Степанов, научный редактор перевода Бенвениста на русский язык (*Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974*), как правило, склонялся к передаче французского «discours» словом «речь». Наверное, если бы Бенвениста переводили на русский язык в наши дни, переводчики, ничтоже сумняшеся, наводнили бы его тексты теперь уже таким привычным (но от этого не более понятным) «дискурсом». А вообще-то русскому слову «речь» во французском может соответствовать и parole, и discours.

дополнительный стимул к знакомству с текстами Бахтина, которые воспринимались как предельно актуальное явление на стыке лингвистики, философии, анализа дискурса. Перекрестный анализ переводов Бенвениста на русский<sup>185</sup> и Бахтина/Волошинова на французский (в развернутом виде эта работа еще не проделана) сможет выявить целый ряд взаимных превращений, сцеплений и отталкиваний и прояснить некоторые смещения бахтинских идей в их французской интерпретации.

Проблемные недоразумения между Бахтиным и Бенвенистом (1902—1976), двумя современниками, не знавшими друг о друге, во многом связаны с различием их представлений о субъекте и языке, хотя самим наличием интереса к субъекту оба они выделялись на фоне текущей французской интеллектуальной конъюнктуры. (Бахтина, правда, пытались записать в ряды тех, кто расщепляет субъекта, однако сделать это, по сути, не удалось). Бенвенист выступал как ученый, вернувший в лингвистику проблему субъекта. Основное различие между двумя мыслителями следующее: для Бенвениста субъект — это, прежде всего, субъект в языке, субъект, порожденный языком, субъект высказывания. У Бахтина субъект всегда предсуществует речевому взаимодействию, это — лицо, а не дискурсная инстанция или позиция. Бенвенист широко разрабатывает языковые средства указания на речевую ситуацию, а потому у него в действие вступают прагматика, перформативы, дейкисисы (средства указания на момент говорения, предусмотренные в языке), формы пресуппозиции. Ничего такого у Бахтина нет: главное для него в языке не расщепляющее, а собирающее действие (неважно, что именно мы собираем — высказывание или событие); философская антропология Бенвениста совершенно иная. А потому большинство из того, что воспринималось в 1970-е годы и позже как резонансы между двумя концепциями, не соответствует ни их общим установкам, ни конкретным результатам.

Слово «дискурс» во французском научном словоупотреблении, начиная с 1970-х годов крайне многозначно. Это одновременно синоним речи в соссюрловском употреблении, лингвистическая единица шире фразы, любое высказывание, имеющее говорящего и слушающего (который подвергается воздействию говорящего), место, где разыгрывается бесконечная креативность речевого использования языка как совокупности конечного числа элементов, проявление языка в живой коммуникации<sup>186</sup> и др. Для Бенвениста как ученика Соссюра главное в лингвистике — это все же

<sup>185</sup> Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

<sup>186</sup> Maingueneau D. L'énonciation en linguistique française. Paris, 1991.



формальный подход к языку, а для Бахтина важнее семантические окраски словесных смыслов в разных ситуациях. Для бенвенистовской теории «субъекта в языке» понятие диалога важно потому, что лишь обращаясь к другому, человек называет себя «Я», а для бахтинского субъекта «быть — значит общаться диалогически»: диалог требует не анализа, но продолжения диалога, по сути, уводящего в бесконечность. Фактически под влиянием Бенвениста дихотомия «язык—дискурс» теснит во французских лингвистических исследованиях 1970-х годов исходную соссюрговскую дихотомию «язык—речь». В наши дни в русском словоупотреблении понятие дискурса подошло к той грани, за которой царит полное пустословие. И в этой связи особый интерес представляют для нас продуктивные разработки теории дискурса, правомерно или не вполне правомерно опирающиеся на бахтинские идеи<sup>187</sup>. Среди таких случаев во Франции 1980—1990-х годов необходимо назвать концепции известных лингвистов Освальда Дюкро и Жаклин Отье-Ревюз, которые ввели бахтинские понятия (полифонии у Дюкро и диалогизма у Отье-Ревюз) — в ткань своих концептуальных построений. В частности, у Отье-Ревюз это стало основой для выявления различных форм существования чужой речи внутри высказываний. Различные типы «дискурсных гетерогенностей» (глубинных, конститутивных, или же явных) позволяют различить и зафиксировать различные по степени «чужести» дискурсные вкрапления в основную ткань текста<sup>188</sup>. В наши дни подход Отье-Ревюз к диалогизму через анализ форм косвенной речи широко

<sup>187</sup> Еще одним осложняющим моментом для восприятия бахтинской концепции во Франции было принятое Бенвенистом, широко распространенное и потому входящее в фон ожидаемого смысла различие между высказыванием-актом (*énonciation*) и высказыванием-результатом (*énoncé*). (В повседневном русском языке двум разным французским словам — *énoncé* и *énonciation* — соответствует одно-единственное слово — «высказывание»). Когда контекст недостаточен для того, чтобы с уверенностью сказать, идет ли речь о процессе или о результате (таких случаев немало), французское читательское восприятие зависит в недоумении. Так, в заглавии одного из разделов МФЯ — «Теория высказывания и проблемы синтаксиса» — М. Ягелло переводит термин «высказывание» как *énonciation*, а Тодоров — как *énoncé*. От принятого решения зависит дальнейшее продвижение мысли (например, та или иная трактовка позиции субъекта в языке). А потому концептуальные ожидания читателей (и переводчиков) заставляли их подчас подразумевать и искать бенвенистовскую дихотомию там, где в оригинале она просто отсутствует.

<sup>188</sup> См.: *Authiez-Revuz J. Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles reflexives et non-coïncidences du dire. En 2 vol. Paris, 1995*; об этой концепции см.: *Bres J., Rosier L. Réfractations: polyphonie et dialogisme: deux exemples de reconfigurations théoriques dans les sciences du langage francophones // Slavica Occitania. 2007. № 25. P. 437—461*, а также переведенную статью из подготовленного П. Серию сборника об анализе дискурса во Франции: *Отье-Ревюз Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999*.

распространен. В итоге можно, наверное, сказать, что бахтинский диалог — он же «дискурс» — пронесся по французским интеллектуальным пространствам как понятие<sup>189</sup>, подкреплявшее внешним авторитетом некоторые внутренние тенденции развития лингвистики, социологии, марксистских исследований.

Интересный эксперимент недавно осуществил швейцарский лингвист Патрик Серио. При переводе на французский бахтинского текста «Проблема речевых жанров»<sup>190</sup> он — в качестве эксперимента — попытался обратить переводческую тенденцию вспять, начисто освободиться от слова *discours* и использовать вместе него слово «parole». Иначе говоря, эксперимент Серио — это своего рода работа над ошибками. Правда, эта работа обращена в прошлое: прежний контекст восприятия уже в свою очередь стал историей, изменился фон восприятия и презумпции понимания, а потому нынешний читатель нового перевода будет подходить к тексту уже с иными ожиданиями. В любом случае, такая «работа над прошлыми ошибками» несомненно останется важным и полезным делом. Но важно и другое: ошибки могут порождать интересные, продуктивные сопоставления и даже поддерживать целые направления исследования в странах рецепции, как это случилось с переводом бахтинских понятий и развитием во франкоязычных, а также англоязычных научных кругах анализа дискурса, уверенных в том, что они вдохновляются бахтинскими идеями.

\* \* \*

Переводы всегда изымают оригинал из его контекста и помещают его в новый контекст, оказываясь тем самым важнейшим механизмом и средством путешествия мысли, которая, пересекая исходные рубежи, устремляется в иные края, где она может укорениться, а может и остаться чуждой. При этом отдельные аспекты переводимого текста неизбежно теряются, важно только, чтобы исследователи и переводчики честно и, по возможности, внятно рассказывали читателю о том, что именно перевод привносит от себя, а что теряет при переходе культурных и концептуальных границ. Таким об-

<sup>189</sup> Ср. также: *Bres J., Rosier L.* Réfractations: polyphonie et dialogisme: deux exemples de reconfigurations théoriques dans les sciences du langage francophones // *Slavica Occitania*. 2007. № 25; *Moeschler J.* Dialogisme et dialogue: pragmatique de l'énoncé vs pragmatique du discours // *TRANEL*. Décembre 1985. № 9. (Actes du colloque «Dialogisme et polyphonie»); *Reboul A.* Dialogue, style indirect libre et fiction // *Ibidem*; *Rubattel C.* Polyphonie, syntax et délimitation des énoncés // *Ibidem*; *Albaladejo T.* La pluralité communicative comme élément constituant de l'œuvre littéraire narrative: l'actualité de Mikhaïl Bakhtine // *Slavica Occitania*. 2007. № 25; *Lähteenmäki M.* Dialogue, Language and Meaning. Variations on Bakhtinian Themes. Jyväskylä, 2001, etc.

<sup>190</sup> См.: *Seriot P.* Généraliser l'unique: genres, types et sphères chez Bakhtine // *LINX*. 2008. № 56. P. 31—47. (La linguistique des genres.)

разом, переводческая работа неизбежно подводит к необходимости рефлексивного осмысления ее стратегий и ее конкретных путей. Каков же в данном случае итоговый баланс переводческих побед и поражений? По-видимому, оценивать переводческие результаты по степени систематичности и упорядоченности (что в конечном счете упорядоченней — французский Бахтин или русский?) было бы затруднительно. Важно, что французский Бахтин — другой, отличный от русскоязычного. Как мы только что видели, уже одно только введение слова *discours* на месте целого ряда русскоязычных слов, а также определенным образом направленные ожидания французского читателя, связанные с актуальной для того времени судьбой таких понятий как «дискурс» и «высказывание» (*discours*, *énoncé*, *énonciation*), определенным образом канализировали и систематизировали восприятие оригинала. При этом возникает вопрос: а не проблематизирует ли подобная практика бахтинскую идею «большого времени»? Ведь эта идея не принимает во внимание роль перевода, неизбежно модифицирующего оригинал.

## § 4. Бахтин и Лотман: противостояния и переключки

Для человека нашего времени все то, что относится к сфере идейных противостояний 1960—1970-х годов прошлого века, — теперь уже далекие события. Указанный сюжет не привлекает внимания в России, да и на Западе тоже. О Бахтине и Лотмане либо вообще не говорят, либо рассматривают их вместе как представителей общей и единой линии, которую один начинает, а другой — конкретизирует<sup>191</sup>. Представляется, однако, что тематическое единство между ними существует, но позиции радикально различны. Для того, чтобы прояснить эти моменты, присмотримся еще раз к некоторым элементам (фрагментам) их наследия. От нас самих зависит, останется ли оно мертвым грузом или войдет в современные дискуссии. Такая направленность внимания позволяет разглядеть за конкретными отношениями двух моих персонажей — М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана — проблемные напряжения, связанные с судьбой структурно-семиотических исследований в России, которые эхом отдаются и в современных спорах о перспективах гуманитарного познания. При этом я буду пользоваться не только опубликован-

<sup>191</sup> Эта позиция, имеющая право на существование, развернута представлена, например, в монографии И. Т. Касавина: *Касавин И. Т. Текст. Дискурс. Контекст*. М., 2008.

ными работами, но и теми документами (рабочие тетради, письма), которые не выходили в свет при жизни авторов. Для Бахтина это уточненное издание набросков, вышедших в шестом томе Собрания сочинений под общим заглавием «Рабочие записи 1960—1970-х годов»<sup>192</sup>, а для Лотмана — отрывки из писем 1960—1980-х годов<sup>193</sup> (а также текст его доклада о Бахтине на конгрессе в Йене (1984), который сейчас уже опубликован и по-русски)<sup>194</sup>. Сразу отмечу, что систематическое сопоставление целостных программ Бахтина и Лотмана не входит здесь в мою задачу: я постараюсь сопоставить фрагменты коммуникативной ткани, в которой участвуют оба персонажа — очно или заочно, прямо или опосредованно — развивая общие темы или делясь мыслями о чем-то далеком. Анализ текстовой ткани (этимологически «текст» и есть «ткань») подчас проясняет больше, чем развернутые декларации.

При совершенно необъятной мировой бахтиниане и солидном количестве работ о Лотмане, сопоставлению концепций Бахтина и Лотмана уделялось до сих пор мало внимания. Существуют работы, в которых показано влияние бахтинско-волошиновских идей на московско-тартускую семиотику<sup>195</sup> и некоторые другие

<sup>192</sup> *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2002. Речь идет о публикации (в авторской композиции и с атрибуцией ранее не идентифицированных фрагментов чужих работ, а также контекстуальных аллюзий) тех отрывков, которые выходили ранее в сборниках «Контекст» («Контекст-1974». М., 1975), «Эстетика словесного творчества» (*Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979) под заглавиями «Из записей 1970—71 гг.», «К методологии гуманитарных наук». Особенно важны для меня статьи И. Поповой, в которой содержатся расшифровки чужих вкраплений в текстах Бахтина о Рабле на основании работы с рукописями (*Попова И. Л.* «Лексический карнавал» Франсуа Рабле: книга М. М. Бахтина и франко-немецкие методологические споры 1910—1920-х годов // *НЛО*. 2006. № 3 (79). С. 86—100), а также — в более широком контексте обсуждения — комментарии Л. А. Гогтишвили и ее исследовательские статьи, например, раздел «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией (мягкая и жесткая версия интерпретации идей М. М. Бахтина)» в книге: *Гогтишвили Л. А.* Непрямое говорение. М., 2006. С. 139—219.

<sup>193</sup> См.: *Лотман Ю. М.* Письма. 1940—1993. М., 1997.

<sup>194</sup> Перевод немецкой стенограммы доклада Ю. М. Лотмана на Международной конференции в Йене; немецкая публикация *Bachtin — sein Erbe und aktuelle Probleme der Semiotik // Roman und Gesellschaft. Internationales Michail Bachtin-Colloquium. Friedrich-Schiller-Universität. Jena, 1984*; рус. пер.: *Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. М.* История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 147—156.

<sup>195</sup> Ср., в частности: *Иванов Вяч. Вс.* Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // *Учен. записки Тарт. Гос. ун-та*. 1973. Вып. 308. Труды по знаковым системам VI. С. 5—44; перепечатана в: *Диалог. Карнавал. Хронотоп*. 1996. № 3. С. 5—58 с современным послесловием (с. 59—67); *Titunik I. R.* M. M. Bachtin (The Bachtin School) and Soviet Semiotics // *Dispositio*. 1976. Vol. 1. P. 327—338; *Тороп П.* Тартуская школа как школа // *Лотмановский сборник*. Вып. 1. М., 1995. С. 223—235; *Гржибек П.* Бахтинская семиотика и московско-тартуская школа // *Там же*. С. 240—259.

аспекты воздействия Бахтина на мысль Лотмана<sup>196</sup>. Они принадлежат, как правило, литературоведам, историкам культуры, философам среди них практически нет, и это — досадное упущение, так как сопоставительный анализ подходов Бахтина и Лотмана к проблемам гуманитарного познания затрагивает самые острые вопросы современных дискуссий в методологии и эпистемологии науки.

Как уже отмечалось, главная структурная особенность творческой судьбы и рецепции Бахтина — это разрыв между периодами складывания позиции в 1920-е годы, ее переоткрытия в 1960-е и в дальнейшем нескольких этапов нарастания популярности и одновременно нарастания критичности в отношении возможностей ее применения в различных областях гуманитарного познания. В постсоветское время Бахтин стал восприниматься как символ духовного возрождения и одновременно — методологическое орудие для выхода из эпохи догматизма, как средство нового мышления в гуманитаристике. Антропологи, эстетики, этики и даже эпистемологи стали широко использовать ряд его тезисов (о субъект-субъектном мышлении, о мысли о мире и мысли в мире, о «большом времени» и «празднике возрождения») как доводы против теоретического мышления, против самой субъект-объектной структуры как якобы неприменимой в гуманитарном познании.

Иначе обстояло дело, как мы далее увидим, со структуристами-семиотиками и Лотманом. В советское время их обвиняли в механицизме, формализме, дегуманизации. В поздние годы жизни, когда Лотман впервые получил возможность зарубежных поездок, структуралистские концепции, казалось, никого уже не интересовали, сменившись более «продвинутыми» вариантами теории литературы и культуры. А когда в Россию хлынул поток постструктуралистских и постмодернистских концепций, главным образом французских, идея структуры, концепция, ориентированная на науку и научность, стала восприниматься как нечто существующее лишь в плюсквамперфекте и фактически была «сдана в архив». В этом контексте, как будет подробно показано в следующей главе, я предпочитаю помнить о том, что внимание к динамике есть и в ранних статьях Лотмана, а ориентация на науку

<sup>196</sup> Егоров Б. Ф. Бахтин и Лотман // *Он же. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана*. М., 1999. Приложение 1. С. 243—258; Reid A. Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him // *Discours social=Social Discourse*. 1990. Vol. 3. № 1—2. P. 325—338; Mandelker A. Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin and Vernadsky // *PMLA*. 1994. Vol. 109. P. 385—396; Bethea D. M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian «Poetic Thinking»: the Code and its Relation to Literary Biography // *Slavic and East European Journal*. 1997. Vol. 41. № 1. P. 1—15 и др.

и объективность присутствует и в поздних. У Лотмана есть устойчивая ориентация: поиск порядка в хаосе преобладает над поиском хаоса в порядке, хотя ко всем факторам динамического нарушения системности он был образцово чуток.

### Бахтин о Лотмане

Для начала извлечем из нашей сокровищницы документов данные о публичном обмене приветствиями (или реверансами) между Бахтиным и Лотманом. Когда редакция «Нового мира» (1970) попросила Бахтина рассказать о наиболее интересных явлениях в современном литературоведении, Бахтин упомянул Лотмана, наряду с другими серьезными и талантливыми литературоведами — ~~как~~ в прошлом (Потебня, Веселовский), так и в современности (Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум, Гуковский). А именно, Лотман (вместе с выпуском Трудов по знаковым системам) был назван в числе «больших явлений», наряду с Н. Конрадом и Д. Лихачевым: как считает Бахтин, эти авторы, в противоположность многим другим, не отрывают литературу от культуры, но стремятся понять литературу в дифференцированном единстве культуры всей изучаемой эпохи<sup>197</sup>. Тремя годами раньше Лотман в ответах на анкету «Вопросов литературы» (1967) даст список имен, в котором ключевые фигуры полностью совпадают с теми, кого назвал Бахтин (это Тынянов, Гуковский, Эйхенбаум, Томашевский), но есть и другие имена (В. Гиппиус, Н. Мордовченко, Н. Гудзий и др.). В свою очередь, в качестве выдающихся явлений — для широкой публикации и включения в хрестоматии — он называет как «Творчество Франсуа Рабле» Бахтина<sup>198</sup>, так и «Славянские языковые моделирующие семиотические системы» Вяч. Иванова и В. Топорова<sup>199</sup>. Некоторые имена из этих списков нам еще встретятся.

<sup>197</sup> Как отмечает в своих воспоминаниях о Бахтине С. Н. Бройтман (*Бройтман С. Н. Две беседы с М. М. Бахтиным // Дискурс. Коммуникативные стратегии культуры и образования. 2003. № 11. С. 121—123*), Бахтин был недоволен публикацией интервью в «Новом мире», где его высказывания о Лотмане были отредактированы припиской «и Лотмана, хотя с ним не все согласны...». С. Н. Бройтман подчеркивает: Бахтин «при всем своем критическом отношении к структурализму живо интересовался им, рассказывал мне о немецком структурализме и мюнхенском журнале по поэтике, на который надеялся подписаться благодаря сертификатам, полученным за переводы своих книг». См.: *Там же. С. 123.*

<sup>198</sup> Полное название книги: *Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.*

<sup>199</sup> *Лотман Ю. М. Ответы на анкету «Вопросов литературы» (1967) // Он же. Воспитание души. СПб., 2003. С. 91—92.*

Однако эти публично выраженные мнения еще ничего не решали. И прежде всего они не отменяли критической оценки Бахтиным Лотмана и московско-тартуской семиотики, которая была высказана им в рабочих тетрадях и частично опубликована (как недавно выяснилось, по направлению Бахтиным экземпляру, подготовленному В. Кожинным) в текстах «Из записей 1970—71 гг.», «К методологии гуманитарных наук». Попробуем сопоставить те следы, которые стирают или подкрепляют друг друга. Вот главная цитата из «рабочих тетрадей» Бахтина, в которой собраны воедино большинство его замечаний к Лотману и структуралистам:

«Мое отношение к структурализму. Против замыкания в текст. Механические категории: "оппозиция", "смена кодов" (многогостьность "Евгения Онегина" в истолковании Лотмана и в моем истолковании). Последовательная формализация и деперсонализация: все отношения носят логический (в широком смысле слова) характер. Я же во всем слышу голоса и диалогические отношения между ними»<sup>200</sup>.

Или еще:

«Семиотика занята преимущественно передачей готового сообщения с помощью готового кода. В живой же речи сообщение, строго говоря, впервые создается в процессе передачи и никакого кода, в сущности, нет»<sup>201</sup>.

И наконец:

«Контекст и код. Контекст потенциально незавершенным, код должен быть завершенным. Код — только техническое средство информации, он не имеет познавательного творческого значения. Код — нарочито установленный, умерщвленный контекст»<sup>202</sup>.

<sup>200</sup> Бахтин М. М. Разрозненные записи // Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2005. С. 434. Ср. также сходные мысли в Тетради 2. (Там же. С. 394). Комментаторы отмечают, что речь — с наибольшей вероятностью — идет здесь о статье: Лотман Ю. М. О проблеме значений во вторичных моделирующих системах // Труды по знаковым системам. № 2. С. 22—37). Различие в толковании многогостьности на примере «Евгения Онегина» Бахтин считал принципиальным. Сам он говорит о романной специфике «Евгения Онегина» в работе «Из предьстории романного слова». (Опубл. в журнале «Вопросы литературы». 1965. № 8; см.: Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 355—362).

<sup>201</sup> Бахтин М. М. Разрозненные записи // Он же. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2005. С. 380.

<sup>202</sup> Там же. С. 431.

Все это — хрестоматийно известные тексты, новым для нас моментом в свете архивных публикаций является их авторская композиция, контексты, взаимосоотнесенность. Самые главные моменты: «замыкание в текст», употребление «механических категорий», «деперсонализация» и «формализация». Конкретнее это значит: вместо голосов — коды, вместо живого высказывания — передача готового сообщения с помощью готового кода, вместо полифонии — перекодирование, вместо открытого и незавершенного контекста — код как умерщвленный контекст. Подробно разбирать здесь уместность и неуместность всех этих оценок применительно к структурализму я сейчас не буду. Критики уже неоднократно обращали внимание на их односторонность: они относятся разве что к совсем раннему Лотману, да и то не вполне, они игнорируют структуралистское внимание к внекодовым ситуациям и к творческой роли кодов, что же касается анализа «Евгения Онегина» (не просто «романа», но романа в стихах), его следовало бы оставить для особого случая. Правда, Б. Ф. Егоров считает все приведенные выше бахтинские замечания «весьма деликатными», хотя и упрощающими картину, и связывает их с недостаточным знакомством Бахтина с работами Лотмана 1960-х годов<sup>203</sup>. В частности, Егоров критикует А. Риду за «явное преувеличение»<sup>204</sup> критичности этих замечаний и всячески подчеркивает концептуальное движение Лотмана после 1977 года в сторону Бахтина.

Если Б. Ф. Егоров сглаживает все различия, то С. Г. Бочаров, можно сказать, усиливает все, что отличает Лотмана от Бахтина (в том тексте, который я ниже цитирую, он ставит проблему в общем плане, говоря о семиотическом движении и гуманитарных дисциплинах, использующих терминологию «знаковых систем»: Бахтин стал поперек семиотическому движению: нет и не может быть такой терминологии, которая бы охватила все гуманитарные науки, нельзя представить все гуманитарные дисциплины как «знаковые системы»<sup>205</sup>. Язык Бахтина — «личный язык, совсем не язык направления и школы», он не может воспроизводиться за рамками его собственной концепции<sup>206</sup>. Главное в Бахтине это собственно не концепция, а то, как он себя ставит, А ставит он себя как проблему: «“Ядро” его неуловимо в наши интерпретационные сети. Бахтин — проблема в том самом соб-

<sup>203</sup> Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. С. 244.

<sup>204</sup> Там же. Ср.: Reid A. Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him? // *Discours Social / Social Discourse*. 1990. Vol. III. № 1—2. P. 325—338.

<sup>205</sup> Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия. С. 516.

<sup>206</sup> Там же.



ственным его, бахтинском, смысле — он так себя поставил (оставил по отношению к нам — в большей степени, нежели нам оставил “концепцию”)<sup>207</sup>. Да и как может быть иначе: ведь Бахтин, полагает С. Г. Бочаров, вышел из чистого языка философствования (из русской религиозной философии), сменил язык философствования и теперь его творчество — это эстетика, решаемая в теологических терминах.

В концептуальных взаимоотношениях Лотмана и Бахтина есть нерешенные вопросы, которые невозможно было открыто обсуждать в то время, когда всякая критика могла натолкнуть официальные инстанции на те или иные оргвыводы. Быть может, отчасти именно поэтому на публичной сцене исполнялась такая пантомима: структуралисты — внешне? — прислонялись к Бахтину, а Бахтин сторонился структуралистов и отмежевывался от них. Как отмечает сын Лотмана литературовед Михаил Юрьевич Лотман, его отец обычно не отвечал на критику, и тем более сам не пускался в критику: он не хотел выносить на суд недоброжелателей научную полемику и предпочитал развивать свою науку, не отвлекаясь на выяснение отношений: иногда он давал себе труд ясно сформулировать свои позиции, но в целом считал, что шлифовать детали, в том числе полемикой, — еще рано<sup>208</sup>.

## Лотман о Бахтине

Несомненно, что к Бахтину Лотман всегда относился с глубоким уважением, и, наверное, пересекался с ним в некоторых своих творческих пристрастиях, например, в подчеркнутом интересе к поступкам и вообще — к ответственному человеческому поведе-

<sup>207</sup> Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия. С. 519.

<sup>208</sup> Один из интересных примеров, который приводит Михаил Лотман, касается отсылки Лотмана к Якобсону: Лотман не был с ним согласен в ряде принципиальных моментов, например, он всегда возражал против монолингвизма Якобсона, защищая в разной форме идеи полилингвизма и поликультурализма, однако до печати эти возражения не доходили. Впрочем, можно предположить, что Якобсон, как и Бахтин, был для Лотмана мэтром и человеком старшего поколения, что могло бы объяснить такую сдержанность. Правда, и сам Якобсон, как отмечают уже другие критики, не любил выяснять отношения, он предпочитал просто присоединять к своей концепции других ученых путем ссылок, мало заботясь о том, насколько творцы этих мыслей согласились бы участвовать в таком объединяющем хороводе. См.: Лотман М. Ю. Семиотика культуры в тартуско-московской семиотической школе // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 5—20. Нечто сходное говорил о Лотмане и М. Гаспаров: анализ реального материала был для него важнее и зощреннее теоретических (метатеоретических) разработок или остроумных полемик.

нию. И публично, повторяю, он практически никогда с Бахтиным не спорил — в советские времена это было невозможно, а в постсоветские — бесполезно, хотя в личных высказываниях, как мы увидим, он был подчас более открыт.

В том, что касается личного аспекта отношений Лотмана к Бахтину, у нас имеются разнообразные свидетельства — прежде всего, в опубликованных письмах. Так, Лотман старался организовать переезд Бахтина в Тарту<sup>209</sup>, участвовал в сборе денег для посылки Бахтину<sup>210</sup>, всегда всячески содействовал публикации текстов Бахтина и статей о нем, хотя, по его собственному признанию, далеко не все удавалось сделать<sup>211</sup>...

Однако среди писем Лотмана есть одно, на которое адресат письма, Б. Ф. Егоров, близкий друг и коллега Лотмана, предпочитал не ссылаться, широко цитируя другие письма. Это письмо — единственное (по крайней мере, в опубликованном архивном наследии), в котором содержится яркое, хотя и косвенное, свидетельство Лотмана о Бахтине, соединяющее достаточно резкую критику с самыми высокими похвалами. Прямым поводом для высказывания был не сам Бахтин, а Тынянов, которого (вспомним списки предпочтений) одинаково высоко ценили и Бахтин, и Лотман. Однако Бахтин присутствует в этом высказывании как весомая аналогия. Я приведу это высказывание целиком, потому что в нем, помимо общей нити доводов, важны другие приводимые имена и факты, которые, будучи отнесены к Тынянову, косвенно вплетаются и в характеристику Бахтина. Конечно, это высказывание Лотмана не было рассчитано на публичное восприятие: письмо адресовано не только коллеге, но и близкому другу; однако в нем выражается, по-видимому, нечто важное из того, что подспудно окрашивало его восприятие бахтинской концепции:

«В научном отношении Тынянов, в определенном смысле, подобен Бахтину: конкретные идеи часто ложные, а концепции предвзятые (Пушкин — Тютчев<sup>212</sup> — выдумка, подогнанная «под идею», «Безымянная любовь»<sup>213</sup> — вершина бездоказательности и лож-

<sup>209</sup> Лотман Ю. М. Письма. М., 1997. С. 512—513.

<sup>210</sup> Там же. С. 235.

<sup>211</sup> Там же. С. 255, 522, 682.

<sup>212</sup> Комментарий Б. Ф. Егорова: подразумевается статья Тынянова «Пушкин и Тютчев» (1923), в которой автор пытается доказать далекость и чуждость Тютчева Пушкину. См.: Лотман Ю. М. Письма. С. 333.

<sup>213</sup> Комментарий Б. Ф. Егорова: «Безымянная любовь» — так по заглавию статьи Тынянова Лотман называет гипотезу о тайной любви Пушкина к жене Карамзина. См.: Там же. С. 333.

ной выдумки и пр.). Но («но» подчеркнуто автором снизу!!) — общая направленность *исключительно плодотворна и оплодотворяюща* (курсив мой. — Н.А.). Импульс им дан огромный (ведь и Томашевский, когда от критики чужих концепций — а в этом он, великий деструктор, был блестяще силен — ему надо было переходить к позитивным концепциям, и Гуковский питались его импульсами). Вообще он все же был гениален, хотя, согласен, во многом неприятен»<sup>214</sup>.

Сентенция напряженная, насыщенная. Все упомянутые в письме фигуры — Тынянов (1894—1943), Томашевский (1890—1957), Гуковский (1902—1950) — крупнейшие фигуры, близкие современники Бахтина, поколением старше Лотмана: те, кого и Бахтин и Лотман в своей табели о рангах помещают, не сговариваясь, на самое почетное место, так что эти дополнительные персонажи лишь добавляют Бахтину веса... Посредством этой аналогии с Тыняновым Лотман так или иначе говорит здесь о Бахтине то, что он не позволил бы себе сказать вслух. И, конечно, надо было быть Лотманом, чтобы от критики («бездоказательность», «ложные выдумки» — прямо отнесенной, напомним, к Тынянову) уверенной рукой перебросить мост к панегирику — «он все же был гениален», он давал «огромный» творческий импульс, общая направленность его мысли «исключительно плодотворна и оплодотворяюща»...<sup>215</sup>. Наверное, можно спорить об интерпретации этого пассажа. Представляется, однако, что аналогия с Тыняновым, явно присутствующая в первой фразе, продолжает звучать и далее, тем более что некоторые другие высказывания Лотмана (например, в йенском докладе, к которому мы еще не раз обратимся) это подтверждают.

Задним числом возникает ощущение, что многое в лотмановском отношении к Бахтину практически реализует эту письменную характеристику Тынянова/Бахтина: а именно, он воспринимал творческий импульс, оплодотворяющую динамику, но оставлял в стороне то, что считал вымышленным или недоказанным. Как конкретно это происходило, можно судить, например, по докладу Лотмана о Бахтине, сделанному в Университете Фридриха Шиллера в Йене в 1984 году. В упрощенном виде все, о чем в нем идет речь, можно вписать в следующую схему: Бахтин высказывает прозорливые догадки, формулирует их в размытом и неопределенном языке, дальнейшее развитие науки их уточняет, а благодарные наследники помнят, кому они обязаны первым толч-

<sup>214</sup> Лотман Ю. М. Письма. С. 331.

<sup>215</sup> Там же.

ком мысли. Главная тема доклада Лотмана — роль идей Бахтина в развитии современной семиотики. Здесь Лотман называет три бахтинских импульса, вдохновивших современную науку. Первый — данный Бахтиным толчок к разработке динамического представления о характере языкового знака: это представление вовсе не было характерно для ранней рецепции Соссюра в России, но ярко проявилось в книге Бахтина/Волошинова «Марксизм и философия языка»<sup>216</sup>. Второй — идея диалогизма; здесь Лотман как раз и отмечает размытость и неопределенность этого понятия (подобно тому, как в других своих работах он отмечает неопределенность понятий «карнавал» и «народная смеховая культура»), но указывает, что в дальнейшем они уточняются в ходе развития науки. Третий — «гениальное прозрение» Бахтина, его тезис о художественной коммуникации как центральной проблеме современной науки.

Далее Лотман дает свое понимание диалога: по-видимому, уже с позиций нового этапа научного развития. Научное содержание понятия «диалог» поясняется на материале нескольких исследовательских ситуаций. Это, во-первых, открытие необходимости более чем одного (двух или нескольких) каналов связи для создания новой информации, для выполнения семиотическими механизмами творческих функций; во-вторых, анализ межполушарной асимметрии головного мозга как особого диалогического механизма; в-третьих, изучение функционирования семиотических систем с ориентацией на чужое слово (примером такой системы он считает даже отношения матери и младенца, который, воспринимая ласковый разговор и улыбку матери, пытается ей подражать). При этом Лотман подчеркивал важнейшее отличие естественных семиотических систем от искусственных (естественные системы имеют свою историю, память, в которой хранятся — и могут быть реактивированы — все предшествующие состояния). Быть может, именно поэтому Лотман так любил бахтинское понятие «память жанра»<sup>217</sup>; в йенском докладе

<sup>216</sup> С этим тезисом в основном соглашается и В. Алпатов в книге «Волошинов, Бахтин и лингвистика» (М., 2005): Бахтин говорил о Соссюре то, что не было актуально в то время, когда это говорилось, так как соссюровская концепция еще только начала разворачивать свои научные потенции, и в этом направлении перед ней лежал долгий путь, однако когда через несколько десятилетий все эти разработки уже были осуществлены, бахтинско-волошиновская критика, высказанная еще в 1920-е годы, оказалась на гребне актуальности — в лингвистике речи, лингвистике высказывания, в разных направлениях коммуникативной лингвистики и др. Быть может, здесь есть какая-то своя закономерность: некоторые этапы развития науки повторяются через один, волнообразно (как это отчасти можно проследить в литературе), а потому, пропустив один этап, можно сразу оказаться в «старом новом» будущем?

<sup>217</sup> Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 511, 583, 674; Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 166.

о нем речь не идет, но в других работах оно упоминается часто, причем Лотман трактует «память жанра» не только как способ сохранения запечатленных в структуре жанра особенностей, восходящих к предыдущим периодам, но и, говоря на более привычном структурно-семиотическом языке, как средство «кодовой экономии»<sup>218</sup>. Самое главное, подчеркивает Лотман, — в том, что именно Бахтин проложил нам путь к изучению системы, способной порождать новые тексты. Иными словами, Бахтин был для Лотмана побуждающей силой, подталкивавшей его к продвижению по собственному пути. Отчасти, думаю, так было — по логике отталкивания — и с Гаспаровым.

При этом возникает впечатление, что и в докладе, и в других своих работах Лотман постоянно пытается перевести бахтинскую проблематику на свой язык, сформулировать ее в терминах, которые ему близки. Анализируя различные контексты использования бахтинских идей и понятий, Лотман нередко подставляет на место оригиналов свои собственные эквиваленты, относящиеся к совершенно другому регистру мысли. Так, на месте бахтинской полифонии у Лотмана появляется «многоязычие» или же сложная игра подсистем в структуре (речь идет об анализе одного из стихотворений Лермонтова)<sup>219</sup>; в противоположность подходу Проппа, который занят вычленением единых инвариантов, Лотман видит у Бахтина (или приписывает Бахтину) выявление в тексте разных «субкодов»<sup>220</sup>; диалоги в романах Достоевского и бахтинских изысканиях он рассматривает как способ порождения «конфликтующими системами» нового типа упорядоченностей; а эти упорядоченности, в свою очередь, включает в собственную рамочную конструкцию, называя их «диалогическими структурами»<sup>221</sup>. Так, бахтинский «карнавал» предстает у Лотмана как вторжение динамических структур в сакральный мир<sup>222</sup>, тогда как бахтинские «амбивалентности» принимают вид культурно-семиотического феномена, свидетельствующего о смягчении прежних оппозиций и готовности системы к переходу в «динамическое состояние»<sup>223</sup>. Лотман позволяет себе прямо критиковать только эпитгонов Бахтина (например, за неоправданно расширительное толкование карнавальской традиции<sup>224</sup>, а также

<sup>218</sup> Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 219.

<sup>219</sup> Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 237.

<sup>220</sup> Там же. С. 427.

<sup>221</sup> Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 289.

<sup>222</sup> Там же. С. 660.

<sup>223</sup> Там же. С. 552.

<sup>224</sup> Там же. С. 324.

идеи перевернутого мира<sup>225</sup>). Кроме того, он мягко возражает против неточностей в понимании карнавала и народной смеховой культуры: ведь смех не всегда отменяет страх, а подчас даже его подразумевает<sup>226</sup>; элементы кощунства могут никак не нарушать рамки сакрального универсума<sup>227</sup>, а языческие элементы в западноевропейском карнавале и аналогичных русских обрядах подчас существенно различаются, что, к сожалению, не учитывается даже специалистами<sup>228</sup>, и др.

В целом, как уже отмечалось, все это создает особый рисунок отношений. Если Бахтин все время стремится остаться в стороне, то Лотман включает Бахтина во все значимые отношения. Разумеется, от формалистов Бахтин отличен: они исходят из атомов, чтобы добраться до целостности, тогда как для Бахтина нерасчленимая целостность есть некая исходная данность (и в этом мы можем видеть одну из черт русской мыслительной традиции, на определенном этапе свойственной также Jakobsonу и Трубецкому). Однако во всех остальных принципиальных отношениях Бахтин у Лотмана всегда выступает рука об руку со значимыми другими, а не сам по себе. Так, вместе с Проппом, Тыняновым, Jakobsonом — он продолжает и преодолевает семиотические идеи Женеvской (сосюрvвской) школы; вместе с Л. П. Якубинским, Е. Д. Поливановым или Я. Мукаржvвским — создает традицию диалогического мышления, саму мысль о диалоге; вместе с Тыняновым — изучает эволюцию культурно-семиотических моделей и др.

В ряде текстов Лотман трактует диалог как попеременную направленность «передачи» и «приема» сообщения при взаимной заинтересованности участников в общении (ведь если между общающимися нет различия, то диалог бессмыслен, а если нет сходства, то он невозможен), он видит диалог в соотношении между памятью культуры и ее саморефлексией, в соотношениях между различными по структуре языками (вербальные и невербальные языки, кино<sup>229</sup>, театр, литература, музыка) и даже в знаковом обмене между животными. Но практически нигде у Лотмана нет диалога равновеликих, равномошнх, равнонужных друг другу индивидов, и тем более — у него невозможны бахтинские «голоса».

<sup>225</sup> Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 211, 337.

<sup>226</sup> Там же. С. 684.

<sup>227</sup> Там же. С. 693.

<sup>228</sup> Там же. С. 692.

<sup>229</sup> У Лотмана есть интересные примеры использования бахтинского понятия чужой речи и понятия «полифонических структур» в анализе кино — в частности, фильмов А. Вайды. См.: Лотман Ю. М. Об искусстве. С. 660.

И это лишь малая часть несходств между мыслителями. Некоторые из них вытекают из «нетрадиционного христианства» Бахтина и четкой светской позиции Лотмана. Б. Ф. Егоров всячески подчеркивает сходства между обоими мыслителями. Любопытна сама эта установка: если у нас есть один замечательно умный и нравственный человек, то другой — тоже замечательно умный и нравственный — обязан быть на него похож... При этом Лотман никогда не рассуждает в религиозно-персоналистическом духе, у него нет акцента на уникальном и незавершенном как ценности в себе: оно так или иначе постигается познанием, но затем незнание вновь и вновь обступает человека со всех сторон. Тем более у Лотмана нет того, что роднит Бахтина с Аверинцевым и его концепцией символа — упоения «теплотой сплывающей тайны» и новыми надеждами на симвонологию как «инонауку»; сам этот термин из статьи Аверинцева о символе в «Краткой литературной энциклопедии» (в архивах Бахтина был обнаружен подробный конспект этой статьи) имел потом в философии большое будущее у тех, кому «наука» как таковая казалась безвозвратно устаревшей. Напротив, Лотман, кажется, нигде не говорит об «ино-науке», но зато говорит об «ино-культуре»: для него различие языков и культур — безусловный и исходный факт любого познания человека. К тому же, хотя Лотман не считал возможным внятно сформулировать свои научные претензии к Бахтину, он, как показывают архивные свидетельства, был рад, когда это сумел сделать другой — глубоко уважаемый им человек<sup>230</sup>... В строе своих идей Лотман во многом далек от Бахтина; однако это не мешает ему, как уже было показано, отдавать Бахтину должное, ценить и уважать его, о чем он говорит (думаю, не только риторично, но и искренне) в завершении своего Йенского доклада: «...мы должны говорить не только о том, как мы воспринимаем Бахтина, но также и о том, как сами выгля-

<sup>230</sup> Речь идет о М. Л. Гаспарове: на свете есть лишь двое ученых, которых Лотман ставил отдельно от всех, — В. Топоров и М. Гаспаров, — поясняя: «Я не могу, как они...». В одном из писем Лотмана Егорову (от 2 декабря 1979; № 312, см.: *Лотман Ю. М. Письма*. С. 285—286) мы видим реакцию на публикацию во «Вторичных моделирующих системах» (Тарту, 1979) статьи М. Л. Гаспарова «М. М. Бахтин в русской культуре XX века». Лотман пишет: «Получили ли Вы сборничек? Как он Вам? Кстати: автор статьи о Бахтине не Б. М., а М. Л. Гаспаров (Ваша ошибка объяснима: из двух Гаспаровых Вы выбрали подсознательно более задорного — и ошиблись: М. Л. — это огонь под пеплом)». Б. М. Гаспаров — искусствовед и литературовед, работавший в Тарту, в данный момент профессор Колумбийского университета; когда Б. Гаспаров уехал за границу, сотрудникам редколлегии тартуских сборников пришлось срочно подчищать инициалы в уже подготовленном к печати издании, притворившись, что членом редколлегии является (и всегда был) не уехавший Борис Гаспаров, а оставшийся Михаил Гаспаров, и подвешенный в небытии сборник удалось спасти.

дим в его глазах. Хотелось бы, чтобы мы, изучая Бахтина, оказались достойны того, что он написал»<sup>231</sup>.

### Шаг(и) навстречу?

Итак, очевидно, что характеристика лотмановского структурализма и сама картина противостояния позиций, начертанная Бахтиным в «Рабочих записях 60—70-х годов», не вполне соответствовала действительности. Она подразумевала, с одной стороны, незавершенность и открытость, а с другой — коды и замкнутые системы. Но даже если допустить, что такая картина в известной мере и в течение какого-то времени имела место, все равно она не оставалась одной и той же. То, что мы знаем о Лотмане, показывает динамику его творческого пути, постоянное движение, заставлявшее апробировать новые приемы, наращивать возможности, посягать на все более и более сложные объекты. Так, в предисловии к польскому переводу биографии Пушкина, опубликованной по-русски в 1980, а по-польски — в 1985 году, т. е. в завершающий период творческой жизни, Лотман говорит о том, что его целью было «показать человеческий, личностный (от: личное, личность) элемент в семиотике как науке»<sup>232</sup>. И это — свидетельство сохранения его основного замысла на протяжении всей творческой биографии. Однако одновременно с этим Лотман сделал новый шаг — если и не навстречу Бахтину, то во всяком случае к тому, что можно было бы назвать открытой структурой; эта тенденция была и у раннего Лотмана, но у позднего она безусловно усилилась.

Идея открытой структуры вводит нас в размышления о динамике на границах пространства культуры и о семиозисе как знаковой деятельности. Как подчеркивает Лотман, граница, отделяющая семиозис от внесемиотической реальности, пористая, проницаемая, ее пересекают элементы, вторгающиеся извне: они преобразуют семиотическое пространство и сами преобразуются по его законам. И этот обмен семиотического простран-

<sup>231</sup> Таков опубликованный перевод с немецкой стенограммы доклада (Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 156). В. Л. Махлин переводит первую фразу иначе: перед лицом бахтинского наследия (Erbe) дело «не в том, как мы видим Бахтина, а в том, как он нас видит» (Lotman J. Bachtin: sein Erbe und aktuelle Probleme der Semiotik // Internationale Michail-Bachtin-Colloquium. Jena, 1984. S. 40).

<sup>232</sup> Цит. по: Berhea D. M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian «Poetic Thinking»: the Code and its Relation to Literary Biography // Slavic and East European Journal. Vol. 41. № 1. 1997. P. 6.



ства с внесемиотической сферой служит постоянным источником динамики:

«Это "вечное движение" не может быть исчерпано — оно не поддается законам энтропии, поскольку постоянно воссоздает свое разнообразие, питаемое *незамкнутостью системы*». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>233</sup>

Однако эта незамкнутость не приводит к хаосу, этому препятствует собственная динамика системы:

«Основными вопросами описания всякой семиотической системы являются во-первых, ее отношение к вне-системе, к миру, лежащему за ее пределами, и, во-вторых, отношение статики к динамике. Последний вопрос можно было бы сформулировать так: каким образом система, оставаясь собой, может развиваться. Оба эти вопроса принадлежат к наиболее коренным и одновременно наиболее сложным»<sup>234</sup>. (Это — первая фраза «Культуры и взрыва»).

А вот, кажется, высшая точка продвижения Лотмана к динамике предметов и динамике описаний — в мысли об «открытой структуре». Здесь она поворачивается своей методологической гранью: речь идет об «открытой модели» описания культурного мира, представленного многими языками и многими культурами:

«Если традиционно семиотический процесс был обращен к пространству одного языка и представлял замкнутую модель, то теперь, видимо, наступает время принципиально *открытой модели* (курсив мой. — Н. А.). Окно культурного мира никогда не затворяется»<sup>235</sup>.

Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с тем важным тезисом лотмановской концепции, который не был ясно сформулирован ни Якобсоном, ни Гаспаровым при всем их внимании к проблемам коммуникации и перевода. Лотман фактически подчеркивает, что мысль об открытой структуре и мысль о переводе (то есть, о наличии более чем одного языка в процессе культурной коммуни-

<sup>233</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Он же. Семиосфера. СПб., 2001. С. 102.

<sup>234</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Там же. С. 12.

<sup>235</sup> Лотман Ю. М. Тезисы к семиотике русской культуры (Программа отдела русской культуры Института мировой культуры МГУ // Ю. М. Лотман и таргуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 416.

кации) соэкстенсивны, что они обуславливают и обосновывают друг друга. Для нас этот итог — новое начало. Открытая модель — она подразумевается в данном высказывании и развивается в других местах лотмановского наследия — требует «более чем одного» языка, она связана с многоязычием. А соответственно и с проблемой перевода. К этому вопросу мы обратимся далее в главе о Лотмане. При этом и понимание кода у Лотмана становится иным. Собственно говоря, операциональной единицей становится не код, но «код плюс его история»<sup>236</sup>: обеспечить полную идентичность передаваемого и принимаемого могла бы лишь «структура без памяти»: но тогда это был бы обмен командами, а не содержательный разговор.

А что же Бахтин? Стал ли он, в итоге этого заочного взаимодействия каким-то иным? Д. Бетеа отвечает: нет, он остался, где стоял — в упоении ситуацией незавершимости и незавершенности. Однако в результате анализа эволюции бахтинских трактовок соотношения языка и речи, стабилизирующих и динамических процессов в культуре складывается несколько иное впечатление. Можно предположить, что Бахтин тоже сделал некий «шаг навстречу» (или, по крайней мере, в направлении) ранее ему абсолютно чуждой структуралистской концептуализации. Как уже отмечалось, в записях 1960—1970-х годов (отчасти и раньше), в отличие от работ 1920-х годов он стал допускать существование полюсов (или иначе — пределов) возможного познания, подчас рассматривая их в принципе, хотя и не фактически (он, безусловно, предпочитал полюс динамики и, по сути, занимался только им) как равноправные. Если в 1920-е годы Бахтин отвергал как «реальное существование» языка, так и теоретическую дихотомию языка и речи — в пользу единой динамики высказывания, то теперь не только язык и речь, но также «вещь» и «личность», «овеществление» и «персонификация» выступают как опорные и осмысленные теоретические противопоставления, причем Бахтин, как уже отмечалось, признает важное культурное значение процессов монологизации, то есть естественного стирания в диалоге «чужого слова»<sup>237</sup>. Бахтин называет эти полюса «пределами мысли и практики» или, иначе, «типами отношения», между которыми он фактически усматривает отношения дополнительно. Высказываний о незавершенности и открытости, конечно же, больше у Бахтина (нежели у Лотмана), однако можно предположить, что реальное продвижение к той открытой структуре,

<sup>236</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 15.

<sup>237</sup> Там же. С. 425.

которая нас здесь, пусть и не прямо, но больше всего интересует, а также к открытой мысли о структуре становится возможным лишь при учете сопротивления историко-культурного материала; а реальную историю лучше чувствовал Лотман (нежели Бахтин) — историк, так любивший архивную работу и сделавший свое самое любимое научное открытие об эзоповской роли «Вестника Европы» в России на материале больших архивных разысканий.

В этой связи любопытна трактовка проблемы перевода — и самого феномена «переводимости» — у известной американской русистки, исследователя и переводчицы Бахтина Кэрил Эмерсон<sup>238</sup>. Она условно связывает свою типологию взглядов на перевод с именами Лотмана и Бахтина. Первый (лотмановский) подход оказывается тогда подходом «кающегося грешника»: он связан со стремлением к точности, а потому он неизбежно воспринимается как несовершенный, обедняющий, искажающий оригинал. Второй (бахтинский) подход оказывается «подходом поэта»: он рассматривает перевод как обогащение оригинала, результат продуктивного обмена, творчества. Тем самым слова «лотмановский» и «бахтинский» указывают на определенные ориентации, становятся здесь прилагательными от имен нарицательных: они обозначают некоторые переводческие и исследовательские приоритеты. Эмерсон полагает, что лотмановская позиция — как в исследовании, так и в переводе — ближе к «механистическому» полюсу: ведь структуральная семиотика ставит целью перемещение уже известных вещей, опираясь (при всей эволюции лотмановской программы) на классификацию, кодирование, программирование. Для бахтинской позиции главное — творчество, продуктивность: то, что не поддается кодированию, не является обменом информацией и не поддается классификациям; это собственно даже и не знание, но напряжение, ответ, вызов.

Таким образом, можно сказать, каждый подход имеет свои задачи и свои критерии: в первом случае это *точность*, во втором — *сотворчество*. Симпатии Эмерсон явно на стороне «бахтинского» познания и перевода, именно им отдаются все положительные эпитеты, что видно по риторической оркестровке мысли: с одной стороны перед нами «глубокое», «богатое творческими возможностями», а с другой — «механическое», «узкое» и даже «убийствен-

<sup>238</sup> Эмерсон К. «Переводимость» // Бахтинский сборник. Вып. 5. С. 186—192. Среди последних крупных работ Эмерсон в бахтинистике книга, посвященная первому столетию Бахтина в мировой культуре (*Emerson C. The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin*. Princeton, 1997) и антология: *Critical Essays on Mikhail Bakhtin / Emerson C., ed.* N.Y., 1999.

ные в своей точности декодировки»<sup>239</sup>. Однако представляется, что этот вопрос далеко не столь прост, как может показаться из текста Юмерсон, да вряд ли и для нее самой это так уж ясно. Да, поздний Бахтин действительно некогда сказал: «Нельзя понимать понимание как перевод с чужого языка на свой язык»<sup>240</sup>. Да, понимание невозможно без диалога. Но возможен ли диалог без перевода? Не является ли перевод условием диалога? А уж если говорить о критериях перевода, то можно ли полагать, что Бахтин порадовался бы такому «пересоздающему» и творческому (в кавычках или без кавычек) переводу, который поместил бы его — не иначе как в перспективе «большого времени» — в средоточие французских споров о дискурсе, высказываниях и многом другом. Если предпочитать точному переводу «творческий перевод», который считает себя вправе понимать текст по-своему, то результатом такого подхода может стать уже не «соучастное понимание», но настоящий произвол.

Концепции перевода — это важная составляющая концепций познания. Анализ «непредсказуемого» не противоречит структурно-семиотическому подходу и не исключает его. Более того: чем тоньше и гуще становилась сетка категорий, тем чаще через нее проглядывало непредсказуемое. Просто акцент можно поставить или на то, что ею отсеивается, или на то, что проходит сквозь нее. Главным в Лотмане — наверное, всякий с этим согласится, несмотря на различие существующих точек зрения, — было стремление строить науку, забота о научности гуманитарного знания. Сейчас это звучит несколько архаично, как напоминание о далеком прошлом, но на деле это не так. В своем подходе к предмету Лотману удастся увидеть много такого, что стало актуальным в наши дни. В частности, как мы покажем далее, особый интерес представляют его собственные идеи относительно перевода: они стали новым шагом в методологии исторической науки. На проблему перевода выводит исследователя понимание относительности нашего взгляда на познаваемый предмет, а эта относительность, в свою очередь, упрямо указывает на проблему различия и взаимодействия языков — языка описания и языка самого предмета. Эти смысловые сдвиги раскрывают новые возможности структурно-семиотических подходов в области гуманитарного познания.

<sup>239</sup> Уточним, что речь в данном случае идет не о собственных взглядах Лотмана или Бахтина на перевод, но о гипотетических возможных типах установок применительно к переводу.

<sup>240</sup> Бахтин М. М. Рабочие записи 60—70-х годов // *Он же. Собрание сочинений*. В 6 т. Т. 6. М., 2005. С. 403.

Но и Бахтин — даже в том ограниченном смысле, в котором мы его рассматриваем здесь, Бахтин как антагонист структурализма — парадоксальным образом присутствует в этой продуктивной динамике. Считается пророком структурализма и семиотики в России, как к тому его подталкивали некоторые западные поклонники, ему явно не хотелось. Но он не мог помешать себе быть тем, чем он был: человеком с удивительным чутьем на новое. Размышляя в очередной раз над влиянием Бахтина, поздний Лотман приходит к выводу, что оно постоянно осуществляется — только не через инструкции и рецепты, но через его общее воздействие на культуру, на философское сознание<sup>241</sup>. Иначе говоря, одним своим присутствием, каждый раз освобождаясь от очередной канонизации, Бахтин даст импульс более широкому движению культуры — а в ней даже тому, что сам он вполне мог считать лично себе чуждым. И, быть может, в этом парадоксальном сплетении обстоятельств сегодня он неожиданно станет для нас — при всей креативной иррациональности некоторых его тезисов — одним из участников возрождения тех элементов рационалистической традиции, которые мы постарались здесь заново рассмотреть, достав из архива...

---

<sup>241</sup> Ср., например (речь идет о воздействии теоретических исследований на практику искусства): «вливают они не как инструкции и рецепты, а через общее воздействие на культуру, формируя мышление художников и их аудитории. Например, было бы странно отрицать глубокое воздействие М. М. Бахтина на современное искусство (в особенности, на драматургию и кино, не говоря уже о непосредственных театрализациях романов Достоевского). Но это воздействие осуществляется через перестройку философского сознания нашего современника». *Лотман Ю. М. Язык театра // Он же. Об искусстве.* СПб., 1998. С. 604.

# Лотман: «от не-науки к науке!»<sup>1</sup>

**В** наши дни стало обычным делом отрицать или преуменьшать значение структуралистской составляющей в творчестве Ю. М. Лотмана, подчеркивать в его наследии то, что знаменовало разрыв с установками структурализма и объективного познания. Прислушаемся, однако, к размышлениям Лотмана о структурализме, высказанным незадолго до смерти. Бывает глухая пора, полная безнадежность, и вдруг происходит взрыв. В тот период, когда создавалась тартуско-московская школа<sup>2</sup>, на поверхность выплеснулась целая волна гениальных людей... многих из них уже нет... но в тот период «пульс культуры как бы забился в этой сфере»<sup>3</sup>. Конечно, говорит Лотман, это направление мысли возникло в силу каких-то случайностей, однако, парадоксальным образом они в истории культуры не единичны. И всегда оставляют нам надежду.

## § 1. История, структура, взрыв (память о Лотмане)

Что такое память — вспышка света, внезапно озаряющая предмет на фоне того, что остается в тени, а может быть мозаика, которую мы складываем все вместе, но никогда не сможем сложить до конца? Исследуя память, Лотман обращал внимание на разные ее аспекты, связанные с культурой и историей (история может быть и онтологией и дисциплиной). Так, в статье «О семиотическом

<sup>1</sup> Ю. М. Лотман. Зимние заметки о летних школах // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 297. Пунктуация Ю. М. Лотмана.

<sup>2</sup> Название и написание школы существует в нескольких вариантах и пока не поддается унификации: на первом месте может быть «тартуская» или же «московская», причем оба прилагательных, равно как и слово «школа» могут начинаться с прописной или же со строчной буквы. В цитатах и в существующих названиях сборников я оставляю то написание, которое в них принято. В собственном употреблении — предпочитаю аббревиатуру МТСШ (Московско-тартуская семиотическая школа).

<sup>3</sup> Лотман Ю. М. На пороге непредсказуемого // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 299.

механизме культуры» (1971) память предстает как важнейший механизм культуры, а культура — как «*ненаследственная память коллектива*, выражающаяся в определенной системе запретов и предписаний»<sup>4</sup>. Как мы видим, память мыслится здесь прежде всего как нечто социальное и системное. В текстах, вошедших в книгу «Внутри мыслящих миров» (1999)<sup>5</sup>, память выступает как один из механизмов исторического сознания и познания, помогающий реконструкции фактов и дешифровке текстов. Здесь память есть условие и область индивидуальной исследовательской работы. Я не ставлю целью специальное изучение различных представлений Лотмана о памяти, его концепции памяти в целом. Меня интересует скорее фигура самого Лотмана как феномена памяти — индивидуальной и культурной. Все те принципы работы памяти, которые исследовал Лотман, касаются и нашей памяти о нем самом.

В данном случае внимание к памяти о Лотмане не есть следствие чисто исторического интереса. Оно связано с интуитивным ощущением того, что феномен Лотмана, его личность и концепция могут сыграть новую роль в современной жизни идей<sup>6</sup>. А потому они вызывают к философам и требуют их внимания. Главным в Лотмане — наверное, всякий с этим согласится, несмотря на различие существующих точек зрения, — было стремление строить науку, забота о научности гуманитарного знания. На фоне современных тяготений к невятной «междисциплинарности» и даже разноликому «антисциентизму» (этот старый лозунг стал вновь употребляться в позитивном смысле) такое стремление может быть воспринято как пустое напоминание о далеком прошлом, но на деле это не так. И тут мы, безусловно, вправе отнести к Лотману то, что относим к другим персонажам этой книги, — тезис об актуальности идеи структуры, в каких бы словах и терминах он ни выражался. Рассмотрим этот вопрос на материале творческого пути Лотмана. В контексте вопроса о памяти очертания облика Лотмана — не биографическая декорация, но необходимое звено в аргументации.

Лотман был человек с внутренним исследовательским стержнем (история литературы, история культуры), но с огромным разнообразием конкретных интересов, которые у него хватало сил реализовывать. От русской литературы конца XVIII века он шел и вперед (к Пушкину, Гоголю, Толстому, XX веку), и вглубь (к Ломо-

<sup>4</sup> Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 328—329.

<sup>5</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 335—389.

<sup>6</sup> «...если история есть память культуры, то это означает, что она не только след прошлого, но и активный механизм настоящего» // Там же. С. 388.

носову, Петровской эпохе, древнерусской литературе), он исследовал межкультурные связи (в частности, русско-французские), занимался теорией литературы, через семиотику и структурализм устремлялся к теории и истории культуры, интересовался кино, живописью и музыкой, сам имел разнообразные художественные таланты, но с пылливой страстью фронтовика, севшего на студенческую скамью по окончании войны, считал научные занятия более важными для человечества.

Будучи, как и все вокруг, «советским человеком», Лотман, тем не менее, был европейцем (Тарту, где он проработал всю жизнь, где издавались знаменитые «Труды по знаковым системам», и тогда был почти Европой). Кроме того Лотман был убежденным просветителем в прямом значении этого слова (приносящим свет знания), постоянно перерабатывавшим массу информации и вводившим ее в читательский обиход. А потому Пирс и Гераклит, Макс Бензе и Марк Блок, Пригожин и Вернадский сменяли друг друга на страницах его работ, не порождая отказа от главного. Интенсивный интерес к чужой мысли никогда не делал из него подражателя: «Лотман умел уважать чужую мысль и ею восхищаться. Но сторонняя концепция не подчиняла его, а оказывалась новым способом организации собственных идей. Так и историко-литературные наблюдения коллег органично встраивались в Лотманову историю словесности/культуры, обретая подчас более глубокий смысл, чем в авторском контексте. Потому-то Лотман был Лотманом»<sup>7</sup>. Интерес к сложному не отменял вкуса к простоте в хорошем смысле слова и не замутнял ясную интуицию целого. Ранний интерес к биологии и энтомологии в чем-то объясняет его интерес к общим закономерностям живого, который сохраняется на всю его жизнь. Провозгласив в поздние годы интерес к «непредсказуемому», он и жизнедеятельность насекомых этому интересу не противопоставлял, и «случайное» видел не как чистое исключение из всех правил, но фактически как «остаток» закономерного, которое «не фатально»: просто оно не укладывается в существующие рамки и не улавливается существующими классификационными сетками. Общее и частное, теоретическое и исторически конкретное, сформированное и формирующее в его работах всегда дополняли друг друга.

Сейчас работы Лотмана активно издаются и переиздаются, но от него остались и архивы, и неосуществленные замыслы. Как бы развивалась русская история, если бы в 1825 победу одержали декабристы? И он брался изучать и то, и это: анализировал спе-

<sup>7</sup> Немзер А. «Так делаются бестселлеры» (рецензия на книгу «Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа». М., 1994) // Литературная газета. № 68. С. 10.



пифический исторический момент на фоне типологической общности всех заговорщицких революций: реконструировал нереализованные замыслы Пушкина на фоне того, что было осуществлено (речь шла, например, о нереализованном замысле пушкинской пьесы «Иисус»<sup>8</sup>, а также о сюжете дворянина-разбойника).

Лотман начинал как историк и историком оставался всегда. В 1961 году он блестяще защитил диссертацию по истории литературы. Целый ряд его работ представляет собой историко-психологические этюды. Структурализм и семиотика, к которым он обращается с начала 1960-х годов, были для него способами добиваться научности, а не самоцелью. Тезис «литературоведение должно быть наукой» был провозглашен как манифест в 1967 году. Это была программа применения методов структурализма и семиотики в литературе. Но даже и в этом манифесте дело не ограничивалось одним структурализмом: Лотман мечтал, чтобы филология стала серьезным профессиональным занятием, а не легким хлебом для бездельников (позднее он говорил в этой связи об «облегченной филологии», которая в процессе преподавания растекается на бесконечные «введения», но так и не успевает добраться до главного)<sup>9</sup>, и считал необходимым, чтобы каждый литературовед знал лингвистику, математику, текстологию, архивное дело. Сам он любил архивную работу и превыше всего другого ценил интересные документальные находки<sup>10</sup>. Он шел от Ленинградской школы в филологии, сосредоточенной на литературоведении, и этим отличался от тех московских структуралистов, которые опирались, прежде всего, на лингвистику и предпочитали более простые объекты и методы. Лотман всегда любил сложные объекты: будь то преддекабристская Россия, Пушкин или Карамзин. При этом сама установка на то, что литературоведение (шире — гуманитарное знание) должно стать наукой, у Лотмана не менялась со временем — даже когда стало очевидно, что сами критерии научности более сложны, чем поначалу казалось.

Структуралистская доминанта (как акцент на последовательном поуровневом анализе отношений), раз возникнув, не исчезла со временем, даже если при анализе сложных объектов сетки бинарных оппозиций как бы уходили в тень (читатель всегда может реконструировать эти сетки оппозиций по схемам, подробно прописанным, например, в анализе «Евгения Онегина» и в других ра-

<sup>8</sup> Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. М.: СПб., 2002. С. 658—675.

<sup>9</sup> Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 107.

<sup>10</sup> Любимая его работа (частично утерянная) делалась по архивным материалам, сразу после возвращения с фронта. В ней показано, что Карамзин в «Вестнике Европы» нередко выдавал за переводы свои вольные пересказы, намекающие на те или иные события, происходившие в России; так, под видом отклика на французские события он смог откликнуться на смерть Радищева.

ботах Лотмана) Со временем поиски расширились: от текста — к культуре в целом и ее порождающим механизмам; от понимания текста как манифестации языка — к представлению о тексте как порождающем свой язык. В круг интересов вошли нейросемиотика, миф и символ, общая риторика, «семиосфера» и «неравновесные системы». Культура стала трактоваться как сверхиндивидуальный интеллект, сознание — как двумерное и двухполушарное (по схемам бинарных оппозиций: логическое — мифологическое, дискретное — непрерывное), что предполагало и одновременно подтверждало аналогию семиотических структур с мозговой деятельностью. С середины 1980-х годов Лотман много внимания уделял методологии исторического познания и вопросу о возможности общего теоретического взгляда на культуру. Но эти вопросы никогда не ставились в пустоте абстракции, всегда — на том или ином конкретном материале.

### «Архаист или новатор»? Разрывы контекстов памяти

Практически мы имеем дело с двумя сценами, на которые проецируем память о Лотмане — это 1960–1970-е годы, когда укреплялась структуралистская составляющая в его творчестве, и современный период. Нам важно учесть эту дистанцию и сопоставить разные слои и уровни памяти, проясняя смысл лотмановской программы на фоне возможностей и запросов его времени, прежде чем перенести их в современный контекст. Эти различия контекстов могут показаться само собой разумеющимися, но, по сути, учитываются недостаточно, что порождает немало сложностей в работе с памятью о прошлом.

Нашу память о Лотмане нельзя назвать обширной: число монографий о нем во всем мире до сих пор можно пересчитать на пальцах. Однако за последнее десятилетие она пополнилась новыми публикациями его работ (вышедших при жизни и взятых из архивов), выходом в свет тома писем, появлением сборника исторических свидетельств о МТСШ<sup>11</sup>, основательным трудом Б. Ф. Егорова, на-

<sup>11</sup> Как известно, МТСШ объединяла людей разных профессий, которые вдохновлялись идеями кибернетики и теории информации, возможностью связно описать мир культуры — от карточной игры до самых сложных литературных произведений, в ней царил дух интеллектуального поиска и свободы от «социологического импрессионизма». Школа оформилась к началу 1960-х годов, а в середине 1970-х уже стала распадаться — часть людей эмигрировали, оставшиеся сосредоточились на более узких темах. Школа не была обычной институцией: организационно ее характеризовало, прежде всего, проведение тематических летних школ и выпуск серии Трудов по знаковым системам.

конец, рядом статей и монографий<sup>12</sup>. В этой памяти так или иначе перекрещиваются свидетельства людей разных поколений, разной степени близости к Лотману, разных ориентаций: коллег и учеников, «оставшихся» и «уехавших», ровесников ученого и нынешних аспирантов, никогда Лотмана не видевших. Свидетельства близких и «оставшихся», как правило, мягче и шире, чем свидетельства «дальних» и «уехавших»: они чаще подчеркивают преемственность проекта структурно-семиотических исследований и приверженность Школе. Свидетельства «уехавших» и некоторых «молодых» (теперь они уже не молодые), как правило, уже и жестче, они склонны к эмоциональным преувеличениям в своих рассказах о разрыве с прошлым. Все эти свидетельства, вместе взятые, формируют слой памяти о Лотмане в культуре. В постсоветский период появились мифические утверждения о чуть ли не господствующем положении Школы в советское время<sup>13</sup>. В целом внимание к Школе и в прошлом и теперь остается явно недостаточным. Иногда говорят: Лотман был велик, но Школы (в смысле сплоченной группы учеников) не создал. Это отчасти верно, но к созданию группы учеников он и не стремился, слишком уважая свою и чужую интеллектуальную свободу. Еще правильнее было бы сказать, что Школа была объединением людей, где учителя и ученики менялись местами, находя в этом и радость, и пользу<sup>14</sup>. В любом случае Лотман не равен Школе,

14 11.

<sup>12</sup> Ср.: Лотман Ю. М. и тартуско-московская школа. Лекции по структурной поэтике. Избранные статьи и выступления 1992—1993 гг. М., 1994; Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995; Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997; Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления / Сост. и ред. С. Ю. Неклюдова. М., 1998; Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. М., 1998; Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999; Чередищченко Н. Структурно-семиотический метод Тартуской Школы. СПб., 2001 (см. рец.: Зенкин С. Бой с тенью Лотмана // НЛО. 2002. № 53 (1). С. 340—347); Ким Су Кван. Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». М., 2003. Среди статей о Лотмане см.: Волкова Е. В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии. 2002. № 11; Она же. Эстетико-семиотический мир Ю. М. Лотмана // Вопросы философии. 2004. № 10; Эберт К. Семиотика на распутии. Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского // Вопросы философии. 2003. № 7. С. 44—55. Ряд ссылок на работы западных исследователей приводятся далее по ходу изложения.

<sup>13</sup> О разнообразных трудностях ее существования см.: Лотман Ю., Успенский Б. Переписка. М., 2008; скромным свидетельством сложности с распространением тартуских сборников служит и письмо Лотмана автору данных строк (см.: Приложение). Впрочем, представители МТСШ даже гордились малой доступностью издания, которое пользовалось большим спросом и в Советской России, и за рубежом.

<sup>14</sup> Киселева Л. Ю. М. Лотман — собеседник: общение как воспитание // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 598—611. Школа для Лотмана — «работа вместе»: «Это была Школа в высоком смысле слова — содружество единомышленников, где все участники (крупные лингвисты, литературоведы, фольклористы, искусствоведы, философы) являлись одновременно и учениками и учителями. Поэтому когда Лотман

и потому нередкие попытки вывести распад Школы из эволюции Лотмана (или наоборот) вряд ли можно считать правомерными<sup>15</sup>.

При этом вопрос о том, то ли мы помним, что действительно было, ставится, как уже говорилось, редко. А без этого легко принять позднейшие наслоения и вполне объяснимые превращения за достоверную картину прошлого. Но как добраться до тех следов, которые не введут нас в заблуждение? Ведь память о Лотмане и Школе конфликтна и фрагментарна — отчасти потому, что мы мало интересуемся проблемой исторической памяти и не пытаемся проверять на достоверность свои собственные свидетельства<sup>16</sup>. Была ли Школа «открытой» или «закрытой» («эзотеричной»)? либеральной или авторитарной? открытой к действительности или отгораживающейся от нее? Ответы на эти вопросы уже давались разные, в лучшем случае такие: авторитет был, но авторитарности не было; попытка отгородиться от напора официальной идеологии была (вплоть до прямых шифровок — «вторичные моделирующие системы» вместо «семиотика культуры»), но была и открытость вовне, жадный интерес ко всему новому, когда вживе общались люди самых разных дисциплин, а в публикациях соседствовали авторы самых разных эпох и культур. Момент эзотеричности, конечно, был, но не в силу принципиальной замкнутости идей или же их носителей, но в силу внешних условий существования нового направления в Советской России.

По сути, социальная позиция Лотмана и МТСШ была попыткой ухода от официальной идеологии и стремлением к разработке научного знания на пределе того, что может быть внятно и открыто сформулировано. А сейчас, глядя из нынешнего «прекрасного далека», критики нередко идеологизируют эту позицию в духе упрощенных схем «власти-знания». И тогда, в зависимости от установок пишущего, в Лотмане и МТСШ видят либо воплощение

---

пишет или говорит о средней школе, он говорит об идеальном месте общения, где осуществлялась преемственность культурного делания». Там же. С. 604.

<sup>15</sup> Среди лучших работ, посвященных Школе: *Тароп П.* Тартуская школа как школа // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 223—235.

<sup>16</sup> Эти вопросы были ярко поставлены А. Пятигорским: «Говоря о семиотике и семиотиках 60-х годов, необходимо четко различать две позиции. Первая, это то, что и как ты воспринимал тогда, с начала до конца 60-х. Т.е., это — память о тебе самом в той мере, конечно, в какой картина того времени восстанавлива, и в какой ты способен отличить твое восприятие семиотики и себя в ней тогда, от твоего восприятия той ситуации сейчас. Вторая позиция и есть то, что ты думаешь сейчас о первой и как ты это делаешь». Пятигорский называет это различие «элементарной феноменологией». Позиция исследователя, разумеется, не тождественна позиции реального участника событий, который воспоминает о прошлых событиях, хотя и участник может выступать как исследователь. См.: *Пятигорский А. М.* Заметки из 90-х о семиотике 60-х годов // Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления. М., 1998. С. 152.

«советско-корпоративного» сознания и знания<sup>17</sup>, либо, напротив, свидетельство радикального протеста против существующего порядка вещей<sup>18</sup>. В обоих случаях на первом плане — идеологизирующая интенция. Выяснять сложные перипетии в драматургии общения с властями — сложно, а тут ответ дан заранее: раз не сидел, значит сотрудничал, раз изучал структуры — значит, поддерживал status quo<sup>19</sup> и т.п. Но были, как отмечалось, и прямо противоположные тенденции. Так, в некрологе Лотману Ю. Кристева предложила яркий образ — трудолюбивой «колонии тартуских муравьев»<sup>20</sup>, никому не видных из Нью-Йорка или Парижа, но замеченных в Кремле («трещины в Берлинской стене»<sup>21</sup> возникли уже в начале 60-х годов, причем не без влияния этой подрывной работы<sup>22</sup>). По сути, в этом ей вторит К. Эберт: самое важное в семиотической концепции МТСШ — ее «субверсивность» по отношению к струк-

<sup>17</sup> Подорога В. А. Выступление в дискуссии «Философия филологии» (круглый стол) // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 89. Суждение о Лотмане и МТСШ как «советско-корпоративном» типе знания, «который принципиально не хочет иметь ничего общего с любыми другими интерпретациями текста и текстовых практик», как раз и представляет собой такое применение тенеалогии «власти-знания» Фуко на российской почве, но находится в границах дискуссионной корректности. Эту границу грубо нарушает организованное журналом «Логос» обсуждение нынешних судеб русской славистики в жанре постсоветского разноса, исходившее в основном из тех же самых посылок, но далеко вышедшее за рамки элементарных приличий: Руднев В., Иванов А., Кундичин Д. и др. Западная славистика на рубеже тысячелетий // Логос. Философско-литературный журнал. 2000. № 4 (25). С. 4—56.

<sup>18</sup> См.: Balcerzan E. Vers un réalisme sémiologique // Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE). 1995. № 13. P. 133—150. (Pour Iouri Lotman). Даже в самых нейтральных и обобщенных суждениях Лотмана польский исследователь готов увидеть некий «крипто-критический» смысл. Так как это — первое упоминание иностранного журнала с именем Лотмана, отмечу здесь, что написание его имени отличается неунифицируемым разнообразием в разных языках и культурных традициях. А потому пусть читатель не сочтет небрежностью оформления аппарата книги различия в инициалах Лотмана — I. (Iouri, Iury), J. (Jury), Y. Yu. (Yury) и др.

<sup>19</sup> Это утверждение — почти общее место. Отмечу, что с порядком и законом связана одна из любимых двойных оппозиций Лотмана: можно сказать, что одно ее звено указывает в сторону науки, а другое — в сторону идеологии: закон как противоположность хаосу — это порядок, закон как противоположность свободе — это принуждение. Лотману в любом случае был важнее порядок в хаосе, чем хаос в порядке, но он умел работать и с хаосом.

<sup>20</sup> Kristeva J. On Yuri Lotman // Publications of the Modern Language Association of America (PLMA). Vol. 109. May 1994. P. 375. Это, конечно, комплимент во французском стиле. Впрочем, идеологическое разделение революционности смысла структуралистских исследований — это не только французский перегиб. Ср. рецензию Р. Левако на американскую публикацию книги Лотмана «Семиотика кино». См.: Slavie Review (American Quarterly of Soviet and East European Studies). 1978. Vol. 37. № 4 (December). P. 725.

<sup>21</sup> Kristeva J. On Yuri Lotman. P. 375.

<sup>22</sup> Ibidem.

турам власти<sup>23</sup>. На самом деле Лотман и участники МТСШ не были ни диссидентами, ни пособниками власти имущих. Во всех своих начинаниях они проходили по той скользящей границе между наукой и идеологией, которая всегда существует в гуманитарном познании, независимо от того, что оно о себе думает. Лотман всегда был к ней внимателен и потому подчеркивал, что главным (для него и Школы) было не сопротивление власти, а продвижение к науке в «отталкивании от не-науки»<sup>24</sup>. МТСШ хотела быть «на переднем крае научной революции», и в этом старом лозунге, если принимать его всерьез, содержался мощный антиидеологический заряд. На борьбу с идеологической догматикой были направлены и новые методики, и новые понятия, и новые использования старых понятий, позволяющие анализировать сверхсложные объекты литературы и, шире, культуры — средствами теории информации, логики, структурной лингвистики, кибернетики.

В советской критике МТСШ ругали с методологической точки зрения — за редукционизм и механицизм, а с идеологической — за деполитизацию и дегуманизацию<sup>25</sup>. Набор критических упреков постсоветского времени более разнообразен, и к тому же теснее связан с личными пристрастиями пишущего. «Архаичному» Лотману противопоставляют герменевтику и феноменологию (например, А. Пятигорского), «продвинутый постструктурализм» (например, Б. Гаспарова), историософию одновременно с «рецептивной эстетикой» (например, В. Топорова). В целом программе МТСШ противопоставляют даже некий обобщенный «антисциентизм»<sup>26</sup>. Иногда говорят, что в советский период МТСШ была обречена на своего рода «ненормальную» науку, не применявшую обычных для науки способов оспаривания идей, и это отчасти справедливо: причина этого, однако, в том, что «нормальных» условий для такого оспаривания не существовало.

<sup>23</sup> Ср.: «...значение семиотики культуры основывается прежде всего на ее субверсивности в рамках правящей советской системы». *Жерт К.* Семиотика на распутье: Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского // Вопросы философии. 2003. № 7. С. 46.

<sup>24</sup> Структуралисты-семиотики не ставили целью подрыв существующего строя: «это было как раз отталкивание от НЕ-НАУКИ — К НАУКЕ!» (пунктуация и выделение заглавными буквами принадлежит автору) // *Лотман Ю. М.* Зимние заметки о летних школах // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 297.

<sup>25</sup> Сам Лотман рассказывает об этом, например, в своих воспоминаниях: *Лотман Ю. М.* Не-мемуары // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 47. Применительно к изучению этого периода не потеряла своей актуальности книга Энн Шукман: *Shukman A.* Literature and Semiotics. A Study of the Writings of Yu. M. Lotman. Amsterdam; N. Y., 1977.

<sup>26</sup> В обобщенном виде эта тенденция представлена в кн.: *Чередниченко И.* Структурно-семиотический метод Тартуской Школы. СПб., 2001.

В наши дни Лотмана и МТСШ иногда упрекают в недостаточно эффективной рефлексии и как следствие — в смешении метода и объекта, метода и теории, в непроясненном статусе понятия модели<sup>27</sup>. Например, когда речь идет о бинарных оппозициях, неясно, имеется ли в виду реальность, осмысление реальности или же модель на «метауровне». Так, А. М. Пятигорский отмечает в МТСШ общую тенденцию к онтологизации метода (и следовательно натурализации объекта) и видит ее в понятии «семиосферы» у позднего Лотмана<sup>28</sup>. Правда, немало и тех, кто приветствует такой онтологизирующий ход мысли как более современный, нежели какая бы то ни было методология. Во всяком случае, говоря о бинарных и тернарных оппозициях, Лотман, в зависимости от ситуации и конкретных задач, действительно подразумевает при этом то познавательные модели, то способы описания тех или иных жизненных установок, то сами жизненные установки (например, у него можно встретить мысль о том, что бинарное мышление устремляется к недостижимым идеалам, а тернарное — нацелено на более реалистический контакт с действительностью, сохраняющий свою устойчивость при различного рода преобразованиях). Однако эти аспекты остаются нерасчлененными, что подчас сбивает читателя с толку. Так, в одном немецком журнале по семиотике украинский автор призывает бывшие страны советского пространства устремиться вперед — к тернарной логике, выполняя заветы Лотмана!<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Об этом писал, в частности, А. М. Пятигорский, но также другие исследователи. Так, Р. З. Беллэп (R. Belknap) в своей рецензии на переиздание «Структуры художественного текста» в США (Slavic Review или, иначе, American Quarterly of Soviet and East European Studies, 1972. Vol. 31. № 4. P. 87), утверждает, что лотмановской концепции не хватает эпистемологической четкости, что в ней не проводится достаточно четкого различения между структурой как абстрактным объектом и структурой как эмпирическим объектом. В общей форме методологические сложности с понятием модели у Лотмана и в МТСШ рассматриваются, в частности, в работах: Blaim A. Cultural Semiotics — the Uses of a Theory // Russian Literature, 1994. XXXVI. P. 243—254; Grzybek P. The Concept of « Model» in Soviet Semiotics // Ibid. P. 285—300.

<sup>28</sup> Пятигорский А. М. Заметки из 90-х о семиотике 60-х годов // Московско-тартуская семиотическая школа. История, Воспоминания. Размышления. С. 154. «Сейчас я думаю, что эта именно неосознаваемая нами тогда онтологизация метода неизбежно должна была нас привести к натурализации объекта — пределом чего и явилась лотмановская идея *семиосферы* (уже в 80-х годах)». Пятигорский выводит из этого наблюдения далеко идущие следствия, которые касаются возможностей семиотического исследования и внутри собственной культуры: «Внутреннего наблюдателя культура все равно пересилит: он станет либо натуралистом, либо историософом» // Там же. С. 155.

<sup>29</sup> Pochepstov G. Neuere Überlegungen Lotmans zur Zeichendynamik // Zeitschrift für Semiotik. Bd. 15. H. 3—4 (1993). S. 345—351. Ср.: Eismann W., Grzybek P. Nachruf auf Juri Lotman // Zeitschrift für Semiotik. Bd. 16. H. 1—2. S. 105—116. (In memoriam: J. M. Lotman, 1922—1993.)

А некоторые методологические пустоты читатели и критики подчас заполняют достаточно произвольными утверждениями: например, о Лотмане как последователе Хайдеггера<sup>30</sup> или герменевтики, ставящей акцент не на познание, а на переживание<sup>31</sup>, и т.д. и т.п.

Другой важнейший разрыв контекстов между двумя структурализмами, советским и французским, можно связать с использованием языка для познания других гуманитарных объектов. Лотман читал и изучал современных ему французов (во всяком случае, Леви-Строса и Барта<sup>32</sup>), но из-за своего невыездного статуса ни с кем из них никогда не встречался. Напомним, что французский структурализм, можно считать, начался в 1943 году, в момент встречи в Нью-Йорке Jakobson и Леви-Строса, тогда как в СССР он все еще был под подозрением даже в начале 1960-х годов, а «семиотика» (в немедицинском смысле слова) — практически под запретом. Когда Борис Михайлович Гаспаров, сам участник МТСШ, а потом ее ярый критик, с горькой иронией говорил о провинциальности и неразвитости советской семиотики, оставшейся «смесью структуральной поэтики, социальной психологии и антропологии»<sup>33</sup>, это было отчасти в чем-то справедливо. В качестве образца передовой науки он предлагал при этом Фуко или Барта, это было уже вполне субъективно. Постструктурализм, к которому можно отнести Фуко с 1970-х годов и позднего Барта, был уже не столько работой с языком — объектом или методом (именно такую работу мы видим в МТСШ) — сколько использованием языка метафорически или вовсе отказом от языка как опоры, равно как и отказом от ранних установок французского структурализма на науку. Иначе говоря, упосение лингвистической методологией в МТСШ совпало по времени с разочарованием в этой методологии во Франции. Но этот вопрос не решается однозначным определением победителя. В любом случае познаватель-

<sup>30</sup> Goury M. Quelques unes des dernières perspectives de recherches de I. Lotman // *Théorie. Littérature. Enseignement (TLE)*. 1995. № 13. P. 107—113. (Pour Iouri Lotman.) М. Гур настаивает на «объективной близости взглядов исследователя к экзистенциалистской философии XX века и особенно — философии Хайдеггера» (*Ibid.* P. 112).

<sup>31</sup> Трактовку лотмановской эволюции как «перехода от структурализма к герменевтике», фактически устанавливающего знак равенства между объяснением и переживанием текста, см.: Balcerzan E. Vers un réalisme sémiologique // *Théorie. Littérature. Enseignement (TLE)*. 1995. № 13. P. 147. (Pour Iouri Lotman.)

<sup>32</sup> См.: Приложения. Письмо: Ю. М. Лотман — Н. С. Автономовой от 23 февраля 1978 года.

<sup>33</sup> Из предисловия Бориса Гаспарова к изданию: Lotman Iury M., Ginsburg L. Ya., Uspensky B. A. *The Semiotics of Russian Cultural History*. Cornell UP, Ithaca and Lnd., 1985. P. 16. Цит. по рецензии Д. Шеперда (Shepherd D.) // *The Slavonic and East European Review*. 1986. Vol. 64. № 3. P. 453—456.



ные ситуации в Советской России и во Франции были типологически несоизмеримыми<sup>34</sup>, несмотря на близость развиваемых идей.

Казалось бы, все ясно хотя бы с отношением Лотмана к формализму. Как заметила одна исследовательница, МТСШ «реабилитирует непризнанный тогда русский формализм в формах научной кибернетики». Так ли это? Формалисты сосредоточивали внимание на форме; они считали, что содержание заслуживает равного внимания, однако, обращаясь к содержанию, теряли свою методологическую специфику и, можно сказать, переставали быть «формалистами» (так, вполне в духе традиционного литературоведения Тынянов писал о Пушкине, а Эйхенбаум о Льве Толстом). Как понять Лотмана на фоне формализма? Ясно, что он многое берет у В. Проппа, наследуя тыняновско-пропповскому варианту формализма<sup>35</sup> и одновременно — Пражскому лингвистическому кружку<sup>36</sup> (этот аспект влияний заслуживает отдельного изучения). Однако значимая для Лотмана тыняновская версия формализма — это уже как бы и не формализм, а скорее «предструктурализм» (как считает В. Эрлих), предполагающий критику формализма<sup>37</sup>. Тогда получается, что Лотман — скорее «постформалист» (или, по Кристевой, — последователь «постформалиста» Бахтина). Эти ветвящиеся цепочки уточнений затрагивают не только отдельных персонажей, но и целые направления: так, по П. Стейнеру, например, формализм — это не школа с очерченной программой, но скорее некий «межпарадигмальный» период в истории науки<sup>38</sup>. Таким образом, точно указать место Лотма-

<sup>34</sup> По другим причинам не был настроен на восприятие Лотмана американский семиотический контекст: американская семиотика (в отличие от европейских постсоосюрровских семиотик) более индивидуалистична и прагматична. Содержательный обзор рецензий Лотмана и МТСШ в англоязычных странах см.: *Баран Х.* Рецензия Московско-Тартуской Школы в США и Великобритании // Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления. С. 246—275. Зато у позднего Лотмана американские авторы с удовольствием обнаруживают прагматистские мотивы. «Культура и взрыв», например, трактуется как «новый политически мотивированный дискурс», в котором можно видеть попытку построения «прагматически ориентированной модели». См.: *Delcheva R., Vlasov E.* Lotman's «Culture and explosion»: a Shift in the Paradigm of the Semiotics of Culture // *The Slavic and East European Journal*. 1996. Spring. Vol. 40. Issue 1. P. 148—152.

<sup>35</sup> *Brown E. J.* Rev. on: Yury Lotman. *Analysis of the Poetic Text*. Ann Arbor, 1976 // *Comparative Literature*. Eugene, Oregon, 1978. Vol. XXX. № 2. P. 268—270.

<sup>36</sup> *Belknap R. Z.* Рецензия на репринтное издание в США «Структуры художественного текста» Ю. М. Лотмана // *American Quarterly of Soviet and East European Studies* (= *Slavic Review*). 1972. Vol. 31. № 4. Dec. P. 87.

<sup>37</sup> *Winner T. G.* Prague Structuralism and Semiotics: Neglect and Resulting Fallacies (in memoriam J. M. Lotman) // *Semiotica*. 1995. Vol. 105—3/4. P. 243—276.

<sup>38</sup> *Steiner P.* *Russian Formalism. A Metapoetics*. Ithaca, N. Y., 1984.

на в культуре оказывается непросто даже на фоне тех историко-культурных вех, которые кажутся почти очевидными. В поисках некоей синтезирующей позиции американский исследователь Дж. Холквист утверждает даже, что теоретические взгляды Лотмана парадоксально «узаконивают» все то, что достойно сохранения в позициях главных спорщиков продуктивного литературоведения 1920-х годов — с одной стороны, формалистов, с другой, — бахтинского кружка<sup>39</sup>. Во всяком случае, хотя бы одно четкое отличие структурализма от формализма можно назвать: в отличие от формалистов структуралисты пытались и содержание анализировать структурно; именно такими были и установки Лотмана в подходе к конкретному материалу.

### Поздний Лотман

Возникает впечатление, что и в России и на Западе многие просто не знают, что делать с Лотманом, куда его поместить, как его осмыслить. Эта противоречивость оценок лавинообразно нарастает по отношению к позднему творчеству Лотмана. Многие — и бывшие сторонники, и бывшие противники Лотмана — считают, что за последнее десятилетие его жизни он стал другим. Его-де стали интересовать уже не структуры, но динамика непредсказуемых процессов, не передача информации, но (вслед за Бахтиным) диалогическое общение, в частности, общение между людьми и текстами и т.д. и т.п. Вследствие этого некоторые доброжелательно настроенные к Лотману представители постструктурализма пытаются приспособить его к себе, подчеркивая сходство позднего Лотмана с некоторыми тезисами постструктуралистской программы. Так, одна американская феминистка утверждала даже, что не только в 1990-е, но уже в 1980-е годы Лотман фактически построил свой, русский вариант постструктурализма<sup>40</sup>. Вы спросите, как именно это было сделано? Прежде всего — через оживление органицистской метафоры, через Пригожина с Вернадским<sup>41</sup>, но также и через движение навстречу Бахтину с его диалогом. При таких подходах «системная семиотика» Лотмана растворяется между не вполне ясными очер-

<sup>39</sup> Holquist J. M. Review on: Lotman Yu. *Analysis of the Poetic Text*. Ann Arbor, 1976 // *The Slavonic and East European Review*. 1977. Vol. 36. № 2. P. 240—242.

<sup>40</sup> Mandelker A. *Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin, and Vernadsky*. PMLA=Publications of the Modern Language Association of America. 1994. Vol. 109. May. P. 385—396.

<sup>41</sup> Abrioux Y. *Système sémiotique, système dynamique: note sur Lotman et Prigogine* // *Théorie, Littérature, Enseignement. (TLE)*. 1995. № 13. P. 115—132. (Pour Iouri Lotman). Об этом пишут также М. Гур, Р. Делчева и Э. Власов, Э. Мэнделкер и др.

таниями формализма и безбрежным морем постструктурализма (и постмодернизма). Фактически многие современные трактовки Лотмана либо противопоставляют ему иные подходы (феноменология, герменевтика), либо исходят из того, что поздний Лотман, искупив грехи структуралистской молодости, сблизился с постструктурализмом и постмодернизмом. Я не могу согласиться ни с первыми, ни со вторыми. Проясняя смысл его программы и находя в ней значимые линии преемственности, мы сможем вырвать его из объятий тех, кто приукрашивает его каждый на свой лад.

Среди поздних работ именно книга «Внутри мыслящих миров», собственноручно подготовленная Лотманом, представляет собой наиболее надежный текстовый документ<sup>42</sup>. Она четко структурирована и гармонично выстроена, подытоживая прежние темы и вводя новые. Автор пользуется своей эрудицией не ради самоутверждающей власти над потоком ассоциаций, но ради углубления связной картины жизни и культуры, которой он делится с каждым, кто хочет его слышать. Для всего позднего творчества Лотмана эта книга — камертон настройки внутреннего слуха; было бы хорошо, если бы им смогли воспользоваться и его исследователи.

Средоточием нового у Лотмана обычно видится «Культура и взрыв» (1992)<sup>43</sup>. Эта книжка, с которой связывается больше всего притязаний на Лотмана-постструктуралиста, была надиктована тяжело больным Лотманом и создавалась в смутное и тревожное время. Главный ее вопрос — о соотношении постепенных и взрывных процессов в истории и в культуре. Основные темы книги таковы: первичность реальной множественности языков над абстракцией одного языка; значение собственных имен в культуре; роль промежутка между физиологическим раздражением и отсроченной реакцией для становления человеческого сознания и культуры (это побуждает к работе память и заставляет вырабатывать знаковые системы); механизм исторического обращения непредсказуемого в единственно возможное; небуквальность отображения жизни в искусстве; роль искусства как механизма упорядочения бесконтрольных возбуждений и как способа познания свободы — в поведении и мысли и др. Лотман в очередной раз противопоставляет европейское (тернарное) и русское (бинарное) мышление и высказы-

<sup>42</sup> Лотман Ю. М. *Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История*. М., 1996. Указанная работа представляет собой русский текст книги, написанной специально для лондонского издательства I. B. Tauris & Co. Ltd. (*Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Culture* / Translated by A. Shukman / Introduction by U. Eco. London; N. Y., 1990.). Книга выросла из статей 1960—1980-х годов. Русское издание основывается на рукописи, предоставленной английскому издательству, но учитывает черновые варианты текста из архива Ю. М. Лотмана.

<sup>43</sup> Лотман Ю. М. *Культура и взрыв // Он же. Семиосфера*. СПб., 2001.

вает надежду, что современная эпоха в России сумеет выработать менее катастрофические структуры ценностей и схемы, в которых, условно говоря, «рай» и «ад» имели бы реальное и прочное опосредование: такие тернарные структуры представляются ему более устойчивыми, менее подверженными разрушению<sup>44</sup>. Однако, в какой мере можно считать эти вопросы «постструктуралистскими»?

На самом деле, впечатление о радикальной новизне позднего Лотмана может возникнуть, если смотреть на него извне. Если же погрузиться в собственные работы Лотмана и вновь пройти шаг за шагом по главным этапам его исследовательской биографии, тогда образ нового Лотмана-постструктуралиста (или же Лотмана-общенца и диалогиста) вряд ли будет убедительным. То, в чем видится радикальное изменение, окажется скорее новым акцентом, сдвигом внимания, иногда новым способом выражения мыслей, более близким к привычкам сегодняшнего дня (кто сейчас говорит про кибернетику?), но, во всяком случае, не отказом от принципов работы, которые сложились в 1960-е годы и уточнялись в течение всей жизни.

Средоточие всего в данном случае — это вопрос о взрывных процессах. Строго говоря, взрывные и постепенные процессы никогда не существуют друг без друга, хотя для современников они всегда становятся предметом самых жестоких споров; лишь историк может увидеть в этих противоположных тенденциях нечто взаимно необходимое. В истории мы наблюдаем и чередование взрывных и постепенных этапов, и сосуществование их в одном времени — когда разные пласты культуры развиваются с разной скоростью. Взрывные процессы связаны и с рождением нового, с творческим преобразованием существующего. Лотман считает, что взрывные процессы относятся прежде всего к сферам искусства и науки, а предсказуемые — к сфере техники, где мы, как правило, имеем дело с ожидаемыми результатами.

Главная область, в которой Лотман черпает свои примеры взрывных и постепенных процессов, — это, конечно, история литературы. Так, в статье «О русской литературе классического периода» можно

<sup>44</sup> Тернарную модель Лотман видел прежде всего в культурах Западной Европы. Характерным примером тут была сотериологическая триада «ад — чистилище — рай». В русском учении о спасении срединное понятие чистилища отсутствует: поэтому в нем невозможно отстранять положенное и при положительном балансе грехов и добрых дел, очистившись, получить допуск в царство праведников; в нем нет элементов формальной логики и римского права, без которых невозможны ни идея взвешивания всех «за» и «против», ни идея разрешения противоречий путем их расщепления на меньшие противоречия и др. Однако примеры тернарных структур можно видеть и в русской культуре. Такова схема дурак — умный — сумасшедший. Первый постоянно нарушает канон поведения, второй — ему соответствует, а третий ведет себя как попало, не зная канона. Как правило, тернарные схемы представляют собой результат взаимоналожения двух бинарных.

видеть своего рода ключ к «Культуре и взрыву». В мире чередуются эпохи эволюции и взрыва, но в литературе проследить их интереснее, чем, скажем, в космогонии, так как литература не только существует, но и осмысляет себя: переживая взрыв, она описывает себя словесно — как продолжение прошлого или как отталкивание от него, но никогда не как гром с ясного неба. Тем самым литература выступает в культуре как один из механизмов превращения случайности в закономерность: то, что вчера было случайным, становится закономерным и ретроспективно осмысливается как необходимость. В последних статьях Лотмана фактически показано, как тексты накапливают в себе и возле себя все новые и новые отношения и в этом смысле могут рассматриваться не только как источники, но и как получатели информации. Лотман здесь подробно рассматривает систему отношений общения — между адресантом и адресатом, между аудиторией и культурной традицией, между читателем и текстом, наконец, и отношения читателя с самим собою через посредство текста.

Свой содержательный акцент каждый раз получает эта проблематика в самых последних его статьях<sup>45</sup>. Так, в статье о духовном и светском рассматриваются взломы Петровских преобразований, процессы секуляризации и замены духовного авторитета светским — фигурой поэта — со всеми вытекающими из этого для русской культуры следствиями. В тезисах о семиотике русской культуры прослеживается разница между переживанием исторических катастроф их современниками и реконструкцией пути их постепенного возникновения в трудах историка. То, что кажется нам случайностью, возникает вследствие взаимоположения различных типов причин: так, в «Медном всаднике» природная регулярность петербургских наводнений становится воплощением нерегулярной, мстящей стихии, противостоящей стройности петровского государственного проекта. 1990-е годы, когда Лотман пишет свои последние статьи, сами раздираются противоречиями, и Лотман переживает их и как современник, и как историк. Он знает, что те процессы, которые в Европе охватывали несколько столетий, в России всегда сплющивались в сжатых пространствах и сокращенных временах, а те задачи, которые решались по очереди, порождали вихрь противоречий и клубок разнонаправленных тенденций. И опять во взрывном есть закономерное:

<sup>45</sup> См., в частности, самые последние статьи 1992—1993 годов: *Лотман Ю. М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция; О русской литературе классического периода. Вводные замечания; Тезисы к семиотике русской культуры (Программа изучения русской культуры); Смерть как проблема сюжета* // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. Ср. также: *Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста* // *Он же. Избранные статьи*. В 3 т. Т. I. Таллинн, 1992—1993.

обычное для русской культуры чередование центробежных и центростремительных тенденций оборачивается заострением центробежности, приводящей к образованию устойчивых единств.

По-новому рассматривается в поздних работах тема смерти. Рассуждения о смерти есть и в «Культуре и взрыве», и в «Мыслящих мирах», и в ряде статей. В статье «Две "Осени"» сравниваются «Осень» Баратынского и «Осень» Пушкина. Между ними существует «взаимная диалогическая» связь. Баратынский, вероятно, имел возможность познакомиться с еще не напечатанным пушкинским текстом, а гибель поэта повлияла на оформление окончательного варианта его стихотворения, став подтекстом его трагических интонаций. Статья «Смерть как проблема сюжета»<sup>46</sup> иллюстрирует «Культуру и взрыв» на конкретном материале. Все прошлое ретроспективно видится как область детерминированной ясности и плавной эволюции, а все настоящее — как область непредсказуемой случайности. Что же касается настоящего, то оно может приобретать черты более эволюционные или более взрывные — в зависимости от направления нашего взгляда. Как элемент сюжета смерть важна тем, что она прерывает процесс жизни и позволяет окончательно осмыслить то, что уже завершено. И вместе с тем эта возможность осмысления обедняет прошлое, заставляя нас выбирать из всех возможных путей лишь тот, что оборвался в момент смерти (такова судьба Ленского). Смерть важна как возможность осмыслить прошлое, но она не позволяет нам смириться с итогом, требует выдумать нечто такое, что могло бы дать безысходности ее шанс возрождения. В свои 70 лет Лотман писал о смерти не только как о проблеме сюжета, и мы это чувствуем, несмотря на его образцовую сдержанность.

Среди новых слов и понятий позднего Лотмана — «взрыв», динамические процессы, непредсказуемые изменения, сдвиги в сторону диалога и др. Идея «взрыва» у позднего Лотмана иногда соседствует со ссылками на книгу И. Пригожина и И. Стенгерс, озаглавленную в русском переводе «Порядок из хаоса»<sup>47</sup>, на некоторые сюжеты Рене Тома, на куновскую смену парадигм и др. Однако «взрыв» — это метафора, а не «философское понятие»,

<sup>46</sup> Она вошла в книгу «Внутри мыслящих миров».

<sup>47</sup> Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. Нередко из этого сближения исследователи Лотмана делают далеко идущие следствия. Однако аналогия между неравновесными процессами в химии и в сфере культуры — слишком условна, окружающая среда в естественных науках и семиотике в культуре — далеко не одно и то же, даже если между химическими процессами, в которых невозможно предсказать направленность будущего состояния, и общественными процессами, в которых царствует непредсказуемость, имеются сходства. См.: Abrioux Y. Système sémiotique et système dynamique: note sur Lotman et Prigogine // Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE). 1995. № 13. P. 115—132. (Pour Iouri Lotman.)

и Лотман сожалеет об этом. Взрывами, вспышками Лотман называл, например, моменты интенсивного научного творчества — Ренессанс или Просвещение. Именно взрывом он называл и тот огромный выброс творческой энергии, которым отмечен ранний период существования тартуско-московской школы<sup>48</sup>. Взрыв в индивидуальном творчестве Лотман связывает с понятием вдохновения, когда момент максимальной восприимчивости к впечатлениям и момент максимальной способности к выражению этих впечатлений совпадают (таково «вдохновение» у Пушкина). При этом практически везде, где речь идет о взрыве, подчеркивается и фундаментальная роль постепенных процессов, которые в известном смысле менее исследованы и труднее постижимы, чем взрывные, ибо они не предполагают яркой смены качеств, а иногда выглядят как культурный застой. Но если так, то где здесь радикальная перемена в программе?

Скорее можно говорить здесь о сдвиге исследовательского внимания. Для Лотмана — историка литературы — развитие, динамика были важны изначально. Семиозис тоже присутствовал у него с самого начала, если понимать его как изучение жизненного пространства, в котором человек пользуется знаками. В исследовании художественного текста, описывая каждое произведение как структуру, основанную на дихотомиях, он всегда подчеркивал, что она никогда не существует изолированно и всегда воспринимается на определенном культурном фоне, в определенной динамике восприятия. Даже в самый момент создания литературного произведения его элементы так или иначе соотносятся с нормой и нарушениями нормы, т. е. с запасом культурного опыта, предшествующим произведению, — и в авторе, и в читателе. Так что можно утверждать, что Лотман не покидает почву структурализма и семиотики, но переносит свои исследовательские усилия в тот просвет, где они непосредственно соприкасаются с миром истории и культуры.

В общем, Лотман выбирает и строит свой объект сообразно со своим собственным пониманием жизни и культуры. Цельность и сдержанность для него важнее разорванности и внешних бурь. спокойное движение мысли важнее яркости переживаний. При этом он не обременяет других своими проблемами, но ставит их, прежде всего, перед самим собой. Антитеза эволюции и взрыва была для него поводом для выработки более объемного взгляда на вещи, и этот процесс переосмысления не имел и не имеет конца. В поздних сочинениях у Лотмана вспыхивает вкус к метафоре

<sup>48</sup> «Не-мемуары», надиктованные в 1992 году, — это замечательные воспоминания о войне: Лотман Ю.М. Не-мемуары // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1994. С. 47.

и к личностным высказываниям, он оставляет ту нейтральность выражений, которая была правилом в его более ранних трудах по истории и семиотике культуры. Однако, вопреки существующему мнению, вряд ли можно сказать, что в «Культуре и взрыве» Лотман говорит с нами как пророк: скорее он спешит договорить то, что не успел сказать, или повторить то, что считает особенно важным.

\* \* \*

А теперь посмотрим: что же у нас получается? Конечно, Лотман менялся, как человек и как мыслитель, однако, несмотря на все сдвиги, в нем активно существовала структурная составляющая его исторических интересов. Мы видим, что внимание к динамике есть и в ранних статьях Лотмана, а ориентация на науку и объективность познания присутствует и в поздних. Так, уже в ранних статьях есть элементы, которые многим могли бы показаться «пост-структуралистскими». Например, понятие взрыва, которое многие критики связывали с перестройкой, с распадом культурных ценностей, на самом деле обнаруживается в его творчестве уже в начале 1970-х годов и относится к давним эпизодам в истории человечества<sup>49</sup>. Далее, уже в ранних работах речь идет не только о структурах, но и о самом процессе структурирования, не только о функционировании знаковых систем, но и о семиозисе как динамике означивания в культуре. Он трактует естественный язык не просто как структуру или некий образец структурности, но шире — как то, что обеспечивает его носителям «интуитивное чувство структурности» — ощущение целого в культуре, окружающем мире. И вообще неструктурное трактуется как важный фактор культурной динамики, а неорганизованное — как условие, обеспечивающее культуре «емкость и динамику, неизвестные более стройным системам». При этом, выступая за науку и за структуру, он никогда не боялся никакой ненаучности и никакой неструктурности и в том, что культуры должны быть «динамичными системами», никогда не сомневался. Это связано с тем, что человек включен в более подвижный мир, нежели окружающая природа, и его образ жизни постоянно меняется. Конечно, эта динамика не всегда осознается носителями культуры (нет поколения, которое бы не стремилось так или иначе увековечить привычное ему состояние культуры), однако в целом

<sup>49</sup> Например, в совместной с Б. А. Успенским статье «О семиотическом механизме в культуре» читаем: «...можно полагать, что человечество пережило длительный доисторический период, в котором временная протяженность вообще не играла роли, ибо не было развития, и только в определенный момент проишел тот взрыв (курсив мой. — Н. А.), который породил динамическую структуру и положил начало истории человечества». Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме в культуре // Ю. М. Лотман. Избранные труды. В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 341.



динамика в культуре царит и преобладает — только это не динамика хаоса, но динамика, понять которую можно лишь в виде сменяющих друг друга или сосуществующих систем.

На фоне этой общей картины у Лотмана прочерчивается постоянный вектор, устойчивая ориентация. Существует внутренний критерий, который не позволит нам спутать структурализм и постструктурализм, даже если они иногда оказываются близки. В общем виде можно сказать, что структурализм искал порядок и в хаосе, а постструктурализм ищет хаос и в порядке. Системное и несистемное есть и там и тут, но акцент структурализма — на системном, а акцент постструктурализма — на несистемном. И это различие — принципиальное. Когда нам говорят, что узкий и догматичный структурализм умер, мы уточняем: такого структурализма никогда не существовало, а умерла лишь наша узкая и односторонняя абстракция. Хотя Лотман был последовательным структуралистом, он работал на границе метода, напрягал и растягивал его, выявляя его новые возможности. Анализ непредсказуемого не противоречит структурно-семиотическому подходу и не исключает его. Более того: чем тоньше и гуще сетка категорий, тем лучше видно непредсказуемое.

В одной из доброжелательных работ о Лотмане<sup>50</sup>, подводится такой итог. 1960-е годы прошлого века (вместе с выходом книг Лотмана на основных европейских языках) были для Лотмана периодом мировой славы. 1980—1990-е годы были связаны с падением популярности, критикой МТСШ снаружи и изнутри. Когда стали возможны поездки за границу, то, что некогда было новым, оказывалось для слушателей почти общим местом. Да и кому сейчас нужна семиотика? — вопрошала итальянская исследовательница в середине 1990-х годов<sup>51</sup>. Получается, что преданными почитателями Лотмана остаются в итоге Эстония и Финляндия. Однако, думаю, это не так. О Лотмане выходят работы и в Италии, и в Германии, где с 1993 года в Бохуме функционирует Институт русской и советской культуры им. Ю. М. Лотмана. Во Франции где в 1970—1980-е годы структуралистский этап сменился иными подходами, в наши дни намечаются новые познавательные тенденции, в чем-то более соразмерные главным лотмановским интересам<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Voigt V. In memoriam of «Lotmanosphere» // *Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies*. 1995. Vol. 105, № 3/4. P. 191—206.

<sup>51</sup> Salvestroni S. La dimensione temporale e lo sviluppo della conoscenza nell'opera letteraria: La proposta teorica dell'ultimo Lotman // *Strumenti critici*. Anno XI, gennaio 1996. P. 409—431.

<sup>52</sup> Так, представитель новых тенденций в семиотике Жан Фонтаний (его работы стали переводиться и в России), глава Лиможского семиотического центра, пропагандирует работы Лотмана, организует их перевод во Франции (ср.: *Lotman Y. La sémiosphère*. Limoges, 1999).

Лотман учился и жил в советскую эпоху, он увидел ее конец и ярко выразил мечту о том, чтобы в русской культуре смогли, наконец, выработаться менее катастрофические способы переживания истории, чем отказ от всего и пересоздание отринутого с нуля, и более надежные системы ценностей. Лотман считал себя просветителем. Он сожалел о том, что в России судьба просветительства была трудной и во многом не удалась. Человек, изучавший дворянскую культуру и восхищавшийся дворянской культурой, он менее всего был склонен к монархизму или реставрации утраченных ценностей. Ему хотелось лишь, чтобы нынешняя эпоха смогла построить, сформулировать и воплотить столь же связный, вразумительный и достойный набор человеческих ценностей, как это было в дворянской культуре его любимого преддекабристского периода. Раньше вокруг него было много людей с философскими интересами, а сейчас такого не скажешь. Лотман погружается в забвение, но он нужен нам сейчас, и потому мы извлекаем его из этой памяти-забвения и помещаем в память осмысления и реактуализации. Лотман — наш значимый современник, не позволяющий нам забыть о том, что познание и доступная нам степень его объективности есть выражение достоинства человека, а не свидетельство его идеологического поражения.

А теперь рассмотрим подробнее несколько конкретных вопросов. Мы начнем с публикации доклада Гаспарова о Лотмане (с моими комментариями), а затем рассмотрим случаи своеобразной концептуальной «неопределенности» некоторых лотмановских позиций и, наконец, проблему перевода, которую Лотман ставит с удивительной широтой, оставляя нам обширное поле для дальнейшего изучения.

## § 2. Из архивов недавнего прошлого: Гаспаров о Лотмане

Здесь представлен текст доклада М. Л. Гаспарова на Седьмых Лотмановских чтениях в 1999 году, ранее не публиковавшийся, а в следующем параграфе — мои ретроспективные комментарии. На этих чтениях мы сделали доклад на общую тему — «Лотман о культурной памяти и культурная память о Лотмане», представленный в виде двух авторских текстов. Мой доклад был отчасти использован в содержании предыдущего параграфа, так что здесь я привожу только доклад Гаспарова, чтобы лучше оттенить линию взаимодействий между разными персонажами этой книги.

Мы знаем, как представлял нам Ю. М. Лотман культурную память — как творческую. Культурный опыт кристаллизуется в культурных кодах, от приложения новых кодов к старым текстам рождаются новые смыслы, и в результате Гамлет XIX века сохраняет мало общего с Гамлетом 1600 г. Сейчас время течет быстро и коды обновляются быстро. «Уже потомство настанет» (или, как не менее красиво говорил Козьма Прутков, «наступает история»); сам Лотман становится объектом культурной памяти, т. е. объектом переосмысления. Уже при его жизни является следующее поколение со своим новым культурным кодом: постструктурализмом. И торопится выяснять свои отношения с Лотманом, структурализмом и семиотикой, потому что чувствует, что его собственный век тоже будет недолог. Об этой попытке первого переосмысления Лотмана потомством, главным образом, и будет речь.

Постструктурализм вырос из структурализма. Как когда-то реализм вырос из романтизма — как ветка, взбунтовавшаяся против своего ствола. Расцвел он во Франции после 1968 г. и, кажется, уже заканчивает свой путь. Его отталкивание от структурализма можно свести к четырем пунктам: главными для него оказываются (1) не дискретность, а непрерывность, не синхронические застывшие срезы действительности, а текущие промежутки между ними; (2) не функционирование готового, а творчество нового; (3) не системное, объективное, а индивидуальное, субъективное; (4) не рациональное, а эмоциональное, в конечном счете — бессознательное. Социальная почва этого протеста понятна: западное общество уже достаточно структурно и устойчиво, чтобы питать даже тех, кто бунтует против этой структурности. Лотман писал, что патриархальная устойчивость ценится, главным образом, в пору общественных катаклизмов; вот так и наоборот, творческий хаос на Западе ценится в пору социальной устойчивости. В России, как всегда, наоборот. Структурализм в 1960-х годах у нас развился из стремления противопоставить неразумным структурам, жестко управлявшим нами, разумные структуры, управлявшие всем миром и нашими неразумными структурами в том числе. (Западные критики этого понять не могли и упрекали наших структуралистов в недостаточной революционности). А нынешняя мода на постструктурализм у нас развилась из стремления противопоставить неприятному хаосу, в котором мы сейчас живем, приятный

<sup>53</sup> Нижеследующий текст — электронная версия доклада Гаспарова на Седьмых Лотмановских чтениях, проведенных ИВГИ при РГГУ в 1999 г. В тексте в основном сохранена авторская орфография, пунктуация, способы сокращений.

хаос, который мы создаем воображением. По-видимому, мы слишком привыкли вышибать только подобное подобным.

С этой точки зрения постструктуралисты оглядываются на структурализм и смотрят, что можно принять и отвергнуть в Лотмане. И приходят к выводу: есть ранний Лотман, который им чужд, и поздний Лотман, который им близок: Лотман «Культуры и взрыва» и «Внутри мыслящих миров». Между этими двумя образами — как бы пропасть: как будто, говоря понятиями самого Лотмана, посреди его творчества произошел взрыв и сменилась парадигма. Поздний Лотман переносит внимание на текучесть культуры, творчество нового, взрыв при смене старого новым; даже метафоры у него из механистических становятся органистическими (не «структура», а «семиосфера», т. е. что-то близкое «биосфере»). Только апологии индивидуальности и иррациональности у него никак не удастся найти. Во всяком случае, такой Лотман оказывается почти постструктуралистом или хотя бы хорошим пьедесталом для постструктурализма.

Перед нами обычный случай эгоцентрического ретроспективного мышления, многократно описанный самим Лотманом: когда какая-то культура считает себя достигнутым совершенством, а все предшествующие — лишь своими предшественниками и подготовителями, и мерит их своим аршином, то есть своим кодом. Лотман, как мы знаем, противопоставлял этому телеологизму перспективное мышление: реконструкцию исторических ситуаций, которые еще сами не знают, что из них разовьется, и на каждом шагу истории отсекают множество не совершившихся возможностей. Постструктуралисты смотрят на историю взглядом из будущего. Лотман побуждает историка смотреть на нее взглядом из прошлого. Такого же взгляда заслуживает и он сам с его эволюцией; и при таком взгляде становится видно, что никакой пропасти между ранним и поздним Лотманом нет, поздний естественно продолжает тенденции раннего и даже самого раннего.

Откуда эти сквозные тенденции у Лотмана, ясно всякому непредубежденному историку: от марксизма, через который он прошел на школьной и студенческой скамье. «Гегелевско-ранне-марксистским» называет Б. Ф. Егоров ранний, кончая докторской диссертацией, период работы Лотмана<sup>54</sup>. (Я знаю, что Егоров считает, что Лотман вообще был скорее гегельянец, а М. Ю. Лотман — что, скорее, кантианец, но об этом сейчас спорить нет времени). Мне уже приходилось на наших чтениях говорить, что Лотман нигде не противоречил реальному смыслу положений марксистского метода — исторического и диалектического материализма. Ма-

<sup>54</sup> Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Лотмана. С. 87.

териализм — значит, наше исследующее сознание опирается на бытие реального текста, иных путей и обходов нет. Диалектика — значит, все изучаемые нами явления связаны в структуру, и эта структура живет напряжением между ожиданиями и реализациями, кодами и текстами. Историзм — значит, именно эти противоречия движут сменой систем, каждая из которых конкретна и должна мериться собственными кодами. И вот здесь важно вспомнить: в этом школьном марксизме был следующий пункт — переход количества в качество, скачкообразное развитие, чередование эволюций и революций. Отсюда и идет лотмановская тема развития культур через взрывы. Лотман предпочитает упоминать не Маркса, а Пригожина, но и Пригожин, и — раньше того — Кун в восприятии любого советского ученого непротиворечиво ложились на почву, распаханную марксизмом. Все мы по понятным причинам не любим оглядываться на Маркса, но даже французский критик Лотмана отмечает, что «динамическая простота, описываемая Пригожиным», — это совсем не то, что лотмановское противоборство системного и не-системного, порождающее взрыв: здесь у Лотмана «присутствует та диалектика, которая почти ритуально сопровождала всякую теоретическую мысль в бывшем Советском Союзе»<sup>55</sup>.

Конечно, сдвиг интереса между работами раннего и позднего Лотмана есть: ранний Лотман больше сосредоточивался на синхронных, замкнутых срезах культуры, поздний Лотман — на диахронических переходах от среза к срезу. Но это лишь естественное расширение поля зрения исследователя. Пока перед нами «анализ поэтического текста», его поле зрения ограничено рамками стихотворения, и лишь попутно говорится о тех внетекстовых культурных нормах, на фоне которых это стихотворение подтверждает или не подтверждает читательские ожидания. Когда перед нами анализ поэтической культуры в целом и вообще культуры в целом, то эти коды, перекидывающиеся от текстов к текстам и от текстов к порождающей их действительности и по мере накопления новых текстов меняющиеся на ходу, становятся главными героями исследования. Отсюда формулировка «язык — это код плюс его история», так радовавшая критиков структурализма: наконец-то язык — это не только код!

Далее, когда перед нами анализ культуры в целом, а не отдельных ее стадий, то ответ на вопрос, что же находится в динамических промежутках между ее статическими срезами, сам собой выходит на первый план — больной вопрос не только структурализма, а и всего нашего сознания: если парменидовская стрела в каждый отдельный момент неподвижна, то как она все-таки дви-

<sup>55</sup> *Abrioux Y.* Système sémiotique, système dynamique: note sur Lotman et Prigogine // *Théorie. Littérature. Enseignement (TLE)*. 1995. № 13. P. 119. (Pour Iouri Lotman.)

жется? Лотман подготовлен к этому вопросу своим опытом историка: он знает, что на атомарном уровне исторического процесса импульсы разного рода скрещиваются в одном человеке, равнодействующая их непредсказуема, и это называется «творчество», а иногда — «вдохновение». На этом стояли все его исторические работы. А явнее всего — биография Пушкина. Теперь он лишь вводит обобщающую формулировку: в промежутках между синхронными срезами — взрывы с не вполне предсказуемыми последствиями. Двое англоязычных критиков справедливо, как кажется, намекают, что инерция марксистского представления о революционном взрыве даже сковывает Лотмана: для него взрыв захватывает всю культуру, тогда как на самом деле постепенность и взрыв могут не только чередоваться, а и сосуществовать, на одном уровне культуры (даже поэтической) — взрыв, на другом — постепенность<sup>56</sup>.

Метафора взрыва подсказана марксистской теорией революции; это тоже, конечно, вызвано политизированной обстановкой рубежа 1980—1990 годов, отсюда и рассуждения о выборе пути России между традиционной бинарной и западной тернарной культурой. Но, опять-таки, это противопоставление не ново для Лотмана: тернарность для него — лишь результат наложения двух (и более) бинарностей, и до того, как проиллюстрировать это на примере умного, дурака и сумасшедшего, он иллюстрировал это и на примере Радищева, который мог начать трактат отрицанием бессмертия души, а кончить — утверждением, и на примере Пушкина, который мог одновременно вмещать и свободу мысли, и дузльные предрассудки. Сложная структура всегда богаче и устойчивее простой, но разлагается она все-таки на простые, бинарные: в этом ранний и поздний Лотман остаются едины.

Наконец, еще одно важнейшее понятие определяется Лотманом по марксистскому образцу — это понятие личности. Для индивидуализма постструктуралистов оно центральное, но здесь даже у позднего Лотмана они не могут найти себе опору — Лотман пишет: «...понятие индивидуальности... не первично и самоочевидно, а зависит от способа кодирования» <...>. Я могу это перефразировать только так: личность есть точка пересечения кодов — точь-в-точь как для марксиста личность — это точка пересечения социальных отношений. Пушкин был точкой пересечения классицистического кода мысли, романтического кода чувства, дворянского кода поведения и т. д. — марксист описал бы все это в понятиях социальных отношений, только и всего.

<sup>56</sup> *Deltcheva R., Vlasov E.* Lotman's «Culture and Explosion»: a Shift in the Paradigm of the Semiotics of Culture // *The Slavic and East European Journal*. 1996. Vol. 40. P. 148—152.

Об этом важно помнить, потому что главный антипод Лотмана на нашей почве — это Бахтин, постструктуралист *ante litteram*<sup>57</sup>, для которого вся культура есть совокупность межличностных диалогов: код мертв и не может рождать творчество, творческим является только живой контакт, живой контекст. Время от времени появляются утверждения, что поздний Лотман сближается с Бахтиным, потому что начинает пользоваться понятиями «общение с текстом», «диалог с текстом»; текст перестает быть мертвым источником информации и становится живым собеседником. (Имеются в виду прежде всего статьи Лотмана «Семиотика культуры и понятие текста» и «Текст в тексте»). Это не так: издержки «трудолюбивой метафоричности» (В. Шмид) слова «диалог». На самом деле диалог — это когда после общения оба собеседника расходятся, изменившись. А после моего диалога с текстом я ухожу, изменившись, а текст остается неизменным, даже если я его переосмыслил и перетолковал для моих ближних. Ведь если меня кто-нибудь переосмыслит и перетолкует — например, распустит злословие обо мне, — то ведь я от этого не переменюсь, переменится лишь мой образ. Точно так же не изменится и текст, а изменится только его образ. Может быть, если мы введем это понятие «образ текста», нам будет легче работать с историей литературы: Гамлет 1600, 1800 и 1999 г. будут разными образами одного и того же текста.

Я не знаю, критикую ли я эту опасную метафоричность диалога в Бахтине или в Лотмане, но думаю, что критикую ее с точки зрения самого Лотмана. Потому что в системе позиций Лотмана есть одна, которой нет в эгоцентрической системе понятий постструктуралистов или Бахтина: это позиции исследователя (для Лотмана прежде всего — историка). Профессия историка — именно в том, чтобы освобождать текст из-под выросших на него образов, не переводить Гамлета на язык кодов 1999 г., а реконструировать те коды 1600 г., на которые этот текст в культуре ориентировался. Вся работа Лотмана-историка — это именно такая реконструкция кодов русской культуры XVIII в. и пушкинского времени: отречение от своего языка (точнее, взгляд на него со стороны) ради понимания чужого. Отречение от своего законного права на творчество (при соприкосновении чужой и своей культуры) ради интереса к познанию отошедшей в прошлое истины. Вот этой позиции и нет в эгоцентрическом мире постструктуралистов и Бахтина. Их отношение к прошлому — не исследовательское, а творческое: они не берегут свой объект, а деструктивистски преобразуют его, они во всеоружии своего права носителей новой культуры навязывают Платону, Руссо или американской конституции такие проблемы.

---

<sup>57</sup> До срока (лат).

которые для тех не существовали. Объективной истины, к которой стремится исследователь, для них не существует — даже для Бахтина с его религиозной подкладкой; вместо нее — игра субъективными истинами. Их наука — это переодетое искусство. Лотман противопоставлял непредсказуемую науку предсказуемой технике (неожиданный отголосок шпенглеровского противопоставления культуры и цивилизации) — не столь декларативно, но столь же явно противопоставлял науку с ее дисциплиной искусству с его произволом. В получившейся тернарности он без колебаний выбирает себе место в науке, а не в технике и не в искусстве.

Такого же отношения он требует и к себе: научного, исследовательского. Тема нашей конференции — механизмы культурной памяти; я попробовал проследить их на самом коротком отрезке времени, на протяжении одной жизни: показать непрерывность памяти позднего Лотмана о раннем Лотмане и разрыв ее между ним и — даже не очень младшими — его современниками-постструктуралистами.

### § 3. Ретроспективный комментарий: Гаспаров, Лотман и марксизм<sup>58</sup>

Как известно, Гаспаров писал о Лотмане неоднократно<sup>59</sup>. Это было во второй половине 1990-х годов, когда стали посмертно переиздаваться ранние работы Лотмана, а Гаспаров, ставший академиком, мог произнести свое весомое слово. Несмотря на ряд перекличек с опубликованными статьями, представленный здесь текст отличается целым рядом особенностей — и в тематике, и в подходе; интересно уже то, что здесь в идейном состязании уча-

<sup>58</sup> Речь идет о моем комментарии к приведенному выше докладу Гаспарова.

<sup>59</sup> См.: Гаспаров М. Л. «Анализ поэтического текста» Ю. М. Лотмана: 1960—1990-е годы // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 188—191; Гаспаров М. Л. Предисловие к: Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 11—16; Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 415—426; Гаспаров М. Л. Диалектика Лотмана (предисловие) // Ким Су Кван. Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личность». М., 2003. С. 5—10; Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 9—16. Напомним, что лотмановские «Лекции по структуральной поэтике: Введение. Теория стиха» (1964) стали первым томом Трудов по знаковым системам ТГУ. В переработанном и дополненном виде эта книга была потом использована в двух других работах Лотмана: для специалистов (Структура художественного текста. М., 1970) и для широкого читателя (Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л., 1972).



ствуют вместе и Лотман и Бахтин. Здесь я обращаю внимание на три темы — Лотман и марксизм, наука и искусство, отчасти — Лотман и Бахтин, о чем уже шла речь в главе о Бахтине.

Зачин выступления Гаспарова — два понимания памяти. «Творческой» памяти противопоставляется память историка, памяти с разрывом между старым и новым — память непрерывная. История — наука, которая не меряет прошлое нынешними мерками (вопреки творческой памяти, которая любит Лотмана-постструктуралиста по моде сегодняшнего дня), но, руководствуясь интересами современности, защищает историческую истину. Этот момент Гаспаров всячески заостряет: «творческая» культурная память капризна и прихотлива, давайте повнимательнее присмотримся к тому, что она успела сотворить с Лотманом. Чтобы это понять, нужно понять Лотмана, чтобы понять Лотмана, нужно рассказать о нем на простом языке, чтобы рассказать о Лотмане на простом языке, нужно найти этот язык «здравого смысла». Сразу отмечу, что Гаспаров никогда специально философией не занимался и пользовался тем, что без иронии называл «школьным марксизмом»; в этом особом марксизме, наряду со свежими и разумными вещами, попадают вещи странные и наивные. Тут философу не стоит смотреть свысока: можно не сомневаться, что если бы философ взялся своими словами прояснить суть какой-нибудь специальной филологической концепции, это тоже звучало бы «наивно», даже если и более впечатляюще.

Посмотрим архивные материалы для ретроспекции: я опираюсь здесь на свои записи, сделанные во время обсуждения доклада Гаспарова. Слушателей явно не оставил равнодушными образ лотмановского «марксизма»:

— Можно согласиться с мыслью о единстве Лотмана, но нельзя согласиться с тем, что импульс и объяснение его концепции следует искать в марксизме;

— Лотман един, но он менялся. Это многослойное явление, в котором каждый волен выбирать свой аспект;

— Методологический подход к Лотману сужает сам феномен Лотмана. Самое важное для Лотмана — не методология, а материал (биография, поведение, текст, культура);

— Для Лотмана концепция была дороже материала: кажется, эту черту тут и называли марксизмом. Когда Якобсона спросили, что важнее: теория или факты, он заявил: конечно теория... Ну а факты? О фактах можно умолчать;

— Лотман важен для современных историков России, прежде всего, своей методологией изучения культуры и повседневности;

— Лотман важен для нас как символ связи с традицией, а также российской интеллигентности — от Карамзина до Лихачева;

— Метафора культуры как памяти человечества малопродуктивна. Тут важна не вообще память, а память избирательная — то, что нужно для создания новых смыслов или культуры как смыслового мира. Эта избирательная память и есть динамический стержень концепции Лотмана;

— Культурная память Московско-тартуской школы ( а также культурная память о Школе) — это не только сознание (или бессознательное), но и воля: вслед за Ницше, мы должны учесть волю к истине, бессознательные установки, а для Лотмана эти проблемы не существовали, и в семиотике в целом это было неотрефлексированным моментом. Лотман пытался выйти из пут структурной парадигмы, это очевидно. Но нам важнее знать, не откуда он шел, а куда, а шел он от статической модели к динамической.

Это лишь фрагменты обсуждения; в каждом замечании есть свой смысл и позиция, характеризующие как самого дискуссанта, так и доклад: в самом деле, что нам важнее в Лотмане — метод или ценности, факты или теория, знания или традиции? Но все это — канва гораздо более цельного портрета, на который я здесь отнюдь не претендую.

Обращусь прямо к вопросу о марксистской подоплеке лотмановских идей. Пожалуй, я согласна с теми, кто высказал сомнения насчет излишней прямолинейности этого тезиса: Гаспаров вообще любил подчеркивать то, о чем официально не было принято говорить, что отчасти и имело место в данном случае. Однако марксизм, его концептуальные положения вряд ли можно считать импульсом или объяснением лотмановских построений, **Ю**тя, разумеется, даже в «школьных схематизациях» марксистской концепции, впитавшей в себя элементы гегелевской диалектики, была своя польза для развития научного познания. Присущий Лотману марксизм Гаспаров сосредоточивает, как мы видели, вокруг трех основных идей — материализма, историзма и диалектики, однако трактуются все они, как уже отмечалось, необычно<sup>60</sup>. Например, материализм для него — это приоритет языковой стороны художественного произведения перед его идейной стороной: получается тем самым, что материальный базис присутствует не только где-то далеко, в социальной системе, но непосредственно в моем предмете. Однако для философа, будь то школьного или академического, марксистский материализм даже в самом простом выражении есть нечто иное: тезис о первичности «бытия»

<sup>60</sup> Ср. особенно: *Гаспаров М. Л.* Лотман и марксизм // *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 415—426; *Гаспаров М. Л.* Ю. М. Лотман: наука и идеология // *Лотман Ю. М.* О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 9—16. Эти тексты близко перекликаются.

по отношению к «сознанию», при котором в роли бытия выступает, конечно же, не язык (несмотря на некоторые двусмысленности в марксистских высказываниях о языке), но общественно-историческая, экономическая практика.

Язык как материя, язык как базис — трудно даже придумать название для этой фигуры мысли; к тому же у Лотмана, похоже, не было таких прямых, наивных и несколько вульгарных (слишком прямых) представлений о роли языка, как, например, у представителей французской группы «Тель кель», которые и впрямь считали язык базисом в надстройке, от слома которого зависит все функционирование социального организма. Думаю, для Лотмана язык был скорее познавательной аналогией, моделью познания литературных и историко-литературных явлений, нежели полем определенным образом направленной социально значимой практики. И это подчас не нравилось его западным коллегам-семиотикам, как правило, левой ориентации<sup>61</sup>. Тот марксизм, который окружал Лотмана и отчасти, в методологическом виде, работал в его построениях, был иной. М. Л. Гаспаров и сам в своих работах о Лотмане совершенно справедливо разделял в советском марксизме идеологию и методологию, хотя, как представляется, излишне настаивал на «диалектике Лотмана»<sup>62</sup>.

Этот пункт — диалектика — по Гаспарову, означает, что все явления связаны в структуру, а средоточием диалектического напряжения становится стык между читательскими ожиданиями и реализациями. В более общем плане диалектика — это учет взаимодействия явлений, наличия разных сторон, динамики развития и др. Во всяком случае, то, о чем говорит Гаспаров применительно к Лотману, не есть марксистско-гегелевская диалектика — прежде всего потому, что в тех примерах, которые он приводит, нет идеи «снятия», сохранения всех прошлых достижений в последующем развитии и др. Зато парадоксальным воплощением лотмановской диалектики становится для Гаспарова структурализм как учет взаимоотношений между явле-

<sup>61</sup> Кстати, неудивительно, что во Франции публикация книги Лотмана «Структура художественного текста» прошла совершенно незаметно; ее издатель и редактор (А. Мешонник) признавался, что книгу эту издали скорее для того, чтобы информировать французского читателя о том, что делается в смежных областях в Советском Союзе, нежели по велению души и направлению собственного интереса. Таким образом, хотя проект деидеологизации марксизма был, по сути, единым для советского и французского структурализма, однако осуществлялся он здесь и там по-разному.

<sup>62</sup> См.: Гаспаров М. Л. Диалектика Лотмана (предисловие) // Ким Су Кван. Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». М., 2003. С. 5—10; а также Гаспаров М. Л. Предисловие / Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 11—16.

ниями. Ранние критики структурализма во Франции и в России, где битвы между структурализмом и диалектикой были ожесточенными, не всегда обоснованно, были бы от такого суждения в недоумении. Диалектика и структурализм у Гаспарова — одно и то же, почти синонимы, только на разных уровнях знания<sup>63</sup>. В этой связи важно отметить, что Лотман в любом случае был не только «диалектиком», но и «антидиалектиком», в той мере, в какой он (как настаивает, например, Пятигорский), следовал в процессе построения структур и моделей Карнапу и программе логического позитивизма, — т. е. тому, что было прямой и осознанной антитезой гегелевской диалектике.

Отсюда — ряд частных неточностей: например, Кун в схеме Гаспарова непротиворечиво укладывался в марксистскую историческую концепцию, но ведь тезис о несоизмеримости парадигм, сама идея разрывов в развитии научного знания противоречила марксистской схематике, для которой важнее всего был, пожалуй, не «революционный взрыв», но диалектическое снятие и сохранение (пусть и как следствие взрыва). Кун был для марксистской концептуализации развития науки не тем, кто идеально укладывался в марксистскую схему, но, напротив, тем, кто указал на сложности развития науки и на роль в этом процессе социальных факторов (или, иначе, сообщества ученых — а это скорее социологический, нежели социальный в марксистском смысле слова аспект).

Наконец, историзм. Очевидно, что под историзмом Гаспаров имеет в виду достаточно различные вещи: то, что синонимично науке и противоположно идеологии, склонной превращать очевидности своего времени в нечто вневременное (такое понимание идеологии близко раннему Барту); то, что предполагает поиск закономерностей и видит реальность скорее обусловленной, нежели целенаправленной; то, что запрещает нам проецировать на историческую реальность свои нынешние вкусы и взгляды («мой Пушкин»), но заставляет нас стремиться реконструировать восприятие читателей той эпохи, для которой творил поэт, даже если сделать это вполне удовлетворительно нам никогда не удастся. В рубрику историзма входит также учет динамически напряженного соотношения между ожиданиями читателя и тем, что реализуется в его восприятии произведения (это и есть основа эстетического впечатления), к которому Гаспаров призывает литературоведов.

<sup>63</sup> Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 415—426. Методологическую основу структурализма можно видеть в диалектике. «Диалектическое положение о всеобщей связи явлений» — это и значит сосуществование и взаимопереплетение ритмов, метафор, аллитераций, образов, идей, ощутимых посредством контрастов, напряженных противоположностей, при которых ничто прямо ни из чего не выводится: например, ямб или метафоры не выводятся прямо из идейного содержания». Там же. С. 419.

Историко-культурное своеобразие есть то, чем данный период отличается от всех других: историзм не есть динамическая развертка определенных схем преемственности. А без этого акцент на своеобразии данного исторического момента, не сводимого к другим, довольно далеко отходил от марксистского понимания историзма. При таком подходе понятно, почему «структуры научных революций» стали для Гаспарова воплощением историзма. Но ведь в марксистском историзме гегелевской закваски гораздо весомее был тезис о закономерной направленности общественно-исторического (и в том числе — познавательного) процесса, в силу которой отдельные этапы имели лишь ограниченное право на самостоятельность; об этом свидетельствуют, например, давние дискуссии об «азиатском способе производства»: то, что вырывалось за рамки процесса обусловленной смены формаций, с большим трудом могло доказать свое право на существование.

Привлекает внимание и гаспаровское уравнивание социальных отношений с социальными кодами: «Человеческая личность для Лотмана не субстанция, а отношение, точка пересечения социальных кодов. Марксист сказал бы: "точка пересечения социальных отношений", — разница опять-таки только в языке»<sup>64</sup>. Во-первых, разумеется, разница не только в языке, а во-вторых, даже если бы она была только в языке, все равно она была бы огромна. Когда Гаспаров говорит: «личность есть точка пересечения кодов», он не грешит против Лотмана, у которого есть тезис о «семиотическом индивиде», как наборе кодов, от соотношения которых зависят особенности личности. Но к марксизму это вряд ли применимо. Прежде всего потому, что для марксизма многое в жизни языков, кодов и знаков представляется превращенными формами, т. е. таким функционированием сознания, при котором мы принимаем слова за вещи, механизмы кодов — за отношения между людьми и т. д.

Спрашивается: откуда все это — прежде всего такое внимание к марксистской схематике? В советские времена привязка к марксизму была основанием легитимности рассматриваемого произведения. А в постсоветские времена попытку увидеть в концептуальной палитре Лотмана как можно больше марксистских элементов многие, наверное, считали медвежьей услугой Лотману. Возможно, причина этого «провокативного хода» в том, что теперь ссылки на марксизм не требовались: они даже считались неуместными. Одна параллель, быть может, что-то немного прояснит. Мне уже доводилось писать о пара-

<sup>64</sup> Например: что такое Пушкин? По Гаспарову, — пересечение позиций (просветитель-рационалист, аристократ и романтик, трезвый зритель своей эпохи, человек, поддавшийся условностям этой эпохи и позволивший им убить себя), однако социальные коды и общественные отношения — это совсем не одно и то же.

доксальных проблемных переключках между Гаспаровым и Деррида как полюсами гуманитарной культуры XX века (классическая филология — деконструкционизм). В частности, речь шла о том, что, несмотря на явный гаспаровский критицизм в отношении к Деррида (Гаспаров постоянно призывал меня, писавшую о Деррида, расколдовывать чары этой игры в непонятное, искать более ясные пути к сложным соотношениям мысли и языка), Гаспаров и Деррида вовсе не были простыми антиподами<sup>65</sup>. Они не были антиподами и в своем отношении к Марксу. Вспомним, как во время своих приездов в Россию в начале 1990-х годов Деррида не только представлял постсоветскому читателю свою концепцию деконструкции, но и рыцарски защищал Маркса от нападок постсоветской аудитории — как это некогда случилось на его выступлении в МГУ в битком набитом актовом зале на встрече с сотрудниками кафедры истории и теории культуры. Как известно, Деррида стал интенсивно писать о Марксе именно тогда, когда Маркса стали повсюду забрасывать камнями. Реакция Гаспарова была сходной: он всегда был против догматики — советской (официальной) или постсоветской (неофициальной, но быстро набиравшей вес и силу); и одновременно это было стремление к философскому осмыслению своего методологического сознания, которое не имело других средств под рукой для того, чтобы это сделать.

Важнейшие аспекты гаспаровского взгляда на Лотмана, на его работы 1960-х, а также на эволюцию его творчества так или иначе определяются теми изменениями в реальной жизни, в науке, в культуре, которые имели место между 1960-ми и 1990-ми годами. К этому культурному промежутку можно добавить нынешнее десятилетие, когда мы стали смотреть на это тридцатилетие теперь уже из XXI века. Лотман, рассказывает нам Гаспаров, начинал работать в советский догматический период, а теперь вокруг цветет антидогматическое литературоведение. Однако крайности сходятся: где была истина казенная, воцарилась истина новоизобретенная, субъективная, нарциссическая; а это значит лишь, что истины нет ни там, ни здесь. Напротив, набирает обороты «парафилология», которая принимает вид игры в прочтение одного текста на фоне другого, по возможности очень непохожего». Эти новые тенденции Гаспаров называет постструктурализмом или деструктивизмом<sup>66</sup>. Они фактически ставят во главу угла читательское вольное

<sup>65</sup> Автономова Н. С. Заключение: персонажи и сюжеты // Ваш М. Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2008. С. 399—417.

<sup>66</sup> Это гаспаровский неологизм. Он прекрасно знал, как правильно писать и произносить дерридеанский термин (деконструкция), однако считал его претензионным и семантически нелепым, подчеркивая, что в русском переводе деконструировать это все равно что «раз-за-вязывать».

прочтение текста с нуля, без всякого фона, а в результате получаются «читательские фантазии, очень много говорящие о душевном складе сегодняшней культуры, но очень мало — о рассматриваемом тексте и авторе»<sup>67</sup>. Гаспаров резко отрывает память о Лотмане от постструктуралистского пейзажа: «Этой нарциссической филологии Ю. М. Лотман всегда был чужд. Он писал: "Восприятие художественного текста — всегда борьба между слушателем и автором". В этой борьбе Юрий Михайлович однозначно становился на сторону автора: историческая истина была ему дороже, чем творческое самоутверждение»<sup>68</sup>. Здесь Гаспаров усиливает тезисы Лотмана, но не противоречит им<sup>69</sup>. А Лотман добавлял: в этой борьбе выигрывает, обогащается тот, кто подчиняется.

Размышляя о Лотмане, Гаспаров подчас проводит более резкие разграничительные линии, чем те, что мы видим у самого Лотмана. Так, у Лотмана 1990-х годов слово «наука» употреблялось реже, нежели в героические 1960-е, и это было естественно: наблюдая распад Школы (изменение интересов, отъезд активных участников), ведя дискуссии о прошлом и настоящем Школы, иногда болезненные, Лотман, можно полагать, инстинктивно тянулся вслед уходящим (это не значит, что он разделял их позиции), в любом случае, психологически ему было, что спасать. Гаспаров же смотрел на Школу извне, и к тому же из своего «угла»<sup>70</sup>, а потому мыслил определеннее и говорил жестче. И даже ввел в свой мета-язык антитезу, которой у Лотмана не было вовсе. Так, Лотман всегда провозглашал те или иные формы единства искусства и науки. Когда в советские времена от литературоведа требовалось вывести на первый план идейное содержание произведения, протестным жестом было заявить, что у искусства есть свои языки, которые нужно учить, чтобы понять, что говорит нам произведение<sup>71</sup>; это был способ противостояния идеологии. Когда в постсоветские времена постструктурализм увлекся растворением всех границ, а на месте структур и познания встали аффекты, энергии и пере-

<sup>67</sup> Гаспаров М. Л. Предисловие к кн.: Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 15.

<sup>68</sup> Гаспаров М. Л. «Анализ поэтического текста» Ю. М. Лотмана: 1960—1990-е годы // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995. С. 191.

<sup>69</sup> Продвигая подход Лотмана в сторону еще более строгой научности, Гаспаров утверждает, что эта концепция «побуждает современное литературоведение» распространить методику подсчетов на уровень тем, образов, мотивов, идей; сам Лотман этим, как известно, не занимался.

<sup>70</sup> Гаспаров М. Л. Взгляд из угла // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 299—303.

<sup>71</sup> «Искусство служит истине, но пользуется при этом своим языком, который всегда включает определенную меру условности». Лотман Ю. М. Как говорит искусство? // Он же. Воспитание души. СПб., 2003. С. 104.

живания, Гаспаров громко высказал свой парадокс: эпоха догматизма и эпоха антидогматизма сомкнулись в своей ненаучности (в более радикальном варианте гаспаровского текста — антинаучности). Если для Лотмана наука и искусство неизменно шли рука об руку и делали общее духовное дело, для чего им важнее всего было вместе отделиться от идеологии, то Гаспаров в конце 1990-х годов делает иной ход: он разводит науку и искусство, указывая на то, что все культурные и предметные границы размыты, пока еще не появились новые формы дисциплинированной мысли, а без этого невозможны ни творчество, ни познание. В целом, очевидно, что в своей мыслительной схематике и в своем мироощущении, скажем, Якобсон и Лотман больше опираются на искусство, нежели Гаспаров: Якобсон — после революции в связи с общим пафосом нового видения мира и строительства новой жизни, Лотман — в связи с послевоенным пафосом нового взлета творческого отношения к жизни; взаимодействие науки и искусства для них всегда только позитивно. В самом конце XX века, из которого говорит Гаспаров, эта безоговорочная дружелюбность науки и искусства выглядит сложнее и проблематичнее.

Когда мы говорим о преобладании или предпочтении науки или искусства, мы признаем, что дело тут не только в эпохе, но и в личных склонностях. У разных людей моменты науки и искусства соединяются по-разному: если, скажем, у Тынянова в романе о Пушкине образ — главное, аргумент — вспомогательное, то у Лотмана, напротив, концепция — главное, образы — вспомогательное. В лотмановских портретах, подчеркивает Гаспаров, и в этом он прав, можно видеть иллюстрации историко-культурного анализа: человек, подобно фонеме, складывается из дифференциальных признаков; там же, где Лотман не прочерчивает для нас места пересечения культурных кодов, читатель сам может эти схемы достроить.

Итак, по Лотману, культурная память — выплывание традиций, работа творческого механизма со знаком плюс. А Гаспаров смотрит на это настороженно: раз механизм творческий работает здесь в роли познавательного, значит, неизвестно, чего еще приходится ждать от такой работы памяти. В этой ситуации Гаспаров не притворяется, будто ему все равно, какую позицию мы выберем, и формулирует свой выбор жестко — либо творчество (искусство или что-то другое), либо исследование (наука): «Научная точка зрения на это может быть только одна — историческая. Мы стараемся реконструировать художественное восприятие читателей пушкинского времени только потому, что для этих читателей писал Пушкин. Нас он не предугадывал и предугадывать не мог. Но психологически естественный читательский эгоизм побуждает нас считать, что



Пушкин писал именно для нас, и рассматривать пушкинские образы, стиль и даже стих через призму идейного и художественного опыта, немислимого для Пушкина. Это тоже законный подход, но *не исследовательский, а творческий*: каждый читатель создаст себе “моего Пушкина”, это его индивидуальное творчество на фоне общего творчества человечества — писательского и читательского (курсив мой. — Н. А.)»<sup>72</sup>. Эта неожиданная, казалось бы, антитеза «творческого» и «исследовательского», разумеется, огрубленная (каждому понятно, что нет творчества без исследования и нет исследования без творчества), представляется тонкой и уместной и по-своему необходимой в анализе сложных мыслительных процессов, когда акцент на том или ином полюсе позволяет ориентироваться в общих тенденциях и предсказывать некоторые результаты.

Другой разворот сложных, подчас явно не выраженных различий включает в общую конфигурацию отношения между Лотманом и Бахтиным. Это соотношение Гаспаров формулирует так: Бахтин для Лотмана — антипод. Среди философов, как мы знаем, чаще встречается другая позиция: либо Лотман и Бахтин вместе подтягиваются к научно-рациональному спектру идей, либо их объединяют на путях отхода от рациональности структуры к иному — Гераклиту, непредсказуемому, всяческой динамике. Герой Гаспарова — не столько Лотман-структуралист, сколько Лотман ученый-историк, цель которого «освободить текст из-под выросших на него образов» и возвращать его в тот культурный контекст, в котором он был создан. Тут вполне можно видеть полемику, вряд ли сознательную, с бахтинской идеей «большого времени», которое, напротив, высвобождает текст из плена его эпохи и ограниченного читательского восприятия и пускает в открытое плавание. Гаспаров явно стремится приблизить Лотмана к себе и отделить его от Бахтина (Бахтин выступает как «главный антипод» Лотмана) и одновременно показать близость Бахтина к постструктуралистам — в том смысле, что и одни и другой ищут в своем предмете не объективность, но динамику, диалог и неопределенность; для них «не существует объективной истины»: «их наука — переодетое искусство»<sup>73</sup>. Напротив, позиция Лотмана видится ему как плодотворный захват наукой искусства, которое ранее было ей недоступно: «Лотман перемещает передний край науки туда, где обычно распоряжалось искусство»<sup>74</sup> или еще: Лотман

<sup>72</sup> Гаспаров М. Л. Предисловие к: Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 14–15.

<sup>73</sup> Напомню, что Гаспаров трактует Бахтина как постструктуралиста (для него это не комплимент) *ante litteram*.

<sup>74</sup> Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 423.

злюбается непредсказуемостью исторической конкретности <...> но <...> не подменяет науки искусством: наука остается наукой»<sup>75</sup>. Разумеется, никто при этом не думает, будто наука — это только дисциплина, а искусство — только произвол, однако Гаспаров застрелял свою мысль, чтобы вывести на первый план то, что считает самым важным — опасные моменты их смешения.

Как уже отмечалось, рецепция Бахтина была разной в разные эпохи. Поначалу в 1960-е годы — безоговорочная эйфория<sup>76</sup>. В 1980—90-е годы бахтинская концепция все больше разбухает под грузом хаотически разросшихся интерпретаций, не заботящихся ни о каких-либо критериях оценки своей достоверности. Как раз в этот период такому положению дел способствовали некоторые философские тенденции: в ситуации постмарксистского идейного разброда имя Бахтина стали использовать во всех антитеоретических и гуманистических контекстах, не обращая внимания на фактуру исследуемых при этом предметов и совершенно упуская из виду те выводы, которые вытекают из конкретного анализа материала. Вместе с тем граница между исследовательским, «научно-объективным», и «творческим» стала размываться, а «наука как переодетое искусство» стало широко распространенной формой существования мысли.

И здесь в нашем размышлении сюжет «Лотман и Бахтин» вновь пересекает сюжет «Лотман и марксизм», если только мы позволим себе выйти за рамки произнесенного Гаспаровым доклада в другой текст Лотмана о Бахтине, тоже уже упоминавшийся. Это лотмановский доклад о Бахтине на конгрессе в Йене. Речь в нем идет о «художественной коммуникации как действительно центральной проблеме современной науки»<sup>77</sup>. Искусство, по Лотману, — это не сфера развлечения и отдыха от серьезных дел, проблема художественной коммуникации может помочь нам в решении многих

<sup>75</sup> Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 15.

<sup>76</sup> В этот период для Лотмана структуралистское и диалогическое действительно выглядят как нечто почти ридоположное. Как уже отмечалось, в своих ответах на анкету (впервые она была опубликована в «Вопросах литературы» за 1967 год. № 9. С. 31—32; см.: Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 91—92) Лотман назвал лучшими образами современного историко-литературного исследования «Творчество Франсуа Рабле» Бахтина и «Славянские языковые моделирующие семиотические системы» Вяч. Иванова и В. Топорова. В то время Бахтин естественным образом воспринимался в свете яркой и неофициальной недогматичности, тогда как ни бахтинистики, ни бахтинологии еще и в помине не было. Вместе с тем Лотман видит в Бахтине прежде всего творческие моменты системы: «Его старания были направлены на то, чтобы описать коммуникативную систему, учитывая ее динамический, творческий характер». См.: Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 151.

<sup>77</sup> Там же. С. 151.

научных и человеческих задач, так что искусство становится «центральной проблемой современной науки». Однако вскоре проблема художественной коммуникации переводится Лотманом в проблему диалога, а нашей задачей становится понять соотношения трактовки этого понятия у Лотмана и Бахтина.

«Научный гений М. М. Бахтина осознал эту проблему уже в 1920—1930-е гг. [речь идет о проблеме художественной коммуникации как центральной проблеме современной науки. — Н. А.]. Я говорю о его гениальности потому, что постановка этих вопросов еще не могла опираться в те годы на серьезную основу. Поэтому в работах Бахтина можно обнаружить импрессионистическую манеру выражения. Это подчас приводило к попыткам использовать концепции Бахтина для оправдания пустой эклектической болтовни, и таких примеров множество.

Такого рода характерное искажение начинается, например, тогда, когда у слова «диалог» отнимают его точное понятийное содержание. Или тогда, когда его употребляют хотя и не догматично и не грубо, но уж в очень широком смысле. При этом термин теряет свою научную строгость, содержащийся в нем концептуальный смысл. Истинное значение этого слова прояснилось в свете некоторых идей, которые возникли значительно позже в процессе нашего освоения теоретического наследия Бахтина»<sup>78</sup>.

Иначе говоря, «научный гений» осознал проблему, но не мог выразить ее научно (отсюда — импрессионизм в выражении); слово, фиксирующее эту интуицию — «диалог» — было растрачено, не имея «точного понятийного содержания», и стало использоваться без всякой заботы о «научной строгости», «с потерей концептуального смысла»<sup>79</sup>. При этом, правда, Лотман не готов признать, что именно в силу своей размытости понятие диалога получает свое широчайшее распространение<sup>80</sup>. В любом случае в его рассуждении есть нестыковки: если, как утверждает Лотман, еще не пришло время, чтобы идеи приобрели научную форму, то и упрек в их нестрогости применительно к раннему периоду неуместен. Однако, может быть, дело обстоит иначе, и Лотману просто не хочется признаться себе в том, что и в 1920-е годы, когда

<sup>78</sup> Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // *Лотман Ю. М. История и типология русской культуры*. СПб., 2002. С. 151—152.

<sup>79</sup> *Лотман Ю. М. Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Он же. История и типология русской культуры*. СПб., 2002. С. 152.

<sup>80</sup> Напротив, Якобсон, вслед за Бором, уверен в том, что чем строже определение какого-то слова в метаязыке, тем уже сфера его практического использования в обыденном языке.

« Европе уже строились продвинутые лингвистические концепции, и тем более в 1960-е годы у Бахтина были все возможности для «научного уточнения» диалогического круга идей, и что он не сделал этого не потому, что не мог, но потому, что не хотел развивать свою идею в научную концепцию, ограничивая, определяя ее: он считал диалог идеей иного — гуманитарного, гуманистического плана. Как уже отмечалось, лотмановские доказательства наконец-то найденного «истинного значения» слова и понятия «диалог», как они представлены в йенском докладе, — это асимметрия мозговых полушарий<sup>81</sup> и общение матери и ребенка — мимикой и без слов (конечно, это важнейшая ранняя стадия человеческой коммуникации и опора межличностных связей, основанных на привязанности и аффекте, но, конечно, никакого диалога в сколько-нибудь «строгом» смысле слова тут нет<sup>82</sup>).

Иными словами, ставя своей целью проследить развитие плодотворной интуиции в строгую научную концепцию, Лотман очерчивает здесь траекторию развития познания, по сути, очень близкую марксистской мыслительной схематике. Однако это никак не приводит нас к осмыслению идеи диалога и уж, во всяком случае, не является экспериментальным подтверждением идей Бахтина «на эмпирически точном и теоретически ясно интерпретируемом уровне»<sup>83</sup>. Возможно, что и цель, осознанно или неосознанно, была другая: прописать свои заветные идеи через схемы и понятия другого, очень уважаемого мыслителя. Наверное, следует сказать, как сам Гаспаров собственно и делает, что Лотман «ни марксист, ни антимарксист», и что главное вообще — не это. Главное — то, что он был ученым. А также и то, что «в XX веке, который начался творческим самовозвеличением декаданса и кончается творческой игривостью деструктивизма, вера в истину и науку — не аксиома, а жизненная позиция»<sup>84</sup>. Значит, для того, кто ее выбирает,

<sup>81</sup> «...между ними существуют сложные, будем говорить — диалогические отношения, связанные с тем, что активность одного полушария вызывает возбуждение, активность другого <...> процессы торможения механизмов передачи и так далее». Лотман Ю. М. Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 152.

<sup>82</sup> В этой связи мне вновь приходит на память уже упоминавшийся рассказ Гаспарова о его разговоре с американской слависткой Кэрил Эмерсон о настоящем и будущем бахтинистики в России и в мире, где Гаспаров трактует бахтинский диалог как внесловесное аффективное или духовное взаимодействие: «он такой, что его и без слов вести можно, это общение душ, их согласие, — как у Каштанки с хозяином или у Нила Сорского с Господом Богом...». См. Приложение. Фрагмент письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой от 14 октября 2001 года. Ср.: Вайс М. Г. С. 396.

<sup>83</sup> Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 155.

<sup>84</sup> Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 425.

она становится делом всей жизни. Представляя читателю вновь публикуемые работы Лотмана, Гаспаров имел все основания утверждать: «...переиздание книги, созданной в героическую пору структурализма с его пафосом строгой гуманитарной научности, представляется неожиданно актуальным»<sup>85</sup>. Это говорилось в середине 1990-х годов. Сейчас, в начале нового тысячелетия, лотмановские труды становятся для нас еще более актуальными.

## § 4. Места неопределенности

В одной популярной американской книжке по семиотике можно увидеть забавную картинку. Водную гладь рассекают два катера. На первом, под флагом с надписью «человеческие знаки», — франкоязычные исследователи (Соссюр, Бенвенист, Кристева, Бодрийяр, Тодоров), на втором, под флагом «природные знаки», — англоязычные исследователи (Пирс, Ричардс, Огден, Себеок). Но самое интересное даже не это: между двумя этими судами, почти опережая их ценой мощных индивидуальных усилий, без флагов, но со спасательными кругами и в очках, плывут Роман Якобсон и Умберто Эко. Так вот: в эту группу продвинутых одиночек, почти опережающих как «континентальных», так и англо-американских семиотиков, вполне можно было бы поместить и Лотмана. Про членов МТСШ говорили: они не были знакомы с классической семиотикой Морриса, но хорошо знали Соссюра, Хомского, Леви-Строса, Пражский лингвистический кружок: знали — значит, могли выбирать и примеривать элементы различных подходов.

Напомню, что и пирсовская семиотика, делавшая акцент на отношении знака к объекту, и моррисовская семиотика, делавшая акцент на интерпретаторе (восприятие которого только и способно сделать знак знаком), строились на определенных логико-психологических посылах, которые были в полной мере осознаны лишь в наше время. И акцент на субъекте как интерпретаторе знака, и акцент на объекте как референте знака связаны в этих концепциях с представлением о самом знаке как о вещественной сущности, оставляя в тени специфику знака как отношения, функции. Другой подход к семиотической проблематике был предложен Ф. де Соссюром, который уделил главное внимание не субъекту-интерпретатору, и не объектам, к которым отсылает знак, но структуре отношений, определяющих знак как таковой: это — отношения

<sup>85</sup> Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 15.

означаемого и означающего (Соссюр понимает его как взаимоотношение двух психических образов — акустического и понятийного, настаивая при этом на произвольности этого отношения и произвольности языка как социально установленного целого<sup>86</sup>).

Вряд ли мы можем ответить на вопрос: так кто же Лотману ближе — Соссюр или Пирс? В смысле внимания к межзнаковым отношениям, к отношению между языком и речью (иначе говоря, языком и текстом, хотя словом «текст» в подобных случаях Соссюр не пользовался), конечно, Соссюр; в смысле внимания к различного ранга референтам, а также к роли семиотики в познании как природных, так и человеческих объектов (ср. лотмановский интерес к асимметричному мозговому функционированию) — скорее англо-американские семиотики. Что же ему важнее: европейская семиология или лозунг объединенной науки в духе «третьего позитивизма» (иногда говорят о сходстве некоторых семиотических построений с идеями Карнапа)? И на каком уровне существует (если она существует) та общая рамка, которая могла бы вместить обе эти тенденции? Для континентальных европейцев странно, что «неконвенциональные» знаки вообще рассматриваются как знаки, для англо-американского подхода странно, что кто-то берется рассуждать о семиотике, не проводя полевых исследований, не занимаясь культурной и социальной антропологией — всем тем, что простирается далеко за пределы истории в европейском смысле слова. И в том и в другом случае мы имеем дело с моделями, но насколько они совместимы? Иногда утверждают, что тенденции пирсовской семиотики и его теории значения, которые пропаган-

<sup>86</sup> Наиболее серьезный довод против того тезиса о произвольности был позднее выдвинут Бенвенистом, заметившим, что произвольность характеризует лишь отношение целостного знака к реальности, но вовсе не отношение компонентов знака между собой: они связаны в сознании носителя языка самой тесной исторически обусловленной связью. Соссюровская концепция знака претерпевает определенные изменения уже у его ближайших последователей, которые ссылались при этом на самого же Соссюра, который переходит от отдельного знака, как он представлен в «Курсе общей лингвистики», к идее текста в «Анаграммах», к последовательности знаков, знаковой цепи, тексту. Эти сложности — соотношения между знаками, отношения знаков к реальности и отношения компонентов внутри знаков — оказалось в дальнейшем удобно представить в виде отношений между планом содержания и планом выражения — как в естественном языке, так и в других семиотических системах. В самом деле, бывают коды с одно-однозначным соответствием между элементами плана содержания и плана выражения (абука Морзе); бывают коды, в которых непочкам плана выражения соответствуют нерасчлененные блоки плана содержания; наконец, встречаются и такие коды, где мы имеем дело с неким глобальным соответствием планов содержания и выражения, тогда как вычленение каких-либо отдельных единиц внутри этих планов представляется проблематичным. Все эти сложности особенно отчетливо проявляются при выходе исследования за пределы естественного языка, где корреляции планов содержания и выражения пронизывают пласты, большие, нежели знак, фраза, предложение.

дировал, в частности, Якобсон, больше подходят к анализу замыслов тартуской семиотики и концепции вторичных моделирующих систем, но в целом этот вопрос остается неисследованным. Лотман высоко ценил работу Якобсона, направленную, так сказать, в сторону «диалектизации» соотношений языка и речи, а также продвижения того, что можно было бы назвать динамическим подходом к их исследованию: он называл якобсоновскую работу «по преодолению Соссюра в рамках соссюрианской традиции» «героической»<sup>87</sup>. В любом случае, трудностью развития семиотики в целом Лотман считает создание общего терминологического аппарата и построение своего метаязыка: и то, и другое — цели любой науки, которая не только существует, но и развивается, что неизбежно приводит ее к проблеме терминологической упорядоченности, разрешимой лишь на статических объектах. Проблема любой семиотики (к классической семиотике Ч. У. Морриса у тартусцев особого интереса не было, но семиотические идеи в контексте лингвистики Соссюра, Якобсона, Ельмслева, Пражского лингвистического кружка они знали хорошо<sup>88</sup>) в том, что, будучи частью культуры, она изучает культуру и тем самым как бы выходит за ее пределы: при этом научный язык семиотики попадает в культурные и общественные процессы, теряет всякую строгость, его высказывания становятся метафорами, но оказывают свое стимулирующее воздействие на интеллектуальные процессы. И в этом отношении континентально-европейские структурно-семиотические исследования, разумеется, гораздо больше выходили за свои научно-терминологические пределы и становились частью более общих интеллектуальных процессов, нежели англо-американские, существовавшие более замкнуто и независимо.

Выше уже говорилось о том, что Лотман оказывается ближе не столько Фуко или Барту (об отношении Лотмана к этим французским мыслителям, которое он редко высказывал публично, говорится в письме Лотмана, включенном в Приложение), сколько их предшественникам, вроде Якобсона, или старшими коллегам, вроде Леви-Строса. И это родство касается сразу двух важнейших моментов, которые могут показаться взаимоисключающими. Первый — переживание единства мира и единства культуры, а соответственно — пафос науки как единой, а не разделенной на

<sup>87</sup> Рассуждая о продолжении традиций в процессе их преодоления, Лотман замечает: «...здесь уместно вспомнить ту многолетнюю героическую работу по преодолению Соссюра в рамках соссюрианской традиции, которую вел Роман Якобсон». См.: Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 116.

<sup>88</sup> Таково свидетельство Н. Торопа: Тороп Н. Тартуская школа как школа // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 225, 226.

не сообщающиеся отсеки — естественную и гуманитарную. Второй — момент бережного отношения к разнообразию и своеобразию культур, обычно не свойственный концепциям универсалистского типа. Когда — совсем недавно — французы праздновали 100-летие со дня рождения Леви-Строса (1908), они с удивлением заметили, что Леви-Строс уже давно провозгласил идею, актуальность которой вполне осознается лишь сегодня. Это идея экологии культур и сообществ, из которой вытекает необходимость сохранения (или хотя бы наисерьезнейшего научного описания, когда что-либо сохранять в реальности уже поздно, как в случае с североамериканскими индейцами) различных форм человеческой жизни, различных форм опыта. Оба этих момента характерны и для Лотмана: у него есть и яркая интуиция единства мира (а также единства науки), и одновременно — ощущение пронизанности культурного мира историей, необходимости сохранять малое, представление о том, что различие, а не единообразие составляет основу человеческих языков и человеческой культуры.

Подобно семиотической ориентации Лотмана, не вполне ясной оказывается и его философская принадлежность. Как уже отмечалось, Б. Ф. Егоров видит в Лотмане скорее гегельянца, а сын Лотмана — Михаил Юрьевич Лотман — скорее кантианца. Наверное, мнение Егорова имеет под собой больше оснований. Из того, что поздний Лотман ссылаясь на Канта, еще не следует, что он кантианец: ведь Кант считал теоретическую науку в гуманитарной области в принципе невозможной — из-за отсутствия в нашей душе таких пространственных созерцаний, которые необходимы для построения теоретического знания, скажем, о душе. Что же касается характерного для неокантианцев расщепления сферы знания на науки о духе и науки о природе, — это позиция, для Лотмана совершенно не характерная. Историчность лотмановского литературного предмета, по-видимому, в большей мере подталкивала его к Гегелю, нежели к Канту. Хотя М. Ю. Лотман утверждает, что кантовская «вещь-в-себе» была важным понятием для методологии кибернетических исследований в 1950—1960-е годы, принять эту мысль за подтверждение лотмановского кантианства вряд ли возможно<sup>89</sup>. В любом случае «вещь-в-себе» выступает здесь скорее как метафора, как комплекс ассоциаций, связанных с так называемым «черным ящиком», нежели как опора методологии и эпистемологии. В кибернетике «черный ящик» трактовался в духе принципа обратной связи (система посылает импульсы в окружающую среду и коррек-

<sup>89</sup> Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 215—222. «Ю. М. Лотман был кантианцем» — прямо утверждается в этой статье (с. 216).



тирует свое поведение в зависимости от ответа, хотя сам механизм этой взаимосвязи остается непостижимым), а также принципа самодостаточности в развитии организмов, не допускающей агрессивных вторжений извне<sup>90</sup>. Считать «черным ящиком» текст или даже естественный язык, работа которых нам видна лишь на входе и на выходе, но далеко не во всех звеньях своего функционирования, — это вовсе не значит быть в поле кантовской (или кантианской) эпистемологии. Как известно (об пишет и М. Ю. Лотман в своей интересной статье о философском фоне концепций тартуской семиотики), эпистемологический Кант (в отличие от Канта-моралиста) не был серьезно принят в русской культуре, точнее, он имел здесь гораздо меньше влияния, чем Гегель: не значит ли это, спрашивает М. Ю. Лотман, что лотмановский подход в принципе неприемлем «для русской гуманитарной традиции»? Во всяком случае, неприязнь или враждебность к идеям московско-тартуской школы А. Лосева или М. Бахтина, на которых ссылается М. Ю. Лотман<sup>91</sup>, — это недостаточный фон и материал для решения этого серьезного вопроса. Сын считает, что отец — вполне в традициях российского прочтения германской философии — приветствовал и ценил (М. Ю. комментирует — «несколько преувеличенно») идею свободы в духе Шиллера, наделившего кантовскую «вещь-в-себе» свободой, динамикой и творческими потенциями<sup>92</sup>.

В обсуждении вопроса «чье влияние больше — Канта или Гегеля?» в постсоветскую эпоху можно отметить один привходящий момент: из-за репутации Гегеля как самого прямого философского источника марксизма поначалу могло казаться неуместным быть или слыть гегельянцем. Быть может, именно поэтому во взглядах позднего Лотмана охотно подчеркивают воздействие кого угодно другого (поначалу — Канта, затем также Гераклита или Пригожина). Дело тут отчасти в том, что Лотман охотно делился с нами тем, что читал, и, подобно Jakobson, подчеркивал при этом скорее общее, сходное, нежели различное. С теми, чьи идеи ему интересны в принципе, он, как и Jakobson, стремился скорее соединиться, нежели размежеваться, но это, как правило, означало отдельные упоминания и соответствующие ссылки: собственное течение мысли при этом продолжало свое движение, следуя скорее собственным импульсам, нежели внешним влияниям.

<sup>90</sup> Не случайно, поэтому, как о том пишет Б. Ф. Егоров, книга Винера «Кибернетика и общество» произвела на тартуанцев ошеломляющее впечатление: один только образ самоуправляющихся кибернетических объектов и схем уже был глотком свободы в условиях догматического детерминизма.

<sup>91</sup> Лотман Ю. М. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики С. 215—216.

<sup>92</sup> Там же. С. 219.

Косвенно, но весомо, как уже отмечалось, вторит Егорову — в вопросе о влиянии на Лотмана гегелевско-марксистских воззрений — и Гаспаров. Хотя сам Лотман, как говорят, относился к Гегелю как к архаической спекулятивной философии, что для исследователя в специальной области не редкость, он вполне мог, полагает Гаспаров, за годы учения усвоить от своих наставников основные черты его метода и системы. Во всяком случае понятием противоречия (правда, несколько размытым) Лотман охотно пользовался в психологическом, эстетическом, экзистенциальном и, конечно, познавательном смысле.

Так, гегелевская проблематика неоднократно появляется в лотмановских ссылках на Якобсона, который, в свою очередь, активно использовал элементы гегелевской диалектики. В своем рассуждении о динамической модели семиотической системы Лотман прямо цитирует Якобсона, который, в свою очередь, рассуждал о Гегеле: «Пользуясь гегелевскими терминами, можно сказать, что антитезис традиционных тезисов сменился отрицанием отрицания, то есть отдаленного и недавнего прошлого»<sup>93</sup>. Речь в данном случае шла о сочетании гомеостаза с динамизмом в развитии научной теории, о ее способности (или неспособности) сохраняться, меняя свои отношения с другими теориями и переосмысливая собственное строение. Это сочетание стабильного и динамического Лотман рассматривает на примере развития семиотической теории в постсоссюровские времена: «Обобщение опыта развития принципов семиотической теории за все время, протекшее после того, как исходные предпосылки ее были сформулированы Фердинандом де Соссюром, приводит к парадоксальному выводу: пересмотр основных принципов решительным образом подтверждал их стабильность, в то время как стремление к стабилизации семиотической методологии фатально приводило к пересмотру самых основных принципов»<sup>94</sup>. Синхрония, по Якобсону, да и по Лотману, не есть статика: статика — это научный прием, а не способ существования объекта, а потому структурный подход к объекту вовсе не отменяет в онтологическом плане его эволюции, а в методологическом — изучения самой этой динамики. Собственно говоря, уже Пражский лингвистический кружок иначе трактует проблему статики и динамики, структуры и истории, подчеркивая эвристический, а не принципиально-догматический характер

<sup>93</sup> Якобсон Р. О. Итоги девятого конгресса лингвистов // Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. 4. С. 579. Лотман цитирует это высказывание в статье: Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. С. 90.

<sup>94</sup> Лотман Ю. М. Там же. С. 90.

этих противопоставлений. Правда, Якобсон следовал этому принципу гегелевского историзма скорее в описании эволюции языка, нежели историко-литературной эволюции. Признавая историзм в лингвистике, Якобсон исследовал, например, грамматику поэзии, сосредоточиваясь на статичных узорах и конфигурациях, тогда как Лотман практически всегда следовал динамическому подходу к историко-литературному объекту: структура этого объекта всегда предполагает для него не просто норму, но и ее динамическое нарушение, образующее основу эстетического переживания.

В постсоветское время в поле философских проблем московской-тартуской семиотики и структурализма вошел вопрос, явным образом переводящий эпистемологические заботы в социально-философский и этический план. Это вопрос о свободе, который у Лотмана, напомним, имеет вид противопоставлений: свобода vs необходимость и свобода vs произвол<sup>95</sup>; они находятся на пересечении эпистемологии и этики, исследования и практики. Если в советское время, как уже отмечалось, главным методологическим обвинением в адрес Лотмана был упрек в механицизме и формализме, а мировоззренческим — упрек в дегуманизации, то с начала постсоветских времен на первый план выходят обвинения, так или иначе строящиеся вокруг понятия несвободы. Постструктуралистские и постмодернистские теоретики пытались дискредитировать структурализм как научное направление и как мировоззрение, отождествляя структурализм с тоталитаризмом в этике и в политике (в некоторых одиозных случаях — с апологией несвободы, воплощенной в концентрационных лагерях сталинского ГУЛАГ<sup>96</sup>). Защитники структурализма подчеркивали московско-тартуский дух свободы, образ структурализма как авангарда освободительных устремлений, направленных против догматизма и идеологии. Но вопрос о свободе не решается одной апелляцией к экзистенциальному опыту. Схематически трактовку этого вопроса у Лотмана можно представить себе примерно так. Есть внутренняя свобода и внешняя свобода, есть энергия развития и есть отсутствие принуждений. Как строится опыт свободы в культуре? В том, что касается эстетических канонов или нравственных императивов, всякое разрушение одних предполагает зарождение других, хотя поначалу эти последние могут выглядеть как нечто аморфное и неопределенное. При этом даже сознательная ориентация на ломку норм вовсе не означает, что порожаемое действительно свободно. Один из примеров — романтизм в

<sup>95</sup> См. об этом: *Лотман М.* Структура и свобода // *Slavica tergestina*. № 4. 1996. Материалы конференции в Бергамо «Наследие Ю. М. Лотмана: настоящее и будущее» (1994).

России: он противопоставлял себя классицизму как свободное искусство несвободному, однако вскоре стал создавать собственные клише, более скудные в общем их наборе, нежели в ранее отвергавшемся классицизме. В итоге возможности выбора у поэта-романтика быстро оказались более жестко регламентированными, чем у поэта-классика. Можно допустить, что свобода в некотором смысле логически первична и предшествует как необходимости, так и произволу. Проявление свободы — это возможность выбора, а реализация этой возможности на литературном материале зависит от внешних и внутренних возможностей. Для нас здесь первостепенно важно то, что в таргуском структурализме свобода и структура — это не противопоставленные, а взаимосвязанные понятия. Хаос обладает структуропорождающей потенцией: Пригожин тут действительно созвучен Лотману, а в искусстве это сравнимо с реализацией энергии художественного творчества. Научная и художественная одаренность, тонкая интуиция позволяли и самому Лотману свободно перемещаться по разным сферам духовного опыта, причем его результаты нередко оказывались непредсказуемыми, не выводимыми из применяемых приемов. Замечательный недогматик, умеющий управляться с разными масштабами рассмотрения, переключаться на разные точки зрения, Лотман умел отстаивать науку и структуру, не боясь при этом никакой ненаучности и неструктурности. В одной из публицистических статей, посвященных празднованию 70-летия Лотмана, автор обращает к Лотману стихи В. Ходасевича о четырехстопном ямбе, написанные четырехстопным ямбом: «Ему один закон — свобода // В его свободе есть закон»<sup>96</sup>. Эти строки емко собирают важное в лотмановской исследовательской программе и одновременно уже указывают в сторону главных — стиховедческих — интересов нашего следующего персонажа, Гаспарова, для которого подсчеты были реализацией исследовательской свободы.

В целом, у Лотмана отмечают недоверие к философии, и это вполне объяснимо: это было свойственно большинству ученых в советское время. Согласно М. Ю. Лотману, Ю. М. Лотман считал философию (спекулятивную) архаичной и анахроничной. Судя по всему, он мыслил ее как некую докритическую онтологию, однако существование философии в виде «философии науки» представлялось ему вполне оправданным. Что же касается вопроса о философском самоопределении Лотмана в той ситуации, где он находился, внятный ответ на вопрос «кантианец или гегельянец?», был не очень-то и возможен, а отчасти и небезопасен. Та-

<sup>96</sup> Вацура В. «В его свободе есть закон» // Литературная газета. 26.02.1992. № 9. С. 6.

кие самоопределения могли позволить себе сотрудники Института философии Академии Наук (в коридоре), но не практикующие преподаватели истории литературы. М. Ю. Лотман утверждает: «Ю. М. Лотман не только не проявлял никакого интереса к философскому и методологическому обоснованию своих концепций, но и предлагал определенные усилия, чтобы их скрыть»<sup>97</sup>. Лотман старший при случае пояснял, что далек от каких-либо философских претензий, что все излагаемое как исследовательские принципы не претендует быть философией; он читал много философской литературы, но использовал ее как «объект, но не метод исследования»<sup>98</sup>.

Эта осторожность, вернее, некоторая настороженность в отношении к философии была более чем понятна для той эпохи, и она резко противопоставляла тартуско-московский и французский структурализмы и приводила к непониманиям — и по философским и по филологическим вопросам. Один из характерных случаев такого непонимания мы уже видели в упоминавшейся оценке Лотмана Юлией Кристевой. В 1993 году, вспоминая Лотмана, она приветствовала подрывной характер самой деятельности тартуских ученых, с одобрением отзывалась о том, что Лотман, по ее представлению, сумел оторваться от филологии и лингвистики, столь дорогих сердцу Якобсона, и последовать за идеями «культурного диалога» Бахтина<sup>99</sup>. А дальше шли упреки: так, Лотман отошел от классической семиотики (Ельмслев, Карнап, Пирс), но не сделал решительного шага «к такому анализу, который учел бы воздействия бессознательного, а также индивидуальные эффекты, обнаруживаемые текстовой стилистикой»<sup>100</sup>. «Можно только сожалеть, — замечает далее Кристева, — что полет обобщающей мысли теоретика не сопровождался более пристальным вниманием к исключительным особенностям дискурса каждого субъекта, в конечном счете

<sup>97</sup> Лотман М. Ю. За текстом: Заметки о философском фоне тартуской семиотики // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 215.

<sup>98</sup> Там же. С. 215.

<sup>99</sup> О Лотмане и Бахтине см. четвертый параграф главы о Бахтине.

<sup>100</sup> Kristeva J. On Yuri Lotman // Publications of the Modern Language Association of America (PLMA). 1994. Vol. 109. May. P. 376. Эти упреки Кристевой энергично поддерживает известная исследовательница Лотмана Рената Лахман. Она считает, что Лотман «не готов к отрицанию репрезентативной функции означающего», а потому текст у него не мыслится как деятельность. Он защищает стабильные семантические отношения в ущерб динамике означающих, что приводит к механическому повторению значений и, что еще хуже, — к подтверждению «идеологически скомпрометированных значений». См. Лахман Р. Ценностные аспекты семиотики культуры/семиотики текста Юрия Лотмана // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 192—193. Ср. также: С. 203—204 и особенно 206—207.

составляющим богатство литературы и культуры»<sup>101</sup>. В совокупности всех упреков — явных или риторически завуалированных — оказывалось, что у Лотмана не было ни четко сформулированной семиотической теории, ни теории означающего, ни концепции бессознательного применительно к литературному творчеству. В этих замечаниях, не лишенных проницательности, был, однако, ряд неточностей. Так, Лотман в целом был, как мне представляется, ближе к Якобсону и лингвистической методологии и дальше от Бахтина, чем того хотелось бы Кристевой<sup>102</sup>; что же касается лакановской теории расщепленного субъекта бессознательного, которая неявно высится за упреками Кристевой как положительный прообраз, то у Лотмана были свои интересные прорывы в область языка и бессознательного<sup>103</sup> (см. об этом в следующем параграфе этой главы).

В целом неясностей и недоговоренностей было немало. И сейчас это вдвойне обидно: уже не спросишь у Лотмана, что и почему он делал так или как-то иначе. Одновременно невыявленность рефлексивной позиции стала поводом для широкого размаха спекуляций, которые нелегко перевести в план конкретного разговора. Самой яркой критикой позиций Школы (и конечно позиций самого Лотмана) были статьи Б. М. Гаспарова<sup>104</sup>, где он анализирует Школу как семиотический феномен, который воспроизвел

<sup>101</sup> *Kristeva J.* On Yuri Lotman // *Publications of the Modern Language Association of America (PLMA)*. May 1994. Vol. 109.

<sup>102</sup> Среди материалов к дискуссии по этому вопросу отметим: *Reid A.* Who is Lotman and why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him? // *Discourse Social/Social Discourse*. 1990. Vol. 3. № 1—2. P. 325—338; *Reid A.* Literature as Communication and Cognition in Bakhtin and Lotman. N. Y., 1990; *Bethen David M.* Bakhtinian Prosais versus Lotmanian «Poetic Thinking»: the Code and its Relation to Literary Biography // *SLIJ*. 1997. Vol. 41. № 1. P. 1—15; *Гржибек П.* Бахтинская семиотика и Московско-Тартуская Школа // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 240—259 и др.

<sup>103</sup> Напомню, что реабилитация идеи бессознательного в СССР произошла лишь на знаменитом Тбилиском симпозиуме в 1979 году, а реабилитация психоанализа ведет счет с 1989 года — празднования 50-летия со дня смерти Фрейда и первого за несколько десятилетий издания классической работы Фрейда «Лекции по введению в психоанализ». Это не помешало Лотману высказать весьма интересные гипотезы о фрейдизме и о роли психоанализа в одной из своих работ: *Лотман Ю. М.* О редукции и развертывании знаковых систем (К проблеме «фрейдизма и семиотической культурологии») // *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 381—385.

<sup>104</sup> *Гаспаров Б. М.* Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 279—294; *он же.* Почему я перестал быть структуралистом? // Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления. С. 93—98; *он же.* В поисках «другого» (Французская и восточноевропейская семиотика на рубеже 1970-х годов) // Московско-тартуская семиотическая школа: История. Воспоминания. Размышления. С. 213—236.

в своем существовании принципы описываемого культурного мира. И это — отрицательная характеристика: знание не умело проверять свою достоверность и потому воспроизводило веру в «абстрактный идеал “науки”» и научной истины. Линией раздела между эмансипационным проектом тартуской семиотики начала 1960-х годов и ее превращением в «башню из слоновой кости» Б. Гаспаров считает конец 1970-х, когда французские постструктуралисты стали строить «новый духовный порядок», сокрушая самые основы семиотической, языковой, литературной теории как «науки», а тартуско-московская школа оставалась, несмотря на все изменения в объекте и методе, продолжением «утопического рационализма», далеким от жизненных и человеческих проблем, но распадавшимся, как и утопия имманентного выживания, под давлением иной, более агрессивной реальности, уже с рубежа 1970-х. Внутренняя эмансипация при несвободе внешних условий в любом случае была идеальным построенным убежищем, но не обновленным миром.

Тезис насчет «обновленного мира» в целом слишком общ и вряд ли уместен применительно к тем, кто политической борьбой (тем более по марксистской программе) не занимался. Однако целый ряд других тезисов стоило бы разобрать внимательно. К сожалению, у нас нет исторически зафиксированного слоя методологической рефлексии, которая, разумеется, присутствовала — и в напряженных дискуссиях, и тем более в методологических «дуэлях на шпагах» (рыцарских дуэлях) между сторонниками разных точек зрения — особенно в начальный период становления Школы. Лотман назвал критику Б. Гаспарова блестящей, хотя, конечно, переживал ее болезненно; иначе и быть не могло. В основе всего — разная направленность взглядов. Б. Гаспаров смотрит извне, уже выйдя за пределы Школы, и обобщает все в единый образ; Лотман смотрит изнутри, а потому не может и не хочет строить «безымянную картину». Извне не видно напряженности внутренних противоречий, страстных споров, особенно в период становления школы, в результате которых трудно описать сообщество и работу как единую систему. Мотив бегства от действительности явно преувеличен: убегали, только не в башню из слоновой кости, а «от не-науки к науке»; метод не оставался абстрактной моделью, он менялся, уточнялся в постоянном соприкосновении с новым материалом, и при этом всегда возникали конфликты между материалом и описанием. Для самого Лотмана, как уже неоднократно отмечалось, семиотика была этапом на пути исторического познания: освобождая нас от старого взгляда на историю, она должна была дать новый доступ к историческому

материалу<sup>105</sup>. Разве это поза фрондеров? Ведь и математики извне покажутся эстетами: говорят на непонятном языке, используют непонятные символы. Консенсус — внешний слой, а внутри кипели индивидуальности<sup>106</sup>. Изменилось многое, непреложными остались близкие дружеские отношения и «безусловная научная честность»<sup>107</sup>.

Итак, несмотря на всю эту недостаточность рефлексивности, Лотман вовсе не был ни наивным эмпириком, ни утопическим строителем абстрактных моделей. Он умел очень тонко учитывать различные методологические сложности, когда считал необходимым их учесть. Он не был наивен ни тогда, когда размышлял о соотношении языка объекта и языка описания (языка историка), ни тогда, когда призывал учитывать включение «сознания наблюдателя» в объект наблюдения (например, процесс включения исторических размышлений в сам предмет изучения)<sup>108</sup>. Впрочем, и извинений для этой пресловутой нерелексивности можно найти больше, нежели те, о которых здесь уже говорилось: общее недоверие к философии и установка на то, чтобы не выходить на уровень полемики или просто разговора с (официальными) философами. Быть может, в уклонении от прояснений сыграло свою роль инстинктивное стремление сберечь материал становящейся науки от внешнего критического взгляда, заняв в известном смысле оправданную «наивную» исследовательскую позицию. Здесь полезно вспомнить о важнейшем тезисе Гуссерля, защищавшего по-

<sup>105</sup> «Из наивного мира, в котором привычным способом восприятия и обобщения его данных приписывалась достоверность, а проблема позиции описывающего по отношению к описываемому миру мало кого волновала, <...> наука перешла в мир относительности. Вопросы языка стали касаться всех наук». И далее: «Современная наука в разных своих сферах — от ядерной физики до лингвистики — видит ученого внутри описываемого им мира и частью этого мира. Но объект и наблюдатель, как правило, описываются разными языками. Следовательно, возникает проблема перевода как универсальная научная задача». См.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Он же. Семиосфера. С. 386. В методологии исторического знания, тем самым, на первый план выходят взаимодействия метаязыка описания и описываемого объекта и проблема «перевода языка источника на язык исследователя». См.: Лотман Ю. М. Там же.

<sup>106</sup> «Наука как часть культуры должна сохранять индивидуальность. Эта возможность одновременно говорить общим и индивидуальным языком дает тот культурный объем, который улавливает истину». Лотман Ю. М. Зимние заметки о летних школах // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 297—298.

<sup>107</sup> Лотман Ю. М. Зимние заметки о летних школах // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 298.

<sup>108</sup> Ср. результат совместных размышлений, оформленных в виде коллективного текста: Лотман Ю. М., Иванов Вяч. Вс., Пятигорский А. М., Топоров В. Н., Успенский Б. А. Тезисы к семиотическому изучению культур (в применении к славянским текстам) // Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 525.



зиции самостоятельной эмпирической науки на ранних стадиях становления от диктата философии, которая несвоевременным вмешательством препятствует ее развитию<sup>109</sup>. В любом случае, эта недоформулированность отношений с марксизмом помогала Лотману, как и многим вокруг, выживать в профессии. И вместе с тем, для Лотмана и МТСШ было характерно не подчинение, но осознанное противостояние идеологии, что бесспорно было наиболее достойным для того времени способом открытого действия в рамках научных институтов<sup>110</sup>.

К тому же, несмотря на отсутствие развернутых рефлексивных обоснований, терминологическая сторона описаний у Лотмана почти везде осознана. Даже если он не говорит, откуда взял то или иное понятие или его определение, он почти всегда объясняет, что именно он будет понимать под символом, текстом, языком, под вторичной моделирующей системой. Таким образом, осознание того, что перед нами определенное теоретическое построение, у него практически всегда есть, и оно отличает его от многих других литературоведов или историков литературы. При этом его рефлексия работает и в очень тонких и трудных случаях, таких как пресловутая проблема «наблюдателя», которая часто становится в современных работах камнем преткновения для тех, кто хотел бы построить объективное описание. Лотман занимает позицию, которая учитывает присутствие наблюдателя (исследователя), но не сдает установки на объективность. «Не устранение исследователя из исследования (что практически и невозможно), а осознание его присутствия и максимальный учет того, как это должно сказаться на описании»<sup>111</sup>. Нередко учет наблюдателя трактуется как довод в пользу релятивизации общей картины. У Лотмана — иначе: осознать присутствие наблюдателя и учесть его — значит дать более тонкое и более глубокое описание объекта. В филологии эта установка означала скрытую или явную полемику с «принципиальным интуитивизмом» и «вкусовой импровизацией» в науке: в частности, с любителями «научной задушевности», подозрительно относящимися к генетике, кибернетике, структурализму, формализму, семиотике и др. Их было много во времена Лотмана, их много и сейчас, когда раздаются призывы во имя целостного человека вырвать с корнем весь пласт структурно-семиотических исследований: ведь их акцент

<sup>109</sup> Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999. С. 63—64.

<sup>110</sup> Ср. выступление А. Зорина на круглом столе «Философия филологии» // НЛО. 1996. № 17. С. 91—92.

<sup>111</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Он же. Семиосфера. С. 388.

не на вещи, а на отношения, а это — прямая дорога в постмодернизм, к смерти человека и смерти культуры<sup>112</sup>.

Одним из аспектов, в которых на деле проявилась лотмановская рефлексивность, выступает (в обобщенном виде) Россия как предмет исследования. Вопрос с самого начала стоял так: стоит ли предлагать уже имеющиеся методы семиотических исследований для описания русской культуры или на русском материале искать новые импульсы для развития семиотики культуры? В одной из поздних своих работ («Тезисы к семиотике русской культуры») Лотман обосновывает именно второй подход: «Мы полагаем, что изучение под этим углом материала русской культуры может дать некоторые новые импульсы для общей методологии семиотики культуры. Динамичность, нестабильность и постоянная внутренняя противоречивость русской культуры превращают ее в некоторый исторический и теоретический полигон, стимулируя и неизбежные издержки, и порой пророческую прозорливость этой экспериментальной по своей сути области изучения»<sup>113</sup>. Россия — головоломно сложный и требующий изощренной рефлексии предмет: в русской культуре ритмически сменяются в тех или иных формах изоляционизм и западничество: аналогии с западным путем развития должны учитываться, но не применяться прямо и однозначно, так как «кажущаяся связь их с теми или иными европейскими или мировыми процессами скорее запутывает, чем проясняет вопрос». Девяностые годы прошлого и начало нынешнего века — ситуация размытости всех границ общественных и культурных структур, перепутанности самохарактеристик, когда привычные очертания меняются на глазах: еще не рожденные явления начинают пользоваться старыми гербами, которые не отвечают их реальности, смыслы не имеют слов, слова — смыслов, а время слияния новых смысловых структур с органичным для них терминологическим облачением еще не наступило. С удивительным чувством меры и такта Лотман выступает и против тенденциозного спецификаторства, и против прямолинейного прогрессизма. Несмотря на свой просветительский настрой, Лотман начисто чужд самонастроения «догоняющей» культуры, хотя тема России как страны, по-своему воспринимающей западные культурные влияния, у него, конечно, была. В итоге все четче проявляется главное: Лотман важен нам, прежде всего, тем, что он не сдал по-

<sup>112</sup> Один из ярких примеров такого подхода среди многих других: *Кутырев В. А.* Философский образ нашего времени (безжизненные миры постчеловечества). Смоленск, 2006.

<sup>113</sup> *Лотман Ю. М.* Тезисы к семиотике русской культуры (Программа отдела русской культуры Института мировой культуры МГУ) // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 407.

зиций рациональной светской мысли даже в таком трудном предмете, как русская культура, и до конца пытался, вопреки распространенному девизу, понять «Россию умом». Какими бы средствами ни осуществлялась эта программа, она сохраняла свой главный смысл, подтверждая свою преемственность от 1960-х годов до наших дней.

В работах Лотмана и его круга, несмотря на те или иные сферы или аспекты концептуальной или терминологической недоопределенности, с предельной четкостью выявился ряд вопросов, которые философия еще не научилась перед собой ставить, потому что эти вопросы всегда опираются в первую очередь на конкретную реальность культуры. Среди них особое место занимает проблема культурного перевода.

## § 5. Лотман и Якобсон о переводе

Главные вопросы, которые Лотман формулирует в своих работах разных периодов — по сути, они обращены к философии, которой предстоит осмыслить их своими средствами — это вопрос о переводе как условии культуры. А также о многоязычии, провоцирующем и побуждающем к переводу. В одном из последних своих интервью, в очередной раз подытоживая наследие МТСШ, Лотман подчеркивал именно эти проблемы.

«Одна из фундаментальных особенностей тартуской школы состоит в представлении о том, что мир не может иметь один язык и что реальность не описывается одним языком. Минимум — много языков. Можно даже предположить, что это число *открытое*». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>114</sup>

<sup>114</sup> Более широкое обоснование этой мысли таково: «Семиотические идеи долгое время исходили из представления, что есть говорящий, слушающий и язык общения. Тартуская школа коренным образом изменила это представление. Система, обладающая одним языком, может быть теоретической моделью, но в реальности существовать не может. То, что долгое время казалось *изобилием природы, ее расточительностью* — она наделила каждого разной внешностью, разной судьбой, разными языками, — оказалось *необходимостью*». Лотман Ю. М. «Нам все необходимо. Лишнего в мире нет...» // Он же. Воспитание души. СПб., 2003. С. 288. Впервые опубли. в феврале 1993. Эта публикация (готовилась к 71-летию Лотмана — к 28 февраля 1993 года) представляет собой ответы на вопросы журналистики; цитируемая ее часть — монолог, разделенный на подглавки. Или вот еще прекрасный пример: «Объектом <...> семиотики оказывается не какой-либо изолированный язык (изолированный язык не работает!), а культура — сложная структура, включающая в себя языки и другие семиотические объекты и являющаяся коллективным мозгом человечества». Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 116.

Этот тезис о неограниченном количестве языков, описывающих реальность, — основа всего: один и тот же процесс может быть описан на разных языках — математики, философии, искусства. Из этого вытекает второй важнейший тезис — о том, что познание реальности, познание вообще, по сути, есть перевод. Замечу: Лотман — единственный из моих персонажей, кто прямо и непосредственно связывает *познание с переводом*; он делает это нечасто, но весомо, в важных смысловых местах:

«сама природа интеллектуального акта может быть описана в терминах перевода, определение значения — *перевод* с одного языка на другой, причем внеязыковая реальность мыслится так же, как некоторый язык. Ей приписывается структурная организованность (презумпция структурированности, а не хаоса) и потенциальная возможность выступать как содержание разнообразного набора выражений». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>115</sup>

Или:

«В общем у нас все время возникает вопрос об облике объекта, который мы начинаем познавать, описывать, *то есть переводить* на какой-то другой язык». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>116</sup>

Тема познания как перевода имеет в наши дни исключительно важное значение, о чем мне уже доводилось писать подробнее<sup>117</sup>. Среди тех, о ком я пишу, Лотман ближе всех подошел к теоретическому осмыслению этого вопроса. Вопрос о многоязычии и переводе более сложен, чем вопрос о переводе с языка на язык в техническом и лингвистическом смысле слова. Именно Лотман поставил проблему перевода в широком философском и общенаучном плане. Конечно, он не начинал эту работу на пустом месте. Он явно опирается на концепцию перевода, предложенную Романом Jakobsonом, и во многом, как будет далее показано, выходит за ее пределы. Поэтому прежде всего мы должны вспомнить основные звенья Jakobsonовской концепции перевода.

Напомню, что Jakobson исходит из трех типов перевода: это внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический перевод<sup>118</sup>. На первый взгляд такой порядок нас удивляет: ведь первое, что

<sup>115</sup> Лотман Ю.М. Семиосфера. С. 17.

■ Лотман Ю.М. Воспитание души. С. 287.

■ Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008.

■ Jakobson P. О лингвистических аспектах перевода // Он же. Избранные работы. В. 361—368.

приходит на ум, когда мы говорим о переводе, — это междзыязыковой перевод или «собственно перевод»<sup>119</sup>. Возможно, Jakobson начинает с внутриязыкового перевода потому, что он, яснее других видов перевода, демонстрирует процедуру придания знаку значения в результате его развертки<sup>120</sup>, а вопрос о значении всегда был для Jakobsona, в отличие от ряда его современников-лингвистов (копенгагенской школы или дескриптивистов), существенным моментом исследований.

Иначе говоря, Jakobson различает три способа интерпретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того же языка (это и будет переименование<sup>121</sup>), на другой язык или же в другую, невербальную систему символов. При внутриязыковом переводе получаются синонимичные выражения, которые не являются вполне эквивалентными. При междзыязыковом переводе происходит перекодировка слов или целых сообщений; эти процедуры остро ставят одну из важнейших проблем языка: как достичь эквивалентности при существовании и сохранении различий? Наконец, третий вид перевода — из одной семиотической системы в другую, например, из вербальной в визуальную (роман, фильм, балет). Говоря о словесных сообщениях, мы обычно предполагаем, что получение словесного сообщения (простым пользователем языка или же лингвистом) всегда требует интерпретации, а интерпретация, в свою очередь, немыслима без перевода — перевода знаков в другие знаки той же системы или же в знаки другой системы. Все эти процедуры рано или поздно упираются в вопрос о взаимной переводимости языков и знаковых систем. Спору нет, процедура перевода очень сложна — и в теории и на практике, а потому отчаявшиеся преуспеть в этом деле вновь и вновь провозглашают то, что Jakobson называет «догмой непереводаемости»<sup>122</sup>. Но Jakobson опровергает эту «догму» доводами из практики междзыязыкового перевода: если в языке перевода не находится нужных

<sup>119</sup> А Умберто Эко специально подчеркивает, что и по поводу «собственно перевода», мы, вопреки очевидности, мало что знаем. Все виды перевода в известном смысле — загадка.

<sup>120</sup> «Для нас, лингвистов и просто носителей языка, значением любого лингвистического знака является его перевод в другой знак, особенно в такой, в котором, как настойчиво подчеркивал Пирс [Здесь Jakobson ссылается на работу Дьюи о Пирсе: *Dewey J. Peirce's Theory of Linguistic Signs, Thought and Meaning* // *The Journal of Philosophy*. 1946. Vol. XLIII. P. 91], этот тонкий исследователь природы знаков, "оно более полно развернуто"». Jakobson P. О лингвистических аспектах перевода // *Он же*. Избранные работы. С. 362.

<sup>121</sup> Jakobson приводит элементарный пример такой развертки: название «холостяк» можно преобразовать в «неженатый человек», если потребуется более высокая степень эксплицитности.

<sup>122</sup> Там же. С. 363.

слов, можно придумать новые слова, использовать описательные обороты или прибегнуть к заимствованиям. Если в языке перевода отсутствует какой-то важный грамматический прием, то передать понятийную информацию, содержащуюся в оригинале, можно иными средствами. Тем более что языки — Якобсон это всячески подчеркивает — различаются между собой не тем, что «что в них *может* быть выражено» (в них может быть выражено самое разное), но тем, что «в них *должно* быть выражено»<sup>123</sup> (или, иначе, тем, что языки приносят в сообщение непременно, автоматически, без специального намерения). В любом случае познавательные функции языка, так или иначе, позволяют найти выход из ситуаций языковой несоизмеримости, прибегая к тому, что Якобсон называет «перекодирующей интерпретацией», или переводом<sup>124</sup>.

Отталкиваясь от этой концепции и этой типологии, Лотман понимает перевод шире и в некоторых существенных моментах — иначе. В дополнение к якобсоновским типам перевода (внутриязыковой, междязыковой, межсемиотический) Лотман фактически (подчас не очень эксплицитно) прорабатывает еще несколько важных позиций. Во-первых, речь идет у него не только о переходе от одних вербальных знаков к другим (в той же самой или в иной языковой системе), но и о самом акте первичной вербализации, о переходе от несловесных представлений к словесным, о претворении невербальных образований опыта в «текст». Во-вторых, речь у него идет также не только о переходе между семиотическими системами, но и о переходе (переводе) от внесемиотического (или досемиотического) мира в семиотический и обратно. Все это — виды перевода в широком смысле. И еще одно важное отличие в истолковании механизмов перевода в культуре. Если Якобсон трактует «непереводимость» только как помеху коммуникации, устраняемую определенными процедурами, то Лотман усматривает в феномене непереводимости (точнее, трудной переводимости) креативный механизм культуры, затрудняющий человеческое общение для того, чтобы, в конечном счете, сделать его более насыщенным: «Трудности взаимопонимания, ситуации *непереводимости* из одной семиотической системы в другую, се-

<sup>123</sup> Там же. С. 365.

<sup>124</sup> Там же. С. 366. Разумеется, в поэзии различие грамматических категорий может крайне осложнить перевод, что всегда происходит при различии грамматического рода опорных существительных. Так, в славянских и других языках, где день — мужского рода, а ночь — женского, день описывается как возлюбленный ночи, и соответственно при переводе на другие языки возникают большие проблемы. Или другой пример: перевод поэтического сборника Пастернака «Сестра моя — жизнь» приводил в отчаяние чешского поэта Йозефа Хору, так как на чешском языке слово «жизнь» — мужского рода.

миотическое многоязычие культуры привлекают внимание исследователя как механизмы смыслопорождения (курсив мой. — Н. А.)»<sup>125</sup>. И еще один важный момент: у Лотмана (нелингвиста) гораздо сильнее, чем у Якобсона (лингвиста, для которого это, видимо, само собой разумеется) звучит тема многоязычия — сознания, культуры, человеческой жизни.

Проблему перевода Лотман ставил, например, в самом начале «Культуры и взрыва»<sup>126</sup>, расширяя философскую сцену, на которой она разыгрывается. Семиотическая схематика вовсе не предполагает, что все вокруг — языки и только языки. Помимо самого языка, мы различаем реальность, выраженную в языке, переведенную на язык, и реальность за пределами языка<sup>127</sup>. Мысленный охват этих разных реальностей осуществляется в несколько приемов. Прежде всего, на место символической инстанции «я мыслю» Лотман ставит субъекта языка<sup>128</sup>, а затем переформулирует вопрос о субъекте и объекте уже с учетом этой подстановки: есть объективный мир, принадлежащий языку и зависящий от его возможностей, есть язык, которым пользуется субъект, и есть другая объективность — мир за пределами языка. Ни один отдельный язык не справляется с задачей постижения этих миров: для этого нужны, как мы помним, минимум два, лучше — много или вообще «открытое число» языков, которые соотносятся и пересекаются друг с другом, создавая тем самым более объемную культурную проекцию отображаемой реальности.

«Языки эти как накладываются друг на друга, по-разному отражая одно и то же, так и располагаются в "одной плоскости", образуя в ней внутренние границы. Их взаимная *непереводимость* (или ограниченная *переводимость*) является источником адекватности внеязыкового объекта его отражению в мире языков». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>129</sup>

<sup>125</sup> Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 116.

<sup>126</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Он же. Семиосфера. СПб., 2001.

<sup>127</sup> «Семиотическое пространство предстает перед нами как многослойное пересечение различных текстов, вместе складывающихся в определенный пласт, со сложными внутренними соотношениями, разной степенью переводимости и пространствами непереводимости. Под этим пластом расположен пласт «реальности» — той реальности, которая организована разнообразными языками и находится с ними в иерархической соотнесенности. Оба эти пласта вместе образуют семиотику культуры. За пределами семиотики культуры лежит реальность, находящаяся вне пределов языка». Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Он же. Семиосфера. СПб., 2001. С. 30.

<sup>128</sup> Нечто похожее осуществлял некогда и Леви-Строс, когда оспаривал декартовскую и сартровскую схему «Я» в ситуации различия языков, культур, способов поведения.

<sup>129</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Он же. Семиосфера. С. 13.

Ситуация множественности языков исходна, первична; лишь на ее основе может возникнуть стремление к единому универсальному языку. Однако представление о наличии одного идеального языка, способного наилучшим образом отобразить реальность, иллюзорно. Точнее, оно вторично, оно создается культурой вместе с самим стремлением «к единому универсальному языку (к единой, конечной истине)»<sup>130</sup>. Рабочим механизмом и условием общения является именно совокупность языков, вместе реализующих ту «необходимость *другого* (другой личности, другого языка, другой культуры)»<sup>131</sup>, без которой вообще невозможны ни общение, ни познание. К этой важной для него мысли о необходимости другого Лотман обращается не только в эпистемологическом, но и в экзистенциально-этическом ключе<sup>132</sup>.

Таким образом, мы видим, что семиотическое пространство по своей структуре — очень сложное образование, в котором переводимость и непереводимость вступают в причудливое отношение. Именно давление непереводимого создает напряженность и становится стимулом, который подталкивает к прорывам в запредельное, внесемиотическое пространство, к тому, чтобы осваивать его, достигая при этом максимальной степени переводимости. В любом случае мир семиозиса не есть нечто замкнутое: он образует сложную структуру, которая все время «играет с внележащим ему пространством, то втягивая его в себя, то выбрасывая в него свои уже использованные и потерявшие семиотическую активность элементы»<sup>133</sup>. Это — ситуация постоянного обмена. Фактически Лотман описывает здесь механизм существования того, что можно назвать открытой структурой, причем именно операциональность перевода в конечном счете обеспечивает эффективное соотнесение семиотического с нессемиотическим, системного с несистемным.

Память, первичная вербализация, переход от невербального кодирования к смысловому и обратно в любом акте общения — вот те важнейшие аспекты, в которых Лотман расширяет яacobсоновскую трактовку перевода. При этом переводом невербального в вербальное оказывается практически любое преобразование опыта в текст — посредством реализации потенциалов языка. Так как культура функционирует как знаковая система, а главным структурирую-

---

<sup>130</sup> Там же.

<sup>131</sup> Там же.

<sup>132</sup> «Будущее — не в стирании национальных границ, а в понимании чужого, в понимании необходимости чужого: чужой, инакомыслящий, иначе устроенный для меня мучительно необходим и составляет мое мучительное счастье». Лотман Ю. М. Ответы на вопросы корреспондента «Литературной газеты» // Он же. Воспитание души. СПб., 2003. С. 121.

<sup>133</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Он же. Семиосфера. С. 30.



щим устройством выступает в ней естественный язык<sup>134</sup>, значит, в культуре непременно присутствуют эти механизмы переработки жизненного опыта. Без этого культура немислима: «само существование культуры подразумевает построение системы, *правил перевода непосредственного опыта в текст* (курсив мой. — Н. А.)»<sup>135</sup>.

Процесс функционирования культуры как памяти — это тоже перевод в широком смысле слова. Для того, чтобы то или иное индивидуальное событие вошло в коллективную память, оно должно быть соотнесено с тем или иным элементом в структуре «запоминающего устройства», включено в развернутую систему языковых связей, или «записано»: только тогда у него появится шанс стать элементом памяти, элементом культуры. Трактовка этого фундаментального процесса запоминания как языкового схватывания и трансформации опыта у Лотмана достаточно последовательна и систематична, это — перевод: «...внесение факта в коллективную память обнаруживает все признаки *перевода* с одного языка на другой, в данном случае — на “язык культуры”». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>136</sup>

Психологические поля памяти Лотман связывает с проблемой языка, сознания и бессознательного, нечасто им рассматриваемой. Является ли комплекс сексуальных влечений в жизни ребенка первичным, позволяет ли эта отсылка понять детское психофизиологическое развитие? Дело тут не в глубинах детской психологии, считает Лотман, но в затрудненности перевода с языка взрослых, обладающего «богатым алфавитом» (это выражение не вполне точно, так как речь идет не только о различиях в системах записи, но и о различиях в системах формальных возможностей и механизмов смыслообразования), на детский язык с кратким алфавитом<sup>137</sup>; богатое содержание вмещается в малую емкость, переизбыток означающих не находит своих означаемых и вытесняется. Контакт между детским и взрослым мирами предстает как акт перевода: ребенок переводит общение со взрослыми на свой язык и моделирует свой мир в результате этого перевода. При этом трудность заключается в том, чтобы перевести в свой мир огромное количество избыточных для ребенка знаков: не только сказки или рассказы, но

<sup>134</sup> Иногда мы думаем, что межкультурный перевод — это нечто экзотическое (например, перевод романа в балет или симфонию); однако это совсем не обязательно. Даже обычное повседневное общение людей представляет собой в известном смысле межкультурный перевод: это, например, переход от смыслового кодирования к вербальному в мыслеречевой деятельности говорящего и от вербального кодирования к смысловому в деятельности слушающего.

<sup>135</sup> Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн, 1993. В 3 т. Т. 3. С. 329.

<sup>136</sup> Там же.

<sup>137</sup> Лотман Ю. М. О редукции и развертывании знаковых систем (к проблеме «Фрейдизм и семиотическая культурология») // Он же. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 141—156.

и простые семейные отношения требуют усвоения через перевод и редукцию, когда сложное выражается через простое<sup>138</sup>. В процессах напоминания и актуализации памяти мы видим один из ответов на спровоцированный Лаканом вопрос о «бессознательном, структурированном как язык»; речь, в частности, идет о том, как бессознательные представления, с одной стороны, и словесные проявления, с другой, преобразуются друг в друга. Эта лотмановская концепция взаимоотношения ребенка со взрослыми как перевода имеет удивительно близкую аналогию в более поздних работах известного французского психоаналитика Жана Лапланша<sup>139</sup>. Между взрослым и ребенком существует огромная диспропорция в уровне опыта символизации; а потому ребенок вынужден вытеснять из сознания все то сказанное ему взрослым, что он не в состоянии перевести на свой язык и освоить. Иначе говоря, давление вытесненного — вследствие дефицита перевода и артикуляции — и выступает как основание (побуждающая причина) влечения.

Кроме того, проблема перевода вторгается в семиотическую и культурологическую концепцию Лотмана в месте соотношения языка объекта и метаязыка. Человеческий язык как особая конструкция имеет свой метауровень, с которым связана и способность к самокоррекции, чем-то похожая на способность к внутренней рефлексии, не обязательно проходящей через ясное самосознание. Уже Jakobson пристально вглядывался в метаязыковую способность языков, в частности, в связи с процессами перевода<sup>140</sup>. Эта удивительная способность естественных языков есть возможность сдвига, отстранения от самого себя, взгляда со стороны, а тем самым — и перевода. Она распространяется и за пределы естественного языка: ссылаясь на опыт своих совместных семинаров с Нильсом Бором, на которых речь шла о различных аспектах соотношения естественных наук с лингвистикой, Jakobson проводит тезис о метаязыковости естественного языка на уровне научной теории, где перевод выступает как перевод объектных представлений в метаязыковые.

Лотман подхватывает это рассуждение, размышляя о мире исторического познания: историк обязан уметь различать и учитывать

<sup>138</sup> В результате, например, эдипов комплекс свидетельствует не об изначальной агрессии ребенка против отца, но о переводе, перекодировке текста отношений «с богатым алфавитом» в текст отношений «с бедным алфавитом». При этом в этой драматургии перевода отцу достается отрицательная роль: положительная заведомо принадлежит матери как жизненно необходимому персонажу.

<sup>139</sup> См. об этом, в частности: *Scarfone D. Jean Laplanche*. Paris, 1997. P. 68—71.

<sup>140</sup> Способность говорить на каком-то языке подразумевает также способность говорить об этом языке. Такая метаязыковая процедура позволяет пересматривать и заново описывать используемую языком лексику.

соотношения между метаязыком (языком описания) и объектным языком, владеть механизмом перевода с одного на другой. Соответственно Лотман возражает против таких исторических подходов, при которых «мир объекта» и «мир историка» сливаются и даже полностью идентифицируются (для него таким примером выступает историческая концепция Коллингвуда). Не слипание, но расчленяющий и вновь связывающий перевод должен быть механизмом их соотношения. Отношение исследователя к этим двум мирам, объектному и метаязыковому, «предполагает предельное обнажение различий в их структурах, описание этих различий и трактовку понимания как *перевода* с одного языка на другой»<sup>141</sup>. Таким образом, историк и история, объект и наблюдатель «говорят на разных языках» и при их соотношении возникает необходимость многократного, многоуровневого перевода. При этом возникает еще одна, более широкая проблема — соотношения переводимости и непереводимости.

Как уже отмечалось, Якобсон не видел в этом соотношении ничего хотя бы потенциально положительного. Лотман трактует этот вопрос более широко, выходя за пределы области межкультурного перевода, из которой черпал свои примеры Якобсон, к общефилософской проблеме понимания. Размышления о переводимости и непереводимости ставят нас лицом к лицу с неким парадоксом общения и его механизмов: чем труднее общение, тем оно содержательнее, чем проще — тем примитивнее и бесполезнее. «“Понимаемость”, к которой мы так стремимся, — это один полюс; другой необходимый полюс — “непонимаемость”, потому что непонимание делает понимание мучительным и вместе с тем имеющим смысл и высокую ценность»<sup>142</sup>. Более развернутое обоснование этого тезиса показывает, что мы «заинтересованы в общении именно с той сферой, которая затрудняет общение, а в пределе делает его невозможным. Более того, чем труднее и неадекватнее перевод общей непересекающейся части пространства на язык другой, тем более ценным в информационном и социальном отношении становится факт этого парадоксального общения. Можно сказать, что перевод непереводимого оказывается носителем высокой ценности»<sup>143</sup>. При этом безогово-

<sup>141</sup> Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001. С. 388.

<sup>142</sup> Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 121.

<sup>143</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Он же. Семиосфера. С. 16. Любопытно, что в зависимости от близости или дальности языков друг другу оказывается возможным или невозможным то, что можно назвать «обратным переводом». Если речь идет о переводе между близкими языками, то обратный перевод вполне возможен; если языки более далеки (например, научный и художественный язык), то обратный перевод будет крайне затруднен, а в ряде случаев (скажем, при переводе с языка поэзии на язык музыки), — совершенно невозможен.

рочная победа какого-нибудь одного полюса коммуникативного процесса и его результатов — и полное понимание, и совершенное непонимание (и то и другое возможно лишь гипотетически, но их можно представить себе как тенденции) — разрушает общение. Лотман делает акцент на возможности порождения нового: «Трудности взаимопонимания, ситуации непереводаемости из одной семиотической системы в другую, семиотическое многоязычие культуры привлекают внимание исследователя как механизмы смыслопорождения»<sup>144</sup>.

Итак, основная модель общения должна быть многоязычной и динамической: абстракция с одним языком и в статическом состоянии — это умозрительное отвлечение от динамической структуры, которая и есть единственная реальность. Нам нужна более сложная модель с многими языками. Из всего этого мы выводим еще одну важную вещь: перевод делается в ситуации непереводаемости, когда давление непереводаемого запускает его в действие; поэтому непереводаемость позитивна, а наличие взаимно непереводаемых языков в культуре есть не что иное, как условие ее существования.

Вопрос о переводе иногда соприкасается в лотмановской концептуальной схематике с вопросом о диалоге. «Мы говорили, что элементарный акт мышления есть *перевод*. Теперь мы можем сказать, что элементарный механизм *перевода есть диалог*» (курсив мой. — Н. А.)<sup>145</sup>. Так каковы они — эти новые доводы? «Диалог подразумевает асимметрию, асимметрия же выражается, во-первых, в различии семиотической структуры (языка) участников диалога и, во-вторых, в попеременной направленности сообщений. Из последнего следует, что участники диалога попеременно переходят с позиции «передачи» на позицию «приема»<sup>146</sup>. Как видно, диалог здесь понимается Лотманом в бытовом и лингвистическом смысле: как поочередный обмен репликами между говорящим и слушающим, как общесемиотический механизм смены позиций «прием» — «передача». Если у Лотмана понимание диалога как обмена репликами является основным, то у Бахтина мы вряд ли вспомним хотя бы один контекст, где диалог трактовался бы подобным образом, и в то же время у Бахтина нет тезиса о необходимости межъязыкового и межкультурного перевода.

Фактически любой диалог возможен лишь при наличии общего языка, но для того, чтобы его выработать, нам как раз и нужен перевод. Именно в этом смысле я считаю перевод условием

<sup>144</sup> Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 116.

<sup>145</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Он же. Семиосфера. С. 268.

<sup>146</sup> Там же. С. 268.

возможности диалога, а не наоборот. Если понимать диалог так, как это предлагает делать Лотман (обмен репликами между говорящим и слушающим), то с этой формулировкой соотношения между переводом и диалогом (элементарный механизм перевода есть диалог) можно было бы согласиться, учитывая взаимную заинтересованность участников диалогической ситуации в преодолении семиотических барьеров. В самом деле, ведь принцип перевода (и в живом общении, и в заочном) действительно предполагает механизм «прием — передача». Можно даже представить себе некий синтез, в котором бахтинский диалог и лотмановская концепция коммуникации обнаруживают, наконец, свою сопряженность или даже соэкстенсивность. И Лотман делает к этому шаг, по сути, уравнивающий культуру, структуру, диалог, семиосферу; и тогда в центре внимания в равной мере оказываются «проблемы *диалога и художественного перевода* (курсив мой. — Н.А.), выступающие как механизмы смыслопорождения»<sup>147</sup>. Однако на поверку эти сближаемые Лотманом понятия остаются понятиями разных смысловых регистров и разных понятийных рядов. А потому, чтобы избежать понятийных недоразумений, я ставлю в центр внимания именно перевод: иначе говоря, перевод есть условие диалога, а не наоборот. Подтверждение такого решения я нахожу, в частности, у Михаила Юрьевича Лотмана, тонкого интерпретатора концепции своего отца. Для М. Ю. процесс коммуникации как перевода и одновременно многомерные преобразования во всей гкани общения осуществляются единым движением, ставящим на место наивно предполагаемого исходного тождества концепцию сдвига, различия, соотношения: «Акт коммуникации есть акт перевода, акт трансформации: текст трансформирует язык, адресата, устанавливает контакт между адресантом и адресатом, трансформирует самого адресанта. Более того, текст трансформируется сам и перестает быть тождественным самому себе»<sup>148</sup>.

В общей форме проблема перевода всякий раз возникает в культуре на стыке между «открытыми» и «закрытыми» структурами<sup>149</sup>. Например, на материале фольклора этот стык есть тот жанровый промежуток, где собственно фольклор уступает место другим, более нам привычным индивидуальным формам искусства. Речь идет об импровизационных жанрах: они основываются на

<sup>147</sup> Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 116.

<sup>148</sup> Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики // Лотмановский сборник. Вып. 1. С. 218—219.

<sup>149</sup> Лотман Ю. М. Искусство на пересечении открытых и закрытых структур (1992) // Он же. История и типология русской культуры. С. 174—188.

формально жестких принципах, но могут бесконечно развертываться в новые тексты. Такое превращение потенциального в реальное предполагает в итоге не тождество, но лишь неточную соотнесенность. Речь идет не о тождестве, но лишь о соотношении, о некоей форме соотнесенности, которая таит в себе и возможность ошибок, и возможность нового.

Эта опора мыслителя-семиотика на механизмы перевода, в которых переводимое соседствует с неперевоаемым, имеет важные следствия для всех составляющих его метода: «Если мы говорим, что семиотика опирается на точные методы, то можно, отнюдь не стремясь к парадоксам, сказать, что она изучает “точными” методами “неточные” системы. Если же не стремиться к парадоксам, то следует признать, что именно “точные” методы дают нам возможность уловить “неточные” структуры»<sup>150</sup>. И это — не игра словами и понятиями, но глубоко продуманный итог культурных взаимодействий, в которых сосуществуют две тенденции: «одна стремится к взаимной *переводимости* языков говорящего и слушающего, то есть к пониманию, другая, противоположная, к их *непереводимости*. Первая направлена на увеличение количества информации, вторая — на ее ценность» (курсив мой. — Н. А.)<sup>151</sup>. «Открытый» текст подразумевает незавершенность и одновременно значимость своей основы, на которой воспринимается и прочитывается текстовая динамика. Чем жестче стереотипная канва, чем короче набор типажей, тем свободнее полет фантазии, тем большее (в принципе, бесконечное) число конкретных сюжетов может породить из них импровизатор. Владея концептуальным инструментом и практической техникой перевода, мы можем не бояться тех внутрисистемных и внесистемных напряжений, которые в противном случае ведут культурную систему к распаду или же к окостеневанию: иные соотношения частей, продуктивные сдвиги выводят на новые пути смыслопорождения и его непрекращающейся динамики:

«Соединяющее нас языковое пространство — *пространство открытое*. Оно может разрастаться, может сжиматься, может переводить определенные вещи в статус языка — обязательной структуры, в которую я закладываю нечто, а ты это нечто получаешь. Но может случиться, что я заложил — а ты не вынул. Это факультативное добавление, то, что может получить смысл, а может и не получить. То есть существует *пространство смысла*. Так вот, особенность тартуско-московской (так точнее) школы в том и заклю-

<sup>150</sup> Там же. С. 175.

<sup>151</sup> Там же.

чается, что она изучает смысловое пространство как нечто живое и очень динамическое». (Курсив мой. — Н.А.)<sup>152</sup>

На этом высказывании мы расстаемся с Лотманом, который напоминает нам о самом главном: об открытом пространстве языка, объединяющем и «обязательные» структуры, и «факультативные» смыслы. Лотман считал смысловое пространство живым и динамичным предметом своего внимания, ни в коей мере не отказываясь при этом от постулата о необходимости «обязательных структур». Однако это было бы невозможно без такой концепции перевода, в которой переводимое и неперебиваемое сосуществуют, разрешая внутрисистемные напряжения неустанным поиском меры, тут же нарушаемой новым неравновесием. Лотмановская концепция перевода в свете идеи продуктивной неперебиваемости остается на сегодняшний день наиболее прочным и гибким понятийным каркасом для наших дальнейших размышлений о переводе.

---

<sup>152</sup> Лотман Ю.М. Воспитание души. С. 289.

# Гаспаров: рыцарь «строгой науки»<sup>1</sup>

---

**П**ро Гаспарова пишут разное: для кого-то он сумел соединить гуманитарную науку с творчеством, для кого-то — обогнал своей писательской изобретательностью многих постструктуралистов и постмодернистов. Наверное, важнее обсуждать здесь то, что сам Гаспаров считал первостепенным — возможность создания филологии как точной науки. Разным аспектам этого вопроса посвящены отдельные параграфы этой главы. Вместе с тем в ней затрагивается также проблема социальной и культурной рецепции самого гаспаровского замысла.

## § 1. «Академик-еретик?» Наследие и рецепция

Вряд ли найдется человек, который бы взялся единолично полыхить все то, что сделал Михаил Леонович Гаспаров (1935—2005) за полвека работы в науке. Работа по сбору, описанию, изучению различных предметов и форм его творческого наследия нам еще предстоит. Она позволит по-новому взглянуть на то, что сделано и делается в филологии и в других гуманитарных науках. А также и в современной философии, которая пока, к сожалению, не проявляет должного внимания ни к идее точной филологии, ни к практикам, реализующим этот замысел, хотя, казалось бы, все это должно было бы ее заинтересовать. Здесь предлагаются некоторые первоначальные соображения о смысле работы Гаспарова в филологии и о ее рецепции в культуре.

---

<sup>1</sup> Гаспаров говорил скорее о «точной науке» — вслед за Б. И. Ярхо. Но мне хочется, чтобы у читателя-философа звучали в сознании и те продуктивные ассоциации, которые связаны с философскими аспектами этой проблемы — в частности, с идеей «строгой науки» (*strenge Wissenschaft*) Гуссерля, в данном случае — в отнесении не только к философии.



Его наследие велико и многопланово<sup>2</sup>, а его научные заслуги нашли общественное признание: он был академиком, действительным членом РАН (1992), лауреатом государственной премии (1995) и др. Однако представляется, что и внимание профессионалов, и общекультурный интерес к Гаспарову несоизмеримы с его вкладом в профессию и в культуру. Наряду с восторженным энтузиазмом со стороны самого близкого и более дальнего окружения, были и есть и другие реакции: вежливое равнодушие, раздражение и даже возмущение... А в целом кажется, будто существует определенное несоответствие между тем, что он нам предлагает, и тем, что мы хотим или можем из этого взять: нечто очень важное из его наследия не вмещается в рамки нашего понимания, а вследствие этого — упускается или просто отталкивается. В данном случае я не буду останавливаться на ситуациях профессиональной полемики (например, с некоторыми коллегами-стиховедами) — это вопрос отдельный. Меня интересует вопрос о более общей культурной рецепции Гаспарова.

Вот лишь один пример. В связи с 70-тилетним юбилеем Гаспарова группа талантливых молодых людей выступила с яркой и интересной статьей о нем с подзаголовком — «академик-еретик»<sup>3</sup>. Однако уже одно это обозначение — либо симптом, либо про-

<sup>2</sup> Фрагменты научной биографии: родился в Москве, окончил классическое отделение филологического факультета МГУ, с 1957 по 1990 год работал в Институте мировой литературы РАН, с 1990 года — в Институте русского языка РАН, а с 1992 г. также и в Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ. Сам он считал, что у него три специальности: классическая филология (прежде всего — латинская поэзия), стиховедение, русская поэзия начала XX века, хотя реальных областей его специализации было гораздо больше.

Главные направления его исследовательской работы наметились еще в студенческие годы. Это античность и стиховедение (оно начинает преобладать в творчестве Гаспарова со второй половины 1970-х годов). Соответственно, его кандидатская диссертация посвящена античности («Античная литературная басня», 1963), а докторская — стиховедению («Современный русский стих», 1979). При этом важнейшей областью работы всегда был для него перевод стихов и прозы — поначалу с древних языков, а затем и с новых. Он написал сотни статей и ряд монографий. Среди них: «Античная литературная басня (Федр и Бабрий)» (1971), «Современный русский стих: метрика и ритмика» (1974), «Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика» (1984), «Очерк истории европейского стиха» (1989; итал. пер. 1993, англ. пер. 1996), «Метр и смысл: об одном из механизмов культурной памяти» (1999). В 1995 году вышел сборник «Избранные статьи» с разделами о стихе, о стихах, о поэтах; а потом по этой же схеме было подготовлено трехтомное собрание его сочинений (1997: том 1 «О поэтах», том 2 «О стихах», том 3 «О стихе»). В начале XXI века вышли, в частности, сборники: «О русской поэзии: анализы, интерпретации, характеристики» (2001), «Об античной поэзии: поэты, поэзия, риторика» (2001), «Экспериментальные переводы» (2003), «Статьи о лингвистике стиха» (совместно с Т. В. Скулачевой, 2004) и др.

<sup>3</sup> Это было коллективное поздравительное сообщение. См.: *Дмитриев А., Кукулин И., Майофис М.* Занимательный М. Л. Гаспаров: академик-еретик («Антиюбилейное приношение» редакции «НЛО») // НЛО. № 3. 2005. С. 170–178.

блема. Ведь еретик — это тот, кто не придерживается (церковных) догматов, в переносном смысле — тот, чьи взгляды не соответствуют общепринятым мнениям и установкам. Спрашивается, почему Гаспаров — академик-еретик: потому что не такой, как другие академики? Потому что не идет по магистрали? А каков, собственно говоря, его путь? Главное для Гаспарова, как и у Лотмана, — вряд ли кто-нибудь в этом усомнится — это забота, причем на редкость последовательная, о научной филологии<sup>4</sup>. Правда, Гаспаров уточнил бы, вслед за Ярхо: забота о «точной филологии» — там, где она возможна. Собственно говоря, именно этого мы вправе ожидать от действительного члена Академии Наук. Не значит ли это, что сама установка на науку и научность, как бы мы ее ни понимали, оказывается для нас, для нашего общества, культуры, философии, в известном смысле неуместной и несвоевременной — «еретичной»? Все это указывает на некий культурный парадокс.

В любом случае, очевидно, что, строя свою науку, Гаспаров бросает вызов многим нынче принятым представлениям. Он нам неудобен, он нам мешает. Например, у нас уже давно нет вкуса к ясности и простоте (скорее к сложности, непонятности, эзотеричности), а он настаивает на том и на другом. У нас теперь большая любовь к междисциплинарности (вне интереса к единым основаниям разных дисциплин), а он, несмотря на все попытки провозгласить его провозвестником нынешнего междисциплинарного бума, постоянно все разделяет и разводит: писатель — не то, что ученый, критик — не то, что исследователь, философ — не то, что филолог и т. п. Он не только дисциплины не смешивает, но и внутри своей дисциплины фактически превращает области «поуровневого» анализа в отдельные науки. Пока мы не разобрались с метрикой и ритмикой, не будем лезть в семантику, пока не разобрались с массивными закономерностями по векам и эпохам, не будем углубляться в анализ отдельных явлений, заметных лишь на фоне общего. У нас на дворе всеобщая креативность, а он демонстративно напоминает нам про то, что настоящие культурные герои — хороший редактор, который улучшает чужое, не навязывая своего, или знающий свое дело библиотечарь, который вовремя посоветует нужную книжку. Моральные принципы разнятся, религии стоят каждая на своем, и к тому же откровение не каждому дается. Но у человека есть демократический интеллектуальный

<sup>4</sup> Даже то, что, казалось бы, выпадает за рамки этой программы, по сути, в нее укладывается. Например, не являются ли «конспективные» переводы тем примером исследовательского эксперимента, которого так не хватало гуманитарной науке, стремящейся к точности? Не содержат ли ненаучные «Записки и выписки» совершенно новые исследовательские замыслы? И т. д.

ресурс — научное познание. Во всяком случае, грамотно, самоотверженно и систематично работая в науке, давая себе и другим отчет в сделанном, любой человек сможет сделать нечто важное и полезное. Лучше найти и описать один маленький факт, чем сочинить десять плохих стихотворений. Лучше суметь встать на чужую точку зрения, чем припечатать ее своей, «эгоцентрической». А потому научная филология — шанс для опоры светской этики, достойной человека во все времена. В развернутом виде это звучит у Гаспарова так: «Умение встать на чужую, исторически далекую точку зрения — это и есть гуманистическое обогащение культуры, в этом нравственный смысл гуманитарных наук»<sup>5</sup>.

Очередная утопия? Идея науки или превращения «не-науки в науку» была для него, как и для Лотмана, определяющей — и в работе и в жизни. А наука, по Ю. М. Лотману, не миф, не сказка, не ковер-самолет, она отличает то, что может сделать, от того, чего не может, — вообще или в данный момент. Стало быть, наука — это достоинство самоограничения, не допускающее ложного пафоса и повышенных тонов. Если факты «не говорят», крик их не заменит. Да и одни слова — те, которые «не факты», — тоже не заменят отсутствующие факты. Но Гаспарову и фактов было мало, его запрос к научности требовал большего (и Лотман сказал о Гаспарове: «я так не могу»): применения математики — статистики и теории вероятностей. Чтобы получить науку, нужно уметь считать, зная что и для чего считать. Считать не ради счета, а для лучшего понимания своего предмета и — в конечном счете — для лучшего взаимопонимания людей. Считать там, где мы не вправе рассчитывать на непосредственное интуитивное знание, где исследуемый предмет далек от нас во времени или в культурном пространстве, так как интуиция, полагает Гаспаров, действительна только в пределах близкого нам культурно-исторического времени, применительно к отдаленным временам она безмолвствует. Тут, конечно, речь может идти об интуитивно правильном понимании художественного творения, а не о философской интуиции как общем предвидении некоего целого по схемам воображения, взаимодействующего с восприятием.

Исследовательская программа Гаспарова возникла не в безвоздушном пространстве и осуществлялась она в конкретных обстоятельствах, местах и временах. Когда сейчас анализируют советский период с его научными идеями, то допускают — и в России и на Западе — разного рода натяжки. Например, видят протест там, где его не было, приписывают своим героям смешную и наивную радикальность. Кажется, за Гаспаровым не замечалось протест-

<sup>5</sup> Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 424—425.

ных действий в общепринятом смысле слова — по крайней мере, на демонстрации он не ходил. Но он очень хорошо понимал, где **обязан** сказать: «на том стою и не могу иначе». Когда издательский редактор, из лучших побуждений, искорежил его перевод **Диогена Лаэртция** (это был «экспериментальный» перевод, перечеканивший многие традиционно принятые термины), то он — **представьте себе** Михаила Леоновича за этим делом! — добился расторжения договора, а перевод выпустил позже в официально не закреплённом сотрудничестве с Т. В. Васильевой.

Конечно, те приемы и те формы, в которых он воплощал свое стремление к научности гуманитарного познания и осмыслял его результаты, не взялись неизвестно откуда. Они существовали в контексте жизни сначала советского, затем постсоветского общества, отчасти зависели от общества, но в чем-то выходили за его рамки или даже над ним возвышались. Имели место и другие, более близкие влияния<sup>6</sup>. Представления Гаспарова о целях и задачах филологии складывались в 1950—1960-е годы. Как уже говорилось в связи с Лотманом, в этот период главным в литературном произведении официально считалось его идейное содержание, а главным в изучаемой истории литературы — ее соотнесенность с этапами национально-освободительной борьбы. В этой ситуации опора на точные науки и идея построения гуманитарной науки по модели точных наук представлялись радикальным литературоведам самым надежным способом борьбы с волюнтаризмом и догматизмом идеологии. При случае, защищая свои подсчеты, можно было сослаться на известное свидетельство о том, что Маркс связывал научность с применением математики<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Не в последнюю очередь — родительские: это редакторское мастерство отца, не получившего никакого профессионального образования, но умевшего удивительным образом улучшить любую рукопись, и путь его матери, тоже человека не заурядного: она поздно пришла в науку, начинала в своей области, психологии, как было принято, с Павлова и Сеченова, но немало сделала в дальнейшем, раскопав по архивам и сохранив для истории имена и идеи малых русских психологов. Однако при всем этом нельзя сказать, будто Гаспаров испытывал культурные ценности с младых ногтей, а потому и в дальнейшем он не считал себя вправе опираться на изначальные культурные интуиции как на самоочевидность. *Zeitgeist* ему в уши не шептал, и главной метафорой бытия была для него не органическая жизнь духа, но алхимическая работа механика, который должен сам, с инструментами в руках, докопаться до устройства культуры.

<sup>7</sup> Науки традиционно делятся на точные, естественные и неточные? Иногда это так. Однако, по словам Поля Лафарга, Маркс именно в математике «находил диалектическое движение в его наиболее логичной и в то же время простейшей форме. Он считал также, что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой» (*Лафарг П. Воспоминания о К. Марксе*. Цит. по: *Воспоминания о Марксе и Энгельсе*. М., 1956. С. 66). Для всех тех, кто в гуманитарной области связывал идею «точности» со статистикой, эта цитата была бесценной.

Протест против навязываемой догмы делался в формах, позволявших сказать свое, как бы даже и не выходя за пределы дозволенного. Вы требуете, чтобы материя была первична? Извольте, я начну с анализа языка; он первичен по отношению к идейному содержанию, которое посредством его выражается. Этот же ход — представить язык базисом для идейной надстройки — был свойствен французской группе «Тель Кель», искренне и примерно в те же самые времена вдохновлявшейся марксизмом, но официальным советским идеологам такой «базис в языке» вряд ли мог понравиться<sup>8</sup>. Гаспаров и впрямь относился к материализму хорошо, однако разве это тот материализм, которого требовали? Такое послушание оказывалось «форменным издевательством». Когда в диссертации об античных баснописцах Федре и Бабрии Гаспаров стал применять элементы новых методик, позволявших исследовать в литературном произведении словесное прежде идейного, это было сочтено формализмом, и почти проваленная защита диссертации была спасена лишь чудом...

Чем можно было поддержать исследовательский поиск, прояснить его основания? Фактически он выискивал — в книгах, в окружающей культурной среде — то, что ему было нужно, и, как мог, увязывал найденное в свою собственную философию или эпистемологию: в ней были элементы марксизма, позитивизма, литературоведческого формализма, структурализма.

Марксизм был в известном смысле первичным внешним воздействием на любого исследователя советского времени. Из марксизма в сознание и практику, так или иначе, входили идеи материализма, диалектики, историзма (Гаспаров утверждает это, говоря о Лотмане, но при этом фактически описывает и самого себя<sup>9</sup>). Из позитивизма — в противоположность весьма распространенной в русской традиции обобщенной критике позитивизма (например, у Якобсона и Трубецкого) — он берет идею последовательного и систематического сбора фактов и упорядочения их по определенным правилам. Важнейшим влиянием был для него, несомненно, русский литературоведческий формализм: тут можно только вновь напомнить, что развернутый очерк методологии точного литературоведения, написанный Б. Ярхо, Гаспаров нашел в архивах и много сделал для популяризации взглядов этого исследователя. Вслед за Ярхо, он считал задачей гуманитарной науки приблизить-

<sup>8</sup> Как уже отмечалось, этот «материалистический» ход мысли Гаспаров видит и у Лотмана — там, где он начинается с лексики, фоники и ритмики и лишь затем переходит к идейному содержанию стихотворения. Ср.: *Гаспаров М. Л.* Ю. М. Лотман: наука и идеология // *Гаспаров М. Л.* Избранные труды. В 3 т. Т. 2. С. 486.

<sup>9</sup> См. в третьем параграфе из главы о Лотмане: «Из архивов недавнего прошлого Гаспаров о Лотмане».

ся к общенаучному идеалу в том виде, в каком его воплощает математизированное естествознание. И здесь он в числе тех великих гуманитариев, кто действительно опирался на аналогию между естественной и гуманитарной науками и полагал, что момент общности во всех формах знания важнее моментов их специфики (это так или иначе формулировал Леви-Строс). Отсюда его тихая (не словом, а делом) полемика с Аверинцевым по поводу «интимного» отношения к своему предмету, о чем будет сказано далее.

Что касается структурализма, то он затрагивал Гаспарова и Гаспаров затрагивал его скорее по касательной: то в методологии, что ему было нужно для работы, он открыл сам, не дожидаясь, пока структурализм во всеуслышание заявит, что отношения важней элементов (до московских филологов его поколения лингвистический структурализм вовремя не добрался: как я уже говорила, нам, на десять лет младшим, довелось быть первыми, кому начали преподавать лингвистический структурализм в его различных вариантах), что же касается абстрактного моделирования или игр с семиотическим аппаратом, то они его не волновали. При этом пресловутую «смерть структурализма» он с удовольствием опровергал: чем еще может заниматься наука, если не исследованием структур (систем отношений между элементами)? В этом смысле структурализм бессмертен. В своем историческом возникновении элементы всех этих перечисленных выше философских и методологических доктрин в том или ином смысле друг другу противоречили и целостного ансамбля взглядов не образовывали, но ему были важны не доктрины, а приемы.

И вот настал постсоветский период. Задули другие ветры — атлантические, европейские, и трансатлантические, американские. Внутренние процессы привели к новым свободам и новым не-свободам: «принудительная идейность сменилась принудительной духовностью». Это замечательная гаспаровская формула. Не было единого алгоритма того, как от этого спастись. За слово «Бог» в изданиях средневековой поэзии уже никто никого на ковер не вызывал, как это было со всеми изданиями средневековой литературы в бытность Гаспарова заведующим сектором античной литературы в ИМЛИ. Зато вопарились всеобщая «компаративистика» (по принципу «и кошка смотрит на короля») и уже упоминавшиеся «междисциплинарные исследования». Споры «сциентистов» с «антисциентистами» затихли, про научно-техническую революцию трубы больше не трубили. Когда в 1967 году Лотман писал свою знаменитую статью о том, что «литературоведение должно быть наукой», требовалось внятно собрать, организовать предмет филологии и по мере возможности защитить его от идео-

логических давлений. Теперь уже предметы никто не собирает, но скорее творчески распыляет в рамках того, что теперь выглядит скорее как междисциплинарные конstellации — на стыках истории, социологии, психологии, философии. Вместо материализма фактически воцарились разные формы идеализма, вместо монизма — разные формы плюрализма. Об озабоченности научностью и объективностью знания теперь редко можно услышать. Главным критерий познавательных занятий — прагматический: какой-нибудь интерес и польза.

Смерть автора — этот тезис спустя лет тридцать после его западного рождения добрался, наконец, и до широкого российского потребителя — обернулась рождением читателя: агрессивного, своенвольного, прихотливого и подчас не очень грамотного, но много о себе понимающего. Это породило новые исторические формы субъективизма, за которыми Гаспаров упорно не хотел видеть никакой хорошей субъективности. В эту эпоху знаки почета стали сыпаться на него как из рога изобилия. Теперь его стали расспрашивать о разном, и у него появились поводы публично высказываться — о нравственности науки, об интеллигенции, о ценностях, о духовности и о многом другом. Но насчет главного он не обольщался. И шел своим путем: пахал на своем поле, опять-таки — не по принуждению, а по собственному свободному выбору.

Неверно было бы думать, что этот новый ветер не принес ничего нового. Новым жизненным моментом стала возможность выезда на Запад, которую Гаспаров, в конечном счете, использовал — для работы в архивах, для общения с друзьями и коллегами (общение всегда было для него непросто: требовало огромных психологических и человеческих затрат, а потому, как правило, давало собеседникам гораздо больше, чем ему самому). В собственной эволюции Гаспарова, переключившего свое внимание всецело на стиховедение (а также монографический разбор русской поэзии) и отделившегося от античности, в этот момент стал все шире прочерчиваться путь от анализа форм к семантике. К советской и «перестроечной» эпохе относится издание трилогии его блестящих стиховедческих работ<sup>10</sup>, так что к началу постсоветской исследуемый материал уже был в основном подготовлен к переходу на иные уровни анализа. Таким образом, эти новые горизонты раскрылись, прежде всего, в связи с его движением по своей собственной траектории. Однако с этим периодом связаны и новые инициативы, и новые риски. Неужели Гаспаров стал постмодернистом? — вос-

<sup>10</sup> Ср.: Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М., 1974; он же. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984; он же. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

кликали читатели «Записей и выписок» — кто с завистью оттого, что он и тут всех опередил<sup>11</sup>, кто с порицанием (экспериментальные переводы — развращение молодежи<sup>12</sup>). Тут стоит напомнить, что любая несистемность, восславленная постструктурализмом и постмодернизмом, представлялась Гаспарову полем, в котором уже появляются (только мы этого не видим) проблески или очаги какой-то иной упорядоченности (или даже системности).

Одновременно с этим обнаружились удивительные сходства и параллели с мировой наукой, в частности, французской. Несмотря на разницу поколений, Гаспаров ближе к Леви-Стросу и Лотману, чем к постструктуралистам. Но в осуществлении этого идеала — стремления к объективному познанию (с применением статистики и теории вероятностей) — он более радикален, чем его великие старшие современники. Наверное, рефлексия по поводу научного метода у Лотмана и Гаспарова и впрямь была относительно слабым местом (в отличие от французских коллег, об этом часто говорят), однако интересно, что их исследовательские результаты нередко оказывались более весомыми и менее идеологичными. Значит ли это, что «русская наука» оказывается строже и точнее, хотя бы в некоторых своих изводах? Возможно и это, хотя дело не в «русской науке» как идеологическом феномене. Некоторые научные опережения, предполагал Гаспаров, могут быть парадоксальным образом связаны с меньшей зависимостью от философии и большей самостоятельностью в определении своего пути: так, в эпоху формализма русская (философская) эстетика была слабее западной и потому оставляла науке большую свободу действий в изучении своего предмета. А в советские времена, напротив, можно предположить, что мощные идеологические давления сильнее толкали исследователей к бегству в строгую науку (со всеми сложностями в определении и реализации этого замыс-

<sup>11</sup> Одна из них, самая малопримечательная и возможная, наверное, только в России, уже упоминалась: «Западная славистика на рубеже тысячелетий». Беседа Вадима Руднева с Александром Ивановым и Драганом Куюнджичем и отклики на беседу // Логос. Философско-литературный журнал. 2000. № 4 (25). С. 4—56. В своем письме Гаспаров по этому поводу пишет: «...ты огорчалась статьями молодых авторов в «Логосе», которые ругали нас заборными словами. Право, не стоит огорчения! Это просто значит, что они нас не любят; ну и что ж? Мы их тоже не любим; а что они выражают свою нелюбовь заборным языком, а мы нет — это только дело вкуса: ведь не захотела бы ты поменяться с ними местами! Мы с тобой — и все нам подобные — работаем, право, не для того, чтобы кому-то нравиться («я не целковый, чтобы всякому нравиться», говорил Горький), а потому что нам (и еще кому-то) это интересно». См.: Приложения. Фрагмент из письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой от 28 февраля 2001 года. Ср.: Ваиш М. Г. Из писем Михаила Леонидовича Гаспарова. М., 2008. С. 391.

<sup>12</sup> Елифёрова М. Ревизоры приехали? // Вопросы литературы. Сентябрь—октябрь. 2004. С. 52—64.



ла), нежели во Франции — общий контекст противостояния субъективистским и персоналистским течениям мысли. Вопрос об идеологии остро стоял и там, и здесь, но реализовывался в России иначе, подчас более интенсивно, хотя и более прямолинейно.

Впрочем, к экзистенциализму Гаспаров относился с симпатией, полагая, что сартровский экзистенциализм с его идеей предельно напряженного жизненного проекта мог родиться в эпоху настоящей человеческой беды, когда над головой детали (английские) бомбардировщики, иначе говоря, от «тяжелой жизни», а «не с жиру» — в отличие от некоторых мыслительных ухищрений более поздних теоретиков и практиков. Однако у нас вряд ли есть основания считать Гаспарова в каком бы то ни было смысле экзистенциалистом, хотя его иногда так называли. Дело в том, что экзистенциалистский «проект», по определению, не может опираться на науку: его поддерживает и направляет иррациональный и безосновный свободный выбор. А Гаспаров специализировался не в иррациональных бросках и разрывах, но в технике бега на сверхдлинные научные дистанции. Гаспаровская свобода — другая, она заключается в выходе за пределы дозволенного и прокладывании новых путей для науки, которая продвигает свой предмет туда, где ранее могло быть лишь искусство (так сам он говорил о Лотмане), где царило несказуемое или недоказуемое, невзирая на то, что в советские или постсоветские времена считал любовь к фактам пережитком «детской болезни» позитивизма, от которой нужно как можно скорее избавляться, а профессионализм вообще — наследником убогого советизма, который, дескать, отбросил российскую славистику на обочину мирового исследовательского процесса, прославляющего междисциплинарные расплывы и свободу перешагивания любых границ.

В филологии Гаспарова знает каждый. Однако вряд ли можно сказать, что его наследие по-настоящему оценено, что оно заняло свое заслуженное место в культуре. И в филологии, и в философии есть те, кому он безразличен, есть те, кого он раздражает, и причину таких реакций нам еще предстоит понять. Рыцарское отношение Гаспарова к идеалу строгой науки нередко кажется в наши дни некоей архаической «ересью». Полагаю, что его значимость в нашей нынешней ситуации связана с исключительной трезвостью и последовательностью его выбора науки как жизненной опоры. Некоторые его современники, сталкивавшиеся с субъективизмом и произволом, тоже выбирали науку, но никто из них и близко не подходил к той мере осознанности, с которой он поставил эксперимент на самом себе, сделав работу в науке основой человеческого достоинства.

В наши дни культура гораздо равнодушнее относится к познанию, чем это было, скажем, в начале Нового времени, когда именно наука была краеугольным камнем и организующим принципом всего культурного строительства. И на рецепции Гаспарова это ясно видно. Так, философы нередко ссылаются, скажем, на Аверинцева — это настоящий «филолог для философов», а к Гаспарову относятся (если вообще как-то относятся) с уважительным равнодушием, просто не понимая, что с ним делать. Другая категория — раздраженные: это те философы (маргинальные и/или элитарные), которые, так или иначе, пропагандируют в России местный и западный постмодернизм. В этом случае философия воспринимает себя как своего рода литературу и считает собственно литературу, особенно современную, своей вотчиной, выпихивая архаичную и мифологичную филологию за рамки творческого пространства актуальной культуры, — со всеми вытекающими из этого последствиями. Наконец, третья группа — те, кто не простил Гаспарову его критического отношения к Бахтину и его рецепции в России.

Фактически в его творчестве мы видим огромное разнообразие познавательных форм. В предисловиях к античным переводам — это историко-герменевтическая наука (и особенно история как наука о критике источников), в стиховедении — формально-структурная наука, в истолковании отдельных стихотворений — интерпретация, в экспериментальных переводах — прием варьирования форм и почти научный эксперимент. Название «научное» Гаспаров применял только к стиховедению, подкрепленному сравнительно-статистическим анализом материала (об этом подробнее дальше), а все другие жанры собственного творчества, строго говоря, не считал наукой.

Развитого вкуса к методологической рефлексии у него, как и у Лотмана, не было: в те времена, о которых речь, гораздо важнее была способность к глухой обороне от навязчивой идеологической догмы. Несмотря на это, у него можно найти аналоги многих схем, предлагаемых познанию тонко рефлектирующей философией. Это ряд операций, похожих на гуссерлевские редукции и прежде всего установка (в отдельную процедуру специально не вычленяемая) на очищение сознания от привычек восприятия, от якобы естественных схем восприятия ученого, за которыми скрывается та или иная идеология, культурные или цеховые привычки. Это была целая программа избавления от «великих имен», от «великих произведений», от разного рода априорных и апостериорных оценочных суждений, выдающих вкусовые предпочтения своей эпохи за универсальные критерии. Словом, и правила пред-

варительного очищения сознания, и высокие требования к собственно исследовательским действиям с предметом (разные — в классической филологии, в стиховедении, в переводческой практике) одушевлены идеалом *филологии как строгой науки*. Однако это не был прекраснодушный идеал: Гаспаров постоянно напоминает нам, как много нужно сделать для его осуществления и в какой последовательности за это стоило бы браться.

Однако, подчеркну, гаспаровская трезвость не была безнадежностью, хотя сейчас при восприятии личных свидетельств, которые нам дает публикация его писем, такое впечатление иногда возникает. Точнее вот как: на уровне индивидуальном безнадежность остается, а на уровне общекультурном основания для надежды не умерли. Здесь важно его рассуждение о волнообразной смене культурных эпох: более упорядоченные эпохи уступают в истории культуры место менее упорядоченным и наоборот: недаром чередующиеся в истории литературы и искусства эпохи уже столько раз меняли свой вектор и свою доминанту. Исчерпание одной возможности обращает человека к другой, противоположной. Это похоже на гигантские шаги, которыми человечество все же куда-то продвигается. Если все это и правда так, то новые, более вместилищные формы рациональности у нас еще впереди. На фоне этих вселенских перспектив к самому Гаспарову применимы те слова, которые он некогда сказал об академике Л. В. Щербе: он неустанно работал «с вышедшей из моды честностью».

Итак, все сказанное выше свидетельствует о том, что считать его «академиком-еретиком», по меньшей мере, странно: напротив, это самый «нормальный» академик (во всяком случае — такой, какими должны быть все академики): он один работал как целый институт, создал новое научное направление, в рамках которого он стал непреложным авторитетом в мире, провел огромную просветительскую работу в своей стране, руководил сектором, а потом и отделом в академических институтах — сначала мировой литературы, а потом русского языка. Очевидно, что отношение к Гаспарову как к «необычному» академику — это симптом определенной культурной ситуации, а в ней — определенного отношения к науке, причем ситуация эта характерна не только для современной постсоветской России, но и для более широких культурных пространств.

Присмотримся внимательнее к тем типическим реакциям философов на Гаспарова, о которых в общей форме уже говорилось. Вот, например, реакция равнодушных. Послемарксистская смена ориентиров и языка описания стала трудным испытанием. На каком языке теперь говорить, на чем сосредоточиться? Философам часто кажется, будто Аверинцев и Бахтин полноценно разговари-

вали с философией, ставили ей свои проблемы, указывали путь, давали метод. А что делать с Гаспаровым — непонятно. Просветитель, охвативший обширные поля античной культуры? Хорошо. Еще что? Придумал новую науку, а потом умудрился прояснить механизмы взаимодействия формы и содержания в русской поэзии трех веков? Так ведь за рамками узкого профессионального сообщества этого никто даже не заметил. Зато выжимки методологических тезисов Гаспарова не выдерживают критики философа-профессионала. Зачем он напоминает нам про факты или про то, что «дважды два — четыре»? Ведь мы-то знаем, что фактов больше нет, что все они «теоретически нагружены», что позитивизм уже давно умер собственной смертью в процессе пересмотра так называемых «догм эмпиризма», и на его месте расцвело — тоже уже завершившееся — движение мысли, связанное с постпозитивизмом: все это написано в учебниках по истории философии для первого курса. А он упрямо ссылается на какие-то «факты»...

Есть еще и реакция раздраженных. Это философы, которых когда-то считали маргинальными по названию издательства «Ad Marginem»: в 1990-е годы оно было трибуной пропаганды современной французской философии, которая должна была творчески возродиться в российских условиях. Спор этих философов с филологами, в котором прототипом догматического филолога единолично оказался Гаспаров, поначалу затеялся вокруг разговора о том, как современная философия будет спасать современную филологию, потерявшую свое теоретическое значение и ударившуюся в комментаторство и издание чужих трудов<sup>11</sup>. Об этом речь пойдет подробнее в пятой главе. Гаспаров удивился: комментирование и издание чужих трудов — это не падение филологии, а ее важное, хотя и повседневное, культурное дело: быть может, филология сможет помочь философии — той, которая сочла себя особого рода литературой и потому столкнулась с филологией в непривычной для себя области? Участвовавшие в споре философы (их позиции итожил Подорога) заявляли: мы стремимся сохранить и передать те «телесные вибрации», которые испытывал автор (например, Кафка), сочиняя свое произведение, это нужно читателю-творцу и это будет подлинная философская антропология, а Гаспаров пусть лучше нам не мешает: он убивает страсть и наслаждение, не умея читать современность.

Наконец, реакция возмущенных. Это те, кто обиделся на Гаспарова как представителя «анти-культы Бахтина». Вопрос об

<sup>11</sup> Об этом споре см. в главе пятой, а также: Автономова Н. С. Философия и филология (о российских дискуссиях 90-х годов) // Ускользающий контекст. Русская философия в XX веке. М., 2002. С. 256—283.

утопии диалога и об антиковедческой компетенции (в отношении мениппеи) для Гаспарова принципиальный. Ему вовсе не хотелось «ругать» Бахтина, он вообще крайне не любил этот жанр, однако считал себя обязанным написать эти статьи: ведь кроме него за это никто не возьмется. Речь, напомню, идет о двух текстах по четыре страницы, разделенных четвертью века<sup>14</sup>; о них уже говорилось в главе о Бахтине и еще многое может быть сказано. Помимо критики внеисторичности наших рецепций Бахтина, не учитывающих разрыва между историческими моментами творчества и восприятия, для нас важна здесь, прежде всего, критика тех или иных аспектов научного порядка. В первом своем тексте Гаспаров возражает против безграничного распространения идеи диалога, выдаваемой за реальность человеческого общения, но обычно скрывающей непонимание и навязывание своей точки зрения: вместо этого он призывает нас «учить чужие языки». Обычно в этом призыве видят доказательство его нежелания идти на контакт, антитезу установке на понимание другого. Но ведь для филолога «учить чужие языки» — это не низкое занятие, но сама культурная суть его ремесла. Во втором тексте Гаспаров возражает против идеи особого жанра мениппеи, построенной при почти полном отсутствии фактов (имен или произведений), которые бы ему соответствовали в истории литературы, и возведенной Бахтиным в ранг генеалогической основы всего европейского романа<sup>15</sup>. Все это лишь часть реакций на феномен Гаспарова, в которых нам важно разглядеть определенные симптомы состояния современной культуры.

Во всех этих случаях позиция Гаспарова — это, прежде всего, защита эмпирической науки, которая отвечает и за факты, и за обобщения. О конце такой науки настойчиво говорят уже давно, однако ее задачи не только не выполнены, но даже толком и не поставлены. Заметим: вовсе не из-за переизбытка, но из-за оче-

<sup>14</sup> *Гаспаров М. Л.* М. М. Бахтин в русской культуре XX века // *Гаспаров М. Л.* Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997; *Гаспаров М. Л.* История литературы как творчество и исследование: Случай Бахтина // *Русская литература XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения.* Материалы Международной научной конференции 10–11 ноября 2004 года. М., 2004.

<sup>15</sup> За этим упреком стоит большой вопрос на стыке филологии и философии: как философы (а Гаспаров считал Бахтина философом) обращаются с эмпирическим материалом, когда они основывают на нем свои доводы? Например: согласятся ли профессиональные классические филологи с теми интерпретациями досократиков, которые дает им Хайдеггер? В любом случае Хайдеггер — автор гораздо более весомый (несмотря на все подрывающие его репутацию данные о его близости к фашистскому режиму), и за его голосом что-то не слышно мнений классических филологов, а они, наверное, не единодушны в этом вопросе о его переинтерпретации текстов ранней греческой философии.

видного недостатка знания, в том числе простого «эмпирического» знания, возникают наши все более опустошительные кризисы, когда мы вновь и вновь оказываемся безоружны перед реальностью, которую мы не сумели ни прочесть, ни расшифровать. Вот сейчас нам кажется, что мы спасемся в своей заново смоделированной национальной идее. В культурном наследии, говорит нам великий просветитель, сбережения и превращения в национальное достояние заслуживает то, что проявит себя не в тенденциозном превознесении своей специфичности, но в общем движении по пути Просвещения, которое на Руси всегда давалось с трудом. Можно только повторить: нравственность филологии у Гаспарова заключается в активной установке на объективное познание другого, а научный поиск взаимопонимания выступает как основа этики, способной противостоять любым формам идеологического рабства.

Через головы равнодушных или возмущенных формируется в культуре иная, плодотворная позиция. Загляните в Интернет, где на форуме обсуждают феномен Гаспарова: быть может, эти дискуссии дадут людям шанс не только обсудить пережитое, но и нащупать новые шансы познания. В ситуации полной размытости всех критериев кто-то из этих людей конечно же чувствует, что трезвое и предельно ответственное выполнение Гаспаровым своей культурной миссии «ученого», которая иногда кажется нам еретической, невозмутимо противостоит развязному трепу, невнятного бормотанию, сентиментальным придыханиям. Гаспаров нужен нам для мысли о главном: «Единственное, чем наука, по своей природе, может служить человеку, — это удовлетворять его потребности в истине». Это высказывание — цитата из Лотмана, с которым он связывал и отождествлял многое в собственных взглядах; он употреблял слово «истина» редко, но тогда оно врезалось в память<sup>16</sup>. Если считать, что шансы разума еще не сочтены, что за эпохой любования хаосом вновь придет более пристальное внимание к возможностям рационального познания, труды ученого смогут нам помочь: ведь если строгое научное знание, за которое ратовал Гаспаров, возможно хотя бы в малой области гуманитарных исследований, то это должно многое изменить и в нашей картине мира, и в наших представлениях о возможностях человека.

<sup>16</sup> Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 493.

## § 2. Как возможна точная наука в филологии

### Точность и тайна

Как уже отмечалось, в разных областях, в которых работал Гаспаров, статус знания и его научные претензии различны. Классическая филология нередко представляется областью традиции, где несложно стать или прослыть жрецом, хранителем высокого и даже сакрального знания, питающего из своего источника всю европейскую культуру. Но Гаспаров здесь выбрал именно то, что не позволяло ему быть жрецом: он стал просветителем. В его переводах, комментариях, сопроводительных статьях широкому читателю стали доступны Федр, Бабрий, Эзоп, Пиндар, Светоний, Диоген Лаэртский, греческие историки, «Поэтика» Аристотеля, «Наука поэзии» Горация и «Наука любви» Овидия, риторические трактаты Дионисия Галикарнасского и Цицерона, поздние латинские поэты. Его статьи в массовых изданиях античной классики никогда не были вольным писательством, они всегда оставались исследованиями, верными историческим источникам и готовыми раскрыть их по первому требованию. Чеканные фразы развертываются в целые сюжеты, а за отдельными чертами описываемых персонажей проступают контуры времен и эпох. Откроем наугад какой-нибудь текст Гаспарова, например, любую из сопроводительных статей к изданиям латинских поэтов, и мы услышим ясное звучание упругой прозы, в которой все слова выверены и стоят на своих местах. Он никогда не захлебывался словами, не упивался собственным красноречием, но стремился к наибольшей доказательности, свертывая в компактную и доступную нам форму огромные массивы исторических и филологических знаний. Конечно, мы могли бы назвать это знание наукой, но Гаспаров так его не называл, несмотря на то, что, как он говорил, он всегда был бы готов предъявить те источники, на основании которых он строил свои литературные и исторические портреты.

Областью собственно науки, строгого знания он считал стиховедение. С помощью своих предшественников он изобрел новую науку, создал знание, которое не только эффективно описывало свой предмет (формальные параметры русской и европейской поэзии XVIII—XX веков), но и строило полновесные гипотезы о прошлых и будущих его состояниях. Отправляясь от некоторых находок А. Белого, Б. Ярхо, К. Тарановского, А. Колмогорова, он построил свой метод сравнительно-статистического анализа стиха, его основы основ — метра, ритма, рифмы и строфики. В стиховедении он видел дисциплину

длину, которая способна приблизиться к научности естествознания, прежде всего — биологии. Настоящим прорывом стал переход от анализа формальных параметров стиха к анализу его содержательных характеристик. Если бы за достижения в гуманитарной науке давали Нобелевские премии, то этот научный подступ к семантике, по-новому поставивший вопрос о связи формы и содержания в культуре, был бы оценен как одно из самых замечательных человеческих открытий. Конечно, гаспаровские масштабы исследования — вещь для большинства из нас недоступная. Но не забудем же, по крайней мере, что подлинно научное знание в гуманитарной области существует.

Стремление сделать филологию наукой было для Гаспарова глубоко продуманной жизненной позицией, которая требовала огромной отдачи и заставляла жертвовать многим. Огромны по объему подсчеты, сделанные им на русском и европейском материале<sup>17</sup>: они раскрыли масштабные закономерности исторической эволюции стиха. Их можно было сделать лишь ценой неустанного, ни на минуту не прерывавшегося труда (коллеги изумлялись тому, как он мог, продолжая свои подсчеты на любых заседаниях, активно участвовать в происходящем). В ряде работ он анализирует исторически сложившиеся скрещения определенных стихотворных размеров с определенными содержаниями: самая известная среди этих работ — «Метр и смысл» (1999), но подобные исследования делались и много раньше (об этом — дальше). Анализируя внутренние и внешние связи как в масштабе общих закономерностей эволюции русского стиха XVIII—XX веков, так и на примере отдельных стихотворений — от Пушкина и Лермонтова до Цветаевой и Мандельштама — Гаспаров показывает, как исторически формируются связи определенных метров с определенными смыслами, закрепившиеся затем в сознании поэтов и читателей. В «Статьях о лингвистике стиха» (совместно с Т. В. Скулачевой, 2004) показана зависимость стихосложения от просодических и морфологических особенностей естественного языка, что, по сути, открывает в стиховедении новые пути<sup>18</sup>. При этом, сосредоточиваясь на изучении отдельных стихотворений (это особая форма и жанр стиховедческого исследования), он исходит из того, что мерилом осмысленности всей многослойной семантической ткани стиха является возможность его прозаиче-

<sup>17</sup> Гаспаров М. Л. Современный русский стих. М., 1974; он же. Очерк истории русского стиха. М., 1984; он же. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

<sup>18</sup> Творчески новое строится и воспринимается на фоне обычного, повторяющегося: грань между повторным и необычным не так очевидна, как нам кажется. Поэтому выявить и показать воочию те ритмико-синтаксические клише, которые содержатся в таких-то размерах на таких-то местах стихотворной строки, это значит материализовать то, что подразумевается интуитивно, но кажется неуловимым.



ского пересказа, а критерием «понятности» стихотворения может стать количественное соотношение слов, употребленных в прямом или же в переносном значении. Разумеется, и первое, и второе — гипотезы, с которыми далеко не всякий согласится, однако невозможно отрицать того, что эти гипотезы способны последовательно организовать и направить поиск в этой головоломно трудной области исследования.

Работа со словом имеет разные уровни, так что тут возникает целая сетка возможностей, в том числе антиномических, среди которых отметим несколько важнейших. Читатель воспринимает произведение непосредственно, исследователь обязан отдавать себе отчет в том, как происходит чтение. Все мы являемся читателями, но не все — исследователями. К тому же, на это различие позиций наслаивается еще одно важное для Гаспарова различие — на уровне отношения человека к миру: самоустраниющееся и самоутверждающееся, исследовательское (с установкой на то, чтобы ничего не привносить от себя в предмет, стараться понять его «как он есть») и творческое (с установкой на свободное внедрение собственных толкований в произведение). В принципе «Гамлетов» — столько, сколько читателей и критиков, но не будем пугать читательский подход с исследовательским: в этом последнем преобладает интерес к тому, каким был шекспировский «Гамлет» для его современников, для которых собственно и писал Шекспир. В самом деле: что заставляет нас говорить: это красиво? Филолог отличается от обычного читателя тем, что читатель не дает себе отчета в своих эстетических эмоциях, а исследователь обязан дать. Всякая теория имеет исходные понятия, дальнейшему исследованию не поддающиеся. Эстетические чувства — те, что побуждают нас говорить «красиво» или «некрасиво». Однако затем связь исследовательской работы с читательским впечатлением прерывается: филологу приходится как можно раньше и как можно полнее отвлечься от этого впечатления, потому что оно, по всей видимости, помешает анализу: ведь произведение писалось не для исследователя, а для читателей другой эпохи, а потому его следует оценивать мерками другого времени, восстанавливая их сравнительную значимость путем реконструкций.

И еще очень важный момент в этой сетке первоначальных различий: критика и наука. Эти позиции необходимо насколько возможно четко различать. Критика существует давно, уже 2000 лет, а наука — всего лет 200: критика, по-видимому, будет существовать всегда, тогда как наука — вещь хрупкая, нередко вызывающая противодействие, особенно в такой тонкой материи, как литература. Большинство людей, которых считают литературоведами, следовало бы отнести скорее к области литературной критики

(в английском и французском вообще нет термина «наука о литературе», а термин «литературная критика» существует уже давно); по-видимому, русскоязычное слово «литературоведение» — калька с немецкого *Literaturwissenschaft*. Критика выясняет не «что, как и почему», но «хорошо это или плохо»<sup>19</sup>. В основе критики — в той или иной мере контролируемые (или не контролируемые) собственные эстетические переживания. Критика берет свой предмет интуицией, как правило, не поверяя ее алгеброй, тогда как задачей исследователя, который тоже начинает с интуиции, является проверка — «изучение языков» тех или иных текстов и авторов и попытка понять, что в изучаемом тексте могло вызвать в нас те или иные переживания; такой сопоставительной работой критика не занимается. Попытка строить точную филологию началась когда-то с вопроса о хронологии пьес Еврипида. Филологи-классики обратили внимание на то, что в ранних трагедиях стих строже, а в более поздних — свободнее, расшатаннее. Когда все сохранившиеся пьесы выстроили в ряд — по этому количественному признаку, то оказалось, что эта последовательность подтверждает уже известные датировки пяти пьес; это был первый научно значимый и доказанный результат применения количественных методов в филологии.

Вообще, когда Гаспаров говорит о филологии, нужно каждый раз проверять, идет ли речь о традиционной филологии или о филологии как науке в строгом смысле слова, терминологически это далеко не всегда различается. Единственной областью науки в собственном творчестве он, напомним, считал стиховедение. Все, на что могла опереться эта наука, он придумывал сам, искал в книгах, многое из того, что ему было необходимо, он нашел в архивах Бориса Исааковича Ярхо, на которые с тех пор сознательно опирался. Зависимость от Ярхо Гаспаров формулировал с подчеркнутым самоуничтожением (я — эпигон, который боится испортить образец<sup>20</sup>), хотя в такой формулировке был свой смысл<sup>21</sup>. В самом деле, систему своих методологических принципов Гаспаров в основном унаследовал от Ярхо, однако он ее преобразовал — прежде всего тем, что биологические примеры и аналогии, на которые опирается Ярхо, Гаспаров трактует как метафору, а историческую составляющую — развивает и усиливает. Точная филология для Ярхо и Гаспарова — та, которая опирается на систему литературного анализа, «основанную на

<sup>19</sup> Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. М., 2006.

<sup>20</sup> Эта фраза неоднократно встречалась в его письмах и разговорах. См. также: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 330.

<sup>21</sup> Шапир М. И. Что он для меня значил // Вечер памяти Михаила Леоновича Гаспарова. Сборник материалов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 60.

количественном учете объективных признаков текста». И для Ярхо (в те времена, когда время литературоведческого структурализма еще не пришло), и позднее — для Гаспарова объект литературоведения мыслится как «структура, то есть не столько как совокупность, сколько как система пропорций и связей между признаками. Далее, эта система мыслится в вечном движении, причем признаки движутся по кривым разного типа то независимо друг от друга, то сцепляясь попарно или пучками»<sup>22</sup>. Вплоть до этого места Ярхо и Гаспаров полностью согласны друг с другом. Но далее цитата из Ярхо устремляется туда, где Гаспаров за ним не идет: «Это, в свою очередь приводит к понятию *органической динамики* литературы»<sup>23</sup>. Вот это понятие органического с налетом биологизма (или же романтизма, как иногда у Якобсона) Гаспаров никогда не употреблял: органические связи могут обнаруживаться внутри одного уровня (например, внутри стихотворной фоники), связь между уровнями литературного произведения всегда несет на себе печать культуры и истории.

В отточенном философско-методологическом виде Ярхо некогда сформулировал свой замысел так: «Кладя количественный учет и микроанализ в основу исследования, я только предлагаю сделать для литературоведения то, что полтора-два десятилетия тому назад сделал Лавуазье для химии, и не сомневаюсь, что результаты не заставят себя ждать»<sup>24</sup>. Он говорил с достоинством человека, понимающего все значение того, что он делает<sup>25</sup>. Ни Ярхо, ни Гаспаров не считали продвижение по этому пути утопией (со всеми теми оговорками, которые уже были сделаны: Гаспаров настаивал на исторической неприродной обусловленности литературных явлений). Так, Ярхо полагал, что на выполнение этой огромной программы (числового выражения основных параметров литературного материала) понадобится лет сто. Гаспаров надеялся, что в эпоху современных технологий с этим делом можно будет управиться и за жизнь одного поколения, если для начала ограничиться работой по уровням, в рамках отдельных литературоведческих дисциплин (фоника, стилистика, поэтика, композиция и др.).

<sup>22</sup> Шапир М. И. Что он для меня значил // Вечер памяти Михаила Леоновича Гаспарова. Сборник материалов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 6.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 7.

<sup>25</sup> Далее этот замысел уточняется: «Наука же есть *рационализованное изложение* познания, логически оформленное описание той части мира, которую нам удалось осознать, то есть наука — особая форма сообщения (изложения), а не познания» (Там же. С. 20). В этом последнем тезисе главное — логически общезначимое изложение опыта; за этим лежит большая традиция разведения эмпирической и логической части опыта, а в том, что касается значимости изложения, независимого от хода исследования, можно видеть отголоски концепции Пуанкаре и методологического конвенционализма, но мы не будем сейчас продолжать этот путь, оставив изучение этих важных вопросов до другого случая.

Следование такой продуманной программе призвано подготовить эмпирический материал для построения новой истории литературы. Проработка текстовой фактуры произведения, его материи, зафиксированной в слове, должна дать исследователю иммунитет против вчитывания в литературное произведение (или вычитывания из него) психологических, социологических, психоаналитических, биографических, мифопоэтических и других факторов и обстоятельств. Лишь после применения методов, позволяющих найти область соизмеримого для сопоставления вербальной фактуры материала, взятого из разных жанров, стилей и эпох, перед исследователем возникает возможность продвигаться к объективным интерпретациям литературного процесса. В самом деле, люди спорят о тех или иных литературных явлениях, и спор их неразрешим; один говорит: «черное», другой — «белое», один — «цветистое», другой — «бесцветное». Как тут быть? Если связать определения «цветистый» и «бесцветный» с определенным количеством тропов и фигур, то, проанализировав спорные фрагменты текста, мы сможем уйти от «обывательских» споров и продвинуться к взаимопониманию<sup>26</sup>. Хорошо или плохо — этот вопрос, подчеркивают Ярхо и Гаспаров, литературоведа не касается: он касается только критика, который вписывает произведение в существующую систему оценок. Однако с помощью точного литературоведения можно попытаться ответить даже на этот коварный вопрос. Например, так: «лучше» то, что богаче и неизбитее: чем чаще встречается тот или иной прием, тем меньше он стоит (так, рифма «любовь—кровь» в стихе или же тема «любовь сильнее смерти» в сюжете стоят недорого). Когда мы говорим о том или ином словесном обороте или сюжетном повороте «это — свежо», наша оценка должна в принципе основываться на данных по всей эпохе и фиксировать явление на фоне средних данных для этого периода или направления. Если квантифицировать фон восприятия произведения с применением статистически-вероятностных методов, то для нас не составит труда поэлементно или же в целом определить — новое это произведение или совсем не новое, и если новое — то в чем. А другого пути у нас нет — о вкусах люди будут спорить всегда.

При этом в исследовании неизбежно возникают круги — только не порочные, а вполне продуктивные. В самом деле: как выйти из круга взаимообоснований, согласно которым естественный язык XVI века определяет Шекспира, а Шекспир определяет язык XVI века? Вся проблема в том, что дать изолированную характеристику языку Шекспира в принципе невозможно: можно только

<sup>26</sup> Подобные примеры Ярхо рассматривал неоднократно, он, конечно, приводит их и в «Методологии точного литературоведения». См. Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 40.

сказать, чем и насколько он отклоняется от средних показателей XVI века — по лексическому составу, стилю, образам, эмоциям. Чем больше будет у нас материала для определения средних показателей по XVI веку, тем надежнее будет наша реконструкция. Еще раз: мы изучаем язык Шекспира, чтобы реконструировать естественный язык XVI века, и стараемся для этого привлечь как можно больше памятников, и лишь потом смотрим — на фоне средних цифр, — каким образом от средних показателей по эпохе отклоняются те или иные авторы, будь то Шекспир, Бен Джонсон или Кристофер Марло. Все эти подходы иллюстрируют структуралистское представление о том, что главным предметом познания являются не элементы, а соотношения элементов. Они определяются таким наблюдением: как правило, на нас воздействует не какой-то отдельный признак, но состояние (и переживание) напряженности и противоречия — словом, определенного соотношения между элементами. На минимальном материале аналогичное исследование можно провести, сопоставляя Корнеля с Расином. Но если к Корнелю и Расину добавить по 100 или 200 авторов XVII века и к тому же отдельно рассчитать показатели по первой и второй половине века, а также показатели по авторам различных направлений, тогда мы получим средние цифры, с помощью которых можно сравнивать также и показатели по отдельным фигурам, а это максимум того, что может сделать наука в данный момент. В области поэзии Гаспаров нашел свои пути и подходы в поле общего замысла. Очень важно учесть, что стиховедение — это раздел науки, которого 100 лет назад, да и, пожалуй, 50 лет назад, еще не существовало, а сейчас эта область вышла на уровень столь тонких вопросов, как соотношение формы и содержания (мы увидим это в параграфе, посвященном метру и смыслу).

Точное литературоведение, которое кладет в основу поиск и выявление структур, считает, что главное в произведении — его словесная специфика, «литературность». Но что же дальше? Ведь при определении литературности, подчеркивает Гаспаров в тех немногих случаях, где он об этом рассуждает, мы упираемся либо в философские проблемы эстетики, либо в социологические проблемы «престижности-непрестижности» того или иного типа высказывания (литературу как таковую можно определить как совокупность текстов повышенной престижности, рассчитанных на перечитывание). Оба эти подхода — эстетический и социологический — заводят нас в тупик. Формализм пытался свести эту проблему к вненаучной интуиции, а структурализм — к вопросу о степени организованности текста (как одному из симптомов красоты). Однако при этом все равно возникали затруднения, не преодолимые

внутри этих подходов: если у такого-то автора уровень метрики организован строже, чем уровень идей, значит ли это, что для автора он важнее? Значит ли это, что на нем нужно сосредоточиться или же что от него легче отвлечься, чтобы на его фоне подчеркнуть что-то другое? При этом само измерение степени организованности объектов, а также истолкование фактов организованности или неорганизованности оказываются делом достаточно сложным.

Подсчет для исследователя — важный проверочный инструмент в любой области литературы. Роль исчислимого, напомним, важна в любом искусстве, например, в музыке, где она определяется законами музыкальной гармонии, порождаемой колебаниями звучащих струн; звук — это физическое явление, и струны колеблются в определенных пропорциях, поддающихся исчислению. Между прочим, и логос, настаивал Гаспаров, когда нам случалось это обсуждать, это прежде всего пропорция, а уж потом разум. Яркие примеры исчислимого дают случаи соблюдения правила золотого сечения в архитектуре, скульптуре. Кажется, известная формула «схватить неисчислимое в царстве подсчета» указывает нам на то, что, хотя мы постоянно сталкиваемся с неисчислимым, именно измерение соотносит нас как конечных существ с космосом. При этом гаспаровский девиз «дважды два — четыре» — не бескрылое кредо скептика; ведь главное даже не в том, что «дважды два — четыре», но в том, что «дважды два — *для всех* четыре» (кроме Человека из подполья). Этот тезис в сочетании с осознанным отношением к языку и самоотчетом в том, как мы понимаем тексты, — и есть для филолога основа рационального отношения к миру и к своему предмету; в конечном счете, это символ самой возможности преодоления непонимания. А потому стоит помнить фразу Гаспарова, которую он приводит для обоснования своей позиции: «Я при стихе врач, а не духовник: выдаю справку о теле, а не о душе; но без меня тело вымрет и душа испарится»<sup>27</sup>.

Иногда в профессиональной стиховедческой среде слышна мысль: Гаспаров — не начинатель, а завершитель; ее формулировал, например, М. И. Шапир, сам талантливый, стремившийся к самоутверждению стиховед, к сожалению, рано умерший. Здесь я не буду внедряться в тонкие моменты узкопрофессиональных споров. Многое зависит от того, как понимать само слово «завершитель»: если речь идет о завершении как о прекращении существования исследовательской

<sup>27</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 353. Как видно и поздний Бахтин с этим соглашался: «Нельзя запретить врачу работать над трупами на том основании, что он должен лечить не мертвых, а живых. Умершворяющий анализ совершенно оправдан в своих границах». Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х—начала 70-х годов // Он же. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. С. 398:

программы, то в данном случае оно совершенно неуместно. Речь может идти о завершении индивидуального перехода через непроходимую чашу, ранее никому не доступную, а теперь в принципе доступную всем, кто захочет применить выработанные Гаспаровым методы и приемы на новом материале, об оттачивании и апробировании метода, которым отныне могут воспользоваться другие исследователи.

Однако вызывает сопротивление прежде всего сама ориентация на точное знание в гуманитарной области и тем более применительно к такой сакральной материи, как литература. Люди любят литературу и не хотят, чтобы ее трогали бесчувственными орудиями анализа. В этой связи вспоминается недоумение умного Лакшина: зачем нужно прибегать к анализу или подсчетам, чтобы увидеть, как построено данное произведение? Чтобы сделать еще одно — такое же серое, как и большинство других? Но ведь вокруг и так полно серости. Есть и другие обоснования подобного отрицательного отношения к точному литературоведению и его идеям — например, квазирелигиозный подход к литературе: ведь она несет нам утешение, радость, особый взгляд на мир. От вторжения исследовательского скальпеля утешение угасает, красота умирает, чудо становится сухой формулой: язык — это стихия, которую не следует укрощать. Верно, что для поэта язык может выступать как стихия, но еще чаще он выступает как материя уже использованных слов, посредством которых мы пытаемся сказать нечто новое. Однако в литературе в целом и даже в поэзии как средоточии тонких душевных материй есть закономерности — не менее, но даже более очевидные, нежели в прозе, где они тоже есть. А потому пребывать в вольной стихии языка может поэт, которому все дозволено, и вольнолюбивый читатель, который считает себя вправе читать текст так, как ему заблагорассудится, и настаивать на своем прочтении. Исследователь не имеет права апеллировать к стихиям: поэтическое слово, как и любой другой объект, подлежит разбору и анализу. Однако зачем же считать то, что, казалось бы, и так ясно? Представим себе, что считать интуитивно ясное как раз очень полезно: это позволяет затем разбираться с любыми промежуточными классификационными случаями (таковы, например, в истории литературы многочисленные случаи жанров, промежуточных между комедией и трагедией)<sup>28</sup>. Мы долж-

<sup>28</sup> В литературоведении, как и в биологии, и в других науках, закон — это «типическая, то есть очень часто повторяющаяся, связь между явлениями» (Ярхо Б. Н. Методология точного литературоведения. С. 28). Такие законы не являются безусловными: все мы знаем, что такое русский ямб (стих, в котором сильные места приходятся только на четные слоги), но ведь бывают и исключения; все мы знаем некоторые типичные признаки жанров, допустим, трагедии или комедии, однако бывают (даже у французских классиков) трагедии со счастливым концом или же комедии со знатными персонажами в качестве героев и т.д.

ны иметь эти данные (литературный материал, определенным образом обработанный и сопоставимый по ряду критериев), чтобы было видно, как он развивался и менялся, а также — как он соотносится с другими явлениями, выступающими на его фоне.

Однако поток вопросов и сомнений не останавливается: раскрывает ли такой подход тайну эстетического воздействия, саму суть литературного произведения? Приходится ответить отрицательно. Однако ведь и биология не раскрывает перед нами тайну жизни, и ничего — мы ее за это не корим и не пытаемся разжаловать из отряда наук. «Филология никоим образом не притязает “раскрыть тайну” эстетического воздействия творчества. Она притязает описать структуру текста (сколь можно подробнее) и констатировать, что в разные времена эстетически ценными считались такие-то и такие-то аспекты этой структуры; самое большое — “а могут считаться и такие-то”. Опирается она на критику разных времен, на внимание/невнимание к таким-то памятникам и пр. Конечная цель филологии — вместе с другими гуманитарными науками (через слово сводимыми к ней же) реконструировать культурное, в частности — эстетическое сознание разных эпох. (Реконструировать сознание — не значит “раскрыть тайну”). <...><sup>29</sup>. И обратно: попытка строить насколько возможно точное научное знание о различных формах человеческого существования не наносит ущерба человеческому достоинству, морали и нравственности, подобно тому, как знание правил заключения браков в том или ином обществе не отнимает у нас ценностей семейного очага, а познание схемы построения стихотворения не отнимает у нас радости общения с поэзией<sup>30</sup>. Почему-то увидеть в достоверном знании о стихе чудо — не меньшее, чем сам стих, — мало кому удастся, но зато ценятся те или иные формы не-объективирующего проникновения в художественный мир автора, которые неизбежно оказываются теми или иными формами индивидуальной фантазии. Однако ведь ценность познания как такового и роль человеческой любознательности в культуре — вещи важные сами по себе. И к тому же продукты культуры: именно культура вырабатывает и механизмы познания, которые в свою очередь становятся и, по сути, до сих пор выступают (даже если мы не склонны это видеть) как фундамент человеческой культуры.

Когда-то, анализируя теперь уже классические работы Лотмана 1960-х годов, готовившиеся к переизданию в 1990-е годы, Гаспаров показал, как при исследованиях одного стихотворения

<sup>29</sup> Из рабочих материалов М. Л. Гаспарова и наших совместных обсуждений.

<sup>30</sup> Больше того: Гаспаров уверяет, что ему подчас удавалось полюбить нелюбимое после того, как он долго его изучал, привык нему, в чем-то разобрался и во всяком случае стал лучше его понимать (таким был для него, например, А. Фет).



(появился такой отдельный стиховедческий жанр) отступило в сторону идейное содержание, которым в первую очередь интересовалось официальное литературоведение, а на первый план вышли средства и приемы изображения, которые — у хороших аналитиков — складывались в структуру. «Лотман здесь сделал последний шаг: *понятие структуры*, в которую складываются все элементы стихотворения, от идейных деклараций до дифференциальных признаков фонем, *стало у него основным* (курсив мой. — Н. А.)»<sup>31</sup>. А это изменило всю палитру анализа и весь спектр требований к анализу: на месте живого восприятия стихов и рассказа о своих переживаниях литературоведение стало отныне подразумевать реконструкцию языка поэта и языка произведения — как чужих для нас языков (ведь в языке поэта, как правило, возникают новые связи — звуковые, стилистические, смысловые, которые могут оказаться важнее обычных словарных лексических значений)<sup>32</sup>. Ранние работы Лотмана (пока еще убедительные, но не доказательные, в гаспаровском языке) намного опередили свое время и указали путь к точному литературоведению.

А что касается критиков самой идеи науки о литературе, Гаспаров, вместе с Лотманом, смотрит глубже и видит дальше. Он защищает роль науки, роль знания в культуре — как самостоятельную ценность, не сводимую ни к каким конкретным применениям. Сейчас очень модно стало критиковать позитивизм, следуя одной из традиций русской мысли: бездушный позитивизм, нацеленный на сбор фактов и некогда вдохновлявший точную филологию, безвозвратно погиб, а к тому же, дескать, и раньше был эпистемологически невозможен и морально вреден, что и доказывают его современные изводы. Филологию как строгую науку, по-видимому, действительно формировали позитивистские идеалы, призывавшие исследователя все мерить и ничему не доверять на слово. Впрочем, это вовсе не значит, что на позитивистские схемы набора фактов можно положиться механически: тут возможны любые подвохи. На самом деле, нам нужна такая философия науки, которая бы смогла заново проработать соотношения эмпирического и теоретического, а также формы и возможности их взаимодействия в гуманитарной сфере. Такая философия должна будет заново определить место науки в европейской культуре и тем самым упрочить ее фундамент: это нужно культуре, которая хочет быть и дальше: ведь без «фактов» не будет ни «ценностей», ни «идеалов».

<sup>31</sup> Гаспаров М. Л. Лотман и марксизм // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 417.

<sup>32</sup> Там же. С. 419.

Это — мой упрощенный пересказ тех проблем, о которых рассказывает Гаспаров в своей книге «Метр и смысл». Филологам, конечно, все это известно, а философы, надеюсь, найдут здесь что-то для себя интересное.

Закономерность связи формы и содержания — постулат любой эстетики. Однако если принимать его просто за реализованную данность, это помешает нам разобраться в том, что и как именно связано. В отличие от философии, которая считает возможным непосредственно схватывать чистые сущности, научная филология никогда не притязает постигать что-либо прямо и непосредственно. Ярчайшим примером опосредованного, культурно-исторического подхода к проблеме формы и содержания в поэзии стала концепция Гаспарова, итоги которой запечатлены в книге «Метр и смысл»: это результат огромной работы, к сожалению, недостаточно известной даже в России<sup>33</sup>. Гаспаров знал, что считать; с невероятной собранностью считал в огромных масштабах; методологическая дисциплина не позволяла ему спешить с интерпретацией данных — тем ценнее для нас те обобщения, которые он счел возможными. В вопросах семантики стиха, предупреждает нас Гаспаров, мы находимся на стадии накопления материала и по-прежнему ставим себе детский вопрос: почему поэт использует тот или иной размер? Что его к этому принуждает? Гаспаров рассказывает нам об этом в своей книге.

Чаще всего люди думают, будто каждый размер имеет свою собственную, органически ему присущую содержательную окраску. Причем так думают и обычные люди, и сами поэты. На самой первой странице своей книги Гаспаров приводит как свидетельство такой «органической» точки зрения высказывание М. В. Ломоносова из «Письма о правилах российского стихотворчества» (1739): «Чистые ямбические стихи...поднимаясь тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах... Очень также способны и падающие, или из хореев и дактилей составленные стихи к изображению крепких и слабых аффектов, скорых и тихих действий быть видятся»<sup>34</sup>. Но есть и другая точка зрения: любой размер

<sup>33</sup> Смит Дж. Я вдохновлялся его примером // Вопросы литературы. 2006. Март—апрель. Памяти Гаспарова. С. 10.

<sup>34</sup> Ломоносов М. В. Избранные произведения. М.; Л., 1965 (БП). С. 486—494.. Фактически подобным образом («у каждого метра своя душа, свои особенности и задачи») рассуждает и Н. С. Гумилев, однако оценки метров у него оказываются прямо противоположны ломоносовским. Например, Ломоносов считает хорей нисходящим, а Гумилев — поднимающимся: таким образом, связывание размеров с

годится для любой тематики: все зависит от замысла (идейного, эстетического и др.), который в конечном счете подчиняет форму себе и реализуется в ней. Мнение Гаспарова отлично и от первой и от второй позиции: семантические ореолы (можно сказать, окраски) различных метров и размеров существуют; однако, они не изначальны, не природны, не органически присущи тем или иным метрам, но и не возникают как реализация идеи — в подчинении ей. Они приобретаются теми или иными стихотворными формами в силу исторического опыта их употребления. Само наличие этих ореолов (или окрасок) может осознаваться или не осознаваться творцом: в обоих случаях оно используется или же отвергается (не забудем, что отвержение — это тоже проявление влияния, его отрицательная форма). В случае редко употребляющихся размеров традиционность метра, конечно, мешает семантическому разнообразию, ограничивает его: так, гексаметр неизбежно вызывает ассоциацию с чем-то античным и потому (за исключением случаев пародирования) практически исключает современную тематику; все написанное терцинами вызывает в памяти Данте и т. д.

Поэту и в самом деле безразлично, какие размеры выбрать, потому что разные темы (и разные слова) существовали в предыдущих использованиях в рамках разных стилей, а потому теперь несут на себе цепочки тех или иных смысловых ассоциаций (более или менее ощутимых). Например, четырехстопный ямб, которым Пушкин писал «Руслана и Людмилу», придумал не он, так что в данном случае можно говорить о памяти жанра как части памяти культуры<sup>35</sup>. В этой связи цель свою Гаспаров видит в том, чтобы «продемонстрировать на как можно более широком материале, что семантические ореолы стихотворных размеров существуют, возникают, эволюционируют, взаимодействуют»<sup>36</sup>.

Если для эстетики связь формы и содержания так или иначе подразумевается, то филологам эту связь еще только предстоит выяснить. Все размеры русской поэзии имеют своей основой три

---

душевыми движениями оказывается вещью, достаточно произвольной. Гумилев Н. Сочинения в 3 т. Т. 3. М., 1991. С. 31—32. См.: Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 9.

<sup>35</sup> Для примера Гаспаров выстраивает для нас длинную диахроническую генеалогию: она пересекает различные культурные времена и пространства: так, четырехстопный ямб в русской культуре («Мой дядя самых честных правил») возник из немецкого четырехстопного ямба (его разработал Ломоносов, находясь на стажировке в Германии), в Германии он возник за сто лет до того и был разработан по образцу английского и голландского четырехстопного ямба, там он в свою очередь возник в результате упорядочения ударений в весьма влиятельном французском силлабическом восьмисложнике, французский восьмисложник — из восьмисложных латинских христианских гимнов, римляне заимствовали этот размер у греков, а у греков он возник под влиянием общиндоевропейского восьмисложного силлабического стиха в очень давние времена.

<sup>36</sup> Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 16.

источника: русские народные, западноевропейские и античные, что определенным образом окрашивает семантику написанных этими размерами стихов. Конкретные процессы нахождения ореола, его становления, его исчерпания, а также процессы дифференциации и интеграции, детализации метра и детализации смысла и рассматриваются в книге «Метр и смысл».

Наблюдения о связи между метром и смыслом стали собирать в начале XX века Б. Томашевский и Р. Якобсон. Гаспаров утверждает: теоретически сам тезис о наличии этой связи был впервые сформулирован Якобсоном в статье 1937 года о поэтике К. Г. Махи<sup>37</sup>; так, среди примеров русского пятистопного хорей Якобсон нашел ряд перекликающихся случаев, объединенных — вслед за «Выхожу один я на дорогу» — общей темой-настроением: тема дороги (динамическая) соединяется здесь с темой безнадежно-го одиночества (статической). При этом, можно сказать, вслед за Ломоносовым, Якобсон склонен был видеть объяснение метросмысловых повторов в «природных и традиционных склонностях метра»: например, в вышеупомянутом пятистопном хорее он видел особую пригодность для «взволнованной ходьбы»<sup>38</sup>. Напротив, Гаспаров, не вступая в прямую полемику с Якобсоном, стремится отвоевать как можно больше места историческим обусловливаниям метра и ритма, связанным с традицией, а не с природой<sup>39</sup>. Наблюдения Якобсона развил и систематизировал К. Тарановский в статье «О взаимодействии стихотворного ритма и тематики» (1963): он ставил вопрос об «экспрессивном ореоле» метров. Другие исследователи предлагали для обозначения самого этого явления (взаимозависимости метра и смысла) такие понятия, как «экспрессивно-тематический ореол», «идейно-тематический ореол» и др. И эти терминологические колебания понятны: ведь на первый план в содержании стихотворного произведения могут выходить различные элементы — предметные, тематические, эмоциональные. Именно Гаспаров предложил термин «семантический ореол», и он, как наиболее нейтральный, закрепился шире и прочнее других обозначений.

В «Метре и смысле» рассмотрены, таким образом, несколько гнезд таких метро-семантических зависимостей. По размерам эти связи распределяются следующим образом. Четырехстопный хорей:

<sup>37</sup> Там же. С. 12.

<sup>38</sup> Там же. С. 13.

<sup>39</sup> Так, Гаспаров подчеркивает, что природные закономерности действуют, как правило, лишь в пределах одного уровня текста (например, фоники: если первый слог в стихе ударный, то второй почти всегда будет безударным), но не между уровнями (фоникой и семантикой): тут нужно искать исторические прецеденты, послужившие в свою очередь образованию закономерностей.

либо элегическая грусть (Ах! почто за меч воинственный...), либо простонародный задор (Ой, полным-полна коробушка...). А вот трехстопный хорей: Гаспаров с блеском показывает, как в условиях уже сложившейся традиции метра, его семантические окраски подчиняются уже не столько воле творца, сколько «безличной речевой традиции, которой поэт подвластен»<sup>40</sup>; он составляет собственные центоны, демонстрирующие эту поэтическую предсказуемость<sup>41</sup>. Русский трехстопный ямб являет нам пример процессов дифференциации и интеграции различных смысловых окрасок (в зависимости от трех истоков этого размера: античного стиха, русского народного стиха и западноевропейского стиха), при этом различные окраски то расходятся по жанрам, то сходятся — по эмоционально-смысловым интонациям. При разборе 300 примеров русского трехстопного ямба выявлены 15 возможных смысловых окрасок, определенным образом взаимодействующих своими обертонами. При наличии таких неоднозначных и многополюсных связей может показаться, будто вообще никакой специфической семантики данный размер не имеет, однако это не так — просто внимание исследователя сдвигается на более зыбкие, но не менее важные уровни анализа и сопоставлений. Иными словами, дело идет уже не о собственной семантической окраске размеров, но скорее об их размытых, но все равно улавливаемых семантических тяготениях, и проявляются они уже не на уровне набора тем, но на уровне взаимосвязей между тематическими комплексами — иначе говоря, на уровне структуры. При всех сложностях анализа конкретных конфигураций, становится очевидно, что семантика любого стихотворения строится в силовом поле между двумя (или более) полюсами, к которым так или иначе притягиваются читательские ассоциации, создавая тем самым известное смысловое напряжение<sup>42</sup>.

Тем самым, Гаспаров (вслед за К. Ф. Тарановским) подходил к стиху как структуралист: произведение расчленяется на разные уровни (фоника, метрика, образный строй, идейный строй), и на каждом из них требуется выявить свои особые законы. Разумеется, при этом существуют и связи между уровнями — примером

<sup>40</sup> Живов В. Совершенный словоиспытатель // НЛО. 2006. № 7 (1). С. 31.

<sup>41</sup> Вслед за стихотворением Огарева «Изба» бесконечно повторяется «эта ночь, холод, изба, в ней все спят и не спит только молодая дочь... молодая жена... одинокая старуха, умирающий старик... или уже лежит покойник на столе». Не повторяя реальные стихотворения, Гаспаров, не без иронии, отмеченной В. Живовым, составляет свой центон: «Скучная картина: Сонное село. Миновало лето, Избы замело. Солнце утомилось В синеве небес, Грустно завывает Обнаженный лес. В тишине глубокой Зимним вечерком Песня раздается Над большим селом.<...> А мороз суровый На дворе трещит; Бедная старушка На печи лежит» и т. д. до бесконечности. См.: Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 85.

<sup>42</sup> Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 176.

здесь как раз и выступает феномен семантических ореолов, однако заниматься ими мы можем лишь после того, как проясним функциональные характеристики материала на каждом отдельном уровне: это и будет подступ к структуре межуровневых отношений. Свое, по сути, эпохальное исследование Гаспаров описывал чрезвычайно сухо и скупой: это «всхи, расставленные в обследованных местах семантического поля, чтобы служить ориентирами при дальнейшем изучении неисследованных мест»<sup>43</sup>. Это определение собственных достижений хочется запомнить.

Целый ряд стиховедов неприязненно восприняли (и воспринимают) саму идею связи метроритмических закономерностей с определенной тематикой. В самом деле, существуют ведь стихотворения, тоже написанные пятистопным ямбом, в которых темы пути нет; с другой стороны, существуют стихотворения о пути, написанные другими размерами: при чем же тогда связь формы и содержания? Громче всех возражали против поиска семантических ореолов (как, впрочем, и вообще — против любого «точного литературоведения») многолетние теоретические противники Гаспарова — Л. И. Тимофеев<sup>44</sup> и Б. П. Гончаров. В реконструкции Гаспарова схема их рассуждения следующая: они ориентировались на стихотворение как на целостность и выводили из его идейного строя все остальные особенности: так, идейный строй отображается в лирическом характере, лирический характер — в эстетическом переживании, переживание — в интонации, наконец, интонация — в ритме и других элементах стихотворной формы. В итоге все стихотворение целиком дедуктивно определяется неповторимостью того или иного конкретного содержания. Вполне понятно, что в рамках подобного подхода недопустимо считать, что метр имеет смысловую нагрузку, завещанную традициями и использованиями. Наличие авторитетных недоброжелателей отпугивало тех, кто, быть может, и занялся бы подобными исследованиями: так и получилось, что на протяжении десятилетий Гаспаров был едва ли не единственным, кто в таком масштабе занимался вопросом о связи метра и смысла на основе собранно-

<sup>43</sup> Там же. С. 117.

<sup>44</sup> Теоретическое противоборство не обязательно лишает людей порядочности и даже благородства. Так, в «Записях и выписках» есть рассказ Гаспарова о том, как Тимофеев, маститый ученый, распорядился поместить во вверенном ему научном журнале критическую рецензию на его книгу, написанную молодым исследователем Гаспаровым («если в журнале будут спрашивать, скажите, что поддерживаю»). Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 318). Этот факт неслучайно упоминает М. И. Шапир: он не может не признать, что Гаспаров тоже реагировал на критику младшего коллеги с «беспримерным благородством» (Шапир М. И. Что он для меня значил // Вечер памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 61).

го им эмпирического материала. Отпугивала возможных последователей, конечно, и крайняя трудоемкость подхода, требовавшая бескорыстного поиска без надежды на скорый успех.

Сейчас, рассмотрев основные позиции гаспаровской концепции семантических ореолов метров, мы четче видим, насколько они перекликаются с целым рядом лотмановских тезисов о культуре как особом семиотическом механизме культурной памяти. Это заметили и другие исследователи. Так, Ю. И. Левин<sup>45</sup>, откликаясь на работы о семантическом ореоле Тарановского — Гаспарова, показывает: эта концепция «буквально взывает к обобщению и осмыслению в духе лотмановской культурологии. Ибо все эти процессы служат ярким примером различных черт работы механизмов культуры»<sup>46</sup>. Напомню, что подзаголовок книги «Метр и смысл» звучит вполне по-лотмановски — «Об одном из механизмов культурной памяти», и в ней изучаются различные механизмы функционирования культурной памяти: в лотмановском языке это и семантизация изначально «пустых» форм, и различные способы передачи «памяти формы» и др.

Любопытно, что сейчас, когда философы стали интересоваться литературой, считать философию особого рода литературой и пытаться анализировать литературные произведения в перспективе антропологии или эпистемологии, они умеют делать интересные наблюдения и формулировать любопытные идеи. Их радикальным отличием от научно-филологического подхода при этом будут две вещи. Во-первых, они совершенно не учитывают «фон» и берут произведение в отрыве от традиции и тех закономерностей, которым оно в ней подчиняется. Во-вторых, они берут только известное, только «шедевры». В «Записях и выписках» Гаспаров рассказывает о том, как на встрече с философами было решено вместе проанализировать какой-нибудь текст; лучше — анонимный, но философы отказались... Значит ли это, что им нужна презумпция величия, чтобы определенным образом настроить свое восприятие? В любом случае невеликое, массовое, малозначимое (в индивидуальном выражении — и сверхзначимое в массовом) философов не привлекает. Запомним хотя бы эти два отличия «философов» от «филологов».

Иначе говоря, философов совершенно не интересует то, что в области литературы можно знать хотя бы сколько-нибудь точно, они держат эту область за резервуар непредсказуемого, из которого

<sup>45</sup> Рецензия была написана в начале 1980-х годов и опубликована в качестве послесловия к книге: Гаспаров М. Л. Метр и смысл. См.: Левин Ю. И. Семантический ореол метра с семиотической точки зрения // Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 292.

<sup>46</sup> Там же.

можно время от времени черпать новые идеи. И это — их право. Но не забудем и того, что научное исследование (как бы ни трактовалось в данном случае слово «научное») при таких установках невозможно. Суть подхода, который стремится к объективности своих выводов, в том, чтобы привлекать к рассмотрению не только «шедевры», но и рядовую продукцию и даже массовую, популярную, детскую литературу. Филолог обязан по определению любить всякое слово. Ведь в литературном процессе участвуют не только «вершины», но и общий фон, на котором формируются и утверждаются образцы: как уже говорилось, семантика размера навязывается не только малым, но и крупным поэтам. И вообще принцип развития словесной ткани культуры таков, что «история поэзии делается не тениальностью одиночек, а общими усилиями, что все являются вольными или невольными соавторами друг другу в коллективном труде творчества словесной культуры»<sup>47</sup>. И это, повторяю, не ограниченность чернорабочих в культуре, но мудрость тех, кто знает больше, чем мы, о том, как она функционирует. Ведь «многое из того, что мы принимали за неповторимые примеры шедевра или таланта, оказывается заимствованным или общедоступным добром. Это значит: индивидуальность следует искать не в элементах, а в структуре; и это значит: только эгоцентрическая перспектива заставляет нас видеть нормы, шаблоны и каноны за исторической далью и не замечать их рядом с собой»<sup>48</sup>. Кроме того — важен исторический подход: стереотипы соотношений метра и смысла не вечны, они создаются и угасают. Эта методологическая сентенция имеет в каждом конкретном случае яркое конкретное наполнение: и Лермонтов, и Фет, и Пастернак, и Цветаева не только влияют сами, но и испытывают влияния (в интонации, в ритмико-синтаксических клише и др.) — причем не только крупных, но и малых, ныне забытых нами фигур. Это не голословный тезис: имена этих малых фигур в книге приведены, и отныне стоят на своих местах в культуре. Это не унижает крупнейших, но показывает культуру как ценность, создаваемую общим трудом и способностями людей.

Общая мораль моего, с помощью Гаспарова, рассказа о семантических ореолах такова: те навыки в изучении стиха, которые еще

<sup>47</sup> Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 118. Ср. аналогичные мысли у Романа Якобсона: «Только тогда станет возможна научная поэтика, когда история поэзии перестанет быть историей генералов. Когда она откажется от всякой оценки, ибо не абсурдно ли лингвисту как таковому расценивать наречия сообразно с их сравнительным достоинством? Развитие теории поэтического языка будет возможно лишь тогда, когда поэзия будет трактоваться как социальный факт, когда будет создана своего рода поэтическая диалектология». Якобсон Р. Очередные задачи науки об искусстве // Роман Якобсон: Тексты. Документы. Исследования. С. 5.

<sup>48</sup> Гаспаров М. Л. Метр и смысл. С. 118.



совсем недавно были единичным умением, стали расхожим ремеслом: любой рядовой исследователь может теперь охарактеризовать стих с точки зрения ритма, рифмы, метрического репертуара и др. На фоне полученных средних данных можно подниматься на другие уровни, например, говорить о специфике ритма поэтов XIX века в целом (на основе подсчетов Тарановского) и отчасти XX века (на основе подсчетов Гаспарова); результаты надежны, во всяком случае, уточняет Гаспаров, до сих пор они не были фальсифицированы. Столь же надежным может быть исследование других уровней словесности. Конечно, изучение семантики далеко от точных методов (в ней до сих пор используются главным образом не приемы доказательства, а приемы убеждения), и в целом эта отрасль еще не доросла до системных обобщений, так что пока самая научная область современной филологии — изучение метро-ритмических особенностей стиха. Однако, если верить Гаспарову, достаточно одного поколения коллективной работы (а не обязательно столетия, как полагал Ярхо в эпоху, когда не было современных технологий), чтобы на всех уровнях литературного произведения собрать данные о средних и индивидуальных характеристиках явлений. В конечном счете, это позволит нам приблизиться и к ответу на тот конкретный вопрос, который каждый из нас задает себе как потрясенный читатель, если в нем есть исследовательская жилка: почему мое индивидуальное восприятие данного стихотворения именно такое, а не какое-то иное? И ответ на этот вопрос, хотя бы приблизительный, продвижение к этой тайне хотя бы на один шаг будет таким же чудом человеческой мысли, как и создание самого произведения. В любом случае нам как представителям русской культуры приятно, что сделанное Гаспаровым в области русской поэзии, в изучении ее метрического репертуара, эволюции стихотворного ритма и семантических ореолов ее метроритмических средств, не имеет аналога на материале других литератур. И, стало быть, является нашим национальным достоянием.

### Об «интимности отношения к предмету»<sup>49</sup>

В заглавии этого раздела — фраза из программной статьи С. С. Аверинцева «Филология». О чем идет речь? Рассматривая историю филологии, Аверинцев сожалеет об утрате «интимности отношения к предмету»: это происходит в процессе расширения сферы интересного и важного в человеческой культуре. Насле-

<sup>49</sup> См.: Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972. С. 975.

дие перестает быть «домом предков, в котором живут потомки, но включается в длинный ряд других таких же “наследий”, а ряд в целом, очевидно, удобнее обозреть издали». Филологу наших дней «уже не дано так просто и непринужденно “войти вовнутрь”». И конечно наибольший удар по «интимности отношения к предмету» наносят устремления к формализации гуманитарного знания, которые делают результаты анализа «логически принудительными и адекватно сообщимыми». В структуре филологии, считает Аверинцев, есть нечто, «упорно сопротивляющееся подобным устремлениям», это «житейская мудрость, здравый смысл, знание людей». Неустрашимость этих элементов из состава филологии придает ей «по видимости, архаичную физиономию». Точные методы в филологии возможны, но они «не затрагивают ее сущности».

Как и в случае Бахтина, я не претендую здесь ни на всестороннее рассмотрение вопроса о том, что такое филология, ни на изучение роли наследия Аверинцева в русской культуре. Я рассматриваю лишь малый аспект его творчества в той области, где оно взаимодействовало с творчеством и позициями Гаспарова. Для философов Аверинцев значит гораздо больше; они часто ссылаются на работы Аверинцева о корнях европейской рациональности или же на его работы о Византии<sup>50</sup>. В 1970-е годы это вполне соответствовало тому большому интересу к Средневековью и к византийской культуре, который поддерживал людей, уставших от идеологических догматов. Т. В. Васильева, переводившая Хайдеггера одной из первых в России, любила повторять, что Хайдеггер — это типичный «философ для филологов». Не будем сейчас обсуждать вопрос о том, насколько такое суждение верно применительно к Хайдеггеру; обернув эту формулу, получим изречение, вполне подходящее к Аверинцеву — «филолог для философов». Что касается Гаспарова, то на него, как уже говорилось, философы практически никогда не ссылаются.

Одно из объяснений таких предпочтений у нас есть, хотя и не окончательное. Аверинцев заменял одну идеологию — окружавшую и трубившую в уши, — другой, привлекательной, связанной с религиозными формами духовности. Гаспаров не предлагал никакой новой идеологии, он казался суше и скучнее. Кроме того, дело было не только в самом материале обсуждения, но и в способах его подачи. В 1970-е годы Аверинцев был знаменит своими полуофициальными публичными лекциями. Манера его общения с публикой была такова, что Аверинцев (не по своей воле, под-

<sup>50</sup> Ср., в частности: *Аверинцев С. С.* Риторика и истории европейской литературной традиции. М., 1996; *он же.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977 и др.

черкивает Гаспаров!) вел, манил людей туда, куда они могли войти только верой, но не знанием: это было приобщение тайнам. Сам Аверинцев получил все эти знания не святым духом, но он не демонстрировал этого своего пути, а начинал говорить, уже будучи на высотах эрудиции и добытого понимания. Гаспаров таких публичных чтений себе не позволял, да и не особенно был к ним способен; кроме того, он хорошо видел, как любые «протестные» темы с удивительной быстротой догматизировались (это происходило в те времена и происходит в наши дни).

Интересно, что Гаспаров и Аверинцев никогда ни о чем не спорили и не вели ничего, похожего на диалог. Гаспаров говорил: «...когда он говорит, я молчу, когда я говорю, он молчит»: а это значило, что в общем круге тем их основные компетенции были разные, так что и «спорить» не было повода, а учиться друг у друга — основания всегда были. Однако среди моментов, где спор, так или иначе, оказывался неизбежен, находится трактовка филологии, ее определение. За основу аверинцевской позиции я беру указанную выше статью «Филология». В качестве поддержки рядом с Аверинцевым расположится тогда близкий к нему по взглядам и лучше известный философам В. В. Биbihин со своей симметрично программной статьей «Язык» из «Новой философской энциклопедии»<sup>51</sup>.

Для обоих исследователей, Гаспарова и Аверинцева, филология — это наука о понимании, это служба понимания. Однако при этом Аверинцев опирался на принцип филологии под рост человеку и сетовал на то, что, опираясь на формальные и структурно-функциональные методы, современная филология эту ориентацию теряет. Позиция Гаспарова иная: филология как наука, напротив, не должна подстраиваться под человеческий рост: она должна уметь пользоваться микроскопом и телескопом, расширяя возможности человеческого восприятия. Аверинцев ратует за сохранение филологией себя как «службы понимания» («понять другого человека, не превращая его ни в поддающуюся “исчислению” вещь, ни в отражение собственных эмоций»<sup>52</sup>). С этим важнейшим тезисом Гаспаров целиком и полностью согласен. Весь вопрос в том, как понимать «службу» и само «понимание». Если Аверинцев предпочитает опереть филологию на традиционные ценности (античность, христианство), предполагая восприятие изнутри мира этих ценностей и сожалея об утрате «интимности отношения к предмету», то Гаспаров считает, что современной филологии требуется взгляд извне, равно как и неавторитарное

<sup>51</sup> Биbihин В. В. Язык // Новая философская энциклопедия. М., 2001. С. 505—507.

<sup>52</sup> Аверинцев С. С. Филология. С. 976.

равноправие ценностей. И здесь проходит линия раздела между важнейшими позициями в культуре. Что нам важнее, на что мы можем и хотим опираться: на то, что можем знать «извне», объективно, или на то, что дано нам традицией, без которой человек теряет себя? Если Аверинцев призывает опираться на житейскую мудрость<sup>53</sup>, здравый смысл и человечность<sup>54</sup>, то Гаспаров полагает, что современная ситуация развития филологической дисциплины требует от нее объективности и тех или иных способов формализации (все это нужно не для того, чтобы строить модели, подобные леви-строссковской формуле мифа, но для того, чтобы получить сопоставимый материал для филологического исследования — несмотря на то, что широко распространенные формы филологии очень этому сопротивляются). Если Аверинцев, как уже отмечалось, стремится строить филологию как нечто сопоставимое с естественной человеческой способностью восприятия, вместе с тем позволяя себе широкие и далекие обобщения<sup>55</sup>, то Гаспаров полагает, что в филологии назрела потребность обращения к другим размерностям — в бесконечном мире это и микроструктуры, и макроструктуры. Разумеется, филология и в наши дни не отменяет здравого смысла; но, кроме того, она предполагает исследование (например, в языке поэта) тех закономерностей, которые автором не осознавались, но проясняют нам некоторые объективные основания наших субъективных впечатлений; кро-

<sup>53</sup> И здесь ему вторит близкими словами и мыслями Библихин: «Философии не нужно нового языка: ее родной язык уже полон смысла, а строгость требует не изобретения терминологии, а внимания к основе слова, тогда как «инерция научной методологии независимо от воли исследователя толкает его на путь редукции явлений к рационалистическим структурам» (Библихин В. В. Язык // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 4. С. 506—507).

<sup>54</sup> Словно участвуя в нашем разговоре о возможности точного знания в филологии, Аверинцев замечает: «Точные методы (в математическом смысле этого слова) возможны, строго говоря, лишь в сугобо периферийных областях филологии и не затрагивают ее сущности. Филология едва ли станет когда-нибудь «точной наукой» — и в этом ее слабость, которая не может быть раз и навсегда устранена с пути хитроумным методологическим изобретением, но которую приходится вновь и вновь перебарывать напряжением интеллектуальной воли; в этом ее сила и гордость. Не может быть и речи о том, что филолог будто бы имеет «право на субъективность», т. е. право на любование своей субъективностью, на культивирование субъективности. Но он не может заранее ограничить себя от опасности произвола надежной стеной точных методов, ему приходится встречать эту опасность лицом к лицу и преодолевать ее вновь и вновь». Аверинцев С. С. Филология. С. 975.

<sup>55</sup> Однако, в отличие от многих других, Аверинцев, по утверждению Гаспарова, всегда четко понимал, когда он говорит доказуемо, а когда нет. В принципе Аверинцев с уважением относился к подсчетам и вчуже считал это настоящей наукой, не позволяя на этот счет иронического или снисходительного отношения, однако сам этим не занимался, предпочитая, скажем, стихосложению раннего Еврипида эстетические аспекты божественной троичности.

ме того, она ставит вопрос о том, как вписать наш объект в более широкое культурное целое, что взять за основу сравнений.

«Интимности отношения к предмету» как аверинцевскому идеалу филологического отношения к миру Гаспаров неявно — потому что открыто эта полемика никогда не велась — противопоставляет ситуацию непонимания как важнейшую в культуре. Более того, Гаспаров исходит именно из *презумпции взаимонепонимания* (эта мысль многократно повторяется в «Записях и выписках» и публицистических статьях Гаспарова): Гораций, Пушкин или Мандельштам писали не для меня, а для своих современников, а потому именно это понимание с той или иной доступной нам степенью вероятности и достоверности мы и должны реконструировать как исследователи (как читатели мы имеем право читать и понимать так, как нам заблагорассудится). Это подытоживается гаспаровской формулой: «человек человеку — Розеттская иероглифическая надпись». Однако, несмотря на все эти протесты против антропоморфной филологии, перед нами, вопреки кажимости, не скучный позитивист, который укрощал красоту поэзии, описывая ее по раз избранной методе, а человек, свободно выбравший науку своим путеводным знаменем и прошедший свой корабль этим выверенным курсом из советской эпохи (когда на науку давила идеология и догматы единственно верного учения), в постсоветскую эпоху (когда распространение релятивистских и постмодернистских тенденций, казалось, лишило само слово «наука» какого бы то ни было смысла).

Само понятие понимания или взаимопонимания весьма примечательно. Один из исследователей, внимательно разбиравших эти дискуссии, заметил, что поначалу Гаспаров больше говорил о понимании, а позднее стал больше говорить о взаимопонимании разных инстанций общения друг с другом. Думаю, дело обстоит не совсем так: в любом случае «взаимопонимание» есть вещь эпистемологически рискованная: ведь взаимопонимания с текстом у нас, вопреки нередко высказывавшему мнению, быть не может (просто мы можем умнеть над текстом и каждый читать текст, находясь в разном состоянии сознания и эмоций, принимая свой собственный рост и развитие за разговор), а взаимопонимание с коллегами уж и вовсе вещь редкая. Просто Гаспаров все более четко формулирует отказ от распространенной утопии понимания (никогда, впрочем, им не разделявшейся), к презумпции исходного непонимания (или взаимонепонимания), с которым филологу дальше предстоит работать. (Пожалуй, некоторое продвижение к мысли о «взаимопонимании с текстом» у позднего Лотмана действительно было, хотя другие аспекты его исследовательской про-

граммы тезиса об «интимности отношения к предмету» не поддерживают.)

В той же статье Аверинцева о филологии сосуществуют и противопоставляются — иногда явно, иногда — приглушенно — две разные тональности. С одной стороны, техническое, формальное, структурное — это «хитроумные изобретения», якобы «надежная стена» точных методов, заранее поставляющих свои истины, далекие от подлинной мудрости. С другой стороны, человеческая нравственная мера, которая превосходит все искусства субъективности (не защищая филологию как науку, Аверинцев, однако, отказывает филологии в «праве на субъективность»), борьба и отвага, напряжение сил, интеллектуальная воля. Именно этой — принципиально «неточной» — филологии приходится ответственно решать, как же ей бороться с вездесущей самоутверждающейся субъективностью. Аверинцев полагает, что помочь этому, обеспечить это может «постоянное нравственно-интеллектуальное усилие, преодолевающее произвол и высвобождающее возможности человеческого понимания». (Курсив мой. — Н. А.)<sup>56</sup>. Вместе с Гаспаровым я уверена, что одного лишь «нравственно-интеллектуального усилия» для преодоления агрессивного отношения субъекта к предмету недостаточно. Для этого нужны специальные средства, техники и не все — под человеческий рост, не все на уровне житейской мудрости; в любом случае воля, отвага и мужество нужны не только тем, кто защищает «интимность отношения к предмету», но и тем, кто защищает объективность<sup>57</sup>. В целом — не нам измерять и судить о том, кто из героев героичнее, чьи труды на ниве филологии принесли больше плодов.

Каждый судит сам. Но осознать различие замыслов и результатов мы обязаны. Представляется, что победить назойливую субъективность вкуса собственными силами или действительно развить в себе такую культурную интуицию, которая обеспечивала бы надежно интимное, а не агрессивное отношение к познаваемому предмету, человек не в состоянии. Даже Аверинцеву, даже Библину это, думаю, не удалось. А отсюда — наша уверенность в том,

<sup>56</sup> Аверинцев С. С. Филология. С. 976. Об Аверинцеве см.: Машин В. Возраст речи. Подступы к явлению Аверинцева // Вопросы литературы. 2006. Май-июнь. С. 43—86.

<sup>57</sup> В конце концов, любая неполная индукция при наборе эмпирического материала для дальнейшей обработки — испытание, готовность к потрясению на каждом повороте. «"Позитивизм хорош для рантье, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно" ("Шум времени"). Нет, позитивизм, который не учит, не судит, а только приговаривает "вот что бывает", — это не безмятежность, позитивизм — это напряженность: все время ждешь, что тысяча первый лебедь будет черный, что следующий прохожий даст мне в зубы, а случайный камень заговорит по-китайски. От этого устает». Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 397.

что средства и орудия — не только оковы на свободном цветении культуры и языка (образ из статьи Бибихина), но и наши способности в деле овладения культурой — и прежде всего чужими языками. Между прочим, Гаспаров говорил, что и не занимаясь никакими «точными исследованиями», Аверинцев вполне понимал цену и значимость этого пути в науке, защищал его там, где это было нужно. А потому в этих заочных (в реальности они никогда не имели места) диалогах Гаспарова и Аверинцева мы видим не только схватку личных темпераментов, детских впечатлений или еще чего-то, но прежде всего напряженный расклад разных путей и шансов культуры, предоставленных ей на обозрение и размышление о том, каким путем идти дальше.

Как мы помним, Гаспаров всегда соглашался с аверинцевским определением филологии как службы общения — прежде всего, общения культур. Но он никогда не соглашался с ним в вопросе о средствах, которыми должна работать филология. Гаспаров напоминает нам, что «филология» — единственная из «логий», в которой корнем является любовь: филолог должен любить всякое слово, а не только избранное, это его профессиональный долг. В этом Аверинцев был настроен с ним на одну волну: «Как жаль, что мы не в силах все вместить и все любить, получается так, что всегда нужно что-то выбирать». Но любить что-то свое — не значит внушать, навязывать свою любовь и свою точку зрения. Филолог, в отличие от других любящих знание, должен идти путем познания. Для Гаспарова филология — это универсальное знание о культурах, которое добывается не механически, но пытливым разумом, и возвращается к человеку «в смиренной заботе о понимании». Этот тезис очень важен. Понимание другой культуры (опять-таки для филолога) не предшествует знанию, но возникает в результате познания. А потому филология не имеет права притворяться диалогом — разговором на равных с другой культурой: «Филолог — *не собеседник* прошлой культуры, а скромный толмач при ней»<sup>58</sup>. Заметим, что это слово «толмач» в данном случае не метафора, оно употребляется во вполне конкретном смысле, предполагающем — Гаспаров всегда это повторяет — и изучение чужих культурных языков как первое дело филолога. И это дело — не просто познавательная задача, это нравственный долг филолога: «Научиться понимать художественный язык Горация, Расина или Пушкина — это значит так же расширить собственный духовный мир, как если бы мы научились греческому, арабскому или китайскому языку. Языки культур, как и естественные языки, постигаются не

<sup>58</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. 2-е испр. и доп. изд. М., 2008. С. 113.

интуицией, а по учебникам, к сожалению, ни для Горация, ни для Пушкина еще не написанным»<sup>59</sup>.

Гаспаров неустанно твердил, что чувствовал себя «подбором источников», «человеческой компиляцией». Это — явно филологическая метафора, не лишенная самоиронии. И вместе с тем — это была особая форма свободы в том уникальном месте, которое он выбрал и создал сам. Как филолог он постоянно испытывал меру переводимости человеческого опыта в артикулированное слово в таком объеме и масштабе, который в современной культуре практически не встречается, а в исторических примерах кажется нам архаизмом. Таков был организующий принцип его душевного хозяйства: изнутри — об этом свидетельствуют его письменные самоотчеты; в общении — устные; в чтении текстов — перевод на обыденный язык самых трудных построений, перевод стихов на язык прозы — все было построено по принципу проговаривания. Познание, основанное на принципе самоустранения, а не самоутверждения, давало возможность быть в постоянном контакте с все более расширяющимся кругом нового, с кругом незнания. Убаюкивающая иллюзия понимания этому не мешала.

### § 3. Перевод как служба понимания

Когда Гаспаров говорил: «нужно учить языки», про перевод в этой связи речь не шла, и вообще явных теоретических размышлений про перевод у него нет. Но у него была огромная письменно-переводческая практика, связанная как с попыткой быть как можно ближе к подлиннику, так и с экспериментами, отходящими от оригинала достаточно далеко, однако он не связывал эти эксперименты с темой «познание и перевод». А нам непременно нужно это сделать. Итак, очередной логический шаг заключается в следующем: учить чужие языки нужно для того, чтобы уметь переводить, потому что без этого невозможно общаться — ни устно, ни письменно. Именно перевод (а не просто выучивание чужих языков) является необходимым условием диалога: без перевода

<sup>59</sup> Гаспаров М. Л. Предисловие к кн.: Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С. 16. Это говорилось для иллюстрации лотмановского подхода, но относится к любому филологу. Если общение читателя с автором не диалог, а борьба, то в ней «выигрывает побежденный, подчинившийся художественной воле автора и усвоивший язык его культуры». См.: Приложения. Фрагмент из письма. М. Гаспаров — Н. Автономовой от 4 мая 1993 года. Ср. также: Ваш М. Г. С. 337.



диалог неосуществим<sup>60</sup>). Тем самым я формулирую тезис, который представляется мне очень важным для современной научно-гуманитарной мысли. После того, как философия научилась опознавать проблему языка — на месте проблемы «мышления, мыслящего самого себя» (Гадамер говорил об этом в работах начала 1960-х годов), — уже сменилось несколько стадий в процессе философской проблематизации языка. В состав философских категорий вошли такие ранее чисто филологические понятия, как понимание, коммуникация, диалог. Теперь дошла очередь и до перевода, который из технического лингвистического понятия становится принципом философской рефлексии. Вспомним Лотмана и его критику сосюрровской и (отчасти) яacobсоновской схемы коммуникации: в культуре коммуникация на одном языке, общем для говорящего и слушающего, — это не правило, а редчайшее исключение. А потому любое изучение культуры должно учитывать человеческое многоязычие и, соответственно, — необходимость перевода — в узком и в широком смысле слова. Разумеется, при этом я считаю переводом не только передачу сообщения на другом языке, но и передачу содержания одной концептуальной системы в терминах другой концептуальной системы, и перифразу в пределах одного языка, и переходы между различными семиотическими системами — все то огромное поле, в котором перевод выступает — сейчас, в начале XXI века — как нечто философски значимое и жизненно необходимое.

Главная культурная функция филологии воплощена в работе переводчика, этого посредника между языками и культурами. Филология как наука о понимании стала необходима, когда человек почувствовал дистанцию между собой и предметом (поначалу — античностью). Возникновение филологии означало, что человек стал стремиться осознать эту дистанцию: это давалось с трудом и, будучи достигнуто, было большим культурным результатом. С убыстрением времени близкое все быстрее становится для нас чужим. Филология приближает к нам прошлое, удаляя его от нас, она учит нас видеть несходства, на фоне которых дорого и малое сходство. Современная универсально распространившаяся компаративистика идет другим путем — она подчеркивает сходства, подчас не замечая различий и не имея достаточных концептуальных ресурсов, чтобы их надежно зафиксировать. Филологическая работа строится на учете двух человеческих потребностей — в привычном и в непривычном (и, соответственно, вызывающем любопытство и интерес). Перевод непривычного на свой язык и тем самым обога-

<sup>60</sup> Об этом подробнее в кн.: Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008.

шение своей культуры, контакт между людьми, которые, несмотря на свое разноязычие, строят общий язык (только он все равно не до конца общий), учатся пропускать всю ширь (и глубину) мира через сходные знаки, определенным образом их опознавая, все это грани и аспекты проблемы соотношения познания и перевода.

Работа перевода — это, в частности, очень важный способ понимания познавательной деятельности. В процессе рецепции новых произведений, мыслей, чувств, выражений, при переносе текстов, смыслов, концепций из одного культурного контекста в другой он может идти и спонтанно и осознанно. В период культурных кризисов особенно важным становится осознанный подход, учет и преодоление разрыва основных контекстов — прежде всего контекстов создания и восприятия. Подчас переводчик работает, как Сталкер, переводя нас через трясины, когда нет иного пути, выступая и как проводник, и как перевозчик (если разобрать этимологию соответствующих слов и понятий в европейской культуре, перевод нас и провожает, и сопровождает, и перевозит) через культурные, языковые, концептуальные границы. Что собственно при этом переводится — слова или идеи? Кто и по какому праву переводит? Для кого и с какой целью осуществляется перевод? Как он делается? Как он должен делаться? В зависимости от ответа на все эти вопросы переводы могут быть очень разными: они могут ориентироваться на малоподготовленного или на опытного читателя, на воспроизводство оригинала или на развитие национального языка, на первичное знакомство с памятником (когда самое важное — содержание), или же, при повторном переводе, на передачу жанрово-стилистической специфики оригинала. Сами термины, обозначающие в культуре то, что переводится, и результат перевода на другой язык, в наши дни далеко не всегда называются «оригиналом» и «переводом». Чаше при этом используют те или иные метафоры. В английском языке перевод метафорически мыслится как прицеливание, стрельба в тире, а соответственно язык перевода именуется *target-language*; при этом процедуры перевода характеризуются двумя главными (и противоположными) понятиями: либо притягивание чужого к своей культуре, перевод как «одомашнивание» (от *domesticate*), либо приближение своей культуры к культуре чужого текста, или «обыностранивание» (от *foreignize*)<sup>61</sup>. В итальянском или француз-

<sup>61</sup> Когда мне довелось переводить итоговый документ по программе «Сложности перевода текстов социальных наук», составленный по-английски, я решила перевести «domesticate» и «foreignize» этими обыденно-юмористическими словами — «одомашнить» и «обыностранить» — хотя в других переводах с английского мне уже попадались кальки — «форенизировать» и «доместицировать», и у них, к сожалению, есть шансы закрепиться в русском языке.

ском для этого используется транспортная метафора, при которой язык переводимого текста трактуется как «пункт отправления», а язык переведенного текста — как «пункт прибытия» или «пункт назначения» (*langue ou texte de départ — de destination*)<sup>62</sup>.

Для Гаспарова перевод был важнейшей областью приложения сил, времени, неустанного труда. Переводческую работу Гаспарова подытоживает М. Л. Андреев, напоминая нам, что он «переводил тексты художественные и научные, прозу и поэзию, переводил произведения всех эпох — с древности до современности, и всех жанров, переводил с греческого, латинского, итальянского, французского, немецкого, английского», что он немало написал о переводе и переводчиках — о Маршаке, Брюсове (три статьи), Анненском, Кузмине, Ошеров, Шенгели, что он разработал методику анализа точности перевода<sup>63</sup>. Помимо переводов античных и средневековых авторов, Гаспаров перевел «Неистового Роланда» Ариосто, книгу стихов Гейма, ему принадлежат отдельные переводы Мильтона, Донна, Верхарна, Реньс, Паунда, Сефериса, Кавафиса и других поэтов. Когда-нибудь о Гаспарове-переводчике будут писать монографии и диссертации, здесь же будут названы лишь некоторые принципы его переводческой работы. Он — сторонник рефлексивного, продуманного подхода к переводу. Вместе с тем он противник переводов усредненных, претендующих соединить в равных пропорциях верность оригиналу и удобопонятность для читателя. Это противоречит привычным нам всем принципам так называемой «советской школы перевода», учившей тому, что можно было бы назвать «тотальным переводом», или, иначе говоря, переводом, претендующим передать все свойства оригинала сразу — «размер, смысл, образность, благозвучие и пр.». Сама претензия на выполнение тотального перевода — фикция: за ней стоит выбор, сделанный неосознанно или же оставшийся неизвестным читателю, который книгу в подлиннике, как

<sup>62</sup> Во Франции с легкой руки известного специалиста по теории перевода Жана-Рене Ладмираль переводчики, которые сильнее ориентированы на оригинал, именуются *sourciers* (от слова *source* — источник), а те, которые сильнее ориентированы на язык перевода, — *ciblistes* (от слова *cible* — мишень, цель). При этом Ладмираль совершенно справедливо указывает, что между теоретическими декларациями переводчиков и их конкретной практикой всегда существуют расхождения, иногда значительные, так что не всегда и не всем им стоит верить на слово. Так, по мнению Ладмиралья, Вальтер Беньямин и Антуан Берман, оба явные сторонники опоры на источник (*sourciers*) в теории, на практике нередко становились *ciblistes*.

<sup>63</sup> Андреев М. Л. Несколько слов о Гаспарове-переводчике // Эпос и драма латинского Средневековья в переводах М. Л. Гаспарова. М., 2009; Он же. Новые русские переводы «Божественной комедии» в свете одной идеи М. Л. Гаспарова // НЛО. 2008. № 92 и др.

правило, не читает, а потому и не знает, с чем же собственно он имеет дело, открывая переведенную книгу. Огромная переводческая практика Гаспарова для нас — практическая энциклопедия, по которой можно учиться всему — и верности оригиналу, и разумной свободе переводчика, и, конечно, учету требований времени и культуры, в которую входит перевод.

### Антиномия Шлейермахера и ответ Гаспарова

С какого конца подойти к переводческой работе? Мысли на этот счет высказывались самые разные. Иногда говорилось: нужно в любом случае сделать так, чтобы современники переводчика воспринимали перевод таким же образом, как воспринимали оригинал современники автора. Все это хорошо, но задача оказывается невыполнимой: как восстановить восприятие современников Эсхила, когда его трагедии воспринимались только со сцены, причем с пением и пляской? А вот другой подход: «Переводить так, как писал бы автор, если бы писал по-русски». Когда писал? При Карамзине? При Решетникове? При нас? Да он вовсе бы не писал этого, если бы писал при нас! Задача перевода — не в том, чтобы дать по-русски то, чего не было по-русски, а в том, чтобы показать, почему этого и не могло быть по-русски»<sup>64</sup>.

И все же — в чем главная задача? Несмотря на все это множество ориентаций и подходов, есть одна антиномия, самая важная для понимания перевода. Нельзя ни снять ее диалектически, ни синтезировать ее полюса. Именно она, по сути, организует все пространство дискуссий о переводе и соответственно всю переводческую работу, ориентируя ее в том или ином направлении. Важнейшая историко-культурная заслуга в формулировании этой антиномии принадлежит Фридриху Шлейермахеру. Это сейчас нам может показаться, что сама эта антиномия осознавалась всегда и ни о каком открытии тут речь не идет. Однако это не так. В своей знаменитой работе «Различные методы перевода» Шлейермахер ставит вопрос следующим образом: «Либо переводчик делает все возможное, чтобы оставить в покое писателя, и движет ему навстречу читателя, либо он делает все возможное, чтобы оставить в покое читателя, и движет ему навстречу писателя. Эти два пути настолько отличны друг от друга, что, встав на один из них, нужно пройти его до конца со всей возможной строгостью. От попытки пройти оба пути сразу можно ожидать лишь самых сомнительных результатов с риском потерять как писателя, так и

<sup>64</sup> Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 274.

читателя»<sup>65</sup>. Между этими двумя путями переводчику приходится выбирать: либо он продвигает читателя в сторону писателя, либо наоборот — писателя в сторону читателя. Разумеется, Шлейермахер был не единственным, кто заметил это противоречие<sup>66</sup>, однако именно он выразил его с наибольшей ясностью как практическую и теоретическую антиномию. При работе над переводом можно идти разными путями, но, раз выбрав, можно следовать только одному из них, избегая смешения, так как в противном случае писатель и читатель рискуют вообще не встретиться. Анализируя этот тезис, Умберто Эко утверждает, что это жесткое требование выбора при переводе применимо либо к древним, либо к культурно несхожим языкам и текстам<sup>67</sup>. Опираясь здесь на поддержку Гаспарова, позволю себе, вопреки утверждениям Эко, отнести то, что можно было бы назвать «строгим критерием Шлейермахера», к любым текстам. Позволю себе не согласиться и с еще одним утверждением итальянского семиотика. Эко утверждает, что выбор ориентации (на источник либо на адресата) остается критерием, который подлежит обсуждению «от фразы к фразе». Разумеется, выбор ориентации реализуется на любом, сколь угодно малом фрагменте текста, однако в целом — это стратегический выбор, относящийся ко всему произведению, а не тактический выбор по случаю, хотя, разумеется, в разных конкретных контекстах он может применяться более или менее последовательно.

То, что я здесь называю шлейермахеровской антиномией, богато следствиями. Рефлексия над переводом со своих первых шагов показывает, что перевод — не только лингвистическое, но и куль-

<sup>65</sup> Шлейермахер Ф. О разных методах перевода. Лекция 1813 года. *Schleiermacher F. Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens*. Paris, Seuil (éd. bilingue), 1999. P. 48. Радуюсь, что этот же момент в Шлейермахере заметил и сходным образом осмыслил и Рикер (Ricouer P. *Sur la traduction*. Paris, 2004. P. 9).

<sup>66</sup> Этот же принцип, только сосредоточенный не на отношениях писателя и читателя, но на позиции переводчика, фактически формулирует и П. А. Вяземский, который работал над своими переводами с французского в тесном контакте с Пушкиным. Ср. у Вяземского: «Есть два способа переводить: один независимый, другой подчиненный. Следуя первому, переводчик, напившись смыслом и духом подлинника, переливает их в свои формы; следуя другому, он старается сохранить и самые формы, разумеется, соображаясь со стихиями языка, которые у него под рукою. Первый способ превосходнее, второй невыгоднее; из этих двух я избрал последний» // *Вяземский П. А.* Адольф. Роман Бенжамен-Констана. От переводчика (1831) / *Антология: Перевод — средство взаимного сближения народов: Антология*. М., 1987. С. 34. Другой вид той же самой антиномии (перевод перестраивающий — перевод воссоздающий) формулирует блестящий переводчик советской эпохи М. Лозинский. О переводческих принципах Лозинского см.: *Андреев М. Л.* Приложение. М. Л. Лозинский // *Он же*. Литература Италии. Темы и персонажи. М., 2008. С. 319–328.

<sup>67</sup> Эко У. Сказать почти то же самое: Опыты о переводе. СПб., 2006. С. 230.

турное явление, а потому не существует лишь перевода с языка на язык, но всегда также и перевод с культуры на культуру. Если это недооценить, перевод может вовсе не войти в чужой контекст или остаться в нем незамеченным. Но если это переоценить, возвеличив инстанцию «читателя» и его родного языка в ущерб «писателю», инстанцию воспринимающую в противовес инстанции, посылающей сообщение, перевод может перестать быть переводом и превратиться в самодовлеющее образование в культуре языка перевода (что иногда оказывается совсем не так плохо, только выходит за рамки вопроса о переводе).

Другое следствие этого тезиса о необходимости выбора заключается в признании ограниченности любого перевода. Ни один перевод не переводит абсолютно все, что-то неизбежно остается непереведенным. Что именно — это нам предстоит каждый раз решать, причем желательно, чтобы этот отбор был продуманным, а не случайным. Так, при переводе стиха верность ритму и мелодии неизбежно придет в столкновение с грамматикой и смыслом. Если в художественном произведении переводчика больше интересует этическая сторона, то стилистические красоты отойдут на задний план, если же переводчик постарается полностью овладеть музыкальной стороной, в пренебрежении окажется логический элемент и т. д. и т. п. При этом в работе перевода действуют механизмы компенсации: то, что трудно выразить на одном уровне, можно попытаться провести через другой, то, что невозможно высказать в данном месте, можно ввести в другом и др. Всякий, кто хотя бы раз сравнивал стихотворный оригинал с переводом, воочию видел, насколько различно распределяются в оригинале и переводе места языкового принуждения и возможности выбора, как при переводе текстов разного рода на общеязыковые ограничения накладываются различные слои культурных, исторических, концептуальных ограничений.

Таким образом, рефлексия о переводе (или рефлексия перевода) показывает нам, что единственно правильных решений о том, как следует переводить, на все времена и для всех ситуаций быть не может. Это зависит от эпохи, от качественной стадии развития культуры (экстенсивной или интенсивной, направленной на охват все новых слоев читателей или на более глубокое овладение новым культурным материалом), от того, впервые или же повторно произведение переводится в данной культуре и еще от многого другого. Однако все это вовсе не означает, что не существует вообще никаких переводческих критериев. Они есть, только построить на их основе общую теорию перевода оказывается задачей пока что невыполнимой, а быть может и не актуальной. Дело в том, что ныне существующие переводческие теории исключают одна другую, а значит не

поддаются конфигурированию и взаимоувязыванию в общее поле проблематики с належными внутренними переходами. А потому то, что я здесь предлагаю, это не столько теория, сколько позиция. Она складывается на пересечении различных теорий, учитывая и взаимно ограничивая их претензии. Представляется, что эта позиция, в основе которой лежит взаимосвязь познания и перевода, удачнее всего позволяет соотнести фрагменты наличного материала.

Один из способов апробации шлейермахеровского критерия на конкретном историко-культурном материале был предложен Гаспаровым, на Шлейермахера никогда не ссылавшимся и, по-видимому, его работу не знавшим. Он неоднократно рассматривал историю художественного перевода в России и предлагал различные типологии этого процесса. В разных своих работах Гаспаров предложил несколько таких типологий с частными различиями; сейчас я не буду их сопоставлять. Если взять типологию переводческих установок или ориентаций, результат получится такой: в истории русского художественного перевода чередуются периоды преобладания более точного перевода и более вольного перевода, попыток приспособить читателя к подлиннику или подлинник к читателю<sup>68</sup>. Можно считать, что таких периодов пять<sup>69</sup>. В упрощенном и схематическом виде картина получается примерно следующая. Так, XVIII век был эпохой вольного перевода, который «склонял на русские нравы» и форму, и содержание подлинников; романтизм XIX века был эпохой точного перевода, приучавшего читателя к новым образам и формам (таков был Жуковский, несмотря на многие неточности и своевольности его переводческого письма); реализм XIX века — вновь эпоха вольного приспособительного перевода; модернизм начала XX века вернулся к программам точного перевода (это не только Брюсов, но и его современники от Бальмонта до Лозинского: такой перевод стремится «не обеднять подлинник применительно к привычкам читателя, а обогащать привычки читателя применительно к подлиннику»<sup>70</sup>);

<sup>68</sup> Гаспаров М. Л. Брюсов и буквализм (По неизданным материалам к переводу «Энеиды»). Мастерство перевода. М., 1971. С. 108—109.

<sup>69</sup> Гаспаров М. Л. Брюсов-переводчик: путь к перепутью // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 128—129.

<sup>70</sup> См.: Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М., 2003. С. 213. Автор книги вполне справедливо уточняет тезис Гаспарова насчет точного перевода как черты эпохи: уже три главных переводчика этого времени — Бальмонт, Брюсов и Блок — воплощали три различные стратегии: Бальмонт обращался с оригиналами предельно вольно, Брюсов все приносил в жертву точному воспроизведению текста, а Блок следовал в целом той же установке, хотя насилия над языком перевода и читательским восприятием, в отличие от Брюсова, не допускал; иначе говоря, всех этих переводчиков трудно ввести в общий круг. По-видимому, то общее, что видит во всех трех Гаспаров, лежит на ином уровне, явно не эксплицированном.

советское время — реакция на буквализм, спрос на ясность и традиционные ценности русской культуры. эпоха Маршака (Маршак как представитель советской эпохи в переводе<sup>71</sup>); навыки постсоветского перевода еще требуют своего исследователя. Эта схема меняющихся ориентаций представляет собой волну: установка на приближенность к читательскому опыту и установка на точность воспроизводства оригинала чередуются.

Как можно ожидать от сторонника филологии как точной науки, Гаспаров стремится реабилитировать даже самую крайнюю версию «буквального» перевода: «Буквализм — это не бранное слово, а содержательное научное понятие. Перевод всегда есть равнодействующая между двумя крайностями — насилием над традициями своей литературы в угоду подлиннику и насилием над подлинником в угоду традициям своей литературы. Насилие первого рода обычно и именуется буквализмом; насилие второго рода пытается именоваться творческим переводом. В истории перевода перевешивает попеременно то одна крайность, то другая: это так же неизбежно, как чередование шагов правой и левой ногой»<sup>72</sup>. Суть подхода в следующем: буквалистский и «творческий» перевод, вопреки обычаю, не стоит различать как плохой и хороший — в зависимости от вкуса исследователя и его представлений о задачах перевода вообще и данного перевода, в частности. Задачи «буквалистского» перевода и «творческого» перевода в принципе различны: перевод буквалистский рассчитан, прежде всего, на узкий круг ценителей, знакомых с подлинником, перевод «творческий» (в понятийном словаре Гаспарова слово «творческий» часто несет идиосинкратическую смысловую нагрузку, предполагает своеволие и недисциплинированность, однако в данном случае «буквалистский» и «творческий» выступают как равнозначные и равновозможные подходы к переводу) — на широкую массу читателей, впервые знакомящихся с подлинником через перевод. «Перевод буквалистский часто вызывает насмешки: “Он становится понятен, только если положить рядом подлинник”. Но разве мало есть переводов “творческих”, которые, наоборот, если положить рядом подлинник, вдруг приводят в совершенное недоумение? Удачи и неудачи возможны как на том, так и на другом пути — но это зависит не от принципа, а от мастерства и вкуса. Брюсов тоже извещал и удачу и неудачу на избранном пути буквализма; и так как он был экспериментатором-первопроходцем, то неудач у него было

<sup>71</sup> Гаспаров М. Л. Маршак и время // Литературная учеба. 1994. № 6.

<sup>72</sup> Гаспаров М. Л. Брюсов-переводчик. С. 126.



больше, чем удач»<sup>73</sup>. Больше того: неудачи тоже могут быть плодотворными. И в этом смысле «злополучный» брюсовский перевод «Энеиды» Вергилия, один из самых известных в русской культуре случаев буквалистского перевода, Гаспаров считает плодотворной неудачей.

Иначе говоря, у обоих этих подходов есть свои культурные задачи, которые соответствуют более общим потребностям развития культуры, социальным механизмам просвещения, характерным для той или иной эпохи. А потому, помимо собственно художественных вкусов, периоды смены переводческих установок выражают различные социальные потребности, уровень образования, различные механизмы демографической мобильности. «В этом процессе чередуются периоды распространения культуры вширь и вглубь. «Вширь» — это значит: культура захватывает новый слой общества быстро, но поверхностно, в упрощенных формах, как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не творческое (по-видимому, слово «творческий» имеет здесь обычные смысловые коннотации. — *Н. А.*) преобразование. «Вглубь» — это значит: круг носителей культуры заметно не меняется, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим<sup>74</sup>, проявления ее более сложными. В XVIII веке шло распространение культуры вширь — в массу невежественного дворянства. В начале XIX века было достигнуто насыщение, культура пошла вглубь и дала Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина XIX века — новое движение культуры вширь: в массу невежественного разночинства. В начале XX века и здесь достигнуто насыщение, культура идет вглубь и дает расцвет «серебряного века». После революции культура вновь идет вширь, в массу невежественных рабочих и крестьян. Движение это еще не закончилось: потребителями культуры являются очень разные слои общества, и они нуждаются в разных переводах»<sup>75</sup>. Выверенная риторика Гаспарова не приукрашивает ни дворян, ни рабочих; и те и другие были в различные периоды невежественными, сами выбивались или принуждались к просвещению, причем с последними этот процесс не завершился.

Каков был собственный магистральный подход Гаспарова? Иногда говорят — это был вольный перевод. Борис Дубин подчеркивает это в ряде своих устных и письменных выступлений на данную тему. Сейчас, в связи с недавней публикацией «Экспери-

<sup>73</sup> Гаспаров М. Л. Брюсов-переводчик. С. 126—127.

<sup>74</sup> В данном случае это слово также имеет обычные смысловые коннотации.

<sup>75</sup> Там же. С. 128—129.

ментальных переводов», подспудно делавшихся в течение 40 лет, они полностью притягивают к себе обсуждения, сосредоточенные вокруг вольностей и различных форм отклонений. Но это несколько смещает перспективу — равно как и «Записи и выписки» затмевают в сознании научную программу автора и способы ее реализации. Вывод из его эпистемологической программы один: перевод должен быть точным, он должен быть ориентирован на подлинник. Однако в выполнение этой главной заповеди так или иначе вторгаются другие соображения и другие требования. Например, если перевод обогащает опыт читателя перевода, восполняет его ранее не существовавшей формой, то это извиняет отклонения от точности передачи оригинала. Если в культуре (это касается русской культуры) нет высокого модерна с его стилистикой и образностью, то переводы, способные восполнить в культурном сознании эти изъяны, можно приветствовать, даже если они вносят в текст то, чего нет в подлиннике. Именно таким случаем перевыполнения просветительской задачи при невыполнении меры точности был, например, гаспаровский перевод Пиндара<sup>76</sup>. Такие случаи, разумеется, редки, они скорее исключения, однако они бывают, и их нужно иметь в виду: ради заполнения пробелов в просвещении читателя допускаются те или иные отклонения на пути точного, в основном ориентированного на подлинник перевода. Так, невыполненность по точности может быть компенсирована выполнением какой-то просветительской задачи.

В своих собственных переводах Гаспаров чаще всего пытался равнять перевод на оригинал — в меру того, насколько это было возможно для данного языка и культуры; однако он считал, что для первого знакомства читателя с неизвестным материалом хороши и вольные переводы, и просто пересказы. А потому в переводческом творчестве Гаспарова присутствуют оба полюса — предельно точный и предельно свободный перевод. При этом, замечу, именно огромная работа над точными переводами давала, по мнению Гаспарова, право на вольные эксперименты. Тезис о том, что право на вольность (аналогично праву на то, чтобы пользоваться интуицией) нужно заслужить, был принципом: исследователь и переводчик хорошо понимал, что в любом переводе остается слишком много отсебятины и всегда недостаточно подлинника. В одном из гаспаровских поэтических экспериментов в ненаучном жанре показано, что даже позиция переводчи-

<sup>76</sup> Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты / Изд. подг. М. Л. Гаспаров. М., 1980; Пиндар. Первая Пифийская ода («Этна») // Гаспаров М. Экспериментальные переводы. М., 2003. С. 22—26.

ка остается непростительно вольной: ей предпочитается место «подстрочника»<sup>77</sup>.

Образцом последовательно выдержанного концептуального перевода стал перевод «Поэтики» Аристотеля в издании 1978 года (во всех последующих изданиях этого перевода, по собственному замечанию Гаспарова, проведенный им принцип все более ослаблялся в процессе редактирования). Этот головоломный по замыслу и исполнению принцип заключался — только представить себе! — в одновременном текстовом воспроизведении Аристотеля «темного» и Аристотеля «светлого», Аристотеля, предельно приближенного к неразъясненному, конспективному стилю оригинала, и Аристотеля, предельно разъясненного (в скобках) рефлексией переводчика. Этот диковинный перевод был выверен настолько, что мог гладко читаться обоими способами — и без скобок с разъяснениями и сглаживаниями, и

---

<sup>77</sup> Я подстрочник.

Я прозрачник —

Между словом и делом,

Между человеком и человеком.

Я довесок к порции нужного,

Ложка меда в дегте или дегтя в меду,

Муть в стекле,

Шум в слухе.

Чем меньше меня, тем лучше.

Я посредник —

Чтобы кто-то понял другого,

Чтобы кто-то понял сам себя.

Поэт, подстрочник, переводчик, читатель,

А читатель, может быть, сам поэт, —

И сначала, и по кругу:

Мир играет в испорченный телефон.

Не хочу быть порчею — быть собою.

Это вроде кровообращения:

Если жила самоутверждается —

Это спазм, и человек умирает.

Не нужно, чтобы меня чувствовали.

Я подстрочник —

Переводом пусть будет кто-нибудь другой.

Это стихотворение подписано псевдонимом — *Клара Лемминг* — за которым скрываются М. Л. Гаспаров и его сын Д. М. Гаспаров. См.: *Гаспаров М. Л. Записи и выписки*. Изд. 2. М., 2008. С. 364. (Ранее стихотворение публиковалось в письмах М. Л. Гаспарова М.-Л. Ботт (28.1.1988) в «Новом литературном обозрении»). Как известно, подстрочник делается либо в помощь тем, кто не знает иностранного языка (обычно речь идет об экзотических языках: в советское время почти все переводы поэтов «братских республик» делались с подстрочников), либо в помощь самому себе, если работа над собственным переводом проходит несколько этапов. Б. Дубин видит в этом стихотворении воплощение стратегий русского постмодерна и одновременно поиск вне- или падроловой субъективности. См.: *Дубин Б.* Автор как проблема и травма: стратегии смыслопроизводства в переводах и интерпретациях М. Л. Гаспарова // НЛЮ. 2006. № 82.

со скобками. Фактически, насколько я могу судить, это уникальная в мировой культуре реализация двойного перевода, точнее, параллельных переводов для разных слоев читателей — неподготовленных, которым важнее понять, о чем речь, и подготовленных, которым и конспективный Аристотель будет достаточно ясен. Перевод «Поэтики» — это даже не полюс точности а, можно сказать, немислимый синтез Аристотеля темного и сжатого и Аристотеля светлого и (в скобках) разъясненного. Точный перевод был необходимостью, так как за долгие столетия на этот текст наслоилось множество интерпретаций, разночтений и разнотолкований, и каждая частица текста этих интерпретаций должна быть привязана к тексту, к которому читатель сможет обратиться. Однако Гаспаров признается, что, хотя ему удалось перевести таким способом (с разъясняющими скобками) «Поэтику», он никогда бы не взялся за аналогичный перевод «Метафизики» — текста, гораздо большего по объему<sup>78</sup>.

Отдельный сложный вопрос, мешающий точности перевода, — вопрос о передаче стиля. Передавать стиль очень сложно, так как нередко приходится искать аналоги таким стилям, которых в литературе перевода — в данном случае, в русском языке и литературе — просто не существует. Среди тех, кто попытался создать такой отсутствующий стиль, рассказывает Гаспаров (филологи знают это наизусть, но философам может быть интересно вспомнить об этом), был Гнедич в переводе «Илиады»: он фактически изобрел искусственный аналог языка греческого эпоса. Однако этот эксперимент не имел последствий; в итоге два главных древнегреческих эпоса в русской культуре — перевод «Илиады» Гнедичем и перевод «Одиссеи» Жуковским — выполнены совершенно по-разному и не имеют между собой ничего общего. При переводе античных текстов приходится искать те или иные средства показать архаику текста. Хорошие подделки под языковую старину оказываются практически невыполнимыми. В зависимости от собственного ощущения стиля переводчику приходится, так или иначе, дозировать меру архаизации сообразно переводимому авто-

<sup>78</sup> Приведу один из гаспаровских примеров того, что и филологи в своей переводческой работе тоже, бывает, попадают впросак. В «Поэтике» Аристотеля есть знаменитый пассаж насчет того, что в драме главные части — фабула, характеры, идеи. Долгое время он читался неправильно: во всех переводах Аристотеля на русский язык и на западные языки так или иначе использовалось слово «фабула», на основе чего специалисты развивали далее чудесные теории (например, о том, что фабула — это не сюжет, а сюжет — не фабула). Однако в оригинале стоит слово «μυθος» — что в переводе значит «сказка», «сказочка». Все греческие трагедии имели мифологическое содержание, все они строились на мифах, а потому слово «миф» и приравнивалось к слову «фабула». Когда Гаспаров перевел слово «μυθος» не как «фабула», но как «сказание», смысл получился совершенно другой, и вековая традиция истолкований должна была отныне пойти другим путем.

ру и его эпохе. При этом достаточно часто возникают культурные и временные парадоксы, затрагивающие язык перевода: так, при переводе классической латыни и народной (а также церковной) латыни — а это существенно различные стилистические ориентиры — более древние тексты приходится переводить более близким к современности языком, а менее древние — более дальним. В качестве примера из собственной практики Гаспаров рассказывает о том, как переводил средневековых вагантов аввакумовским русским языком, а классическую латынь — традиционным русским слогом XIX века, который воспринимается как нечто классически величественное. Дополнительный слой переводческих затруднений связан с передачей индивидуальных особенностей авторского письма в пределах общего стиля эпохи (кто-то подражал древним авторам, кто-то писал «как бог на душу положит»: и то и другое должно иметь в хорошем переводе свои средства выражения).

Вкусовыми понятиями «хороший» или «плохой» применительно к тем или иным авторам Гаспаров старался не пользоваться, однако из этого не следует, что он добился какой-то высокой нейтральности восприятия и просто не чувствовал разницу между одним и другим. На этот счет в «Записях и выписках» есть редкое и от этого тем более ценное свидетельство об одном эстетическом переживании в процессе переводческой работы. Речь идет просто о том, как в процессе будничной работы над переводом баснописца средней руки (это был Авиан) Гаспарову пришлось срочно переключиться на перевод одной из понтийских элегий Овидия<sup>79</sup>. И он, скупой на оценки, не мог не сказать, что этот перепад художественного впечатления остался в его памяти на всю жизнь: «На колесницу бы мне быстролетную стать Триптолема»...

Переводческих головоломок множество, каждый случай — головоломка. Как перевести «Свадебный центон» поэта Авсония, римского декадента, жившего в 4 в. н.э. — 150 строк, сплошь составленных из полустихий Вергилия, если никакой «наслышки» на образцы заимствований у русского читателя нет?<sup>80</sup> Точнее сказать, русский Вергилий существовал, но не в том виде, чтобы им можно было пользоваться в надежде на читательские ассоциации. А как справиться с позднеантичной комедией, если каждая ее

<sup>79</sup> Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2000. С. 321.

<sup>80</sup> Да и откуда такой коллажный стиль в те давние времена? Гаспаров рассказывает: когда император написал в честь свадьбы стихи и предложил Авсонию сделать то же самое, то написать лучше было опасно, а написать хуже — по-видимому, очень трудно: вот автор и нашел выход, сложив свои стихи из полустихий Вергилия. Можно себе представить головоломную задачу их передачи в русском переводе. См. об этом в «Записях и выписках», а также: Гаспаров М. Л. Авсоний и его время // Авсоний. Стихотворения. М., 1993. С. 251—272.

строка начинается как проза, а заканчивается как стихи?»<sup>81</sup> Каждый раз решение приходится искать на месте и по случаю. Единственно надежных критериев оценки наших усилий нет, хотя, впрочем, применительно к оценке перевода стихов существуют достаточно строгие критерии. «Коэффициент точности» — это процент слов подлинника, сохраненных в переводе (он действует, прежде всего, применительно к поэзии, однако, по-видимому, может использоваться и применительно к другим видам перевода). «Коэффициент вольности» — напротив, это процент слов перевода, добавленных без всякого соответствия с оригиналом. Эти критерии можно уточнить, рассчитав данные так, чтобы было видно, что переводчики обычно сохраняют и с чем они склонны вольничать. Однако эти расчеты — теоретические: при использовании этих критериев «точный» далеко не всегда значит «хороший»<sup>82</sup>.

Необходимость соблюдать метр и рифмы в особенности побуждает к отклонениям от точности перевода стихов. В этой связи возникает сакраментальный вопрос: а не лучше ли, хотя бы иногда, переводить рифмованные стихи свободным стихом (верлибром), как на Западе давно уже принято — то есть, без рифмы и без метра, но с максимальной заботой о точности смысла и выдержанности стиля?»<sup>83</sup> Гаспаров рассказывает нам, что его эксперименты с верлибром долго были экспериментами для себя, но потом он все же решился показать эти опыты коллегам (филологам и переводчикам) — и сам удивился их единодушно заинтересованной реакции, последовавшей за первоначальным шоком. Спрашивается: какой материал больше подходит для подобных экспериментов? Например, Пиндара немецкие переводчики пытались переводить верлибром уже в эпоху штурм-унд-дранга: почему бы и нам не попробовать? Или «Священные сонеты» Донна: жесткая форма сонета мешает точному переводу образов и интонаций, тогда как именно они в данном случае — главное. Или та-

<sup>81</sup> Воспроизвести это в метрических параметрах русского стиха и прозы было бы затруднительно, а потому переводчик предлагает эксперимент другого типа: он сделал два перевода одного текста — один в прозе, другой в стихах — и предложил читателям самим судить о том, как это сказывается на восприятии.

Гаспаров отсылает нас к эксперименту по сличению переводов на конкурсе, описанному его бывшей аспиранткой, литовской исследовательницей и переводчицей В. В. Настопкене.

<sup>83</sup> Хотя в Европе свободный стих (верлибр) широко используется при переводах (так, в английском или французском верлибром переводят любые стихотворные формы и размеры), в России подобная практика не распространена. Гаспаров утверждает, что переводы верлибром лучше передают художественную индивидуальность поэта, не скованную метром и размером, тогда как для характеристики эпохи в целом лучше пользоваться традиционными размерами. См.: Гаспаров М. Л. Верлибр и конспективная лирика // Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2000. С. 189–219.

кой крупномасштабный случай — «Неистовый Роланд» Ариосто: благозвучие оригинала слышится русскоязычному уху как однообразие, а это, в свою очередь, отвлекает от сюжета: почему бы не попробовать более гибкий и разнообразный верлибр?

Еще одно направление переводческих экспериментов, наряду с переводом метрических стихов верлибром, — это эксперименты с «конспективным», сокращенным переводом<sup>84</sup>. Эти эксперименты — тем более на фоне его призывов к точности и защиты «буквалистского» перевода — вызвали у публики не только недоумение, но и возмущение. Разве можно так вольничать с оригиналами? Оснований для сомнений множество, я не буду сейчас их перечислять. Замечу другое: при этом не обращается внимания на другую важную черту этих переводов: это — не прихоть, но продуманный эксперимент. Подобно случаям с верлибром, в случаях конспективных переводов у нас есть веские основания для подобных модификаций. Сокращая оригинал, конспективные переводы убирают те амплификации, которые неизбежно присутствуют в стихах, подчиненных закономерностям метра, ритма, рифмовки. Пример подобных экспериментов для Гаспарова — переводческие опыты Пушкина («Пир во время чумы», сцены из Вильсона, или «Из Ксенофана Колофонского»<sup>85</sup>). Пушкин использует тот же принцип: урезывая подробности (иногда в два раза по числу строк), сохраняет и даже усиливает структуру образности. На примере Пушкина особенно хорошо видно, как частный случай иллюстрирует обширную программную закономерность. В самом деле, если, вслед за Гаспаровым, считать творчество Пушкина, соединившее классицизм, романтизм, реализм, своего рода синтезом, «конспектом европейской культуры для России», и если одним из способов ускоренного освоения некоторых стилей и жанров были для него именно такие сокращенные переводы, то можно по аналогии предположить, что и сейчас русская культура нуждается в скоростном усвоении европейского опыта благодаря подобным экспериментальным переводам, помогающим ей «перепрыгнуть через ступеньку».

## Перевод как исследовательский эксперимент

Я начну эту часть с личного воспоминания. Во время одной из моих последних встреч с Гаспаровым (в конце лета 2005 года в больнице) я рассказала ему, о чем собираюсь писать в его Фестшрифт. Речь шла о его экспериментальных переводах; я предположила, что это

<sup>84</sup> Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. СПб., 2003.

<sup>85</sup> Гаспаров М. Л. «Из Ксенофана Колофонского» Пушкина. Поэтика перевода // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 3. М., 1997. С. 88—99.

не просто художественный опыт, но и важный познавательный ход — как для стиховедения, так и для всей области гуманитарных наук. Эта мысль ему явно понравилась, и он настоятельным, убедительным голосом сказал: «напиши обязательно, про это все равно никто больше не напишет»... Такое было мне задание, которое оказалось завещанием. Однако в Фестшрифте, который стал сборником в память о нем, я писала совсем о другом: о том, как поразному его воспринимают в культуре. В прошлом году я выпустила книгу «Познание и перевод», Гаспарову посвященную, но и там про экспериментальные переводы не говорилось. Сейчас, кажется, есть возможность об этом сказать: изложу хотя бы главную мысль — в надежде, что она кого-нибудь заинтересует.

В переводе как таковом перевод стихов занимает особое место: это наиболее сложный вид перевода — прежде всего из-за наличия метра и рифмы, которые ложатся добавочным грузом на все другие переводческие проблемы. Несмотря на предельное напряжение сил и умений, при переводе поэзии сплошь и рядом оказываются неразрешимыми те проблемы, которые, пусть с трудом, но все же удается разрешить при переводе прозы. А потому поэтический перевод — это область, в которой наиболее уместными оказываются разнообразные эксперименты. Если, как уже неоднократно говорилось, ни один перевод не переводит всего в оригинале и потому требует осознанного выбора того, чему будет уделяться основное внимание (переводчик всегда чем-то жертвует, чтобы ярче перевести то, что он сохраняет), возникает вопрос: а почему бы не попробовать пожертвовать формой — метром и рифмой? Этим, казалось бы, атрибутом стиха, его самым заметным признаком? Насчет атрибута и самого заметного признака уже говорилось: они важны для характеристики общего стиля эпохи, а потому, считал Гаспаров, пожертвовав метром и рифмой, то есть переведя ритмический и рифмованный стих — белым, верлибром, можно, напротив, подчеркнуть индивидуальные особенности поэта. Для Гаспарова такие эксперименты — это форма поиска точности, стремления к точности, что кажется, на первый взгляд, парадоксом. Это не значит, что идти на риск подобных экспериментов можно всегда и везде, но есть случаи, когда такие эксперименты уместны: «Я хотел только обратить внимание на тот, может быть, *крайний случай*, когда забота о точности перевода побуждает не воспроизводить размер подлинника, а отказываться от него. Теоретически это очень интересно, мне кажется, практически тоже (курсив мой. — Н. А.)»<sup>86</sup>. Это и правда удивительно интересные для теории случаи, к тому же они

<sup>86</sup> Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. С. 10.



имеют большое значение для понимания общих законов построения и восприятия поэтических произведений: «Отказ от точной передачи стихотворной формы ради более точной передачи образов, мыслей и стиля — это обычный случай закона компенсации в структуре поэтического произведения»<sup>87</sup>. Наверное, точнее было бы сказать не в «структуре художественного произведения», а в структуре восприятия художественного произведения, однако эти структуры, разумеется, взаимосвязаны.

Иногда, анализируя подобные случаи, исследователи говорят о художественном эксперименте<sup>88</sup>. В свете моей концепции познания и перевода (и перевода как познания) к этому можно добавить еще одно смысловое звено. А именно, речь идет уже не просто о художественном эксперименте, но и о настоящем исследовательском эксперименте. В творчестве Гаспарова — осознанно или неосознанно — прослеживается эта линия переводческой работы как исследовательского эксперимента. Эксперименты в филологии (прежде всего — с учебными целями) вещь не экзотическая. Так, в своей педагогической практике Ярхо, например, тоже использовал (и советовал использовать) эксперименты<sup>89</sup>. Например, для доказательства силлабичности русского стиха он брал известную строчку («Мой дядя самых честных правил») и в процессе эксперимента добавлял к ней или убавлял те или иные слоги и слова. Получал ряд вариантов: Мой дядя самых честных правил / Дядя самых честных правил / Мой дядя честных правил / Мой дядя был самых честных правил и т. д. Этот ряд изменений количества слогов радикально меняет восприятие стиха и в принципе, считает Ярхо, не отличается от опытов с физическими телами. Или еще пример: для доказательства преобладания анафоры (повтор в началах строк) над другими видами повтора в русском стихе слушателям давалось задание: написать собственное четверостишие с повтором одного слова в каждой строке. В итоге обнаруживалось, что у подавляющего большинства испытуемых повтор совпадал с началом строки; по мнению Ярхо, это подтверждало предположение о том, что анафора в русском стихе занимает первое место среди других фигур повтора.

Ярхо высказывал сожаление о том, что экспериментальный метод мало используется в литературоведении. На это можно сказать:

<sup>87</sup> Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. С. 10.

<sup>88</sup> Заявлов С. Воздвижение песенного столпа (Пиндар в переводе М. Л. Гаспарова и «бронзовый век» русской поэзии) // НЛО. 2006. № 77; Дубин Б. Автор как проблема и травма: стратегии смыслопроизводства в переводах и интерпретациях М. Л. Гаспарова // НЛО. 2006. № 82 (6); Андреев М. Л. Несколько слов о Гаспарове-переводчике // Эпос и драма латинского Средневековья в переводах М. Л. Гаспарова. М., 2009.

<sup>89</sup> Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. С. 62.

жаль, что он, кажется, не прибегал к подобного рода экспериментам с переводом: здесь возможность эксперимента практически не ограничена, тем более что оригинал позволяет всегда сличать получаемые результаты на твердой основе образца. Подобные экспериментальные переводы в чем-то подобны опыту химика в пробирке: беру одно вещество, добавляю другое, получается третье... Самое важное для нас здесь то, что в этом лабораторном эксперименте работа переводчика осмыслена и по этапам проверяема. Это и порождает удивительное ощущение того, что мы находимся не только в области переводческого творчества, но и в области эксперимента, проводящегося в научно-гуманитарной практике. Иначе говоря, мы находимся в области науки, а не просто в вольном полете фантазии, и это очень важно. Подобные переводы, основанные на сжатии и расширении словесных материй, являются именно экспериментальными, а не «вольными»: при этом мы находимся как бы в точке сопряжения между рождением нового текста (по мотивам старого) и познанием первоначально данного (равно как и нового) текста.

Именно так работает в своих экспериментальных переводах Гаспаров: он действует здесь не как алхимик творчества, но как ученый-химик, приближающий нас к построению новой науки. Так что же: удастся ли нам сохранить квинтэссенцию подлинника? Тот же вопрос, только в алхимической форме, ставит переводчикам Брюсов в своей знаменитой статье «Фиалки в тигеле»<sup>90</sup>: как разложить фиалку на составные элементы так, чтобы потом вновь ее создать — вот задача того, кто задумал переводить стихи. Посмотрим, как это происходит, хотя бы на нескольких примерах. Для того чтобы переводческая работа стала научным экспериментом, необходимо соблюдение нескольких условий: в частности, нужно осознанно контролировать параметры того, что подвергается изменению (того, чем переводчик жертвует), и параметры того, что он надеется получить в результате эксперимента. При этом эксперимент ведется, как и полагается, последовательно — параметры меняются постепенно: например, в случае конспективного (сокращающего) перевода можно представить себе шкалу убывания тех или иных признаков текста: сначала мы убираем абстрактные прилагательные, оставляя конкретные прилагательные, существительные и глаголы, затем убираем все прилагательные, оставляя

<sup>90</sup> Брюсов В. Я. Фиалки в тигеле (1905) // Перевод — средство взаимного сближения народов. М., 1987. С. 291—297. «Стремиться передать создания поэта с одного языка на другой — это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку, с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно возникнуть вновь из собственного семени или оно не дает цветка — в этом-то и заключается тяжесть проклятия вавилонского смещения языков». С. 291. Брюсов цитирует здесь слова Шелли.

только существительные и глаголы и т. д., в каждом случае фиксируя полученный результат, который затем можно проверить на испытуемом, попросив его сравнить свои восприятия и впечатления во всех этих разных случаях. При наличии протокола наблюдения, когда каждая такая операция может быть предъявлена внешнему наблюдателю (различие, правда, в том, что эстетическое впечатление количественным оценкам непосредственно не подлежит, однако опосредованно какие-то его параметры мы способны уловить), квантификации подвергаются текстовые характеристики, которые, как нам кажется, и вызывают те или иные впечатления.

Подобным образом (только здесь в качестве испытуемого выступает сам переводчик) действует и Гаспаров. Он обязательно предупреждает читателя в сопроводительных статьях к своим экспериментальным переводам, чем он жертвовал и что надеялся получить в результате. Например, при переводах древнегреческих поэтов Пиндара и Вакхилида он отказывался от слишком сложного метра, от слишком изощренного языка и вычурного стиля, для того чтобы «передать образный строй, чувственную окраску понятий, сентенциозную выразительность идей»<sup>91</sup>. При переводе Ариосто, итальянского поэта XV—XVI веков, тоже переведенного верлибром, он отказывался от метра и рифмы, слишком традиционных и устойчивых (и тем самым — убаюкивающих, мешающих следить за сюжетом «Неистового Роланда»), для того чтобы передать «точность образов, интонации, стиля». Но и это не предел осознанных изменений подлинника. Следующая ступень — это операции сокращения подлинника, его длиннот, подчас даже образов и мотивов (эти мотивировки Гаспаров вводит при переводе Верхарна и Реньс) — чтобы получить минималистский образный эффект, более близкий к современному восприятию поэзии. Подобные эксперименты доказывали не свободу воли переводчика, но его владение многослойной фактурой оригинала и тонкий расчет структурных возможностей изменения. В любом случае, он всегда давал себе отчет в том, когда можно и когда нельзя решаться на подобные эксперименты. Об этом уже было сказано: если в фокусе внимания переводчика находится чужой культурный мир, который он должен донести до читателя, жертвование метром и рифмой категорически запрещено; оно возможно в том случае, если фокус переводческого задания в передаче индивидуальной специфики поэтического мастерства. Иначе говоря, пределы неточности ради точности или точности ценой неточности взвешиваются осознанно и детально.

Среди опубликованных в книге «Экспериментальные переводы» материалов — переводы од (Пиндар, Ронсар, Мильтон), поэм

<sup>91</sup> Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. С. 389.

(Ариосто, Сеферис), трагедий (Еврипид), сонетов (Донн), «картин» (Верхарн, Георг Гейм), стансов, песен и др. Как правило, переводя представителей античной культуры, переводчик стремится подыскать метрические аналоги, максимально близкие размеру подлинника. Что же касается поэтов Нового времени, то тут право переводить стихи вопреки размеру подлинника — свободным стихом — возрастает, тем более, считает Гаспаров, что в верлибре легче бывает отличить плохой стих от хорошего, нежели в традиционном стихе, «закутанном в ритм и рифму». Например, при переводах Верхарна или Гейма забота о точности может побуждать не к воспроизведению размера подлинника, но к отказу от него, к экспериментам с поэтапным удалением от подлинника, которые как раз и выступают как своеобразный прием — не только художественный, но и исследовательский.

Особенно интересны для выявления мотивов переводчика те случаи, когда, например, допускается обеднение подлинника ради обогащения культурных привычек и навыков восприятия у читателя. Так, переводы Гаспарова из Пиндара, сделанные верлибром, обогащают читательский багаж читателя не столько опытом античной поэзии, сколько тем отсутствующим опытом, который ряд исследователей называет высоким современным<sup>92</sup>. Этот случай кажется головоломным и головокружительным, но в культуре он воплощает виртуозно подтвержденный закон компенсаций, хотя, надо полагать, специального задания латать культурные дыры таким неожиданным образом у Гаспарова не было, но таким получился результат. Фактически происходит следующее: на общее правило точности наслаиваются другие закономерности и критерии, так что в итоге создается определенная контаминация критериев, их взаимодействие, результат которого мы и видим перед собой. Важно, что это не беспринципный компромисс, но результат взаимодействия разных типов причинности. Стремление к точности, при котором установка на оригинал предстает как первейшее требование, сохраняется, но на него наслаивается, в данном случае, просветительская и культурно-развивающая задача, которая стоит перед переводчиком. Результат был эвристичен и парадоксальным образом «точен»: ведь если в культуре не восстановлен теми или иными средствами отсутствующий образец определенного стиля (в данном случае — посредством перевода), это урезает шансы ее дальнейшей динамики в отечественном и международном контекстах.

И такие опытные формы перевода поэзии лишний раз показывают, что не тотальное перевоплощение языковой и образной

<sup>92</sup> Как уже отмечалось, об этом пишут С. Завьялов, Б. Дубин, М. Андреев в работах, посвященных переводческим принципам М. Гаспарова.

фактуры, но рефлексивно контролируемый отбор всегда составляет продуктивную основу перевода. Г. Дашевский называет экспериментальный перевод «селективным»<sup>91</sup>. Однако «селективным» — что-то выбирающим и чем-то жертвующим — является, как я полагаю, вслед за Гаспаровым, любой перевод. Просто экспериментальный перевод отличается большей мерой осознанности в своих процедурах и возможностью контроля за ступенями практики и познания. А вот характеристика этого типа переводов, даваемая Дашевским, — «переводы в режиме “минус...”»<sup>94</sup>, по моему, удачна, она хорошо показывает суть дела. Так, в экспериментальном переводе одного из стихотворений Верхарна из сборника «Черные факелы» (в пер. Гаспарова: «Мой рассудок мертв — в гложущем саване он плывет по Темзе»...) 60 строк подлинника сокращаются до 15 (за счет связующих фраз, распространяющих глаголов и др.). Что же получается в итоге? Посмотрим поэlementно: эмоции сохранены (или даже усилены), образная фактура сохранена (или даже усилена, как раз за счет сокращения), композиция сохранена, стиль и стих резко изменены, многое убавлено, но ничего не прибавлено. Можно ли вообще считать такой поэтический конспект переводом? Или скорее новым произведением по мотивам старого? Право решать переводчик оставляет за читателем<sup>95</sup>.

Здесь представлены наброски новой практики и совершенно не изученной эпистемологической проблемы. Эксперимент как искусственный прием — это хорошо и это известно. А тут мы имеем дело с полноценной художественной и одновременно исследовательской практикой: они не сливаются и не перемешиваются, но представлены на одном и том же субстрате. Как связаны их структуры и функции, мы пока не знаем: художественное впечатление налицо, а результаты научного эксперимента еще должны быть осмыслены. Быть может, эти эксперименты — это как раз то звено, которого так не хватает гуманитарной науке, стремящейся к точности и строгости.

<sup>91</sup> Дашевский Г. Переводы в режиме «минус...» // НЛО. 2005. № 3 (73). С. 216—217.

<sup>94</sup> «Можно предложить негативный вариант “селективного перевода” — переводчик объявляет, какие из формальных сторон оригинала он не будет воспроизводить. Если такому сокращению подвергается одна сторона, можно назвать такой перевод переводом в режиме “минус один”, если две — то “минус два” и т.д. Смирение перевода перед оригиналом — обычно неопределенное, тем самым получает четкое церемониальное выражение: “Я стою одной, двумя и пр. ступенями ниже”. Там же. С. 216.

<sup>95</sup> Гаспаров М. Л. Вместо предисловия. Верлибр и конспект // Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. С. 15.

Гаспаров некогда предложил емкую формулу: «перевод есть равнодействующая того, что переводчик *должен*, *может* и *хочет*: что он *должен*, задает подлинник, что он *может*, определяют средства его языка; что он *хочет* — это его предпочтения и вкусы, по которым он отбирает что-то из этих средств» (курсив мой. — Н.А.)<sup>96</sup>. Эта формула относится к художественному переводу, однако с рядом поправок ее можно применить и к переводу философской и научной литературы. Так, должное (как можно более точное воспроизводство оригинала) — одно и то же в обоих случаях; возможное (учет того, на что способен язык), потребует применительно к научной и философской литературе учета наличных концептуальных средств, уровня терминологических разработок; наконец, желаемое — это (в случае перевода научного и философского) более осознанный и рефлексивно обоснованный выбор: отчет в том, чем и ради чего мы жертвуем в процессе перевода. При этом каждый раз возникает один и тот же вопрос: а разве обязательно чем-то жертвовать? Разве нельзя перевести все? Дело, однако, в том, что при различии языковых структур и концептуальных систем «тотальный» перевод неизбежно сломал бы все механизмы восприятия.

Хорошо: но тогда, быть может, придумаем компромисс? В традициях черного юмора это могло бы звучать так: «“Переводчик должен искать компромисса между насилием над подлинником и насилием над своим языком”. Это также невозможно, как убийце искать компромисса, убить одного или другого. Можно, конечно, убить обоих (переводчики часто так и делают), но это будет уже не компромисс, а перевыполнение плана»<sup>97</sup>. Нет, компромисс — вещь беспринципная. А в гаспаровской формуле, связывающей должное, возможное и желаемое, речь идет, полагаю, не о компромиссе, но о равнодействующей — как результате взаимодействия разных факторов, разных типов причинности, установок и мотиваций. Проверим еще раз: в вопросе о должном ничего не

<sup>96</sup> Мне довелось много общаться с Гаспаровым по поводу практики перевода и общих принципов перевода, которые относятся к любым формам межкультурных соответствий, а не только к поэзии. Так, Гаспаров некогда редактировал мой перевод «Слов и вещей» Мишеля Фуко (эта книга вышла в 1977 году) и затем всегда помогал советом в трудных переводческих случаях. Это относилось к переводу известного французского «Словаря по психоанализу» Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса, к «Грамматологии» Деррида и другим моим переводческим работам. Об этом принципе, сформулированном для доклада на мандельштамовской конференции в Принстоне, он писал мне в письме — в надежде, что она и мне пригодится в размышлениях о переводе. См.: Приложения. Фрагмент из письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой от 14 октября 2001 года. Ср.: Ваш М. Г. С. 397.

<sup>97</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 370.

меняется: оригинал непоколебимо остается на первом месте. В вопросе о возможном многое меняется: наряду с языком, учитываются и наличное состояние культуры, и читательский опыт — все то, что ограничивает использование переводческих ресурсов. В общем, в отличие от антиномии Шлейермахера, предполагающей движение по параллельным и непересекающимся путям (писателя к читателю или читателя к писателю) Гаспаров предлагает скорее треугольник сил, причем перевод в нем выступает как равнодействующая: это даст картину структурной причинности, в которой вектор переводческого движения прорисовывается через наложение различных факторов.

В предыдущем разделе мы рассматривали некоторые проблемы художественного перевода. В процессе перевода научных и философских текстов мы сталкиваемся с дополнительными сложностями при выборе ориентации и установки. Здесь я сосредоточусь на том, что можно назвать «мысль» и/или «стиль». В своем рассказе о переводе «Поэтики» Гаспаров представлял эту ситуацию так: авторский стиль был темный, лаконичный, свернутый, как в конспекте, трудный для восприятия; для того чтобы провести «мысль» через этот стиль, он прибег к разверткам этого мыслительного конспекта: дал темный стиль как основной текст и ввел в угловых скобках разворачивающие мысль доразъяснения, так что итоговый текст мог гладко читаться обоими способами — и свернутым, и полным. О катастрофической трудности этой работы Гаспаров неоднократно вспоминал.

В одном из самых трудных для меня переводов («О грамматологии» Жака Деррида)<sup>98</sup> я стремилась следовать за гаспаровским переводом «Поэтики», задавая в скобках доразъяснения того, что в оригинале (и в переводе) предстает как «темный» Деррида. Последовательно выдержать этот принцип не удалось, так как Деррида был «темным» слишком часто, а текст был слишком велик в сравнении с Аристотелевой «Поэтикой», а потому в проведении этого сложнейшего задания я не всегда была последовательна, в чем меня справедливо упрекает С. Н. Зенкин<sup>99</sup>. Для меня передача стиля Деррида не была первостепенным делом, хотя многие видят все своеобразие философской позиции Деррида именно в особом стиле его философского письма. При этом вновь возникает слож-

<sup>98</sup> *Деррида Ж. О грамматологии* / Пер. с франц. и предисловие Н. С. Автономовой. М., 2000.

<sup>99</sup> *Зенкин С. Н. Отличие и различие* // Вопросы философии. 2001. № 7. Логика критика была такая: все равно ведь не получилось, а у меня другая; ну ведь хотя бы что-то из этого вышло, по крайней мере, попытка была сделана: в тех случаях, где текст был неясен из-за стилиевой специфики, в квадратных скобках давались допустимые, с моей точки зрения, концептуальные доразвертки этих отрезков текста.

ный вопрос о передаче «мысли» и «стиля». Скажу сразу, передать «мысли и стиль» вместе — полностью и последовательно — практически невозможно. Как правило, приходится жертвовать мыслью, чтобы передать стиль, или стилем, чтобы передать мысль. Как мы уже говорили, Гаспаров в своем экспериментальном переводе «Поэтики» Аристотеля, о котором почему-то никто не говорит как об эксперименте, одновременно переводит и стиль (сокращенный, с умолчаниями, конспективный) и мысль — более развернутую, восстанавливаемую в угловых скобках. Для того, чтобы сделать такой перевод осмысленным в обоих модусах чтения, потребовалось исключительное переводческое терпение и мастерство.

Гаспаров называет передачу стиля моментом, противодействующим точности (или мешающим достижению точности)<sup>100</sup>. Наверное, правильнее было бы сказать, что передача стиля усложняет наше представление о точности, включает в число критериев ее достижения дополнительные требования. Ведь при учете и передаче стиля речь идет не просто о переводе лексико-семантических единиц оригинала лексико-семантическими единицами языка перевода, но также о второй сетке ограничений, наслаивающихся на общезыковые закономерности. Вместе с тем, не стоит думать, будто, сосредоточившись на мысли, текст можно (или нужно) переводить вообще без стиля: на практике это всегда оборачивается казенно-расхожим стилем.

Вопрос о передаче стиля имеет и еще один осложняющий аспект, о котором Гаспаров неоднократно предупреждал в наших обсуждениях вопросов перевода. При передаче стиля Аристотель, Хайдеггер (или кто угодно другой) будут на русском языке более непривычны, чем на немецком или на греческом (даже если они трудны и на греческом, и на немецком). Это происходит потому, что новые слова в языке перевода (т. е. в родном языке читателя) не входят в круг привычных ассоциаций, а потому трудный стиль в переводе еще больше отвлекает от содержания, чем трудный стиль в оригинале, где словарный и этимологический запас родного языка амортизирует новшества и позволяет легче ассимилировать стилистические неожиданности. Учтем также и то, что стилю легче подражать, нежели мысли, что его легче пародировать, подхватить, запомнить и использовать в художественных целях. Иначе говоря, при таком подходе возникает тенденция к эстетизации, которая отвлекает от концептуального слоя текста, от того, что работает на передачу понятий и связей между ними.

Теперь, когда моя работа по переводу Деррида уже сделана, а различная критика ее произнесена (подавляющее большинство кри-

---

<sup>100</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. 2 изд. М., 2006. С. 319.



тиков так или иначе видели главное у Деррида именно в его стиле и считали, что это стилистическое своеобразие его текста передано мною недостаточно), ее итоги выглядят так. В центре, безусловно, мысль, а не стиль, концептуальная, а не эстетическая составляющая. Ведь если считать, что главное в Деррида — это его стиль, тогда придется вывести из этого прямое следствие: Деррида — это эстетический феномен. Я полагаю, что Деррида — один из самых аналитичных французских мыслителей современности, и поэтому он оказывается особенно трудным для понимания. Мой подход в изучении и переводе этого текста был направлен на отыскание (или изобретение) терминов для передачи на русском языке понятий западной философии XX века, остававшейся практически не доступной массовому читателю в течение всего советского периода<sup>101</sup>. Именно поэтому я и считаю первостепенно важным аспектом философско-филологической деятельности переводчика проработку концептуально-терминологических возможностей русского языка в столкновении с современной западной мыслью<sup>102</sup>. Далеко не все соглашались с такой постановкой вопроса (хотя с годами, кажется, сторонников такой позиции становится больше): нам приятнее ощущать себя раскрепощенными творцами в вольной стихии языка, нежели предметами воздействий со стороны других мыслительных культур — воздействий, на которые необходимо адекватно отвечать.

Сказанное вовсе не значит, что я не перевожу другие аспекты текста. В моей последней книге «Познание и перевод» я показываю также некоторые пути передачи стилистических особенностей текстов<sup>103</sup>. Иногда мне кажется, что если бы я не заявила публично о расчленении этих двух установок (на мысль и на стиль), то никто, кроме горстки специалистов, никогда бы об этом не догадался, а потому и не бросился бы опровергать мои приоритеты на том основании, что они уничтожают специфику оригинала. Но о такой расстановке точек над *i* я не жалею: мне важно было сформулировать различие культурных тенденций и возможностей, а не прятать их в практике, где всегда много разного.

В общем, эта рабочая установка, эта линия переводческого поведения нашла свое выражение в моих переводах из французского психоанализа, феноменологии, «деконструкции» — тех направлений западной мысли, которые в свое время сами осваивали и

<sup>101</sup> Об этом в ряде работ, в частности, в книге: Автономова Н.С. Познание и перевод. М., 2008.

<sup>102</sup> Этой темой я занималась в Международном философском коллеже в Париже (1998—2004): моя программа в Коллеже называлась «Русский язык на испытании современной западной мыслью» (*La langue russe à l'épreuve de la pensée contemporaine occidentale*).

<sup>103</sup> См.: Автономова Н. С. Познание и перевод. С. 415—417.

перерабатывали соответствующие немецкие источники, и это создавало дополнительные сложности концептуального порядка. На русской культурной почве для воспроизведения этих словесных единиц требовался поиск адекватных терминов (иногда — создание неологизмов, фиксирующих новое содержание). В данном случае переводческая «точность» неизбежно предполагает элементы «неточности», но «просветительская» концептуально-терминологическая составляющая в целом, полагаю, оправдывает такой взгляд на оригинал, когда в нем «мысль» предпочитается «стилю». В этом процессе осознанного заполнения брешей и компенсации концептуальных дефицитов особую роль, конечно, играют сопровождающие статьи при переводах. О том, как писать такие статьи, как выбрать их жанр, стиль, установку, какими культурными приоритетами при этом руководствоваться, мы много говорили с Гаспаровым — как при встречах, так и в письмах, по телефону. О том, какую линию интеллектуального поведения советовал мне Гаспаров, руководствуясь собственным опытом и приспособлявая его к моему материалу, свидетельствуют нижеследующие фрагменты его писем. Первый из этих фрагментов я уже приводила в книге «Познание и перевод», но из-за его принципиально проблемного характера считаю необходимым вновь к нему обратиться:

«<...>...перевод — дело культурно-полезное, а статья при переводе может сказать гораздо больше, чем статья (или даже книга) без перевода. Только не поддавайся соблазну апостольства и апологетики: будь критична. Деррида как мыслитель для русского читателя уже не открытие: все худшее у него уже с ветру перенято нашими интеллектуалами—авангардистами, и по-русски уже случается видеть тексты с такими зигзагами мысли, что куда там Деррида. Я бы лучше подчеркнул в статье (и в переводе, конечно), что такое Деррида как художник — его артистизм (или антиартистизм, все равно), которого не хватает его подражателям. В конце концов, все иррациональное — достояние не науки, а искусства, а Деррида нарочно говорит только о несказуемом и невыразимом: бароккомысли, барочное «сближение далековатых понятий» (и объектов), как выражался Ломоносов. Ты можешь об этом сказать лучше, чем кто-нибудь: ты филолог среди философов, это сильная твоя сторона, ею нужно пользоваться, а не приглушать ее. Хорошо, что это серия *Ad Marginem*: она не обязывает тебя ставить его в один ряд с Платоном и Гегелем, а позволяет и с Захер-Мазохом. Во Франции философия спокон века считалась частью изящной словесности: в XIX это означало ясность и прозрачность мысли и стиля (так — еще у Бергсона), а в XX в. стало означать нарочитую темно-

ту и бесшабашную громоздкость (с кого это началось? С Сартра? Или раньше?), Деррида в своей словесной акробатике оперирует и тем и другим, — если ты его впишешь в эту традицию, он будет интересовать, но не будет завораживать (хотя ему хочется именно завораживать своим эпатажем). А это русским читателям и нужно: привычка завораживаться у них (у нас) в крови, а она вредная. Не знаю, об этом ли говорится в книге под названием "Философия, риторика и конец объективности"<sup>104</sup>, но могло бы: философия и риторика соперничали и взаимообкрадывались со времен софиста Горгия, сейчас — очередной тур их кадрили, а конец объективности провозглашался уже столько раз, что говорить о нем — несерьезно. Объективности как полного соответствия мысли абсолюту не было никогда, а объективность как интересубъективный консенсус была всегда и продолжает быть — конец ее наступит, когда люди перестанут понимать друг друга и вымрут, а этого пока еще нет. Напиши, пожалуйста, "проблемную (т. е. с отсебятиной) рецензию", это очень хороший жанр — такой же просветительный, как наши переводы со статьями и комментариями»<sup>105</sup>.

Из этого письма можно извлечь почти все принципы подхода к переводу, условно говоря, постмодернистских текстов в постсоветское время. Как избежать завораживания публики и апологетики? Непродуктивных российских подражаний авторскому стилю? В каком стиле нужно писать о Деррида (смело, не боясь ярких метафор — но не в подражание его стилю, а в усиление собственной мысли). Мне неоднократно приходилось сталкиваться с критикой сопутствующей литературы как недоверия к читателю, сковывающего его творческую свободу. В отрывке из письма Гаспарова речь идет, напротив, о мобилизации формальных и интеллектуальных ресурсов культуры для ознакомления с новым трудным явлением, которое не может постигаться непосредственным восприятием. Гаспаров считал, что я невыполнила свое просветительское дело, что моя вступительная статья более сложная и менее заботится о неспециалистах, чем ей полагалось бы<sup>106</sup>.

<sup>104</sup> По-видимому, речь идет о книге Стивена Фуллера «Философия, риторика и конец познания», которая была широко обсуждавшимся бестселлером в тот период, к которому относится письмо; я рассказывала о ней Гаспарову. Fuller S. *Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge. The coming of Science and Technology Studies*. Madison, Wisconsin—Lnd., 1993.

<sup>105</sup> См.: Ваш М. Г. С. 357–358. Из письма М. Гаспарова Н. Автономовой от 3 декабря 1994 года.

<sup>106</sup> Моя вступительная статья, пишет Гаспаров, слишком сложна: «в разговорах при переспросах многое было понятнее, а теперь я опять стал хуже понимать предмет. Ты пишешь для тех, кто с порога знают о Деррида всё, что его и о нем

Мне кажется, что это слишком жесткое суждение, и что оно несправедливо; думаю, я отдала достаточную дань просветительскому делу, чтобы в конце концов написать что-то уже не азбучно, а по-исследовательски, но Гаспаров был неумолим.

Противостояние Гаспарова и Деррида может показаться абсолютным взаимоисключением. Однако за этими тезисами, резко направленными против соблазна мысли, безусловно владеющей всем арсеналом концептуальных средств всей европейской философии, мне видится что-то иное. В послесловии к избранным письмам Гаспарова мне уже довелось поднять этот вопрос. Насколько я могу судить, творческие импульсы современников Гаспарова (1935—2005) и Деррида (1930—2004), которых связывал целый ряд качеств или установок, например, своеобразная апология письма или крайняя одержимость работой, намного превышающая обычную преданность делу, так или иначе определялись у них разнонаправленными страхами и разноместными душевными ранами. Так, Гаспаров больше всего боялся хаоса, а Деррида больше всего боялся канона и системы. Причем, для обоих это был страх перед красотой: для Гаспарова, с детства, — перед поэзией, для Деррида, с юношества, — перед тем мощным и прекрасным французским языком («мой единственный язык — не мой»: от арабского и еврейского он был отторгнут), которым он блестяще владел, но чувствовал себя пленником его системы. Соответственно, Гаспаров любыми средствами искал систему в несистемном, а Деррида, не покладая рук, разбивал системное во всем, что его окружало или наполняло, — из этого психологического импульса можно было бы вывести, в конечном счете, всю деконструкцию. Уже эти контуры проблемного со-расположения Гаспарова и Деррида фактически свидетельствуют о том, что между ними — не провал и не пустота, но то, что Деррида любил называть апорией — неразрешимый парадокс, незаживающая рана современной культуры. В данном случае это — апория филологического наследия и деконструкторской инициативы, которая не разрешается по схеме архаист—новатор. Эти импульсы несовместимы, но парадоксальным образом солидарны и даже культурно взаимодополнительны — и это видно там, где Гаспаров, крупнейший переводчик, становится и ярким «деконструктором», а Деррида — быть может,

---

у нас где-нибудь напечатано, а то и больше; и ты только пользуешься выходом новой книги, чтобы навести порядок в их головах. А читать тебя будет более широкий и менее подготовленный круг читателей. <...> для тебя этот жанр — форма самоутверждения, «вот что я знаю, и настолько хорошо, что не хочется снисходить к объяснениям»; просветительского, популяризаторского человеколюбия у тебя нет (а у меня не в меру много). См.: Приложения. Фрагмент из письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой (конец 1999). Ср.: Ваш М. Г. С. 377.

«более чем филологом». Но, конечно, этот эскиз нуждается в более ясном прописывании и дальнейшей развертке.

Другой фрагмент из письма, который мне хотелось привести здесь в связи с вопросом о педагогике перевода, относится к моей работе над переводом «Словаря по психоанализу» Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса. Этот перевод, впервые опубликованный в 1996 году (М.: Высшая школа), а сейчас выходящий вторым, переработанным изданием, ставил целью — в самом начале культурного и терапевтического укоренения постсоветского российского психоанализа — найти эквиваленты понятиям, отсутствовавшим на русскоязычной интеллектуальной сцене в течение почти всего советского периода, когда все достижения раннего русского психоанализа были утеряны и забыты. Речь шла о Словаре, который должен был представить российскому читателю основные понятия психоанализа в его классической фрейдовской версии прочтения, а в связи с этим возникала задача составления графика этой объемной работы (параллельно с преподаванием на факультете гуманитарных клинических наук в университете Париж 7), а также — о необходимости такой вступительной статьи, которая бы объясняла читателям принципы выбора терминов. В работе над этим переводом, как и всегда, не было мелочей.

«Что касается "как переводить?", то это ты решишь, когда определятся твои темпы. До 1 мая — 5 месяцев: работай 3 месяца, до 1 марта, по-черновому быстро (но не до безумия: чтобы поверх первоначального был один слой правки, а больше не надо). И тогда будет яснее, на что тратить оставшиеся 2 месяца. Тогда, в феврале, мы еще успеем обменяться письмами об этом — а остановиться в Париже, сказали, я не смогу, билет Нью-Йорк—Москва беспосадочный и нерушимый, до смерти жаль.

"Éconotique=энергетический"<sup>107</sup> мне бы очень хотелось оставить; иначе по-русски (вероятно, больше, чем на других языках?) "экономический" будет восприниматься как "экономный". Может быть, для "éconotique" сохранить "энергетический", а *énergétique* переводить "энергийный"? Я бы попробовал. Чтобы экономику=устройство не путать с бережливостью, есть русское написание "икономия (душевная)" в церковных книгах (сиречь домостроительство душевное, понынешнему говоря, управдомство). Но такой стилистической смелости ни одно издательство не допустит.

<sup>107</sup> Речь идет об одном из случаев подбора русских эквивалентов к французским (и немецким) терминам психоанализа. Любопытно, что этот же вариант перевода (*éconotique* как «энергетический») принятствовал и Поль Рикёр, с которым мне доводилось обсуждать и эти терминологические вопросы.

О том, что "ничего умного сделать" ты так и не успеешь — не печалься. Если ты, пропустив сквозь себя словарь, сложишь в голове детски-ясную картину, как ты бы сама написала его, — а это тебе будет необходимо для вступительной статьи, — то это уже будет умным делом. Позаботься еще, пожалуйста, вот о чем: многие наши читатели будут читать словарь этот не для справок по отдельным словам, а подряд, чтобы познать предмет; им нужно дать путеводитель по словарю. В XIX в. к русскому словарю литературных терминов 1821 г был приложен указатель: I общие понятия, II содержание, III стиль, IV стих, V жанры, 1) эпический, 2) лирический, 3) драматический, а) трагедия, комедия, фарс.... б) монолог, диалог, хор, ремарка ...итд., и в каждой подрубрике перечислялись статьи по ней (кончая "см. также"). Непременно сделай такое тезаурусное оглавление: тебе же легче будет, и читатели спасибо скажут. А ты на том поумнеешь, честное слово. <...><sup>108</sup>.

Эти педагогические письма о переводе для меня бесценны. В них конкретизируются установки, которыми Гаспаров характеризует свою (и мою) позицию в культуре: «ломовые лошади российского просвещения» и «русские солдаты на своих научных местах», иными словами, эта работа — не для самоутверждения. Когда мы говорим о переводе научном и философском, мы, конечно, понимаем, что приходится распутывать многослойные тексты, в которых запечатлены концепции и реакции на эти концепции, которые и по первому разу в российской культуре не были прочитаны, что приходится иметь дело с переводами, которые либо samozабвенно недооценивают то, чем жертвуют, либо преувеличивают то, что они выбирают. В любом случае о том, что делает переводчик, он должен предупредить читателя. Современная открытость к миру и прежде всего — к Западу, наступившая в постсоветские времена (таких периодов уже было несколько в истории русской культуры сообразно какому-то своему ритму — впитывания и переработки), принесла с собой много новых задач. Она стала даже одной из форм культурного кризиса — когда после всех нехваток всего стало слишком много и все приходит одновременно. Однако в отличие от тех других кризисов, которые разразились с тех пор и оставляют нас в недоумении, с этим культурным, переводческим кризисом мы знаем, как можно справиться.

<sup>108</sup> На такое дифференцированное изложение материала в целом я не решилась, однако, кажется, достаточно внятную вступительную статью написала — и к первому изданию, которое вышло в свет в 1996 году, и ко второму изданию, которое ждет выхода в свет. В этом издании даются новые эквиваленты ряда терминов и пояснения к ним. См.: Приложения. Фрагмент из письма: М. Гаспаров — Н. Антоновой от 5—6 декабря 1992 года. Ср.: Ваш М. Г. С. 304—305.

## § 4. Из разговоров о филологии и философии

Последние годы мы с М. Л. Гаспаровым работали над темой, к которой шли уже давно, — философия и филология, их история и их актуальность. Об этом мы прочитали спецкурс для студентов и аспирантов Института высших гуманитарных исследований и РГГУ и собирались его повторить в расширенном виде, работали над совместной книжкой о философии и филологии — о противоречивой связи слова и понятия, на которой строится вся европейская культура. Эта тема сейчас стала в центр исследовательского внимания в связи с пересмотром привычных дисциплинарных принципов и междисциплинарных границ. Книжка о философии и филологии должна была состоять из наших разговоров, а также из разборов текстов друг друга, образующих своего рода палимпсест, где одни слои толкования наслаиваются на другие. Мы хотели показать те болевые точки, которые выявились в работе каждого из нас и в нашей совместной работе. В самом деле, зачем филологу философия? Каковы критерии научности в филологии? Каковы ее наличные и возможные практики? Каково соотношение просветительской работы с собственными исследованиями, что нужнее и важнее? К сожалению, сделать книжку мы не успели. У меня остались предварительные конспекты материалов по заданным темам, комментарии Гаспарова к этим конспектам и мои ответы, его вопросы в ответ на мои ответы (он называл их «переспросами»): такие тексты разрастались как снежный ком. Публикуемый здесь текст представляет собой коллаж из нескольких текстов, в основе которого лежат (в ином разбиении) ответы Гаспарова на составленную мной анкету<sup>109</sup> с дополнениями из других наших письменных разговоров. Этот текст получился разнотильным: в нем есть и отшлифованные ответы и шероховатые куски с элементами телеграфного стиля, предназначавшиеся для будущей развертки: эти перебивы, мне кажется, дают особый смысловой результат. Это особенно заметно в темах, касающихся философии, где в ответ на мои вопросы звучат такие «переспросы» Гаспарова, что думать над ними придется очень долго, и не только мне. Высказывания Гаспарова не подвергались никакому редактированию, сохранен свойственный ему особый способ написания некоторых слов, а также зна-

<sup>109</sup> Речь здесь идет об анкете, составленной для всех сотрудников ИВГИ. Гаспаров очень поддерживал тогда эту мою инициативу с анкетой и даже придумал для нее название — «Свой путь в науке». См.: *Свой путь в науке. Коллективный портрет ИВГИ. РГГУ: Чтения по истории и теории культуры* / Составители Н. С. Автономова, Е. П. Шумилова. Вып. 44. М., 2004.

ки выделения и курсива. Перебивы фрагментов отмечены значком //; все комментарии — мои (Н. А.). Публикация этого текста позволяет бросить новый, более личный взгляд на некоторые из обсуждавшихся ранее вопросов и вместе с тем служит мостиком-переходом к следующей главе.

## Анкета

### *О выборе пути*

*Н.А.: Каким был Ваш вход в профессию — подсказка близких людей или учителей, собственное устремление, случайное стечение обстоятельств? Какие книги или люди оказали на Вас наибольшее влияние?*

*М.Г.:* Боюсь, что единственный честный ответ: потому что филология ближе моему душевному складу; а как складывался этот склад — тема, слишком далеко выходящая за пределы анкеты. У меня в детстве было пристрастие к звучным непонятым словам: поэтому древняя история привлекала меня экзотическими именами, а стихосложение — словами «ямб» и «хорей». У меня было ощущение, что мороженое почему-то нравится мне меньше, чем сверстникам, а стихи Пушкина больше, чем сверстникам, но я не мог им объяснить, почему: поэтому я стал интересоваться не только тем, какие мороженое и стихи приятные, а и тем, как они сделаны. Потом и эти предметы, и этот подход закрепились для меня как средства ухода — не столько даже от действительности, сколько от соперничества с окружающими. Любить стихи Пушкина умеют многие, и конечно, у них это получается лучше, чем у меня; а знать, как они устроены, умеют немногие, и здесь мне легче чувствовать себя не хуже других. Влияние среды — вероятно, в детстве мне легче было получить ответ, что значит какое-то слово, и труднее — как устроена такая-то вещь. Влияние книг — в школьном возрасте мне попали в руки Шкловский и Томашевский, и они говорили об устройстве литературных произведений интереснее, чем советские учебные и ученые книги.

// Могу добавить (я об этом писал в «Зап. и выписках»): красота для меня была страшна, она покоряла и подавляла, я сопротивлялся этому, разывая ее подсчетами. Мне повезло: я рано нашел работы Ярхо и Томашевского, и они стали для меня «осознанными образцами следования». Если бы я их не нашел, то, вероятно, развил бы в себе ту бесчувственность к красоте стихов, какую развил к красоте живописи. Дает ли что-нибудь эта психологическая интроспекция для цели анкеты?



### *Изменения в пути*

*Н. А.: Можно ли сказать, что на Вашем интеллектуальном пути происходили в основном количественные изменения (накопление знаний) или же были также и качественные? Можете ли Вы назвать отдельные периоды в Вашей творческой жизни, которые бы выделялись более или менее четко? Если да, то по каким параметрам они выделяются — предметы, методы, установки?*

*М. Г.:* У меня сменились три главные области работы: классическая филология, стиховедение, общая поэтика (анализ стихотворного текста). Смены были плавными: то, что было хобби, становилось профессией, и наоборот. Я занимался стиховедением для своего удовольствия; вдруг оказалось, что оно еще не убито, и Л. Тимофеев продолжает о нем писать; и я стал заниматься им открыто. Мне было интересно, как устроен стихотворный текст; вдруг оказалось, что этим занимается и Ю. Левин, и гораздо плодотворнее; и я стал относиться к своим интересам серьезнее. Классическая филология отучала от литературоведческого импрессионизма, стиховедение приучало к конкретности и объективности, этот опыт оказался полезен и для общего анализа текста. Методы варьировались — конечно, такая подробность подсчетов, какая возможна в стиховедении, пока невозможна в других областях. — но старались оставаться объективными.

*Н. А.: Считаете ли Вы себя представителем одной дисциплины или работником на стыке разных дисциплин?*

*М. Г.:* «Одна дисциплина или стык дисциплин?» Если филология — одна дисциплина, то да, одна. Стыка между классической филологией и стиховедением не было, между стиховедением и общей поэтикой был: постепенно расширение.

*Н. А.: Насколько эти изменения осознавались Вами тогда, когда они происходили? Была ли это осознанная установка на будущее (отныне я буду делать так-то), или же осознание происшедших изменений задним числом? Что было главным в этих изменениях (например, стало меньше эмпирии, но больше размышлений о связности, или наоборот)?*

*М. Г.:* Наверное, можно сказать, что от античности и к стиховедению — это поворот ближе к эмпирии, а от стиховедения к общей поэтике — больше доля размышлений о связности. А в пределах одной области сбор фактов и размышления об их связности вероятно, чередуются, как шаги левой и правой ногой. Я такой смены тем не планировал. Но раз так вышло, старался извлечь из нее побольше пользы: может быть это называется «ретроспективное осознание».

*Н. А.: Какова была при этом роль внешних (социальных, идеологических) обстоятельств?*

**М. Г.:** Мне хотелось иметь такую научную щель, в которой поменьше давления от разномыслящих и поменьше конкуренции с единомыслящими. Последняя такая щель называется «лингвистика стиха» — это такой участок стиховедения, в котором работников можно пересчитать по пальцам. Здесь я могу работать как специалист: сам находить новые факты, систематизировать их и осмыслять. А многолюдная классическая филология стала от меня дальше всего: я давно уже занимаюсь ей только как переводчик, компилятор и популяризатор. Впрочем, когда я писал компилятивные статьи — упаковывал не мною найденные факты и сделанные наблюдения в сжатую, связную и удобовоспринимаемую форму, — то иногда мне говорили: «какие оригинальные мысли!». Вероятно, так со стороны воспринимается простое переструктурирование.

### *Об изменениях в обществе и сообществе*

**Н. А.:** Ощущали ли Вы эти изменения как выражение общей тенденции или как Ваш индивидуальный путь? Было ли источником изменений Ваше собственное решение или подход, выработанный группой или школой?

**М. Г.:** «Группа или школа», с которой я общался, объединялась более или менее сходным представлением о научности, а внутри этой широкой рамки не влияла ни на мои предметы, ни на соответственные им методы. Теперь эту школу называют тартуско-московской.

**Н. А.:** Помогало ли Вам в работе чужое мнение (коллеги, эксперта)? Мешало? Было безразлично? Что Вам дает общение с коллегами (уточнение данных, корректировка гипотез, взгляд со стороны)?

Считаете ли вы, что сообщество адекватно оценивает Вашу работу? Или скорее неадекватно (завышает, занижает, игнорирует ее значение, обращает внимание не на то, что Вы считаете существенным)? Получается ли у Вас, хотя бы иногда, убеждать собеседников, у которых другие взгляды, в своей правоте?

**М. Г.:** Чужое мнение давало взгляд со стороны, добавляло факты и побуждало что-то доделывать (реже — переделывать). Чужие оценки были скорее безразличны (исключения — только Лотман в области науки и Петровский в области перевода): важность своих работ я не преувеличивал, споров и полемик избегал. Наверное, за это ко мне относились спокойно и судили обо мне лучше, чем я, как мне кажется, заслуживаю.

**Н. А.:** Считаете ли Вы необходимым вырабатывать различные стили и приемы для общения с разными аудиториями и читателями?

**М. Г.:** Писать приходится и в научных, и в научно-популярных жанрах; и в тех и в других я старался быть понятным и, по воз-

возможности, простым. Лекций почти не читал (заикаюсь) и к непосредственному общению с аудиторией не привык.

*Н. А.: Кажется ли Вам, что за последние 10–15 лет произошли изменения в структуре и функционировании научного сообщества? Если да, в чем они выражаются: большая мобильность, меньшая профессиональность, что-то другое?*

*М. Г.: Перемены в научном и учащемся обществе мне из моей научной цели почти не видны<sup>110</sup>.*

### **Философия**

*Н. А.: Считаете ли Вы, что изучение философии в университете было для Вас чем-то полезным или нет? Работы каких философов были или являются для Вас важным чтением и почему?*

*М. Г.: Что такое философия, я не знаю: за всю жизнь не удалось прочитать достаточно азбучной книжки о ней. То, чему учили филологов в университете в 1950-е годы, трудно считать философией. Историей философии я интересовался всегда, но скорее как филолог. Я жалею, что так получилось.*

*Н. А.: Нужна ли ученому-предметнику философия (в каком бы то ни было смысле слова: как знание об общих закономерностях бытия, как общее учение о методах познания, как побуждение к размышлению о том, что и почему делает человек)? В какой форме философия может быть нужна (специальной) науке? Является ли сама философия наукой, хотя бы отчасти?*

*М. Г.: Если это наука о самых общих законах сущего, то, наверное, она полезна для частных наук — позволяет им вписаться в какое-то целое и определить свои взаимоотношения. Если это не наука, а вера, то, наверное, она полезна для ученого: лучше сознательное вероисповедание, чем бессознательное. Я стараюсь давать себе отчет в том, где в моих (и чужих) рассуждениях кончаются доказательства, область науки, и начинаются аксиомы, область веры (и по каким личным причинам я предпочитаю такие-то аксиомы, а не другие); может быть, философия могла бы мне помочь. А пока приходится довольствоваться банальностями: бесконечное бытие — это множество разрозненных явлений, больно задевающих меня, конечное сознание — это посылное их упорядочивание, позволяющее мне среди них выживать.*

*Н. А.: Каждому из тех, кто занимается интеллектуальной работой, приходится время от времени давать себе отчет в том, на каких основаниях мы строим свое рассуждение. Ученый не интере-*

<sup>110</sup> В письмах Гаспарова есть иные соображения на этот счет: в частности, о распаде некогда единого научного сообщества, см.: Приложения. Фрагмент из письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой от 17 декабря 1992. Ср.: *Ваш М. Г. С.* 311–314.

суется этим постоянно (иначе он писал бы вечные пролегомены), но в некоторых ситуациях этот «философский» вопрос (о предпосылках и условиях возможности знания) перед ним встает, и, размышляя об этом, он становится сам себе философом. Если у Вас бывают такие моменты, какие вопросы Вы себе ставите? Какие вопросы Вам хотелось бы поставить перед философией?

М. Г.: Что такое философия? Наука или вера? <...> Или, как в Средние века, это мост от веры к науке? Или та часть философии, которую в пору нашего учения называли онтологией, — это вера, а гносеология — наука? Понятия эпистемология тогда не было — чем отличается эпистемология от гносеологии? Как вписывается филология в гносеологию? Если философия — наука, то как накапливается тот объективный материал, который побуждает ее развиваться? (Если чередуются кумулятивные и осмысляющие фазы, то в какой находится сейчас русская философия?) Если философия — вера, то развивается ли она? Что такое философствование? Следует ли понимать, что философствование относится к философии, как Сократ к Платону? Перенос внимания с философии на философствование — не то же ли это, что у Тынянова: перенос внимания с перечтения на первочтение, с результата на процесс? Философ создает тексты, а что предшествует этим текстам в его голове — для нас черный ящик. Может ли философствование быть предметом стороннего рассмотрения? Считать ли устный текст текстом? <...> Вначале были тексты (неважно, письменные или устные, неважно, Гомер или веды); устаревая, они требовали усилий для понимания: сперва филология стала толковать устаревающий язык, потом философия — устаревающий смысл. А может быть, параллельно.

Н. А.: Сейчас нередкими стали споры «философов с филологами»: философы обвиняют филологов в неспособности к живому чтению современных текстов, филологи обвиняют философов в произвольности интерпретаций, подставляющих на место автора собственные впечатления. Какие вопросы общего характера возникают на стыке между философией и филологией — знанием о понятиях и знанием о словах?

М. Г.: Филология считает себя службой общения, взаимопонимания. Считает ли себя таковой философия? Как доводит она свои положения до читателей? Система аргументации в философских сочинениях (как научной, так и художественной) — является ли она предметом философии или филологии? Мне кажется, что в книгах по истории философии ей уделяется не очень много внимания.

Эта система аргументации, по-видимому, эволюционировала: она явно различна у философов академических и эссеистических, у классических и новейших. (Я не встречал ссылок на работы вроде «Стиль Канта» — почему?) Можно ли проследить закономерности

этой эволюции — скажем, чередование периодов уравнищенности и неуровновешенности, вроде классицизма и романтизма? Находятся ли они в соотношении с рационализмом или иррационализмом излагаемой философии? <...> Как возникают философские понятия из образов и метафор? От «воды» у Фалеса до «тела» у наших современников? <...> современная философия считает, что ей принадлежит настоящее, а филологии только прошлое. Настоящее? А разве не вечное? («Философия хочет отобрать у филологов Хармса, Джойса и Малларме»<sup>111</sup>. А древние тексты такого же рода — «Гесперийские речения»<sup>112</sup> или Ликофрона<sup>113</sup> — тоже?).

// Философия и филология. Романтическое искусствоведение считало, что *ars una — species mille*; романтической филологии хотелось того же, но она была вынуждена делать поправку на язык; романтическая философия, кажется, тоже считала, что все мировые философии — *ars una*, единый идейный язык, история философии — его учебник, а Фалес с Гегелем адекватно друг друга понимают. <...> В XIX, а пуше того в XX в. (с переломом после Ницше?), кажется, она стала понимать, что языки мысли так же разноструктурны, как и лингвистические языки? Философия ставила в центр **разум**<sup>114</sup>, пока надеялась, что с ним индивид может все познать, и переключилась на **язык**, когда стало ясно, что «все» под силу только коллективу, а в нем нужно взаимопониматься. Раньше была презумпция понимания, теперь — непонимания. (Варианты философии: верю / мыслю / чувствую / переживаю / страдаю / боюсь / общаюсь — *ERGO SUM*) ПЕРЕСПРОС: как после этого она стала относиться к истории философии и к лежащей за нею филологии? Не поможет ли теперь филология философии понять саму себя и свою теперешнюю проблему: общение, взаимопонимание? Или философское понимание — даже в философии языка — есть что-то совсем иное, чем филологическое понимание, что-то более близкое к святому духу? <...>

### *О науке и научности*

*Н.А.: Существует ли единая наука или как минимум две ее разновидности — естественная и гуманитарная (естественные науки*

<sup>111</sup> Здесь излагается позиция некоторых философов в дискуссии о философии филологии, проведенной журналом «Новое литературное обозрение» в 1995 году, где участвовал и Гаспаров.

<sup>112</sup> Ирландский литературный памятник VII века; написан на особом «гесперийском» языке, созданном средневековыми книжниками на основе ученой и поэтической латыни.

<sup>113</sup> Ликофрон (IV—III вв. до н.э.) — греческий поэт и грамматик александрийской школы.

<sup>114</sup> Здесь и далее местами — отклики на мои статьи, которые Гаспаров читал в черновых вариантах во время их подготовки.

и гуманитарные науки)? Если две, то временно (гуманитарная наука еще не развилась) или в принципе (гуманитарная наука — другая по определению)?

*Каково Ваше отношение к формальным и структурным методам вообще и в Вашей дисциплине, в частности? Можно ли сказать, что «структурализм умер»?*

*М.Г.:* Наука — это средство <...> упорядочивания: она тем лучше, чем шире она охватывает явления и чем проще их систематизирует. То есть, наук без структурных методов не бывает, потому что всякая систематизация — это структура: так уж устроено наше сознание, поэтому структурализм в широком смысле слова умереть не может, а в узком — как культ бинарных оппозиций? — для кого как: мне он помогает работать, значит, пока не умер. «Естественное и гуманитарное — одна наука или две?» — тоже для кого как. Для Гегеля — одна, для Маркса — тоже одна, для меня — тоже: камень, червяк и стихотворение Пушкина — одинаковые явления окружающего меня бытия. А кто считает, что половину сущего определяет бытие, а половину — сознание, для тех это разные науки. Я не преувеличиваю могущества науки. Она не притязает на объективную истину, она просто помогает нам выживать в мире. Я понимаю романтиков от науки, которые так уверены в своем выживании, что считают рациональность скучной и тянутся к иррациональному. Но мне ближе классицисты от науки: как в литературе весь романтизм свободно уместается на одной из полочек классицизма, под рубрикой вдохновения и именем Пиндара, так и в науке — иррациональное на одной из полочек нашего рационального сознания, а не наоборот.

*Н.А.:* Считаете ли Вы свою дисциплину — историю, филологию (лингвистику, литературоведение) или какие-то ее части или срезы — наукой? Что для Вас важно в науке (наличие особой эмпирии, разработанность связной теории, возможность сравнивать преимущества разных теорий, применимость математических методов, что-то другое)? Могли бы Вы сформулировать, что является для Вас критерием научности?

*М.Г.:* Филология — такая же наука, как другие: она собирает факты и систематизирует их. Факты ее — все, что зафиксировано словами; из этого «знания о словах» извлекается «знание о понятиях», конфликта здесь я не вижу. Кроме исследовательского отношения к словесным текстам, бывает творческое: переживание их («живое чтение») и описание этих переживаний: это необходимая часть культуры, но это не наука. Внутри филологии есть разные области («дисциплины?»), я работаю в трех, как они для меня соотносятся — сказано выше.

*Н.А.: Ваше отношение к Бахтину: сейчас его нередко называют образцом для построения современной гуманитарной науки, согласны ли Вы с этим мнением?*

*М.Г.: Вне филологии есть другие науки, представить их единой «гуманитарной наукой» я не умею, поэтому насколько для нее образцом является Бахтин — не знаю. Педагогику и психологию по Бахтину я представляю, они учат людей понимать свои поступки; а историю и филологию — нет, они учат понимать не зависящие от тебя факты. У Бахтина узкая специальность — этика, и чем дальше та или иная область науки отстоит от этики, тем бесполезнее для нее Бахтин.*

*Н.А.: В какой мере гуманитарное знание может быть свободным от идеологии — от социальных обстоятельств, от общепринятых мнений, от явно навязываемых взглядов? В чем сказывалось в Вашей дисциплине давление навязываемых взглядов в советский период? Каков был Ваш ответ на это давление (уход в области, менее подвластные идеологии, развитие особой риторики, скрытые формы иронии)? Какие внешние давления Вы чувствуете сейчас (материальные условия жизни ученого, структура сообщества, формы признания и поощрения и др.)?*

*М.Г.: Идеология как система навязываемых взглядов существует всегда, если не как догма, то как мода. Я могу выделить и то, что во мне от марксизма, и то, что от реакции на него. Моим стиховедению и общей поэтике одинаково неуютно и в советском и в постсоветском идеологическом климате: там они слишком далеки от обязательной идейности, тут — от обязательной духовности. Смена режима сказалась в том, что раньше мне нужно было четверть сил тратить на риторические способы приемлемым образом высказать то, что я думаю, а теперь этого не нужно; это хорошо.*

*// «Согласие в науке» невозможно и ненужно, «постоянная критика» — это норма научной жизни, нужна лишь терпимость и воздержание от анафематствования.*

*Н.А.: Какова роль новых технологий в Вашей работе (компьютеры, Интернет)?*

*М.Г.: «Роль новых технологий» я с готовностью ощущаю. Считать стало легче: я работал сперва на конторских счетах, потом на арифмометре, потом на калькуляторе. Читать нужное стало легче с появлением ксерокса; наверное, станет еще легче, если научусь Интернету. Писать стало легче: из-за старости голова вмещает меньше, это принуждает писать большие статьи не целиком, а по кусочкам, а это легче делать на компьютере, чем на пишущей машинке. Думать — не стало легче.*

*Н.А.: Можно ли говорить о смене критериев научности в Вашей области за последние полвека? Имеет ли проблема так называемого «постмодерна» в том или ином смысле отношение к Вашей работе?*

**М.Г.:** Изменений в моей науке и вокруг нее за последние полвека я не вижу. Уважения и заботы о ней не больше и не меньше, чем раньше. Структурирующее устройство человеческого сознания не изменилось, значит, и критерии научности не изменились. Поэтому научные гипотезы иерархизируются по-прежнему: лучше та, которая шире охватывает материал и проще его систематизирует. Поэтому постмодерн, для которого все мнения равны, науки не касается. Новые западные методики и наши им подражания почти не затрагивают моей области работы: они не столько выявляют и иерархизируют особенности строения поэтического текста, сколько демонстрируют, как по-разному читательское сознание может реагировать на эти особенности; а я изучаю текст, а не читательское сознание.

**Н.А.:** *Какова Ваша оценка современного состояния Вашей науки — в России и на Западе («нормальное развитие», кризис, чередование трудностей и их преодолений, смена «парадигм» и др.)?*

**М.Г.:** О кризисе и смене парадигмы можно говорить только если набралось много новых фактов, не укладывающихся в старую теорию. Так ли это, я не знаю. Если эти факты — из больших культур, до сих пор нам мало известных (вавилонской, индонезийской, тунгусской или простонародной средневековой европейской) — то да, они существенны. А если эти факты из последних современных авангардных мод — то нет, важность их иллюзорна, просто в перспективе все ближнее кажется большим. Подождем лет сто.

### ***Чему имеет смысл учить студентов?***

**Н.А.:** *Стоит ли, прежде всего, передавать знания или же скорее — способы получения знания (методы)?*

**М.Г.:** Вот факты, они накапливались вот так-то, и на их накопление история словесности и теория словесности (или иной науки) отвечала такими-то построениями. На сегодняшний день необъясненные факты — такие-то (скажем, возникновение греческого романа или появление рифмы в европейской поэзии), постарайтесь воспользоваться опытом предшественников, чтобы объяснить их.

### ***Вопрос последний и необязательный.***

**Н.А.:** *Что еще Вам хотелось бы успеть сделать в жизни?*

**М.Г.:** Доделать, что успею. Хотел бы добавить: и «умереть вовремя», но это не поддается планированию.



## Постскриптум

В Гаспарове, несмотря на его отмежевание от динамического и креативного философствования, есть много философского. Это и осознанное требование давать отчет в том, что мы обычно принимаем без доказательств, и ответственное отношение к слову, далеко выходящее за рамки любой, сколь угодно последовательной, филологической тщательности. Гаспаров — философ *suí generis*, он строил себе нужную ему философию познания, о которой мы можем судить по косвенным признакам, так как она целиком не прописана и должна быть реконструирована в текстах конкретных анализов. Фактически Гаспарова постоянно бился за «рефлексивный» (самосознательный, самоосознающий — самого этого слова он не употреблял) подход ко всему, над чем он работал. При этом строгость собранности не позволяла ему расслабиться, раствориться, быть захваченным, спонтанным, она заставляла его постоянно чувствовать себя на экзамене, который невозможно сдать раз и навсегда. По собственным словам, он воспринимал целостности вытянутыми в дискурсивные словесные цепочки, а чтобы воспринять то или иное культурное явление, вспоминал книжные или мысленно сочинял собственные тексты, которые должны были служить подпорками жизненных впечатлений. В этом его отличие от большинства из нас: он гипертрофировал свою филологическую способность построения словесных миров, но не позволял себе считать их последней реальностью: собственное изобретенное слово и слово, раскрытое нами в изучаемом предмете, — это разные вещи. Он никогда не путал, как мы часто делаем, слова как подпорки собственным впечатлениям и слова как объективированную материю смысла. Как филолог он превыше всего ценил слово, как ученый он жил наукой и для нее, как человек он делал все для того, чтобы взаимопонимание между людьми было возможным.

## Философия и филология: продолжение дискуссий

---

### § 1. «Остановимся и оглянемся»...<sup>1</sup>

**П**озади у нас насыщенные материалом и, быть может, не-  
легкие для чтения главы: что из чего вытекает и почему  
о такой-то полемике говорится именно в данном ме-  
сте, а не в каком-то другом и по совсем другому пово-  
ду? Признаюсь, что и для меня самой в процессе работы  
были неожиданности. Например, я вовсе не собиралась затраги-  
вать здесь полемику Гаспарова с Бахтиным и хотела оставить ее  
до другого случая. Но потом решила, что придется поднять и этот  
вопрос и наметить хотя бы некоторые контуры проблемных пере-  
сечений. И таких неожиданностей было немало: в некоторых кон-  
кретных ситуациях герои сами заявляли о себе, и не дать им слово  
было невозможно. Быть может, этим объясняется то, что может  
показаться внешней несообразностью в поворотах сюжета.

Ожидать немедленного решения всех вопросов было бы наив-  
но. И прежде всего — вопроса о научности и формах научности  
гуманитарного знания. Структурно-семиотические исследования  
стремились быть научными, но были исследователи, которые оп-  
понировали самому этому стремлению. У некоторых людей есть  
четкие критерии научности гуманитарного познания. У меня нет  
сейчас жестко определенного решения по этому вопросу. И раз-  
ве можем мы иметь такое решение, если философия и филология  
отчуждены, несмотря на видимость общения (пример такого от-  
чужденного взаимодействия читатель найдет в следующем пара-

---

<sup>1</sup> У Гаспарова выражение «Остановимся и оглянемся» отмечало переход от предъ-  
явления эмпирии к размышлениям о ней. Ср.: Автономова Н. С., Гаспаров М. Л.  
Сонеты Шекспира — переводы Маршака // Гаспаров М. Л. Избранные труды.  
В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 108; есть и другие подобные случаи.

графе)? Я надеюсь, что современные дискуссии на эту тему — это этап на пути к сближению естественных и гуманитарных наук, и что эта тенденция пробивает себе путь, несмотря на все препятствия. Но из того, что общая тенденция ясна, не значит, что нам ясно, как ее воплотить в жизнь со стороны гуманитарного знания, которое, так же как и естественное, стремится понять мир, предмет вне меня. А потому я хочу привлечь внимание к тем вопросам, которые почти не обсуждаются, но могут продвинуть нас по этому пути.

При этом одновременно возникают две равнозначимые задачи. Одна заключается в том, чтобы ознакомить философов с тем наследием русской филологии, которое стремилось быть наукой. Недопустимо, что этот огромный материал остается в философии не востребуемым. Другая — в том, чтобы заново поставить вопрос о необходимости взаимодействия между философией и филологией и об отсутствии взаимопонимания между ними. Прошли времена, когда априорными трансцендентальными критериями философия решала, какой быть и какой не быть гуманитарной науке. Кант, например, твердо знал, о чем можно строить теоретическое знание, а о чем — нельзя, хотя его критерии были поколеблены вскоре после их выдвижения. В наши дни отношения философии и науки, философии и гуманитарных наук, философии и филологии понимаются несколько иначе. Без подпитки конкретным материалом философия вырождается в догматизм; но каков он — материал философии и какими средствами он должен быть переработан так, чтобы обогатить ее?

Итак, объективная ситуация такова: философия и филология испытывают дефицит взаимодействия, серьезного и систематического. Философии неведом филологический объект (кроме отдельных цитат), а филологам не хватает средств рефлексивного плана, чтобы построить собственное обоснование, и к тому же это не дело гуманитарных наук — строить такое обоснование. Требуется, стало быть, осмысленное междисциплинарное взаимодействие — не то, которое якобы уже существует, но другое, и в этой сфере междисциплинарности очень важен содержательно-коммуникативный процесс с попыткой задействовать механизмы перевода языков и структур друг в друга или хотя бы начать процесс взаимоперевода.

Все мои персонажи рассматривались в разных оптиках, и это получалось скорее стихийно, чем по заранее намеченному плану. Так, Якобсон представлен в панорамном обзоре, далее — в свой ранний период, наконец, отдельными работами; Бахтин — через обзор рецепций, споры вокруг интерпретации отдельных мо-

ментов его концепции, через вопрос о переводе и сопоставление с Лотманом; Лотман — через обзор по периодам, а затем — через проблему перевода и непереводаемости, где Лотман вместе с Якобсоном выступают как представители нового подхода к этому важнейшему для гуманитарного познания вопросу; наконец, Гаспаров представлен обзором рецепций, проблемой строгости филологических исследований и вопросами переводческой техники и теории.

Сквозные линии проблематики — соотношение структуры и неструктурного (меняющегося, контекстуального), возможности объективного познания в филологии, междисциплинарный и междисциплинарный перевод и непереводаемость. Именно в этих подходах ярко дает о себе знать открытая структура: здесь в филологии она предстает как парадокс, метафора и одновременно как место междисциплинарных пересечений и переходов. Структура для меня здесь — полюс стремления к науке и рациональности, а открытая структура, в частности, — то, что позволяет схватить ее современные преобразования. При этом открытая структура была не только динамическим модусом структуры, но и тем общим замыслом, который одушевлял меня в стремлении написать эту книгу, несмотря на очевидную невозможность такого предприятия: мои персонажи настолько велики и несводимы ни к каким знаменателям, о них нужно знать так много, чтобы что-то рассказать и о каждом в отдельности и обо всех вместе, что общий замысел казался провальным.

В процессе анализа выявилось множество сюжетов, которые было бы обидно оставить незамеченными. О Гаспарове я буду писать отдельную книгу по материалам нашего спецкурса, так что фрустрация незавершенного завершения гасится надеждами, быть может, чрезмерными, на собственные силы, но как быть с остальными? Кто захочет написать про то, как Якобсон вместе с Леви-Стросом выверяли возможности методологических переносов из одной области знания (лингвистики) в другую (антропологию)? Кто сопоставит — а эту тему просто необходимо продолжить — лингвистическую модель Якобсона с тем, что получилось в результате французской экспансии этих методов на другие гуманитарные науки? Есть люди, которые с удовольствием излагают постструктуралистские и постмодернистские сюжеты, но мне до сих пор не удалось встретиться с теми, кто захотел бы описать, как складывалась на конкретном материале эта междисциплинарность в действии. Вот Якобсон жарко дискутирует с математиками, физиками и антропологами. Вот он обсуждает принципиальные вопросы и разные тонкости применения методов с Леви-Стросом. А потом происходит то, что происходит: эти методологические сюжеты онтологизируются в пропитанной идеологией обстановке, взаимодействия

понятий субстанциализируются и разыгрываются на социальной сцене в виде драмы — «История и структура». Главные роли исполняют Сартр и Леви-Строс: один играет цивилизованного европейца, а другой — аборигена, который живет в «холодном» обществе, не ведает истории и становится объектом структурно-семиотического анализа. Кто захочет заново провести археологические раскопки на этом участке пути и найти возможности, альтернативные тому повороту событий, который произошел? Леви-Строс удержался на своих позициях, а все остальное с убыстряющей скоростью понеслось к всеобщему карнавалу и шествию масок Мая 1968 года.

А Лотман? Кому сейчас нравится «трезвый» и «мудрый» взгляд на русскую культуру? Такой, что не поддается сиюминутным запросам, тянущим мысль к оживлению национальных чувств, основанных на страхе по отношению к другому и недоверии к самому себе? Опытные историки культуры знают, как следовало бы пестовать мысль, чтобы она не подпала под очарование лозунгов, периодически повторяющихся в истории: «новая Россия» любой ценой или «вечная Россия, основанная на исконных ценностях». Конечно, россиянам есть чем гордиться, а там, где гордиться особенно нечем, уместные призывы могут нас воодушевить, но ведь гуманитарные науки для того и нужны, чтобы мы, воодушевляясь, не попали в ловушку к тому призыву, что громче всех звучит. Кто напишет про Лотмана-историка, для которого структура была средством перехода «от не-науки к науке», потому что она вернее всего защищала от подобных пируэтов мысли. — Лотмана, который всегда был историком, но никогда не отказывался от мысли о структуре, каким бы преобразованием она ни подверглась за последнее десятилетие его жизни?<sup>2</sup> Как мы видели, поздний Лотман приветствовал изучение культурной динамики и свободнее оперировал метафорами, чем ранний, однако он по-прежнему настаивал на огромном значении повторяющихся, завершенных

<sup>2</sup> «Лично я не могу провести резкую черту, где для меня кончается историческое описание и начинается семиотика. Здесь нет противопоставления, нет разрыва. Для меня эти сферы органически связаны. Это важно иметь в виду, поскольку само семиотическое направление начиналось с отрицания исторического изучения. Отойти от исторического исследования необходимо было для того, чтобы вернуться к нему. Надо было разрушить связи с традицией для того, чтобы потом восстановить их на совершенно иной основе. В обращении к синхронии историк обретал свободу. Он освобождался от накопившегося в исторических исследованиях методологического мусора, получал подлинную свободу и научную базу для того, чтобы вновь вернуться на круги своя. Здесь принципиальная разница между нашей и западной семиотикой, которая так и задержалась на абстрактных моделях. Для нас же абстрактные модели были необходимой дисциплиной ума, которая давала новое орудие для традиционного материала». *Лотман Ю. М.* Зимние заметки о летних школах // Ю. М. Лотман и московско-тартуская семиотическая школа. С. 296.

процессов, которые требуют не меньшего внимания и к тому же труднее поддаются изучению: смену, сдвиг легче заметить, чем повторение, тем более, что повторяющееся мы подчас считаем само собой разумеющимся и вообще не обращаем на него внимания<sup>3</sup>.

Переводы лотмановских работ на Западе были доступны прежде всего славистам, и потому не находили (во всяком случае, во Франции и в США) должного резонанса. Этим Лотман отличался от Бахтина, который своими текстами, казалось, всегда попадал в резонанс, даже если это случалось в силу какого-то исторического и культурного перекося восприятия: а иначе и Кристева с Тодоровым, и французские переводчики Бахтина были бы более внимательны к оригиналам. Так как разграничительная линия между собственными представлениями реципиентов и осваиваемыми произведениями мысли не была проведена, то читатели легко очаровывались тем, что казалось таким близким и одновременно таким новым. А теперь мы имеем то, что имеем: специфическую и в общем-то полезную для культуры-реципиента («творческую») рецепцию, только вряд ли она показалась бы Бахтину подлинной жизнью его творений в «большом времени». Зато теперь, через сорок лет после начала французского существования Бахтина, более внимательные историки культуры раскапывают эти завалы и выясняют, где же возникли основные перекося в тех рецепциях, которые сыграли (и продолжают играть) свою роль<sup>4</sup>. При этом, подчеркиваю, никто и никого не ставит к позорному столбу за те вольности, которые унесли Бахтина от самого Бахтина, но никто теперь за это и не благодарит интерпретаторов и переводчиков, как это было в начале процесса его восторженной рецепции на Западе. Хорошо, что пришло время критической работы, даже если плоды ее увидят не те, кто уже привык к совсем иным путям интерпретации.

В процессе работы над книгой я заметила, что Бахтин, который поначалу был для меня «фоном» и катализатором других интеллектуальных реакций, постепенно стал необходимым и неотъемлемым. Совершенно независимо от моих намерений, он неожиданно появлялся на первом плане то тут, то там, все время играл роль провокатора, катализатора, стимулятора. Не случайно глава о Бахтине оказалась наиболее нагружена вторжениями других персонажей:

<sup>3</sup> Среди методов изучения повторяющихся явлений важную роль играют сравнительно-статистические подходы. Тут нужна другая эвристика — неромантического типа. При этом скептики утверждали, что подсчеты в интуитивно ясных случаях бесполезны: к чему нам здесь числовой результат? И Гаспаров, напомним, отвечал: в ясных случаях тем более нужно считать, чтобы получить основу для сравнения при анализе трудных случаев.

<sup>4</sup> Это уже упоминавшийся Центр исследований в области истории лингвистики и сравнительной эпистемологии под руководством П. Серию в Ложанне (CRECLECO).

Бахтин и Аверинцев, Бахтин и Гаспаров, Бахтин и Лотман, потом еще Бахтин и Якобсон, а вскоре появятся даже Бахтин и Подорога.

«Чужое слово» — бахтинский термин, один из самых сильных и емких: он затрагивает культуру целиком, вбирает в себя бездну больших и малых вопросов, о существовании которых знает каждый филолог, но, видимо, не каждый философ. Бахтин сумел сказать об этом так, что в эпоху социальных потрясений, в эпоху войны и революции все его слышали, а потом это емкое выражение продолжало звучать и находило отклик и в других сложных жизненных и социальных ситуациях. Для философа (как показывает пример Гадамера) «говорить на разных языках» — это неприятное выражение обыденного языка, тогда как для филолога — это основа основ профессии и *raison d'être* самого существования филологов в мире. Выражение «чужое слово» у Бахтина настраивает нас на определенную проблематику, однако, как мне представляется, не дает надежного пути к ее изучению. Бахтин ведет нас в область философской этики человеческих отношений, но все же не в область методологии гуманитарного познания: он ставил вопрос об отношении к чужому слову скорее в этико-философском, нежели в аналитико-филологическом ключе. Как этик и философ Бахтин говорил: гуманитарные науки должны развиваться только в глубь, но не вширь, напоминая при этом, что нужно отказаться от вчувствования, признать свою вненаходимость по отношению к произведению. Что делать дальше, мы не знаем. При этом разные пласты в материале Бахтина — литературоведческий (Достоевский и Рабле), лингвистический (взгляды на язык, о которых говорилось выше), различные философские слои — этический, эпистемологический и другие — определенным образом взаимодействуют между собой, но существуют в сфере разной динамики и ритмики: как взаимодействие этих слоев влияет на наше восприятие его концепции в целом, нам еще предстоит выяснять.

Никто из нас не может сравниться с Бахтиным в яркости письма, в эмоциональном напоре завершенных его работ, никто, наверное, не сочинит такие афоризмы, которые мы то здесь, то там находим в его рабочих тетрадях: их можно интерпретировать и разгадывать всю оставшуюся жизнь (такова, например, притча «Человек у зеркала»). Но кое-что полезное мы все же можем сделать, и прежде всего — завершить те незавершенности, которыми Бахтин не гордился и своим достоинством не считал, подтянуть болты там, где от их незакрепленности страдает целая конструкция. А для этого нужно заняться анализом взаимодействий между различными концептуальными языками, которые мы обнаруживаем в его текстах, соотношениями этих языков с условным (или прямым) авторским языком (это отдельная большая

проблема<sup>5</sup>). Только после этого мы сможем понять, что перед нами в том или ином конкретном случае: прямая авторская речь, несобственно-прямая речь, косвенная речь, совсем чужая речь, которую в принципе можно было бы отметить кавычками и др. И все эти модальности речи имеют непосредственное отношение к мысли и смыслам. Постараемся не путать те два вида незавершенности (и соответственно завершенности), которые различает сам Бахтин, и тогда, быть может, мы и в принципиально неопределенном и незавершенном яснее увидим то, что сейчас нам плохо видно и мало понятно.

В конце концов постараемся избавиться от предубеждений и присмотримся повнимательнее: быть может, у Гаспарова внимания к чужому слову не меньше или даже больше, чем у Бахтина? Быть может, он лучше знает, как с ним обращаться? Мне кажется, об этом свидетельствуют его книга «Метр и смысл», о которой мы уже говорили, и другие работы. Не значит ли это, что бахтинской «вненаходимости» при определенном ее понимании (как способа отстранения нашего своеволия от постигаемого произведения) удобнее живется скорее у Гаспарова? Нам предстоит дальше изучать наших персонажей, проводить ту рефлексивную работу над их концепциями, которую сами они не сделали. И при этом не пугаться, а радоваться, когда в гуманитарной области мы обнаруживаем отдельные островки (относительно) точного знания. Понимая, что это знание не объясняет нам «тайну жизни» или «тайну искусства», да и не притязает на это.

Обратим внимание на один из хороших примеров здорового отношения к «точному знанию» в филологии: «Издержки арифметического подхода очевидны. Слишком часто и многим начинает казаться: сосчитал и закрыл тему. В истории литературы окончательный результат не может быть выдан в цифровом выражении, *но без точного знания окончательный результат не может быть приближенным к*

---

<sup>5</sup> Вспомним, как мы читали параллельно комментарии к Бахтину различных исследователей (Алпатов, Гоготипшвили) и видели различия, а иногда даже противоположность их взглядов на один и тот же материал. Так, согласно Алпатову, Бахтин несколько сдвинулся в сторону того, что поначалу отрицал, а именно, к проблеме языка в оппозиции с речью (и сделал он это, возможно, под влиянием внутренней полемики с В. В. Виноградовым и промысливания своей проблематики диалога и общения через идеи брошюры Сталина о языкознании при заведомой сложности его отношения к данному источнику). Гоготипшвили думает иначе: нет, Бахтин не менялся, более того, он еще дальше продвинулся в жизнь чужого слова и чужих языков; в итоге исследовательница, как уже отмечалось, приходит к мысли, что Бахтин весь целиком, а не только в спорных работах, оказывается «девтороканоническим», он везде (и все больше) говорит «не своим прямым голосом», а чужими голосами, на чужих языках, через чужое слово, в этой сфере чужого слова, и в этом его удивительная специфика. Это и другие подобные различия интерпретаций вызывают к философско-филологическому осмыслению проблемы многоязычия, высказывания и чужого слова.



литературной реальности (курсив мой. — Н.А.)»<sup>6</sup>. Автор этого высказывания, известный литературовед И. Шайтанов сразу говорит, что сам он подсчетами не занимается и статистического метода не обожествляет; однако он понимает пользу и пределы уместности этого метода и умеет работать с его результатами, ограничивая тем самым область пустых домыслов и увеличивая надежность собственных суждений. Это пример того, как можно пользоваться чужими работами не только в лоне фундаментального стиховедения, но и при решении тех или иных прикладных задач, в повседневной работе.

Вновь и вновь возникает навязчивый вопрос: откуда берется такая неприязнь к идее гуманитарного познания, нацеленного на точность? Почему активное нежелание знать что-либо так, как оно «есть на самом деле» и притом «точно», видится чуть ли не как нечто аморальное, вредное, лишаящее подлинных чувств? Одна из далеких тому причин, возможно, связана с тем, что в России не было научно-текстологического богословия, которое в Европе произрастало веками и постепенно оттачивало все те навыки анализа текста, которые потом так или иначе (иногда параллельно) применялись и в филологии. Однако, несмотря на это, в Европе за рамками исследований античности не появилось аналога ярховско-гаспаровской программе точного литературоведения. Нужно, чтобы философы обязательно прочитали хотя бы отдельные разделы «Методологии точного литературоведения» Б. И. Ярхо и увидели, что с установкой на точность можно подходить не только к стихам (это уже сделано Гаспаровым), но и к любым другим предметам — начиная с жанров, легче поддающихся формализации, таких, как комедия и трагедия, фольклорные жанры, эпос и др. Крупную романную форму никто пока подобными методами не изучал, однако современные подходы нарративистики, отчасти вслед за Проппом, уже позволяют изучать малые прозаические формы (рассказы и повести), а в них — соотношения мотивов, способы представления внешнего и внутреннего мира, смену авторских установок; полезные сопоставления в этой области накапливаются и могут в будущем привести к качественному прорыву.

<sup>6</sup> Шайтанов И. Дело № 59: НЛЮ против основ литературоведения // Вопросы литературы. 2003. № 5. <http://magazines.russ.ru/voplit/2003/5/shaitan.html>. Этому обобщающему высказыванию предшествует в тексте разъяснение насчет того, как может пользоваться результатами «точной науки» тот, кто сам ее не строит: «Сам я не считаю [в смысле — не провожу подсчетов], но постоянно пользуюсь результатами М. Гаспарова в своей работе. Приведу пример (очевидный, но необходимый, поскольку возникли сомнения). Недавно мне нужно было показать, что замена первоначально четырехстопного ямба на пятистопный в поэме Н. Заболоцкого "Лодейников" была сознательным жанровым ходом — к элегии и романсу. Беру М. Гаспарова и нахожу, что вначале этот размер утвердился в России как элегический, а затем к концу XIX века усваивается романсом. То, что и требовалось доказать. Чтобы это установить, М. Гаспаров должен был вывести статистику, учитывающую кобзевых той эпохи» // Там же.

Какова же общая картина? Получается, что объективность, идущая от немецкой классической философии, и объективность, идущая от французской позитивистской традиции (с первой мы можем связать Бахтина, со второй, так или иначе. — Гаспарова) разные. Между ними зияет разрыв культурных традиций. Но как быть дальше? По-моему, так же, как и всегда в подобных случаях: пытаться переводить одну концептуальную традицию в другую, хотя бы отдельными элементами и малыми фрагментами. При этом, кто-то воскликнет: но ведь это разные культурные миры, найти между ними переходы невозможно! Конечно, «романтический» и аналитико-позитивистский подходы останутся различными, однако в результате переводческих усилий с обеих сторон мы сможем когда-нибудь создать область хотя бы относительно соизмеримого, интеллигибельного «третьего», в которой представители обеих традиций смогут хотя бы о чем-то говорить и понимать друг друга. Иначе говоря, я следую в подобных случаях совету Куна, который он дает ученым, попавшим в ситуацию коммуникативного кризиса: постепенно вырабатывать способы взаимного перевода одной концепции в другую, даже если это кажется совершенно невозможным. Фактически именно перевод есть способ динамизации любой структуры, превращения ее в открытую структуру. А можно сказать и иначе: перевод — это динамическая модальность структуры, способ выявления ее открытости. На пути подобного межконцептуального перевода нам предстоит огромная работа по разгребанию «куч», разъединению элементов внутри слипшихся наростов, определению их значимостей в разных контекстах. Семантика обыденного языка нам в этом поможет лишь отчасти<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Так, в концептуальном языке Гаспарова, как правило, отрицательно окрашены (из-за противостояния романтической традиции в исследовательской практике) такие слова, как «жизненный», «творческий», «свободный». В концептуальном языке Бахтина не могут быть позитивно окрашены такие слова, как «системный», «кодовый». Со словом «завершенный» дело обстоит сложнее: в принципе Бахтин всегда позитивно окрашивает не завершенность, однако иногда завершенность у него предстает в нейтральном или даже позитивном смысле — при обсуждении проблемы завершенности/незавершенности предложений языка и высказываний речи. Из всего сказанного следует, что нам совершенно необходимо владеть техниками макросмыслового и микросмыслового анализа понятий, понятийных структур и конфигураций, которые можно назвать соответственно дискурс-анализом (соотнесением определенных словесных массивов с социальной позицией говорящего), контент-анализом (анализом массивов содержаний через языковую форму их передачи), концепт-анализом (так я предпочитаю называть здесь анализ понятийных микроструктур, расчленяющих единое слово или понятие на мельчайшие составляющие, которые по-разному взаимодействуют у разных людей, пользующихся языком). Без этого мы каждый раз будем блуждать в тумане, сталкиваясь с необходимостью фундаментального анализа словесно выраженной мысли.

Все это лишь некоторые предварительные соображения на стыке между четырьмя главами конкретного материала и пятой главой, где регистр рассмотрения меняется: от проблематики конкретных филологических концепций я перехожу в новый регистр: философия — филология. Нам предстоит заняться созданием такого пространства, где можно было бы помыслить саму возможность соотнесения несоизмеримых планов в концепциях моих персонажей. Я исхожу из необходимости формирования пространства общения при всем различии конкретных установок и задач, а также отношения к понятиям, к словам, к эмпирии, к теории и различным формам рефлексии о предмете, о средствах его познания, о собственном участии в познавательной процедуре. Что это за уровень анализа? Философский: это конструктивная проблематизация всех других типов и форм анализа. Моя проблематика находится, таким образом, поверх различий того, что выше было названо немецкими роматическими традициями в европейской гуманитаристике (у Бахтина и у раннего, во всяком случае, Якобсона элементы этих традиций есть) и того, что можно считать продолжением французских аналитических традиций (в каком-то смысле и Соссюр и Пуанкаре попадут в одну общую рубрику). Тогда, быть может, мы по-новому поймем различия и пересечения между традицией Бахтина и традицией Гаспарова и еще многое другое.

Наконец, несколько слов о реальных формах структуралистской мысли. На примере Якобсона видно, что структура всегда может быть открытой, даже если прямо об этом речь не идет. Дело в том, что на первом этапе становления мысли о структуре главной потребностью была защита и утверждение имманентных представлений о структуре, защищенных от каких-либо внешних воздействий, а также от внутренней нестабильности. После того как эта позиция была упрочена, пришла пора увидеть и защитить другое — открытость структуры, так что это, если угодно, новая теоретическая волна, новый этап мысли о структуре. Парадоксы интуиции и надежное знание растут по мере путешествия структуры. Мысль о структуре уже совершила кругосветное путешествие, как отметил Жан-Клод Мильнер в своей работе, посвященной истории лингвистического структурализма<sup>8</sup>. Значит ли это, что мы вернулись в тихую гавань, откуда некогда отплыли? Отнюдь: ветер опять надувает паруса, идет работа по освоению пространства открытой структуры, по созданию условий соизмеримости человеческого опыта, выраженного в языке, причем все это — не парение легких облаков, а

<sup>8</sup> Milner J.-C. *Le périple structural. Figure et paradigmes*. Paris, 2002.

трудное культурное дело: эта работа идет в тяжелых условиях, в разреженном воздухе, где нечем дышать, вахтенным способом, бригады исследователей сменяют друг друга, но она все равно идет.

## § 2. Философия и филология: резонансы споров

Расскажу здесь об одной интересной дискуссии между философами и филологами, которая была организована журналом «Новое литературное обозрение»<sup>9</sup>, а также о некоторых близких по проблематике выступлениях в печати. Эта дискуссия состоялась уже больше десяти лет назад, но отзвуки ее до сих пор слышны. Преодоления отчуждения между философами и филологами эта дискуссия не принесла, скорее наоборот, она закрепила это отчуждение, но все же дала некоторое прояснение позиций. Очевидно при этом, что даже собеседники, заинтересованные в том, чтобы из обсуждения что-то получилось, нередко демонстрировали «технику взаимонепонимания», а потому и само это взаимонепонимание для нас поучительно. Как складывались темы и присмыслы обеих этих дисциплин, какова их нынешняя позиция по отношению друг к другу?

### О филологической философии

Любопытную точку зрения на взаимоотношения философии и филологии предложил А. Пятигорский<sup>10</sup>: если философия первой половины XX века была лингвистической, то всю философию второй половины века (собственно современную философию) он называет филологической. Иначе говоря, Лакан и Деррида как филологические философы (для которых язык бесконечен и неисчислим) пришли на смену Витгенштейну и Айеру (для которых язык конечен и исчислим). Поскольку филология — это универсальный текст о текстах, а философия — универсальный текст о

<sup>9</sup> Философия филологии (круглый стол) // НЛО. 1996. № 17. С. 45–93. В дискуссии приняли участие постоянные авторы и сотрудники журнала НЛО, а также группа философов, связанных с издательством «Ad Marginem». Среди выступавших были С. Зенкин, М. Гаспаров, В. Мильчина, С. Козлов, В. Курицын, В. Подорога, И. Прохорова, М. Рыклин, О. Аронсон, Е. Деготь, Б. Дубин, А. Зорин, В. Биbihин, А. Иванов. Поскольку полюсами в дискуссии стали позиции М. Гаспарова и В. Подороги, речь в дальнейшем пойдет преимущественно об этих концепциях — без претензии на охват всего разнообразия мнений.

<sup>10</sup> Пятигорский А. Краткие заметки о философском в его отношении к филологическому // Philologica. 1995. 3–4. С. 127–130.

мышлении, филологическая философия несет в себе некий парадоксальный импульс: она опирается на текст как на свой первичный материал, но вместе с тем выходит за рамки текстуального.

Получается так: философия некогда сама вытолкнула филологию в жизнь. Иначе говоря, философия, которая изначально была изушной, вывела текст (или, по крайней мере, некоторые тексты) — как нечто не-свое — за собственные пределы и тем самым дала филологии свободу дальнейшего самостоятельного развития. Но филология, вскоре забыв о том, чем была обязана философии, стала все тексты воспринимать и описывать как свои. А философия, выйдя из стадии изушности и нуждаясь в надежном закреплении результатов своей работы, спохватилась об этой некогда дарованной волюнице, но столкнулась с уже укрепившимся другом-врагом.

Можно, наверное, сказать, что своего рода борьба с языком для философии незапамятна. Но ее формы были разными. Лингвистическая философия первой половины XX века была, наверное, наиболее радикальной попыткой навести порядок с языковой формой существования знания. Однако на этом пути ее ждали разочарования: языковые предложения не фиксировали факты, а факты не соответствовали истинам реального мира, так как сами оказывались нагружены культурными предпосылками восприятия или теоретическими схемами. А теперь свособразной формой этой борьбы становится «филологическая философия»: тут в ход идут не методические стратегии, а приемы партизанской войны и охотничьи уловки<sup>11</sup>. Требуется уже не столько прояснить сказанное, сколько найти секрет самого языкового творчества, выманить наружу скрывающиеся в тексте силы означающего.

А сделать это было легче всего на материале экспериментальных литературных (или в широком смысле — филологических) текстов. Девиз «философия и литература» (или «философия как литература»), еще раньше провозглашенный романтиками, а позже — Валери, был с энтузиазмом подхвачен многими, в том числе и сторонниками позднего Хайдеггера. А в современной

<sup>11</sup> Так, например, в своей книге «О грамматологии» Деррида называет свой метод — «чрезвычайным» (exhorbitant), «из круга нон выходящим»: этот неметодологический метод опирается больше на чутье (собачье или охотничье — *flair*), чем на последовательность выверенных процедур. «Деррида — не хуже филолог, чем Лотман» — заявляет один из участников дискуссии, проведенной НЛЮ. Наверное, незримо присутствующий здесь Пятигорский сбивает всех с толку своей «филологической философией», однако «филология» при такой философии может быть только метафорической. Деррида чужд систематической филологии (одна деталь, одна фраза могут быть у него укрупнены до того, чтобы стать основанием общей трактовки текста в целом), да и зачем это ему нужно — быть филологом?

России — чем дальше, тем больше литература как философия, литература как наша форма философии<sup>12</sup> выходит на первый план, причем к этой не только российской тенденции (связанной, в частности, с оттоком социальных эмоций от науки и познания) добавились свои культурные мотивировки и исторические основания. Среди них — необходимость самоопределения по отношению к традиционному литературоцентризму русской культуры. Под словом «литературоцентризм» обычно подразумевается целый комплекс явлений, среди которых главное — это подмена в общественном пространстве жизни ума жизнью сердца, выполнение функций философов и социальных деятелей — публицистами и писателями, которые не столько развивали способность суждения, сколько жгли сердца глаголом. На фоне аналитически-рассудочного Запада в этой замене были своя сила и обаяние, но были и свои опасности, которые чем дальше, тем больше давали о себе знать. Призыв к дифференцированному развитию культурных функций, слепленных воедино в российском феномене литературоцентризма, входит сейчас в проект многих философских подходов.

Когда мы далее говорим о философии и филологии, мы вовсе не имеем в виду философию вообще или философию в России в целом. Речь идет о том ответвлении философского поиска в России, которое, следуя Пятигорскому, можно было бы отнести к «филологической философии», а в моей терминологии — к «антифилологической философии» (это как раз та группа философов, которые приняли участие в дискуссии, организованной НЛО). В перспективе интересов, задаваемых нашей темой, у этой философии двойное призвание. Одно (общее с другими философскими подходами) — борьба с вышеупомянутым литературоцентризмом, замена эрзац-философии образов философией понятий. Другое (более специфическое) — определение своего отношения к языку на фоне собственно филологии (поскольку этот подход выбирает для себя литературный или «филологический» материал). Получается, однако, так, что выполнению первой задачи (выработке понятий) мешает враждебное отношение к языку при отсутствии явной формулировки собственного метода. Это подталкивает в сторону антиутопий языка — сходных с теми, что отличают литературные тексты, на которые опирается это направление философского поиска.

<sup>12</sup> И такая позиция очень востребована. См.: Поэзия как жанр русской философии. Антология / Сост. И. Н. Сиземская. М., 2007. Антологии предшествует вступительное слово: Сиземская И. Н. Русская философия и лирическая поэзия: «Согласие ума и сердца» // Там же. С. 5—28.

Ставя «некогда великой» филологии диагноз болезни и упадка, представители российской «филологической [в смысле Пятигорского] философии» некогда написали ей некролог. При этом те из них, кто сожалеет об этом упадке, полагают, что новая философия, вооруженная постструктуралистскими идеями, например, идеей деконструкции, сможет вывести филологию из кризиса, снабдит ее новыми средствами работы.

Эта помощная точка зрения была обрисована М. Ямпольским в программном интервью группы «Ad Marginem»<sup>13</sup>. Общая картина такова. На протяжении долгих лет советской власти философия у нас была на периферии культуры; она не была продуктивной. Центральной дисциплиной выступала скорее филология, которая впитывала все новейшие идеи (структурализм, семиотика, исследования мифа, психоанализ и др.). А сейчас филология переживает «очень тяжелый кризис», обусловленный общим кризисом структурной методологии. Очевидно замирание рефлексии, все силы брошены на архивную работу, публикации, комментарии и предисловия. В обществе образовался интеллектуальный вакуум, а тем самым в нем высвободилось место и для философии, которое раньше занимали другие дисциплины. Выйти из своего нынешнего тупика филология сможет только с помощью философии: в любом случае новации, связанные с описанием микроструктур, могут прийти в филологию только через философию.

Эта позиция по отношению к филологии вызывает вопросы и раздумья.

Разве не «нормально» для филологии то, в чем видится ее кризис? Наверное, мысль о кризисе возникает при взгляде на филологию извне. Ведь для филолога комментирование, архивная работа и предисловия, вводящие текст, принадлежащий прошлому, в современную культуру, — это и есть его собственная повседневная работа. Скорее, вторичным по отношению ко всем этим вышеперечисленным способам деятельности будет сочинение интерпретаций и теорий.

Верно, что метод осознания собственной работы был у филологов в загоне, что мешало им (как и любым другим «предметникам») — в противоположность философам с их натренированной рефлексией — четко различать метод и предмет<sup>14</sup>. Но по-

<sup>13</sup> Философия по краям. Интервью А. Иванова с В. Подорогой и М. Ямпольским // Ad Marginem 93. Ежегодник. М., 1994. С. 19.

<sup>14</sup> В быденном смысле слова рефлексия — это сосредоточенность на рассмотрении какого-либо объекта. В философском смысле — это отказ от непосредственного.

чему тогда у некоторых из них (в первую очередь, у Лотмана) было меньше явных идеологизаций, чем, например, у французских структуралистов — того же Леви-Строса, который, при всем его философском образовании, не только помещал дихотомию природа—культура в основу дикарского мышления, не задаваясь вопросом о том, насколько оно соответствует дикарскому мышлению, но и явно идеализировал дикаря?

Крах структурной методологии как основа краха филологии далеко не так очевиден, как кажется. Скорее очевидно падение общественного интереса к направлениям, притязавшим на научность и объективность. Однако как в России, так и во Франции 1960—1970-х годов, исследователи-структуралисты продолжали работать (хотя их взгляды нередко претерпевали некоторую естественную эволюцию) и после того, как волна социальных эмоций устремилась совсем в другом направлении. Во Франции, во всяком случае, именно эта эмоция сначала превратила структуральную методологию, спокойно существовавшую и в 1950-е годы, в клич битвы с различными субъективистскими философиями (мы об этом уже говорили), и даже в своего рода научную философию как таковую, а потом быстро откатилась в сторону, покинув эпистемологию в пользу этики и политики. Но отток социальной поддержки и внешнего интереса не есть сам по себе крах структурной методологии — тем более что эта методология была еще слишком мало использована в конкретных областях знания, чтобы судить о пределах ее применимости.

За тезисом о потере филологией ее привилегированного статуса можно видеть другие мотивы — «власти», «репрессивности» и ее преодоления. Вот только кто господствует? В каком-то смысле «господствующим», привилегированным статусом обладала в советском социальном пространстве, конечно, не филология, а философия (догматически препарированная). Именно она диктовала филологии, какие этапы освободительной борьбы должны быть положены в основу написания, скажем, истории литературы. Однако в более широком смысле можно сказать, что обе дисциплины находились в весьма сложном положении в советской культуре, а теперь, в постсоветский период, они равным образом

---

спонтанного восприятия и поиск самообоснования. Начиная с Декарта рефлексия становится философским принципом как таковым, принципом философского мышления. У Декарта рефлексия — это главное методологическое понятие, которое требует отвернуться от прямолинейного рассмотрения объектов, от непосредственности внешнего опыта — чтобы рассмотреть тот слой опыта, те модальности восприятия, в которых нам даны предметы. Рефлексия — это саморефлексия, отношение к самому себе, тематизация субъекта, вычленение его из спутанных связей с миром объектов, отказ от непосредственного отношения к бытию.



претерпевают все катаклизмы, связанные с разбродом и сменой общественных настроений. Так, в советское время обе дисциплины сталкивались с официальными установками и пытались находить пробелы в системе, выискивая даже в официальных директивах нечто такое, что могло бы поддаться разумной проработке (это могли быть лозунги типа «наука и научность», «гуманизм» и проч.), то, что можно было заставить работать в не dogматическом ключе. Невольное отталкивание филологов от догматического марксизма (а тем самым и от философии, и от философской рефлексии), равно как и невольное отталкивание философов от проблемы языка (господствующего и одновременно рабского), необходимость прибегать к эзопову языку — это были формы расплаты за навязчивые идеологические аспекты этих дисциплин<sup>15</sup>.

### Конфигурация позиций

Наиболее развернуто позиции сторон в споре филологов и философов были представлены на дискуссии в НЛО. После дискуссии философы жаловались на филологов: мы-де шли в гости с открытой душой, а нас встретили продуманной агрессией. Филологи сокрушались: как жаль, что философы сорвали намечавшийся интересный эксперимент — взять одно и то же литературное произведение и проанализировать его, чтобы читатель сам судил, у кого получилось интереснее. Впрочем, кажется, эксперимент не состоялся из-за того, что философы и филологи не смогли договориться об авторе, которого бы стоило взять для соревнования интеллектов и подходов<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> С конца 1980-х годов распространилась критика МТСШ как источника властного доминирующего дискурса советской эпохи. Этот миф очень похож на упрощенно-фукольдианские схемы рассуждения: все духовные продукты данной эпохи пронизаны господствующими в этот период механизмами власти и в силу этого заслуживают дискредитации. Что на это скажешь? Да, Лотман был порождением своей эпохи, когда люди выбирали: некоторые — вообще не писать, другие — смотря что и как писать. Но аргумент от имени «власти-знания» рикошетом ударяет и по критикам Лотмана. Власть у Фуко — это всегда позитивный, а не репрессивный механизм, и к тому же он покрывает все социальное пространство, так что упреки в принадлежности эпохе относятся и к самим критикам. В этом смысле, например, выйти из сферы действия механизма «надзора и наказания» можно — только не теоретизированием, а практической работой сопротивления (скажем, стоянием у ворот тюрьмы и сбором информации о заключенных, что сам Фуко и делал в период работы Группы информации о тюрьмах).

<sup>16</sup> См.: «Недавно вышел номер “Нового лит. Обозрения” со стенограммой круглого стола филологов с философами (об этом писал тебе в сентябре): приедешь — покажу. По этому поводу зашла речь, чтобы всем взять какой-нибудь один текст и разобрать, кто как горазд; но какой? Я сказал: “безымянный”; философы резко

В наиболее обобщенном и заостренном виде позицию «строгой» филологии выражал в рассматриваемой нами дискуссии М. Гаспаров<sup>17</sup>, а позицию «чистой» философии (точнее, «чисто фило-софский» подход к чтению текстов) — В. Подорога. Все остальные философы и филологи, каждый по-своему, были «уклонистами» от чистых линий. Поэтому именно о позициях Гаспарова и Подороги прежде всего идет речь, когда мы говорим собирательно о филологе и философе. Гаспаров представлял общепросветительские ценности (чтение как познание<sup>18</sup>), Подорога — позицию радикального отрицания всякой репрессивности и цивилизованный гедонизм (чтение как наслаждение). Было очевидно, что оба таланта существуют в шуточном виде и в обоих случаях — как нечто «несвоевременное»: Гаспаров, подчеркнуто, — как ископаемое животное, сформировавшееся в советскую эпоху, Подорога — как несвоевременный глашатай постмодерна в нашей действительности протомодерна. В массовом виде первый был бы совершенно невозможен, а второй, полагаю, вреден (яркие результаты одиночек оборачиваются полной катастрофой при массовом подражании постмодернистскому творчеству). Если судить по итоговому письменному тексту дискуссии, нападающей стороной выступали скорее философы, хотя они отнюдь не выглядели победителями. Они обвиняли филологию в «безмыслии» или «скудомыслии», в рабском накопительстве знаний, противоположном «суверенному движению мысли», в том, что эта устаревшая, музейная, жреческая наука притязает на хранение сакральных текстов<sup>19</sup> и связанные с этим социальные привилегии. Ну ладно, говорили философы, так уж и быть, изучайте свои сакральные тексты, но не трогайте нашу современность, тут вам с вашим историко-культурным подходом делать нечего. Что вы можете понять в современных практиках письма и чтения, если вы и сами не умеете наслаждаться чтением и другим мешаете?

---

воспротивились. Им нужно было имя автора, чтобы заранее сформировать установку подхода. Я сказал: «обэриутский»; тут воспротивились и те и другие, а почему — явно объяснить не могли. Я когда-нибудь еще напишу филологический разбор чего-нибудь обэриутского, но представить себе, из каких философских осколков составляли они свой бриколаж, я без тебя не смогу». См.: Приложение. Фрагмент письма: М. Гаспаров — Н. Автономовой, конец 1996. Ср. также: Ваш М. Г. С. 372—373.

<sup>17</sup> Ср. также: *Гаспаров М. Л.* Критика как самоцель // НЛО. 1994. № 6. С. 6—9.

<sup>18</sup> Напомню, что речь здесь идет не о читателе, но об исследователе, а это совершенно разные позиции, даже если они совмещаются в одном человеке.

<sup>19</sup> Эта позиция, на первый взгляд неожиданно, напоминает Бахтина/Волошинова в первой части «Марксизма и философия языка». Просто удивительно насколько это, оказывается, общий набор утверждений для определенной каноноборческой позиции: филология — сакральная, жреческая дисциплина, она изучает мертвую материю языков, нам с ней не по дороге.

Впрочем, даже когда вы собираете факты и тихо строите свои интерпретации, вы все равно мешаете читателю: ему важны не ваши узоры, сплетенные из болезненной бессмыслицы «других» текстов (именно такие «бессмысленные» тексты интересны философам). Читателю важно испытать те же эмоциональные чувственные состояния, которые испытывали автор и его персонажи: быть в холодном поту, дрожать от страха, теряться в лабиринте бессмыслицы, реально переживать воображаемую, виртуальную действительность, в которую переносит нас текст, выталкивая читателя за границы привычного опыта, за пределы его телесной и духовной самотождественности.

Филологи отвечали вопросом на вопрос: а разве вы читаете тексты? Нет, вы читаете (слышите) лишь самих себя и видите в тексте лишь то, что сами в него вкладываете. От этого бескрайнего нарциссического<sup>20</sup> субъективизма нам, филологам, и приходится «охранять» культурные памятники, пытаюсь по мере возможности показать, что в тех или иных трактовках ближе к «самому тексту» и к эпохе автора, а что явно привнесено в него эпохой читателя, его вкусами и привычками. Эти вещи различать трудно, но так или иначе возможно и необходимо.

Что общего и что разного между философами и филологами? У них во многом общий материал — текст, хотя объекты из этого материала они выкраивают разные. У них безусловно разные способы интерпретации текстов, а кроме того — разные акценты: на чужом в тексте (филология как служба понимания) или на своем в тексте (философия). Для филолога почти все наиболее важное в тексте выразимо словами, для философа — ничто важное в тексте словами не выражается.

Гаспаров держался за позитивный факт и с нарочитой огрубленностью предлагал проверять меру научности в познании сведением к формуле «дважды два — четыре, а что сверх того — то от лукавого»... Да, я викторианец, бурбон и позитивист, — заявлял Гаспаров, а Рыклин всерьез напоминал ему азы современной философии науки: фактов не бывает, а бывают только интерпретации, так что

<sup>20</sup> Строго говоря, образ нарциссизма как, прежде всего, визуального отношения применительно к философам неточен: для них визуальное отношение, на котором строится вся западная культура и вся классическая философия, слишком интеллектуально, отстраненно. На первый план выдвигаются другие сенсорные источники ощущения. Прежде всего, речь идет о «слепых» пластических формах — осязании, разнообразных кожных реакциях. Это приводит к сдвигу от философии усмотрения (сущностей, видов, идей) к проблематике непосредственных телесных проявлений, к рассмотрению различных форм внешнего, поверхностного, наружного, которые кладутся в основу общей антропологической картины. По-видимому, неразрешимым остается тут вопрос о том, как формулируется, сообщается и передается опыт такого уровня, равно как и вопрос о соотношении вербальных и невербальных, дискурсивных и недискурсивных приемов работы.

отказ от философии — это тоже философская позиция. В ходе дискуссии филологам неоднократно указывали на их эпистемологическую наивность и запаздывание с рефлексией. В отношении филологов эти упреки, как уже отмечалось, отчасти справедливы.

Сейчас — одно замечание в сторону. Думаю, что в некоторых случаях такое запаздывание рефлексии и «наивное» доверие фактам могут оказаться полезными, особенно если учесть различные ритмы развития научных дисциплин — теоретического естествознания, на основе которого и строилась позитивистская и постпозитивистская рефлексия, и гуманитарных дисциплин, где в ряде областей у нас нет не то что теории, а просто элементарного описания и первичной классификации данных. Здесь «позитивистские схемы» исчерпают свой смысл лишь тогда, когда этапы описания, систематизации и классификации будут пройдены (что откроет дорогу и другим подходам), а не в результате их отбрасывания как неважных и ненужных. Совокупное доверие фактам и здравому смыслу (учет многосторонности явлений при отказе от идеологии снятия и удержания наилучшего) было и остается надежной основой для многих видов филологической работы.

Таков гаспаровский случай. Наверное, «арьергардно-позитивистское» сознание и застойная социальная действительность (позволявшая скудно выживать, сосредоточившись на фундаментальных проектах, требовавших огромной, десятилетней и более работы, подчас «внеплановой», параллельно с другими делами) в какой-то мере объясняют могучий научный замысел Гаспарова — сравнительное статистическое исследование метрики и ритмики русского и европейского стиха (всех периодов и на всех языках). Мы уже видели, как эти условия позволили Гаспарову продумать и провести в жизнь свой проект, явно противный духу эпохи развитого постпозитивизма и постмодернизма. В данном случае важно то, что, независимо от критериев выбора и обоснования факта в той новой науке, которую он создал (отчасти об этом выше говорилось), сама системность проработки огромного материала под единым углом зрения дала общезначимый результат, в известной степени восполняя отсутствие явных форм рефлексии. И, напротив, самая сильная интуиция исследователя при таком «чисто философском» прочтении текстов, которое отрицает язык, останется личным прозрением, если она не будет подтверждена системным обзором другого материала, сосуществующего с разбираемым в культуре.

Заслуживает особого внимания тот факт, что философы, которые пишут о литературе, пишут только о великих людях, они анализируют только то, что считают «великой литературой»: все

остальное для них внимания философа не заслуживает (это рассуждение мне довелось слышать неоднократно, только зря оно приписывается филологии, которая представляет собой антитезу такому подходу и опровержение его своеобразной наивности). Уж кто-кто, а филология знает, что понять «генералов» от литературы вне породившего их культурного фона, без учета тех закономерностей, которым они следуют и которые они преодолевают, невозможно. Точнее, это не будет научное знание.

Когда филолог, вооруженный структурными методами анализа текстовых отношений, трактует разного рода несистемные предметы, он выявляет в них системность, на первый взгляд, не видимую. Скажем, читая тексты Андрея Платонова, написанные на крайне изломанном языке, он проникается чувством удивительного стилистического единства этих текстов, а потом стремится как-то обосновать свои ощущения, вычленив повторяющиеся фигуры, складывающиеся в строгую стилистическую систему употребляемых средств<sup>21</sup>. Поскольку эти средства используются последовательно и систематично (критерии — повторение, взаимосвязи элементов), постольку для филолога они осмысленны, хотя в них и нет единства мыслящего сознания. Но они, по крайней мере, так же осмысленны, как мифы или маски у Леви-Строса.

<sup>21</sup> В университете я писала по собственному почину и не для отметки (под руководством Гаспарова) работу о метафорах и метонимиях в прозе Исаака Бабеля и Андрея Платонова. До сих пор жалею, что собранный мною материал не сохранился. Зато некоторое знание «филологической» фактуры текстов Платонова пригодилось мне на одном философском обсуждении — в Дубровнике на Школе молодого философа, последней конференции, где участвовал М. К. Мамарданлиев. а еще С. Бак-Морс, С. Жижек, Б. Гройс, Ф. Джеймисон, Е. Петровская, М. Рыклин, ряд коллег из бывших социалистических стран — Болгарии и Румынии. На этой конференции я делала доклад «Аверинцев и Гаспаров: два исследовательских подхода» (текст никогда не публиковался и потом затерялся, о чем тоже сожалею, в 1990 году об этом не говорили и не писали). Валерий Подорога выступал с докладом об Андрее Платонове и, кроме того, руководил нашим совместным групповым чтением платоновского «Котлована». Однако тут в проведение семинара вторгся лингвистический (и переводческий) фактор, который несколько нарушил замысел чтения. Дело в том, что половина участников семинара читала текст по-русски, а половина — по-английски. Текст читался и обсуждался пофразно и поабзапно. Сразу же обнаружилось нечто, для филолога вполне обычное: когда смеялась или бурно реагировала одна половина зала, другая подчас недоумевала, пытаясь мысленно заглянуть в неподдающийся их лингвистическим навыкам текст оригинала, — и наоборот. Филолога такие странности поведения не удивляют; не все словесные особенности имеют эквиваленты в чужом языке, не всегда строение фразы в разных языках позволяет строить параллельные переводы (так было бы лишь в случае подстрочного перевода, а у нас был обычный). Думаю, что этот эксперимент показал, что на принципах «анти-языка», не учитывая словесную фактуру, невозможно изучать философскую смысловую (или абсурдную) ткань произведения.

Когда за подобные тексты берется философия, она подчеркивает в них несистемность, абсурдность, бессмысленность, невладение сознания этими текстовыми построениями. Пушкин — «порочаше ясен» (Подорога). Вот Гоголь — это да! Он дал ценный путь дальнейшего развития русской литературы — к Платонову и Андрею Белому. Как мы знаем, Пушкин синтезировал то, что существовало в литературе до него, и призывал развивать отсутствующий «метафизический» русский язык — т. е. язык абстрактных понятий. Несмотря на некоторое продвижение, особенно, в связи с переводом, этот призыв, по сути, так с ним и остался. По крайней мере, от Гоголя с его уходом от реального мира в фантастический, до Достоевского — с его корчащимся языком — того «метафизического» развития русского языка, о котором мечтал Пушкин, не получилось, и оно всегда у нас впереди. А пока аналитическая антропология Достоевского строится с помощью делёзовской картографии. У Подороги это получается ярко и интересно, но как-то уж слишком легко все стягивается к одному знаменателю: небрежение словом из-за огромной (пороговой) силы эмоций. При этом единообразно описываются, например, совершенно разные способы организации опыта для разного типа «тел» (тело — это огромная новая метафора современной философии). Интуиции философов по поводу читаемого часто представляются глубокими, но найти им текстовое оправдание гораздо сложнее, чем они думают<sup>22</sup>, тем более, если вести борьбу не на живот, а на смерть с «текстовой поверхностью» языка.

### Мимесис против семиозиса

Филология, с точки зрения тех философов, о которых здесь идет речь, повернутых к литературе и отличающихся особым взглядом на литературу (как на дело философской антропологии), неактуальна по определению, ибо невозможна как филология настоящего. И все потому, что она превращает переживаемое событие чтения в «исторические документы», в мертвую вещь. Про филологию, с точки зрения философов, нельзя даже сказать,

<sup>22</sup> С филологической точки зрения, о языке того или иного произведения Достоевского, например, нельзя было бы судить без учета словарных данных по Достоевскому в целом и по языку его эпохи. Там, где философ видит «тавтологичность» мышления, выраженную бедным спотыкающимся языком, филолог замечает бездну тонко различенных значений и т. д. и т. п.

права она или не права: она просто не имеет никакого отношения к тем самым важным для современной культуры текстам, которые «бессмысленны», но несут в себе, можно сказать, заряд некоей нерепрессивной жизненности. При этом свою собственную технику чтения философы не показывают, утверждая, что она не имеет отношения к языку, и провозглашают принципы «непосредственного» чтения, которое призвано выявить «собственную коммуникативную стратегию» произведения. Скажу сразу же: чтение в языке — это в высшей степени опосредованное чтение.

Здесь я обращусь к тексту В. Подороги, созданному через 10 лет после описываемого здесь диспута философов и филологов. Это яркая и интересная работа. Хорошую, только слишком краткую рецензию на книгу Подороги «Мимесис»<sup>23</sup> написал С. Зенкин<sup>24</sup>, который считает (и для филолога это комплимент), что при желании ее можно читать, отвлекаясь от более общих проблем — просто как интересные наблюдения над текстами. Эти наблюдения подчас действительно завораживают читателя: вот у Гоголя, утверждает Подорога, одержимый мотив — «куча» разной формы и величины, причем ее бесформленность уравнивается, *ритмом* (в форме «магического числа»  $7(+/-2)$ ), так что и гоголевские кучи, и гоголевские перечисления не превышают числа  $7(+/-2)$ <sup>25</sup>. Рассказывая об этом любопытном наблюдении автора, Зенкин резонно спрашивает, и к его вопросу нельзя не присоединиться: а кто сказал, что это — специфика Гоголя? Быть может, указанные цифры — это средняя длина перечислений в других художественных (или нехудожественных) текстах? Но у философа подход иной и желания проверить свое яркое наблюдение у него не возникает.

Другое любопытное соображение — о двойничестве в произведениях Гоголя и Достоевского. Сама эта тема не нова (равно как и утверждение о том, что у Гоголя двойники внешние, а у Достоевского — внутренние), но по этому поводу высказываются и новые суждения, например: у Достоевского двойник, вопреки тому, что думает Бахтин, — не партнер по диалогу, а совсем наоборот — предел диалога, столкновение с самой его

<sup>23</sup> Подорога В. Мимесис. М., 2006.

<sup>24</sup> Точнее, это разбор внутри общего обзорного текста. Зенкин С. Умозрение и словесность: Заметки (не совсем) о теории, 15 // НЛЮ. 2007. № 85 (<http://magazines.russ.ru/nlo/2007/85/zc31.html>).

<sup>25</sup> Подорога В.А. Мимесис. С. 74. При этом куча — не единственный образ хаоса: помимо этого — хаос, беспорядок, прах, ветошь, а магическое число — не единственная исчислимость (или неисчислимость): наряду с этим существуют толпы, рой, множества, мириады и др.

невозможностью<sup>26</sup>, ведь диалог возникает в речи, в условиях семиозиса, а двойники *подражают* друг другу без всякой дистанции, в процессе мимесиса. Такая мысль Бахтину бы явно не понравилась: он не смотрит на диалог как на явление семиотической природы (неизбежно предполагающей кодовые отношения). В своем анализе Зенкин подчеркивает, что мимесис и семиозис есть не что иное (у Подороги) как противопоставление философского филологическому. Но ведь не все филологическое является семиозисом и, тем более, не все философское — мимесисом. Что касается концепции мимесиса как близкого, недистантного взаимодействия на аффективной основе, то оно встречалось мне во французской литературе, проникнутой психоаналитическим духом и одновременно — постдерридианским пафосом, прежде всего — у Микселя Борш-Якобсена<sup>27</sup>; Зенкин называет и несколько других источников сходных концепций мимесиса. При этом Подорога (философ), напомним, претендует на некоторый непосредственный (миметический) контакт с автором произведения — поверх всех культурных и исторических обстоятельств (*иначе такой контакт не будет прямым и непосредственным*). Очевидно, что исторический фон, отношения с контекстом, предшественниками и современниками, а также с их способами письма и литературного анализа философа не интересуют: «Не-историзм составляет конститутивную, пожалуй, даже сознательную особенность проводимого им анализа; возможно, именно он больше всего отделяет этот анализ от традиций филологического изучения литературы»<sup>28</sup>, считает Зенкин, и в этом он совершенно прав. Однако и к истории, и к культуре философ все же обращается — уже в тот момент, когда в истории русской литературы он вычленяет свой предмет, называя его «экспериментальная», «другая» литература, подчеркивая соответственно, что у нее — «другие читатели»<sup>29</sup>. Моей целью здесь является не развернутый анализ объемистой и содержательной книги, которая заслуживает отдельного обсуждения, но прежде всего рассмотрение того, что относится в ней к проблеме соотношения философии и филологии.

<sup>26</sup> Там же. С. 527.

<sup>27</sup> Русская транслитерация американского произношения имени этого философа, долгое время работавшего в Страсбурге с Жаном-Люком Нанси и Филиппом Лаку-Лабартом. — Борш-Джекобсен. Я сохраняю более мне привычную транслитерацию французского произношения его имени.

<sup>28</sup> Зенкин С. Умозрение и словесность: Заметки (не совсем) о теории, 15 // НЛО. 2007. № 85.

<sup>29</sup> «Мы другие читатели, мы другие, не те, что были... сегодня мы — антропологи литературы». Подорога В. Мимесис. С. 14.



«Другая литература», о которой говорит Подорога и которую он берется анализировать, это Кафка, Пруст, Гоголь, Достоевский, Платонов, Белый<sup>30</sup>, Хармс и др.<sup>31</sup>. Она отлична от «образцовой» литературы. Она, если угодно, улавливает, осуществляет некую перманентную художественную революцию<sup>32</sup>. Старый подход, отталкивающийся от «образцов», поддерживает у читателя референциальную иллюзию, тогда как *другая*, экспериментальная литература имеет дело только с текстовой реальностью произведений.

При этом выдвигается еще один важный тезис: речь идет об особой форме не вообще литературы, но русской литературы (тогда, правда, не очень понятно, причем тут Кафка или Пруст?). Критикуя тех, кто не видит в русской литературе должной оформленности, философ выдвигает такой тезис: в русской литературе в качестве «формообразующей константы» выступает «бесформенность»<sup>33</sup>. Это либо парадокс, либо трюизм (форма складывается из бесформенного). Но вот еще что важно: в таком своем виде этот принцип формообразующей бесформенности становится странным образом похож на ту органицистскую неза-

<sup>30</sup> Читать наследие можно по-разному. Кто-то взял Андрея Белого как образец «другой» прозы: кто-то — как предтечу современной сравнительно-статистической науки о стихе. Известно, что Белый огорчился, что никто его не поддерживал: он был уверен, что метод научного изучения стиха у него гениальный, а все остальное так себе, а ему отвечали: это вы гениальный, а метод у вас — гроша ломаного не стоит. Как известно, для Гаспарова Белый был, прежде всего, предтечей точной науки о стихе, а для Подороги — представителем «другой» литературы, и все это вполне объяснимо и естественно.

<sup>31</sup> Понятие «другой» имеет почти культовое значение во Франции. Мы помним, что на риторических повторах этого слова Фуко построил свою прощальную речь над гробом Делёза. «Augment» — т. е. «по-другому», «иначе» — это заглавие популярного французского альманаха, который посвящается самым разным темам. Во всяком случае, понятно, что Подорогину терминологическое прилагательное «другой», поставленное курсивом, имеет, несмотря на однокоренность, иной ряд значений, нежели бахтинский «другой».

<sup>32</sup> Про перманентную революцию Подорога не говорит, но про придворную или дворянскую литературу, от которой он отталкивается, говорит. Кун не мог бы написать работу про перманентную научную революцию, в его системе понятий это был бы нонсенс. Однако по сути такой же нонсенс получается, если живописать и перманентную художественную революцию. В следующем параграфе этой главы я предлагаю набросок иной схемы соотношений между каноном и органом, а также между экспериментальными и иными способами художественного творчества: в зависимости от отношения к прошлому эти позиции будут названы «авангардистскими» и «постмодернистскими».

<sup>33</sup> «Вот мой вопрос: разве можно допустить, что русская литература не имеет стремления к форме, не имеет, как все другие европейские литературы, формообразующей константы, т. е. формы, но *другой* (которую принято называть бесформенностью)?» // Подорога В. А. Мимесис. С. 13. Хочется спросить: значит ли сказанное, что русская бесформенность — это и есть форма? Это вопрос для более тщательного обсуждения в историческом, теоретическом и опытно-практическом плане.

вершенность бытия, которая нашла свое привилегированное выражение в бахтинском феномене мениппеи и особом жанре романа, о чем у нас уже шла речь. Только у Бахтина при этом не было никакого специфически русского акцента: у него и Гоголь, и Достоевский, и Рабле равно годились быть примерами этой вечной процессуальности становления инаковым, выраженной в слове. А у философа формотворческий потенциал бесформенности подается как родовая печать русской литературы. И это даже заставляет нас вспомнить о «другой науке», о «русской науке» у раннего восточноевропейского Якобсона.

Итак, что мы видим в данном случае? В роли читателя здесь — безусловно талантливый человек, который интересно описывает свои впечатления. Но что это за жанр? Бахтин говорил — роман и тем самым ввел многих в заблуждение: люди думали, что речь идет о реальных романах из реальной истории литературы, а это была скорее яркая конструкция, воплощавшая его идею незавершенного бытия.

В коридоре Института философии я как-то разговаривала с умным человеком, симпатизирующим письму и стилю Подороги. Но когда я осмелилась его спросить — «что это?», он сказал: «не знаю», просто нравится. Иначе говоря, мы не знаем, что это, и такого вопроса себе не задаем. Однако тут что-то не так. Если я читаю роман, и он мне нравится, то это вполне допустимо, независимо от того, почему он мне нравится и как я его понимаю. Если я читаю книжку Цветаевой «Мой Пушкин», то мне интересно, что один поэт думает о другом поэте. Но в данном случае мы не имеем дело просто с писательством умного и продвинутого читателя. Дело в том, что претензия книги — построение философской антропологии (у Зенкина об этом речь не идет), притом такой, которая претендует на «предельную объективность»<sup>14</sup>. Хочется, конечно, узнать, что здесь понимается под объективностью, а прямо это нигде не говорится. В любом случае, при этом подразумевается некоторое прямое касание, которое не проходит регистрацию в аппарате репрезентации, не является событием семиотического порядка и отпечатывается как след (например, ожога на коже) и

<sup>14</sup> «Техника антропологического анализа, — подчеркивает Подорога, — позволяет рассматривать литературу с предельно объективных позиций». (Курсив мой. — Н.А.) В качестве аналогии приводится ситуация антрополога «на островах Полинезии»: он становится «чистым наблюдателем», который, не зная ни языка, ни обычаев, описывает то, что видит: при этом он, разумеется, отказывается от интерпретации фактов и от философских спекуляций. Подорога В. А. Мимесис. С. 15. Думаю, что с вопросом о предельно объективном описании антропология без эпистемологии не справится: он заслуживает пристального внимания и широкого обсуждения, которое выходит за рамки данного случая.

одновременно — как доказательство того, что философ (критик) находился в одной лаборатории с творцом произведения в самый момент творения. Как бы то ни было, объективность — это не просто слово, это очень важный и принципиальный тезис, который для начала требует разъяснений от того, кто его выдвигает, потому что контекст в данном случае не столько поясняет, сколько проблематизирует данное высказывание. Если предположить, что философ находится в лаборатории самого первосоздателя произведения, то как быть тем, кто читает философа? Тоже зажмуриться и представить себя в лаборатории рядом с творцом и рядом с философом? При этом фактически предполагается, что мимесис заразен и передается вне знаков. Однако ведь отрицая репрезентацию, философ, описывающий свои впечатления и делящийся ими с читателем, сам прибегает к репрезентациям, только ему не хочется это признавать<sup>35</sup>; тем самым тезис о непосредственной передаче впечатления или переживания ставится под вопрос. И это лишь самая малая часть вопросов, которые здесь напрашиваются и которые нужно обсуждать — не в кружке, а в сообществе, чтобы для всех была польза.

Мне в голову пришла одна неожиданная для меня самой аналогия. Поделюсь ею как гипотезой, которая требует проверки. Это гипотеза о некоторых сходствах — через времена и эпохи — между Достоевским Бахтина и Достоевским Подороги или, точнее, между Подорогой и Бахтиным через их трактовки Достоевского. Боюсь, что эта аналогия не понравится ни Бахтину, ни Подороге. Подобно тому, как Достоевский Бахтина — это Достоевский эпохи модерна с его полифонией и диалогом, так Достоевский Подороги — это Достоевский эпохи постмодерна с отсутствием референции, репрезентации и упреждающих смыслов. У Бахтина мы видели набросок философской этики, а у Подороги набросок философской эстетики. Общее между ними то, что ни тот, ни другой не хотят иметь отношения к такому знанию, которое требовало бы проверки общезначимыми критериями. Новое понимание воображения — достойная тема: с ней, так или иначе, связано все, что есть серьезного в постмодернистской мысли. Связи любой философии с механизмами воображения очень важны, однако это, думаю, не только не отменяет, но, напротив, подчеркивает главный вопрос: как связаны схемы воображения со схемами умо-

<sup>35</sup> Зенкин это подмечает и точно формулирует: Подорога исключает репрезентацию (как опосредованное отношение) из позиций своих персонажей, но не из своей собственной позиции: сам он, так или иначе, репрезентирует своих персонажей, вовсе не ограничиваясь попыткой дать нам почувствовать (мимикрически и миметически) их специфику.

постигаемости, интеллигибельности, рациональности? Вопрос о воображении не упраздняет вопроса об умопостигаемости, если мы не хотим, чтобы человек тоже упразднился.

Сам Бахтин, как известно, не претендовал быть методологом, его возвели в сан методолога гуманитарных наук его более поздние читатели в 1960—1970-е и позднее — в 1990-е годы. Подорога сам провозгласил свой подход свидетельством и проявлением «предельно объективной» философской антропологии. Так как при этом он подчеркивает и тезис о непосредственности постижения и своего собственного контакта с постигаемым, то он тем самым ставит себя в привилегированную позицию: сам он ни в каких опосредующих контактах не нуждается, а это значит в данном случае, что он, прежде всего, не нуждается в филологии и любые произведения любых литератур и любых эпох читает и истолковывает непосредственно и самостоятельно (интересно было переспросить: а читает как — все в подлинниках?) Так вот при всех различиях между Бахтиным и Подорогой в рассматриваемом здесь аспекте, тезис настойчивого, я бы сказала даже, заостряя мысль, агрессивного, антифилологизма у Бахтина и у Подороги — общий. Самое интересное, что и слова, которыми выражается эта позиция, одни и те же: долой всяческую сакрализацию, привилегии жрецов, нам дано непосредственное общение с теми предметами, которые нам интересны. Но ведь сакральная жреческая филология для наших времен — это один из социальных мифов. Тот филолог, который заслуживает быть филологом, делает огромную культурную работу, которая, к сожалению, философу не интересна. Конечно, сейчас не время обсуждать этот вопрос подробно, но не наметить его хотя бы контурно я не могу: в самом деле, почему философская антропология — а она возникла в 1990-годы в связи с множественными преобразованиями исследовательского и преподавательского пространства в постсоветской России — (при всех своих различиях, во всех своих изводах и вариантах) несет на своих знаменах — специально заостряю мысль — этот «воинствующий антифилологизм»? Это свойственно и мэтрам, и их ученикам (Ф. Гиренок, Д. Гачев, А. Нилов). Почему все эти варианты философской антропологии воспламенились борьбой с филологией и, так сказать, с языком: что это — прямое следствие естественных процессов самоутверждения или симптом более сложной игры интеллектуальных сил в культурном поле? Как бы то ни было, все эти явления, на которые мало кто обращает внимание за рамками более или менее замкнутых анклавов, где они существуют, заслуживают общего внимания и изучения — в различных контекстах и с разных точек зрения.

А сейчас мы опять отступим назад — к тому месту, где обсуждался философско-филологический спор середины 1990-х годов, от которого мы отвлеклись на вопрос о мимесисе, репрезентации и сопряженных сюжетах. В наборе предпочтений у тех философов, которые принимали участие в споре с филологами, главные места занимали три связанные между собою момента. Назову их так: актуальное, непосредственное, бессмысленное.

*Актуальность.* По-видимому, за упреком филологии в ее неактуальности стоит несколько мотивов. Прежде всего, это попытка отобрать у филологии определенные тексты, нужные философии, — назовем их языково-экспериментальными (это Джойс, Кафка, Платонов, Валери, Пруст, Белый, Бретон, Малларме, Беккет, Введенский, Хармс). В более широком смысле слова — это попытка утвердить свое право на «непосредственное» чтение *любых* текстов. В этих устремлениях можно видеть то, что один исследователь-литературовед назвал реваншем читателя над писателем<sup>36</sup>: натерпевшись авангардистских над собой экспериментов, постмодернистский читатель решил пересилить это творческое письмо своим еще более творческим чтением ( в следующем параграфе я попытаюсь расширить перспективу осмысления того и другого — постмодернизма и авангардизма — это будет экспериментальная проверка более широкой типологии)<sup>37</sup>.

Все перечисленные выше в списке авторы писали «взрывные» тексты, противоречащие обыденным представлениям о смысле. Если бы за них принялся филолог, он сумел бы как-то связать разрозненные фрагменты смысла. Философ уверен: так делать нельзя: надо оставить бессмыслицу такой, по возможности нетронутой или даже усилить ее переживание. Однако, замечу, ведь это художественная задача: ее выполнение не может быть одновременно и анализом, и переживанием. При этом философы пишут и пишут, как бы не замечая, что «непосредственное переживание» в искусстве невозможно и что (если бы действительно речь шла о нем) лучше было бы передавать его в прямом контакте с собеседником — жестами, устной речью. Но какие у нас есть

<sup>36</sup> Шапир М. И. Эстетический опыт XX века: авангард и постмодернизм // *Philologica*, 1995. № 3—4. С. 135—143.

<sup>37</sup> Пятигорский, напомню, утверждал, нарочито заостряя ситуацию, что филологу не нужны *новые* тексты (он всегда скажет что-то новое о старом), а философу вообще не нужны тексты (он сам их сочинит). Однако это, конечно, перегиб, поскольку тексты как раз нужны философу как материал — и для деконструкции, и для работы по устранению литературоцентризма.

основания верить философу, когда он утверждает, что именно его прочтение вычлениает подлинную «коммуникативную стратегию произведения»? Ведь он делает явный выбор: выбирает из всей философии и всей литературы только неустойчивый, «бессмысленный» материал. Не потому ли, что его легче подчинить своей творческой воле, нежели более упорядоченные формы? И тут мы неожиданно слышим речи, следующие программе бахтинского романа, сочиненного по схеме мениппеи. Эпохи разные — Бахтин относится к эпохе модерна, а наши философы, как они сами считают, к эпохе постмодерна, однако странным образом оказывается, что познавательная установка одна и та же. Из этого вытекает много интересных следствий, останавливаться на которых я сейчас не буду.

*Бессмысленность (неупорядоченность).* Говоря о смысле и бессмыслице, филологи и философы имеют в виду разные фигуры смысла. Филологические смыслы менее антропоморфные: если тот или иной узор (звуков, значений, графем) более упорядочен, чем при игре в кости, если в нем есть периодичность повторений, значит, в нем уже есть смысл<sup>38</sup>. Философские смыслы более антропоморфные: для философа смысл предполагает осознание, овладение (или неовладение), само наличие субъекта, осуществляющего эти операции. Однако и в филологической работе с «неупорядоченным» и «бессмысленным» обнаруживается нечто такое, что, наверное, стоило бы учесть и философу.

Прежде всего — то, что бессмыслица повсюду сопровождает человеческую жизнь и человеческую работу с языком (известно, что синхронные переводчики не понимают ничего из переводимого, и если бы стремились понимать, не смогли бы переводить; понимание складывается позже, в результате динамического синтеза речи, ретроспективно — когда у нас в ушах уже звучит следующая фраза, еще до сознания не добравшаяся) и что осмысление всегда (а не только по занудству филологов) наступает задним числом и представляет собой определенную конструкцию. Это конструирование, если отнестись к нему осознанно, предполагает ряд правил. Например, требуется учитывать, что внутри каждого текста имеются более упорядоченные и менее упорядоченные слои и уровни (иногда менее упорядочен семантический, более упорядочен синтаксический, иногда наоборот);

<sup>38</sup> Поэтому высказанное в одной из последних дискуссий, проведенных редакцией «Нового литературного обозрения», замечание о том, что поиск смысла есть не что иное, как признак отжившей идеологии Серебряного века, а теперь он нам не нужен, вряд ли можно считать уместным.

что в один и тот же период в культуре всегда сосуществуют более упорядоченные и менее упорядоченные формы текстов; что периоды большей или меньшей упорядоченности сменяют друг друга в истории культуры вообще и в той или иной национальной культуре, в частности; что сила впечатления, производимого текстом, зависит от фоновых ожиданий, определяемых преобладанием в культуре тех или иных текстов; что впечатление упорядоченности-неупорядоченности меняется в зависимости от числа прочтений (первое, второе, многократное); что в культуре происходит постепенная эмансипация и расширение средств выражения, в силу чего радикально новый прием становится общим местом и проч. И, кстати, что художественные эксперименты не возникают сразу на всех уровнях произведения: при всех самых радикальных инновациях, как правило, есть что-то, что сохраняется и опирается на привычку культурного восприятия, даже если все остальное ее нарушает.

Именно поэтому неупорядоченное, бессмысленное не может ни существовать, ни рассматриваться само по себе, в отрыве от «упорядоченного» и «осмысленного». В поздних работах Лотмана, где читатели заметили только «взрыв», оставалось и даже подчеркивалось, совсем как раньше, что в каждый отдельный период существует и постепенное и взрывное, причем эта разветвленность противонаправленных тенденций обычно вызывает резкие столкновения между современниками, которые замечают или подчеркивают что-то одно, тогда как историку культуры видна, прежде всего, их взаимная необходимость. Все это — вещи эмпирические, однако они небезразличны и для жизни философских смыслов (или бессмыслиц) в культуре. Наверное, те философы, о которых идет речь, откажутся от самой связки упорядоченного с осмысленным, равно как и от того языкового материала, на котором эти вещи можно наблюдать и проверять. Останется, однако, открытым вопрос о том, каковы те моменты «общезначимости», на которые философ неизбежно делает ставку, когда он обращается к другому и рассказывает ему о своем опыте.

*Непосредственность, переживание, удовольствие.* Апология непосредственной установки на переживание и критерий удовольствия при чтении для нас немного неожиданны — ведь речь идет не о рецептивной эстетике, а о «чисто философском» чтении текстов. Порядок переживания и порядок знания — это, разумеется, не одно и то же. Можно полагать, что в известном смысле никакое научное знание (а не только филология) «не имеет отношения к непосредственному переживанию» и что именно потому оно и

может быть наукой, что отвлекается (и в анализе, и в изложении результатов познания) от непосредственного переживания. Природа знания и природа реального — тоже различны. Концепт собаки не лает и не утешает нас собачьей преданностью, а структуры семьи и брака не согревают, как домашний очаг. Но нас может согреть или потрясти художественный образ Каштанки<sup>39</sup>, равно как и картины семейной жизни у Льва Толстого. Весь вопрос в том, зачем философам эти привилегии поэтов и художников?

На Западе литературная, эстетическая ориентированность многих современных поисков в философии была обусловлена путем ее своеобразной эволюции, веками «рациональной» проработки тех или иных культурных содержаний, исчерпанностью уже осуществленных подходов, при том, что эти поиски занимали лишь ограниченный отсек в общем поле философской работы. Насколько этот эстетический в широком смысле слова поворот актуален для философской мысли в России, которая имеет и общие с Западом, и специфические задачи, — это вопрос, и вопрос спорный.

И вообще — насколько возможно непосредственное чтение и непосредственное отношение к читаемому? Ведь в известном смысле ничто прямо человеку не дано: ни вещи, ни слова, ни даже эмоции. Искусство не есть нечто непосредственное, сырые переживания и сырые эмоции. Ошибочно думать, будто в искусстве человек имеет дело с хаосом эмоций<sup>40</sup>. Человек не реактивен,

<sup>39</sup> М. И. Шапир, опубликовавший дело жизни Бориса Исааковича Ярхо — «Методологию точного литературоведения», — проводит любопытную параллель между образами собаки у Ярхо и у Гаспарова. У Ярхо «собачка Жучка» упоминается не как персонаж в логических задачах, но как представитель биологического вида: «Скелет данной собачки Жучки столь же неповторим, как "Божественная Комедия", но у него будет множество признаков, общих со скелетами других пуделей, как у "Божественной Комедии" будет ряд признаков, общих с другими видениями, и по ним мы так же устанавливаем понятие "видения" и подчиняем экзemplар <> виду <> как Жучку относим к породе "пудель"» (Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. М., 2006. С. 361). Ярхо в данном случае остается в рамках сопоставления литературоведения и биологии. С Гаспаровым, который во многом следовал Ярхо, дело обстоит сложнее. Если Ярхо говорит о реальном четвероногом, то Гаспаров использует литературный (чеховский) персонаж — Каштанку, и это сразу показывает радикальное различие в трактовке самой аналогии между биологией и точным литературоведением как науками.

<sup>40</sup> «Мысль логическая и мысль поэтическая — это борьба с небытием и бесформенностью. Условны поэтому все усилия искусством ловить неуловимое; в том числе, например, *поток сознания*. Попытки ввергнуть искусство обратно в хаос, противный его природе победителя хаоса, обличает слабость теоретических предпосылок. Искусство — это другое. Потому что непосредственное логическое и доэстетическое переживание жизни есть неразбериха из элементов разного качества, а искусство — организация и единство материала». См.: Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Новое собрание. М., 1999. С. 399.



как животное, и не обладает интеллектуальной интуицией, как Бог, для которого мысль и сотворение помысленного неразрывны. Человек живет в мире следов и промедлений: смыслы строятся в его голове лишь задним числом и даже травмы от душевного ушиба складываются в болезнь лишь при оглядке на предшествующий опыт — сознательный или неосознанный. Притязая на непосредственность переживания и описания, те философы, которые высказывают эту претензию, тем самым притязают на нечто внечеловеческое. Они хотят быть как дети (или как животные) или как боги, иметь почти звериную чувствительность на уровне кожных реакций и почти божественную интуицию происходящего и постигаемого в их единстве. Конечно, чувство бессмыслицы переживается непосредственно. Но «чисто философский» подход к бессмысленному тексту уже не является непосредственным. Он уже предполагает анализ, что философы не могут не признать, а также многократное перепрочтение одного и того же текста, что в корне меняет его первичное восприятие, что как раз и не учитывается.

Спор о критериях правильного чтения в терминах, заданных философами, — «умею или не умею наслаждаться» — вряд ли может быть продуктивным. «Строгий» филолог Гаспаров не считает возможным делиться личными переживаниями, а в разговоре с читателем ищет общезначимый язык. Философ, принимающий постулат непосредственности, опирается на критерий удовольствия от чтения. Но это выглядит скорее провокативно, чем аргументативно. В понятие удовольствия включается слишком многое (эмоциональный всплеск и разрядка, психотерапевтический эффект, удивление, интерес, эмоция от познания нового, от расширения сферы чувственного опыта при чтении и др.), чтобы оно могло быть критерием подлинности чтения. На одном полюсе это приводит нас к некоему обобщенному гедонизму, а на другом — к почти классическому катарсису. К тому же, если признать, что познание всегда сопровождается эмоциями и без эмоций не существует, то теряется основание для исключения филологов из числа способных наслаждаться чтением (работой с текстом): ведь познавательное (эпистемофилическое) влечение и соответствующая ему эмоция ничем не хуже (а в чем-то, может быть, и лучше?) всех других.

## Какие дефициты опаснее?

Казалось бы, разбираясь в предпосылках строгой филологии и чистой философии, мы приходим к классическому противопоставлению позитивизма и феноменологизма (или своеобразного феноменоведения, потому что «феноменологизм» звучит слишком логично)<sup>41</sup>. Однако это вовсе не чистая оппозиция. Так, у Гаспарова позиция классического позитивизма обогащена структурализмом и восполнена огромной эрудицией, обострившей исследовательскую интуицию. У Подороги феноменологический антипозитивизм обогащен элементами разных философий. Философы подчас упрекают филологов в сокрытии своих истоков, а сами не любят говорить о том, откуда они родом, что создает для непросвещенного читателя дополнительные трудности. А в их концепциях отчетливо различимы явные элементы нищестанства (философ-художник), фундаментальной и прикладной феноменологии (элементы учения о редукции, субъект-объектная корреляция, правда, с установкой не на активную интенциональность, а на пассивную аффицированность), поздней французской феноменологии (Мерло-Понти и проблема тела и восприятия), Валери (философия как литература), Фуко (власть-знание), Делёза (планы имманенции, картография, силы и интенсивности, элементы витализма — произведение как организм, у которого есть свое время жизни) и др. Вместе со всем этим на первый план выходят множественность, акцент на желании как политической силе, неразличение субъекта и объекта в пользу недифференцированной мажоры взаимовлияний, сингулярность события и др.

Итак, в дискуссии филологов и философов философы более всего интересовались «шифровкой чувственных дефицитов» в (литературных) текстах и обогащением опыта читателя, способного испытать новые ощущения. Я вижу главную задачу иначе: это не «шифровка чувственных дефицитов», а формулировка концептуальных дефицитов. И дело не в том, что чувственных дефицитов в культуре нет или что работа с ними не важна. Дело в акцентах, предпочтениях, основных направлениях работы. Именно концептуальные дефициты сейчас — большое место повсюду: в философии, в педагогике, во всех областях гуманитарного познания, вообще в социальной жизни. Выработка умения читать тек-

<sup>41</sup> Если классическая феноменологическая эстетика Р. Ингардена исключала непосредственную интуицию и предполагала несколько ступеней рационально-интуитивного построения «эстетических предметностей», то для философско-читателей, о которых идет речь, главное — акцент на «миге» «подлинного существования произведения».

сты помогает преодолевать эти нехватки, причем это касается не только философии, но и всех других областей культуры. Навыки чтения, предполагающие умение вычитать собственные эмоции, а не привносить их в текст, формировались в развитых культурах Запада столетиями; без них нельзя себе представить цивилизованного политика, юриста, педагога.

Отношения между философией и филологией не определены раз и навсегда, они складываются в конкретных обстоятельствах, предполагающих культурные взаимодействия и постижение языков друг друга. При этом будет хорошо, если филолог не будет бояться философской рефлексии и станет видеть в ней опору, а не помеху, а философ преодолеет свой страх перед «агрессивностью» языка, который якобы лишает сознание его суверенности. Опыт борьбы с языком философы, группировавшиеся в 1990-е годы во круг издательства «Ad Marginem», получили одновременно и из рук наших шестидесятников (и прежде всего — Мамардашвили<sup>42</sup>), и из рук западных коллег, которые решают свои и в общем иные, чем мы, задачи. Тем самым он оказывается либо слишком архаичным (наша культурная ситуация теперь не та, что в 1960-е годы), либо слишком новаторским (наш социальный опыт во многом относится не к «пост-модерну», а к «прото-модерну»).

Все эти обстоятельства позволяют предположить, что в нынешней ситуации — и примерно на четверть века вперед — речь может идти не о помощи (ослабевшей) филологии со стороны философии, но также (и в меньшей степени) — о помощи философии со стороны филологии. Именно филология, профессионально призванная быть службой связи в культуре, может помочь (и реально помогает) философии, например, в проработке и построении русского концептуального языка, столь нужного сейчас культуре в целом и философии, в частности. Все вопросы, относящиеся к выработке философского языка в ситуации дефицита

<sup>42</sup> Мамардашвили боролся с текстовой поверхностью философии в другую эпоху, когда на обычные русские философские ограничения накладывались советские идеологические клише в использовании языка. Если мы хотим преодолеть и литературоцентристскую ситуацию (или, по крайней мере, обернуть ее во благо), и ту ситуацию с «великим, могучим и свободным» русским языком, на котором хотелось скорее молчать или думать про себя, на котором невозможно было вырабатывать свой *собственный философский стиль*, на что неоднократно сетовал Мамардашвили, то нам следует начать с осознанной разработки концептуального языка, что сейчас и происходит в современной российской философии, осваивающей переведенные труды западной мысли. Что же касается самого Мамардашвили — нашего «значимого другого» — то его важно сейчас правильно прочитать и еще много раз перечитывать. Сам он читал многих, но прочитывал чаще всего то, что было жизненно и интеллектуально важно ему самому, — начальный акт свободной и суверенной мысли, *cogito*.

понятий, к практикам чтения текстов, без которых невозможно писать историю философии, заставляют философию учитывать приемы и навыки филологической работы, а вместе с тем — артикулировать в слове базисные для философии способы связи вербального и невербального, понятийного и переживаемого.

### § 3. Гипотеза: «постмодернизм» и «авангардизм» в широкой перспективе

Итак, мы только что видели такой отбор литературы, который предполагает только «другое», только «экспериментальное», что, очевидно, означает, что все явления «другого» так или иначе друг с другом связаны, что они, если угодно, образуют цепочку, звенья которой держатся каждое своим «другим», им вдохновляются, от него отталкиваются: «другое» в таком случае приобретает свою прочность и даже субстанциональность. Мне кажется, что в истории культуры схема наследования или отталкивания всегда строится более сложно, и что конструктивным «другим», или, иначе говоря, «экспериментальным», новым в культуре могло быть не только то, что сейчас представляется нам «другим», но и то, что сейчас представляется нам «классическим» или «образцовым».

Исследование фаз литературного творчества, смены литературных направлений — это одна из немногих областей знания, где очевидно наблюдается неукоснительное следование определенным закономерностям (по крайней мере, в области европейской культуры). Литературный процесс во всех европейских культурах непременно проходит определенную последовательность стадий, хотя бывают и пробелы: так, за последние века это — барокко, классицизм, романтизм, реализм, различные формы сюрреализма и др.; та или иная стадия в той или иной литературе может наступить раньше или позже, она никогда не будет буквальным повторением заимствуемого образца, она может быть полномасштабной или же свернутой, и все равно — сама эта последовательность неумолима.

В материалах представленной дискуссии и в первых главах книги, так или иначе, присутствовали отсылки к постмодернизму, хотя четких пояснений относительно того, что имеется (или может иметься) в виду под постмодернизмом, не давалось. Сейчас я попробую сделать шаг в сторону и представить постмодерн (условно — постмодернизм) не как специфическое явление определенного времени и места, но скорее как некую общую установ-

ку, которая (в паре с авангардизмом) регулярно разыгрывает свой потенциал в череде культурных перемен. Думаю, что ввод «постмодернизма» в некий историко-типологический контекст позволит по-новому взглянуть и на современность, и на постсовременность.

Что это будет за шаг? Он — философский, потому что предполагает скорее типологию, нежели собственно историко-филологический или историко-культурный подход. Однако вместе с тем он — филологический, потому что обращает внимание на факты, только использует их не в полном наборе качеств, создающих специфику явления: я выбираю один из признаков (отношение к прошлому), который прилагается далее к истории литературы и истории культуры. В результате у нас получается новый взгляд на историю, которая, конечно же, к этой типологии не сводится<sup>43</sup>. Прописывание этого механизма литературных и культурных перемен оттеняет те содержательные моменты, которые в иных случаях остаются в тени или вообще теряются.

Итак, понятие постмодернизма возникло в начале XX века, но укрепилось во второй половине XX века. Его подосновой было то, что новое поколение подняло новую волну интенсивного ощущения собственной новизны в западной культуре. На ближайшем поле рассмотрения это будет уже третья волна, если считать первой романтизм конца XVIII—начала XIX в. и модернизм конца XIX—начала XX в. Для нас важно, что ощущение и осознание нового не есть нечто однородное и нерасчлененное — новое как таковое. На обозримом для нас культурном материале имеет смысл вычленить два главных способа отталкивания от собственного культурного прошлого и перехода к новому (или призыва к переходу в новое). В упрощенной и краткой характеристике первый способ — это разятие прошлого и вольное оперирование его элементами в новых и новых комбинациях. Второй способ — это отмена прошлого и попытки создания чего-то абсолютно нового и как можно более непохожего. Первый способ как раз и можно было бы назвать постмодернистским, а второй — авангардистским.

Поясню это примерами из русской литературы начала XX века. Русским модернизмом был символизм. Он вызвал реакцию в двух прямо противоположных направлениях: акмеизме и футуризме. Акмеисты стали писать стихи, казавшиеся самостоятельными и новыми, — однако так, что начитанный человек легко угадывал в их словах и словосочетаниях отсылки то к Пушкину, то к Данте, то к

<sup>43</sup> Вариант этой схемы, которая неоднократно обсуждалась с Гаспаровым, предлагался в моей статье «Возвращаясь к азам» // Вопросы философии. 1993. № 3.

последнему номеру журнала «Аполлон»<sup>44</sup>. Это была литература, опиравшаяся на литературу. Общеизвестным мастером такого подхода считается Мандельштам. В его стихах исследователи выделяют глубокий пласт ассоциаций как с собственными стихами, так и со словами и мыслями множества предшественников и современников<sup>45</sup>.

Футуристы поступали иначе: они, напротив, делали все возможное или даже невозможное, чтобы казаться абсолютно новыми, небывальными. Если что-то напоминало прежний художественный опыт, оно немедленно устранялось и заменялось другим: в их стихах и картинах все должно было быть ни на что не похоже, ниоткуда не заимствовано — чем необычнее, «чуждее», тем лучше. Писать стихи нужно было так, будто это первые стихи на свете. Будто это сочинение первого человека на голой земле. Средством создания такой первозданной поэзии считалось «самовитое» слово — слово, отрывающееся от действительности и в пределе — превращающееся в заумный язык.

Если перевести взгляд с русского материала на западный, то можно заметить сходные закономерности, впрочем, с некоторыми оговорками. Так, акмеизм в самостоятельное течение внутри западной поэзии не выделился, хотя у младших символистов есть явные аналоги акмеизму. Их символизм и их акмеизм объединяются историками в общую рубрику — модернизм. А западный аналог русского футуризма получил у нынешних историков литературы название «авангардизм» (хотя современники называли его по-разному: в Италии футуризмом, во Франции — кубизмом). Конечно, переходных явлений между ними было много, однако все же различие между постмодернистской и авангардистской реакциями на модернизм прослеживается четко.

Обе позиции — постмодернизм и авангардизм — различны не только по смыслу, но и по своему месту и роли в общей цепочке культурных наследований и отталкиваний. Поначалу позиция постмодернизма представляется более прочной, ибо его всеядность позволяет «переваривать» в принципе что угодно. Авангардизму существовать не так удобно, ибо завоевание абсолютной новизны, хотя и приносит более громкую и яркую победу, в принципе недолговечно. Какое-нибудь авангардистское открытие (например, «конкретная поэзия»<sup>46</sup>) считается «открытием» очень недолго: уже первое повторение найденного приема наскучивает.

<sup>44</sup> «Аполлон» — литературно-художественный журнал, издававшийся в 1909—1917 годах в Петербурге, связанный с символизмом, а позднее — с акмеизмом.

<sup>45</sup> Эти слои перекличек можно назвать контекстом, подтекстом, затекстом (все эти термины употребляются разными исследователями по-разному).

<sup>46</sup> Течение в авангардном искусстве, наследующее русскому футуризму, западному дадаизму, основано на межъязыковом экспериментаторстве.

Однако в более широкой исторической, временной перспективе картина оказывается иной. Реакции авангардистского типа как наиболее осязаемый пик новизны порождают в дальнейшем следующую противоположную реакцию; именно по линии смены авангардистских позиций строится главная цепочка сменяющих друг друга стилей и художественных принципов в истории культуры.

А теперь попробуем рассмотреть постмодернизм и авангардизм не как феномены XX века, но как постоянное функциональное звено во временном механизме культурных изменений. У историков европейской культуры и искусства еще с начала XX века (и это не случайный момент!) стала складываться схема контрастного чередования культурных эпох: ренессанс — барокко — классицизм — романтизм — реализм — модернизм. Каждая новая эпоха отталкивалась от предыдущей по принципу, который выше был назван авангардистским: чтобы все было не как раньше, чтобы все было наоборот. Постмодернизму, кажется, в этой схеме места нет и быть не может. Но попробуем все-таки поискать.

Начнем с Возрождения. В интересующем нас смысле культурного наследования Ренессанс вызвал не одну, а две основные художественные реакции — академизм и барокко. Академизм был провозглашен в XVII веке Болонской школой во главе с братьями Карраччи; он исходил из представления, что эпоха великих мастеров кончилась, что все возможные завоевания в искусстве уже сделаны, что новым художникам остается только брать от классиков какой-то прием или совокупность приемов, какие-то их качества<sup>47</sup>. Такой набор заимствуемых признаков, не образующий сколько-нибудь законченной системы, и стал программной основой академизма. Противоположны академизму принципы барокко. Здесь господствует установка на совершенно новое — и по настроению, и по технике, и по содержанию, и по форме: статика сменяется динамикой, гармония — дисгармонией, закрытость — открытостью и т. д. Если применить наши понятия в том смысле, какой был придан им выше, такой академизм можно будет назвать постмодернистской реакцией, а барокко — авангардистской.

На следующей ступени — разветвляющейся реакции на барокко — в качестве постмодернистского ответа на барокко выступает рококо, а в качестве авангардистского — классицизм. Рококо заимствует все основные признаки барокко, только в более мелком масштабе, используя прошлое по частям. Что касается классицизма, то, конечно, сама мысль о классицизме в функции авангардизма звучит как парадокс. Когда-то Гаспаров, говоря об истории

<sup>47</sup> У Микеланджело — силу, у Рафаэля — гармонию, у Тициана — красочность и т. д. и т. п.

метрики и ритмики русского стиха, назвал Ломоносова «Маяковским XVIII века». Это тоже звучало как парадокс, однако оказалось, что возразить этому трудно: по смыслу своих языковых и стиховых новаций Ломоносов на фоне современной ему русской традиционной словесной культуры действовал именно как футурист (или авангардист).

Пойдем дальше. Классицизм XVII—XVIII веков дает в качестве основной, авангардистской реакции предромантизм Руссо и течение «Штурм унд Дранг», а потом и романтизм, а в качестве боковой постмодернистской реакции — веймарский классицизм Гёте—Шиллера, весьма отличный от классицизма Корнелия и Расина; это был классицизм, уже воспринявший и переосмысливший опыт предромантизма, а может быть также и романтизма: мы видим это в трагедиях зрелого Шиллера, у Гёте во второй части «Фауста» (напомню, что субъективно Гёте к романтизму относился весьма отрицательно). То, что романтизм был реакцией авангардистского типа на прошлое, не требуется и доказывать: об этом свидетельствует романтический пафос новизны, самобытности каждого творящего гения.

Романтизм, в свою очередь, прорастает боковым побегом во французский «Парнас», а магистральным — в реализм. «Парнас» берет основной признак романтизма — интерес к экзотике, акцентируя историческую и географическую экзотику, предпочитает изображать даже не родное европейское Средневековье, а античный, исламский, индийский художественный мир и т.д. Момент постмодернистской эклектичности у парнасцев — сочетание романтической тематики с вполне классицистическим культом гармонически уравновешенной строгой формы. Реализм же представляет собой авангардистскую по типу реакцию на романтизм. В реализме (хотя мы привыкли этого не замечать) продолжается интерес к романтической экзотике — только, в отличие от «Парнаса», это не историческая, а социальная экзотика: предметом литературного изображения становятся ранее никогда не представленные в литературе низы общества. А романтическая порывистость и вдохновенная дисгармония сменяются трезвостью и спокойствием новой, позитивистской эпохи.

Реализм вызывает в качестве постмодернистской реакции натурализм XIX века (от Золя до П. Д. Боборыкина), а в качестве прямой, магистральной, антитетической, авангардистской реакции — символизм. Натурализм доводит до логического предела различные признаки реализма, стремясь, в конечном счете, перерасти из художественной сферы в исследовательскую — стать строгим и объективным социально-психологическим исследованием современности. Что касается авангардистских черт сим-



волизма, то они видны на примерах Верлена, Рембо, Малларме в Европе, молодого Брюсова в России и поколение спустя — стихов Бурлюка и Хлебникова.

Круг, кажется, почти замкнулся: о футуризме как авангардистской реакции на символизм и, шире, на модернизм мы уже говорили, об акмеизме как постмодернистской реакции — тоже. Футуризм в свою очередь вызывает в качестве постмодернистской реакции обэриутство, которому не дано было раскрыться, а в качестве авангардистской (опять знакомый парадокс!) — социалистический реализм. Вспомним: из всех признаков футуристической программы обэриуты заимствовали прежде всего культ самовитого слова, сочетания слов и образов, порождающих эффекты поэзии абсурда. На Западе аналогом этому был сюрреализм — узнаваемые образы и в фантастических сочетаниях. Футуристический культ новизны был обэриутами отвергнут: и Хармс, и Введенский писали так, что читатель помнил и забыть не мог — до них был Хлебников. На Западе авангардистской реакцией на модернизм стала абстрактная живопись и конкретная поэзия.

В России на этом этапе имманентная логика искусства прерывается, безраздельно подчиняясь логике социальной, политической, идеологической. Разумеется, такие внешние факторы действуют всегда, однако степень вмешательства в «имманентные» сферы различна; в данном случае внешняя «логика» вполне способна была и вовсе прервать внутреннюю. Реакцией постмодернистского типа на соцреализм стал, можно считать, соц-арт — хрестоматийный пример составления своего из чужого. А что явилось авангардистской реакцией на соцреализм, сказать пока трудно.

Разумеется, все вышеизложенное — гипотеза. Дополнительно обосновывать ее по каждому историческому разветвлению художественного процесса — здесь не место и не время. Но если она верна, наш разговор о постмодернизме XX века получит другое измерение. Именно в нем отчетливее всего выразилась и сама идея свободного заимствования и оперирования теми или иными элементами, фрагментами прошлого, и необходимый при подобных заимствованиях момент эклектичности. Конечно эти, так сказать, вынужденные моменты эклектики были и в итальянском академизме, и у веймарских классицистов, и у парнасцев и тем более — в акмеизме. А затем — и в соц-арте. Однако именно в современном нам постмодернизме, на гребне многовекового культурного наследия, разнородного и трудносоизмеримого, этот признак проявился с наибольшей силой. Давление этого накопившегося разнообразия вызывает, видимо, и отличающий со-

временную форму постмодернизма отказ от глубин и иерархий — различия несоизмеримы и потому они остаются рассыпанными по внешней поверхности пространства.

Выдвигая эту гипотезу, я отлично понимаю: нет ничего легче, чем оспорить любую такую историко-культурную схему, подбирая «контр-примеры». Однако, представляется, лучше предложенная схема, которая дает свой абрис действующих в литературе и искусстве тенденций, нежели концептуальный хаос: такое бессистемное употребление терминов (модернизм, постмодернизм, авангардизм, поставангардизм), при котором постмодернизм отождествляется то с авангардизмом, то с поставангардизмом, а его отличия от модернизма то подчеркиваются, то полностью стираются. При этом очевидно, что к самым крупным художникам рубрики «постмодернизм» или «авангардизм» в чистом виде неприменимы. Так, Джойс, с его грандиозными комбинациями из всевозможных элементов мировой культуры, будет в рамках принятых нами понятий классическим представителем постмодернистской позиции, хотя, разумеется, он не укладывается в постмодернизм целиком. Или, скажем, Пикассо — он сам эпоха, в нем есть и то, и другое. И все же: с помощью предложенного критерия постмодернистские и авангардистские моменты в его творчестве различаются осмысленнее.

А теперь о философии и мировоззрении в дискуссиях по поводу постмодернизма. Постмодернизм — выражение мировоззрения *fin de siècle*. Это фиксация ситуации, в которой преобладает игровое (но не азартное, а спокойное, «без лафоса») перебирание и перекомбинирование культурных вариантов предыдущих эпох. Это идеология конца субъекта как атомарного индивида. Это размывание «репрессивных» границ и рамок между видами, родами, жанрами, формами культурной деятельности, когда в эклектические соединения вступают уже не логика и эпос, поэзия и живопись, как это неоднократно бывало раньше, но прежде всего наука и искусство, а также философия и религия. В контексте мироощущения *fin de siècle* возникает вопрос сугубо наш, российский. О какой «после-современности» здесь, в России нам говорить, когда и простая «модернизация» во многих сферах хозяйственной и духовной жизни для нас все еще желанная, но недоступная цель? Зачем нам борьба с философией систем, с философией понятия, философией рефлексивности, если это не было нашим философским наследием?

Как минимум одно объяснение этому интересу и этой пользе напрашивается, впрочем, само собой. Постмодернизм нужен нам не только для общения с собственным наследием. Если учесть, что, начиная с XVII века, Россия постоянно стремилась догнать

западные страны, причем догонять приходилось, усваивая сразу многое и разнородное, сплошь и рядом наверстывая по меньшей мере по два этапа пройденного на Западе пути (Ломоносов — это сразу и барокко и классицизм, Брюсов — это сразу и «Парнас» и символизм: в Европе эти направления успевали отменить друг друга, а у нас — лишь слиться), то станет понятнее, зачем нам нынче такой опыт обращения с элементами неуничтожимо разнообразного прошлого. Но в этом смысле постмодернизм для нас всегда впереди, а впрочем и вокруг — мы постоянно находимся среди хаоса лоскутов и обрезков опыта, которые пытаемся либо связать, либо оставить в разорванности. В этом смысле постмодернистское ощущение разрозненности опыта тоже помогает нам — помогает воздерживаться от поспешного иллюзорного синтезирования, запастись терпением, оттачивать чувствительность к жизненному и культурному разнообразию, развивать в себе возможности существования без каких-либо предустановленных гарантий (Недаром Ж.-Ф. Лиотар в своей знаменитой книге «La condition postmoderne» выделил в качестве главного программного тезиса постмодернизма необходимость «оттачивать нашу чувствительность к различиям и усиливать нашу способность переносить несоизмеримое»). Чтобы получить из соположенных различий нечто не только сложенное, но и слаженное, — нужно время, усилия, работа мысли, но подталкивать эту мысль бесполезно и даже опасно. Постмодернизм кое-чему нас учит: прежде всего, тому, чтобы игровым, ироническим образом относиться и к собственным постмодернистским пристрастиям, взглядам, понятиям. Будучи последователен, такой игровой постмодернизм сам себя подрывает, деконструирует — сам рубит сук, на котором сидит. Только вот готовы ли признать и учесть все это наши нынешние постмодернисты? Вряд ли.

Применительно к философии, к вопросу о месте философии в культуре дискуссии вокруг постмодернизма приобретают дополнительные смыслы. Острейшая проблема: снятие границ между искусством, философией, наукой и пр. — на поверку тоже не нова. Конечно, теперь мы понимаем: границы философии не заданы заранее, она меняет свои объекты, акценты, средства анализа. Означает ли это, однако, что философия не имеет вообще никакой предметной определенности, что она существует лишь в «рассеянном» виде — внутри стихов или фильмов? Обычно, когда во имя борьбы с современными «репрессивными» формами философии ей предоставляется возможность растворяться в безбрежном море инакового, то делается это ради расширения коммуникативного опыта, отныне не скованного былыми рамками и границами.

Однако снятие границ между философией и, например, искусством (или, иначе, такой гибрид, как «искусство мыслить») не расширяет, а, напротив, сужает возможности коммуникации. Потому что минимальным условием общения все равно остается рациональное (не крик, а членораздельное говорение) использование языка, посредством которого можно и не имея исходного согласия — постепенно, в размышлениях и обмене доводами — к нему приближаться. Те, кто восстает против репрессивной тирании языка, делают это все-таки не в жизненном поведении (как хотя бы пытались когда-то делать те, кого называли «хиппи»), а в словесных текстах, сказанных, написанных и напечатанных. Если же в этих текстах логика заменена игрой ассоциаций и операциями с новоизобретенными и никак не объясненными словами, то такая эстетизация философии только ограничивает ее коммуникативные возможности, ибо подчиняет их в конечном счете суждениям вкуса. Нравится нам это или не нравится, хотим мы этого или не хотим, но сейчас главной коммуникативной силой в культуре выступает наука, так как в ней больше элементов, относительно которых возможна сверка общезначимых элементов. Так было не всегда: в античной Греции, например, более важной коммуникативной силой было искусство — но, как считают специалисты, только потому, что это было искусство чрезвычайно канонизированное, общезначимое в каждом своем элементе. И такая высокая степень традиционалистичности, канонизированности искусства непреклонно держалась в течение двух тысячелетий. Как раз до той поры — так уж получилось — когда в XVIII веке с завершением эпохи научных революций возникла наука в современном смысле слова.

Далее. Апофеоз интуиции, схватывающей динамику, становление (которое, как полагают представители постмодернизма, «репрессируется» университетской академической философией), провозглашается сейчас, как представляется, не в главном ее царстве. Ясно, что отжившие и окостеневшие непродуктивные формы знания не заслуживают сохранения, но ведь речь не об этом. Можно предположить, что основная антитеза смещается: она располагается не между догматическими и «открытыми» философиями как таковыми, но скорее между философствованием как творческим процессом и историей философии как научным исследованием. Если в случае процесса любой «сюрреализм от философии» возможен и уместен, то во втором — он недопустим. И здесь не так уж важно, кого мы исследуем — Аристотеля или Ницше. Задача историко-философского исследования в принципе одна и та же. Ницше укладывается в какие-то концептуальные рамки ничуть не хуже, чем Аристотель. Впрочем, можно сказать и нечто прямо про-

тивоположное: ни тот, ни другой не укладываются ни в какие концептуальные рамки, «школьно-догматические» или любые другие.

Мне кажется, одним из мотивов современных подходов и тенденций в философии, отказывающихся видеть (или хотя бы пытаться видеть) реальность «как она есть» вне нашего самоуверенного вторжения, является некий *ressentiment* против реально совершающегося лингвистического поворота, управлять которым философия не умеет, а заимствовать средства извне считает зазорным — по крайней мере, это касается тех филологических умений, которые оттачивались веками в работе с языком. Вместо этого подобные переживания увлекают исследователей в сферу искусства, точнее, современных арт-практик, визуальных впечатлений, разнообразных перформансов: для всех этих практик, тянущихся к самоэкспликации, а иначе обреченных на безмолвие (или мычание), концептуальная помощь философии кажется светом в окошке в их контактах с публикой. Тем самым происходит взаимная подпитка аффектами, которая иногда воспринимается за доказательство общезначимости происходящего обмена: тем самым «анти-филологическая» реакция и аудиовизуальный крен в философии имплицитно друг друга, а это, как мне представляется, вовсе не обязательно и не непреложно. Конечно, это лишь схема, однако она в чем-то схватывает актуальную ситуацию.

Динамика интуиции и систематизированность познанного — это и правда, антиномия первостепенной важности. Однако если попытаться восстановить масштаб величин, мы увидим: все наши словесные революции, разрывы привычных связей между означающими и означаемыми, игры «скользящих» означающих, не соотнесенных с денотатами, — все эти и другие сдвиги и потрясения внутри сферы словесно выраженного опыта — всего лишь мелкие ухабы в сравнении с той бездной, которая отделяет словесно выраженное (как угодно выраженное) от словесно невыраженного. Чистая интуиция невыразима. Об этом нам напоминает не только Витгенштейн, кончивший свой трактат словами «о чем невозможно говорить, о том следует молчать»<sup>18</sup> («а не надеяться, что об этом можно, например, насвистеть», по едкому замечанию одного из комментаторов). Об этом напоминает и такой предельно непохожий на Витгенштейна автор, как В. Соловьев: он был человеком, который имел глубокий мистический опыт, однако в пределах своей философии, своих написанных текстов он никогда не позволял себе апеллировать к этому опыту, понимая тишету и в предельном смысле невозможность такого предприятия, и общался с читателем

<sup>18</sup> Витгенштейн Л. *Логико-философский трактат* / Пер. с нем., сверка с авториз. англ. пер. И. С. Добронравова, Д. Г. Лахути. М., 2008. С. 219.

только на языке безукоризненной логики. Да, любая философия на уровне философской деятельности, в процессе философствования — это динамика, процесс, становление. На одних этапах истории философы предпочитают предлагать своим читателям не процесс, а его результат, на других — сам этот процесс, становление.

Конечно, если настаивать на соблюдении тех или иных (сколь угодно условных) границ, на том, чтобы давать себе отчет, где ты находишься — среди философствующих или среди исследующих философию, то можно вызвать много разных упреков, и в первую очередь — упрек в репрессивном отношении к творческому началу. Очевидно, что в нынешней ситуации, когда все, кажется, устали от усилий мыслить, а тем более — выражать свои мысли, идея творчества без границ оказывается очень привлекательной. И новые скорости, и новые интенсивности, и новые сгущения разнородного материала — все это может стать источником и стимулом новых рациональных истолкований. Но для этого важно давать себе отчет в том, что протанцованная мысль — это все же не мысль, но нечто другое. Может быть, то, из чего рождается (но еще не родилась) мысль. А может быть, то, чем она стала, уже совсем (или временно) прекратив быть мыслью...

#### § 4. Философия и филология: опыт прошлого и современные задачи

Отношение философии и филологии одновременно и древнее, и актуальное. Оно складывается вокруг фундаментального для европейской культуры стыка — «слова» и «понятия»<sup>49</sup>. Слово — цельная и воспроизводимая единица языка, способ именования предметов. Понятие — способ вычленения предметов в класс путем указания на их общий и отличительный признак. Слово и понятие совершают свою работу во многом вместе: нет мысли без языка, нет развития мысли без закрепления ее в языке; слово абстрагирует и обобщает нечто в нашем опыте, и в этом смысле оно есть опора понятия. Слово в языке употребляется так, что оно со-

<sup>49</sup> Ср.: Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине языка // Язык о языке. Сб. статей / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой. М., 2000. С. 7—19. Место «слова» в обыденном сознании людей обусловлено влиянием византийской богословской традиции, для которой «слово» (Логос) означало Слово Божие и имело сакральный характер, лишь постепенно переходя и в мирские тексты. В дальнейшем именно вычленение слова положило начало аналитическому подходу к речи и далее способствовало вычленению понятий, то есть «обобщению смыслов, их отвлечению от прагматических условий коммуникации» (С. 14).

храняет свою идентичность в разных опытных контекстах. Понятия закрепляют внеконтекстные употребления слова: в диалогах Сократа/Платона мы видим такие понятия — стол или, скажем, справедливость. Но я не буду здесь играть понятием о слове и слове о понятии. И в философии и в филологии есть и то и другое, только по-разному повернутое и заостренное. Здесь я рассмотрю некоторые исторические аспекты соотношения философии и филологии и затем намечу некоторые современные области их взаимопользовательного соприкосновения.

В философии я нахожусь, прежде всего, в эпистемологической плоскости: в Западной Европе эпистемология опирается на историю и теорию науки и представляет собой учение о способах и методах, условиях и границах познания, где бы и как бы оно ни осуществлялось. Что же касается филологии, то национальные традиции употребления этого термина в ряде европейских стран (об этом уже говорилось выше) трактуют филологию прежде всего как изучение древних и восточных языков и культур — в той мере, в какой они опираются на словесные памятники. Филологию же я понимаю широко — как это позволяет нам российская традиция употребления этого термина, не имеющая предметных ограничений, подобных европейским.

Если считать филологией науку о том, как понимать культуру через памятники словесности, через тексты, то окажется, что в нее входит многое — концентрическими кругами. В центре ее современной формы — лингвистика (знать что-либо мы можем только зная естественный язык<sup>40</sup>), далее вокруг располагается литературоведение (в той мере, в какой его внимание сосредоточено на специфических особенностях языка отдельных категорий текстов), еще шире — изучение культуры в целом: оно позволяет объяснить, что значат те или иные упоминаемые в текстах предметы и их связи. В любом случае, филология имеет дело прежде всего с текстами, а тексты — главный способ закрепления философского знания, главная форма существования понятий — кирпичиков философского знания<sup>41</sup>. Кроме того, когда мы говорим о филологии, могут иметься в виду особая наука, метод работы, специфический подход, форма знания.

<sup>40</sup> Приобретение лингвистикой теоретической самостоятельности иногда осмыслялось как разрыв с традиционной филологией, однако при том широком понимании предмета филологии, которое было намечено выше, лингвистика все равно остается частью филологии.

<sup>41</sup> Вопрос о тексте, текстах не является полностью ясным. Для одних (Деррида) «вне текста ничего нет», для других, напротив, «текста не существует». О категории текст, ее становлении и различии трактовок см., например, в статье: Луи Э. Текста не существует // Доказательность и достоверность в исследованиях по теории и истории культуры. В 2 т. Т. 1. // Сост. и отв. ред. Г. С. Кнабе. М., 2002. С. 513–530. —

В древности филология возникла из потребности объяснить словесные памятники, которые уже потеряли для членов коллектива непосредственную понятность (первыми такими памятниками, осознанными как наследие, теряющее непосредственную понятность, были поэмы Гомера). При этом уяснять и растолковывать приходилось и обороты языка, и образы, связанные с теми или иными языковыми единицами, и конкретные реалии изображенной жизни. Таким образом, в состав филологии в ее современном понимании в той или иной мере и степени входят и лингвистика, и поэтика, и исследования культуры, и источниковедение, и история, и археология и др. Не всё из этих дисциплин входит в филологию, но лишь то, что имеет прямое отношение к вербально зафиксированной информации. Разбираться с исторической опосредованностью всего того, что нам дано в слове, — традиционное дело филологии. Тем самым она выступает как служба понимания в культуре. В диахронии ее предметом становилось собственное прошлое, а в синхронии — чужое, иноязычное. Свое собственное культурное «настоящее» стало предметом филологического внимания не сразу, а лишь тогда, когда в Европе стали складываться национальные языки и национальные литературы.

Исторически филология как знание о языке стала интенсивно развиваться уже у софистов, но в более оформленном и отчетливом виде — как толкование авторских текстов — появилась в Александрии в III веке до н. э. Первым ярким примером связи филологии с философией служит «Поэтика» Аристотеля: здесь отсутствует разбор отдельных произведений, зато наличествует внятное изложение предпосылок связи наших двух дисциплин. Однако как раз в этом качестве — образца связи философии с филологией — «Поэтика» Аристотеля, к сожалению, никого не заинтересовала и непосредственно заметного влияния не оказала.

Едва ли не до самого конца XVIII века между философией и филологией — по крайней мере, в тех ее разделах, которые были ближе к нынешнему «литературоведению» (связь философии с филологией через проблему языка сформировалась раньше<sup>32</sup>) —

<sup>32</sup> Ср.: Гринцер Н. П. Лингвистические основы раннегреческой философии // Язык о языке. Сб. статей. С. 45—62. В статье показана роль филологической (лингвистической) компоненты — языковых примеров, языковедческих рассуждений — в развитии раннегреческой философии, в структуре философского доказательства. «Логос» имел в себе как лингвистический, так и абстрактно-логический смысл. Язык был для философов конкретной «осознаемой» основой философствования, а философские наблюдения над языком (и прежде всего — принципы соединения и разделения) стали, в свою очередь, основанием позднейшей филологической традиции.



было больше отчужденности, чем притяжения. К примеру, Буало формулировал свою концепцию классицизма, не ссылаясь на Декарта; причем и он, и его современники опирались только на литературную практику и опыт литературной критики<sup>51</sup>. А вот уже в эпоху немецкой классической философии философия и филология оказываются заметно повернуты друг к другу: философия осознанно обращает внимание на филологию, а филология (во всяком случае, теория литературы) начинает систематически оглядываться на философию. Это, видимо, становится возможным потому, что между этими эпохами (сначала — отчужденности, затем — внимания) появляется эстетика — как раздел философии и как наука. Эксплицитно это происходит во второй половине XVIII века — в трудах Баумгартена, в статьях французских энциклопедистов.

Статус филологии в глазах философов явно повышается в постгегелевский период, в связи с сомнениями во всеобщности разума и перенесением внимания на иную форму общности — человеческий язык. Он начинает восприниматься не только как средство выражения мысли, но и как прямой участник ее формирования, способный определенным образом влиять на этот процесс. Язык осознается как фундаментальная антропологическая универсалия, как первая и главная структура человеческой и социальной жизни.

Гадамер некогда заметил, что проблема языка постепенно становится для философии такой же важной проблемой, какой ранее была проблема сознания и самосознания. Тем самым филология оказывается полем разнонаправленного философского внимания и философских притязаний. При этом на одном полюсе сосредоточивается проблематика формализации языка (в частности, проблема языка науки и научных теорий), а на другом — все больше осознается причастность языка всей толще герменевтически интерпретируемых смыслов. Между этими полюсами располагаются различные формы и уровни конкретной работы с языками и смыслами.

---

<sup>51</sup> Критика (литературная) существует с античности. Она меряла литературу прошлую и нынешнюю набором правил, которые формулировала и совершенствовала сама, без оглядки на философию. Однако, с конца XVIII века, с рассуждения Шиллера «о наивной и сентиментальной поэзии», критик начинает судить рассматриваемые произведения с оглядкой на «вечные» философские категории и на исторический процесс. В России об этом свидетельствуют, например, работы Белинского: каждый раз он начинает разбор очередного романа с того, что было при Гомере и как менялось вплоть до настоящего времени, и, во-вторых, строит свое рассуждение с учетом философских (эстетических) категорий (например, пафоса). См. об этом в ответах Гаспарова на вопросы анкеты (параграф четвертый главы четвертой).

Вопрос о статусе гуманитарного, и в частности филологического, знания подсказан философией, но в той или иной форме взрывает он и изнутри самих наук, сосредоточиваясь в особом слое знания — слое рефлексии над собственными основаниями и методами (эта эпистемологическая обеспокоенность возрастает в кризисные периоды, когда наличие сомнений перевешивает наличие уверенностей). Хотя эта рефлексия, как правило, непоследовательна, она часто присутствует в тех или иных формах. Главным моментом в процессе самоопределения гуманитарного знания всегда, так или иначе, был вопрос о его соотношении с уже сложившимся естественно-научным знанием. С конца XIX века и на протяжении всего XX века этот вопрос встает многократно и в разных формах: как вопрос о соотношении «наук о духе» и «наук о природе», «понимания» и «объяснения», «двух культур» как двух типов знания. Исторически эта альтернатива сложилась на рубеже XIX и XX веков. Марбургское неокантианство, «третий» позитивизм, структурализм занимали в этих противостояниях позиции «научности», подвергая критике соответственно герменевтические, экзистенциалистские, психоаналитические и другие подходы или отбиваясь от их критики.

1960-е годы были, наверное, последним периодом яркого противостояния, когда филологические (прежде всего — литературоведческие) теории явно разделялись по типу на сциентистские и антропологические. Первые характеризовались стремлением построить гуманитарную науку с выверенной методологией, максимально исключая из рассмотрения мировоззренческие и идеологические проблемы. Вторые делали акцент не на произведение, а на творящую и воспринимающую личность, применительно к которой уместно в принципе даже не столько познание, сколько переживание, интуиция, чувствование.

В качестве полярных филологических ориентаций в это время кристаллизуется оппозиция герменевтики и структурализма. Герменевтика предполагает возможность эмпатического постижения уникального, иногда даже без помощи языка, а в иных случаях — посредством интерпретативной работы в языке и с языком. Формально-структурные (структурно-семиотические) подходы пытаются ставить интуицию под контроль объективных, и в пределе статистически выражимых методов доказательства. Герменевтика, нацеленная на переживание уникального — хотя и на фоне общности «горизонтов» восприятия — тяготеет к искусству. Структурализм, нацеленный на познание опосредованного и общего, ориентируется на ценности науки, хотя и не пользуется самим словом «ценности». Попытку учета обеих позиций — правда,

ближе к герменевтике и феноменологии — мы видим в творчестве П. Рикёра, а ближе к структуралистской филологии — в творчестве Ю. Лотмана<sup>54</sup>.

В последней трети XX века такие опосредующие промежуточные позиции, стремившиеся так или иначе учесть обе крайности, встречаются все чаще. На снятие жесткой антитезы, хотя и на других основаниях, нежели Рикёр или Лотман, претендуют и деконструктивисты. Они подвергают критике как структурализм, так и герменевтику, противопоставляя одному более радикальные формы устранения всего, что мешает структурированию (снятие всех «центров»), и напоминая другой, якобы обходящейся без участия знаков, о первичной языковой и языкоподобной расчлененности любого познавательного материала.

Во всех этих дискуссиях вопрос об эпистемологическом статусе гуманитаристики (в нашем случае — филологии) имел целый спектр возможных решений<sup>55</sup>. Можно схематично и упрощенно представить себе следующие основные позиции.

Первая: филология есть *не знание, а мнение*, в ней существенна лишь интуиция, но отсутствуют общезначимые суждения.

Вторая: филология есть *знание, но специфическое*: его предмет и методы получения знания отличны от естественно-научных, но у этого знания есть свои критерии (например, полнота и др.).

Третья: филология есть *знание общее по методам получения с естественно-научным при сущностном различии предметов*.

Четвертая: филология есть *знание общее с естественно-научным и по предметам, и по методам*.

Тут можно выстроить и общую схему — градацию от полного несходства к тождеству естественных и гуманитарных наук. Итак, в данном случае порогами и градациями оказываются: «мнение» — «специфическое знание» — «знание, общее по методам при различии предметов» — «знание, общее и по методам, и по предметам». Претензию на научность в естественно-научном смысле так или иначе предполагают третья и четвертая позиции,

<sup>54</sup> Широта интеллектуального горизонта и одновременно художественная чуткость позволяли ему воспринимать структуру на фоне всего того, что выходит за ее рамки, но трактуется не как в принципе неструктурное, но как относящееся к иной, неизвестной нам структуре.

<sup>55</sup> В любом случае нам вряд ли стоит называть естественные и гуманитарные науки разными терминами (первые — «наука», вторые — «знание»), заведомо подчеркивая тем самым особый статус гуманитарных дисциплин. Западная терминология не дает нам однообразных подсказок на этот счет: англоязычная традиция подчеркивает специфику гуманитаристики термином *humanities*, а немецкая, напротив, подчеркивает единство наук структурой терминов *Geisteswissenschaft* и *Naturwissenschaft*. Правильнее считать, что и наука, и знание существуют и внутри гуманитарных наук, в частности, внутри филологии.

хотя в более широком смысле к области филологии как знания относится и вторая. Когда этот вопрос о критериях попадает на конкретную почву, он становится еще более запутанным из-за реального многообразия форм наличного знания, дающего пищу и доводы и «спецификаторам», и «уравнителям», и еще другим, более дробным позициям. При этом сторонники «умеренной середины», анализируя полюса между «внутренним» рассмотрением и внешним наблюдением, между сопричастностью предмету и отстраненной позицией, пытаются строить разнообразные схемы «челночного движения» между разными опорами.

Все эти упражнения с выверением критериев не являются чистой схоластикой. Внимание к структуре и реальному функционированию науки в принципе важно и для философии, и для филологии. Поначалу это были естествознание и математика — именно эта опора позволила построить и практически развернуть идеалы научной рациональности. А сейчас, когда начинает все больше осознаваться жизненная значимость знания о человеческих феноменах, о возможностях и границах гуманитарного познания, это прямо затрагивает и филологию — одну из самых древних, но и самых актуальных гуманитарных наук.

Возьмем хотя бы современное литературоведение. На одном полюсе мыслимого и возможного сосредоточено все то, что имеет отношение к овеществлению и натурализации: эта установка оказывается наиболее действенной относительно некоторых, более или менее замкнутых и завершенных фрагментов и уровней объекта (так, наиболее впечатляющие результаты дает такой подход при анализе метроритмических структур стихотворного произведения, репродуктивных форм культуры, таких, как фольклор, миф и проч.: здесь широко и достаточно плодотворно применяются математические и статистические методы). На другом же полюсе мыслительного и возможного сосредоточивается все то, что имеет отношение к уникальному опыту переживания художественного произведения, на фундаменте которого только и может надстраиваться любое сколь угодно развернутое, артикулированное, дискурсивное, понятийно выраженное суждение. Но если лирический или романтический подход к литературе достаточно распространен, то установка на точное знание достаточно редка, тем более в том максималистски далеком проведении этого подхода, который, как у Ярхо и Гаспарова, предполагает аналогию предельно научного литературоведения сегодняшнего дня с биологией прошлого века.

Вовсе не являясь беспредносмыслочным чистым знанием, то знание, которое мы получаем, следуя — в некоторых разделах литературоведения — установкам Ярхо/Гаспарова, все же оказыва-

ется менее «нагружено», чем социологические, психологические, психоаналитические, мифопоэтические и другие способы изучения произведений словесности, которые нацелены на то, чтобы вычитывать в текстах то классовые корни всех явлений (это было раньше), то архетипы и мифические эпизоды (это популярно сейчас), то уже привычную нам «душу» автора или его бессознательные комплексы.

Биологию ведь мы сейчас считаем наукой, но разве она дает нам целостный образ «жизни»? Нет, конечно, но никому и в голову не приходит ее за это ругать. А Лотман говорил: назовите мне хотя бы что-то, что не было бы тайной. И вообще: «“Пафос науки” состоит не в попытке объять необъятную, живую и пр., т. е. попросту бергсоновскую действительность — в этом отношении замечательнейший ученый будет превзойден любым визионером или художником, иногда даже всем известным глупцом»<sup>56</sup>. Задача науки — иная: это «описание поддающихся истолкованию участков или, иначе, аспектов действительности в виде стройных систем истинных и проверяемых утверждений; истинных если не абсолютно, то по отношению к некоторым иным основополагающим утверждениям-истинам. Такие системы на самом деле говорят о действительности на интеллектуальном языке, объективном и рациональном»<sup>57</sup>. А потому — продолжает свое рассуждение польский исследователь Ф. Селлецкий, — нам необходимо отказаться от всеохватных подходов, заменить «жизненный порыв» умственным усилием и добиваться истины относительной (т. е. «данной по отношению к чему-либо») не на путях веры, но на путях разума. Так почему же мы требуем, чтобы гуманитарные науки непременно давали целостного человека, его душу или еще что-либо подобное? Представляется, что строить целостное умеют — каждый по-своему — миф, религия, некоторые разделы философии, понимаемой как мировоззрение или как профетизм, не терпящий пустот и неясностей. Но не наука. Каждый волен иметь свою позицию, только и всего.

Приходится согласиться, что в целом ряде гуманитарных областей (и, в частности, в ряде разделов литературоведения), достижение собственно научных результатов и, стало быть, построение научной теории пока невозможно. Только не нужно при этом думать, будто наука у нас уже есть, только особая, гуманитарная. Честнее признать, что существуют области, где при нынешней ситуации наука и научная теория невозможны, однако признать это

<sup>56</sup> Ф. Селлецкий — Р. Якобсону. Письмо от 3. VI. 41 // Роман Якобсон: Тексты. документы, исследования. С. 52.

<sup>57</sup> Там же.

может только ученый, для которого границы между различными формами деятельности и формами знания не сливаются в общее пятно. Можно сказать, что в ряде областей гуманитарное знание еще не нашло своих констант (тогда как некоторые константы физического, естественно-научного мира уже найдены), однако отказаться от их поиска человек не вправе: это деформирует его духовный мир, лишает его метафизического достоинства. Работа со словом во имя объективности самого предмета (его вербальной материи и идейной фактуры) может породить в дальнейшем человечески значимый и надежный литературоведческий результат.

Однако, как уже неоднократно отмечалось, там, где современная филология во всем многообразии ее форм и течений могла бы, кажется, рассчитывать на просвещенное и терпеливое внимание со стороны философии, это отношение оказывается довольно односторонним и в чем-то тенденциозным. Те труды, которые стремятся быть научными без скидок на гуманитарность, как правило, интереса не вызывают. Привлекательными оказываются главным образом работы, ориентированные на «специфически» гуманитарное знание; назвать их научными в строгом смысле слова было бы затруднительно. Претензии на идеологически обеспечиваемую научность, к счастью, канули в лету, но привкус принуждения к научности остался — по крайней мере, у тех, кто это принуждение пережил. Но есть здесь и другие обстоятельства. Для российской духовной жизни издавна была характерна яростная полемика великих гуманитариев (и не только гуманитариев) с позитивистами (при, кажется, малом реальном знакомстве с их работой). И эта «антипозитивистская» традиция, так или иначе, продолжается и ныне, хотя и в самой филологии, и на стыке ее интересов с философскими интересами имеются области, требующие огромной работы описания и систематизации фактов, где без нормального «позитивистского» отношения к «фактам», способным не только вычленяться, но даже накапливаться — несмотря на все смены «теорий» — просто не обойтись. Думаю, что осмысление материала, представленного в первых четырех главах, позволит по-новому взглянуть на все эти вопросы.

Итак, антропологические тенденции в филологии сейчас привлекают философов больше, чем «сциентистские». Структурализм и позитивизм (былая антитеза, о смысле которой все уже забыли), поспешно сдаются в утиль, зато Хайдеггер, к примеру, процветает. Филологи зачарованно смотрят на философию уже не столько через вопрос о методе, сколько через вопросы «онтологические», в особенности — ободренные уверенностью Хайдеггера в том, что язык и есть дом бытия. Все это, например, «повышает

рейтинг» концепций, ориентированных на миф и мифопоэтику, дает им дополнительную легитимацию. Философы тоже вторгаются на филологические территории. И хотя филология, как правило, интересуется философией своей специфичностью, моя задача здесь — лишний раз напомнить, что филология может быть интересна философии и своим «научным» крылом<sup>58</sup>, и стыком между структурируемым и неструктурируемым, между выразимым и невыразимым, при условии, что, работая с этим пределом невыразимого, мы стремимся отодвинуть его как можно дальше, а не просто погружаемся в невыразимость или же любимся ею извне. Среди ярких примеров взаимодействия философии и филологии находится область философии и литературы — литературы как философии и философии как литературы. Главенствуют в этой области — как на Западе, так и в России — представители постмодернистской философии. Это, если можно так выразиться, область негативного внимания философии к филологии, область навязываемого философией филологии сражения — за власть, за право голоса в интерпретации, за место авторитета в суждении о словесном тексте — особенно в текстах современных. Одна из таких битв на российской почве рассматривалась выше.

Другие формы философского вторжения на традиционные филологические территории — это превращение экзегетической герменевтики, связанной с толкованием библейских и литературных текстов, в герменевтику философскую (Хайдеггер и Гадамер); повышенное философское внимание к проблемам языковой коммуникации в социуме (Хабермас); учет риторики и стилистики (школа Х. Перельмана). В центре внимания находятся вопросы, связанные с коммуникацией, а из этого логически (и фактически) вытекают проблемы содержания сообщения (герменевтика тут пригодится), проблема воздействующих аспектов сообщения (риторика и стилистика), учет позиции слушающего и взаимодействия с ним (диалог). При этом конкретная трактовка этих проблем различается в зависимости от того, кто их трактует. А именно, тот, кому важен онтологический поворот, выберет в качестве опоры герменевтику, а эксплицитную коммуникацию сочтет второстепенным моментом. Тот, кто выберет коммуникацию, как, например, Хабермас и его сторонники из Франкфуртской шко-

<sup>58</sup> Как мы помним, ни химия, ни биология не могли стать науками, пока не научились количественно фиксировать свой материал — так почему мы отказываем в такой возможности гуманитарному знанию? Оно не дает нам образа человеческой целостности? Так ведь и биологию мы ныне считаем наукой, но разве она дает нам целостный образ жизни? Конечно, нет. Так почему же в гуманитаристике отказ от «целостных образов» человека и его души, симпатия к точным и естественным наукам обычно вызывают враждебность?

лы, положит в основу коммуникативные социальные практики. Те, кто предпочтет риторику (школа Мю, школа Х. Перельмана, М. Мейер), положат в основу процедуры риторического изъяснения, соответствующим образом осмыслив и коммуникативный, и герменевтический, а при случае и диалогический моменты. Моя задача здесь заключается в том, чтобы показать, что подчас собственные интересы философии тесно связаны с теми проблемами, которые изначально были поставлены филологией.

### Анализ дискурсных практик<sup>59</sup>

Особой актуальной задачей представляется мне анализ современных дискурсных практик — в частности, дискурсных практик самой философии. Хотя речь идет о языках, которыми пользуется философия, моя цель не в том, чтобы очищать философские высказывания от метафизических терминов, неопределимых понятий и тем самым — от неразрешимых проблем. Дело, прежде всего, — в учете и оценке структур и способов функционирования вербально фиксируемых философских практик. Это в свою очередь поможет получить и картину способов мысли в их словесном выражении. Спрашивается, как мы говорим в философии, что в этих разговорах, речах, дискурсах специфично, а что типично, как изменился за последние два десятилетия словарь и способы связи понятий и образов, каковы их преобладающие стилистические окраски?

Отмечу особо, что в термине «дискурс» в наши дни потерялась дискурсивность как логико-лингвистическая линейная развертка того, что схватывается интуитивно, — одновременно и в понятиях и в образах. Это приходится постоянно иметь в виду, оперируя термином «дискурс». Современное понятие дискурса возникало в разных местах: в лингвистике оно возникло из стремления оперировать с единицами шире фразы, в истории науки — из стремления видеть соизмеримость различных концептуальных образований на стыке с материальными практиками (Фуко), в анализе дискурса (Франция, Канада) — из стремления видеть социальные контексты порождения тех или иных типов высказывания. В германоязычном словоупотреблении «дискурс» нередко функционирует как единица сферы разговора, которая применяется для

<sup>59</sup> Некоторые принципы дискурсивного анализа были разработаны французскими и франкоязычными учеными на стыке философии, теории идеологий, лингвистики, психоанализа, социологии. Ср.: Квадратура круга. Французская школа анализа дискурса / Сост. и общ. ред. П. Серио. М., 1999.



формализации различных социально значимых коммуникаций. В любом случае, в данный момент статус этого понятия исторически противоречив и неопределен, а потому его конкретное использование определяется задачами и возможностями контекста. Наблюдая все эти процессы, мы сталкиваемся с множеством разнородных языковых явлений. Например, с сохранением старых слов и мыслительных связей — как правило, в некоем «оговорочном», закавыченном, самоироничном стиле. Так, в начале 1990-х годов это были, например, невыясненные отношения с марксизмом («так сказать, общественное сознание» или «как раньше говорили, общественное сознание...»). Теперь говорят иначе. И этот, и многие другие примеры подобных словоупотреблений стоило бы внимательно рассмотреть<sup>60</sup>.

Сам по себе процесс смены слов и понятий, а также их взаимосвязей в истории мысли и истории культуры естествен и обычен. Менее естественно другое — то, что эти новые слова и понятия, а также их связки даже в философии нередко вводятся как бы неосознанно, и этой своей неосознанной самоподразумеваемостью напоминают прежние, отвергнутые понятия. Анализ актуальных дискурсов может помочь всем говорящим и пишущим

<sup>60</sup> Это и новые лексические доминанты — «культура» (всего чего угодно) и «культурология», теперь уже отошедшая на задний план (по крайней мере, в термине «культурология», в связи с уходом дисциплины из приоритетных ориентаций в учебных и исследовательских программах). Между тем на Западе и бывшие советологи, и не запятанные кремниологией русисты уже успели написать не только статьи, но и монографии на тему «культурология как симптом идеологических перемен в постсоветском обществе». «Реальность», «реализм» — тоже слово из нового лексикона; оно поднимается над антиномией «материализма» и «идеализма» и обозначает нечто положительное, в ладу со здравым смыслом, нормальной практичностью и др. «Менталитет» теперь во многих контекстах заменяет «общественное сознание», а мир в составе многих сложных слов — бывшую «окружающую действительность». В мир можно погружаться, человек может находиться в «объемлющем его мире», он может иметь «мироощущение», «миропонимание» и даже немного неловкую беспредложную «мироориентацию». Традиционное слово «мировоззрение», которое ранее предполагало ассоциации с «научным мировоззрением», а также с дихотомией «наука и мировоззрение», употребляется теперь, как правило, только в описании прежних эпох. При этом, замечу, правильнее было бы говорить, например, не «научное мировоззрение», а «научно ориентированное мировоззрение», поскольку речь идет именно об ориентации, направленности интересов и идеалов, а вовсе не об их практической достижимости. Сам же этот вопрос обострился в связи с потребностью учесть слои и уровни сознания, ориентированные на религию, искусство, миф. Слово «диалог» глядит на нас со страниц сочинений по философии, политологии, культурологии, философии науки, этике и др. Пылиным цветом расцвели органицистские метафоры: человек должен быть не рупором знания от имени безличной силы, а органом Вселенной, апологетом «живой жизни», «жизненности» во всех ее проявлениях, носителем и уловителем «энергии» и «энергетики». И это лишь малая часть бросающихся в глаза преобразований в дискурсной сфере.

четче осознать смену «общих мест», переносы понятий и схем высказывания — все то, что прямо или косвенно влияет на формирование собственного стиля, манеры, способа говорить и думать.

## История философии и филология

Историко-философская роль филологии, наверное, не нуждается в отдельном обосновании. Именно филологи — прежде всего античники, но не только они, — как правило, переводят, комментируют, аннотируют, систематизируют фундаментальные тексты европейской философии. История философии, построенная при участии филологов, стимулировала и философию как таковую (так, философия Спинозы предстает как непосредственное развитие философии стоиков, а классическая немецкая философия — как наследница диалектики Сократа и Платона и т. д.). Правда, не всякая философия считает историю философии своим констигитивным элементом. Иногда полагают, что история философии не стимулирует, а сковывает творческий процесс в философии. Единого мнения о месте истории философии внутри философии не существует. Так, во Франции нет, наверное, ни одного философа, который бы не был специалистом в той или иной области истории философии. Напротив, в США, куда философия была ввезена из Европы, история философии нередко рассматривается как обременительный багаж, не нужный для решения насущных философских вопросов, связанных преимущественно с логическим и лингвистическим анализом знания.

Включение истории философии в философию или же ее исключение имеют каждый раз свои основания, связанные с культурными и интеллектуальными традициями, со спецификой переживания времени, ощущением своего места в мировой истории. Есть такие основания и в США — стране, лишенной европейского переживания культурной истории и, в свою очередь, воспринимающей европейское культурное пространство как захламленное культурными памятниками, мешающее творчеству и инициативе. Это отображается и в программах обучения. Так, обучение философии в США практически не предполагает знакомства с историей философии. Что же касается Франции, то в ней обширные программы философского обучения в старшем классе лицея опираются на изучение фрагментов из фундаментальных текстов европейской истории философии разных времен, и строится эта работа на соответствующей филологической подготовке, в которой умение «тщательно читать тексты», разбирая их содержание, стиль, риторику, занимает весомое место.

Важный момент построения философского знания, опирающегося на историю философии, связан с чтением и перечитыванием историко-философских произведений. И в этой работе вступает в дело филологический постулат опосредованности всякого знания, невозможности «чистого», «непосредственного» восприятия текста другой эпохи и культуры. Хотя философы нередко сопротивляются постулату недостижимости непосредственного знания и считают, что можно начать читать и понимать любого философа с любого места, все же освоение истории философии постоянно напоминает нам о необходимости «филологической» работы с текстом, вписывающей его в историю и культуру.

В противном случае могут возникнуть ситуации, когда философ читает в историко-философских текстах скорее самого себя, нежели изучаемого автора. Такое «своецентричное» (термин Г. Баптишева) чтение может быть свойственно не только новичкам в философии. Напротив — оно подчас бывает свойственно тем, кто имеет собственную сложившуюся концепцию. Как мы помним, немало споров среди философов разных ориентаций вызвала рецензия Т. В. Васильевой на работы М. К. Мамардашвили по античной философии. В этой рецензии был показан ряд «филологических» неточностей, перераставших в философские. Сходные упреки высказывались также по поводу его трактовки Декарта и других нововременных философов. Высказывалось, например, мнение о том, что мамардашвилиевские портреты европейских философов Нового времени оказываются все на одно лицо<sup>61</sup>. И главное — очень похожи на их автора.

Все это говорится не для того, чтобы преуменьшить заслуги Мамардашвили перед российской философией — они безусловны и неоспоримы. Однако вряд ли можно было бы согласиться с теми, кто утверждает, будто Мамардашвили «создал в России философский язык». Он был по преимуществу устный, а не письменный

<sup>61</sup> *Отюпкина Е.* «Точка схода» и «фигура возврата» в опыте мысли Мераба Мамардашвили // *Встреча с Декартом. Сб. статей.* М., 1996. С. 143—148. «И в тексте о Декарте, и в тексте о Прусте можно встретить такие места, когда именуя кого-то Декартом, а кого-то Прустом или Кантом, — Мераб Мамардашвили говорит буквально одно и то же. Это совершенно не случайно». (С. 144). «...может быть, именно в этих точках схода существует наибольшая вероятность обнаружения того места, где располагается сам Мамардашвили»... «Мамардашвили читает Декарта остановками, не считывая его систему аргументации. <...> Мамардашвили не двигался по параграфам трактата, <...> он собственно не осуществлял систематической работы в области классической метафизики, но постоянно создавал ситуацию понимания, то есть пытался провоцировать изначальную ситуацию метафизического понимания» (с. 147). «...говорит <...> только он сам, а фигуры, на которые он опирается, являются скорее фоновыми и даже в определенном смысле фантомальными фигурами» (с. 143).

философ, а потому не особенно заботился о точности исторических контекстов истолкования, и в этом смысле он был типичным «анти-филологом». А философский язык, как и любой другой терминологический язык, не может существовать (на некоторых своих стадиях) без работы систематизации. «Деррида не хуже филолог, чем Лотман», — говорили его российские поклонники. И ошибались, так как Деррида, у которого много филологического материала, вовсе не филолог. — опять-таки именно потому, что он читает тексты очень причудливо, выборочно, раздувая малое до великого, незаметное до главного и, как правило, не приводя при этом оснований для своего выбора. Напротив, собственно филологическое чтение требовало бы учета сравнительной статистической значимости величин и не допускало бы выводов сугубо вкусового характера.

Мораль, вытекающая из вышесказанного, неоднозначна. Философ не хочет и не может быть филологом. Однако, вовсе не держа в сознании полкус филологической работы, не учитывая воздействие на понятия их языковой выраженности, он рискует слишком поддаться естественному нарциссизму собственной позиции. Постулат опосредованности чтения напоминает нам, что нельзя писать диссертацию о Платоне, не зная греческого языка, и, стало быть, философски компетентными в этой области могут быть только те, кто изначально прошел филологическую школу. И вообще — античная (и во многом новоевропейская) философия определена кругом основных словарных значений, грамматических конструкций, синтаксических возможностей, которые могут оставлять свой отпечаток на позднейших переосмыслениях, что, так или иначе, приходится учитывать.

В философии историко-филологический комплекс подталкивает нас к разработке проблем, которые можно было бы отнести к сфере культурно-исторической эпистемологии, интересно разрабатываемой, например, Б. И. Пружининым<sup>62</sup>. На фоне других эпистемологических тенденций (прежде всего, социальной эпистемологии), уже обнаруживших свои явные релятивизирующие склонности, культурно-историческая эпистемология видит в познании форму работы, изначально выработанную культурой, причем именно для того, чтобы давать знание, заслуживающее своего названия и способное, несмотря на давление социальных, политических, идеологических обстоятельств, делить и пестовать тот драгоценный момент внутренней логики развития знания, который, несмотря на эти функциональные погружения и

<sup>62</sup> См.: Пружинин Б.И. Ratio serviens? Контурь культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.

вовлечения, все-таки сохраняется и развивается. Фундаментальное ядро познавательного отношения заключается в направленности на получение знания о мире, о человеке в мире и на разработку его критериев. Это направление эпистемологических исследований требует дальнейшего анализа, но уже намечает новые перспективы. Многие, что известно нам сейчас под иными именами, по сути, входят в культурно-историческую эпистемологию составными частями. Среди таких направлений — анализ слов и понятий, схем рассуждения и убеждения на стыке философии, филологии, истории, других конкретных дисциплин: одни и те же «слова» значили разные «вещи» в тех или иных историко-культурных контекстах, так что видимость непосредственной понятности самых «общих» слов и понятий, таких как «структура», «система»<sup>63</sup>, «революция»<sup>64</sup>, «язык», «нация» может быть обманчивой даже на материале основных европейских культур — французской, немецкой, английской. Это вовсе не значит, что перевод понятий и понятийных систем, выраженных в разных языках, невозможен. Однако для этого требуется кропотливое исследование, отчасти уже проведенное в работах П. Серию применительно к понятиям, лежащим в основе общеевропейских представлений о структурализме и структуралистских методах. Другой известный исследователь, Барбара Кассен, сумела организовать и вывести в свет огромную десятилетнюю работу над фундаментальным «Европейским словарем философий» (с подзаголовком «словарь непереводимостей»<sup>65</sup>: речь здесь идет не столько о «непереводимостях», сколько о сложностях перевода, о тех местах, где перевод требуется снова и снова). Эти инициативы, которые казались единичными примерами, начинают множиться. Так, впечатляющим начинанием является международный проект исследований политических и социальных терминов, употреблявшихся в 1750—1850 годы (таких как «конституция», «гражданин», «нация», «общественное мнение») в испано-американском географическом и культурном пространстве. Это значит, что по обе стороны Атлантического океана, в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Испания, Мексика, Перу, Португалия, Венесуэла, исследователи объединяются, чтобы понять, как

<sup>63</sup> Серию П. Структура и целостность. М., 2001.

<sup>64</sup> О сходствах и различиях русского и французского понятия «революция» (революции, превращения) см.: в частности: *Одесский М. П.* Современное гуманитарное знание и статус научного слова // *Доказательность и достоверность в исследованиях по теории и истории культуры.* В 2 т. Т. 1 // Сост. и отв. ред. Г. С. Кнабе. М., 2002. С. 863—865.

<sup>65</sup> *Vocabulaire européen des philosophies (dictionnaire des intraduisibles) / Sous la direction de B. Cassin.* Paris, 2004.

они мыслят в словах и каковы перспективы их взаимопонимания в современном мире)<sup>66</sup>. При этом становится очевидно, что без учета исторических традиций развития языков, понятий и других средств мысли никакие современные инициативы не могут быть успешными. Ясно одно: различие концептуальных ресурсов культур и национальных языков не должно препятствовать их взаимодействию, жизненно необходимому в наши дни — в ситуации глобального кризиса. Тем самым становится очевидно, что культурно-историческая эпистемология, включающая филологическую составляющую, не просто желательна, но необходима для философии, которая не только размышляет, но и пишет свою историю, формирует и формулирует свои традиции.

### Выработка русского концептуального языка

Выработка концептуального языка (концептуальных языков) в процессе перевода и саморефлексии представляется одним из важнейших аспектов работы на стыке философии и филологии. Она, конечно же, связана и с анализом современных дискурсных практик, и с историко-философским исследованием. Мне неоднократно случалось писать о том, чем обусловлена в наши дни эта необходимость. Прежде всего — это концептуальные дефициты, накопившиеся за 70 лет отрыва как от собственной философской традиции, так и от западной (современной западной) философии. Соответственно, вторжение этих двух, ранее малодоступных областей мысли на интеллектуальную и культурную сцену в постсоветской России создало едва ли не кризисную культурную ситуацию и потребовало артикуляции содержаний, не имевших адекватных языковых средств выражения. Эти задачи будут рассмотрены здесь в двух планах: истории выработки концептуальных языков и изучения уже существующих (в том числе «индивидуальных») концептуальных языков.

Все эти задачи не уникальны. В русской истории это уже, по сути, третий период мощной выработки понятийного языка при столкновении с западной мыслью. Эти три периода — постпетровский, постнаполеоновский и постсоветский. Каждый раз они, так или иначе, связаны с открытостью к Западу. К сожалению, эти периоды почти не исследовались в интересующем нас здесь повороте — с точки зрения взаимодействия и взаимопомощи в философской и филологической работе. При этом два первых периода

<sup>66</sup> Goldman N. Un dictionnaire de concepts transnationaux: le projet "Iberconceptos" // Hermès, 2007. № 49. P. 77–82. (Traduction et mondialisation.)

имеют замечательные яркие параллели в истории строительства немецкого философского языка. Их сопоставительный анализ может многое раскрыть в общей динамике становления и выработки интеллектуальных языков, языков мысли.

Исключительно богатый материал дает, например, в первой половине XVIII века сопоставление картин становления немецкого философского языка (в работах Х. Вольфа) и — с некоторым сдвигом во времени — русского философского языка (в работах В. Тредиаковского и А. Кантемира). Так, в своем «Трактате о пользе премудрости» и в некоторых других собственных сочинениях, а также переводах Тредиаковский делает гигантские последовательные<sup>67</sup> усилия по развитию русского философского языка. Так, он фактически изобретает русские эквиваленты для таких фундаментальных западных терминов, как *existentia* (бытность, бытие), *substantia* (существо), *essentia* (сущность), *mens* (ум), *purus intellectus* (разум), *intelligentia* (разумность), *sensatio* (чувственность) и др.

Философский язык всегда, так или иначе, формируется в процессе перевода. Эта общая закономерность относится ко всем европейским философиям, кроме греческой. Казалось бы, признать и увидеть формирование собственного интеллектуального языка в процессе перевода из философии, уже существующей на другом языке и в другой культуре, — это никого не унижает — напротив, показывает наличие европейских культурных и интеллектуальных взаимосвязей на таких уровнях, которые редко бросаются в глаза. Однако иногда эти этапы филологической выработки философского языка в культуре замалчиваются, что само по себе симптоматично и требует отдельного исследования.

Яркий пример такого замалчивания дает как раз становление немецкого философского языка. Сейчас нам уже многое известно о том, как в первой половине XVIII века Х. Вольф, Готтшед, Брейтингер и другие ученые, а позже Гердер — формировали немецкий понятийный язык. Это происходило в процессе перевода с других европейских языков — латинского, французского, иногда даже

<sup>67</sup> Так, в постраничных сносках он на протяжении всего трактата приводит латинские эквиваленты всех важнейших понятий, которые в пределах текста дает в своей русской язычной версии, а в конце — для пользы усвоения «философических знаний» теми, кому легче читать по-французски, — прилагает словарь употребленных в трактате понятий на французском языке. См.: *Тредиаковский В. Слово о премудрости, благоразумии и добродетели // Он же. Сочинения. Том I. СПб., 1849. С. 481—553.* Тредиаковский предложил действительно переведенные, а не просто транслитерированные варианты главных социально-политических терминов, а именно: демократия — народодержавие, аристократия — благородных держава, олигархия — не многих нарочитых начальствование, монархия — единоначалие царское и др.

английского. Как признают известные германисты, подчас, глядя на отдельные пассажи из Вольфа, нельзя даже понять, на каком языке они написаны — к основным понятиям, намеченным на ошупь, дается сразу по несколько эквивалентов, и это — не декоративно-орнаментальное разнообразие, а «дефиниционно-эвристическое». Это и есть напряженная выработка философского языка в действии. Этот процесс продолжался и во второй половине XVIII века.

Оказалось, однако, что уже в своих «Речах к немецкой нации» (1808) Фихте<sup>68</sup> как бы начисто забывает об этом процессе: он трактует немецкий язык как первозданный и первоисточный, как обладающий уникальной способностью понимать и переводить то, что говорят другие, в то время как носители других языков, считает он, не способны на такое же отношение к немецкому языку. Словом, возникает мощная ретроспективная иллюзия антифилологического характера, и было бы интересно проследить, каким образом она впредь помогала (или мешала) выработке главных абстракций развивающейся немецкой философии. Этот пример с философским забвением о своих филологических корнях удивительно яркий и поучительный. Было бы любопытно разобраться в том, как повлияло это забвение на работу понятий немецкой классической философии, которая взяла на вооружение уже сложившийся, словесно закреплённый понятийный багаж, созданный предшествующими усилиями философов и филологов в процессе перевода с самых разных языков. Этот труд превратил неуклюжего утенка в царственного лебедя, а некогда скромный по своим понятийным ресурсам немецкий язык — в мощную систему, в которой часто видят философский язык *par excellence*, наряду с греческим.

Однако ничто записанное и выстраданное в культуре, к счастью, не пропадает. Наверняка много интересного можно будет обнаружить, если сопоставить эти процессы становления немецкого философского языка с современными процессами обогащения русского концептуального языка: надеюсь, что этой темой рано или поздно займется какой-нибудь талантливый русский или немецкий докторант. При этом опыт немецкого романтического развертывания переводческих стратегий уже оказал свое благое влияние на французский язык и культуру, из которых немецкие язык и культура в свое время столь многое заимствовали. Как мы теперь знаем, именно во Франции последней трети XX века интерес к немецкому романтизму и его переводческим стратегиям, направленным, в частности, именно против высоко-

<sup>68</sup> *Fichte J. G. Reden an die deutsche Nation // Fichte J. G. Werke in sechs Bänden. Fünfter Band. Leipzig, 1910.*



мерного универсализма французской культуры, породил (прежде всего, в лице Антуана Бермана<sup>69</sup> и ряда его последователей) осознанный протест против практики «исправительных переводов», издавна свойственных французской культуре, и подтолкнул к переосмыслению отношений между собой и другим, выраженных в сфере разговора, перевода, попыток понимания через язык, культуру, литературу. Нет сомнения, что плодотворная инициатива германского романтизма, узревшая величие духа в способности переводить и вмещать труды других наций и других культур, будет и дальше (несмотря на, казалось бы, полную неактуальность самой романтической установки в других сферах жизни) давать свои побег в других краях и на других почвах. А сама тема — исторического фундамента выработки концептуальных языков — остается бездонной и каждый раз поворачивается к нам новой гранью.

А теперь несколько слов о втором аспекте нашей проблемы: речь идет уже не о выработке русского концептуального языка, но о существовании индивидуальных интеллектуальных языков и о возможностях их изучения. Такой поворот интереса напрашивается вследствие нашего знакомства с материалом первых четырех глав книги. Чтобы понять суть некоторых споров и дискуссий, нам не хватает обычных словарных единиц: требуется более тонкий анализ, а кроме того также и перевод — только уже не между разными языками, но внутри данного национального языка. Речь идет об индивидуальных интеллектуальных языках: в процессе перевода с одного индивидуального концептуального языка на другой мы сталкиваемся с необходимостью разложения, казалось бы, целостных словарных единиц на элементы, на дифференциальные признаки, подобные тем, что образовывали у Трубецкого и Якобсона фонему как систему дифференциальных признаков, способных к смыслоразличению. Расщепление словарных единиц на дифференциальные признаки отчасти делается в анализе лексической микросемантики. Лишь при учете дифференциальных признаков понятий, их сопоставления, противопоставления, других форм соотношения, мы видим, насколько по-разному понимаются здесь понятия творческий — исследовательский, кодовый — диалогический: все эти, а также другие понятия не просто по-разному трактуются моими персонажами, но и значат для них совершенно разные вещи. Когда мы имеем дело с интеллектуальными полемиками, словарных или общесмысловых моментов

<sup>69</sup> *Berman A. L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984; La traduction et la lettre — ou l'auberge du lointain // Les tours de Babel (A. Berman, G. Granel c.a.), Mauzevin, 1985; Berman A. Pour une critique des traductions: John Donne. Paris, 1995.*

для понимания оказывается недостаточно: у каждого мыслителя имеются свои концепты, созданные из особого набора дифференциальных признаков, причем, как и в случае фонемы, они могут быть в разных концептуальных языках смысловразличительными или же нейтральными, не различающими смыслы.

Иначе говоря, нам требуется такой анализ, который представлял бы концептуальную структуру понятий более детально, нежели это обычно делается. Наверное, у каждого понятия есть слои, так сказать, словарные (более или менее универсальные), и контекстуальные, индивидуальные (более близкие к конкретным смыслам). С примерами необходимости такого микроанализа мы уже сталкивались выше: как трактовать завершенность или незавершенность (у Бахтина или его оппонентов)? целостность или нецелостность (у Якобсона и его оппонентов)? Или на более общем уровне отношений между персонажами: можно ли считать Лотмана и Бахтина представителями единой понятийной общности («коммуникативной рациональности»)? Можно ли считать Деррида и Делёза, которые во всех учебниках по современной французской философии идут через запятую, единомышленниками, или же скорее — антиподами? Делёз увлечен образностью мысли, Деррида, несмотря на все отрицания логоцентричности, остается аналитиком, приверженным сфере слова, как бы своеобразно он с нею ни обращался. Во всех подобных случаях важно понимать, по какому смысловому признаку те или иные мыслители едины, а по какому (каким) — антитетичны. Подчас это может быть не целостное понятие (или термин), но дифференциальные признаки внутри данного понятия, без лулы нам тут не обойтись. Напомним себе: пришла пора анализировать — не только стихотворение или художественное произведение, но саму мысль с помощью приемов анализа языка. Подойти к этой идее — понятия как пучка дифференциальных признаков смысла — помогла мне работа перевода: она мобилизует навыки концептуальных расщеплений в разных языках и мыслительных культурах и учит выбирать эквиваленты, учитывая микросемантику (а также микрограмматику и микросинтаксис).

Так прорисовывается еще одна плоскость, где философия и филология предполагают друг друга — это метаязык по отношению к ним обоим. Представляется, что именно эту область отчасти подразумевал Бахтин, когда говорил о металингвистике, которая могла бы стать полем исследования философских высказываний. Именно здесь есть смысл обсуждать проблематику языкового и культурного перевода философских текстов. Сегодня, насколько я знаю, типы философских высказываний (в отличие

от форм мысли и мыслительных процедур по анализу текстов) практически не описаны сколько-нибудь серьезно и тщательно. Ряд философов, как кажется, нам понятен и без такого описания (скажем, Декарт или Кант), чего нельзя сказать о других философских — русских или современных западных, когда чрезвычайно важной становится адресность высказываний, их мотивы, прямая или косвенная форма, перформативные модальности (авторитетное, провокативное, высказывание-призыв и др.) — все эти типы, формы, жанры и функции философских высказываний и должны по идее составить проблематику этого направления исследований.

Наращение слоев посредника между людьми обостряет вопрос о достижении понимания как перевода на свой язык. Способ бытия философского текста, связанный с прочтением, истолкованием, переводом, все больше предстает как проблема<sup>70</sup>. Все больше осознается необходимость практики, навыки которой в современной российской культуре недостаточно сформированы, что мешает усвоению новых массивов современной западной литературы, да и пониманию наследия отечественной мысли. (Обе эти области в течение нескольких десятилетий были малодоступны или вовсе не доступны читателю — и любителю, и профессионалу.) Конечно, проблемы перевода стоят и перед западной культурой, однако в нынешней России эта потребность обострена.

Не случайно переводческая работа начинает все больше привлекать к себе внимание, хотя этого внимания все равно совершенно недостаточно. Каковы в истории и современности базовые принципы перевода, каковы его возможности и пределы, в какой мере возможен и нужен перевод, сохраняющий терминологическую сторону оригинала в соответствующих единицах перевода, можно ли совместить терминологическое и художественное, что означает установка на автора и установка на читателя, могут ли они совмещаться или тут необходим осознанный и обоснованный выбор? Все эти и многие другие вопросы не только современные, но фундаментально значимы для самого существования философской мысли. Разумеется, перевод философских текстов — это дело философов совместно с филологами: одни улавливают базовые понятия, другие внедряют их в языковую фактуру, причем и те и другие на свой страх и риск развивают навыки микроанализа, без которых ни перевод, ни понимание невозможны. Поэтому и создание философского языка — это их важнейшее общее дело.

<sup>70</sup> Traduire les philosophes. Actes des Journées d'études / Moutaud J., Bloch J., eds. Paris, 2000.

Взаимодействия между философией и филологией — в таких областях, как анализ современных дискурсных практик, история философии, выработка концептуального языка — складываются в общую картину, свидетельствующую о том, что элементы филологической компетенции и филологического кругозора полезны философам (хотя их общие познавательные ориентации иные): владение приемами филологического анализа позволяет философии углубить и усилить способность к критической рефлексии. И здесь тематика «индивидуальных» интеллектуальных (или концептуальных) языков оказывается как нельзя более кстати. Число компонентов мысли, из которых складывается индивидуальная позиция, очень велико, но даже сходные элементы образуют разные комбинации. Если кто-то из нас пришел в философию через филологию и психоанализ, а кто-то — через естественные науки и математику, то и области концептуальной чувствительности этих людей, и их описания работы собственного сознания и познания будут различными, а потому проблемные заострения, преимущественное внимание этих исследователей будет различным даже в сходных ситуациях. Замечательно то, что мы постепенно учимся улавливать индивидуальность направления и средств мысли, своеобразие рефлексивного почерка не только на уровне образов, метафор, стилистических поворотов, но и на уровне собственно рационального рефлексивного труда. Индивидуальность всеобщего, проявленная и уловленная через язык, — это настоящая находка в поле современного изучения проблем перевода и рефлексии, как они запечатлеваются в современном гуманитарном познании.

В наши дни магия соблазна и моды проникает и в интеллектуальный труд. Эта беда и болезнь везде одинаковы, однако в России, где перенятие мод, как ни неприятно это говорить, преобладает над их созданием, она еще опаснее. Легко возникают метки, ссылки — слова, понятия, имена, по которым люди опознают друг друга как членов группы, племени — но может ли все это быть признаком интеллектуального сообщества? По самой своей идее интеллектуальный труд, выработка философской критической позиции исключает стадные движения. Однако на практике бывает всякое. Например, само слово «рефлексия» массово и весьма превращенно присутствует в описаниях современных российских арт-практик, где под влиянием магии постмодернистского философского дискурса оно наделяется элементами архаики, трактуется как «реакция», «отдача» и наряду с другими языковыми привычками требует дискурс-анализа. В любом случае, именно в упрочении индивидуальной рефлексии мне видится важная перспектива философско-филологического сотрудничества.

## § 5. Перевод, язык, познание

Итак, куда бы мы ни шли, мы утыкались в проблему перевода — от ее конкретных «технических» форм до самых общих вопросов. Возрастание роли этого скромного технологического понятия перестает нас удивлять: ведь к нему, так или иначе, сходятся все проблемы коммуникации. После вопроса о бытии, вопроса о сознании, вопроса о языке — вопрос о коммуникации стал сейчас, наверное, важнейшим на повестке дня философской работы, в каких бы конкретных формах она ни осуществлялась. В узком смысле перевод — частная форма коммуникации, в широком смысле — то, что делает и диалог, и коммуникацию возможными. Реестр философских понятий не определен раз и навсегда. Некоторые понятия могут терять, а иные — приобретать философский статус. Представляется, что философский статус приобрело, например, истолкование, «понимание». А в наши дни то же происходит и с проблемой перевода.

Все европейские философии так или иначе связаны с переводом — с одного языка на другой, из одной культуры в другую. Во всяком случае, так складывались философские понятия и категории в латинском, итальянском, французском, немецком и других языках. Философия не всегда замечала перевод как заслуживающую внимания деятельность. Разумеется, «возникать в процессе перевода» не значит «возникать только из заимствованных слов и понятий». Для того, чтобы философские понятия и категории могли появиться, каждый раз нужны, помимо определенных социальных условий, внутреннее побуждение, тяготение, определенное направление умствования, но, разумеется, нужна и та интенсивная работа претворения чужого в свое, которая находит свое наиболее яркое выражение в переводе. Изучение всех этих процессов и тяготений позволяет нащупать наиболее плодотворные моменты философско-филологического взаимодействия. В самом деле, самоотчет в специфике собственных дискурсивных практик позволит философии заострить свою критико-рефлексивную позицию. Сопоставительный анализ сходных понятий в разных языковых и интеллектуальных культурах увеличивает нашу способность эффективного понимания собеседника, без вчитывания в него собственных предпосылок мысли. Выработка философского языка — это важнейшая область современного культурного и интеллектуального творчества, осуществляемого философией и филологией совместно в полном смысле слова. В свою очередь, это позволяет говорить о том, что и проблема перевода, некогда воспринимаемая как вопрос филологической техники, приобретает ныне философской статус.

В наши дни проблема перевода возникает на стыке нескольких дисциплин — филологии, философии, истории, наук о культуре, текстологии, она оказывается междисциплинарной, хотя отдельные фрагменты знания о переводе до сих пор связаны слабо. Перевод предстает не только как посредник в межкультурном и межкузыковом обмене, но и как условие возможности любого познания в социальной и гуманитарной области. Обычно обращают внимание на роль перевода в развитии национальных литератур, в расширении приемов художественного творчества. Мой интерес шире: он включает философский и научный перевод, их роль в создании понятий, концептуальных систем, философских языков.

Может показаться, что вопрос о переводе стар, как мир, и в общих своих чертах до тривиальности ясен. Однако это далеко не так. На проверку оказывается, что сама идея собственно перевода — перевода с языка на язык, верного оригиналу, возникает в европейской культуре сравнительно поздно. Любопытно, что ни в греческом языке, ни позднее — в латыни не было глаголов, которые обозначали бы собственно перевод, зато существовали целые группы глаголов, которые, наряду с вполне конкретными действиями (нести, вести, перевозить, переправлять с берега на берег, переносить, пересказывать, переписывать, подражать)<sup>71</sup>, могли означать также и перевод с одного языка на другой.

## Старый новый вопрос

Перевод — это передача содержаний и смыслов, созданных в одном языке и культуре средствами другого языка и культуры. Осуществляется ли такая передача — это зависит от многих причин. На уровне лингвистическом — от близости или чуждости

<sup>71</sup> Ср. в латинском: глаголы *vertere* (поворачивать), *exprimere* (выжимать), *reddere* (отдавать), *transfere* (переносить, перевозить), *imitari* (подражать), *traducere* (перемещать, проводить) и другие могли также означать «переводить» — с языка на язык. Специалисты утверждают, что греческий глагол «*ellenizein*» стал значить «переводить на греческий» лишь во времена перевода библейских текстов, тогда как раньше совмещал значения «говорить по-гречески», «правильно говорить» и даже «вести себя как свободный цивилизованный человек» — т. е. «вести себя по-человечески». А в немецком, например, существует несколько глаголов, означающих те или иные формы перевода (*dolmetschen*, *übertragen*, *übersetzen*, *überliefern*), причем именно от глагола «*dolmetschen*» образовалось русское «толмач». И если германское «*überliefern*» подчеркивает положительную связь перевода с передачей наследия, с традицией (именно этот смысл обыгрывают и Хайдеггер, и Гадамер), то романское «*traducere*» (ср. итальянскую поговорку *traduttore-traditore* — «переводчик-предатель») вносит в перевод смысловой оборот «предательства». И все это лишь крошечные фрагменты головокружительной мозаики смыслов, роящихся вокруг идеи и практики перевода.

структур языка оригинала и языка перевода. На уровне реальности — от наличия или отсутствия предметов и явлений, описываемых в языке оригинала, в той жизни культуры, куда должен войти перевод. Но здесь возникает и другая, менее изученная проблема — выбора переводческих стратегий и тактик. Напрасно некоторые думают, что у переводчика нет выбора, что ему остается быть либо «рабом», либо «предателем» автора. По сути же, спектр культурно-лингвистических функций, определяемых тем, *кто, что, кому, как и зачем* передает в процессе перевода, гораздо более широк. При этом в разных исторических ситуациях возникают различные переводческие решения, которые не сводимы к какому-то одному типу. Вот лишь несколько примеров.

Цицерон переводил «великих греков» ради пользы своих сограждан, подражая «гениям», но одновременно создавая новую, римскую литературу. Лютер переводил Священное Писание, чтобы обеспечить людей понятным для них символом новой, реформированной веры; при этом он опирался на свое знание родного языка и осознанно допускал «вольности» в обращении с понятиями оригинальных текстов<sup>72</sup>. Французские классицисты переводили произведения самых разных стилей (от Гомера до Шекспира) методом «исправляющего» перевода, будучи уверены в незыблемости своего вкуса, так что эти переводы походили скорее на вольные пересказы. Немецкие романтики (братья Шлегели, Тик и др.) выступали против этой французской претензии на вкусовой универсализм, утверждая культурно-историческое своеобразие авторов и эпох, хотя их осознанная установка на адекватный перевод далеко не всегда реализовалась на практике. В других краях и в другом масштабе величин я переводила тексты современной французской философии для российского читателя, с тем, чтобы открыть для него новые области мысли и одновременно обогатить русский философский язык...

Новое осмысление статуса перевода в культуре отличает, прежде всего, европейскую ситуацию, для которой характерна множественность и разнообразие культурных языков. В трансатлантическом, американском мире эта проблема не стоит столь жестко:

<sup>72</sup> Так, при переводе на немецкий послания апостола Павла он переводит латинское «ex fide» как «только верою» (то есть на место «человек оправдывается верою» ставит «человек оправдывается *только верою*»), а, например, обращение к Марии «benedicta» заменяет на «милая» Мария, будучи убежден, что это более совершенное (нежели у его критиков, «католиков-папистов») знание немецкого языка и стремление быть понятным простому народу — торговцу, домохозяйке, уличному мальчишке — главные доводы в оправдание «вольностей» его перевода. Заметим, стало быть, что «вольности» перевода встречаются даже при передаче сакральных текстов культуры.

там всё так или иначе считается выразимым в англоязычных понятиях, которые служат всеобщим языковым и мыслительным эквивалентом. Сходство и различие, соизмеримость и радикальная инаковость опыта волнуют и «старую», и «новую» Европу во всех ее уголках. Современные европейцы все больше дают себе отчет в том, что понимание в отношениях между людьми и странами не изначально, не первично, не дается само собой, но представляет собой результат работы — перевода, интерпретации. Все эти моменты многое определяют в том, какой быть Европе, — например, насколько воплотятся в жизнь проекты интеграции и реального взаимодействия в сферах труда, обучения, культуры.

Однако Европа не упраздняет свое языково-культурное разнообразие, более того, за последнее время оно лишь нарастает — и вширь, и вглубь. Исследование вширь показывает огромные области Европы, одушевленные языковым и переводческим беспокойством как вопросом государственной, общекультурной и вместе с тем личной важности. Лава терминообразования и концептообразования кипит на рубежах старой Европы — главным образом, восточных и южных: в странах, образовавшихся из бывших республик Советского Союза и отчасти в странах, ранее входивших в социалистическую систему. Огромное значение имеет практика переводов и размышления над ней в современной России, о чем у нас уже шла речь. Исследование вглубь показывает, как в странах «старой» Европы встает вопрос о внутренних ресурсах, о концептуальной соизмеримости категориальных систем, о возможностях трансмиссии культурного и познавательного опыта. Заново складывающееся ныне европейское сообщество не может оставить без анализа и такую важную сферу дискурса, как научная терминология и философские языковые практики, в которых оттачиваются и концептуальные различия, и универсалии культуры.

Вследствие всего этого в наши дни можно отметить большее внимание философии к проблеме перевода. Наряду с языком, перевод осмысливается как антропологическая константа: трудно представить себе такой человеческий коллектив, который не прибегал бы к переводу при общении с другими людьми. Развивается теория перевода, которая позволяет избежать в его изучении как техницизма лингвистов, так и спекулятивных импровизаций философов. Познавание и практика придают переводу статус эпистемологической проблемы, от трактовки которой зависят перспективы и возможности познания в социальной и гуманитарной области.

При этом сам перевод оказывается объектом познания, весьма интересным в эпистемологическом смысле: он материально



ограничен текстами (оригинала и перевода), но в принципе *не-завершим*. Далее, он предельно *«фактичен»*, но кладет в основу *отношение*, играя как на сходствах, так и на различиях языков и культур (без первого он был бы невозможен, без второго — не нужен<sup>73</sup>). Призывая переводчика — посредника между языками и культурами — к рефлексии, можно получить доступ к обычно неосознаваемым мыслительным операциям, не зафиксированным ни в каких словарях и учебниках. Задача переводчика — воспринять и осознать чужое новое содержание, подобрать материал своей культуры и языка для воссоздания этого содержания в новой форме. Конечно, вычленив содержание и изолировать его полностью еще никому и никогда не удавалось. Да и перевод — это не смена одеяний: это процесс, в котором различные формы анализа и синтеза интенсивно переплетаются на всех стадиях.

### Философский язык

Вопрос о переводе становится основанием наших представлений о возможности общения, о специфике социально-гуманитарного познания, которое имеет дело с формами естественного языка и конструкциями, построенными на основе естественного языка. В силу своего особого статуса перевод дает возможность проблематизировать другие культурные факты и отношения, а прежде всего — диалог. Так, изучение перевода помогает раскрыть один из самых распространенных философских мифов современности, который сформировался в размыто понятой бахтинской традиции, — это миф о всеобщем диалоге между людьми и культурами. Прежде чем говорить вообще о чем бы то ни было, нам предстоит выучить чужой язык и научиться переводу с этого языка на свой и обратно, а мы поначалу владеем лишь своим собственным языком, да и то не вполне: узнать, каков наш собственный язык, каковы его возможности и пределы, можно лишь в процессе перевода, сопоставления языков и традиций их использования. Если между людьми диалог еще как-то возможен, хотя обеспечить его не так просто, как кажется сторонникам диалогической утопии, то применительно к взаимодействию культур говорить о диалоге вряд ли вообще стоит. В любом случае диалог — это, можно сказать, парадная сторона человеческого

<sup>73</sup> См. об этом, в частности: Лозинский М. Искусство стихотворного перевода // Перевод — средство взаимного сближения народов. Антология. М., 1987. С. 91—105; Курелла А. Теория и практика перевода // Там же. С. 106—130.

общения. А дорогу к нему мостит трудная, каторжная работа перевода, выковыывающая сами механизмы понимания. Таким образом, перевод оказывается условием возможности диалога, а не наоборот. В то же время, перевод есть одновременно и среда, и средство выработки языков мысли, это базовый механизм культуры, доступный операционализации и определенным формам культурной верификации. А вывод один: перевод нуждается в философской рефлексии, а философия — в трезвом осмыслении той роли, которую постоянно играют перевод и трансмиссия в создании ее вербальной и концептуальной фактуры. Наверное, для того, чтобы философия смогла по-настоящему разглядеть в самой себе работу перевода, ей придется произвести новую «деконструкцию». Этот решительный жест позволит философии наконец понять, что в ее основе лежит не самозарождение понятий, а процесс взаимодействия с другим — другой мыслью, другим языком, другой культурой.

Применительно к нашей области рассуждения все это стягивается в общую проблему *философского языка*: не идей философов о языке и не программ исправления философского словоупотребления (как в лингвистической философии). Речь идет именно о том языке, которым реально пользуются философы, заимствуя его у предшественников и затем самостоятельно его прорабатывая. В этом языке есть и «референциальное», и «метафорическое», и конкретное и абстрактное, и логическое и нелогическое, содержательное и «стилевое». Эти компоненты философского языка находятся в разных сочетаниях и пропорциях, но всегда как-то взаимодействуют. Собственно говоря, само выражение «философский язык» — некая условность: философским языком можно считать различные виды и формы словесности (от строгой логичности до яркой поэтичности, в зависимости от того, как мы понимаем философию).

Поэтому для нас в этой непростой ситуации тем более важно, что работа с философским языком не только позволяет философии стать более профессиональной и более теоретичной, оттачивая ее аппарат и средства: эта работа помогает созданию общекультурного языка мысли, системы абстрактных понятий разной степени общности и детализованности. (Этот процесс можно назвать выработкой языка самоописания культуры.) Тем самым она прокладывает и практический путь, ведущий к артикуляции настроений и эмоций (в ситуации травмы — преимущественно депрессивных или агрессивных), к складыванию мнений, убеждений, позиций, интересов — словом, к структурированию индивидуальной психики и одновременно к выплечению более плотной, прочной ткани

социальных взаимодействий<sup>74</sup>. Таким образом, дело философии, как мне представляется, не в постижении каких-то сверхобщих объектов (вся совокупность данных об этих объектах доступна лишь специалистам), и не в синтезе всего и вся в новую онтологическую картину, но прежде всего — в выработке языка, средств описания, методов работы в различных областях жизни.

Философский язык — это часть общенационального языка, но он имеет свою специфику. В отличие от обыденного языка, который вырабатывается спонтанно в ходе бытового общения, философский язык сам по себе не вырабатывается: для его выработки требуется осознанная работа — перевод, расшифровка, истолкование. Греческая философия складывалась путем внутреннего метафорического переноса — обозначения чувственно воспринимаемых явлений переносились на умопостигаемые сущности: когда, например, внешний «вид» становился «эйдосом» (а хватание палки или камня становилось схватыванием умопостигаемого — в немецком, например, это сохранилось как *greifen*—*Begriff*). Это была исключительно тяжелая работа, в результате которой возник слой абстрактной лексики, позволившей оторвать философские понятия от обыденных восприятий и мифических образов.

Каждая из нынешних развитых европейских философий (и европейских языков) складывалась в проработке концептуального опыта другого: в процессе перевода священных текстов, классических философских текстов, расшифровки и истолкования — как условий непосредственного, соседского и более глубокого, духовного и культурного взаимодействия. Сейчас специфика культурной Европы определяется именно этим языковым и культурным разнообразием, которое одновременно и обогащает, и затрудняет общение. То, что все современные европейские философии складывались под влиянием друг друга и в результате огромной переводческой, комментаторской и истолковательской работы — самоочевидно (например, вся современная французская философия вышла, как принято считать, из Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера). Этот же общий тезис — зависимость выработки философского языка от тщательности переводческой и интерпретаторской работы — в принципе относится и к России.

<sup>74</sup> Самое важно для нас то, что задача выработки артикулированного языка никогда не завершается: необходимо постоянно строить и перестраивать язык, помогающий отделять смысл от «тона»: эмоция как таковая (национальная, религиозная) нередко порождает опасную амплитуду колебаний маятника социально-психологических состояний. В частности, именно по этому выработка социальных консенсусов на западный манер требует сначала артикуляции фундаментальных слоев эмоций, умонастроений, членораздельного выражения интересов (индивидуальных и социальных), а это — неблизкий, но, видимо, необходимый путь.

Однако современное положение русского языка — как лингвистической подосновы всех наших рассуждений о русском философском языке — очень непростое. Мы помним, как на территории бывшего СССР вспыхивали так называемые «филологические войны»: через признание языка «титულიной нации» государственным языком (как правило, единственным — и это в многонациональном сообществе!) те или иные социальные силы стремились укрепить свои политические позиции. Это происходило в разных республиках по-разному, но практически всегда ущемляло права русскоязычного населения (тогда как раньше ущемлялись права местного населения). При этом старые обиды оживают, а новые — возникают. Наряду с политическим расчетом, в этих процессах обычно присутствует и нагнетается эмоция, прославление древности своего языка, нравственных и эстетических ценностей своего народа. Разговора по сути и нет — есть обмен эмоциональными жестами. А реально происходит то, что сужается круг говорящих на русском языке — и в нашей стране, и за рубежом.

В призыве к философской работе с языком, осуществляемой с помощью филологии, находят свое выражение многие потребности. Он направлен против различных форм осознанного или неосознанного смешения философии и литературы, против нехватки рациональной компоненты в культуре, против невнятного пафоса, увлекающего в любые дали. В принципе эти проблемы важны везде — и в России, и в Европе. В частности, в Европе можно отметить некоторую тенденцию к составлению понятийных словарей нового типа, способных, наряду с концептуальными богатствами разных философских языков, представить и те слабо артикулированные компоненты, которые всегда имеются в человеческой мысли. Так, проект Национального центра научных исследований Франции, о котором у нас уже шла речь, представил нам «словарь непереводимостей», где исследователи из разных европейских стран анализируют сходства и различия концептуальной терминологии различных европейских философских языков. Было бы хорошо, если бы эти вопросы были фундаментально проработаны и в России. А пока украинские участники проекта переводят тысячестраничный словарь европейских философий на украинский: только представьте себе, как им должно быть трудно: ведь на украинском языке не существует ни Гомера, ни Канта, ни Хайдеггера, так что в этом переводческом процессе им приходится изобретать всю философскую лексику заново и запечатлевать ее в словах языка, не имеющего навыка подобной абстрактной работы. Могу дать голову на отсечение, что они пользуются при этом наработками русского концептуального языка, только никогда в этом не признаются. Но все равно они —

молодцы! Хочется, чтобы в многоязычном европейском словаре будущего русские эквиваленты могли стоять гордо и самостоятельно, как французские или английские; само по себе, «спонтанно» — это не получится. Все это — исследовательские задачи, но в них прорисовываются и важные практические перспективы.

Говоря о выработке концептуальных или интеллектуальных языков, мне представляется совершенно необходимым защитить доброе имя и фундаментальный статус *анализа* в научном познании. У некоторых уважаемых исследователей (например, у Бибикина и у Бахтина) можно встретить высказывания, вполне определенно, хотя и из лучших побуждений, унижающие анализ. Бахтин, например, выражался так: «Анализ *обычно копошится* на узком пространстве малого времени, т. е. современности и ближайшего прошлого и представимого, желаемого или пугающего будущего». И далее автор рассуждает: бывает мелкочеловеческое отношение к будущему (пожелание, надежда, страх), но бывает и особое «*пророческое* отношение к будущему»<sup>75</sup>, в нем смысл и ценность. Общая картина ясна: анализ — то, что копошится (мелко и мелочно), другое дело — дар пророческого предвидения. Насчет пророческого дара сомнений нет — можно только склонить голову перед теми, кому он дан. Однако обижать и принижать анализ при этом совсем необязательно. Тезис о мелочности аналитической мысли свойствен, конечно, не только Бахтину, это — культурная доминанта некоторых течений в русской философии. Замечу, что она подспудно формирует и навязывает определенную культурную установку: недифференцированная духовность не нуждается в дисциплинированной мысли. С этим нельзя согласиться: без строгой аналитической дисциплины невозможно ни удержать, ни развить мысль. И потому следует внятно сказать, что *воспитание ума, способности суждения, зрячего взгляда на мир, артикулированного языка, отчета в употребляемых словах и терминах* должны быть приоритетом не только нашего самообразования, но и общенациональных образовательных стратегий.

### Воспоминание о «второй софистике»

Когда-то в Греции, во времена второй софистики, философия уступила риторике, доказательство — убеждению, предметная мысль — достижению каких-то внешних целей. Тогда риторика одержала верх над философией, сосредоточенной на высшем и презиравшей рито-

<sup>75</sup> Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов // Он же. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2002. С. 429.

рику за ее низменные интересы (убедить кого угодно в чем угодно). Нечто аналогичное имеет место и в современной ситуации, когда риторика в мировой культуре взяла реванш над философией, подчинив ее объективные устремления функциональной оправданности. И сейчас риторика теснит философию, вписывая себя как необходимый момент в те контексты мысли, познания, коммуникации, где, казалось бы, еще совсем недавно философия сама — без направляющего вмешательства риторики — определяла пути рассуждения. Во всяком случае, в наши дни содержательный и прагматико-риторический моменты уже не трактуются как взаимоисключающие.

А может быть пришла пора вновь постараться обернуть это отношение, коль скоро оно не определяется от века и навсегда? Это значит: вновь обратиться риторику на службу философии, на оттачивание умения мыслить, на пути, направленные против демагогии и манипуляций, так, чтобы риторика — исторически понимаемая как совокупность средств убеждения, противоположного доказательству, — могла отныне быть использована и для поиска истины — даже если в принципе этот поиск никогда не завершается. Яснее выразить мысль — значит реально улучшить что-то в нашей зыбкой жизни. Язык — продукт коллективного творчества, а потому в выработке общего языка самоописания культуры есть место каждому, кто способен сознательно отнестись к тому, что и как он говорит. И в первую очередь это относится к тем, кто работает в философии, кто преподает этот предмет — в силу любви или привычки. В их руках огромной силы оружие — философский язык — инструмент мысли, средство формирования суждения, наследник веками и тысячелетиями осуществлявшихся усилий, которые пробивались к мысли от мутного зова эмоций, к суждению — от жеста сжимающихся кулаков. Заново почувствовав достоинство мысли и предмета, они, хочется надеяться, уже не смогут принимать на веру быстро меняющуюся демагогию (интернационалистическую или националистическую).

А пока совместное участие философии и филологии в критической проработке концептуального языка — повседневная экстренная работа. Но в ней видны и безграничные дали более общей темы. Речь идет о соотношении в философии универсального с конкретным и историческим. Мне кажется, что в известном смысле именно филология подготавливает философию к ее трансцендентальным взлетам и помогает ее возвращению на конкретную культурно-историческую почву. Чтобы остаться в истории, и в частности, в истории философии, — а этого хочет любой философ, даже если он заявляет нечто противоположное, — нужна мощная текстологическая и концептуальная работа,

гlossарии и конкордансы, своды употребления понятий, вписывание в текст, в систему мысли.

Меня интересуют здесь не приоритеты философии над филологией или наоборот (чей род древнее, кто важнее и др.), но скорее современная картина взаимодействий философии и филологии. Важнее, мне кажется, проблема междисциплинарных связей между философией и филологией, статуса этих связей, попытка обозначить точки схождения, доросшие до своего дисциплинарного выражения. Кстати, важна не столько междисциплинарность как таковая, но, прежде всего, — способность к проблематизации оснований дисциплин, осознание их внутренних и внешних границ и определение тех мест, в которых легче происходит взаимопроникновение. Насущный лозунг момента следовательно таков: от реванша софистики (риторики) над философией к реваншу философии над софистикой (риторикой), но без осмысления перипетий и итогов лингвистического поворота в европейской культуре XX века этого не произойдет.

И еще одно очень важно: если современной философии удастся в будущем взять реванш над риторикой, научная филология может стать для нее не прикладным привеском риторических знаний, отстраняющих от объективности, но, напротив, верным сторонником ее глубоких рациональных устремлений.

### К вопросу о «парадигме перевода»<sup>76</sup>

Что значит здесь парадигма: образец для всего остального? Для всех иных мыслительных операций? Для всех этических взаимодействий? Условие всех человеческих дел — в торговле, ремесле, учении, путешествиях, налаживании связей с другими людьми в каких бы то ни было формах? В культуре все, так или иначе, имеет отношение к переводу: это наиболее общий модус существования культуры. Напомню, что речь может идти о переводе внутри языка, между языками, между разными семиотическими системами, а кроме того, о переводе как продвижении невыраженного состояния или чувства к его словесному выражению. При этом перевод постоянно предполагает столкновение с непереводимым — как испытание, как стимул к тому, чтобы создавать пространство умопостигаемого, которое не дается нам априори. В процессе перевода происходит расщепление того, что кажется сросшимся навеки и

<sup>76</sup> Парадигма перевода — термин Рикёра: см. *Ricœur P. Sur la traduction. Grandes difficultés et petits bonheurs de la traduction. Paris, 2004.* О парадигме перевода говорил в своих работах французский переводчик и исследователь Ж.-Р. Ладмираль.

существующим в единственно возможной форме — это расщепление мыслей и слов, их сдвиги, их взаимоприлаживание, обсуждение, критика, закрепление каких-то вариантов их соотношений.

Драгоценные культурные опыты перевода, заостренные на стиле или же на мысли (на всем сразу и в равной мере сосредоточиться невозможно), сталкивают нас с феноменом человеческой конечности на фоне бесконечной культурной динамики. Перевод — подлинно антропологический феномен: он конечен и в принципе незавершен (каждая новая эпоха потребует заново перевести уже переведенное), однако он всегда может быть выполнен наилучшим образом — с точки зрения конкретных задач времени и требований, поставленных перед собой переводчиком. Внимание к переводу дает иной взгляд на философскую проблематику: оно предполагает иную (несубстанциалистскую) онтологию, а также иную антропологию, требующую внимания к чужому слову и умения его анализировать, работу над концептуальным языком, развитие ресурсов русского языка, выход из сферы давления «сердца» и «эмоций» — не потому что они не нужны (они чрезвычайно важны), но потому, что рациональные навыки развивались меньше, в системе образования не было к этому достаточного внимания, и это нужно наверстать.

Опыт перевода — это национальное достояние, которое связано с общечеловеческими ценностями, выработанными во взаимодействии с другими культурами и языками, народами. Это национальное достояние, повернутое в сторону «другого». Без перевода все концепции Другого (в мужском или среднем роде), наводнившие философию XX века, попадают в тупики единопредставленного другого, который фактически мыслится по аналогии с собой, как другое Я. Только механизм перевода способен ограничить эту роспись другого по внутренним прописям самого себя, а потому отношение к Другому в процессе перевода — и познавательное, и этическое.

На разных этапах истории русской культуры осознавалась эта задача перевода и развития русского понятийного языка (Пушкин называл его метафизическим). История русской культуры — кладезь сведений о практиках перевода. Когда-то на Бостонском Всемирном философском конгрессе (1999) я выступила с тезисом о необходимости выработки русского концептуального языка — после десятилетий информационного дефицита. Некоторые русские участники конгресса встретили его негодующими возгласами: разве русский интеллектуальный язык до сих пор не сложился? В книге «Познание и перевод» (2008) я собрала немало историко-культурного материала, подтверждающего, что такая постановка



вопроса — не индивидуальная причуда, как могло кому-то показаться десять лет назад, но фундаментальная проблема, которую глубоко чувствовали и выражали классики русской культуры: на разных этапах они подчеркивали именно эту задачу — развития понятийных средств русского языка.

Ну и каков же итог всех наших усилий? Можно ли сказать, что ситуация вавилонского многоязычия преодолевается? Что она будет в принципе преодолена? Вряд ли, скорее даже наоборот: **текстов на других языках** (а всего на свете языков, напомним, 5 или 6 тысяч, хотя далеко не все имеют письменность) будет все больше, хотя и навыки перевода тоже усвершенствуются. Так что Вавилон сохранится, только — вслед за Бенямином, Рикёром или Деррида, за многими другими, обсуждавшими этот вопрос, — уже не как проклятье рода человеческого, но как творческая задача: как испытание, в котором формируется и личное достоинство человека, и его способность слышать другого. Иначе говоря, нам важно сейчас понять позитивный и реальный смысл метафоры «говорить на разных языках». «Задача переводчика» неизбывна и бесконечна. Род человеческий состоит по определению из людей переводящих (даже если они об этом и не подозревают) — с языка на язык, из культуры в культуру; кроме того, все мы осуществляем перевод внутри своего родного языка, перевод между разными семиотическими системами (литература, кино, танец, музыка) и др. Переводить — фундаментальное человеческое свойство.

Сейчас, когда, казалось бы, восторги перед революционной ролью структурной лингвистики давно затихли, когда внимание обращено на другие знаковые системы, на аудиовизуальные средства информации и массовой коммуникации, вопрос о фундаментальной роли естественного языка — как прообраза всех других структур и структурирующих механизмов в человеческой жизни — актуальна, как никогда. Связующее звено в этом опыте — понятие структуры как общий знаменатель разноплановых усилий. Вне структуры перевод невозможен: отдельные слова, взятые вне какой-либо структуры, могут быть понятны только в ситуации прагматической, где есть прямое указание на предмет, да и то, как уже выяснили философы, подобные случаи оставляют нас в ситуации неопределенности перевода. Язык по природе своей структурирен, а структура находит в языке одно из своих наиболее ярких воплощений. Открытая структура — область, постоянно создаваемая общими усилиями познающих себя и мир людей, философов и филологов, — путешествует и перевоплощается, потому что ее путь не предопределен: никто заранее не знает, каким будет ее следующий поворот, в какой форме предстанет проблематика познания. Открытое — значит несубстан-

циональное, не замкнутое в себе, открытое изменениям, разомкнутое в прошлое и будущее, в контекст — исторический и культурный, взаимодействующий с другими контекстами, причем результаты этих взаимодействий никто заранее предсказать не может. Мы видели, как Якобсон и Трубецкой, увлекавшиеся евразийством, пришли к основаниям фонологии, но это не было законом, хотя этот «случай» выходит за рамки «случайного», а потому заслуживает самого пристального внимания историка и эпистемолога.

При этом важной смысловой антиномией последнего времени вновь стала антиномия перевода и непереводаемости. Раньше, когда люди были более уверены в возможностях разума, этот вопрос мог решаться просто: нужно было найти (или построить) такой совершенный язык, который бы передавал движение понятий, подчиняющемся общим правилам универсальной человеческой мысли. В XIX веке и затем, уже в XX веке, зазвучали иные голоса. Одни указывали на то, что и в самой европейской культуре многое, особенно в экспериментальном поэтическом творчестве, выламывается за рамки рациональной схематики. Другие подчеркивали специфику чуждых европейским, экзотическим культурам и языкам. Примеров этому можно привести множество. Так, языковеды-дескриптивисты, а еще раньше — миссионеры, описывали языки североамериканских индейцев, показывая их отличия от языков «среднеевропейского» стандарта по структуре и смысловым возможностям. При этом в некоторых языках мы сталкиваемся с отсутствием членения на отдельные составляющие (вроде привычных нам подлежащего, сказуемого и других членов предложения), но скорее с длинными цепочками нанизанных элементов (типа «охотникооленеубиение»...). О чем это говорит? По-видимому, о том, что подобные языки не способны выразить «среднеевропейские» логико-лингвистические отношения между отдельными частями предложения, но зато они, возможно, лучше приспособлены к выражению процессуальных отношений, которые трудно даются языкам со «среднеевропейской» структурой. Эти и многие другие наблюдения фиксировали реальное своеобразие языков, однако все же не меняли радикально основной интеллектуальный пейзаж.

Нечто иное происходит в наши дни. Непереводаемость становится не просто констатацией столкновения с непонятным и трудно переводимым: она выступает как социальный, политический и, конечно, идеологический вызов европейской (западно-европейской) цивилизации со стороны других цивилизаций, претендующих на новое место под солнцем, на признание своей роли, силы, влияния в общем концерте культур. Это может быть попытка выдвинуться на первый план арабского мира, древней-

ших культур юго-восточной Азии и др. Если китайский или арабский исследователь говорит нам о непереводаемости своего языка и своей культуры, это означает прежде всего явный прагматический призыв: учите наши языки, иначе вы ничего не поймете, мы же учили ваши языки, а теперь пришел ваш черед! Само заострение тезиса о непереводаемости языков, культур, опыта, несомненно, дает полезные уточнения, мобилизует незадействованные способности восприятия, однако приобретая повышенную идеологическую нагрузку. Этот же тезис может стать опасным, так что в обращении с ним требуется особое внимание и чувство меры.

Мои акценты и мои доводы ориентированы иначе. Всякий человек, который много переводил, знает не понаслышке и о непереводаемом, которое обступает его со всех сторон, и о том, какой ценой достигаются подчас малые продвижения в понимании и перевоплощении чужого текста в формы твоего родного языка. Однако переводимое первично подобно тому, как первично познаваемое, хотя существует немало непознаваемого. Есть смысл не выставлять кордон непереводаемости, парализуя собственные усилия, но оценить то, что нам удастся перевести, а еще лучше — наметить в исторической череде перевалов путь к более адекватным, хотя все равно неидеальным вариантам. Никто не обеспечивает нас заранее удобными мостками между различными культурами и языками, однако как же, спрашивается, мы будем строить эти переходы, если положим в основу тезис о непереводаемости? Кроме этого важно и другое: дело в том, что перевод (или хотя бы возможность перевода) мы обнаруживаем не только в отношениях с другими людьми, но прежде всего — внутри самих себя, внутри собственного языка. Мы несамостоятельны и к единому фокусу несводимы: наша способность переводить внутри своего собственного языка означает не что иное как рефлексивность языка по отношению к самому себе, а тем самым и особую герменевтическую способность предвосхищения смысла. Это не противоречит сформулированной выше исследовательской установке на первичность непонимания: ведь она побуждает искать рефлексивные средства для проверки того, насколько уместными оказались наши герменевтические предвосхищения, можно ли в итоге на них положиться. Наше восприятие дискурса другого тоже движется посредством увязывания отношений к известному и отношений к неизвестному. Таким образом, эпистемологическая опора перевода — это всегда отношение, а его этическая опора, как говорили нам и Деррида, и Рикер, — это гостеприимство.

Итак, что дает философии и гуманитарным наукам взгляд на познание сквозь призму перевода? Прежде всего — иное пред-

ставление о способах существования научно-гуманитарных объектов: это новая несубстанциональная онтология, предполагающая осознание непervasданности (переведенности, переложенности, пересказанности, переформулированности) объекта. Но дело не только в онтологии и образах бытия: затрагивая все сферы человеческой деятельности, перевод выступает также как средство познания, как условие возможности рефлексии о научно-гуманитарных предметах. Перевод не подменяет другие проблемы, но вносит в их постановку аспекты динамики, становится стимулом к выработке новых познавательных средств.

Тем философам, которые считают, что идеи могут существовать и воплощаться и без языка, работа перевода, естественным образом, представляется ненужной или, во всяком случае, несущественной. Зачем учить чужие языки? Читая тот или иной переводной текст, мы и в самом деле нередко забываем о его переведенности и ссылаемся, например, на Платона так, как если бы он изъяснялся по-русски. Но ведь такая забывчивость есть свидетельство некоторой эпистемологической наивности. Это, конечно, вовсе не значит, что мы должны стать полиглотами и научиться читать на всех языках мира, однако учесть в строе своих размышлений о любых философских предметах этот момент перевода, перевода и переноса наших идей, конструкций, выражений было бы полезно, а подчас — просто необходимо. В анализе механизмов перевода нередко бывает заметно то, чего обычно не удастся увидеть в других формах и видах познания: а именно, как различные слои и фрагменты опыта переходят из сферы неявного и невыраженного в регистр того, что доступно операционализации и интересубъективной проверке. И вот еще что интересно. Когда-то лингвистический поворот воплощался достаточно строгими схемами аналитической или герменевтической философии; сейчас, когда мы находимся на более продвинутой стадии философской «неклассики», его выражением подчас становится неподконтрольная интертекстуальность без конца и без начала. Полагаю, что работа перевода в языке и культуре может стать противовесом этой неуправляемости.

Все это вновь и вновь говорит нам: вопрос о познании и переводе исключительно актуален, причем осознание этой актуальности нарастает — и в России, и на Западе. Однако именно в России в связи с её особым культурным опытом, с открытием границ к современной западной мысли в течение двух последних десятилетий, эта проблематика приобрела исключительное значение. В России сейчас обсуждение перевода — это не просто споры об отдельных сложностях или, напротив, о глобальных перспективах (того же английского), но забота об усвоении и проработке основного со-

става проблемной концептуальной лексики, без которой мысль не может ни дышать, ни говорить. Полагаю, русской мысли на этом этапе довелось почувствовать то, что важно для всех, но что острее всего чувствуется здесь и теперь — в высоко культурной европейской стране, преодолевающей огромные концептуальные дефициты и осваивающей свой и чужой исторический познавательный опыт. Все это и приводит к проблематизации перевода как перво-степенной философской и научно-гуманитарной задачи.

Хотя язык не является единственным способом культурного выражения, однако он объемлет все остальные и потому сохраняет центральное место, так что потеря языка, если и не сразу, может привести к потере всей культуры. Те языки, которые не переводят на свой язык, не развивают его посредством перевода, могут незаметно для самих себя оказаться в положении угасающих, даже если это проявится еще не завтра. Тот язык, который много переводит, развивает и укрепляет себя, свои интеллектуальные мышцы, расширяет свой крутизор, свою способность рефлексивного обзора ситуации, в которой он находится, в итоге окажется в более выигрышном положении в этом культурном состязании человеческих сил и возможностей. Сказанное не означает, что язык и перевод — это рай и благодущие: в отношениях к языку и переводу выражаются все возможные человеческие конфликты, однако языковые и переводческие практики очерчивают для нас область, в которой шансы мирной жизни гораздо выше, чем за ее пределами. Теперь, кажется, это очевидно для всех.

За последние двадцать лет ситуация огромного концептуального дефицита в российской философии и гуманитарных науках была в основном преодолена за счет перевода огромного количества научной и философской литературы. Однако задача осмысления переведенного остается актуальной, как никогда. Сейчас, в начале XXI века, некоторым в России кажется, будто «эпоха переводов» уже завершилась. Наверное, мы и в самом деле не увидим в ближайшие десятилетия такого широкого потока переводов, как в 1990-е годы. Однако хотелось бы надеяться, что мы станем свидетелями более интенсивного освоения того, что уже было переведено, но еще не вошло в культуру. В России, как представляется, всегда чередовались периоды «открытости» и «закрытости» к Западу и, соответственно, приливы и отливы интереса к переводу, осознанность и неосознанность самой задачи выработки концептуальных языков. Хочется думать, что яркие опыты наших предшественников Ломоносова и Тредиаковского, Пушкина и Шпета по созданию русского философского языка — это не только прошлое русской культуры, но и ее более осмысленное будущее.

**И**так, в центре работы была коллизия филологии и философии, «науки о слове» и «науки о понятии», — дисциплин, лежащих в центре европейской цивилизации. В наши дни размывание дисциплинарных границ обобщается набегами на соседние территории и непродуктивными спорами о том, кто сильнее. Моя цель заключалась в том, чтобы приоткрыть возможности более продуктивных взаимодействий, а для этого рассказать философам о познавательном опыте четырех великих русских филологов — Якобсона, Бахтина, Лотмана и Гаспарова, — открытия которых многое определили в европейской культуре XX века. Сейчас опыт мысли о структуре отчасти забыт, отчасти — растащен на отдельные детали, отчасти — пущен по другим рельсам; сталкиваясь с ним, мы его не опознаем, а то, что находим, считаем устарелым и архаичным. Однако мне представлялось актуальным напомнить и подчеркнуть основные моменты судьбы структурных методов в гуманитарном познании и связанные с ними проблемы коммуникации, диалога и прежде всего — перевода — меязыкового, межкультурного, межконцептуального.

При этом идея (или, точнее, интуиция) открытой структуры явно или незаметно сопровождала нас на протяжении всей книги. Открытой структурой было уже само перечисление этих четырех великих имен, открытой структурой был абрис их концепций, каждый раз открывавший перед нами более широкие перспективы, открытой структурой стал момент сближения пространств философии и филологии, в котором началась и продолжается постройка мостов между несоизмеримыми величинами, культурами, концепциями, понятиями, определяющая возможность их соотнесения, соизмеримости, уопостигаемости. Выражение «открытая структура» выполняло в тексте разные функции. Самое конкретное его значение связано с реконструкцией более адекватных представлений о структуре на основе перепрочтения фундаментальных текстов структуралистской мысли: структура есть то, что предполагает постоянную соотнесенность с неструктурным, а по-

тому — динамику, изменение, перспективы расширения на другие контексты. И вместе с тем «открытая структура» есть не что иное, как интуиция новых познавательных возможностей, которые могут возникнуть, в данном случае, при взаимодействии философии и филологии. Эта интуиция была для меня чем-то вроде путеводной звезды.

В общем и целом открытая структура — это стык между дискурсивно упорядоченным, собранным, и интуитивно открытым, воображаемым, фантастическим. Точнее, даже не стык, но момент соразмерности сил бытия (в данном случае — сил бытия мысли), когда упорядоченность не исключает воображения, а раскованность полета не противоречит импульсу собирания. Обычно ведь как бывает: тот, кого сильнее влечет воображение, так или иначе отторгает знание (во всяком случае, проверяемое знание), а тот, кто предпочитает проверяемое знание, боится воображения как помехи, с которой он не совладает. Конечно, игра импульсов или энергий не допускает покоя, сдвигается в ту или иную сторону — к собранности или к полету. И тогда их лучше разводить, а не смешивать, примерно так: вот здесь я — ученый, а тут — писатель, здесь я подчиняюсь логике предмета в той мере, в какой могу ее уловить, а здесь делаю, что хочу и как хочу<sup>1</sup>.

Я уже не раз говорила: материал этой книги филологам, так или иначе, известен. Однако мне не случалось видеть, чтобы он когда-либо рассматривался в перспективе открытой структуры, взаимоотношений между философией и филологией — при общей направленности на поиск средств постижения человеческого мира. Литературоведы и историки в течение последнего времени изучали много интересного, о чем можно судить по ведущим историко-литературным и теоретико-литературным журналам «Новое литературное обозрение» и «Вопросы литературы» (на различиях их подходов я здесь, естественно, останавливаться не буду): это были и общие контексты интеллектуальной истории, и современные идеологические, политические, социальные процессы. При этом общая картина выглядит невесело: «Филология в нашей стране сегодня находится в положении ослабелой империи, чьи соседи, осмелев,

<sup>1</sup> В наибольшей степени такая дистинктивность была присуща, как мы видели, Гаспарову. Он всегда стремился дать себе отчет в том, где он находится, что он делает и по каким критериям его нужно оценивать: здесь у него — наука (эта область, как он сам с сожалением признавался, очень мала), а вокруг что-то иное — литературная критика, сочинительство и др. Надеюсь, нам все же удалось найти и зафиксировать в творчестве Гаспарова удивительные явления, когда перевод как подлинное искусство и перевод как познавательный эксперимент поглощаются в одних и тех же произведениях (хотя то и другое в принципе опять-таки можно расчленить).

со всех сторон теснят и донимают ее набегам. На нее взирают свысока поднаторевшие в новейшей западной мудрости философы; ее критикуют за ненаучность социологи массовой культуры; к ее ревизии призывают историки, пеняя ей за ничем не оправданный логоцентризм, за отрыв письменных текстов от порождающего и развивающего их внетекстуального процесса. Многие профессиональные филологи — кто более, кто менее осознанно — и сами изменяют одряхлевшей державе, эмигрируя на иные, сулящие большой успех территории: главным образом в ту же историю, политическую, идеологическую, биографическую, бытовую...»<sup>2</sup>.

Это говорит не бойкий журналист, но известный специалист по истории и теории литературы, а потому к его мнению нельзя не прислушаться. Мы видим, что высказывания Зенкина рисуют картину, радикально отличную от того лотмановского взгляда на российскую филологию, о котором говорилось во введении к книге. И это неудивительно: ведь Зенкин заведомо считает филологию устаревшим и изжившим себя проектом, на руинах которого нужно возводить новые постройки. Что именно стоит строить на руинах — это вопрос более сложный, который сейчас обсуждать не место, однако, надеюсь, предложенный здесь материал дает представление о возможных перспективах строительства. Заокеанские исследователи, конечно, предложат нам на это «пусто место» теории мультикультурализма, изучение всех меньшинств, форм их творчества и их интересов, гендерные теории и многое другое — и все это, разумеется, заслуживает внимания, особенно в определенном социальном и политическом контексте, но вряд ли может столь же широко применяться в европейском пространстве мысли. Некоторые тенденции российской антропологии, о которых уже говорилось, будут подсказывать нам свое. И это заокеанское и это здешнее, по сути, призывают нас, во имя современности, просто перевернуть страницу, т. е. — не оставить камня на камне. Но ведь на руинах, как известно, ничего хорошего не построишь, и к тому же речь собственно идет даже и не о руинах, но о «других традициях», вот о них и спор: что сейчас важнее, плодотворнее, актуальнее?

После диспута философов с филологами в 1995 году, о котором говорилось выше, филологи, по собственному признанию, перестали обращаться к философам: они уже ничего от них не ждут и пытаются самостоятельно выстраивать картину мира<sup>3</sup>. Вместе с тем,

<sup>2</sup> Зенкин С. Н. Филологическая иллюзия и ее будущее // НЛО. 2001 № 47 (<http://magazines.russ.ru/nlo>).

<sup>3</sup> См. это в материалах: Новый гуманитарий: в поисках идентичности // НЛО. 2002. № 55 (3). С. 174—222.



кризис современной филологии и гуманитаристики в целом трактуется ими как кризис антропологический, связанный с пониманием человека — в том числе: пишущего, читающего, действующего. Как ответить на этот кризис? Отворачиваясь в сторону, филологи, тем не менее, чувствуют, что не обойдётся без разговора с философами, без дальнейших совместных обсуждений, только не на уровне магии и авторитета, но на уровне отношений, допускающих проверку гипотез, апелляцию к мнению другого человека, который должен суметь повторить (или хотя бы понять) твой опыт, если ты хочешь называть его знанием (а не танцем и не песней).

В моей позиции многое, наверное, объясняется моей междусобной и, надеюсь, по-своему плодотворной позицией: быть может, мне слышнее некоторые тектонические сдвиги в обеих областях и большее от той относительной взаимоотчужденности, в которой они живут. Для меня как филолога и философа видение этой общей ситуации определяется особым углом зрения — а именно, тем, что находит свое выражение в слове и понятии. *В слове мне интересно то, что понятийно, а в понятии то, что словесно* (конечно, непонятийное и несловесное тоже важны, но не как самоценность, а в связи с понятийным и словесным, как момент их динамики). По-моему, это не тривиально: философы часто говорят, что понятия в принципе безотносительны к словам и притязают на то, чтобы улавливать смыслы интуитивно; филологи (лингвисты) часто изучают язык безотносительно к понятиям и тем содержаниям, которые оформляются в ткани культурных текстов, но с той исследовательской позиции, которую я стремлюсь сформулировать, ни тот, ни другой взгляд не может быть самодостаточным. Соотнесенность слова и понятия (их мирная согласованность, их напряженное соотношение или подчас даже резкий антагонизм) во многом определила судьбу западной культуры и направление ее развития. Этот вопрос принципиально важен и для русской культуры — как части Европы и как самостоятельного культурного агента.

В первых четырех главах мне хотелось показать всю бездну материала, который вызывает к осмыслению. Надеюсь, что читатель найдет в этом материале что-то важное для себя, независимо от того, чем конкретно он занимается. Пусть не все согласится с той этической и эпистемологической поддержкой, которую я выказываю филологии, которая хочет быть наукой, развивая мысль о структурах и подчиняясь определенным общенаучным критериям проверки объективности знания. Многим покажется, что это лишь жалкий остаток благосклонного отношения к науке полувековой давности. Но я не считаю эти вопросы устаревшими и уве-

рена, что статус науки в европейской культуре остается определяющим, если она хочет продлить свое существование и увидеть новые времена.

Отрадно отметить, что применительно к тем проблемам, о которых здесь идет речь, русская культура сейчас оказывается и более чувствительна к их существованию, и лучше оснащена для их решения, чем некоторые другие культуры. Об этом мне уже случалось говорить в связи с проблемой перевода: на Западе в силу ряда культурных и политических обстоятельств эту проблему чувствуют не так остро, а в Восточной Европе она стоит весомо и переживается интенсивно, но культурного опыта и средств для ее решения подчас не хватает (так, это относится к задачам концептуального перевода). В этом раскладе культурных сил позиция России оказывается особой: она обладает чуткостью к существующей трудности, так как переживает ее на собственном опыте, и одновременно уже имеет культурный опыт нескольких столетий интенсивного развития навыков и возможностей перевода. Подобным же образом обстоит дело и с проблемой соотношения философии и филологии, с мыслью о том, что именно через филологию, ориентированную на проблемы структурирования внутренних и внешних содержаний, на проверяемое знание, философия сможет укрепиться в постановке собственных насущных проблем, прежде всего — антропологических и эпистемологических. Во Франции, как известно, долго царил «исправительный перевод», да и традиции точного литературоведения складывались с явными затруднениями. В Германии строгое антиковедение и другие филологические дисциплины были хорошо развиты, однако сильная эстетика подчас слишком громко диктовала филологии, как ей надобно работать (это отдельный большой вопрос, который я не буду сейчас обсуждать подробно). В англосаксонской традиции дисциплины, которые у нас относятся к филологическому циклу, гораздо охотнее видят себя в ряду arts, нежели sciences. Словом, конфигурация, в рамках которой стали возможны, скажем, Ярхо и Гаспаров, имела глубокие европейские корни, но сложилась только в России.

Мое стремление к реактуализации структурализма — не как такового, но как мысли, наиболее эффективным образом нацеленной на проверяемое (а не постулируемое) знание в гуманитарной области, — не значит, что это единственно возможная (или вечная) форма развития познавательных импульсов. Конкретные формы такой мысли могут быть различными, и к тому же любое, самое яркое слово и понятие со временем теряют свою энергию и могут заменяться другими. Однако слово и понятие

«структура» не исчезают из нашей жизни оттого, что бинарные оппозиции заменяются градуальными системами отсчета, а «семиотика страстей» расщепляет остатки атомарных представлений о знаках. В наши дни мы видим начало новой волны интереса к структурно-семиотической проблематике, подчас в новом облике и под новыми именами.

В ряде современных западноевропейских подходов структуралистские посылки отчасти сохраняются, но дают новые познавательные реакции на нынешние запросы. Это можно видеть, например, в поиске новых опосредований между существующими методологическими традициями, когда вновь становится актуальной восточноевропейская (и прежде всего — русская) методологическая культура. Сейчас французские исследователи из университета Париж-8 готовят к «году России во Франции» большую международную конференцию по семиотике, причем одна из их целей — найти возможности взаимного сближения различных подходов. При этом ставится задача проблематизировать некоторые французские послесословные тенденции, долго сохранявшие разрывы между синхронией и диахронией, статикой и динамикой, и заново ввести в орбиту методологических размышлений «русский подход», в котором акцент на динамике всегда присутствовал в лоне структуралистской мысли, как мы уже видели, в частности, на примерах Якобсона и Лотмана. При этом само стремление вновь разобраться в методологических традициях 1920—1930-х годов, которые создавались, наряду с русскими учеными, также чехами, словаками, поляками, или заново окунуться в теоретическую атмосферу создания структурно-семиотических концепций в Советской России 1960—1970-х годов уже заслуживает нашего внимания. Этот интерес к динамике и смыслу диахронических процессов в сочетании с интересом к структурно-семиотическим исследованиям, возможно, продвинет нас к новым формам интеллигибельности в области научно-гуманитарного поиска.

Специфика отношения к структуре, к структурно-семиотическим исследованиям и вообще — к познавательным процессам в человеческой жизни имеет свои объективные причины. Человек потребляющий, готовый покупать и наслаждаться, говорят, сейчас важнее для экономики, чем тот, что готов отсрочивать удовольствие, копить силы, дисциплинироваться и производить. А потому на всю мощь включено воображение (индивидуальное и социальное), его интенсифицируют, оттачивают, обогащают. Если мы хотим быть современными, соответствовать требованиям момента, нужно уметь производить впечатление и доставлять (по-

лучать) удовольствие. Эти подходы, настроенные на творчество без границ, так или иначе, внушают читателю мысль о том, что средоточие человеческого заключено не в разумном, а в телесном и эмоциональном. Соответствующей формой intersubjectивности становится стремление увлечь другого, внушить ему свои впечатления, а в результате мир человеческой жизни, подобно массмедиаической вселенной, наполняется образами, фантазиями, которые послушны общеидеологическому тезису о значении всеобщей креативности — не постижения мира, но его переделки «под себя».

Я думаю, что творчество существенно для человека, однако оно не самодостаточно, а потому ставлю акцент на том, о чем меньше говорят. Для меня первостепенно значимы возможности объективного познания: они не так уж велики, но могут быть опорой человеку во всех его делах. Именно поэтому в центре моего внимания оказались те взаимодействия между философией и филологией, которые устремлены в сторону проверяемого знания. При этом обнаружились два интересных и принципиально важных момента: современная филология делится с философией проблематикой перевода, которая тем самым становится не только филологической, но и философской. Вместе с тем философия так или иначе выражает готовность поделиться с филологией (если филология захочет и сможет принять это ценное приношение) методами рефлексии, которых филологии не хватает — рефлексии двойной и тройной, направленной на предмет, средства познания, самого исследователя. Эти акты обмена и дарения осуществляются в сфере открытой структуры, становятся условием многих других взаимообогащающих действий — коммуникативных и познавательных.

Сейчас, когда на дворе и в мире кризис, так нужно отделить главное от неглавного. Для того, чтобы выйти из кризиса и существовать дальше, удовольствий будет явно недостаточно, и это увидят все, потому что нынешние события в мире будут иметь отвлекающий смысл для всех. При этом именно на тех гуманитарных науках, которые — сквозь мифы и иллюзии — пытаются добраться до подлинной ситуации человека в современном мире, лежат в европейской культуре фундаментальные задачи, больше никому не подвластные. Вспомним же о том, что нам — уже давно — говорил Клод Леви-Строс, только что справивший свой столетний юбилей: «XXI век будет веком гуманитарных наук, или его вовсе не будет». И постараемся, пока не поздно, сделать так, чтобы эта мысль не затерялась в анналах прошлого века, но помогла нам сегодня лучше увидеть наш путь и наши перспективы.

## І. Философско-филологические письма

### Из личного в публичное (предисловие)

Здесь я публикую фрагменты писем ко мне М. Л. Гаспарова<sup>1</sup>. Большая их часть относится к 1990-м годам, когда я в течение ряда лет подолгу работала во Франции, где читала лекции и вела исследовательскую работу, а он неоднократно выезжал в США. Те или иные формы работы за границей (на «отхожих промыслах», по выражению Гаспарова) становятся для российских ученых в 1990-е годы важной составляющей их повседневности и дополнительной жизненной нагрузкой. На этих письмах лежит отпечаток времени и места, однако это, как мне кажется, не лишает их более широкого научного и общечеловеческого интереса. В письмах Гаспарова речь идет о других персонажах этой книги — Якобсоне, Лотмане и Бахтине, что по-новому освещает некоторые ее сюжеты.

Письма — особая часть наследия. При публикации писем личное переходит в публичное пространство: то, что говорится в письмах (при жизни, естественно, неопубликованных), нередко проясняет некоторые стороны уже опубликованного. Письма, думаю, можно считать особым эпистемологическим жанром, в котором общезначимые вопросы задаются на фоне перипетий личной жизни, как научной, так и бытовой. Письмо — не собственность адресата: у писем особые связи с предметами, о которых идет речь, причем на первый план в них выступает сеть неявного общения, индивидуальные реакции на события, впечатления от людей и от книг, конференций и дискуссий. Тем самым публикация писем

---

<sup>1</sup> В более развернутой форме эти письма представлены в книге «Ваш М. Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова» (М., 2008), где собраны письма М. Гаспарова трем корреспонденткам — Н. В. Брагинской, И. Ю. Подгасецкой и мне. Три корреспондентки — это три области его интересов: классическая филология, русская поэзия XX века, философия—филология.

(пусть фрагментарная, как в данном случае) дает доступ в лабораторию рождения мысли, производства высказываний в социуме, в сети сплетающихся событий и обстоятельств, связанных с переводом, сочинением собственных текстов, чтением лекций, поездками на российские и зарубежные конференции и др.

В этих письмах нередко обсуждались темы современной французской философии, которая не была близка Гаспарову ни профессионально, ни человечески, однако, он вникал в эти сюжеты в силу давней дружбы и желания разделить мои интересы. Речь шла, казалось бы, об абсолютно несоизмеримых фрагментах культуры — например, о традициях классической филологии у Гаспарова, и о философии, претендующей на предельный прорыв традиции, например, у Деррида. Это столкновение диаметрально противоположных подходов современной мысли произошло в русской культуре при моем непосредственном участии<sup>2</sup>. Два современника — Гаспаров (1935—2005) и Деррида (1930—2004) — по сути, вошли в контакт, в соприкосновение и устроили свою заочную гигантомахию на российской почве. Применительно к Фуко, Деррида или психоанализу речь шла главным образом о том, какими средствами и в каких формах стоило бы вводить этих авторов и эти темы в современную русскую культуру. Однако именно в ходе этих обсуждений неблизких себе сюжетов Гаспаров формулировал общие соображения о науке, о ее роли в обществе и в человеческой жизни, которые редко встретишь там, где он всецело погружен в свои профессиональные стихии. Среди этих общих тем — ответственность ученого, отношения с коллегами, методы исследования, проблемы перевода: вопросы теоретические и практические, эпистемологические и этические тут пересекаются.

\* \* \*

Для понимания сюжетных линий писем необходимы некоторые биографические пояснения. Гаспаров — мой троюродный дядя (его мать и моя бабушка по отцовской линии были двоюродные сестры). Наши встречи и его мне ободрения, начавшиеся, когда мне было 17 лет и я готовилась поступать на филологический факультет МГУ, превратились в научное общение и дружбу на всю жизнь. Я ушла из филологии в философию, но наши встречи и общение с Гаспаровым не прекратились. В аспирантуре Института философии моей главной темой стал французский структурализм (и постструктурализм),

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: Автономова Н. С. Сюжеты и персонажи / Послесловие к публикации писем М. Л. Гаспарова Н. С. Автономовой // Ваш М. Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. С. 399—417.

и это живо интересовало Гаспарова — в той степени, в какой в структурализме было стремление к научности, хотя к постструктурализму он относился с настороженностью как к моде и стилю, затуманивавшему мысль. За время совместной работы в ИВГИ (Института высших гуманитарных исследований, с 2006 — им. Е. М. Мелетинского) при РГГУ у нас было несколько совместных выступлений<sup>3</sup>. В последние годы мы все ближе подходили к общей теме «Философия и филология» и собирались написать об этом (для серии «Чтения по истории и теории культуры») экспериментальную книжку, которая бы включала наши критические разборы статей друг друга, фрагменты наших разговоров, а также имеющие отношение к делу отрывки из писем. Однако мои долгие преподавательские отлучки во Францию и тяжелая болезнь Гаспарова не позволила этим планам осуществиться. Теперь мне предстоит сделать это дело одной, используя оставшиеся рабочие материалы.

Когда мы не могли общаться лично, мы писали друг другу письма. Их научный лейтмотив — проблема понимания, выработки языка общения, необходимость его беречь и развивать<sup>4</sup>. Для Гаспарова рациональный подход к своему предмету — это якорь в бурном море, а в основе этого подхода — экспериментальное прописывание через слово всего того, что обычно остается невысказанным. Источник гаспаровской ясности — не сциентистский, а человеческий: ты ни на минуту не должен забывать, что другому хуже, чем тебе. Проницательные критики видели в его письмах «безысходную простоту, несовместимую с самоутверждением»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Это были общий доклад на конгрессе к 100-летию Якобсона (1996); доклад на общую тему «Лотман о культурной памяти и культурная память о Лотмане» на Седьмых Лотмановских чтениях (1999), совместный спецкурс для студентов и аспирантов РГГУ на тему «Философия и филология» зимой 1999 года, который мы собирались повторить в расширенном виде, доклады для конференции РГГУ «Новые концепции образования» (Голицыно, 2000).

<sup>4</sup> В публикации в основном сохранена авторская орфография (например, «итд» или «ЛосАнджелес» Гаспаров пишет в одно слово, «тг» без точки, века иногда пишет арабскими цифрами и др., и это написание было сохранено — так же, как и в отдельном издании). В составлении комментариев принимали участие Е. П. Шумилова и профессор университета Олбани (США) Хенрик Баран: его комментаторские находки отдельно отмечены в сносках. Каждый фрагмент я помечаю обобщенным заглавием, чтобы облегчить читателю ориентировку в тексте. Комментарии, которые я здесь воспроизвожу, делались к отдельному изданию писем Гаспарова и в расчете на широкого читателя, так что некоторые из них покажутся излишними филологам, а другие — философам, однако я решила все их оставить: лишнее — меньший враг, нежели недостаточное, которое так и останется лакуной.

<sup>5</sup> Дашевский Г. Ясность безысходности. Уроки писем Гаспарова // Weekend. № 43 (89). 07.11.2008. Отклики на издание гаспаровских писем в печати и в сети стоило бы проанализировать отдельно как документ эпохи, как прямое выражение потребности в общечеловеческом разговоре. См. публикации Р. Фрумкиной («Выживи, пожалуйста, и я тоже постараюсь»: [Polit.ru](http://www.polit.ru/science/2008/11/14/gasparov_frumkina.html) [http://www.polit.ru/science/2008/11/14/gasparov\\_frumkina.html](http://www.polit.ru/science/2008/11/14/gasparov_frumkina.html)); К. Мильчина («Ведомости», 31 октября

Однако ведь этот поиск ясности нацелен на то, чтобы помогать другим людям держаться в жизни, и уже одним этим он не безысходен, каким бы трудным он ни был для того, кто сделал науку своей жизнью.

## Фрагменты из писем: М. Л. Гаспаров — Н. С. Автономовой (1991—2001)

[11 апреля 1991 года, Москва, от руки]: идеология, рационализм, взаимопонимание

Сейчас любят говорить о правде, лжи, искренности как о чем-то самопонятии. Господи, ведь каждый из нас знает, что можно довести себя до того, что любую объективную неправду произнесешь с абсолютной искренностью. Но тебе и здесь не в чем себя винить, ты была трезва. Ты не клялась ни нашими марксистскими догмами застойного времени, ни нашими иррациональными увлечениями послезастойного времени, ни заграничными пост-структуралистическими умственными забавами. Рационализм оставался для тебя ключом к миру, подходящим твоему душевному складу, и ты его держалась и держишься. Он не моден, за него с удовольствием клюют и справа и слева, — зато он прочен. В памяти потомков (твои слова) ты останешься при нем, а это совсем не плохое место. На что-то не хватало изъяснительских способностей — ничего, будешь доучиваться риторике. На что-то не хватало сил — но какие были силы, ты выкладывала их полностью. Я не умею понимать слова «честь», и слово «честный» для меня значит только: в полную меру своих сил. Это у нас обоих было. Не умели распоряжаться своими силами, отвлекались на мелочи, не успевали нужного — постараемся быть хоть немного толковее в трудный остаток дней. Но порядочность мы сохранили — или,

---

2008, № 40 (127): <http://friday.vedomostl.ru/article.shtml?2008/10/31/13885>); М. Визеля (Openspace, 19.11.2008: <http://www.openspace.ru/literature/events/details/5983/>) и др. Рецензенты признают: «Эта книга — редкий случай, когда сборник писем ученого к коллегам по цеху оказывается захватывающим чтением для любого человека вне зависимости от его специальности»; «Его письма — мастер-класс требовательности к себе. Они же и мастер-класс внимания к собеседнику» и др. Нам сообщают также, что экспертный совет книжкой ярмарки Non/fiction опубликовал топ-лист интеллектуальных хитов 2008 года, куда, наряду с «Мартирологом» Андрея Тарковского, «Почерком» Лидии Чуковской, «Дневниками (1918—1919)» М. М. Пришвина и, например, бестселлером «Намедни» Леонида Парфенова, вошла и книга писем М. Л. Гаспарова (<http://dni.ru/culture/2008/12/4/154193.html>).



вернее, выработали? Я не люблю этого слова (как и «интеллигентности»), хотя для многих оно — абсолютное мерило. Но если мне часто хочется умереть, то отчасти потому, что я думаю: Солон говорил: «никого не называй счастливым, пока он жив», вот так и никого не называй порядочным, пока он жив; может быть, завтра иначе сложатся обстоятельства — и я стану подлецом; так вот, лучше не дожить до этого. Конечно, мы не всему научились, чему надо было. Я, например, так и не научился быть добрым. Но научился хотя бы вести себя как добрый. Ты, наверное, тоже найдешь здесь, в чем себя упрекнуть, но и на это найдутся смягчающие «но». Детей мы не научили жить, но я думаю, что это невозможно. Им придется учиться на своих пробах и ошибках, как и нам. Видеть это будет больно, но помочь нельзя. А наше с тобой дело было учить людей взаимопониманию. Через рационализм («дважды два для всех четыре»), через осознание своего отношения к языку, через самоотчет о том, как мы приходим к пониманию текстов (это уже моя область). Эта служба связи — дело филологии, а не философии; ты можешь угрызаться разве что в том, что служишь не под той вывеской, но на такие угрызения, право, жаль тратить силы. А что взаимопонимание сейчас — дело важнейшее, ты сама спорить не будешь.

**[22 апреля 1991 года, Малеевка, от руки]: ломовые лошади российского просвещения**

<...> я тебе полторы недели назад отправил письмо — но по моему загородному сидению я не знал, что почта подорожала, не наклеил дополнительные марки и не уверен, дошло ли оно. Писал я там, чтобы ты не смела грызть себя за то, что ничего не сделала и не оставила уважаемого следа в жизни и в науке. Угрызаться можно только из-за двух вещей: если бы ты работала не в полную силу и если бы ты думала одно, а писала другое. Ты знаешь, что этого не было; поэтому призови себя к душевному порядку. Мы с тобой были исправными ломовыми лошадьми российского просвещения — именно просвещения, а быть откровением новых истин или столпом гражданских свобод мы и не брались. Это другая специальность. Конечно, много мы делали хуже, чем могли бы, потому что не умели найти достаточно простых и внятных слов. Значит, будем учиться риторике дальше. Я даже знаю, чему тебе учиться важнее всего: изживать страх перед упрощенностью, зашедший, наверное, со студенческих времен. Нельзя обвинить карту мира в упрощенности за то, что на ней не нанесена река Клязьма, — а нашему просвещению сейчас нужнее всего именно карты мира. Я хорошо помню, как находил ключи ко многим сложно-

стям где-нибудь в придаточных предложениях, где все было сказано двумя словами.

<...> Сидел, сочинял статьи и примечания и чувствовал себя машиной, перерабатывающей многомерную сложность предмета в дискурсивную линию. Вот тебе и еще одно самоощущение к теме «слово в культуре». Потому я и боюсь красоты в природе (и в человеке), что она не дискурсивна.

**[6 ноября 1992 года, Стэнфорд, от руки, на бланке Stanford University]: стихи и идеология; мода на Деррида**

<...> я послал тебе письмо в Москву еще в десятых числах сентября, а потом, по-моему, и второе, уже отсюда, но кажется, почта ходит так, что и оно могло не прийти. Даже жаль, я там написал рассуждение на тему «почему фрейдизм появился тогда, когда он появился», и больше об этом не думал. Здесь у меня была еще неожиданная встреча с твоей тематикой. В Стэнфорде аспирантствует страшноватый русский поэт-авангардист Алексей Парщиков<sup>6</sup>. Он спросил меня: какой стихотворный размер был у нас государственным? Не 5-ст. ли ямб? (это чтобы понимать диссидентство в поэзии). «Нет, если бы я был государство, я предпочел бы 4-ст. ямб, он заверен классиками и скуднее оборотами, в нем легче выследить неположенное. Но я, наверное, был бы плохим государством, поэтому не полагайтесь на меня итд.» А белый стих? «Подозрителен как симптом буржуазного разложения и преследовался; допускался в больших формах, где можно статистически уследить, случайны ли были отклонения от оптимума. Для Маяковского «ямбом писать» было понятием идеологическим, итд.» А потом я подумал: ведь будь я Деррида, я бы взял и написал обо всем этом важную статью под заглавием «стих и насилие», и кто-то принял бы ее всерьез.

Здесь собеседники даже жалуются, что во Франции мода на Деррида будто уже спадает, а в Америке еще кипит. Был полгода назад маленький скандал: оказалось, что покойник Поль де Ман<sup>7</sup> в 1940 в Бельгии печатал пронемецкие и антисемитские статьи, о которых потом не поминал. «Может быть, он и за деструктивизм»<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Парщиков Алексей Максимович (1954) — поэт, в 1990-е годы аспирант Стэнфордского университета.

<sup>7</sup> Поль де Ман (1919—1983) — философ, представитель Йельской школы деконструктивизма.

<sup>8</sup> Напомню, что этим словом Гаспаров обозначал известное дерридовское понятие «деконструкция» («деконструктивизм»). Он хорошо знал, как пишется этот термин, но считал его нарочито парадоксальным: «де-кон-струировать» это все равно как «ра-за-вязать». В данном случае «деструктивизмом» именуется концепция деконструкции у американского поклонника и пропагандиста Деррида П. де Мана.

ухватился оттого, что разрушение образа автора освобождало его от ответственности за прошлые свои сочинения».

**[2—3 декабря 1992 года, Стэнфорд, от руки]: поручик, идущий не в ногу**

<...> приятно, что из Парижа письма приходят всего за неделю. А то мое первое, которое я сразу послал в Москву, видимо, так и не дошло; даже жаль моих фантазий о месте психоанализа в эволюции человеческой культуры. Не потому, что они умные, а потому, что они явно с другой точки зрения, чем у тех философов, которые сейчас вокруг тебя, и тебе между этими противовесами легче было бы нащупать и держать точку собственного мысленного равновесия. А то ведь у тебя частые сомнения, что ты — поручик, который идет не в ногу, и тебе хочется подделаться под поступь роты, но до конца не получается. А на самом деле такие поручики не в ногу, как мы, совершенно необходимы, потому что если рота будет поголовно уверена в единственности своего пути, то никуда, кроме болота, она не придет.

**[11 декабря 1992 года, Стэнфорд, от руки]: Якобсон, филология и космос**

<...> Я помню, еще давно мне Тарановский<sup>9</sup> объяснял в письме: когда при Хрущеве запустили спутник, то Америка бросилась изучать Советский Союз и не жалела денег на славистику, а как стало ясно, что Советский Союз в космосе отстал, так и субсидии прекратились, и Якобсон заплакал горячими слезами, видя, как созданная им американская славистика поползла по швам. Ну, а сейчас, когда на месте Советского Союза — одни атомные развалины, заботы о славистике здесь — роскошь, а не необходимость.

А жалко, потому что полезных книг вокруг — много, с ними я и «Занимательную Грецию» улучшил бы, и «Рим» написал бы, и комментарий к «Мифологии» закончил бы. <...> Хорошо, что у тебя есть сейчас работа — перевод: она лучше успокаивает, чем другая.

**[17 декабря 1992 года, Лос-Анджелес, от руки]: распад сообщества и отход от науки; Якобсон и клятва на долларе**

<...> пишу тебе уже из ЛосАнджелеса. <...> Здесь мой сосед (не по квартире — по этажам) совсем другого характера — полумолодой Осповат<sup>10</sup> из Москвы, круглая лысина и круглая борода,

<sup>9</sup> Тарановский Кирилл Федорович (1911—1993) — крупнейший специалист по русскому и славянскому стиховедению и поэтике; многолетний руководитель кафедры славистики в Гарвардском университете.

<sup>10</sup> Осповат Александр Львович (1948) — историк литературы; с 1991 г. профессор Калифорнийского ун-та (Лос-Анджелес).

веселый, занимается биографией Тютчева и очень хорошо разговаривает; из всех попутчиков, с которыми мне приходилось сходить (попутчиков буквально: познакомились и встречались мы преимущественно в поездках на Тыняновские чтения в Резекне), с ним было легче всего. Здесь сразу же завязался у нас московский кухонный разговор за полночь — о том, как в нынешних условиях разваливается взаимопонимавшийся коллектив приблизительно 1945 г. рожд., основной батальон структурализма и семиотики (Тименчик<sup>11</sup>, Левинтон<sup>12</sup>, Жолковский<sup>13</sup> итд., для меня же еще и ты, и Гиндин<sup>14</sup>, и Настопкене<sup>15</sup>, и Рабинович<sup>16</sup>; я всегда вменял себе в заслугу, что не устарел для этих людей). У каждого, говорит, из-под научных интересов вдруг стали клубами вздыбливаться интересы политические или идеологические, а то и религиозные. И каждого понесло в отдельную сторону. Я об этом знал, уже весной тартуская газета «Alma mater» начала ретроспективную дискуссию о прошлом и настоящем «тартуско-московской школы», и я тоже написал заметку под заглавием «Взгляд из угла» — из стиховедческого<sup>17</sup>. Но я-то, правда, себя при этой школе чувствовал одиночкой, сидящим в углу, поэтому мне и теперь легче; а у всех остальных, кроме того, были дружбы, которые теперь натягиваются и рвутся. У тебя, мне кажется, положение было больше похоже на мое — отличие свое от профессиональных философов ты чувствовала всегда, и от умственного одиночества не отвыкала. Поэтому нам с тобой, вероятно, легче перенести эту идейную качку, опираясь на наш рационалистический балласт<sup>18</sup>. Маршак, с которого мы когда-то начали<sup>19</sup>, с самых 1910-х гг. сделал ставку на классичность, понимая, что в декадентских завихрениях он не выдержит конкуренции, а классика, так или иначе, из моды не

<sup>11</sup> Тименчик Роман Давидович (1945) — историк литературы XX в.; с 1991 г. в Израиле, профессор Иерусалимского университета.

<sup>12</sup> Левинтон Георгий Ахиллович (1948) — литературовед, фольклорист; исследователь творчества Мандельштама.

<sup>13</sup> Жолковский Александр Константинович (1937) — лингвист, литературовед, писатель; профессор университета в Южной Калифорнии (Лос-Анджелес).

<sup>14</sup> Гиндин Сергей Иосифович (1945) — лингвист, литературовед, стиховед.

<sup>15</sup> Настопкене Виолетта Витаутовна — литературовед, теоретик перевода.

<sup>16</sup> Рабинович Елена Георгиевна — петербургский филолог-классик, переводчик.

<sup>17</sup> Гаспаров М. Л. Взгляд из угла // Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления / Сост. С. Ю. Неклюдов. М., 1998. С. 113–116.

<sup>18</sup> Интересен здесь положительный образ балласта — как того, что может сохранить корабль на плаву даже в самую сильную качку. Этот образ неоднократно встречается и в других письмах.

<sup>19</sup> Речь идет о моей первой курсовой работе на филфаке МГУ, посвященной сравнению лингвистических систем Сонетов Шекспира и переводов Маршака; ее неофициальным руководителем был Гаспаров.

выйдет никогда. Точно так же и здравый смысл в науке. Кстати, когда мне приходилось упоминать твое имя в разговоре с любыми русскими филологами, они, не дожидаясь пояснений, сами вспоминали нашу статью о сонетах Шекспира<sup>20</sup>; знаешь, это совсем не плохо. Попутно мне было рассказано, что Якобсон терпеть не мог Америку и — несомненно из-за подсознательного отталкивания — говорил по-английски только с фантастическим (на англо-американский слух) акцентом: видимо, не мог простить, что в 1940 главные американские слависты, которых никто не помнит, поклялись на долларе не впускать его в американскую славистику, — есть такая страшная клятва, — и он работал во Французском институте с Леви-Строссом<sup>21</sup>, пока старые Сепир и Боас не надавили своим авторитетом в его пользу<sup>22</sup>. Рвался в Россию совершенно искренне, но с ребяческим тщеславием: хотел автоматически стать академиком, а здесь Виноградов<sup>23</sup> был тверд: «только через мой труп». (Я сказал: какое законсервированное с 1916 г. было у Якобсона представление о русской Академии Наук!)

<sup>20</sup> Имеется в виду статья «Сонеты Шекспира — Переводы Маршака» (Вопросы литературы. 1969. № 2). Гаспаров потом неоднократно ее перепечатывал в своих сборниках и в Избранных трудах, и я тоже перепечатала ее в память об этой первой совместной работе над переводом (Автономова Н. С. Познание и перевод. С. 594—611). Публикация статьи (в ней показывалась несоизмеримость образностильстических систем яркого барочного Шекспира и мягкого романтического Маршака эпохи советских 1940-х годов) вызвала бурную полемику, отклики публиковались даже в «Литературной газете». В результате мне пришлось уйти с факультета, где я собиралась продолжить занятия в аспирантуре, а Гаспаров был отстранен от редактирования собрания сочинений Маршака. Я не жалею об этом, потому что разрыв с официальной филологией привел меня в философию.

<sup>21</sup> Свободная Высшая Школа в Нью-Йорке, где читали лекции Якобсон, Леви-Строс и другие ученые, находившиеся в 1940-е годы в эмиграции в США.

<sup>22</sup> К этому письму Хенрик Баран делает ценное примечание, которое я здесь с благодарностью воспроизвожу. «В основе истории о взаимоотношениях Р. О. Якобсона с американской университетской средой лежат реальные события, однако на каком-то этапе они подверглись искажению. Якобсон, прибывший в США в июне 1941 года, действительно был встречен недружелюбно рядом американских лингвистов — не славистов! — и испытал определенные трудности с получением подходящего университетского места. М. Халле сообщает, что несколько ученых поставили свои подписи на долларовой купюре, которая была передана Якобсону с предложением использовать ее при оплате билета обратно в Европу (Halle M. The Bloomfield—Jakobson Correspondance, 1944—1946 // Language. 1988. Vol. 64. № 4. С. 738). Э. Сепир, труды которого оказали влияние на Якобсона, умер в феврале 1939 года, то есть за два года до приезда Якобсона в Америку. Более вероятно содействие Ф. Боаса, более сорока лет руководившего кафедрой антропологии Колумбийского университета (вышел на пенсию в 1937 году, умер в декабре 1942-го). С осени 1943 года Якобсон начал работать приглашенным профессором лингвистики в Колумбийском университете, а в 1946-м занял там пост профессора чехословацких штудий (Czechoslovak Studies)».

<sup>23</sup> Виноградов Виктор Владимирович (1895—1969), лингвист, литературовед, академик АН СССР (с 1946).

Мне прислали оттиск американской статьи о положении в России<sup>24</sup> — там было сказано, что термин «the period of stagnation» пустил в ход филолог Гаспаров в статье о Горации. Не помню там этого, но допускаю, потому что больно уж прост термин. [...]

[23 января 1993 года, Лос-Анджелес, от руки]: умственное хозяйство

Ты знаешь, пытаюсь разобраться в твоём умственном хозяйстве, я вспомнил твой путь: музыка — филология — философия — и нынешняя твоя область на стыке нескольких наук, которую уже и философией не назовешь. И о каждой на допросе ты скажешь, что в конечном счете не совсем к этому лежит душа. Кроме самой первой — музыки. Ее ты любишь безоговорочно и душевное облегчение испытываешь только от нее. Давай попробуем на нее опереться? Все разные науки, которыми ты занималась и занимаешься, имеют, в конечном счете, один предмет: культуру. Это понятие большое и страшное, я до сих пор не научился его охватить взглядом в целом, а без этого уже трудно заниматься частностями. Я его стараюсь охватить через стили эпох, а их через поэзию (что общего между Вергилием и стоиками, Корнелем и Декартом, Пастернаком и Бергсоном?) Для тебя естественно подбираться к ним через музыку. Попробуй в каждой области, которую тебе приходится знать, больше всего смотреть на ту границу, которой она смыкается с музыкой: той, которую ты любишь и которую ты не любишь (и потому хуже знаешь и пр.). Разумеется, не обязывая себя ничего об этом писать. Вдруг получится? Ты понимаешь, что я об этом говорю очень наугад, а я и сам в себе не разобрался, просто думаю о том, в каком направлении надо разбираться. А тренировка в этом разбирании у нас одна и та же: «какими упрощенными словами я расскажу свой сложный научный предмет моим детям?» Умоляю, не бойся упрощать. Усложнением и темными обиняками от невыразимого пусть занимаются молодые. Или имитирующие молодость шарлатаны. Мы с тобой уже в том возрасте, когда нам нужна простота, и без нее трудно.

[4 мая 1993 года, Москва (?) машинопись]: угол зрения на Деррида, диалогический оптимизм

<...> Даже если ты, не покидая науки, переменишься в ней и вдашься с иррационализм, веру или иные попытки насвистать о том, о чем нельзя сказать, — мы потеряем общий язык. Конеч-

<sup>24</sup> Имеется в виду статья: *Greenfield L. Russian Nationalism as a Medium of Revolution: An Exercise in Historical Sociology // Qualitative Sociology. 1995. Vol. 18. № 2. P. 189–209* (Прим. Хенрика Барана).

но, нас соединяет не только наука, и говорим и пишем мы о ней меньше, чем о чем ином, — но обо всем ином нам удастся хоть сколько-нибудь понимать друг друга только от научной привычки сознательно относиться к своим словам и соглашаться, что дважды два есть четыре, а не квази уна фантазия<sup>25</sup>. Я это говорю не ради предостережения: я почти не боюсь, что ты в самом деле отвернешься от научности, мы слишком долго прожили вместе (странно так говорить, а иначе не скажешь), свыклись и сообразовались друг с другом, и вряд ли в моих старых, а твоих пожилых годах так уж переменимся. И очень рад этому. Хотя, конечно, нынешние твои работы я себе не представляю, и насколько ты смотришь на Деррида со стороны, а насколько изнутри, не знаю. Когда я по телефону сказал, что постструктурализм и деструктивизм — это нарциссическая филология, ты развеселилась; я подумал, что мое представление о самовлюбленном приборе повторяет выражение Дидро о взбесившемся фортепиано<sup>26</sup>. Они (и ты) все время напоминают, что не все можно взять разумом, а иное только интуицией. Мне хочется отвечать, что и наоборот, не все можно взять интуицией: она действует только в пределах собственной культуры. Попробуем перенести их методы с Бодлера и Расина хотя бы на Горация (не говорю: на Ли Бо<sup>27</sup>), и сразу явится или бессилие, или фантазия. Они исходят из предпосылки: раз я читаю это стихотворение, значит, оно написано для меня. А на самом деле для меня ничего не написано, кроме стихов из сегодняшней газеты. Гораций точно объявлял, что пишет для потомков, которые будут, пока стоит Рим, но таких потомков, как мы, он не воображал и в страшных снах. Чтобы понять Горация, нужно выучить его поэтический язык. А поэтический язык, как

[На полях:] а не моя Воля и Представление. («Мир как воля и представление» (1818) — главный философский труд А. Шопентауэра).

[На полях:] Гермениевты и интерпретаторы ищут не то, что в тексте, а то, что за текстом («что делает текст возможным?»). Конфуция спрашивали: «Учитель, а что будет на том свете?» — он отвечал: «А на этом свете вам уже все понятно». Метафизика прежде физики опасна.

[На полях:] Что такое диалог? Допрос [ср.: Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2000. С. 234. Прим. Х. Барана]. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, что кого-то (что-то) познал.

<sup>25</sup> «Sonata quasi una fantasia» — название сонаты op. 27 № 2 cis-moll Бетховена, более известной под названием «Лунная».

<sup>26</sup> Полемизируя с неприемлемым для него субъективным идеализмом Беркли, Дидро пишет: «Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственно существующее на свете фортепиано и что вся гармония вселенной происходит в нем».

<sup>27</sup> Ли Бо (701—762) — китайский поэт.

и английский или китайский, выучивается не интуицией, а по учебникам (к сожалению, для него не написанным). Для меня в этом мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг убеждает нас в этом. Кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет, или, наоборот, так уж замучен неудобством этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим. Так что вместо «нарциссическая филология» можно сказать «солипсическая филология». А я привык думать, что филология — это служба общения. <...> мне всегда казалось, что послебахтинские рассуждения о диалогичности всего на свете — это непростительный оптимизм. Нет диалога, есть два нашинкованных и перетасованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника; с таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. (С камнями сейчас мало кто разговаривает — по крайней мере, публично, — но с Бодлером или Расином всякий нелепый публично разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые ему хочется услышать). Максимум достижимого — это учиться языку собеседника; а он такой же чужой и трудный, как горациевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает — но ровно столь же, сколько обогащает изучение горациевского или китайского языка (можно ли говорить о диалоге с учебником китайского языка?). Я очень стараюсь в разговорах учить язык собеседников (и поэтому разговоры мне так тяжелы) — но и это, по-видимому, не каждый делает, потому что этому моему старанию люди удивляются и даже считают за это меня хорошим человеком. Но навязывать им свой язык я не имею права (именно потому, что знаю, как трудно его учить). А поэтому и о себе ничего никому не могу сказать (кроме тех урывков, когда по поводу чужой душевной неприятности говоришь: «понимаю, я вот тоже...») <...> Вот и это письмо — не реплика в диалоге, а кусок монолога на тему «у кого что болит». («А что у тебя болит?» А ничего у меня не болит, кроме старости, точнее — устарелости. Когда будешь примеривать свою жизнь на ближайшие восемь-десять лет, помни, пожалуйста, что это последние наукоспособные годы, потом будет очень тяжело. — разве что тебе, может быть, больше повезет, чем мне). <...>

[На полях:] В любом диалоге речь моего собеседника началась до меня, я обязан поймать ее на лету, угадать саморазумеющееся для него, поддержать не понимая и обогатиться ненужным, а его опустить довольным.



[15 февраля 1994 года, Москва, от руки, на бланке «Коммунистическая партия Советского Союза. Российский Социально-политический Институт ЦК Компарии РСФСР»]: русский либерализм, Лотман и фрейдизм

Для интереса пишу тебе на бланке, унаследованном РГГУ от ВПШ<sup>28</sup>: нам их дали, чтобы пользоваться как оборотами. Пишу дня через три после твоего звонка, писем твоих еще не получал, но, видимо, это дело обычное: на днях ко мне пришло новогоднее поздравление из Литвы, шло полтора месяца, а Париж все-таки ближе.

<...> Про русский либерализм я по-прежнему ничего не знаю, — и вообще мне кажется, что существовал он убого и робко и ярких фигур не оставил — ну, не ярче Милюкова или, пожалуй, Ключевского. Но историкам легче быть либералами, чем публицистам. Здесь, наверное, очень важно проследить, как русский либерализм был отражением западного либерализма, но этого, по-моему, абсолютно никто не исследовал. Я тоже мыслей не имею, потому что западный либерализм представляю себе очень плохо — ни Гладстона<sup>29</sup>, ни Гизо<sup>30</sup>. А немецких либералов не знаю даже по именам — может быть, вообще с запада на восток среда для либерализма становилась все менее питательной? Я встречал ссылки на английские статьи более-менее по русскому либерализму XIX в., начиная со Сперанского, так что слушатели американской конференции могут быть подготовлены и не довольствоваться азами. Впрочем, на конференциях средний образовательный уровень всегда ниже индивидуальных. Жалко, что я сейчас не рядом: вдвоем мы бы что-нибудь сочинили с погонка. А можно было бы просветиться и по библиотекам. Хорошей тебе командировки, — только не в ущерб переводу словаря. О словаре я по-прежнему думаю с большой неприязнью: многословен, односторонен и слишком деликатесен для русского потребителя, который и Фрейда-то едва читал<sup>31</sup>. Вышел журнал

<sup>28</sup> Российский государственный гуманитарный университет был организован Ю. Н. Афанасьевым в помещении бывшей Высшей партийной Школы при ЦК КПСС.

<sup>29</sup> Гладстон Уильям (1809—1898) — британский государственный и политический деятель.

<sup>30</sup> Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк, государственный деятель периода июльской монархии.

<sup>31</sup> К психоанализу отношение Гаспарова заостренно просветительское: российскому читателю пока не до изысков, ему нужны внятные книги, помогающие разобраться в предмете. Полагаю, что именно такой книгой и является Словарь Ланланша и Понталиса, а потому он и нужен российскому читателю — даже сейчас, когда российская психоаналитическая грамотность значительно возросла. Напомню, что сейчас к выходу в свет готовится второе, переработанное издание этого Словаря, в котором я ввожу некоторые терминологические изменения, даю новое введение и заключение с разъяснениями по поводу тех процессов, которые произошли в русском психоанализе за последние 15 лет.

НЛО<sup>12</sup> с юбилейными статьями о Бабеле с точки зрения фрейдизма и даже со ссылками на Мелани Кляйн — это такой кошмарный бред, что я оценил фразу, сказанную на памятном заседании о Лотмане: «он был очень широкой доброжелательности человек и одного только в филологии не принимал напрочь: фрейдизма»<sup>13</sup>. Но все равно, я очень хочу, чтобы ты поскорее разделалась со словарем и освободила руки для Деррида (или, хочется мне воображать, для анти-Деррида). <...>

<...> Себя я по-прежнему чувствую машиной, физически изношенной и морально устарелой, которой давно пора на слом. <...> Сейчас у меня работа почти буквально этому соответствующая: нужно переделать десяток статей по семантике стиха, чтобы свести в книгу. Любопытно: материал там — наполовину советская послевоенная поэзия, и выглядит она сейчас, через какие-то десять-двадцать лет после статей, такой уж архаичной и отжившей, что даже умилительно. Как будто целый материк культуры отвалил берегом и уходит вдаль. Перед этим я читал полторы тысячи страниц корректуры Плутарха (это должен был делать Аверинцев, но он, конечно, в Женеве), и это было очень одурачивающее. Потом в апреле мне предстоит поездка в Италию, где я, во-первых, буду чувствовать себя шарлатаном — на конференции специалисты будут обсуждать мою книжку о европ. стихе, а я уже все в ней забыл и ни на один вопрос не отвечу, — а во-вторых, буду чувствовать себя обязанным смотреть по сторонам и воспринимать Италию, а я ее заранее не изучал, а что изучал, то забыл: буду как слепой и глухой перед картиной. <...> Глядя в будущее, я не могу понять, как устроена человеческая старость, чем может быть и должен жить человек, когда его умственная машина изнасилась: видимо, каждому по потребительским способностям, а они у меня не выработаны. <...>

...\*

[22 мая 1994 года, Москва, машинопись, на бланке «Коммунистическая партия Советского Союза. Российский Социально-политический Институт ЦК Компарии РСФСР»]: Хармс как философ

<...> [Правда] Хармс<sup>14</sup> за последнее время почти стал философом. Это их обзериутское бедствие: в их кружке было два профессиональных философа, т. е. учившихся на философском факультете; один из них, писавший книжечки про взятие Зимнего, погиб

<sup>12</sup> НЛО. 1993. № 4 (Бабелю посвящены статьи М. Ямпольского, А. Жолковского, Г. Фрейдина). (Прим. Х. Барана).

<sup>13</sup> Скорее всего, эта фраза прозвучала в одном из выступлений на Первых Лотмановских чтениях в РГГУ (6 декабря 1993 года).

<sup>14</sup> Хармс Даниил Иванович (Ювачев, 1905—1942) — поэт, писатель.

на войне, а другой, ничего не писавший, выжил, сочинил в стол много философских интерпретаций к сочинениям своих друзей и передал их молодым обзериуоведам, на которых они произвели неизгладимое впечатление. У меня аспирант пишет по Хармсу и это тоже будет философия. Хотя я ему и твержу, что философия у Хармса пародическая, и что изучать пародическую философию куда трудней, чем серьезную.

<...>

В Италии я жил почти сплошь среди соотечественников, переселившихся туда работать. Последним был Б. Успенский<sup>15</sup>, не устроившийся по конкурсу в Стэнфорд и после этого устроившийся заведовать славистикой в Неаполь. Живут нелегко, работают на железнодорожных расстояниях от жилья, одна из лучших лотмановских учениц преподает латышский язык<sup>16</sup>. За две недели я только пять раз ночевал в гостиницах, остальное — у добрых людей, поэтому все время был в напряжении общения, оттого и устал. Кроме того, хоть ни в одном музее я не был и даже на родной Форум не ходил, но приходилось заставлять себя смотреть по сторонам, чтобы отчитываться по возвращении, — а хотелось больше всего зажмурить глаза. Устал за две недели, как за два месяца, а в Москве скопилось столько же работы, сколько и у тебя. Самые душевно облегчительные впечатления были от того, как я объяснялся с итальянскими стиховедами и издательскими работниками на ломаном английском — он у меня как раз на этом уровне.

Мне позвонили из Айрекса<sup>17</sup>, что стипендия на американскую командировку (крошечная) мне утверждена. Почти одновременно пришло письмо от Алексеевой<sup>18</sup>, что начальник Принстонского архива собирается закрыть мандельштамовский фонд, чтобы подвергнуть его химической обработке на предмет сохранения гниющей бумаги. Так что если я попаду туда, то, скорее всего, придется работать с микрофильмами <...>

<sup>15</sup> Успенский Борис Андреевич (1937) — филолог, лингвист, историк культуры; с 1993 г. профессор ун-та в Неаполе.

<sup>16</sup> М. Б. Плюханова.

<sup>17</sup> IREX — International Research and Exchanges Board, организация, созданная в 1968 году рядом американских университетов для координации научных обменов с Советским Союзом и Восточной Европой.

<sup>18</sup> Алексеева Елена Владимировна — филолог-классик, исследователь архива Мандельштама в Принстоне, жена Пьера Делина (известный бельгийский математик, пожизненно приглашенный профессор в Принстоне).

[1 апреля 1995 года, Принстон, от руки]: Деррида: перевод или антология?

<...>

Если ты еще не покончила с тем курсом, где тебе приходится вписывать психологию в историю советской культуры, то посмотри книгу: М. Геллер, А. Некрич. «Утопия у власти», два тома, Лондон, 1982, есть переводы на европейские языки. Это очерк истории СССР, неровный, но довольно содержательный и богатый фактами, и уделяющий необычно много внимания культурной и идеологической истории. Ты пишешь, что психологам мало интересно слушать про русскую культуру, — ничего, пусть просвещаются, тебе тоже ведь мало интересна психология как таковая. Но ты тоже через силу просвещаешься. Так вот путем само- и взаимоистязаний и получается прогресс. Между прочим, я плохо представляю, на что похожа современная профессиональная психология: мне все по старинке кажется, что это или позитивистские эксперименты по вниманию, памяти и пр., или отвлеченно-фантастические концепции. А что ты «на первой лекции закатали им столько всего разного, что они взвыли», я очень рад: ты все боялась, что ничего не знаешь, а теперь сама видишь, что знаешь очень много. Преподавай, следи за здоровьем, отлеживайся в промежутках, и не угрызай себя, что не переводишь Деррида. Честное слово, не так уж его и нужно переводить, — нужнее написать книжку о нем, может быть, с включением отрывков. В XVIII в. любили издавать антологии отрывков, характерных для таких-то писателей, под заглавиями *L'ésprit de Marc Aurèle*, *L'ésprit de Voltaire*, «Дух Тибуллов» итп.; но Деррида, кажется, плохо разывается на афоризмы: слишком громоздок.

<...>

[28 апреля 1995 года, Принстон, от руки, красные чернила]: рациональное в современном мире

<...>

Курсы, которых ты так боялась, ты заканчиваешь хорошо. На будущий год — Якобсон и материальность слова в русской поэзии. Господи, да это же рай после истории советской психологии! «Материальность слова» — это, по-моему, метафорическое выражение и больше ничего, но ты мне расскажешь, что из него раздули психоаналитики. Толстые книги о Якобсоне я знаю только по заглавиям и вряд ли прочту; готовься мне их пересказывать. Мне это очень интересно, и мы попробуем разобраться и в Хлебникове и в Мандельштаме, сколько сил хватит. Наконец-то мобилизуются твои филологические интересы и способности, — а, может

быть, я что-то узнаю о различиях стилей мышления в русской и франц. философии, в которые (разницы) не очень верю. Давай дотягивать этот хомут до конца дней в общей упряжке. А если тебе под это еще будет стажировка в Лозанну — чего еще надо? Вот и еще нормальный рабочий год. А сквозная тема твоя, рационализм в современном мире, — при тебе и все твои мелкие доклады по-немногу к ней сводятся. Держи в порядке эти мысли по мелочам, и в какой-то момент сама почувствуешь, что ты ими уже перенасыщена, и нужно писать книгу. <...>

У Шкловского есть книжка «Поденщина» — заметки для многотиражки на кинофабрике, где ему приходилось работать, конечно, не от хорошей жизни. В предисловии он пишет: «Собираю их в книжку, не стыдясь, потому что думаю, что наша работа умнее нас, и что поденщина, которую мы пишем, важнее, чем те великие произведения, которых мы не пишем». Я всю жизнь пробовал работать именно так, и во всякой теме, которой приходилось заниматься по необходимости, выискивать что-то для себя интересное. (Был писатель, который всю жизнь поневоле занимался не своими делами, но так талантливо находил в них для себя интересное, что всем казалось, будто это и есть главные его дела: это Чуковский). Ты ведь тоже, в общем, так жила. Сейчас, к старости, нам обоим стало труднее извлекать интересное из неинтересного, зато и опыта накопилось уже много такого, что извлекаемое легче сортировать в кучи и пускать в обработку. «Подавай мне общую тему в голове, и чтоб я была при ней мучеником науки». Есть у тебя эта общая тема в голове — рационализм в современном мире; и она такая немодная, что состоять при ней — это уже почти мученичество. Мне кажется, тебе иногда мешает сознавать это постоянная оглядка на других; «а вот о Деррида уже пишет такой-то и, конечно, напишет лучше». Нет, не лучше, а иначе. Если ты, не оглядываясь на других, постарайся плотней и связней упаковать в сознании те обломки и обрывки знаний, которыми набиты наши головы, а потом дать письменный отчет об этой своей упаковке, — это окажется интересно для неожиданно многих. Знаю по опыту: я по античности только так и работал. А если у тебя стали сомнительнее общие упаковочные концепции, в которые это все укладывалось, — поразговаривай со мной, может быть, что-то прояснится. Я знаю, что я не философ, но ведь твоя позиция тем и хороша, что она не изнутри философии, а наполовину со стороны, наполовину филологическая.

<...>

**[23—26 января 1996 года, от руки]: будущее России, балканские войны, русский солдат на своем научном месте**

<...> Я получил сегодня из какого-то литературного центра анкету: вопрос 7-й: «какие события своей жизни вы считаете важнейшими», вопрос 19-й (и последний) «что Вы думаете о будущем России». Насчет будущего России всё ясно: напишу: «по-прежнему будет догонять Запад, торопясь через ступеньку, пока не догонит; сейчас она при очередном прыжке упала и больно растянулась на ступеньках, а победит ли она, когда встанет, с правой или с левой ноги, — не так уж важно».

<...> А политический и не только политический постскриптум такой. За этот месяц было еще одно чеченское сражение, о котором ты могла читать в газетах, и я каждый день вспоминаю одно суждение из патриотического журнала «Русский вестник» за 1912 г. (тогда тоже были балканские войны, только не в Боснии, а в Македонии): у русского солдата, кроме общеизвестных его достоинств, есть еще одно — неприхотливость к начальству. Это значит: когда над французским солдатом офицер (генерал) дурак, то его боеспособность падает до нуля, а у русского — только наполовину. На начальство России всегда не везло (и нам в частности), давай же и дальше быть русскими солдатами на своих научных местах. А причисляя к начальству и все жизненные неблагоприятные обстоятельства — помнить, что снижаться нам свойственно только наполовину. <...>

**[6 февраля 1996 года, Москва, компьютерный набор]: о невежестве и лизоблюдстве**

<...> Угрызения твои насчет собственного невежества я понимаю: если сосредоточиться на этом мыслью, то кто угодно полезет в петлю, кроме Вяч. Вс. Иванова. Но ты же это невежество не стараешься скрывать, и когда в разговоре чего не знаешь, то переспрашиваешь, будь собеседник студент, профессор или дочь; честное слово, это лучший способ жить, и обрати внимание, на такой твой переспрос собеседник то и дело сам обнаруживает, что недостаточно знает предмет, чтобы сказать о нем коротко и просто. Меня такой прямоте научило общение с Аверинцевым: в разговоре с ним притвориться, будто понимаешь то, чего не понимаешь, было невозможно. Думай лучше о том, что ты знаешь, а другие не знают. Найди эти свои опорные пяталчки и стой на них. В их числе твоя выгода и в том, что ты для их французских проблем — сторонний человек: не обязана быть ни за Деррида, ни против Деррида, а можешь трезво смотреть со стороны и вписывать его в ту сколь угодно смутную картину современной умственной ситуации, ка-

кая есть у тебя в голове. Ты считаешь эту свою трезвую нейтральность минусом, а она — плюс. Лизоблюдской должности она тебе не принесет, а уважение принесет. А ты ведь лизоблюдской карьеры и не ищешь, иначе давно бы бросила науку, сосредоточилась на карьере и преуспела бы вполне. Переводить ли «Грамматологию», решаю сама; если ты сможешь прокомментировать ее с трезвостью для себя и упрощающей ясностью для читателя, то я бы от этой мысли не отказывался, хоть мое отношение к Деррида ты знаешь. Чем больше я глух на современную литературу и науку, тем мне больше кажется, что эпохе субъективизма, начавшейся (скажем) с Ницше и кончающейся с Деррида, осталось уже немного времени. А на смену ей, по законам исторического волнообразования, придет опять полоса объективистского рационализма и прозрачного стиля, сравнимая с 18 веком. Попробуй почувствовать себя таким аванпостом рационализма 21 века, и у тебя будет больше уважения к себе. (Ты пишешь: «здесь совершенно необходимо быть в себе уверенным, чтобы себя постоянно представлять, другие этого за тебя не сделают». Да разве мы себя представляем? Мы представляем ту часть и тот аспект науки, которыми мы занимаемся). Твое русское происхождение этому только способствует: ты, как Петр Великий (ну, не в одиночку, конечно), хочешь двинуть русскую культуру следующего века так, чтобы она в очередной раз догнала Запад, и поэтому высматриваешь не то, что нынче в моде, а то, что будет плодотворно завтра. Модные автомобили покупает потребитель, а перспективные — производитель; ты — производитель. Насчет того конца иррациональной волны, начавшейся с романтизмом и вторым подъемом взметнувшейся в XX в., я вдруг задумался, когда на днях доделывал статью о Лотмане под провокатерским названием «Лотман и марксизм»<sup>39</sup>; приедешь — покажу.

<...>

[1 июня 1996 года, Москва, от руки]: образ философа в обыденном сознании

<...> О том, что такое уличное представление о философии (бытие: «есть вещь или нет?», сознание: «есть смысл или нет?»), я никогда не задумывался, а домыслы свои по телефону импровизировал на месте; а ведь это важная культурно-историческая проблема, и наверное, в наш век, когда стали говорить о проблеме обыденного сознания, об этом где-нибудь писали, — поинтересуйся. Первый образец этого я даже знаю: это «Облака» Аристотеля, где Сократу приписываются размышления о таких-то и таких-то тайнах природы — на самом деле они его нимало не за-

<sup>39</sup> См: НЛО. 1996. № 19. С. 7–13.

нимали, но так уж представляла себе философов широкая публика. Если бы Аристофан осмеивал философов XX в., то он вкладывал бы в них речи, похожие на хармсовские рассуждения. Вообще, «образ философа в литературе и публицистике XVIII—XX вв.» — тема захватывающая (не меньше, чем «образ американца...», о котором я листал толстую французскую докторскую монографию). Моя мать была вполне советским человеком и к марксизму относилась самым серьезным образом, но когда я ей прочитал «Плоды раздумий» К. Прутков, она сказала: «из этого можно вывести всю марксистско-ленинскую философию». (Наверное, и любую иную; если бы я был образованнее, я бы в этом поупражнялся, и наверное получилось бы нечто похожее на Хармса в интерпретации Жаккара и Мейлаха<sup>40</sup>). Козьму Прутков Хармс перечислял среди нескольких величайших для него мировых авторов, рядом с Блейком (о котором знал разве что со слов Маршака) и еще кем-то столь же неожиданным. Что «Улисса», считающегося энциклопедией сознания XX в., кто-то предлагал читать как *Riesenschertz-buch*<sup>41</sup> вроде «Гаргантюа», я, кажется, уже писал.

<...>

Еще я в этом промежутке поделился соображениями об «образе философа в обыденном сознании» с К. Поливановым, товарищем по Пастернаковскому изданию; он заметил, что в XVIII—XIX вв. (т. е. при романтизме и постромантизме) этот образ существует, видимо, в паре с образом поэта, и поэт (художник и пр.) окрашен положительно, а философ отрицательно. Я обрадовался: у меня давно есть гипотеза (наверное, я тебе говорил), что в середине XVIII в. в Европе произошел демографический перелом: человечество поняло, что победило в борьбе с природой и уже не вымрет, и перешло из обороны в наступление на природу, это означало риск, это означало спрос на нестандартные решения — на нестандартных личностей — на романтических героев в размахе от художника-визионера до человека из подполья; оттого-то чиновник (стандартный) в русской литературе отрицательный тип, а лишний человек (нестандартный) — положительный тип, вроде поэта. На таком романтическом фоне философ, представитель ми-

<sup>40</sup> Ж.-Ф. Жаккар, профессор Женевского университета, автор книги «*Daniil Harms et la fin de l'avant-garde russe*» (1991; рус. пер.: Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995); Мейлах М. Б., специалист по Д. Хармсу и А. Введенскому, обэриутам, ныне профессор Страсбургского ун-та. Их интерпретация Хармса выводит принципы его творчества из концепций его друзей-философов — Якова Друскина и Леонида Липавского, в которых речь идет о роли чисел, о столкновении смыслов, о понятиях жизни, смерти, вечности, бессмертия, порядка и случайности, движения и др.

<sup>41</sup> Огромная книга остроумия (нем.).



ровых законов, выглядит так же одиозно, как чиновник, представитель общественных законов, и так же подлежит насмешке и пародии. И только нам, за советское время соскучившимся по философии, кажется, что обэриуты должны были уважать Флоренского и прочих. Давай когда-нибудь напишем про это. <...>

**[Конец 1996 года, Москва, от руки]: пародия на философию; дискуссия филологов и философов**

<...> очень рад был твоему звонку об обэриутах: во-первых, потому что ты живешь и трудишься, а во-вторых, потому что ты не совсем забыла об этой теме. Она интересная — хотя бы тем, что напоминает нынешним новаторам, уверяющим, будто такого мира и мироотношения, как сейчас, никогда не было: «нет, было». И тем, что напоминает: анализ может быть объективным, а интерпретация не может, она зависима от установки — любой серьезный текст может быть понят как пародический, и наоборот. Когда я впервые прочитал (лет в 10) 4-стишие Тютчева «Умом Россию не понять...можно только верить», я решил, что это пародия на славянофильство. А пародический романс Панаева «Густолиственных кленов аллея...», стал очень популярным и пелся всерьез. Недавно вышел номер «Нового лит. Обозрения» со стенограммой круглого стола филологов с философами<sup>42</sup> (об этом писал тебе в сентябре): приедешь — покажу. По этому поводу зашла речь, чтобы всем взять какой-нибудь один текст и разобрать, кто как горазд; но какой? Я сказал: «безымянный»; философы резко воспротивились. Им нужно было имя автора, чтобы заранее сформировать установку подхода. Я сказал: «обэриутский»; тут воспротивились и те и другие, а почему — внятно объяснить не могли. Я когда-нибудь еще напишу филологический разбор чего-нибудь обэриутского, но представить себе, из каких философских осколков составляли они свой бриколаж, я без тебя не смогу.

**[27 марта 1999 года, Анн Арбор, от руки]: американские студенты, интертекстуальный Мандельштам**

Племянница, спасибо, что позвонила; я уже сам не раз жалел, что не успел переспросить у тебя мамин адрес, он у меня в книжке записан карандашом и полустерся. Поздравляю с распечаткой Деррида: вот теперь и пойдет, думаю, самое мучение. Узнавши про переделку бостонской статьи, я вздохнул: мне с самого начала ка-

<sup>42</sup> Философия филологии. Круглый стол // НЛО. 1996. № 17. С. 45—93. Об этом говорилось выше. Мой отклик на эту публикацию см: Автономова Н. С. Философия и филология (о российских дискуссиях 90-х годов) // Ускользающий контекст. Русская философия в XX веке. М., 2002. С. 256—283.

залось, что не стоит она таких трудов и переживаний, и лучше бы от нее отделаться и забыть. Но, видимо, был неправ. ты оказалась чем-то вроде гласительницы программы, и тогда делать нечего, нужно гласить подробно и внятно. Конечно, то, что ты пишешь, сказать необходимо, и во всеуслышание (всеучитывание), но что это будет сказано по такому случайному поводу, как бостонское столпотворение<sup>43</sup>, меня всегда смущало. Пиши, пожалуйста, со всеми точками над и, но ради бога, не беспокойся, что непременно кто-то на что-то обидится и с кем-то на какое-то время испортятся отношения. Ты уже давно существуешь сама по себе, а не как член или представитель какой-то компании — вот так и стой, и кроме уважения, ничего от этого не будет.

Я здесь не очень доволен собою: надеялся работать с такой же интенсивностью, как в Узком, а не получается, нехватает сил. Видимо, оттого, что там я сидел на одном предмете, а здесь приходилось переключаться с Мандельштама на преподавание, привыкать к здешней библиотеке и пр. Кстати, студентам (аспирантам) я здесь должен был, кроме уроков по разбору стихотворений, рассказывать о точных методах исследования, по этому поводу пересказал им ту характеристику нынешней культурной ситуации, которую мы сочинили для ивгийских аспирантов<sup>44</sup>, — ничего, слушали тихо, как кролики (они все какие-то бессловесные, и Ронену<sup>45</sup> с ними скучнее, чем было несколько лет назад). Кстати знаешь, какой еще пример того, что филологии приходится перестраиваться с установки на «свое» на установку на «чужое»? Краеугольный камень филологии — языкознание, и краеугольный камень языкознания — фонетика. Еще когда мы учились, звуки классифицировались по артикуляции, на передние, задние и пр.: по тому, как

<sup>43</sup> Речь идет о XX Международном философском конгрессе в Бостоне в августе 1999 года, где мне довелось делать пленарный доклад. В этом докладе рассматривались прежде всего дефициты русского концептуального языка и способы их преодоления (*Avtonomova N. On the (Re)creation of Russian Philosophical Language // The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy. Vol. 12. Ohio, 2000. P. 83—94*). Мое выступление вызвало отрицательную реакцию ряда российских философов, особенно провинциальных, возмущенных таким проявлением непатриотичности, и критические выступления печати; эту критику я считала абсолютно несправедливой. Речь в письме идет о моей работе над журнальным вариантом доклада, предназначенным для «Вопросов философии», где мне предложили возможность очертить мою позицию. Ср.: *Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // Вопросы философии. 1999. № 11. С. 13—28.*

<sup>44</sup> Спецкурс для студентов и аспирантов под заглавием «Философия и филология» был прочитан нами в феврале 1999 года: мы собирались повторить его в расширенном виде.

<sup>45</sup> Ронен Омри (1937) — литературовед-славист, исследователь творчества Мандельштама; профессор Мичиганского ун-та (Анн Арбор).

лингвист, носитель таких-то («своих») языков, выговаривает их сам и ощущает это. Теперь они классифицируются по акустике, на компактные, диффузные и пр.: по тому, какими лингвист видит со стороны (как «чужой») их изображения на объективной фонетической спектрограмме. Вот так и Пушкина мы ощущаем (должны ощущать) не в сердце и горле, а перед глазами в академическом издании с вариантами и параллелями. «Пушкинский юбилей — это еще надо пережить», сказал по телевизору юморист-обозреватель незадолго до моего отъезда. Мне в середине апреля ехать на пушкинскую конференцию в Калифорнию, куда съедутся все поголовье пушкинистов из России и даже из Европы. <...>

С Роненом очень интересно — он не только знает на память всю мировую словесность, и в любом месте Мандельштама мгновенно видит переключки сразу с Рембо, пророком Исаией и Гегелем в пересказе Куно Фишера, но еще и рассказывает бесконечные занятности про Якобсона и прочих своих великих учителей. Я очень боялся разочаровать его соавторством, но, кажется, пока еще этого не случилось: он специалист по интертекстуальным кирпичам, а как эти кирпичи складываются в стихотворение, он думал меньше, и что-то в моих разборах для себя находит.

<...>

**[11 февраля 2001 года, Москва, компьютерный набор]: Лотман и Бахтин для студентов; самоопределение**

Племянница, твое письмо было брошено в московский ящик 5 февраля, а до меня дошло 9-го, по московским меркам не так уж и долго: при Тургеневе столько времени шли письма, например, из Баден-Бадена. Писано оно было еще раньше, за это время все вопросы, что преподавать во втором семестре, ты решила сама. Я подумал, что литературоведам можно дать тех же Лотмана и Бахтина, только другие сочинения, чем лингвистам, тогда и те, что ходят на оба семинара, не будут в претензии. Интересно, зачем лингвистам Лотман и особенно антилингвистический Бахтин? (Антилингвистический, т.е. верящий, что есть не только то, что в словах, но и то, что за словами; обо мне здесь уже стали печататься анекдоты, в том числе фраза, не знаю, к кому: «я понимаю, что в Вашей голове этой нелепой мысли не было, но в Вашем тексте она получилась»). Разве что для общего кругозора? Тогда честь и планировщикам и студентам. На студентов ты не жалуешься, так что, видимо, твои с трудом дающиеся рассказы до них доходят. Я восхищаюсь, потому что преподаватели всегда мне казались тяжелоатлетами от науки, которые везут ее больше, чем я. И завидую, потому что у меня сейчас мандельштамовский материал в таком состоянии, что про-

катать его в семинаре было бы очень полезно, но я не решился. Я сейчас конспектирую 900-страничную книгу по Мандельштаму (израильскую, с автором я был знаком, когда он еще не был такой знаменитый <...>), которая производит впечатление слегка выправленной магнитофонной записи спецкурса или спецсеминара — и ничего, кое-что полезное выклеивается. Ты себя на магнитофон записывать не будешь, но твои подготовительные записи для занятий еще пойдут впрок для статей и книг; даже у меня шли, когда я вел семинар. Ты пишешь про остатки детского страха, что «ничего не пойму и не смогу внятно сказать» — я из этого состояния не выхожу никогда, поэтому на докладах и лекциях запрещал себе думать и тем более чувствовать аудиторию, а читал свои слова по бумажке в пространстве «как под стеклянным колпаком», говорила Таня Миллер<sup>46</sup>. Как ни странно, они воспринимались. У меня тоже память становится все хуже, я уже не могу держать в голове целиком ту статью, которую сажусь писать, и, как ты, «записываю клочки» и сочиняю по кускам — к счастью, с компьютером сводить эти куски воедино легче. Написанного не помню и старые свои статьи читаю с трудом. Ты вроде бы утрызасишься, что твое предисловие к Деррида получилось дайджестом, а это для философа унизительно. Но ты ведь не философ, а историк (современной) философии, от которого требуются именно дайджесты: на вопрос об узкой специальности ты отвечаешь «современный структурализм и постструктурализм», а не «гносеология» итп<sup>47</sup>. Я понимаю, что те, у кого узкая специальность «гносеология» итп., на историков философии смотрят с презрением, но это только потому, что они понимают: ими самими вряд ли будут заниматься историки философии, даже современной. Так что ты тоже могла бы смотреть на них с презрением. <...>

<sup>46</sup> Миллер Татьяна Адольфовна — филолог-классик, долгое время работала в секторе античной литературы Института мировой литературы РАН под руководством М. Л. Гаспарова.

<sup>47</sup> В своей «деконструкции» «больших слов» Гаспаров был неумолим. Я и правда не называю себя ни гносеологом, ни философом, однако считаю, что специальность у меня — философская: это эпистемология или, иначе, история и теория научного познания, его методы и закономерности — как они проявляют себя в разных областях. Но Гаспаров упорствовал: но ты ведь все равно не философ, а историк (современной) философии... И все это, видимо, потому, что у него было очень своеобразное понимание философии как творчества в отличие от науки как исследования, что приводило к взаимоисключающей картине обоих этих видов деятельности, которые, по сути, вполне способны были «общаться» и в наших разговорах, да и в его собственной голове и работе. Он боялся, что мы потеряемся, если я буду слишком уж философом, а на самом деле, эти различия ничем подобным не грозили, напротив, делали нас друг другу интересными.

[28 февраля 2001 года, Москва, от руки]: «я не целковый, чтобы всякому нравиться»

- <...> ты огорчалась статьями молодых авторов в «Логосе»<sup>48</sup>, которые ругали нас заборными словами. Право, не стоит огорчения! Это просто значит, что они нас не любят; ну и что ж? Мы их тоже не любим; а что они выражают свою нелюбовь заборным языком, а мы нет — это только дело вкуса: ведь не захотела бы ты поменяться с ними местами! Мы с тобой — и все нам подобные — работаем, право, не для того, чтобы кому-то нравиться («я не целковый, чтобы всякому нравиться», говорил Горький), а потому что нам (и еще кому-то) это интересно. Притом у В. Руднева<sup>49</sup> здесь личные причины для свирепости: у Лотмана ему не удалось защитить диплом (и персональную филиппику против Лотмана, очень базарную, он напечатал еще года два назад в журнале «Пушкин»<sup>50</sup>), а меня он считает виновником того, что наш сектор не дал ему стороннего отзыва, когда он собирался защитить докторскую без кандидатской (однако, потом защитил). Я тебе рассказывал, как этот отзыв обсуждался в нашем секторе и как потом В. А. Успенский спрашивал меня по телефону, как это было, сказав при этом памятную фразу: «Я не спрашиваю вас, какова была диссертация — я, как тот персонаж у Булгакова, достаточно опытен, и мне не нужно видеть труп, чтобы понять, что человек убит». <...>

[14 октября 2001 года, Апп Арбор, от руки]: Бахтин и Гаспаров: два узника в темнице

<...> Мне подарили две толстые книжки больше по твоей части, чем по моей: С. Emerson. The first hundred years of M. Bakhtin, 1997, и Critical Essays on M. Bakhtin, ed. С. Emerson, 1999; если у тебя их нет, я pošлю их прямо на твоё имя. Эмерсон<sup>51</sup> почему-то меня уважает, цитирует чаще, чем я того заслуживаю, и величает — безоговорочно комплиментарно — watchdog'ом<sup>52</sup> позитивистской научности. Спрашивает: «ну вот, бахтинский бум, слава богу, спадает, по крайней мере, на Западе; как по-вашему, что от Бахтина останется через двадцать лет?» (Когда так говорит

<sup>48</sup> Западная славистика на рубеже тысячелетий. Беседа Вадима Руднева с Александром Ивановым и Драганом Куюнджичем и отклики на беседу // Логос: Философско-литературный журнал. 2000. № 4 (25). С. 4—56.

<sup>49</sup> Руднев Вадим Петрович (1958) — исследователь философии языка, доктор филологических наук.

<sup>50</sup> Речь идет о статье: Руднев В. «Узнаете меня по усам» // На посту. 1998. № 2. С. 24—25.

<sup>51</sup> Эмерсон Кэрил — американский филолог, профессор сравнительной литературы и славянских языков и литератур, специалист по русской литературе XIX века (Толстой, Достоевский), русской духовной традиции (Бахтин).

<sup>52</sup> Сторожевой собакой (англ.).

пионер западного бахтинизма, это приятно слышать). Я говорю: «отвестся филологическая шелуха, останется философское ядро»<sup>53</sup>. «А в чем оно?». «Вот по этим книжкам, оказывается, что и диалог-то у Бахтина был не такой, как между нами, а такой, как у Нила Сорского с Господом Богом, то есть для которого никакого языка и не требуется (Нил Сорский говорил с богом, как собака Каштанка с хозяином-столяром — без слов): “О если б без слова сказаться душой было можно”, как писал Фет; такие романтические потребности очень живучи, поэтому люди, которым нужен Бахтин, не переводятся. А язык он не любит, и чувствует себя в нем, как узник в темнице. Я тоже чувствую себя в жизни, как в темнице, и (мне кажется) понимаю Бахтина, как узник узника, но дальше начинается несходство характеров: я простукиваю стенки темницы и нащупываю код для общения с соседними камерами, а он стоит у оконной решетки и рвется душой на простор». Она меня спрашивала, как ты рассказывала о Бахтине французам и швейцарцам, но я не мог ответить. А Ронен саркастически сказал: «французы мне сами говорили: многое в нашей философии у нас только для экспорта, а сами мы этого не носим». С Эмерсон я разговаривал в ее Принстоне, на мандельштамовской конференции, шумной и бестолковой; я там делал разбор перевода Мандельштамом сонета Петрарки<sup>54</sup>, и в последний день перед докладом придумал формулу: перевод есть равнодействующая того, что переводчик должен, может и хочет: что он должен, задает подлинник, что он может, определяют средства его языка; что он хочет — это его предпочтения и вкусы, по которым он отбирает что-то из этих средств. Под эту тривиальность доклад прошел благополучно; пишу об этом тебе, потому что у тебя тоже очередная тема — апология перевода, хотя и философского: вдруг пригодится? А главным образом пишу все это потому, что хочется поговорить с тобой <...>. А бытовые анекдоты о моем заграничном существовании — когда-нибудь в другой раз. Их много: по-английски на слух я по-прежнему не понимаю, на каждой авиапересадке совал диспетчершам блокнот, как глухой Бетховен, «write your question, please», в одном месте даже в отчаянии спросили (письменно): «don't you know any sign language?» — видимо, это сделало бы разговор скорее. То-то Бахтин мечтал общаться без языка. <...>

<sup>53</sup> Это высказывание Гаспарова лишний раз показывает, что предпочтение филологии вовсе не означало в его трактовке Бахтина пренебрежения философией.

<sup>54</sup> Доклад опубликован: *Гаспаров М. Л.* 319 сонет Петрарки в переводе О. Мандельштама: история текста и критерии смысла // *Человек—культура—история: В честь семидесятилетия Л. М. Баткина*. М., 2002. С. 323—337.

## П. Е. М. Мелетинский и Ю. М. Лотман: два письма о структурализме

Здесь я привожу два давних письма, написанных мне Е. М. Мелетинским и Ю. М. Лотманом. Эти письма — ответные: им обоим я послала мою только что вышедшую тогда книгу о французском структурализме и перевод «Слов и вещей» Фуко. Эти письма мне дороги. В них и Мелетинский, и Лотман одобрительно отзываются о моей книге — по-видимому, отчасти, из желания поддержать начинающего исследователя. Но в этих письмах есть и другое: и некоторые важные оценки французского и других структурализмов, и достаточно жесткие отсылки к той реальной идеологической ситуации, в которой выдвигались и развивались в России идеи структурализма. В современных вариантах ревизии истории утверждается, что так называемые структуралисты удобно и привольно жили в науке и в советской действительности. Я не выдаю их за мучеников, однако хочу напомнить о том, что отстаивать свои идеи (и возможность публикаций) им приходилось в постоянной борьбе и противостоянии сразу на многих фронтах, как сказал бы бывший связной артиллеристского полка Ю. М. Лотман. Оба письма не подвергаются никакой редакторской правке.

Е. М. Мелетинский<sup>55</sup> — Н. С. Автономовой [22 июля 1977 года, Москва, от руки]

Дорогая Наталья Сергеевна!

Большое спасибо за книгу. Я не сразу откликнулся, т.к. хотел прочесть ее. И я ее действительно прочел от начала и до конца с большим восхищением. Это — прекрасная книга, так непохожая на всю ту полужадовитую слюну и крокодиловы слезы, которыми полны отклики на французский структурализм. Что касается «неразумного» (т. е. элементов догматизма и анализа «от печки», столь обязательного), то оно у Вас только минимум миниморум. Совершенно неизбежный минимум. По существу же все проанализировано и «извне» и «изнутри», действительно в плане живых, а не воображаемых философских контrovers.

Еще раз благодарю и поздравляю Вас.

С сердечным приветом

Е. Мелетинский

<sup>55</sup> Е. М. Мелетинский в этой книге — постоянно подразумеваемое великое имя. Ведь его свершения были устремлены в том же направлении, что и замыслы и дела главных героев книги: «Я с юности проникся мечтой о превращении гуманитарных наук в точные...». Мелетинский Е. М. Автобиография // Новая газета. 1993. № 38. 29 сентября. С. 5. Надеюсь, что об этом еще многое будет сказано.

Ю. М. Лотман — Н. С. Автономовой. [23 февраля 1978 года, Тарту, от руки]

Глубокоуважаемая Наталия Сергеевна!

Большое спасибо за книгу. Я ее исправно получил, читать же смогу лишь в мае — до этого, наверное, не смогу взять в руки ни одной «внеплановой» книги. Заранее предвкушаю удовольствие и пользу от чтения. Пока два замечания — впечатления самого беглого просмотра: кажется, лучше было бы указать в заглавии «французского» — это соответствовало бы содержанию. Ведь есть и чешский, и датский и американский, и русский «структурализм». Все они различные. Кроме того, за последние несколько лет произошло настолько сильное движение вперед, что, по сути дела, в ряде случаев, вернее говорить о методологии, генетически восходящей к классическому «структурализму», но в значительной мере являющейся его отрицанием (в том смысле, в котором Якобсон как лингвист продолжает и отрицает Соссюра). Французский структурализм в этом отношении мне представляется наименее динамическим и, следовательно, менее интересным. Отождествлять его проблемы с проблемами структурного анализа в гуманитарных науках — слишком широко. Второе замечание, может быть, и несправедливо и снимется при подробном чтении. Мне показалось, что Вы даете «одним планом» (пользуясь кинематографическим выражением) Леви-Стросса, Фуко, Барта и Кристеву. Между тем, Леви-Стросс — крупнейший исследователь конкретного плана (что всегда наиболее ценно). Фуко — острый и талантливый философ, во французском значении этого слова, а Барт и Кристева (прости, Господи, меня грешного!) мало интересны. Это писатели-эссеисты и не очень крупного масштаба<sup>56</sup>.

Хочу выразить Вам свою читательскую благодарность за выход «Слов и вещей» (почему «для научных библиотек»?)<sup>57</sup>. Мне понравилась Ваша статья. Перевод тоже, кажется, точен (почти везде).

<sup>56</sup> Думаю, что Барт — писатель (прежде всего — писатель), очень талантливый, но сейчас не время и не место для обсуждения этого вопроса.

<sup>57</sup> Речь идет о переводе книги М. Фуко «Слова и вещи». По техническому недоразумению из текста выпала иллюстрация — «Менины» Веласкеса, без которой содержание Предисловия к книге оставалось во многом непонятным. Она действительно была выпущена с грифом «для научных библиотек»: в ней, в частности, содержались откровенно полемические отсылки к Марксу, так что удивительно не то, что книга была помечена грифом «для научных библиотек», а то, что она вообще появилась в разгар застоя, хотя и с соответствующими постраничными примечаниями от редакции. Однако даже этого малого по тем временам тиража (5000 экземпляров), насколько можно судить, хватило тогда на рассылку по основным научным библиотекам. Этот русский перевод широко использовался и в других странах, прежде всего в Болгарии. После этого следующих публикаций Фуко на русском языке пришлось ждать 20 лет.



Пожурите редакцию за неточности в редакционных примечаниях. Так, на стр. 56 читаем к выражению «андреевский крест»: «Орден «Крест св. Андрея» имеет форму Х». Начнем с того, что такого ордена «Крест св. Андрея» никогда не было, а был «Орден Андрея Первозванного». В тексте Фуко, конечно, речь идет не об ордене (откуда Фуко знать русские ордена?), а об иксообразном кресте, на котором был распят св. апостол Андрей (ср. без всякого ордена «андреевский крест» на знамени русского флота). Орден не имел форму Х, а имел форму увенчанного короной двуглавого орла, на силуэт которого сверху был апплицирован эмалированный андреевский крест с фигурой апостола. На стр. 181 к «Жюльетте» пояснение: «роман маркиза де Сада». Тут тоже небольшая неточность: роман, о котором идет речь, называется: «Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, suivi de l'histoire de Juliette, sa sœur (второй вариант знаменитой «Жюстин»)). Жаль, что к книге не приложена репродукция «Las Meninas» Веласкеса — читателю, не имеющему под руками ни ее, ни французского текста книги Фуко, трудно понять его рассуждения. Вот видите, какой я зануда!

Вашу статью с М. Л. Гаспаровым<sup>58</sup> я читал и помню — она мне показалась очень интересной.

Что же касается до Вашей просьбы относительно наших сборников, то тут я, к сожалению, никак не могу Вам помочь ничем, кроме совета. Распространения наших изданий я не касаюсь (тут у нас на эту тему небольшая провинциальная склока). Могу Вам посоветовать послать заказ на «Труды по знаковым системам» 9 и «Труды по русской и славянской филологии» XXVIII в Издательскую группу Тартуского университета тов. Райсмаа (адрес: Тарту, Университет, изд. группа...) и одновременно сдублировать: Тарту, университет, проректору тов. В. Хаамеру, указав свои должности и чины — он самодержавно ведает у нас распространением изданий университета.

С искренним уважением

Ваш Ю. Лотман

23. II. 78.

P. S. На мой совет лучше не ссылаться.

---

<sup>58</sup> Речь идет об упоминавшейся выше статье «Сонеты Шекспира — переводы Маршака».

1. *Abrioux Y.* Système sémiotique et système dynamique: note sur Lotman et Priogine // *Théorie. Littérature. Enseignement (TLE)*. 1995. № 13. (Pour Iouri Lotman).
2. *Agueeva I.* Le M. Bakhtine «français»: la réception de son œuvre dans les années 1970 ([http://cid.ens-lsh.fr/russe/lj\\_agueeva.htm](http://cid.ens-lsh.fr/russe/lj_agueeva.htm)).
3. *Albaladejo T.* La pluralité communicative comme élément constituant de l'œuvre littéraire narrative: l'actualité de Mikhaïl Bakhtine // *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
4. *Alpatov V.* La linguistique marxiste en URSS dans les années 1920–1930 // *Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL)*. 2003. № 14. P. 5–22. (Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne: épistémologie, philosophie, idéologie).
5. *Alpatov V.* Saussure, Volochinov et Bakhtine // *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
6. *Altounian J.* Traduire Freud? (II) — Singularité d'une écriture // *Revue française de psychanalyse*. 1983. Vol. XLVII. № 6.
7. *Amorim M.* Dialogisme et alterité dans les sciences humaines. Paris, 1996.
8. *Aucouturier M.* Mikhaïl Bakhtine: philosophe et théoricien de roman // Bakhtine M. *Esthétique et théorie du roman*. Paris, 1978.
9. *Aumüller M.* Le Cercle de Bakhtine et la méthodologie en science de la littérature dans les années 1920 // *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
10. *Avtonomova N.* The Use of Western Concepts in Post-Soviet Philosophy. Translation and Reception // *Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History*. Bloomington, Indiana. 2008. Vol. 9. № 1.
11. *Avtonomova N.* Traductions et créations d'une langue conceptuelle russe: Histoire et actualité // *Revue philosophique de la France et de l'étranger*. 2005. № 4.
12. *Avtonomova N.* Bakhtin and «Anti-Bakhtin»: Some Contemporary Approaches // *Challenges to Theoretical Psychology* / Maier W. e. a., eds. North York, 1999. P. 426–433.
13. *Avtonomova N.* Derrida en russe // *Revue philosophique de la France et de l'étranger*. 2002. № 1.
14. *Avtonomova N.* L'héritage de Lotman // *Critique*. 2001. № 644–645. Janvier–février (Moscou 2001. Odyssée de la Russie).
15. *Avtonomova N.* Paradoxes de la réception de Derrida en Russie. // *Cahiers de L'Hermès*. 2004. № 83. (Derrida / Sous la direction de M.-L. Mallet et G. Michaud).
16. *Avtonomova N.* Philosophie oder Parodie auf die Philosophie? (Kommentar zum Vortrag von A. Hansen-Löve über die Philosophie des «Nichts» bei den Oberriuten) // *Russischen Denken im europäischen Dialog* / Depperman M. (Hrsg.). Innsbruck, 1998.
17. *Avtonomova N.* Roman Jakobson: deux programmes de fondation de la slavistique // *Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL)*. 1997. № 9. (Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915–1939 / Ed. par F. Gadet et P. Sériot).
18. *Bakhtin and the Human Sciences. No Last Words* / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998.
19. *Bakhtine M. (Volochinov V. N.)* Le marxisme et la philosophie du langage. Paris, 1977.
20. *Bakhtine M.* Esthétique de la création verbale. Paris, 1984.
21. *Bakhtine M.* Esthétique et théorie du roman. Paris, 1978.
22. *Bakhtine M.* La Poétique de Dostoïevski. Paris, 1970.
23. *Bakhtine M.* L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance. Paris, 1970.

24. *Bakhtine M.* Problèmes de la poétique de Dostoïevski. Lausanne, 1970.
25. *Bakerczan E.* Vers un réalisme sémiologique // Théorie. Littérature. Enseignement (TLE). 1995. № 13. (Pour Iouri Lotman).
26. *Becker A.* Beyond Translation. Essays toward a Modern Philology. Ann Arbor, 1995.
27. *Belknap R. Z.* Rev. on: *Лотман Ю. М.* Структуры художественного текста (репринт. изд. на рус. яз.) // American Quarterly of Soviet and East European Studies (= Slavic Review). 1972. Vol. 31. № 4. Dec.
28. *Bell M.* Culture as Dialogue // Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998.
29. *Bender C.* Bakhtinian Perspectives on «Everyday Life Sociology» // Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998.
30. *Berman A.* L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984.
31. *Berman A.* Pour une critique des traductions: John Donne. Paris, 1995.
32. *Bernard-Donalds M.* Knowing the Subaltern: Bakhtin, Carnival, and the Other Voice of the Human Sciences // Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998.
33. *Bernstein M. A.* Poetics of "ressentiment" // Morson G. S., C. Emerson (Eds.). Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges. Evanston (IL), 1989.
34. *Bertau M.-C.* Le vécu de la langue dans la forme et la voix. Une approche avec Iakoubinski et Volochinov // Slavica Occitania. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
35. *Bethea D. M.* Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian «Poetic Thinking»: the Code and its Relation to Literary Biography // Slavic and East European Journal. 1997. Vol. 41. № 1.
36. *Bisekist A. von.* Pourquoi traduire? Les enjeux politiques d'une «lingua franca» européenne // Hermès. 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
37. *Blaim A.* Cultural semiotics — the uses of a theory // Russian Literature. 1994. Vol. XXXVI.
38. *Bourguignon A., Bourguignon O.* Traduire Freud? I — Singularité d'une histoire // Revue française de psychanalyse. 1983. T. XLVII. № 6.
39. *Brundist C.* The Official and the Popular in Gramsci and Bakhtin // Theory. Culture. Society. 1996. Vol. 13. № 2.
40. *Branham R. B.* A Truer Story of the Novel? // Bakhtin and the Classics / Ed. by R. B. Branham. Evanston, 2002.
41. *Bres J., Rosier L.* Réfractions: polyphonie et dialogisme: deux exemples de reconfigurations théoriques dans les sciences du langage francophones // Slavica Occitania. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
42. *Brown E. J.* Rev. on: *Lotman Y.* Analysis of the Poetic text. Ann Arbor, 1976 // Comparative literature. Eugene, Oregon. 1978. Vol. XXX. № 2.
43. *Burkitt I.* The Death and Rebirth of the Author: the Bakhtin Circle and Bourdieu on Individuality, Language, and Revolution // Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell M., Gardiner M., eds. London, 1998.
44. *Cassin B.* (entretien). Intraduisible et mondialisation // Hermès. 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
45. *Cassin B.* De l'intraduisible en philosophie // Revue «Rue Descartes». 1995. № 14.
46. *Clark K.* «Carnival» and the Culture of the Stalinist Thirties // Indiana Slavic Studies. 2000. Vol. 11. (In Other Words... In Celebration of Vadim Liapunov).
47. *Cotet P., Rauzy A.* Traduire Freud? II — Singularité d'une langue // Revue française de psychanalyse. 1983. Vol. XLVII. № 6.
48. Critical Essays on Mikhail Bakhtin / Emerson C., ed. N.Y., 1999.
49. *Crowley T.* Bakhtin and the history of the language // Bakhtin and Cultural Theory / Hirshkop K., Shepherd D., eds. Rev. 2 ed. Manchester, 2001.

50. *Cyzevskij D.* Die russische Philosophie des Gegenwarts // Slavische Rundschau. 1930. № 10.
51. *Deltcheva R., Vlasov E.* Lotman's «Culture and Explosion»: a Shift in the Paradigm of the Semiotics of Culture // The Slavic and East European Journal. Spring 1996. Vol. 40. Issue 1.
52. *Dosse F.* Histoire du structuralisme. T. 1: le champ du signe, 1945—1966. Paris, 1991.
53. *Dosse F.* Histoire du structuralisme. T. 2: le chant du cygne, 1967 à nos jours. Paris, 1992.
54. *Dufva H.* From Psycholinguistics to Dialogical Psychology of Language: Aspects of the Inner Discours(s) // Lähteenmäki M., Dufva H., eds. Dialogues on Bakhtin: Interdisciplinary Readings. Jyväskylä, 1998.
55. *Eismann W., Grzybek P.* Nachruf auf Juri Lotman // Zeitschrift für Semiotik. Bd. 16. H. 1—2. (In memoriam: J. M. Lotman, 1922—1993).
56. *Emerson C.* Bakhtin after 1990: How Having the Early Writings in English Has Reconfigured the Whole // Indiana Slavic Studies. 2000. Vol. 11. (In Other Words... In Celebration of Vadim Liapunov).
57. *Emerson C.* Coming to Terms with Bakhtin's Carnival: Ancient, Modern, sub Specie Aeternitatis // Bakhtin and the Classics / Ed. by R. B. Branham. Evanston, 2002.
58. *Emerson C.* The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton, 1997.
59. *Fehr J.* Saussure entre linguistique et sémiologie. Trad. de l'allemand par P. Cossat. Paris, 2000.
60. *Fichte J. G.* Reden an die deutsche Nation // Fichte J. G. Werke in sechs Bänden. Fünfter Band. Leipzig, 1910.
61. *Fogel A.* Coerced Speech and the Oedipus Dialogue Complex // Morson G. S., Emerson C., eds. Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges. Evanston, IL., 1989.
62. *Fontanille J.* Sémiotique du discours. Limoges, 1998.
63. *Fontanille J.* Soma et Séma. Figures du corps. Paris, s/a.
64. *Gadamer H.-G.* Hegel und der Sprachforscher Roman Jakobson // Jakobson R., Gadamer H.-G., Holenstein E. Das Erbe Hegels. F. a. M., 1984.
65. *Gardiner M.* Le défi dialogique de Bakhtine aux sciences sociales // Slavica Occitania. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
66. *Gardiner M.* The Dialogics of Critique: M. M. Bakhtin and the Theory of Ideology. London, 1992.
67. *Geseman G.* Wesen des Westens und Wesen des Ostens // Slavische Rundschau. 1933. № 6.
68. *Goldman N.* Un dictionnaire de concepts transnationaux: le projet "Iberconcepts" // Hermès. 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
69. *Gourg M.* Quelques unes des dernières perspectives de recherches de I. Lotman // Théorie. Littérature. Enseignement (TLE). 1995. № 13. (Pour Iouri Lotman).
70. *Grenoble L. A.* Linking the Code to the Message: the Role of Shifters in Discourse // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
71. *Grzybek P.* The Concept of «Model» in Soviet Semiotics // Russian Literature. 1994. Vol. XXXVI.
72. *Huadri A.* Répondre de quelque chose, c'est répondre à quelqu'un: un dialogue imaginaire entre Bakhtine et Levinas // Slavica Occitania. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
73. *Hagege Cl.* Le souffle de la langue. Voies et destins des parlers d'Europe. Paris, 1992.
74. *Handley W. R.* The Ethics of Subject Creation in Bakhtin and Lacan // Critical Studies. 1993. Vol. 3. № 2/3; Vol. 4. № 1/2. (Bakhtin, Carnival and Other Subjects / Shepherd D., ed.).
75. *Haynes D.* Bakhtin and the Visual Arts. Cambridge, 1995.

76. *Heim M. H., Tymowski A. W. (dir.) Guidelines for the Translation of Social Sciences Texts.* N. Y. American Council of Learned Societies. (ACLS), 2006.
77. *Hersent J.-F. Traduire: rencontre ou affrontement entre cultures? // Hermès.* 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
78. *Holenstein E. Jakobson phénoménologue? // Jakobson: Sémiologie, poétique, épistémologie.* (L'Arc. 1973, 1990).
79. *Holquist J. M. Rev. on: Lotman Y. Analysis of the Poetic Text.* Ann Arbor, 1976 // *The Slavonic and East European Review.* 1977. Vol. 36. № 2.
80. *Holquist M. Bakhtin and the Task of Philology. An Essay for Vadim // Indiana Slavic Studies* 2000. Vol. 11. (In Other Words... In Celebration of Vadim Liapunov).
81. *Humboldt W. von. Über den Einfluss des verschiedenen Charakters der Sprachen auf Literatur und Geistesbildung // Humboldt W. von. Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage / Prés., traduit, commenté par D. Thouard.* Paris (bilingue allemand-français), 2000.
82. *Humphrey Ch. Bakhtin and the Study of Popular Culture: Rethinking Carnival as a Historical and Analytical Concept // Materializing Bakhtin. The Bakhtin Circle of Social theory / Brandist C., Tihanov G., eds.* N. Y., 2000.
83. *Huser D. (Mémoire). Réception en France de l'œuvre de Bakhtine-Volochinov. Marxisme et la théorie du langage. Le décalage spatio-temporel des contextes scientifiques se reflète-t-il dans la traduction française? Lausanne, 2001.*
84. *Ivanova I. Le dialogue dans la linguistique soviétique des années 1920—1930 // Cahiers de l'ILSL.* № 14. 2003. P. 157—182. (Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne : épistémologie, philosophie, idéologie).
85. *Ivanova I. Spécificités de l'étude du dialogue dans la linguistique russe // Histoire. Epistémologie. Langage.* 2000. Vol. XII. Fasc. 1. P. 117—130.
86. *Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939 // Cahiers de l'ILSL. (Institut de linguistique et des sciences du langage).* 1997. № 9.
87. *Jakobson : Sémiologie, poétique, épistémologie* (L'Arc. 1973, reprod. 1990).
88. *Jakobson R. The Kernel of Comparative Slavic Literature // Harvard Slavic Studies.* Vol. 1. Cambr., Mass. (*Jakobson R. Selected Writings.* Vol. VI. The Hague, 1985).
89. *Jakobson R. Slavism as a Topic of Comparative Studies // Review of Politics.* Vol. XVI. (*Jakobson R. Selected Writings.* Vol. VI. The Hague, 1985).
90. *Jakobson R. Sur la spécificité du langage humain // Jakobson : Sémiologie, poétique, épistémologie.* (L'Arc. 1973, 1990).
91. *Jakobson R. Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik // Slavische Rundschau.* 1929. Jg. 1. № 8. (*Jakobson R. Semiotik. Ausgewählte Texte 1919—1982 / Hrsg. von E. Holenstein.* F. a. M., 1988).
92. *Jakobson R. Zur Dialektik der Sprache // Jakobson R., Gadamer H.-G., Holenstein E. Das Erbe Hegels.* F. a. M., 1984.
93. *Jakobson R., Gadamer H.-G., Holenstein E. Das Erbe Hegels.* F. a. M., 1984.
94. *Jakobson R., Halle M. Fundamentals of Language.* The Hague, 1956.
95. *Jakobson R., Pomorska K. Dialogues.* Paris, 1980.
96. *Jakobson R., Waugh L. R. The Sound Shape of Language.* Brighton, 1979.
97. *Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique.* 1967. T. XXIII. № 239. P. 438—465.
98. *Kristeva J. L'expansion de la sémiotique // Information sur les sciences sociales* 1967. Oct. Vol. VI. № 5.
99. *Kristeva J. La sémiologie comme science des idéologie // Semiotica.* 1969. Vol. VI. № 2.
100. *Kristeva J. Le mot, le dialogue et le roman // Kristeva J. Sémiotikè, recherches pour une sémalyse.* Paris, 1969.
101. *Kristeva J. Linguistique et sémiologie aujourd'hui en U.R.S.S. // Tel Quel.* 1968. № 35.
102. *Kristeva J. On Yuri Lotman // Publications of the Modern Language Association of America (PLMA).* May 1994. Vol. 109.

103. *Kristeva J.* Une poétique ruinée. Présentation // *Bakhtine M.* La poétique de Dostoïevski. Paris, 1970.
104. *Krysinski W.* Bakhtin and the Evolution of the Post-Dostoevskian Novel // *Discours social= Social discourse: Cahiers internationaux de recherche en littérature comparée.* 1990. Vol. 3. № 1—2. (Bakhtin and Otherness / Barsky R. F., Holquist M., eds.).
105. La traduction et la lettre — ou l'auberge du lointain // *Les tours de Babel* (A. Berman, G. Granel e.a.). Mauzevin, 1985.
106. *Lähteenmäki M.* Dialogue, Language and Meaning. Variations on Bakhtinian Themes. Jyväskylä, 2001.
107. *Lala M.-L.* Mikhaïl Bakhtine: Rabelais, le dialogue et la dialogique // *RS SI [Recherches sémiotique/Semiotic Inquiry]*. 1998. Vol. 18. № 1—2.
108. *Laplanche J.* Spécificité des problèmes terminologiques dans la traduction de Freud // *Psychanalyse à l'Université.* 1988. 13 (51). Juillet.
109. *Laplanche J.* Terminologie raisonnée // *Bourguignon A., Cotet P., Laplanche J., Robert F.* Traduire Freud. Paris, 1989.
110. *Latraverse F.* Le binarisme en phonologie // *Jakobson: sémiologie, poétique, épistémologie.* (L'Arc. 1973, 1990).
111. Letters and Other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles. 1912—1945. Ann Arbor, 1994.
112. *Levaco R.* Rev. on: *Lotman Y.* Semiotics of Cinema. Ann Arbor, 1976 // *Slavic Review (American Quarterly of Soviet and East European Studies).* 1978. Vol. 37. № 4. December.
113. *Levi-Strauss Cl.* Préface // *Jakobson R.* Six leçons sur le son et le sens. Paris, 1976.
114. *Lévy-Leblond J.-M.* (entretien). Sciences dures et traduction // *Hermès.* 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
115. *Lotman Iury M., Ginsburg L. Ya., Uspensky B. A.* The Semiotics of Russian Cultural History. Cornell UP, Ithaca and L., 1985.
116. *Mahmoudian M.* Une science pour les humanités? Le modèle phonologique: apports, problèmes, prolongements // *Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL).* 1994. № 5.
117. *Maineuneau D.* L'énonciation en linguistique française. Paris, 1991.
118. *Mandelker A.* Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin and Vernadsky // *PMLA.* May 1994. Vol. 109.
119. *Margolin U.* Yuri Lotman on the Creation of Meaning in Literature // *Canadian Review of Comparative Literature.* Fall 1975.
120. Materializing Bakhtin: The Bakhtin Circle of Social theory / Brandist C., Tihanov G., eds. N.Y., 2000.
121. *McLean H.* Jakobson's Metaphor/Metonymy Polarity: a Retrospective Glance // *Роман Якобсон: тексты, документы, исследования.* М., 1999.
122. *Meschonnic H.* Poétique du traduire. Paris, 1999.
123. Mikhaïl Bakhtine et la pensée dialogique / Textes réunis et édités par C. Thomson et A. Collinot. The Univ. of Western Ontario, 2005.
124. *Moeschler J.* Dialogisme et dialogue: pragmatique de l'énoncé vs pragmatique du discours // *TRANEL.* Décembre 1985. № 9. (Actes du colloque "Dialogisme et polyphonie". 27—28 Sept. 1985).
125. *Morrow R.* Bakhtin and Mannheim: an Introductory Dialogue // *Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell. M., Gardiner M., eds.* London, 1998.
126. *Moser W.* La littérature, un entrepôt de savoirs? // *Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE).* 1992. № 10. (Epistémocritique et cognition I.)
127. *Nielsen G.* The Norms of Answerability: Bakhtin and the Fourth Postulate // *Bakhtin and the Human Sciences. No last Words / Bell. M., Gardiner M., eds.* London, 1998.
128. *Ohnheiser I.* Die Mittlerrolle der Slavischen Rundschau (Prag 1929—1940) — eine Anregung für heutige Slawisten // *Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.* 1995. № 3. Marz.

129. *Oustinoff M.* Les «Translation Studies» et le tournant traductologique // *Hermès*. 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
130. *Peace R.* On rereading Bakhtin // *Modern Language Review*. 1993. Vol. 88. № 1.
131. *Pechey G.* Not the novel: Bakhtin, Poetry, Truth, God // *Bakhtin and Cultural Theory* / Hirshkop K., Shepherd D., eds. Rev. 2 ed. Manchester, 2001.
132. *Penisson P.* Le polyglottisme des philosophes // *Traduire les philosophes* / Sous la direction de J. Moutaux et O. Bloch. Paris, 2000.
133. *Penisson P.* Philosophie allemande et langue du Nord // *Traduire les philosophes*. Sous la direction de J. Moutaux et O. Bloch. Paris, 2000.
134. *Petrović S.* Jakobson's Idea of Comparative Slavic Literature as a General Idea // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
135. *Pocheptsov G.* Neuere Überlegungen Lotmans zur Zeichendynamik // *Zeitschrift für Semiotik*. Bd. 15. H. 3–4. 1993.
136. *Pomorska K.* Preface // *Bakhtin M. Rabelais and his World*. Cambr. Mass., 1968.
137. *Ponzio A.* Dialogue, intertextualité et intercorporité dans l'œuvre de Bakhtine et du Cercle // *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
138. *Puech Ch.* L'émergence de la notion de «discours» en France et les destins du saussurisme // *Langages*. 2005. № 6950. Septembre.
139. *Quellet P.* La dimension cognitive du discours littéraire. Perception discursive et imagérie mentale // *Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE)*. 1992. № 10. (Epistémocritique et cognition 1).
140. *Rastier F.* Réalisme sémantique et réalisme esthétique // *Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE)*. 1992. № 10. (Epistémocritique et cognition 1).
141. *Rehoul A.* Dialogue, style indirect libre et fiction // *TRANEL*. Décembre 1985. № 9. (Actes du colloque "Dialogisme et polyphonie". 27–28 Sept. 1985).
142. *Reid A.* Literature as Communication and Cognition in Bakhtin and Lotman. N. Y., 1990.
143. *Reid A.* Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him? // *Discours Social=Social Discourse*. 1990. Vol. III. № 1–2.
144. *Rhineland L.* Exiled Russian Scholars in Prague: the Kondakov Seminar and Institute // *Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes*. 1971. Vol. XVI. № 3.
145. *Ricœur P.* Sur la traduction. Grandes difficultés et petits bonheurs de la traduction. Paris, 2004.
146. *Robert F.* Glossaire // *Bourguignon A., Cotet P., Laplanche J., Robert F.* Traduire Freud. Paris, 1989.
147. *Roggenbuck S.* Saussure und Derrida. Linguistik und Philosophie. Tübingen, 1998.
148. *Rubattel C.* Polyphonie, syntax et délimitation des énoncés // *TRANEL*. 1985. № 9. Décembre. (Actes du colloque "Dialogisme et polyphonie". 27–28 Sept. 1985).
149. *Rzhevsky N.* Kozhinov on Bakhtin // *New Literary History*. 1994. Vol. 25. № 2. 1994. Spring.
150. *Salvestroni S.* La dimensione temporale e lo sviluppo della conoscenza nell'opera letteraria. La proposta teorica dell'ultimo Lotman // *Strumenti critici*. 1996. Anno XI. Gennaio.
151. *Saussure F. de.* Cours de linguistique générale / Ed. critique préparée par Tullio de Mauro. Paris, 1979.
152. *Schleiermacher F.* Des différentes méthodes du traduire / Trad. par A. Berman. Paris, bilingue allemand-français, 1999.
153. *Schott H.* L'histoire du signe linguistique de Ferdinand de Saussure et les Pragoïs // *Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL)*. 1994. № 5.
154. *Seriot P.* Généraliser l'unique: genres, types et sphères chez Bakhtine // *LINX*. 2006. № 5. (La linguistique des genres).

155. *Seriot P.* Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale. Paris, 1999.
156. *Seriot P.* Volochinov, la sociologie et les Lumières // *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe).
157. *Shotter J., Billig M.* A Bakhtinian Psychology: from out of the Heads of Individuals and into the Dialogues Between Them // *Bakhtin and the Human Sciences. No last Words* / Bell. M., Gardiner M., eds. London, 1998.
158. *Shukman A.* Literature and Semiotics. A Study of the Writings of Yu. M. Lotman. North-Holland Publishing Company. 1977.
159. *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov et Medvedev dans les contextes européen et russe / Vauthier B., éd.
160. *Slavische Rundschau* / Hrsg. von F. Spina und G. Geseman. Berlin; Leipzig; Prag: Walter de Gruyter, 1929—1940.
161. *Smith D. E.* Bakhtin and the Dialogics of Sociology: an Investigation // *Bakhtin and the Human Sciences. No last Words* / Bell. M., Gardiner M., eds. London, 1998.
162. *Steiner P.* Russian Formalism. A Metapoetics. Ithaca, N.Y., 1984.
163. *Thomson Cl., Kristeva J.* Dialogisme, carnavalesque et psychanalyse: entretiens avec Julia Kristeva sur la réception de l'œuvre de Mikhail Bakhtine en France // *RS SI [Recherches sémiotique/Semiotic Inquiry]*. 1998. Vol. 18. № 1—2.
164. *Thouard D.* Points de passage: diversité des langues, traduction et compréhension // *Hermès*. 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
165. *Tihanov G.* Bakhtin, Joyce, and Carnival: Towards the Synthesis of Epic and Novel in Rabelais // *Paragraph*. 2001. Vol. 24. № 1.
166. *Tiunik I. R. M.* M. Baxtin (The Baxtin School) and Soviet Semiotics // *Dispositio*. 1976. Vol. 1.
167. *Todorov Tz. e. a.* Qu'est ce que le structuralisme? Paris, 1968.
168. *Todorov Tz.* Mikhail Bakhtine. Le principe dialogique. Suivi de: Ecrits du Cercle de Bakhtine. Paris, 1981.
169. *Todorov Tz.* Monologue et dialogue; Jakobson et Bakhtine // *Acta Linguistica Hafniensia*. 1998. Vol. 29. (R. Jakobson Centennial Symposium. October 10—12, 1996).
170. *Todorov Tz.* Pourquoi Jacobson et Bakhtine ne se sont jamais rencontrés // *Esprit*, 1997. Janvier.
171. *Todorov Tz.* Préface (à la traduction française) // *Bakhtine M.* Esthétique de la création verbale. Paris, 1984.
172. *Toman J.* Remarques sur le vocabulaire idéologique de R. Jakobson // *Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL)*. 1994. № 5. Numéro spéc. : L'Ecole de Prague: l'apport épistémologique.
173. Traduire les philosophes / Actes des Journées d'études / Sous la direction de J. Moutaud, O. Bloch. Paris, 2000.
174. *Trubetzkoy N. S.* Letters and Notes / Ed. by R. Jakobson. Amsterdam, 1985. (1 ed. The Hague, 1975).
175. *Vauthier B.* Préface // *Slavica Occitania*. 2007. № 25. (Bakhtine, Volochinov Medvedev dans les contextes européen et russe).
176. *Vice S.* Introducing Bakhtin Manchester, 1997.
177. Vocabulaire européen des philosophies (dictionnaire des intraduisibles) / Sous la direction de B. Cassin. Paris, 2004.
178. *Voigt V.* In memoriam of «Lotmanosphere» // *Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies*. 1995. Vol. 105. № 3/4.
179. *Wall A.* La contagion de la fiction // *Théorie. Littérature. Enseignement. (TLE)*. 1992. № 10. (Epistémocritique et cognition 1).
180. *Winner T.* Les grands thèmes de la poétique jakobsonienne // *Jakobson : Sémiologie, poétique, épistémologie*. (L'Arc. 1973, 1990).
181. *Winner T. G.* Prague Structuralism and Semiotics: Neglect and Resulting Fallacies // *Semiotica*. 1995. Vol. 105. № 3/4. (In memoriam: J. M. Lotman, 1922—1993).



182. *Xu Jun*. Diversité culturelle: la mission de la traduction // *Hermès*. 2007. № 49. (Traduction et mondialisation).
183. *Zbinden K.* Mikhail Bakhtine et le Formalisme russe: une reconsidération de la théorie du discours romanesque // *Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage (ILSL)*. 2003. № 14. (Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne: épistémologie, philosophie, idéologie).
184. *Zbinden K.* Translating Bakhtin and Missing Heteroglossia // *Dialogism*. Issue 2. Sheffield, 1999.
185. *Zeil W.* Slawistik an der deutschen Universität Prag (1882—1945). München, 1995.
186. *Аверинцев С. С.* Филология // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972.
187. *Аверинцев С. С.* Бахтин, смех, христианская культура // Бахтин как философ. М., 1992.
188. *Автономова Н.* Гаспаров: свой путь в науке // Стих, язык, поэзия. М., 2006.
189. *Автономова Н.* Философия и филология (о российских дискуссиях 1990-х годов) // Ускользающий контекст: русская философия в XX веке. М., 2002.
190. *Автономова Н. С.* Slavische Rundschau и Р. О. Якобсон в 1929 году // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2001—2002 / Под ред. М. А. Колерова. М., 2002.
191. *Автономова Н. С.* Актуальное прошлое: структурализм и евразийство. Вступительная статья // *Серия П. Структура и целостность*. М., 2001.
192. *Автономова Н. С.* Возвращаясь к азам // Вопросы философии. 1993. № 3.
193. *Автономова Н. С.* Журнал «Славянское обозрение» — форма самоутверждения «русской теории»? // Русская теория: 1920—1930 годы. Материалы 10-х Лотмановских чтений. М., 2004.
194. *Автономова Н. С.* Приставка как философская категория // Вопросы философии. 2001. № 7.
195. *Автономова Н. С., Гаспаров М. Л.* Сонеты Шекспира — Переводы Маршака // Вопросы литературы. 1969. № 2 (Перепеч. см.: Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыт философии языка. М., 2008).
196. *Автономова Н. С., Гаспаров М. Л.* Якобсон, славистика и евразийство: две конъюнктуры, 1929—1953 // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
197. *Аймермахер К.* Знак. Текст. Культура (пер. с нем.). М., 1998.
198. *Акимов М.* Ярхо и Шпет // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2006.
199. *Аксенова Е. П.* Институт им. Н. П. Кондакова: попытки реанимации (по материалам архива А. В. Флоровского) // Славяноведение. 1993. № 4.
200. *Алпатов В. М.* Волошинов. Бахтин и лингвистика. М., 2005.
201. *Алпатов В. М.* Заметки на полях стенограммы защиты диссертации М. М. Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 1.
202. *Алпатов В. М.* Лингвистическая теория М. М. Бахтина — В. Н. Волошинова // Русская теория. 1920—1930-е годы. М., 1999.
203. *Андреев М. Л.* Несколько слов о Гаспарове-переводчике // Эпос и драма латинского Средневековья в переводах М. Л. Гаспарова. М., 2009.
204. *Андреев М. Л.* Новые русские переводы «Божественной комедии» в свете одной идеи М. Л. Гаспарова // ИЛО. 2008. № 92.
205. *Андреев М. Л.* Приложение: М. Л. Лозинский // Андреев М. Л. Литература Италии: Темы и персонажи. М., 2008.
206. *Арутюнова Н. Д.* Наивные размышления о наивной картине языка // Язык о языке. Сб. статей. М., 2000.
207. *Балаховская Е. И.* Московско-Тартуская семиотическая школа во Франции // Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления / Сост. и ред. Неклюдов С. Ю. М., 1998.

208. *Баран Х.* Рецепция Московско-Тартуской Школы в США и Великобритании / Московско-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления / Сост. и ред. С. Ю. Неклюдов. М., 1998.
209. *Барт Р.* Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей. М., 1975.
210. Бахтин в зеркале критики. Библиографический указатель. М., ИНИОН, 1995.
211. Бахтин в Саранске. Документы. Материалы. Исследования. Вып. II—III. Саранск, 2006.
212. *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
213. *Бахтин М. М.* (под маской). Маска третья. *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. М., 1998.
214. *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2 (Проблемы творчества Достоевского 1929). М., 2000.
215. *Бахтин М. М.* Из предисловия романного слова // Вопросы литературы. 1965. № 8
216. *Бахтин М. М.* Литературно-критические статьи. М., 1986.
217. *Бахтин М. М.* Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов // *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2005.
218. *Бахтин М. М.* Разрозненные записи // *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. М., 2005.
219. *Бахтин М. М.* Слово в романе // *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
220. *Бахтин М. М.* Слово в романе // Вопросы литературы. 1965. № 8.
221. *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. М., 2003.
222. *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4 (1). Франсуа Рабле в истории реализма. Материалы к книге о Рабле (1930—1950-е гг.). М., 2008.
223. *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5 (Работы 1940-х — начала 1960-х годов). М., 1997.
224. *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6 (Проблемы поэтики Достоевского, 1963; работы 1960—1970-х годов). М., 2005.
225. *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
226. *Бахтин М. М.* Язык и речь // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2001, № 1.
227. Бахтинский сборник. Вып. 5 / Отв. ред. Махлин В. Л. М., 2004
228. Бахтинский сборник: Сб. ст. Вып. 1. М., 1990.
229. Бахтинский сборник: Сб. ст. Вып. 2. М., 1991.
230. Бахтинский сборник: Сб. ст. Вып. 3. М., 1997.
231. Бахтинский сборник: Сб. ст. Вып. 4. Саранск. 2000.
232. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
233. *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
234. *Березин Ф. М.* Место и роль русского языка в постсоветской России // Языкознание: Реф. сб. ИНИОН. Вып. 13. М., 1997.
235. *Бибихин В. В.* Язык // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 4. М., 2001
236. *Библер В. С.* Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.
237. *Бондарко А. В.* «Эквивалентность при существовании различия»: концепция Р. О. Якобсона и современная проблематика стратификации семантики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
238. *Бонеецкая Н. К. М.* Бахтин в двадцатые годы // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 4.
239. *Бочаров С.* Аверинцев в нашей памяти // Вопросы литературы. 2004. Ноябрь-декабрь.
240. *Бочаров С. Г.* Об одном разговоре и вокруг него // *Бочаров С. Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999.

241. Бочаров С. Г. Событие бытия. М. М. Бахтин и мы в дни его столетия // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
242. Брагинская Н. Верность как измена // НЛЮ. 2001. № 4 (50).
243. Брагинская Н. В. Славянское возрождение античности // Русская теория. 1920—1930-е годы. Материалы 10-х Лотмановских чтений. Москва, декабрь 2002. М., 2004.
244. Бройтман С. Н. Две беседы с М. М. Бахтиным // Дискурс: Коммуникативные стратегии культуры и образования. 2003. Вып. 2. № 11.
245. Бройтман С. Н. Научный язык и терминология М. М. Бахтина: некоторые итоги // Дискурс: Коммуникативные стратегии культуры и образования. 2003. Вып. 2. № 11.
246. Брюсов В. Я. Фиалки в тигеле (1905) // Перевод — средство взаимного сближения народов. М., 1987.
247. Булавка Л. А., Бузгалин А. В. Диалектика диалога versus метафизика постмодернизма // Вопросы философии. 2000. № 1.
248. Васильев Н. Л. «...Метафизического языка у нас вовсе не существует» // Филологические науки. 1997. № 5.
249. Вац М. Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспаров. М., 2008.
250. Волкова Е. В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии. 2002. № 11.
251. Волкова Е. В. Эстетико-семиотический мир Ю. М. Лотмана // Вопросы философии. 2004. № 10.
252. Волкова Е. В., Оруджева С. Э. Тоны и обертоны серьезного в философии М. Бахтина // Вопросы философии. 2000. № 1.
253. Гаспаров М. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 3. М., 1997.
254. Гаспаров М. Поэзия без поэта // Вопросы литературы. 1985. № 7.
255. Гаспаров М. Предисловие к переизданию «Лекций по структуральной поэтике» Ю. М. Лотмана // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
256. Гаспаров М. Л. «Анализ поэтического текста» Ю. М. Лотмана: 1960—1990-е годы // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995.
257. Гаспаров М. Л. «Из Ксенофана Колофонского» Пушкина. Поэтика перевода // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997.
258. Гаспаров М. Л. «Читать меня подряд никому не интересно...»: Письма М. Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт. 1981—2004 гг. // НЛЮ. 2006. № 1 (77).
259. Гаспаров М. Л. 319 сонет Петрарки в переводе О. Мандельштама: история текста и критерии смысла // Человек — культура — история: В честь семидесятилетия Л. М. Баткина. М., 2002.
260. Гаспаров М. Л. Античная литературная басня. М., 1963.
261. Гаспаров М. Л. Брюсов и буквализм (По неизданным материалам к переводу «Энеиды») // Мастерство перевода. М., 1971.
262. Гаспаров М. Л. Брюсов и подстрочник: попытка измерения // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997.
263. Гаспаров М. Л. Брюсов-переводчик: путь к перепутью // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997.
264. Гаспаров М. Л. Вместо предисловия. Верлибр и конспект // Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. СПб., 2003.
265. Гаспаров М. Л. Диалектика Лотмана (предисловие) // Ким Су Кван. Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личность». М., 2003.
266. Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. М., 1997.
267. Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX—XXI веков: проблема теории и методологии

- изучения / Материалы Международной научной конференции 10—11 ноября 2004 года. М., 2004.
268. Гаспаров М. Л. К обмену мнений о перспективах литературоведения // НЛО. 2001. № 4 (50).
269. Гаспаров М. Л. Как писать историю литературы? // НЛО. 2003. № 1 (59).
270. Гаспаров М. Л. Критика как самоцель // НЛО. 1994. № 6.
271. Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999.
272. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.
273. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984.
274. Гаспаров М. Л. Письма к Ю. К. Щеглову // НЛО. 2006. № 1 (77).
275. Гаспаров М. Л. Предисловие к изданию: Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике (1964) // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
276. Гаспаров М. Л. Семинар А. К. Жолковского — Е. А. Мелетинского: из истории филологии в Москве 1970—1980-х гг. // НЛО. 2006. № 1 (77).
277. Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М., 1974.
278. Гаспаров М. Л. Статьи о лингвистике стиха (совместно с Т. В. Скулачевой). М., 2004.
279. Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997.
280. Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
281. Гачев Г. Русская дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991.
282. Гачев Г. Русский Эрос. «Роман» Мысли с Жизнью. М., 1994.
283. Гиндин С. К истории создания и восприятия статьи «О поколении, растратившем своих поэтов». Письмо Р. О. Якобсона Х. МакЛейну / Предисл. и нубл. С. И. Гиндина // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
284. Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Новое собрание. М., 1999.
285. Гиренок Ф. Пато-логия русского ума: Картография дословности. М., 1998.
286. Гиренок Ф. Русский космизм. М., 1990.
287. Гловински М. Р. Якобсон в Польше // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., 1999.
288. Гоготийвили Л. А. Варианты и инварианты М. М. Бахтина // Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Антология. Т. 2. СПб., 2002.
289. Гоготийвили Л. А. Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией (мягкая и жесткая версия интерпретации идей М. М. Бахтина) // Гоготийвили Л. А. Непрямое говорение. М., 2006.
290. Гржибек П. Бахтинская семиотика и московско-тартуская школа // Лотмановской сборник. Вып. 1. М., 1994.
291. Гринцер Н. П. Лингвистические основы раннегреческой философии // Язык о языке: Сб. статей / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой. М., 2000.
292. Гумбрехт Х. У. Ледяные обитания «научности», или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts» // НЛО. 2006. № 5 (81).
293. Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005.
294. Дашевский Г. Переводы в режиме «минус...» // НЛО. 2005. №3 (73).
295. Денисова Г. В. В мире интертекста: Язык, память, перевод. М., 2003.
296. Деррида Ж. Есть ли у философии свой язык? (Ответы Жака Деррида на вопросы издательства «Autrement») // Деррида Ж. Золы угасший прах / Пер. с франц. В. Е. Лапицкого. СПб., 2002.

297. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000.
298. Дмитриев А., Кукулин И., Майофис М. Занимательный М. Л. Гаспаров: академик-еретик // НЛО. 2005. № 3.
299. Дмитриев А., Левченко Я. Наука как прием: Еще раз о методологическом наследии русского формализма // НЛО. 2001. № 4 (50).
300. Дмитриева Е. Московско-парижская Одиссея, или Цена интеллектуального бесстрашия // НЛО. 2002. № 3 (55).
301. Дубин Б. Автор как проблема и травма: стратегии смыслопроизводства в переводах и интерпретациях М. Л. Гаспарова // НЛО. 2006. № 6 (82).
302. Дубин Б. Сознательность и воля // НЛО. 2006. № 1 (77).
303. Евразийство: за и против, вчера и сегодня (круглый стол) // Вопросы философии. 1995. № 6.
304. Егоров Б. Ф. Бахтин и Лотман // Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. (Приложение 1).
305. Егоров Б. Ф. Диалогизм М. М. Бахтина на фоне научной мысли 1920-х годов // М. М. Бахтин и философская культура XX века. Проблемы бахтинологии. СПб., 1991.
306. Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999.
307. Егоров Б. Ф. М. Л. Гаспаров в быту // НЛО. 2006. № 1 (77).
308. Елифёрова М. Ревизоры приехали? // Вопросы литературы. 2004. Сентябрь-октябрь.
309. Живов В. Совершенный словоиспытатель. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова // НЛО. 2006. № 1 (77).
310. Жолковский А. К. Совершитель Гаспаров // НЛО. 2006. № 1 (77).
311. Завьялов С. Воздвижение песенного столпа (Пинлар в переводе М. Л. Гаспарова и «бронзовый век» русской поэзии) // НЛО. 2006. № 1 (77).
312. Зайцева В. Шифтеры Якобсона и речевые акты // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
313. Западная славистика на рубеже тысячелетий. Беседа Валима Руднева с Александром Ивановым и Драганом Куюнджичем и отклики на беседу // Логос: Философско-литературный журнал. 2000. № 4 (25).
314. Здобыникова В. В. Книга новых вопросов // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 1.
315. Зенкин С. Семиолог в отсутствии структур // НЛО. 2006. № 4 (80).
316. Зенкин С. Филология в спорах о научности // НЛО. 2001. № 4 (50).
317. Зенкин С. Бой с тенью Лотмана. Заметки о теории. 1 // НЛО. 2002. № 1 (53).
318. Зенкин С. Выставка или драма? Заметки о теории. 2 // НЛО. 2002. № 3 (55).
319. Зенкин С. Испытание тезаурусом. Заметки о теории. 10 // НЛО. 2005. № 2 (72).
320. Зенкин С. Наличие и отличие // Вопросы философии. 2001. № 7.
321. Зенкин С. Н. Русская теория и интеллектуальная история — 2 // НЛО. 2007. № 5 (87).
322. Зильберштейн И. Slavica в немецкой истории мировой литературы // Slavische Rundschau. 1929. № 10.
323. Золян С. Языковая функция: возможные расширения модели Романа Якобсона // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
324. Зорин А. Выступление на круглом столе «Философия филологии» // НЛО. 1996. № 17.
325. Зорин А. Распределение ролей / Михаил Гаспаров — литератор // НЛО. 2006. № 6 (82).
326. Иванов Вяч. В. Лингвистический путь Романа Якобсона // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985.
327. Иванов Вяч. Вс. Буря над Ньюфаундлендом. Из воспоминаний о Романе Якобсоне // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.

328. *Иванов Вяч. Вс.* Звук и значение в концепции Jakobson // Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
329. *Иванов Вяч. Вс.* Значение идеи М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Ученые записки Тарт. Гос. ун-та, 1973. Вып. 308 / Труды по знаковым системам VI; (перепеч. см.: Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3).
330. *Иванов И.* «Гуманитарий: ученый или художник? Меняющиеся критерии и границы гуманитарного знания». XIV Банные чтения (Москва, клуб «Билингва», 30 марта — 1 апреля 2006 года) // НЛО. 2006. № 4. (80).
331. *Иванова Е. П.* Очерки по истории французского языкознания XX века: Лингвистическая историография и эпистемология языкознания. СПб., 2001.
332. Из работ московского семиотического круга. Сб. статей. М., 1997.
333. *Казанский Н. Н.* Эксперимент как метод в познании, поэтике и в науке о языке // Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
334. *Карпинская Р. С.* О философских основаниях интеграции биологического и социокультурного знания // Пути интеграции биологического и социокультурного знания. М., 1984.
335. *Касавин И. Т.* Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008.
336. *Кассен Б.* Эффект софистики / Пер. с фр. А. Россиуса. М.; СПб., 2000.
337. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Сост. и общ. ред. П. Серю. М., 1999.
338. *Ким Су Кван.* Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана: «иконичность», «пространственность», «мифологичность», «личностность». М., 2003.
339. *Киселева Л. Ю.* М. Лотман — собеседник: общение как воспитание // *Лотман Ю. М.* Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2003.
340. *Кнабе Г.* Об Аверинцеве // Вопросы литературы. 2004. Ноябрь-декабрь.
341. *Кнабе Г. С.* Строгость науки и безбрежность жизни // Достоверность и доказательность в исследованиях по теории и истории культуры. В 2 т. Т. 1. М., 2002.
342. *Кобрин К.* Универсальная книга // НЛО. 2005. № 73.
343. *Кодзасов С. В.* Судьба теории универсальных различительных признаков // Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
344. *Кожин В. В.* М. М. Бахтин в 1930-е годы (теория романа как средоточие творчества мыслителя) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 3.
345. *Козлов С., Дмитриев А.* История филологии с прагматической точки зрения // НЛО. 2006. № 6 (№ 82).
346. *Компаньон А.* Демон теории. Литература и здравый смысл. М., 2001.
347. *Кристев Ю.* Разрушение поэтики // *Кристев Ю.* Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004.
348. *Кристев Ю.* Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004.
349. *Кристев Ю.* Слово, диалог и роман // *Кристев Ю.* Избранные труды. М., 2004.
350. Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии (круглый стол «НЛО» 4 апреля 2006 года) // НЛО. 2006. № 6 (82).
351. *Кун Т.* Образцы, несомнзмеримость и революция // *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1975.
352. *Курелла А.* Теория и практика перевода // Перевод — средство взаимного сближения народов. М., 1987.
353. *Лакман Р.* Ценностные аспекты семиотики культуры/семиотики текста Юрия Лотмана // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1994.
354. *Левинг Ю.* Pro capto lectoris. Факультет ненужных вещей М. Л. Гаспарова // НЛО. 2005. № 73.
355. *Левинтон Г. А.* К поэтике Jakobson (поэтика филологического текста) // Роман Jakobson: Тексты, документы, исследования. М., 1999.

356. Лекторский В. А. (Отв. ред.). *Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. Т. 1—2.* М., 1998.
357. Лекторский В. А. *Научное и ненаучное мышление: скользящая граница // Наука в культуре / Под ред. В. Н. Поруса.* М., 1998.
358. Лекторский В. А. *Эпистемология классическая и неклассическая.* М., 2001.
359. Липовецкий М., Сандомирская И. Как не «завершить» Бахтина? Переписка из двух электронных углов // *НЛО.* 2006. № 3 (79).
360. Ломинадзе С. Перечитывая Достоевского и Бахтина // *Вопросы литературы.* 2001. № 2.
361. Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики // *Лотмановский сборник. Вып. 1.* М., 1995.
362. Лотман М. Ю. Семиотика культуры в тартуско-московско семиотической школе // *Лотман Ю. М. История и типология культуры.* СПб., 2002.
363. Лотман Ю. М. «Нам все необходимо, лишнего в мире нет...» // *Лотман Ю. М. Воспитание души.* СПб., 2003.
364. Лотман Ю. М. Литературоведение должно быть наукой // *Вопросы литературы.* 1967. № 1.
365. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1997.
366. Лотман Ю. М. О редукции и разноречивании знаковых систем (К проблеме «фрейдизм и семиотическая культурология») // *Лотман Ю. М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
367. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001.
368. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // *Лотман Ю. М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
369. Лотман Ю. Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики (рус. пер. доклада «Bachtin — sein Erbe und aktuelle Probleme der Semiotik» // *Roman und Gesellschaft. Internationales Michail Bachtin-Colloquium. Friedrich-Schiller-Universität. Jena.* 1984) // *Лотман Ю. М. История и типология русской культуры.* СПб., 2002.
370. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя: Пособие для учащихся. Л., 1982.
371. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
372. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII—начало XIX века). СПб., 1994.
373. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — Текст — Семиосфера — История. М., 1996.
374. Лотман Ю. М. Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы по русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2003.
375. Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы // *Лотман Ю. М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
376. Лотман Ю. М. Зимние заметки о летних школах // *Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа.* М., 1994.
377. Лотман Ю. М. Искусство на пересечении открытых и закрытых структур (1992) // *Лотман Ю. М. История и типология русской культуры.* СПб., 2002.
378. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002.
379. Лотман Ю. М. Клио на распутье // *Лотман Ю. М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
380. Лотман Ю. М. Культура и взрыв // *Лотман Ю. М. Семиосфера.* СПб., 2001.
381. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
382. Лотман Ю. М. Не-мемуары // *Лотмановский сборник. Вып. 1.* М., 1994.
383. Лотман Ю. М. О русской литературе классического периода. Вводные замечания // *Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа.* М., 1994.

384. Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
385. Лотман Ю. М. Ответы на анкету «Вопросов литературы» (1967) // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003.
386. Лотман Ю. М. Письма. М., 1997.
387. Лотман Ю. М. Русская литература и культура Просвещения // Лотман Ю. М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1998.
388. Лотман Ю. М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
389. Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
390. Лотман Ю. М. Тезисы к семиотике русской культуры. Программа изучения русской культуры // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
391. Лотман Ю. М. Язык театра // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.
392. Лотман Ю. М., Ианнон Вич. Вс., Пятигорский А. М., Топоров В. Н., Успенский Б. А. Тезисы к семиотическому и изучению культур (в применении к славянским текстам) // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб, 2001.
393. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю. М. Избранные труды в 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993.
394. Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995.
395. Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997.
396. Луи Э. Текста не существует // Доказательность и достоверность в исследованиях по теории и истории культуры: сборник статей. Кн. 1 / Сост. и отв. ред. Г. С. Княбе. М., 2002.
397. М. Л. Гаспарову — 70 лет // НЛО. 2005. № 3 (73).
398. М. М. Бахтин и проблемы научного наследия. Саранск, 1992.
399. М. М. Бахтин и философская культура XX века. Вып. 1. Ч. 1—2. СПб., 1991.
400. М. М. Бахтин. Эстетическое наследие и современность. Саранск, 1992. Ч. 1—2.
401. Мамчур Е. А. Образы пауки в современной культуре. М., 2008.
402. Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм. К дискуссиям в современной эпистемологии. М., 2004.
403. Марков А. Путеводы Псевдоса. Российские интеллектуальные журналы 1990-х: рецензия «западных» дискурсов // НЛО. 2001. № 4 (50).
404. Махлин В. Возраст речи. Полуступы к явлению Аверинцева // Вопросы литературы. 2006. Май-июнь.
405. Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка. М., 1990.
406. Махлин В. Л. Незаслуженный собеседник I, II. (Опыт исторической ориентации) // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004.
407. Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998.
408. Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
409. Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М., 2007.
410. Мильчина В. А. Печальные, но не последние. «Числа в системе культуры». XIII Лотмановские чтения // НЛО. 2006. № 1 (77).
411. Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Антология. Т. I. СПб., 2001.
412. Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Антология. Т. II. СПб., 2002.
413. Многомерность истины. Сб. статей. М., 2008.
414. Морсон Г. С. Бахтин и наше настоящее // Михаил Бахтин. PRO ET CONTRA. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Т. II. СПб., 2002.
415. Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления / Сост. и ред. С. Ю. Неклюдов. М., 1998.
416. Николаев Н. И. О возможных источниках терминологии ранних работ М. М. Бахтина // Бахтинский сборник. Вып. 2. М., 1991.



417. Новый гуманитарий в поисках идентичности // НЛО. 2002. № 3 (55).
418. *Норенков С. В.* Бахтиноведение как особый тип гуманитарного мышления // М. М. Бахтин: Эстетическое наследие и современность. I. Саранск, 1992.
419. *Одесский М. П.* Современное гуманитарное знание и статус научного слова // Доказательность и достоверность в исследованиях по теории и истории культуры: сборник статей. Кн. 1 / Сост. и отв. ред. Г. С. Кнабе. М., 2002.
420. *Ознобкина Е.* «Точка схода» и «фигура возврата» в опыте мысли Мераба Мамардашвили // Встреча с Декартом: Сб. статей. М., 1996.
421. *Орлицкий Ю.* От имени современного вкуса (ред. на кн.: *Гаспаров М.* Экспериментальные переводы. СПб.: Гиперион, 2003) // НЛО. 2006. № 1 (77).
422. *Отье-Ренюэ Ж.* Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
423. *Падучева Е. В.* Лексика поэзии и поэзия лексики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
424. *Панков А.* Разгадка Бахтина. М., 1995.
425. *Паньков Н.* Керченские терракоты и проблема «античного реализма»: книга М. М. Бахтина о Рабле и русская паука об античности конца XIX — первой половины XX в. // НЛО. 2006. № 3 (79).
426. *Парзи Ш.* Структурализм и история // Структурализм: «за» и «против». Сб. статей. М., 1975.
427. *Песков А. М.* «Русская идея» и «русская душа». Очерки русской историософии. М., 2007.
428. *Подорога В. А.* Выступление в дискуссии «Философия филологии» (круглый стол) // НЛО. 1996. № 17.
429. *Подорога В. А.* Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М., 2006.
430. Познавание, понимание, конструирование. М., 2008.
431. *Попова И.* «Меннипова сатира» как термин Бахтина // Вопросы литературы. 2007. № 6.
432. *Попова И. Л.* «Лексический карнавал» Франсуа Рабле: книга М. М. Бахтина и франко-немецкие методологические споры 1910—1920-х годов // НЛО. 2006. № 3 (79).
433. *Попова И. Л.* «Рабле» в 1940-е годы: несостоявшиеся издания в СССР и во Франции // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004. С. 581—588.
434. *Попова И. Л.* Почти «юбилейное»: замечание к десятилетию выхода 5-го тома Собрания сочинений М. М. Бахтина // НЛО. 2006. № 3 (79).
435. Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
436. *Пружинин Б. И.* Познавательное отношение к классической и неклассической эпистемологии // Субъект, познание, деятельность. К 70-летию В. А. Лекторского. М., 2002.
437. *Пружинин Б. И.* Фундаментальная наука и прикладное исследование (к вопросу о социокультурных функциях знания) // Наука в культуре. М., 1998.
438. *Пружинин Б. И.* Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.
439. *Пятигорский А.* Краткие заметки о философском в его отношении к филологическому // Philologica. 1995. № 3—4.
440. *Пятигорский А. М.* Заметки из 90-х о семиотике 60-х годов // Московско-таргуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления. М., 1998.
441. *Растье Ф.* Интерпретирующая семантика / Пер. с франц. Нижний Новгород, 2001.
442. *Риффатер М.* Формальный анализ и история литературы // НЛО. 1992. № 1.
443. *Розов М. А.* Проблема способа бытия семиотических объектов // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VIII. № 2.

444. Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М., 2008.
445. Руди С. Якобсон при маккартизме // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
446. Руднев В., Иванов А., Кунонжич Д. и др. Западная славистика на рубеже тысячелетий // Логос: Философско-литературный журнал. 2000. № 4 (25).
447. Русакова О. Ф. Историсофия: структура предмета и дискурса // Вопросы философии. 2004. № 7.
448. Русский язык как государственный: Материалы международной конференции (Челябинск, 5—6 июня 1997 года). М.: Челябинск, 1997.
449. Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996.
450. Свой путь в науке. Коллективный портрет ИВГИ. РГГУ. Чтения по истории и теории культуры / Сост. Н. С. Автономова, Е. П. Шумилова. Вып. 44. М., 2004.
451. Седякова О. «Михаил Леонович Гаспаров» // НЛО. 2005. № 73.
452. Серю П. В поисках четвертой парадигмы: границы языка и границы культуры // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993.
453. Серю П. Лингвистика географов и география лингвистов: Р. О. Якобсон и П. Н. Савицкий // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
454. Серю П. Лингвистика и биология. У истоков структурализма: биологическая дискуссия в России // Язык и наука конца XX века. М., 1995.
455. Серю П. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в центральной и восточной Европе 1920—30-е гг. М., 2001.
456. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М., 1995.
457. Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000.
458. Структурализм: «за» и «против». Сб. статей. М., 1975.
459. Тиханов Г. Почему современная теория литературы возникла в Центральной и Восточной Европе? // НЛО. 2002. № 1 (53).
460. Томсон К. Бахтин во Франции и в Квебеке // Михаил Бахтин: PRO ET CONTRA. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Т. II. СПб., 2002.
461. Тоноров В. II. Вступительное слово на открытии Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону» (Москва, 18—23 декабря 1996 г.) // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
462. Торон П. Тартуская школа как школа // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995.
463. Трубецкой Н. Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995.
464. Трубецкой Н. К украинской проблеме // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995.
465. Ужаревич И. Проблема поэтической функции // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
466. Фариньо Е. Как и что сообщается или оспаривается высказыванием? // Диалог. Карнавал. Хронол. 1994. № 3.
467. Философия по краям. Интервью А. Иванова с В. Подорогой и М. Ямпольским // Ad Marginem 93. Ежегодник. М., 1994.
468. Философия филологии (круглый стол) // НЛО. 1996. № 17.
469. Фрумкина Р. Nanna Geistesgeschichte в лицах и эпизодах (Рец. на кн.: Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005 // НЛО. 2005. № 3 (73).
470. Фрумкина Р. М. Лингвистика вчера и сегодня // НЛО. 2001. № 4 (50).
471. Хансен-Лёве О. Русский формализм. М., 2001.
472. Холквист М. Услышанная неслышимость: Бахтин и Деррида // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2005.

473. *Чередниченко И.* Структурно-семиотический метод Тартуской Школы. СПб., 2001.
474. *Чубайс И. Б.* Россия и Европа: идейно-идентификационный анализ // Вопросы философии. 2002. № 10.
475. *Чугуникова С. Г.* Превращение фонемы в анаграмму: «Сублиминальные структуры» в русских формальных и структурных поэтиках. Магнитогорск, 2002.
476. *Шапир М. И.* Что он для меня значил // Вечер памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007.
477. *Шапир М. И.* Эстетический опыт XX века: авангард и постмодернизм // Philologica. 1995. № 3—4.
478. *Швырев В. С.* Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность М., 2003.
479. *Швырев В. С.* Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978.
480. *Шпет Г. Г.* Введение в этническую психологию // *Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды* / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2006.
481. *Шпет Г. Г.* Мысль и Слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005.
482. *Шруба М.* «Наука изощряет ум, ученье вострит память»: об афоризмах М. Л. Гаспарова // НЛО. 2005. № 73.
483. *Щедрина Т.* Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008.
484. *Щедрина Т. Г.* «...Я пишу как эхо другого». Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004.
485. *Уберт К.* Семиотика на распутье. Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского // Вопросы философии. 2003. № 7.
486. *Эко У.* Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006
487. *Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004.
488. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004.
489. *Эмерсон К.* «Новый Бахтин» у нас в России и у нас в Америке // Философские науки. 1995. № 1. (К 100-летию со дня рождения М. М. Бахтина).
490. *Эмерсон К.* «Переводимость» // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004.
491. *Эмерсон К.* Бахтин на знамени западного марксизма // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004.
492. *Эмерсон К.* Об одной постсоветской журнальной полемике (Размышления стороннего наблюдателя) // Вопросы литературы. 2005. Июль-август.
493. *Эмерсон К.* По ту сторону актуальности // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004.
494. *Эмерсон К.* Прозаика и проблема формы // НЛО. 1996. № 21.
495. *Эрлих В.* Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.
496. *Эспань М.* Межкультурная история филологии // НЛО. 2006. № 6 (82).
497. *Эткинд А.* Эрос невозможного. История психоанализа в России М., 1993.
498. Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
499. *Юрченко Т. Г.* Зарубежная библиография по бахтинистике // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004.
500. *Якобсон Р.* Письма Г. Г. Шпету // Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005.
501. *Якобсон Р.* Двадцатый век в европейском и американском языкознании: тенденции и развитие // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
502. *Якобсон Р.* Заметки на полях прозы поэта Пастернака // Slavische Rundschau. 1935. № 6.
503. *Якобсон Р.* Звук и значение // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.

504. *Якобсон Р.* Звуковые законы детского языка и их место в фонологии // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
505. *Якобсон Р., Леви-Стросс К.* «Кошки» Шарля Бодлера // Структурализм: «за» и «против». Сб. статей. М., 1975.
506. *Якобсон Р.* Из Бесед с Поморской // *Якобсон Р.* Язык и бессознательное. М., 1996.
507. *Якобсон Р.* К характеристике евразийского языкового союза. Париж: Издательство евразийцев, 1931. (*Jakobson R. Selected Writings. Vol. 1. The Hague. 1985*).
508. *Якобсон Р.* К языковедческой проблематике сознания и бессознательности // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. В 3 т. Т. 3. Тбилиси, 1978. (Перепеч. см.: *Якобсон Р.* Язык и бессознательное. М., 1996).
509. *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». Сб. статей. М., 1975.
510. *Якобсон Р.* Мозг и язык // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
511. *Якобсон Р.* Мои любимые темы // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
512. *Якобсон Р.* Новые работы о форме южнославянского стиха // *Slavische Rundschau. 1932. № 3.*
513. *Якобсон Р.* О лингвистических аспектах перевода // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
514. *Якобсон Р.* О рифмовке Čech—Lech // *Slavische Rundschau. 1938. № 6.*
515. *Якобсон Р.* О современных перспективах русской славистики / Пер. с нем. Д. Бака (*Jakobson R. Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik*) // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
516. *Якобсон Р.* О сокровищине русского слова // *Slavische Rundschau. 1936. № 2.*
517. *Якобсон Р.* О теории фонологических союзов между языками // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
518. *Якобсон Р.* Петр Богатырев (29.I.1893—18.VIII.1971): мастер перевоплощений // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
519. *Якобсон Р.* Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. Сб. переводных статей под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.
520. *Якобсон Р.* Проблемы славянского языкознания в Советском Союзе // *Slavische Rundschau. 1934. № 5.*
521. *Якобсон Р.* Работы о форме чешского стиха // *Slavische Rundschau. 1932. № 6.*
522. *Якобсон Р.* Ретроспективный обзор работ по теории стиха / Пер. с англ. М. Л. Гаспарова // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
523. *Якобсон Р.* Юрий Тынянов в Праге // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
524. *Якобсон Р.* Язык и бессознательное. М., 1996.
525. *Якобсон Р. О.* Итоги девятого конгресса лингвистов // Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. 4.
526. *Якобсон Р. О.* К характеристике евразийского языкового союза. Париж: Издательство евразийцев, 1931. (*Jakobson R. Selected Writings. T. I. The Hague, 1971*).
527. *Якобсон:* Тексты, документы, исследования. М.: РГГУ, 1999.
528. *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения (Набросок плана) / Вступит. ст. и подгот. текста М. Л. Гаспарова // Контекст—1983: Лит.-теорет. исслед. М., 1984.
529. *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения (Набросок плана): Отрывки / Подгот. текста и публ. М. Л. Гаспарова // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1969. Вып. 236.
530. *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения / Под общ. ред. М. И. Шапира. М., 2006.

- Августин Блаженный 162  
 Авенариус Р. 67  
 Аверинцев С. С. 11, 124–128, 130, 196, 275, 279, 280, 302–305, 307, 308, 370, 455, 459, 478, 479, 485  
 Авиан 322  
 Аврелий Марк 457  
 Авсолий 322  
 Автономов В. С. 26  
 Автономова Н. С. (Avtonomova N.) 8, 18, 86, 145, 151, 152, 176, 213, 235, 241, 257, 277, 281, 309, 310, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 340–349, 351, 367, 442, 443, 445, 450, 462, 463, 468, 469, 471, 478, 487  
 Агеева И. В. (Agueeva I.) 119, 471  
 Адамар Ж. 90  
 Адриан II, папа римск. 55  
 Айер А. Д. 361  
 Аймермахер К. 208, 478  
 Акимова М. В. 478  
 Аксенова Е. П. 47, 478  
 Алексеева Е. В. 456  
 Алпатов В. М. (Alpatov V.) 140, 155, 158, 160, 168, 170, 171, 357, 471, 478, 488  
 Альюссер Л. 96, 99, 139, 180  
 Андреас-Саломе Л. 66  
 Андреев М. Л. 312, 314, 326, 329, 478  
 Анненский И. Ф. 312  
 Антисфеи 136  
 Апудей 136  
 Ариосто Л. 312, 324, 328, 329  
 Аристотель 69, 162, 284, 320, 321, 332, 333, 393, 397  
 Аристофан 138, 460, 461  
 Аронсон О. В. 361  
 Арто А. 122  
 Арутюнова Н. Д. 395, 478, 481  
 Арцыбашев М. П. 71  
 Афанасьев Ю. Н. 454  
 Ахматова А. А. 71  
 Ахуткина Т. В. 36  
 Бабель И. Э. 370, 455, 475  
 Бабрий 270, 274, 284  
 Багрицкий Э. Г. 66  
 Бак Д. П. 43  
 Бак-Море С. 370  
 Балаховская Е. И. 478  
 Балли Ш. 159, 170  
 Бальзак О. де 136  
 Бальмонт К. Д. 316  
 Баран Х. 9, 26, 214, 444, 450–452, 455, 479  
 Баратынский Е. А. 219  
 Барски Р. Ф. (Barsky R. F.) 122, 475  
 Барт Р. 94, 96, 101, 120, 213, 233, 244, 469, 479  
 Бассин Ф. В. 18  
 Батишев Г. С. 408  
 Баткин Л. М. 467, 480  
 Баумгартен А. 398  
 Бахтин М. М. (Bakhtine M., Bakhtin M., Bachtin M.) 6, 9–14, 18, 19, 21–23, 25, 26, 30, 64, 68, 103–197, 199–202, 214, 215, 228, 230, 238–241, 246, 250, 251, 265, 279–282, 291, 303, 348, 351, 352, 355–357, 359, 360, 367, 372, 373, 375–377, 379, 415, 426, 435, 442, 464, 466, 467, 471–489  
 Бахтина Е. А. 118  
 Башляр Г. 89, 120, 139  
 Беккет С. 105, 122, 378  
 Беллинский В. Г. 69, 398  
 Белкнэп Р. З. (Belknap R. Z.) 212, 214, 472  
 Белый А. 15, 284, 371, 374, 378  
 Бём А. 63, 69  
 Бенвенист Э. 96, 178–182, 242, 243, 479  
 Бензе М. 205  
 Беньямин В. 14, 312, 430  
 Берг Л. С. 45, 48, 83  
 Бергсон А. 335, 451  
 Бердяев Н. А. 70, 71, 108, 128  
 Березин Ф. М. 479  
 Беркли Дж. 452  
 Берман А. (Berman A.) 312, 414, 472, 475, 476  
 Бернштейн М. А. (Bernstein M.) 123, 472  
 Бетеа Д. М. (Bethea D. M.) 186, 197, 199, 251, 472

<sup>1</sup> В указателе имен на русском языке приведены в скобках те имена, которые встречаются в тексте как в русской, так и в иностранной транслитерации; в указателе иностранных имен приводятся только те имена, которые на русском языке не встречаются.

- Бетховен Л. ван 452, 467  
 Библихин В. В. 304, 305, 307, 308, 361, 426, 479  
 Библер В. М. 105, 152, 479  
 Бион 136, 138  
 Бирт Т. (Birt Th.) 139, 140  
 Блейк У. 461  
 Блок А. А. 316  
 Блок М. 205  
 Боас Ф. 38, 450  
 Боборыкин П. Д. 389  
 Богатырев П. Г. 18, 30, 164, 489  
 Бодлер Ш. 145, 452, 453, 489  
 Бодрийяр Ж. 242  
 Бодуэн де Куртенэ И. А. 11, 31, 38, 159, 161  
 Бондарко А. В. 479  
 Бонешкая Н. К. 107, 479  
 Бор Н. 29, 57, 240, 263  
 Бородин А. П. 72  
 Борш-Якобсен М. 373  
 Ботт М.-Л. 320, 480  
 Бочаров С. Г. 18, 103, 106, 109, 111, 137, 139, 144, 151, 189, 190, 479, 480  
 Боэций Аниций Манлий Северин 136  
 Брагинская Н. В. 132, 148, 149, 442, 480  
 Брандист К. (Brandist C.) 130, 168, 472, 474, 475  
 Брейтингер И. Я. (Breitinger J. J.) 412  
 Бретон А. 378  
 Бройтман С. Н. 187, 480  
 Брюсов В. Я. 312, 316, 317, 327, 390, 392, 480  
 Бубер М. (Buber M.) 119  
 Буало Н. (Boileau N.) 398  
 Бузалин А. В. 480  
 Булавка Л. А. 480  
 Булгаков М. А. 466  
 Булгаков С. Н. 70, 71, 73, 74, 108, 119  
 Бунин И. А. 71  
 Бурлюк Д. Д. 390  
 Бэр М. К. 45, 83  
  
 Вавилов Н. И. 45, 48  
 Вайда А. 195  
 Вакхилид 319, 328  
 Валери П. (Valéry P.) 20, 105, 362, 378, 383  
 Валь Ж. (Wahl J.) 95  
 Валь Ф. (Wahl F.) 94  
 Варрон (Varro) 136, 139  
 Васильев Н. Л. 480  
 Васильева Т. В. 273, 303, 408  
 Вацуро В. 249  
 Введенский А. И. 378, 390, 461  
 Вебер М. (Weber M.) 116  
 Веласкес (Родригес де Сильва) Д. 469, 470  
 Вергилий Марон Публий 25, 316, 318, 322, 451  
 Верлен П. 390  
 Вернадский В. И. (Vernadsky V. I.) 64, 205, 215, 475  
 Вертов Д. 69  
 Верхарн Э. (Verhaeren E.) 312, 328–330  
 Веселовский А. Н. 187  
 Визель М. 445  
 Винер Н. 246  
 Виноградов В. В. 156, 157, 162, 163, 357, 450  
 Витгенштейн Л. 361, 394  
 Власов Э. (Vlasov E.) 214, 215, 227, 473  
 Во Л. Р. (Waugh L. R.) 39, 474  
 Волкова Е. В. 208, 480  
 Волошин М. А. 66  
 Волошинев В. Н. (Voločinov V.) 13, 73, 74, 110, 111, 115, 155, 159, 160, 170, 173, 179, 181, 193, 367, 471, 473, 474, 477, 478, 488  
 Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 136  
 Вольф Х. 412, 413  
 Вотье Б. (Vauthier B.) 111  
 Выготский Л. С. 29, 66  
 Высоцкий В. С. 18  
 Вяземский П. А. 314  
  
 Гавранек Б. 34, 66  
 Гадамер Х.-Г. 106, 310, 356, 398, 404, 419, 473, 474  
 Гале Ф. 179  
 Гартман Н. 63  
 Гаспаров Б. М. 196, 211, 213  
 Гаспаров Д. М. 320  
 Гаспаров М. Л. (Gasparov M.) 6, 9, 11–17, 19, 21, 23–25, 44, 50, 86, 117, 124, 130–139, 143–152, 154, 155, 160, 163, 166, 172, 179, 190, 194, 196, 198, 223, 224, 229–239, 241, 242, 247, 249, 251, 252, 269–309, 312–314, 316–333, 335–337, 339–351, 353, 356–361, 367–370, 374, 381–383, 386, 388, 398, 401, 414, 435, 436, 439, 442–445, 449–452, 465–467, 470, 478, 480–490  
 Гачев Г. Д. 109, 377, 481  
 Гебауэр Я. 60  
 Гегель Г. В. Ф. (Hegel G. W. F.) 40, 58, 84, 245–247, 335, 346, 347, 424, 464, 473, 474

- Геземан Г. (Geseman G.) 60, 62, 63, 71, 78, 79, 473, 477
- Гейм Г. 312, 329
- Геллер М. Я. 457
- Гёльдерлин Фр. 37
- Гераклид 136
- Гераклит 105, 205, 238, 246
- Герген К. 112, 160
- Гердер И. Г. 79, 412
- Гессен С. И. 62, 63, 66
- Гёте И. В. 63, 68, 83, 105, 389
- Гио Ф. 454
- Гиндин С. И. 9, 66, 449, 481
- Гинзбург Л. Я. (Ginsburg L. Ya.) 213, 381, 475, 481
- Гиппиус В. В. 187
- Гиппиус З. Н. 71
- Гиппократ 136
- Гиренок Ф. И. 377, 481
- Гладстон У. 454
- Гловински М. 40, 57, 481
- Гнедич Н. И. 321
- Гоголь Н. В. 20, 204, 371, 372, 374, 375
- Гоготшвили Л. А. 103, 137, 156–158, 168–171, 185, 357, 481
- Гойтисоло Х. 122
- Гомер 321, 345, 397, 398, 420, 425
- Гончаров Б. П. 299
- Гораций (Квинт Гораций Флакк) 284, 306, 308, 309, 451–453
- Горгий 336
- Горький М. 66, 466
- Готтшел Й. Х. 412
- Гофман Э. Т. А. 136
- Граммш А. 106
- Гржибек П. (Grzybek P.) 185, 212, 251, 473, 481
- Гриммельгаузен Х. Я. К. 105, 136
- Грин А. С. 66
- Гринблат С. 150
- Гринцер Н. П. 397, 481
- Гройс Б. Е. 107, 370
- Гудзий Н. К. 187
- Гуковский Г. А. 187, 192
- Гумбольдт В. фон 160, 161, 431, 474
- Гумбрехт Х. У. 481
- Гумилев Н. С. 295, 296
- Гур М. (Gourg M.) 213, 215, 473
- Гуревич А. Я. 19, 129
- Гус Я. 55
- Гуссерль Э. 28, 39, 58, 64, 66, 105, 253, 254, 269, 279, 424
- Данилевский Н. Я. 45, 46, 48, 49, 55, 73, 77
- Данте Алигьери 296, 386
- Дашевский Г. 330, 444, 481
- Дворжак А. 72
- Деборин А. М. 69, 70
- Деготь Е. Ю. 361
- Декарт Р. 162, 365, 398, 408, 416, 451, 486
- Делёз Ж. (Deleuze J.) 90, 94, 374, 383, 415
- Делинь П. 456
- Делчева Р. (Delcheva R.) 214, 215, 227, 473
- Денисова Г. В. 316, 481
- Депрето К. (Depretto C.) 111
- Деррида Ж. (Derrida J.) 14, 29, 90, 96, 98, 100, 106, 120, 167, 235, 332–337, 361, 362, 396, 409, 415, 430, 432, 443, 447, 451, 452, 455, 457–460, 462, 465, 471, 482, 488
- Джеймисон Ф. 370
- Джеймс Г. 105
- Джесон Х. 38
- Дживелегов А. К. 135, 141, 142
- Джойс Дж. 105, 122, 346, 378, 391, 461
- Джонсон Б. 290
- Дидро Д. 452
- Диккенс Ч. 105
- Диоген Лаэртский 273, 284
- Дионисий Галикарнасский 284
- Дмитриев А. 270, 482, 483
- Дмитриева Е. 482
- Добронравов И. С. 394
- Докучаев В. В. 48, 49, 51
- Донн Дж. (Donne J.) 312, 323, 329, 414
- Дос Пассос Д. Р. 122
- Достоевский Ф. М. (Dostoevsky F.) 18, 20, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 106–108, 114, 116–120, 122–124, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 143, 145, 149, 150, 153, 168, 178, 194, 356, 371, 372, 374–376, 466, 475
- Друскин Я. С. 461
- Дубин Б. В. 318, 320, 326, 329, 361, 482
- Дувакин В. Д. 10, 106
- Дьюи Д. (Dewey J.) 258
- Дюкро О. 182
- Дюмезиль Ж. 96
- Евклид 64
- Еврипил 287, 305, 329
- Егоров Б. Ф. 189, 191, 196, 207, 208, 225, 245–247, 482

- Елифёрова М. В. 277, 482  
 Ельмслев Л. 35, 244, 250  
 Есенин С. А. 71  
 Есперсен Е. О. Х. 37
- Жаккар Ж.-Ф. 461  
 Jakob Ф. 30  
 Живов В. М. 132, 298, 482  
 Жил А. 105  
 Жижек С. 370  
 Жолковский А. К. 449, 455, 481, 482  
 Жуковский В. А. 316, 318, 321
- Заболоцкий Н. А. 358  
 Завьялов С. А. 326, 329, 482  
 Зайцева В. А. 37, 482  
 Замятин Е. И. 66  
 Захер-Мазох Л. 335  
 Здольников В. В. 128, 482  
 Зеленин Д. К. 65  
 Зенкин С. Н. 208, 332, 361, 372, 373, 375, 437, 482  
 Зильберштейн И. С. 71, 482  
 Зиммель Г. 116, 119  
 Золя Э. 389  
 Золя С. 482  
 Зорин А. Л. 254, 361, 482, 483
- Иван IV Грозный 126  
 Иванов А. 210, 277, 361, 364, 466, 482, 487, 488  
 Иванов И. 483  
 Иванов Вяч. Вс. 18, 28, 48, 82, 185, 187, 253, 459, 483, 485  
 Иванова Е. П. 483  
 Иванова И. (Ivanova I.) 170, 474  
 Ильин И. А. 70  
 Ингарден Р. 63, 64, 66, 383  
 Ипполитов-Иванов М. М. 66  
 Исаия, пророк 464  
 Исупов К. Г. 107
- Йейтс Ф. А. 105
- Какафис К. 312  
 Каган М. С. 107  
 Казанский Н. Н. 483  
 Кангилем Ж. 89  
 Кант И. 245, 246, 345, 352, 408, 416, 425  
 Кантемир А. Д. 412  
 Карамзин Н. М. 191, 206, 230, 313  
 Карамзина Е. А. 191  
 Карнап Р. 63, 233, 243, 250
- Карпинская Р. С. 483  
 Карраччи Аг. 388  
 Карраччи Ан. 388  
 Карраччи Л. 388  
 Карцевский С. И. 34  
 Касавин И. Т. 184, 483  
 Кассен Б. (Cassin B.) 410, 472, 477, 483  
 Кассирер Э. 90, 116, 140, 159  
 Кафка Ф. 105, 122, 281, 374, 378  
 Ким Су Кван 208, 229, 232, 480, 483  
 Кирилл (Константин Философ) 55  
 Киркегор С. 18, 105  
 Киселева Л. Н. 208, 483  
 Кларк К. (Clark K.) 110, 130, 472  
 Ключевский В. О. 454  
 Кляйн М. 455  
 Кнабе Г. С. 396, 410, 483, 486  
 Кобрин К. 483  
 Колзасов С. В. 36, 483  
 Кожин В. В. (Kozhinov V.V.) 109, 188, 476, 483  
 Козлов С. Л. 361, 483  
 Козьма Прутков 224, 461  
 Колар С. 71  
 Колеров М. А. 478  
 Коллингвуд Р. Дж. 264  
 Колмогоров А. Н. 284  
 Кондаков Н. П. 47, 476  
 Конрад Н. И. 187  
 Констан де Ребек Б. 314  
 Конфуций 452  
 Корнель П. (Corneille P.) 290, 389, 451  
 Коргасар Х. 122  
 Крестева Ю. (Kristeva J.) 105, 110, 117, 119–124, 132, 139, 152, 178, 210, 214, 242, 250, 251, 355, 469, 475, 477, 483  
 Крупская Н. К. 66  
 Крушевский Н. В. 31, 38  
 Ксенофан Колофонский 324, 480  
 Кузмин М. А. 312  
 Кукулин И. В. 270, 482  
 Кун Т. 233, 359, 374, 483  
 Кундера М. 105  
 Куприн А. И. 71  
 Курелла А. 422, 484  
 Курицын В. Н. 361  
 Кутырев В. А. 255  
 Куюнджич Д. 107, 210, 277, 466, 482, 487
- Лавуазье А. 288  
 Ладмираль Ж.-Р. (Ladmiral J.-R.) 312, 428  
 Лакан Ж. (Lacan J.) 18, 39, 94–97, 100, 101, 106, 120, 263, 361, 473



- Лаку-Лабарт Ф. 373  
 Лакшин В. Я. 292  
 Лапицкий В. Е. 482  
 Лапланш Ж. 263, 331, 338, 454, 475, 476  
 Ланшин И. И. 70  
 Лафарг П. 273  
 Лакман Р. 250, 484  
 Лахути Д. Г. 394  
 Левако Р. (Levaco R.) 210, 475  
 Левин Ю. И. 300, 342  
 Левинг Ю. 484  
 Левинас Э. (Levinas E.) 106, 473  
 Левингтон Г. А. 449, 484  
 Леви-Строс К. (Levi-Strauss Cl.) 17, 18, 30, 43, 85, 91–94, 96–99, 101, 102, 213, 242, 244, 245, 260, 275, 277, 353, 354, 365, 370, 441, 450, 469, 475, 489  
 Левит С. Я. 26  
 Левченко Я. 482  
 Ле Гофф Ж. (Le Goff J.) 129  
 Лейбниц Г. В. 162  
 Лекторский В. А. 26, 484, 486  
 Леонтьев К. Н. 48, 49  
 Лермонтов М. Ю. 194, 285, 301, 318  
 Лер-Сплавинский Т. 60  
 Ли Бо 452  
 Ликофрон 346  
 Лиотар Ж.-Ф. (Lyotard J.-F.) 106, 392  
 Липавский Л. С. 461  
 Липовецкий М. Н. 484  
 Лихачев Д. С. 129, 187, 230  
 Лозинский М. Л. 316, 422, 478  
 Ломинадзе С. 124, 484  
 Ломоносов М. В. 204–205, 295–297, 335, 389, 392, 434  
 Лопе де Вега 105  
 Лосев А. Ф. 11, 69, 73, 74  
 Лосский Н. О. 64  
 Лотман М. Ю. 190, 245, 246, 250, 266, 484  
 Лотман Ю. М. (Lotman J.) 8–15, 17, 19, 21, 23–25, 128, 129, 132, 149, 184–257, 259–268, 271–275, 277–279, 283, 293, 294, 306, 309, 310, 343, 353–356, 362, 365, 366, 380, 400, 402, 409, 415, 435, 437, 440, 442, 454, 455, 460, 464, 466, 468–473, 475, 477, 480–485, 488, 489  
 Луи Э. 396, 485  
 Лукач Г. 106  
 Лукиан 136  
 Луначарский А. В. 66, 109  
 Лурия А. Р. 36  
 Луцилий 139  
 Лютер М. 420  
 Лютославский В. 70  
 Ляпунов В. В. (Liapunov V.) 110, 130, 473, 474  
 Майофис М. Л. 270, 482  
 МакЛейн Х. (McLean H.) 66, 91, 95, 475, 481  
 Малевич К. С. 66  
 Малларме С. 122, 346, 378, 390  
 Мамардашвили М. К. 370, 384, 408, 486  
 Мамчур Е. А. 485  
 Ман П. де 447  
 Манделштам О. Э. 285, 306, 387, 449, 456, 457, 462–465, 467  
 Манн Т. 105  
 Марк Аврелий см.: Аврелий Марк  
 Марков А. 485  
 Маркс К. 179, 226, 235, 273, 347, 469  
 Маркс Ф. 139  
 Марло К. 290  
 Марр Н. Я. 66, 68, 168  
 Мартине А. 85  
 Маршак С. Я. 135, 312, 317, 351, 449, 450, 461, 470, 478  
 Масарик Т. 63, 64, 66  
 Матезиус В. 34, 60, 64, 66, 72  
 Маха К. Г. 297  
 Махлин В. Л. 26, 103, 113, 115, 137, 147, 155, 307, 479, 485  
 Маяковский В. В. 27, 29, 389, 447  
 Медведев П. Н. (Medvedev P. N.) 111, 115, 170, 471, 473, 477  
 Мейс А. 46, 66  
 Мейер М. 405  
 Мейлах М. Б. 461  
 Мелетинский Е. М. 11, 19, 26, 444, 468, 481, 485  
 Менипп 136, 139  
 Мерло-Понти М. 383  
 Мефодий 55  
 Мечников И. И. 70  
 Мешонник А. (Meschonnic H.) 232, 475  
 Микеланджело Буонаротти 388  
 Микешина Л. А. 21, 485  
 Миллер Т. А. 465  
 Мильнер Ж.-К. (Milner J.-C.) 40, 84, 90, 360  
 Мильтон Дж. 312, 328  
 Мильчин К. 444  
 Мильчина В. А. 361, 485

- Миллюков П. Н. 454  
 Миркина Р. М. 114, 153  
 Михайлов А. В. 130  
 Мишкевич А. 71, 72  
 Мичурин И. В. 66  
 Мордовченко Н. И. 187  
 Морозов Н. А. 70  
 Моррис Ч. У. 244  
 Морсон Г. С. (Morson G. S.) 107, 123, 138, 164, 472, 473, 486  
 Музиль Р. 122  
 Мукаржовский Я. 34, 64, 66, 195  
 Муравьева О. Ю. 26  
 Мурат В. П. 16  
 Мусоргский М. П. 72  
 Муссолини Б. 127  
 Мэнделкер Э. (Mandelker A.) 186, 215, 475  
 Мюрберг И. И. 26  
  
 Нанси Ж.-Л. 373  
 Настопкене В. В. 323, 449  
 Натан Л. Н. 16  
 Неелы З. 46, 47  
 Неклюдов С. Ю. 208, 449, 478, 479, 486  
 Некрич А. М. 457  
 Немзер А. С. 205  
 Николаев Н. И. 486  
 Нил Сорский (Николай Майков) 151, 241, 467  
 Нилогов А. С. 377  
 Ницше Ф. 18, 20, 231, 346, 393, 460  
 Норенков С. В. 486  
  
 Овидий 25, 284, 322  
 Огарев Н. П. 298  
 Огден Р. 242  
 Одесский М. П. 410, 486  
 Ожegov С. И. 143  
 Ознобкина Е. В. 408, 486  
 Окутюрье М. (Aucouturier M.) 131, 166, 471  
 Оливье Д. 173  
 Орлицкий Ю. Б. 486  
 Оруджева С. З. 480  
 Осипов Н. 63  
 Осповат А. Л. 448  
 Отье-Ревюз Ж. (Authiez-Revuz J.) 182, 486  
 Ошерov С. А. 312  
  
 Павел, ап. 420  
 Павлов И. П. 66, 273  
  
 Падучева Е. В. 37, 486  
 Панаев И. И. 462  
 Панков А. В. 128, 486  
 Панченко А. М. 129  
 Паныков Н. 486  
 Парфенов Л. 445  
 Паршиков А. М. 447  
 Парэн Ш. 486  
 Пастернак Б. Л. 15, 29, 139, 259, 301, 451, 461, 489  
 Паточка Я. 66  
 Паунд Э. 105, 312  
 Пеликан Ф. 70  
 Перельман Х. 404, 405  
 Песков А. М. 486  
 Петар Ж. (Peuyard J.) 111, 120, 130  
 Петр I 460  
 Петрарка Ф. 467  
 Петров-Водкин К. С. 64  
 Петровская Е. В. 370  
 Петровский Ф. А. 343  
 Петроний 136  
 Пешё М. 179  
 Пикассо П. 391  
 Пиндар 284, 319, 323, 328, 329, 347  
 Пирс Ч. 205, 242, 243, 250, 258  
 Платон 131, 228, 335, 345, 396, 407, 409, 433  
 Платонов А. П. 370, 371, 374, 378  
 Плутарх 455  
 Плюханова М. Б. 456  
 Подгаецкая И. Ю. 442  
 Подорога В. А. 210, 281, 361, 364, 367, 370–377, 383, 486, 488  
 Поливанов Е. Д. 195  
 Поливанов К. 461  
 Поливка И. 60  
 Полторацкий А. И. 16  
 Поморская К. (Pomorska K.) 32, 109, 124, 474, 476, 489  
 Понталис Ж.-Б. 331, 338, 454  
 Попова И. Л. 103, 114, 131, 137, 139, 147, 149, 152, 171, 185, 486  
 Порус В. Н. 484  
 Пос Р. 64  
 Почепцов Г. (Pochepcov G.) 212, 476  
 Прангишвили А. С. 18  
 Пригожин И. 205, 215, 219, 226, 246, 249  
 Пришвин М. М. 445  
 Проп В. Я. 11, 64, 68, 194, 195, 214, 358  
 Прохорова И. 361  
 Пружинин Б. И. 26, 409, 486  
 Пруст М. 374, 378, 408

Прутков К. см.: Козьма Прутков  
 Пуанкаре А. 360  
 Пушкин А. С. 46, 63, 125, 133, 191, 197,  
 204, 206, 214, 219, 220, 227, 233, 234,  
 237, 238, 285, 296, 306, 308, 309, 314,  
 318, 324, 341, 347, 371, 386, 375, 434,  
 464, 466, 480, 484  
 Пятигорский А. М. 209, 211, 212, 233,  
 253, 361–363, 485–487  
 Рабинович Е. Г. 449  
 Рабле Ф. (Rabelais F.) 106, 108–110, 114,  
 116, 124, 125, 127, 129–133, 135, 136,  
 141–143, 147, 167, 168, 185, 356, 375,  
 461, 471, 475, 479, 486  
 Радищев А. Н. 206, 227  
 Радлов Э. Л. 70  
 Райх В. 69  
 Райх Х. (Reich H.) 138, 139  
 Расин Ж. 145, 290, 308, 389, 452, 453  
 Растье Ф. 476, 487  
 Рафаэль Санти 388  
 Рейнлендер Л. (Rhinelander L.) 47, 476  
 Рембо А. 390, 464  
 Ренье А. Ф. Ж. де 312, 328  
 Решетников М. 313  
 Рид А. 189  
 Рикёр П. (Ricoeur P.) 97, 338, 400, 428,  
 430, 432, 476  
 Риккерт Г. 119  
 Римский-Корсаков Н. А. 72  
 Риттер К. 82  
 Риффатер М. 487  
 Ричардс А. 242  
 Розенцвейг Ф. 119  
 Розеншток-Хюсси Е. 119  
 Розов М. А. 487  
 Ропен О. 463, 467  
 Ронсар П. де 328  
 Рорти Р. 106  
 Россиус А. 483  
 Руди С. (Rudy S.) 56, 91, 487  
 Руднев В. П. 210, 277, 466, 482, 487  
 Русакова О. Ф. 487  
 Руссо Ж.-Ж. 228, 389  
 Рыклин М. К. 107, 361, 368, 370  
 Савицкий П. Н. 62, 65, 75, 76, 78,  
 82–84, 487  
 Сал Д. А. Ф. де 470  
 Сандомирская И. И. 484  
 Санир И. 69  
 Саррот Н. 122  
 Сартр Ж.-П. 97, 99, 336, 354

Светоний 284  
 Святополк-Мирский Д. П. 75  
 Себеок Т. 242  
 Седакова О. А. 487  
 Седлецкий Ф. 402  
 Селищев А. М. 65  
 Сепир Э. 38, 450  
 Сервантес М. де Сааведра 136  
 Серио П. (Sériot P.) 22, 58, 76, 81–85, 89,  
 90, 115, 169, 173, 176, 180, 182, 183,  
 355, 405, 410, 477, 478, 483, 487  
 Сеферис Й. 312, 329  
 Сеченов И. М. 273  
 Сеше А. 159  
 Сиземская И. Н. 363  
 Симмонс Э. (Simmons E.) 72  
 Скаличка В. 34  
 Скулачева Т. В. 270, 285, 481  
 Слюсарева Н. А. 174  
 Смит Дж. 295, 477  
 Сократ 131, 345, 396, 407, 460  
 Соловьев В. С. 48, 394  
 Соломоник А. 487  
 Солон 446  
 Sommerfeldt A. 35  
 Соссюр Ф. де 13, 22, 31, 32, 59, 84, 87,  
 95, 157–161, 168–170, 174, 179, 181,  
 193, 242–244, 247, 360, 469, 471, 476  
 Сперанский М. М. 454  
 Спина Ф. (Spina F.) 62, 477  
 Спиноза Б. 407  
 Стайн Г. 105  
 Сталин И. В. 124, 157, 168  
 Сталь Н. де 10  
 Стейнер П. 214, 477  
 Стенгерс И. 219  
 Стенанов Ю. С. 180, 489  
 Степин В. С. 21, 487  
 Страхов Н. Н. 45, 48  
 Струве П. Б. 108  
 Сухотин М. М. 174  
 Тарановский К. Ф. 15, 16, 284, 297, 298,  
 302, 448  
 Тарковский Андр. А. 445  
 Тарле Е. В. 141  
 Тибулл 457  
 Тик Л. 420  
 Тименчик Р. Д. 449  
 Тимофеев Л. И. 299, 342  
 Тиханов Г. (Tihanov G.) 474, 475, 477,  
 487  
 Тициан 388  
 Тодоров Ц. (Todorov Tz.) 23, 105, 110,

139, 178, 242, 355, 477  
 Тойнби А. 77  
 Толстой Л. Н. 46, 105, 114, 133, 153, 204, 214, 381, 466  
 Том Р. 219  
 Томан Й. (Toman J.) 58, 82, 477  
 Томашевский Б. В. 68, 192, 297, 341  
 Томсон К. 105, 119, 477, 487  
 Топоров В. Н. 19, 24, 40, 41, 196, 211, 253, 485, 487  
 Тороп П. 185, 209, 244, 487  
 Третьяковский В. К. 412, 434  
 Трнка Б. 34, 66  
 Трубетский Н. С. (Trubetzky N. S.) 22, 34, 43, 45, 46, 51–54, 56, 75, 76, 78, 80, 83, 84, 86–88, 92, 153, 195, 274, 431, 487  
 Турбин В. Н. 109  
 Тургенев И. С. 464  
 Тынянов Ю. Н. 48, 81, 99, 124, 191, 192, 195, 214, 237, 345, 489  
 Тюменев А. А. 68  
 Тютчев Ф. И. 191, 462  
 Ужаревич Й. 487  
 Унамуну М. де 105  
 Успенский Б. А. (Uspensky B. A.) 204, 208, 211, 213, 221, 253, 456, 475, 485, 488  
 Успенский В. А. 466  
 Фалес 346  
 Фарини Е. 487  
 Федоров Н. Ф. 45, 48, 49, 51, 71, 74  
 Федр 270, 274, 284  
 Фет А. А. 152, 293, 301, 467  
 Филистион 138  
 Фихте И. Г. (Fichte J. G.) 413, 473  
 Фишер К. 464  
 Флоренский П. А. 71, 462  
 Флоровский А. В. 478  
 Фогель А. (Fogel A.) 123, 473  
 Фолкнер У. 105  
 Фонтаньи Ж. (Fontanille J.) 222, 473  
 Фосслер К. 161  
 Франк С. Л. 64, 73, 108  
 Франк Ф. 63  
 Фрейд З. (Freud S.) 95, 105, 179, 454, 471, 472, 475, 476  
 Фрейдин Г. 455  
 Фрумкина Р. М. 444, 488  
 Фуко М. (Foucault M.) 18, 90, 94, 96–101, 120, 139, 176, 179, 213, 244, 331, 366, 374, 383, 405, 443, 468–470

Фуллер С. 336

Хаамер В. 470  
 Хабермас Ю. (Habermas J.) 404  
 Хайдеггер М. (Heidegger M.) 112, 213, 282, 303, 333, 362, 403, 404, 419, 424, 425  
 Хайнц М. (Heinze M.) 69  
 Халле М. (Halle M.) 450, 474  
 Хансен-Лёве О. А. (Hansen-Löve A.) 471, 488  
 Хармс Д. И. 346, 374, 378, 390, 455, 456, 461  
 Хаусмен А. Э. 139  
 Хельм Р. (Helm R.) 139, 140  
 Хлебников В. 15, 30, 46, 164, 390, 457  
 Ходасевич В. Ф. 249  
 Холенштайн Э. (Holenstein E.) 28, 43, 44, 58, 473, 474  
 Холквист Дж. М. (Holquist M.) 106, 110, 122, 167, 215, 474, 475, 488  
 Хомский А. Н. 242  
 Хомяков А. С. 71  
 Хомяков Д. А. 71  
 Хора Й. 259  
 Хорак И. 63, 66  
 Хрушев Н. С. 448  
 Цветаева М. И. 285, 301, 375, 488  
 Цицерон Марк Туллий 284  
 Чердынченко И. В. 208, 211, 488  
 Черноглазов А. К. 95  
 Чернышевский Н. Г. 63, 69  
 Чижевский Д. (Cyzevskyj D.) 62–64, 66, 70, 73, 82, 473  
 Чубайс И. Б. 488  
 Чугунников С. Г. 488  
 Чуковская Л. К. 445  
 Чуковский К. И. 458  
 Шайтанов И. О. 358  
 Шапир М. И. 16, 287, 291, 299, 378, 381, 488, 490  
 Швырев В. С. 488  
 Шевченко Т. Г. 71  
 Шекспир У. 20, 68, 105, 133, 135, 138, 286, 289, 290, 351, 420, 449, 450, 470, 478  
 Шелер М. 116, 119  
 Шелли П. Б. 327  
 Шенгели Г. 312  
 Шеперд Д. (Shepherd D.) 104, 106, 120, 213, 472, 473, 476

- Шерозия А. Е. 18  
 Шерр И. 71  
 Шерток Л. 18  
 Шестов Л. 70  
 Шиллер Фр. 246, 389, 398  
 Шкловский В. Б. 341, 458  
 Шлегель А. В. 420  
 Шлегель Ф. 420  
 Шлейермахер Фр. 313, 314, 316, 332  
 Шмид В. 228  
 Шопенгауэр А. 105, 452  
 Шор Р. 174  
 Шоттер Дж. (Shotter J.) 112, 160, 477  
 Шпенглер О. 77  
 Шпет Г. Г. 28, 61, 66, 119, 124, 434, 478, 481, 488, 489  
 Шруба М. 488  
 Шукман Э. (Shukman A.) 117, 211, 477  
 Шумилова Е. П. 26, 340, 444, 487  
  
 Щеглов Ю. К. 481  
 Щедрина Т. Г. 26, 28, 61, 488, 489  
 Шерба Я. В. 280  
 Шукин С. Е. 69  
  
 Эберт К. 208, 210, 211, 488  
 Эбнер Ф. 119  
 Эзон 149, 284  
 Эйхенбаум Б. 214  
 Эко У. (Eco U.) 8, 14, 29, 216, 242, 258, 314, 488  
 Эллиот Т. С. 105  
 Эмерсон К. (Emerson C.) 107–110, 113, 130, 136, 138, 150–152, 164, 168, 200, 201, 241, 466, 467, 472, 473, 488  
 Энгель Э. (Engel E.) 71  
 Энгельс Ф. 273  
 Эпельбуэн А. 18  
 Эразм Роттердамский 136  
 Эрленбуш Ф. 64  
 Эрлих В. 214, 488  
 Эспань М. 488  
 Эткинд А. М. 124, 488  
 Эттингер П. Д. 62  
  
 Юбервег Фр. (Überweg Fr.) 69  
 Юзер Д. (Huser D.) 173, 474  
 Юрченко Т. Г. 104, 489  
  
 Ягелло М. 173, 182  
 Якобсон Р. О. (Jakobson R.) 9–15, 17–19, 21–62, 66, 73–76, 78, 80–86, 88, 90–96, 98, 99, 102, 109, 110, 124, 164, 190, 195, 198, 213, 230, 237, 240, 242, 244, 246–248, 250, 251, 256–260, 263, 264, 274, 297, 301, 352, 353, 356, 360, 375, 402, 414, 415, 431, 435, 440, 442, 444, 448, 450, 457, 464, 473–478, 481–484, 486, 487, 489, 490  
 Яковенко Б. 64  
 Якубинский Л. П. 170, 195  
 Ямпольский М. 364, 455, 488  
 Ярхо Б. И. 13, 15–17, 269, 271, 274, 284, 287–289, 292, 326, 341, 358, 381, 401, 439, 478, 490  
  
 Abrioux Y. 215, 219, 226, 471  
 Adlam C. 104  
 Albaladejo T. 183, 471  
 Altounian J. 471  
 Amorim M. 111, 471  
 Aumüller M. 471  
  
 Balcerzan E. 210, 213, 472  
 Becker A. 472  
 Bell M. 106, 112, 471, 472, 475, 477  
 Bender C. 472  
 Bernard-Donals M. 130, 472  
 Bertau M.-C. 170, 472  
 Billig M. 112, 477  
 Bisekist A. von 472  
 Blaim A. 212, 472  
 Bloch J. 416, 477  
 Bourguignon A. 472, 475, 476  
 Bourguignon O. 472  
 Bourdieu P. 472  
 Branham R. B. 138, 144, 472, 473  
 Bres J. 182, 183, 472  
 Brown E. J. 214, 472  
 Burkitt J. 106, 472  
  
 Chiss J.-L. 90  
 Colombel J. 100  
 Cossat P. 473  
 Cotet P. 472, 475, 476  
 Crowley T. 472  
 Cusset F. 90  
  
 Depperman M. 471  
 Dosse F. 473  
 Dufva H. 112, 473  
  
 Eismann W. 212, 473  
 Fehr J. 473  
 Gadet F. 471

Gardiner M. 106, 112, 471–473, 475, 477  
Goldman N. 411, 473  
Granel G. 414, 475  
Greenfield L. 451  
Grenoble L. 473  
Gritti J. 97

Haardt A. 106, 473  
Hagège Cl. 473  
Handley W. R. 106, 120, 473  
Haynes D. 473  
Heim M. H. 474  
Hersent J.-F. 474  
Hirshkop K. 472, 476  
Humphrey Ch. 130, 474

Krysinski W. 122, 475

Lala M.-L. 130, 475  
Lähtenmäki M. 183

Mahmoudian M. 475  
Maiers W. 112, 471  
Maingueneau D. 181, 475  
Mannheim K. 106  
Margolin U. 475  
Mauro T. de 476  
Moeschler J. 183, 475  
Morrow R. 106, 475  
Moser W. 475  
Moutaud J. 416, 477

Nielsen G. 475

Ohnheiser I. 42, 476  
Oustinoff M. 476

Parodi M. 90  
Peace R. 476  
Pechey G. 144, 476  
Penisson P. 476  
Ponzio A. 476  
Puech Ch. 90, 476

Quellet P. 476

Rauzy A. 472  
Reboul A. 183, 476  
Reid A. 476  
Robert F. 475, 476  
Rosier L. 182, 183, 472  
Rubattel C. 183, 476  
Rzhevsky N. 476

Salvestroni S. 222, 476  
Scarfone D. 263  
Schogt H. 476

Thouard D. 474, 477  
Titunik I. R. 185, 477  
Toinet P. 97  
Tymowski A. W. 474

Vice S. 222, 477  
Voigt V. 477

Wall A. 144, 477  
Winner T. G. 214, 477

Xu Jun 478

Zbinden K. 174, 175, 478  
Zeil W. 42, 478

## **Bibliographical notice**

**N. S. Avtonomova**

### **OPEN STRUCTURE: Jakobson—Bakhtin—Lotman—Gasparov**

«Open Structure» points to a paradox. The many-valued metaphor, which accordingly reveals its cognitive possibilities, becomes the condition for interdisciplinary passages, the place to work out cultural and epistemological commensurabilities. The author's background lies in philosophy and philology, two disciplines — the science of the concept and the science of the word — that are always, in one way or another, interconnected. Yet in the history of culture, it was often otherwise. Philosophy and philology, which frequently ignored each other in the past, now tend to divide up the space in measuring their respective forces so to speak. The aim of this book lies in reactivating the forgotten or more often distorted past to call attention to the great heritage of Russian philology (Jakobson, Bakhtin, Lotman, Gasparov) of the last century. Though often overlooked, this rich material points to a series of new philosophical problems and sheds new light on such perennial themes as rationality, specifically including the objectivity of claims for knowledge. This book further explores themes already analyzed by the author in «Knowledge and Translation. Experiences in the Philosophy of Language». ROSSPEN, 2008.

The book will appeal to a wide variety of readers interested in the history of knowledge and contemporary problems of philosophy, language and culture.

# Contents

<b>Introduction</b> .....	5
<b>First chapter. Jakobson: «linguista sum...»</b> .....	27
§ 1. Language: colourful phenomena and general structures .....	28
§ 2. Structuralism and Slavic studies in two ideological milieus .....	43
§ 3. «Slavische Rundschau»: scientific disputes and cultural diplomacy .....	59
§ 4. Construction of «Eurasian linguistics» .....	74
§ 5. Further structural transformations .....	90
<b>Second chapter. Bakhtin — An apology for incompleteness</b> .....	103
§ 1. Contextual shifts .....	104
§ 2. Bakhtin: criticism and reconstruction .....	116
§ 3. On translation: splitting «words» and crystallizing «discourse» ...	172
§ 4. Bakhtin and Lotman on translation .....	184
<b>Third chapter. Lotman: «From non-science to science»</b> .....	203
§ 1. History, structure, explosion .....	203
§ 2. From the archives of the recent past: Gasparov on Lotman .....	223
§ 3. Retrospective commentary: Lotman, Gasparov and Marxism ...	229
§ 4. Indeterminacies .....	242
§ 5. Lotman and Jakobson on translation .....	256
<b>Fourth chapter. Gasparov: The knight of rigorous science</b> .....	269
§ 1. A heretical academician: heritage and reception .....	269
§ 2. On the conditions of philology as an exact science .....	284
§ 3. Translation in the service of comprehension .....	309
§ 4. Discussions concerning philology and philosophy .....	340
<b>Fifth chapter. Continuing the discussion: Philosophy and philology</b> ....	351
§ 1. Let us pause to examine .....	351
§ 2. Philosophy and philology: resonances of disputes .....	361
§ 3. Hypotheses: «postmodernism» and «avant-gardism» in a wide perspective .....	385
§ 4. Philosophy and philology: acquired experience and present tasks .....	395
§ 5. Translation, language, knowledge .....	418
<b>Conclusion</b> .....	435
<b>Appendices</b> .....	442
I. Philosophical and philological letters .....	442
II. E. M. Meletinsky and Y. M. Lotman: two letters on structuralism .....	468



<b>Предисловие</b> .....	5
<b>Глава первая. Якобсон: «linguista sum...»</b> .....	27
§ 1. Язык: пестрота феноменов и общность структур.....	28
§ 2. Структурализм и славистика в двух идейных конъюнктурах.....	43
§ 3. «Славянское обозрение»: научные споры и культурная дипломатия.....	59
§ 4. Принципы построения «евразийской лингвистики» .....	74
§ 5. Дальнейшие превращения структуры .....	90
<b>Глава вторая. Бахтин: апология незавершенности</b> .....	103
§ 1. Сдвиги контекстов.....	104
§ 2. Бахтин: критика и реконструкция .....	116
§ 3. О переводе: расщепление «слова» и кристаллизация «дискурса» .....	172
§ 4. Бахтин и Лотман: противостояния и переключки.....	184
<b>Глава третья. Лотман: «от не-науки к науке!»</b> .....	203
§ 1. История, структура, взрыв (память о Лотмане) .....	203
§ 2. Из архивов недавнего прошлого: Гаспаров о Лотмане.....	223
§ 3. Ретроспективный комментарий: Гаспаров, Лотман и марксизм .....	229
§ 4. Места неопределенности .....	242
§ 5. Лотман и Якобсон о переводе .....	256
<b>Глава четвертая. Гаспаров: рыцарь «строгой науки»</b> .....	269
§ 1. «Академик-еретик?» Наследие и рецепция.....	269
§ 2. Как возможна точная наука в филологии.....	284
§ 3. Перевод как служба понимания .....	309
§ 4. Из разговоров о филологии и философии .....	340
<b>Глава пятая. Философия и филология: продолжение дискуссий</b> .....	351
§ 1. «Остановимся и оглянемся».....	351
§ 2. Философия и филология: резонансы споров.....	361

§ 3. Гипотеза: «постмодернизм» и «авангардизм» в широкой перспективе .....	385
§ 4. Философия и филология: опыт прошлого и современные задачи.....	395
§ 5. Перевод, язык, познание.....	418
<b>Заключение</b> .....	435
<b>Приложения</b> .....	442
I. Философско-филологические письма .....	442
II. Е. М. Мелетинский и Ю. М. Лотман: два письма о структурализме .....	468
<b>Литература</b> .....	471
<b>Указатель имен. Составитель И. И. Ремезова</b> .....	490
<b>Bibliographical notice</b> .....	500
<b>Contents</b> .....	501

Научное издание

*Российские Пропилеи*

Автономова Наталия Сергеевна

**Открытая структура:  
Якобсон—Бахтин—Лотман—Гаспаров**

Художественный редактор А. К. Сорокин  
Художественное оформление П. П. Ефремов  
Технический редактор М. М. Ветрова  
Выпускающий редактор И. В. Киселева  
Компьютерная верстка Ю. В. Балабанов

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 20.04.2009  
Формат 60х90/16 Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 31,5. Тираж 1500 экз.  
Заказ № 3998

Издательство «Российская политическая энциклопедия»  
(РОССПЭН)  
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82  
Тел. 334-81-87 (дирекция)  
Тел./факс 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК  
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14